

Роман
Алтухов

« ИСТ ВОЙНС!»

Льва
Николаевича
Толстого

Том
1



act

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА АСТ

ОГОНЬ ПРИШЕЛ Я НИЗВЕСТИ НА ЗЕМЛЮ, И КАК ЖЕЛАЛ БЫ, ЧТОБЫ ОН УЖЕ ВОЗГОРЕЛСЯ!

Роман Алтухов

«ЖЕТ ВОЙЖЕ!»

ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

Издание Первое, с ошивками и неполное

Том Первый



Ясная Поляна
2023

УДК 821.161.1(031)
ББК 83.3 (2Рос=Рус)1—8
А34

А34 **Алтухов Р.** «Нет войне!» Льва Николаевича Толстого»
Монография. В двух томах. Москва: АСТ – Тула: ИД «Ясная
Поляна», 2023. Том первый. – 690 с. илл.

Исследуется эволюция воззрений Толстого-писателя и мыслителя на этику, психологию и общественные практики войны, на военное «сословие», военный патриотизм. Автор особенно подчёркивает коренное отличие этического или христианского религиозного неприятия Л. Н. Толстым войны — в сравнении с взглядами и практиками пацифизма, к которому писателя часто причисляют.

*Публикуется в авторской редакции.
Перепечатка допускается безвозмездно (даром).
Все права беззащитны.*

«Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете,
под этим неизмеримым звёздным небом?
Неужели может среди этой обаятельной природы
удержаться в душе человека чувство злобы, мщения
или страсти истребления себе подобных?»

«Набег», 1853

«...война... противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие».

«Война и мир», 1863–1868 гг.

«Ведь совершенно очевидно, что если мы будем продолжать жить так же, как теперь, руководясь как в частной жизни, так и в жизни отдельных государств одним желанием блага себе и своему государству, и будем, как теперь, обеспечивать это благо насилем, то, неизбежно увеличивая средства насилия друг против друга и государства против государства, мы, во-первых, будем всё больше и больше разоряться, перенося большую часть своей производительности на вооружение; во-вторых, убивая в войнах друг против друга физически лучших людей, будем всё более и более вырождаться и нравственно падать и развращаться».

«Одумайтесь!» 1904.

«Я хочу, чтобы любовь к миру перестала быть робким стремлением народов,
приходящих в ужас при виде бедствий войны,
а чтоб она стала непоколебимым требованием честной совести».

(Из интервью французскому журналисту Ж. А. Бурдону (газета «Фигаро»)
Ясная Поляна. 2/15 марта 1904 г.)

Мы собрались здесь для того, чтобы бороться против войны...надеемся победить эту огромную силу всех правительств, имеющих в своем распоряжении миллиарды денег и миллионы войск...в наших руках только одно, но зато могущественнейшее средство в мире – истина.

(Доклад, подготовленный для Конгресса мира в Стокгольме)

Для меня безумие, преступность войны, особенно в последнее время,
когда я писал и потому много думал о войне,
так ясны, что кроме этого безумия и преступности ничего не могу в ней видеть.

(Письмо к Л.Л. Толстому. 15 апреля 1904 г.)

Война такое несправедливое и дурное дело, что те, которые воюют,
стараясь заглушить в себе голос совести.

(Дневник. 6 января 1853 г.)



ТОМ ПЕРВЫЙ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРОТИВ ВОЙНЫ (Вступительное слово)

ОДИН.

Когда 9 сентября 2022 года мы начинали писанием эту небольшую книгу, одна из мерзейших войн Новейшего времени ещё не увенчалась столь долгожданной для всех нас победой Украины над восточным соседом-агрессором. Ожидавшейся не только сторонниками мирской «справедливости», но и людьми безусловно верующими и прогрессивными, отрицающими благо всякого насилия — во всём мире! Кошмарный опыт противостояния маленького, юного европейского демократического государства обезумевшему и обречённому, — в близких уже, хотелось бы надеяться, исторических перспективах, — агонизирующему в XXI столетии выродку среди цивилизаций, поставил в очередной раз, и с необычайной силой, вопрос о границах, с точки зрения и традиционной этики, и простого здравого смысла, допустимого *непротивления* абсолютному, безусловному и опаснейшему злу: злу не только *преднамеренному*, но *системно организованному* на различных уровнях: от структур общественных до системной лжи идеологом, адресованных агрессивно-послушному большинству.

Так уж получилось, что, несмотря на общеизвестность евангельской максимы «не противьтесь злему» (*Мф.*, 5, 39), сама концепция «непротивления», или ненасилия, в массовом сознании связывается очень часто с именем не Иисуса Христа, а русского писателя, педагога, мыслителя и публициста Льва Николаевича Толстого. Буквально с начала агрессии путинской России в отношении свободного мира и прекрасной, героической маленькой Украины, с 24 февраля 2022 года, сеть интернет обогатилась шуткой о «необходимости», в связи с навязчивой ложью и системой запретов преступного режима Владимира Путина называть войну войною — переименовать знаменитый роман Льва Николаевича Толстого не иначе, как «Спецоперация и мир», а в связи с несколькими популярными антивоенными цитатами «из Толстого» в онлайн и офлайн сообществах рождались предположения о том, что «сказал» бы Лев Толстой по поводу начатой мировым преступником и его кремлёвской шайкой полномасштабной военной агрессии, именованной им «Специальной Военной Операцией» (СВО) и «что бы ему <Толстому> за это было».

Появились и защитники, идеологи СВО именем Толстого, среди которых особо стоит выделить потомка Льва Николаевича, видного деятеля бандитской партии «Единая Россия» Петра Толстого и желанного некогда гостя в Ясной Поляне, писателя Захара Прилепина. Обходя молчанием свидетельства безусловного протеста Толстого против войны и военно-патриотического обмана, фальсификаторы сосредоточивают внимание на периоде военной службы молодого писателя или, скажем, на переживаниях уже старца-Толстого о гибели множества народа в не менее преступной для России, нежели нынешняя Украинская, Русско-японской войне, атрибутируемых ими как безусловно державно-патриотические.

Толстого часто именуют пацифистом, анархо-пацифистом или, что уже теплее — пацифистом *христианским*. Разумеется, «пацифистом до “пацифизма”», если иметь в виду этот термин, утвердившийся в европейских языках лишь накануне Первой мировой войны. Но дело в том, что настоящее отношение Льва Николаевича Толстого именно к военному насилию не просто эволюционировало вместе с общественным и личным духовным опытом писателя, но и имело всегда существенные субъективные составляющие, отличающие их от критического настроения писателя, скажем, к простой драке или к инсти-

туту смертных казней. Об отношении Толстого к последним мы подробно писали в другой нашей работе, вышедшей в электронном виде в 2019-м и, с доработками, в 2021 годах под двумя названиями: «Лев Толстой против смертных казней» (2019) и «Лев Толстой и Россия убивающая» (2021). Данная книга, выходящая самостоятельно, могла бы быть написана и рассматриваться как Вторая часть последней из названных книг, так как значительная часть антивоенных откликов Толстого-христианина и Толстого-публициста связана именно с событиями в России. Но не исключительно!

Вот наш предварительный тезис: Лев Николаевич Толстой и в антивоенных своих выступлениях шёл очень особенной, “своей” тропкой. Анализируя отношение Л. Н. Толстого к пацифизму со времени, когда, примерно на рубеже 1880 – 1890-х гг., он впервые обращает пристальное внимание на деятельность европейских и американских пацифистов, выразившее себя как в личной корреспонденции в их адрес, личном Дневнике писателя, так в особенности в ряде публицистических выступлений по теме — неизбежно признать, что даже самые близкие ему по антивоенным убеждениям люди, именно пацифисты и проповедники религиозного ненасилия, не совпадали с убеждениями яснополянца в ряде важнейших положений. И сойтись на одном «фундаменте» Толстому с ними было бы столь же затруднительно, как и с социалистами, с которыми так же ошибочно часто сближают Толстого — по причине «общественной критики», «обличений» в его художественных и публицистических писаниях.

Причина — как раз в том, что Толстой, минуя все исторические толкования, черпал христианские смыслы непосредственно из евангелий, опираясь на первоначальное учение Христа, на выраженное в нём то особенное *жизнепонимание*, о котором мы будем говорить дальше, на протяжении практически всей книги. «Фундамент» же даже наиболее близкого Толстому, именно христианского пацифизма — принципиально иной.

Средневековое отношение к проблеме войны и мира в западном христианстве строилось на воззрениях Отцов Церкви — прежде всего Блаженного Августина, а также Фомы Аквинского и других богословов на основе фундаментальных тезисов о грехопадении и искуплении, о "граде Божьем" и "граде Земном". В рамках земного уклада мир как отсутствие войны признавался абсолютной ценностью. Но поскольку "мир сей" греховен, отсутствие войны здесь считалось временным миром (*paх temporalis*), ибо "идеальный мир есть

Бог, и земные владыки не способны достичь вечного мира" (рах aeterna). (*Мир/Peace: Альтернативы войне от античности до конца Второй мировой войны. Антология. М., 1993. С. 66*).

Секулярные тенденции европейской общественной мысли, вооружавшейся от эпохи к эпохе всё больше положительным научным знанием, постепенно разрушают эту картину мира меняют ориентиры человека и общества: они сводятся теперь к достижению "Царства Божия на Земле". Само по себе это устремление, как увидит читатель, весьма близко вере и убеждениям Толстого. Однако, начиная с трактатов гуманистов XVI – XVII вв. и особенно в трудах эпохи Просвещения, у аббата Сен- Пьера, Ж.-Ж. Руссо и конечно И. Канта, в это устремление включается идея "вечного мира" на Земле не как награды Свыше, от Бога, а как некоторой задачи, предполагающей положительную деятельность личностей и обществ. Предлагаются разные способы его достичь, причём если раньше под "justitia" понималась Божественная в своём высшем проявлении справедливость, то теперь совершается переход к светскому праву Нового времени. Из идеи универсального христианского единства вырастают проекты достижения мира на основе международного права — через федерации, союзы государств и т.п.

С идеалом *мирной жизни* в эпоху Просвещения совершилась та же секулярная подмена, подхваченная в России и до сих пор муссируемая городской либеральной сволочью, что и с идеалом *свободы*. Для чистого христианского сознания свобода отнюдь не повседневное состояние, а награда за повиновение Отцу, Богу: за *усилие братства и равенства*, то есть старание быть хотя чуть-чуть лучше, нежели способна греховная природа наследников «ветхого Адама», если дать ей всю возможную «свободу» быть тем, что она есть: зверюшкой Дарвина полуфабрикатом начатой Божественным актом Творения (из предковых форм), но пока не продолженной, не говорим неоконченной, человечеством эволюции.

Награда эта — сладчайша, соблазнительна, подобна конфетам для дитя. И, как дитя вредный шоколад, так и человек свободу должен получать малыми угощениями — и не просто так! Если зверюшке Дарвина вдоволь жрать вкусняшек — будут повальные ожирение и иные отвратительные болезни. Если же пережрать человеку *свободы*, забыв о смысле своей жизни как дитя, посланника и работника Отца, Бога на Земле...

Исторически уже в эпоху Просвещения эта погоня за *свободой* индивидов и особенно общностей привела к вакханалии насилия: революциям и кровопролитным войнам. Точно так же и декларативная погоня за *миром* — пронизательно изобличённая в этом, как мы покажем, Львом Толстым — привела, разумея *мир* международный, к страшнейшим до сего дня войнам в истории человечества, разумея же *мир* внутриобщественный — к удержанию и оправданию во многих странах жестоких наказаний для преступников, включая смертные казни.

При этом до появления таких антивоенных «радикалов», как Толстой, приоритетный интерес к проблеме насилия и войны не был характерен в целом ни для секулярного, ни для христианского мирозерцаний. В обоих случаях подавляющим большинством войны воспринимались либо как данность Свыше, либо их существование считалось «естественным». Светская мысль лишь внесла новое содержание в заимствованное у Августина понятие "справедливая война" (*bellum justum*). Теперь это была война "по государственной необходимости". Под влиянием идей Гоббса о мире как продукте социально-государственной организации, который заменил естественное состояние человечества — войну, и особенно по историческому опыту Тридцатилетней войны государство утвердилось в роли гаранта мира (*Мир / Peace. С. 77*). Оказавший огромное влияние на автора «Войны и мира» гениальный и остроумнейший военный теоретик, великолепный *Карл фон Клаузевиц* (Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, 1780 – 1836) отправил «в отставку» даже то сострадание к гибнущему зверьку твоего вида, которое характерно для поведения высших млекопитающих, животных: война — неизбежный вариант в деятельности политиков, а успешность её, военные победы неотделимы, по Клаузевицу, от жертвования собой крупных общностей «подданных» своего государя. Победа стала измеряться буквально «горами трупов»: степенью разрушения физических и нравственных сил «противника».

Как светский, так и опирающийся на этику «исторического» христианства пацифизм недалеко ушёл от того, что Лев Николаевич Толстой именовал «суеверием государства», то есть убеждения в необходимости легитимного и системно организованного «добра с кулаками» (камнями, пулями, ядами, пушками, бомбами, гильотинами...). В основе устойчивости этого суеверия — всё тот же искон-

ный «ветхий Адам» с обезьяньим хвостком. Что подтверждает массовость случаев в современной России, когда мокрогубый трусливый 17-18-летний говнюшонок откашивается от армии «по пацифизму», а заглянь в его биографию: за пять годков до того лез в драки, что-то орал, всячески стремился к доминированию в детском коллективе, а ещё через пять, десять годков глядишь — засядет эта зверюшка Дарвина приматоидной своей, обезьяньей жопой во власти (как, например, помощник депутатика господствующей, “властной” партии), в «бизнесе», при которых будет (по прежнему, но уже “со стороны”, салютуя пацифизму) повседневно пользоваться *системным насилием или его угрозой* в лице охранников, полицаев, законов, судилищ...

С другой стороны, уже Реформация породила стремление переосмыслить проблему войны и мира без полного разрыва с церковью. Вслед за Лютером свободой толкования Священного Писания и христианской традиции воспользовались и многочисленные рационалистические секты. Некоторые из них — квакеры, меннониты, баптисты и др. — выводили требование отказаться от насилия вообще и в особенности военного из первоисточников христианства, как категорический императив для каждого верующего. Наибольшее развитие это течение получило в Англии и Соединённых Штатах. В России такой радикальный отказ от участия в системно организованном насилии был характерен, например, для духоборов, баптистов, меннонитов, молокан и иных сектантства, отдельные представители которого привлекли внимание Толстого ещё до собственного его христианского исповедничества.

Именно к этому направлению мысли людей, которым в XIX веке не мог ещё быть хотя бы известен термин пацифизм, ровесник века XX-го, был максимально близок Толстой. Опять же: только *близок*, ибо не разделял ни одно из мистических и суеверных представлений таких сектантов.

Толстой не дожил до той радикализации пацифизма, порождённой Первой мировой войной, когда пацифисты «восприняли опыт сторонников ненасилия, и с течением времени антивоенные и антинасильственные идеи стали отождествляться», так что для пацифизма актуальным сделалось такое определение: «коллективное обозначение всех усилий по созданию вместо существующих межгосударственных отношений разумного порядка» (*Сдвижков Д.А. Против «железа и крови»: Пацифизм в Германской империи. М., 1999. С. 15*).

Ряд исследователей прошлого века уже решительным образом различали «пацифизм в строгом смысле — основанный на религиозной этике безусловного и личного отрицания войны — и конформистский "интернационализм" или "пацифицизм". Сторонники последнего добивались уничтожения войн методами арбитража, разоружения и международной организации, но признавали идею "справедливой войны" — оборонительной или в виде карательной экспедиции за невыполнение обязательств перед мировым сообществом. Пацифистами по этой версии считаются, кроме квакеров, баптистов, меннонитов, также и последователи Л. Толстого, М. Ганди и проч.» *(Там же)*.

Итак, можно вывести, что без опоры в религиозном учении пацифизм в массе голов всегда будет брать малые победы лишь в случаях, страшных для подлецов, эгоистов и трусов: например, в ситуациях призыва в армию, мобилизации на войну... и проигрывать во всей прочей повседневности оправданию полицаев, судилищ, войска, вооружений, казней и войн интересами общества и государства — идее обеспечения «внутреннего мира» в крупных общностях.

В чём же кардинальное отличие мировоззрения Льва Николаевича Толстого, в особенности «позднего», от пацифизма обыкновенной и в наши дни буржуазной либеральной и интеллигентской сволочи?

ДВА. САМЫЕ ИСТОШНЫЕ ИСТОКИ

Смертные казни и война...

Казалось бы, как два вида мерзейшего, системно организованного насилия они должны вызывать одинаковое отторжение Льва Николаевича. Но это совершенно не так. Пожалуй, одинаков лишь «фундамент» этического отвращения и религиозного отвержения этих форм человекоубийства в личности и в сознании Толстого. В нашей книге о смертных казнях мы исходили из очевидной для всякого наблюдателя творческой и духовной биографий Толстого эволюции от «мирского» отвращения страшным зрелищем и, в любом случае, исключительного и сомнительного в целесообразности действием — к

неприятно христианскому, по вере. Разумеется, некоторая эволюция совершалась в эмоциях и убеждениях Толстого и по отношению к войне — но совершенно несхожая с эволюцией отрицания казней.

Военно-патриотические «внушения» детских лет писателя были сильны и многообразны и шли из самых различных источников. Тут сказывались, прежде всего, вековые семейные традиции, уважительное в роду Толстых отношение к предкам. Деда и прадеды писателя были люди военные, служившие «царю и отечеству» преимущественно с оружием в руках. По рождению и воспитанию Толстой принадлежал к высшему, и не просто дворянскому, а именно военно-дворянскому сословию России. По отцовской и материнской линии его предками были известные своими бранными подвигами, совершёнными в разные времена на многих войнах, представители родовитых русских фамилий: Волконских, Головиных, Трубецких, Горчаковых, Вердеревских, Пушкинцх, Чаадаевых, Голицыных, Одоевских...

Как свидетельствует автор наиболее обстоятельных трудов о писателе Н. Н. Гусев, внимательнейшим образом проследивший толстовскую родословную, уже представители начальных ветвей генеалогического древа Толстых, о которых сохранились летописные упоминания, занимали крупные военные должности ещё при Иване Грозном, Фёдоре Ивановиче и других царях XVI – XVIII веков: «Иван Иванович Толстой был при Иване Грозном воеводою в Крапивне. Сын его Василий Иванович... был воеводою в разных городах при царях Фёдоре Иоанновиче и Михаиле Фёдоровиче и дослужился до высокого чина сокольничего. Сын Василия Ивановича Андрей Васильевич был также воеводою в разных городах и также дослужился до чина окольного» (*Гусев Н.Н. А. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. Кн. 1. М., 1954. С. 7*). В 1677 году Андрей Толстой участвовал в походе против турок, по окончании которого получил от царя жалованную грамоту за то, что при обороне города Чигирина от турок «много показал достохвальной опытности, умения и достоинства» (*Там же*). Пётр Адреевич, сын Андрея Васильевича Толстого, первый из рода Толстых получивший титул графа, участник азовских походов, был деятельнейшим сподвижником Петра I, одним из шести членов «Верховного тайного совета» при Екатерине I и не раз отличался на военном и дипломатическом поприщах. После смерти царя, вследствие дворцовых интриг, он был

отправлен в заточение вместе с сыном в Соловецкий монастырь, где умер в 1729 году. Об этом своём прапрапрадеде Л. Н. Толстой собирал данные в начале 1870-х годов, в период работы над романом из эпохи Петра I, о чём он писал Александре Андреевне Толстой 5 июня 1872 года. В том же письме Толстой сообщал о своём намерении съездить в Соловки в надежде «узнать что-нибудь» (61, 291. Здесь и далее ссылки на Полное собрание сочинений Л.Н. Толстого (Юбилейное) даются в круглых скобках, с указанием номера тома и страницы в нём. Все наши выделения в тексте особо оговариваются. – Роман Алтухов).

Прадед писателя со стороны матери, Сергей Фёдорович Волконский (1715 – 1784), первый владелец Ясной Поляны, большую часть своей жизни провёл в армии, был генерал-майором, участвовал в ряде войн екатерининского времени, в том числе в Семилетней войне.



Портрет князя Сергея Фёдоровича Волконского.
Неизвестный художник. Вторая пол. XVIII в. Холст, масло.
Музей – усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна".

Двоюродный дядя Толстого, Фёдор Иванович Толстой, также провёл не один год на «государевой службе»: учился в Морском кадетском корпусе, служил в гвардейском Преображенском полку, совершил кругосветное плавание на корабле «Надежда», которым командовал капитан Крузенштерн, принимал участие в Отечественной войне 1812 года, отличился в Бородинском сражении, за что был награждён Георгием 4-й степени. Личность Фёдора-Американца, «необыкновенного, преступного и привлекательного человека», как отмечал писатель (3, 329), дуэлянта, картёжника, редкостного храбреца и непревзойдённого стрелка, друга Дениса Давыдова, послужила прототипом при создании образов Турбина-старшего в «Двух гусарах» и отчасти Долохова в романе «Война и мир».



Фёдор Иванович Толстой

В детстве Толстой не мог не слышать о таких родственниках, как Сергей Григорьевич Волконский (1788 – 1865), участнике войн с наполеоновской Францией (1806 – 1807), русско-турецкой (1806 – 1812), герое войны 1812 года, генерал-майоре в 24 года, отбывшем позднее 30 лет сибирской каторги за принадлежность к Союзу Благоденствия и Южному обществу. Знал Лев Николаевич и о его старшем брате, Николае Григорьевиче Репнине-Волконском (1778 – 1845), командире эскадрона кавалергардского полка, совершившем

подвиг, тяжело раненном в Аустерлицком бою и там же представленном Наполеону после участия в блистательной и трагической атаке кавалергардов, описанной в «Войне и мире».

Военная служба занимала не меньшее место и в биографии более близких родичей Толстого, в частности, обоих дедов писателя. *Илья Андреевич Толстой* (1757 – 1820) после окончания Морского кадетского корпуса служил во флоте гардемаринном, потом в лейб-гвардии Преображенском полку, откуда в 1793 году вышел в отставку в чине бригадира. Второй (по материнской линии) дед писателя, Николай Сергеевич Волконский (1753 – 1821), был представителем рода, шедшего, по свидетельству биографа и друга писателя, П. И. Бирюкова, от Рюриков и являвшегося одним из самых воинственных древних родов России (*Бирюков П.И. Биография Льва Николаевича Толстого: В 4-х т. М. – Пг., 1923. Том 1. С. 7*). Уже в 7-милетнем возрасте он был зачислен на военную службу, в чине капитана гвардии состоял в свите Екатерины II, участвовал в войне против турок, в 36 лет получил чин генерал-майора и затем дослужился до одного из самых высоких чинов того времени — генерал-аншефа, или генерала от инфантерии: чин, предшествовавший чину фельдмаршала.

Многими чертами своего характера главные персонажи «Войны и мира» — граф Илья Андреевич Ростов, старый князь Болконский, Николай Ильич Ростов — обязаны дедам, а последний — отцу Толстого.

Отец писателя, *Николай Ильич Толстой* (1794 – 1837), в 1812 году добровольно поступил на службу корнетом в 3-й Украинский казачий полк, позднее переименованный в гусарский, участвовал во многих сражениях заграничной кампании: под Дрезденом, при городе Бауцене, в «битве народов» под Лейпцигом и других, попал в плен, из которого был освобождён после взятия Парижа русскими войсками. В марте 1819 года он уволился в отставку в чине подполковника.

В третьей части «Воспоминаний», над которыми Толстой работал в 1901 – 1906 годах, об отце содержится такая запись: «Начну с того, что я ясно помню, с того места и с тех лиц, которые окружали меня с первых лет. Первое место среди этих лиц занимает, хотя и не по влиянию на меня, но по моему чувству к нему, разумеется, мой отец... В 12-ом году отцу было 17 лет, и он, несмотря на нежелание и страх и отговоры родителей, поступил в военную службу. В то время кн. Ник. Ив. Горчаков, близкий родственник моей бабушки

кн. Горчаковой, был военным министром, а другой брат, Андрей Иванович, был генералом, командовавшим чем-то в действующей армии, и отца зачислили к нему адъютантом. Он проделал походы 13 – 14 годов и в 14 году где-то в Германии, будучи послан курьером, был французами взят в плен, от которого освободился только в 15 году, когда наши войска вошли в Париж» (34, 355).



Николай Ильич Толстой

Николай Ильич был уволен в отставку, как сказано в его формулярном списке, «по болезни» (См. *Записки отдела рукописей Всесоюзной Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. Вып. IV. М., 1939. С. 47 – 49*). К прошению об отставке, поданному им 14 ноября 1818 года, было приложено свидетельство главного лекаря Казанского военного госпиталя о том, что он болен «слабостию груди со всеми ясными признаками к чахотке, простудным кашлем, сопряжённым с кровохарканьем, и застарелую простудною ломотью во всех членах» (Гусев Н. Н. *Л. Н. Толстой. Материалы к биографии... Кн. 1. С. 42*).

По мнению Н. Н. Гусева, болезнь Николая Ильича, несмотря на перенесённые им тяготы походной жизни и плена, могла быть всё-таки лишь поводом, но не главной причиной для отставки. В тех же «Воспоминаниях» сам писатель называет главную причину: «После кампании отец, разочаровавшийся в военной службе — это видно по письмам — вышел в отставку и приехал в Казань, где, совсем уже разорившийся, мой дед был губернатором» (34, 355).

Таким образом, Толстой называет основную причину отставки отца — *разочарование в военной службе*. Остаётся предположить, что утверждение писателя, имевшего за плечами личный опыт и военной службы, и разочарования в ней, и собственных хлопот об отставке, гораздо ближе к истине, нежели предположение Н. Н. Гусева. В тех же «Воспоминаниях» писатель говорит о том, что его отец, «как большая часть людей первого Александровского времени и походов 13, 14, 15 годов... по чувству собственного достоинства не считал для себя возможным служить ни при конце царствования Александра I, ни при Николае ...все друзья его были такие же люди свободные, не служащие и немного фрондирующие правительство» (34, 356 – 357).

Заметим попутно, что и самому Толстому отставка от военной службы стоила немалых усилий, и он был уволен из армии в ноябре 1856 года лишь после того, как к его вторичному прошению было приложено медицинское свидетельство тульского врача А. Троицкого, в котором, в частности, отмечались «биения сердца, сопровождаемые одышкой», «осложнения в лёгких и на печени вследствие перенесённой крымской лихорадки», «ревматические боли в конечностях» (60, 469), т. е. болезни, в определённой мере напоминающие болезни отца. Как мы покажем ниже, и разочарование Льва Николаевича в военной службе было к тому времени безусловным, и даже значительно более глубоким, нежели у Николая Ильича.

Что касается писем Н. И. Толстого из действующей армии к родным, то они примечательны не только тем, что подтверждают правоту Л. Н. Толстого в его мнении о причине отставки отца, и не только тем, что по духу своему перекликаются с письмами самого писателя из Крыма и Кавказа, но и своими независимыми, ничего общего не имевшими с тогдашними ура-патриотическими, взглядами на войну, гуманной направленностью, толстовской искренностью, прямоотой и безусловной правдивостью.

Так, в письме из Гродно от 28 декабря 1812 года Н. И. Толстой писал: «Не бывши ещё ни разу в сражении и не имевши надежды в нём скоро быть, я видел всё то, что война имеет ужасное; я видел места, вёрст на десять засеянные телами; вы не можете представить, какое их множество по дороге от Смоленска до местечка Красное; да это ещё ничего, ибо я считаю убитых несомненно счастливее тех пленных и беглых французов, кои находятся в разорённых и пустых местах Польши... Признаюсь вам, мои милые, что есть ли бы я не держался русской пословицы: взявшись за гуж, не говори, что не дюж, я бы, может, оставил военное ремесло... Но что про это говорить? Я всегда любил военную службу, и, вошедши в неё, щитаю приятною обязанностью исполнять в точности мою должность» (Цит. по кн. Гусев Н.Н. *А. Н. Толстой. Материалы... 1828 – 1855. Кн. 1. С. 41*). «Моё военное настроение очень ослабело, — пишет он в другом письме, 15 февраля 1813 года из польского местечка Добжица, — истребление человеческого рода уже не так занимает меня, и я думаю о счастье жить в безвестности с милой женой и быть окружённым детьми мал мала меньше» (Там же).

Возможно, потом, после демобилизации из армии, у Н. И. Толстого остались нотки сожаления по поводу отставки вследствие потери тех моральных и материальных выгод и льгот, которые предоставляла военная карьера. В десятой главе «Отрочества» «Что за человек был мой отец?» говорится о том, что на товарищей молодости отец сердился за то, что они далеко ушли в чинах, а он навсегда остался отставным поручиком гвардии (см. 1, 29). В черновой редакции дальше следует характерное признание: «Но эту слабость никто не мог заметить в нём, исключая такого наблюдателя, как я, который постоянно жил с ним и старался угадывать его» (1, 172).

К сожалению, нам остаётся лишь догадываться, насколько на последующее уважительное отношение Толстого к военным, не исчезнувшее совершенно даже в «религиозный» период его жизни и творчества, повлиял тот факт, что Толстой сам прервал службу, не получив сколько-нибудь значительных наград за безусловную свою храбрость, и в чине всего лишь *поручика артиллерии*.

Следует предположить, что обстоятельство, благодаря которому отец писателя сумел увидеть в войне такую сторону, как «истребление человеческого рода», определённым образом с детских и отроческих лет повлияло на выработку мировоззрения Толстого. Но это

влияние обнаружилось позднее, и для осознания этого влияния будущему писателю понадобились огромная внутренняя работа и, главным образом, личный военный опыт. В детстве же и отрочестве эта прозаическая сторона войны в воображении ребёнка заслонялась другими её сторонами — обманно возвышенными и привлекательными. По злому парадоксу нашей лжехристианской жизни, впервые война прокрадывается, а иногда зло вторгается в жизнь именно ребёнка — вместе с рассказами старших о войнах, часто неправдивыми, или же самым страшным: жестокой *правдой* самой войны. Вторгается в ту мирную, уютную, наполненную познанием мира и себя, повседневность настоящей человеческой *живой жизни*, благородной и красивой, какой будет она для всех и по всей Земле в XXV веке, когда, против рожна, люди послушаются всё же Христа. Такая именно жизнь, лишь соприкасающаяся с войной как страничкой родового, семейного и общественного прошлого, изображена у Льва Николаевича в повести «Детство», в знаменитой сцене с очаковским курением», расцветавшим в очах дитя, Николеньки Иртенева, маленьким волшебством в добрых руках ключницы Натальи Савишны:

«Бывало, под предлогом необходимой надобности, прибежишь от урока в её комнатку, усядешься и начинаешь мечтать вслух, несколько не стесняясь её присутствием. Всегда она бывала чем-то занята: или вязала чулок, или рылась в сундуках, которыми была наполнена её комната, или записывала бельё и, слушая всякий вздор, который я говорил, «как, когда я буду генералом, я женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных <домашнего учителя> Карла Иваныча из Саксонии» и т. д., она приговаривала: «Да, мой батюшка, да». Обыкновенно, когда я вставал и собирался уходить, она отворяла голубой сундук, на крышке которого снутри — как теперь помню — были наклеены крашеное изображение какого-то гусара, картинка с помадной баночки и рисунок <брата> Володи, — вынимала из этого сундука куренье, зажигала его и, помахивая, говаривала:

— Это, батюшка, ещё очаковское куренье. Когда ваш покойный дедушка — царство небесное — под турку ходили, так оттуда ещё привезли. Вот уж последний кусочек остался, — прибавляла она со вздохом» (1, 87).

Как и многое в повести, этот эпизод имеет автобиографические основания. В главе VIII автобиографических «Воспоминаний» Л. Н.

Толстого, написанных в 1903 г. по просьбе биографа и многолетнего друга, *Павла Ивановича Бирюкова* (1860 – 1931), находим следующие подробности из детства самого Льва Николаевича:

«Прасковью Исаевну я довольно верно описал в *Детстве*. Всё, что я об ней писал, было действительно. Не знаю, почему это так было устроено — дом был большой, 42 комнаты. Прасковья Исаевна была почтенная особа — экономка, а между тем у неё, в её маленькой комнатке, стояло наше детское суднышко. Помню, одно из самых приятных впечатлений было после урока или в середине урока сесть в её комнатке и разговаривать с ней и слушать. Вероятно, она любила видеть нас в эти времена особенной счастливой и умилённой откровенности. «Прасковья Исаевна, а дедушка как воевал? Верхом?» — кряхтя спросишь её, чтобы только поговорить и послушать.

Он всячески воевал, и на коне и пеший. Зато генерал *аншеф* был, — ответит она и, открывая шкаф, достаёт смолку, которую она называла очаковским куреньем. По её словам выходило, что эту смолку дедушка привёз из-под Очакова. Зажжёт бумажку об лампадку у икон и зажжёт смолку, и она дымит приятным запахом» (34, 372 – 373).

М. Е. Салтыков-Щедрин в книге «*За рубежом*» (1881), вспоминая о Москве своей юности, вспоминает и о таких «смошках», причём с прекрасной, милейшей «руссофобской» ностальгией:

«...Так как в то время о ватерклозетах и в помышлении ни у кого не было, то понятно, что весь этот... люд оставлял свой след понемногу везде. Точно то же самое, в большей или меньшей мере, представлялось и на Никитской, и на Арбате, и на Кузнецком мосту. А к Охотному ряду, к Ильинке и к купеческим усадьбам даже приступу не было: благодать видимо почивала на них.

Но тогда этим как-то не отягощались и даже носов не затыкали. Казалось совершенно естественным, что там, где живут люди, и пахнуть должно человечеством. В самых зажиточных помещичьих домах не существовало ни вентиляторов, ни форточек, в крайних же случаях "курили смолкой"» (*Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений: В 20 тт. Т. 14. М., 1972. С. 136*).

Так насмешкою фатума над всем людским родом в автобиографических «Воспоминаниях» Л. Н. Толстого и в повести, с элементами автобиографического, о детстве Николеньки Иртенева сходятся две противоположности: наиболее безобидная из слабостей человека как животного — с наиболее ужасной. Конечно же, ни ребёнок в повести

Толстого, ни Наталья Савишна, старая нянька, прислуга и ключница в доме не связывают волшебного «курения» смолки на палочке ни с женщиной и военной карьерой, ни с патриотизмом, ни с убийством людей. Мечтаемое Николенькой генеральство — не более, чем игровая роль в его умозрительном добром детском мире. А курящаяся смолка — не менее ценное сокровище, ещё сполна не понимаемое мальчиком: это, по хорошему французскому выражению, любимому Толстым, «питание для мозга костей львят» (41, 426): обозначение связи эпох и поколений, момент воспитательный. Без героики и глупых, гадких, кровавых военных «побед». Просто — благовонное курение, которое могло оказаться в доме Иртеневых и сундуках Натальи Савишны и при менее драматических обстоятельствах, нежели давняя война. Для ребёнка важны не эти обстоятельства, а именно волшебство зрелища, увлекающее его. Когда сделается он старше и разумнее — конечно, станут важны и события в жизни деда и всего рода Иртеневых, но и — опять же, турецкое «курение», воспоминание его запаха как восточка из далёка, от иного народа и иной культуры, которых надо узнавать и любить, чтобы преодолевать обманы правительств и попов и побеждать войны, то есть делать их невозможными.

Воспоминания о «славном прошлом» ближних и дальних родичей свято сохранялись в семье Толстых. Сохранились данные о воспитании старшего сына Николая. В мальчике искоренялись трусость, излишняя жалостливость, распушенность, капризы. От дворянского львёныша начиная с подросткового детства требовалось, чтобы он сделался «со временем храбр, как должен быть сын отца, который хорошо послужил отечеству». Хорошее поведение и успехи мальчика вознаграждались тем, что ему разрешали надевать саблю, а в наказание — лишали этого (Гусев Н.Н. *Лев Николаевич Толстой. Материалы... 1828 – 1855. С. 419*).

В детские и отроческие годы Толстой, с живым интересом слушал и воспоминания своего отца о более исторически близкой Отечественной войне 1812 года. А Николай Ильич мог многое рассказать о войне с Наполеоном и о заграничных походах русской армии. От отца же, как предполагает К. Н. Ломунов, Толстой впервые услышал о декабристах (См. Ломунов К.Н. *Чем нам дорог Л. Толстой. М., 1960. С. 14*). Эти воспоминания прочно хранились и в последующие годы. Не случайно поэтому сам Толстой записывал в дневнике в 1889 году:

«Часть нас живёт в прошедшем... я молодым человеком чувствовал в себе инстинкты 12 года» (50, 220).

Но не только отец, а и другие родственники, знакомые, дворовые, крестьяне, бывшие солдаты, воспитатели, изредка навещавшие Ясную Поляну офицеры рассказывали о былых войнах, об армии, о военной службе. Эти рассказы он жадно слушал, и они запоминались. На Николеньку Иртеньева — автобиографическое лицо из трилогии — наибольшее впечатление произвели те рассказы гувернёра Карла Иваныча, в которых речь шла о его военных приключениях. Уже здесь Николенька Иртеньев обращается к своему учителю со знаменательным вопросом: неужели добрый Карл Иваныч мог убивать людей?

Сохранились характерные записи П. И. Бирюкова со слов Толстого: «Приезд Горчакова, Петра Дмитриевича, сибирского генерал-губернатора, и его адъютанта Валериана Петровича, и моё увлечение его красотой и кавалерийскими панталонами... Зима 40-го года. Освящение храма Спасителя. Приезд гвардии в Москву... В этом же году хождение в экзерсис-хауз и любование смотрами» (34, 401 – 402).

Военные «внушения» черпались также из литературных, исторических источников. Значительная часть книг яснополянской библиотеки была представлена произведениями на военно-историческую тему. Мать писателя старалась воспитывать сыновей так, чтобы каждый из них мог достойно продолжить военные традиции своих предков. Бережно и любовно она воспитывала сыновей, отмечая в своём «Педагогическом дневнике» малейшие проявления их характера, темперамента, их детские привычки, ежедневные шалости, забавные детские слова: «14 мая, 1828 года: Николенька был целый день очень умён и послушен... Жаль только, что он трусоват; к вечеру, гуляя со мной, он испугался жука...»; «Николенька с утра был умён, читал очень хорошо; но читая о птичке, которую застрелили, и которая умерла, ему так стало её жаль, что он заплакал...»; «Если он (Николенька) будет привыкать преодолевать свой страх, то он сделается со временем храбр, как должен быть сын отца, который хорошо служил отечеству».

Этот многотомный дневник матери Лев Толстой позже читал как увлекательнейшую книгу, психологический труд.

Для воспитывающего влияния на детей подбирались соответствующая литература. Одновременно в детях искоренялись лень, распу-

ценность, прививались правдивость, искренность, мужество. Немалое внимание уделялось их физической закалке, одним из средств которой была охота. Страстным охотником был отец писателя. «Помню его выезд на охоту, — читаем в «Воспоминаниях». — Мне всегда потом казалось, что Пушкин списал с них свой выезд на охоту мужа в Графе Нулине... Помню, как для охотничьего праздника, 1 сентября, мы все выехали в линейке к отъёмному лесу, в котором была посажена лисица, и как гончие гоняли её... Помню особенно ясно садку волка» (34, 357 — 358).

Впечатления об охоте интересны не только тем, что они послужили материалом для изображения сцен охоты в произведениях писателя, но и тем, что они с детских лет воспитывали у Толстых ловкость, находчивость, физическую выносливость, умение обращаться с лошадьми и оружием, т. е. навыки и качества, необходимые на войне. В глубокой старости, в 1909 году, Толстой записал в дневнике: «Мне в детстве внушено было всю энергию мою направить на молодечество охоты и войны» (57, 18).

Это словцо, «молодечество», явится на страницах нашей книги ещё не раз — но уже только в связи с военной тематикой.

О силе же военно-патриотических внушений, действовавших с раннего возраста на ум и чувства будущего писателя, свидетельствуют детские и ученические сочинения сохранившегося рукописного журнала «Детская библиотека». В этих сочинениях повествуется о военно-исторических событиях: о битве на поле Куликовом, о днях Новгородской вольности, о стенах Московского Кремля, которые видели начало освобождения России от власти поляков во времена Самозванца, а также «стыд и поражение непобедимых полков Наполеоновых», потерявших здесь «всё своё счастье» (90, 101).

В детском сочинении «Рассказы дедушки» говорится о 90-летнем старике-полковнике, который служил под пятью государями, видел более ста сражений, «имел десять орденов, которые он купил своею кровию» (90, 95). О сыне этого полковника сказано так: «Он был мужествен и деятильный когда была опасность но он совсем не охотно трудился целый век ибо он любил и наслаждаться посему зделался учёным сочинил несколько книг но в 1812 видя что отечеству нужны солдаты он решился идти в военную службу получил пять ран служил храбро получил разные знаки отличия до служился до полков-

ника вышел в отставку он то и будет играть большую роль в произшествии которое его отец начал разказывать» (90, 96). К тексту сделано несколько детских рисунков, изображающих воинов.

В пору ранних лет Толстого непрерывно шла война в Турции и на Кавказе и также непрерывно двигались туда и обратно войска по большой Киевской дороге, расположенной в непосредственной близости от яснополянского имения. Тут можно было наблюдать не только шествие разного рода «мирных» паломников, но и движение маршевых частей, конных и пеших колонн, проезд курьеров и фельдъегерей, больших и малых групп военных.

Бывая в Москве, куда родители с 1837 года возили детей почти ежегодно, будущий писатель мог наблюдать парадную сторону военной службы, военные смотры, учения, церемонию приезда из Петербурга императора Николая с гвардией зимой 1840 года по случаю закладки храма Христа Спасителя и т. п.

Вся сумма подобных «внушений» привела к тому, что уже с отроческих лет Толстого начинает волновать бранная романтика, тревожат мечты военного честолюбия. «Всякий генерал, которого я встречал, — говорится в одном из вариантов «Отрочества», — заставлял меня трепетать от ожидания, что вот-вот он подойдет ко мне и скажет, что он замечает во мне необыкновенную храбрость и способность к военной службе и верховой езде... и наступит перемена в жизни, которую я с таким нетерпением ожидал» (2, 285).

«Случай к перемене жизни скоро представился. В Ясную Поляну в апреле 1851 года приехал старший брат Льва Николаевича, Николай Николаевич, служивший на Кавказе. Он возвращался назад, и Лев Николаевич, особенно любивший его, ухватился за этот случай и весной 1851 года отправился туда вместе с возвращавшимся к месту своего служения братом», — писал П. И. Бирюков в заметках к биографии писателя (34, 399).

Но этой перемене в жизни, приведшей к поступлению Толстого на военную службу, предшествовали годы учебы в родном имении и в Казанском университете, годы напряжённой, главным образом самостоятельной работы над собой, над изучением русской и зарубежной истории и литературы, идейного наследия европейских и русских просветителей, древних историков и философов (Плутарха, Тацита, Эпиктета, Сенеки и др.), энциклопедистов (Руссо, Монтескье, Вольтера, Паскаля, Декарта и др.), декабристов, годы непрерывных

духовных поисков, размышлений над глубинными проблемами бытия, годы стремлений и практических попыток определить своё место в тогдашней действительности.

Большинство исследователей и биографов Толстого, рассматривая факт поступления его на военную службу, оттеняют случайную сторону этого факта. Так, если Б. И. Бурсов, например, полагает, что на Кавказе Толстой оказался «более или менее случайно», то С. Н. Дорошенко в своём мнении по этому вопросу более категоричен: «Поступление Толстого на военную службу факт в его жизни совершенно случайный» (*Бурсов Б. И. Л. Толстой. Идеиные искания и творческий метод. М., 1960. С. 185; Дорошенко С. Лев Толстой — воин и патриот. М., 1966. С. 9).*



Л. Н. Толстой. 1851 г. Москва
Фото с дагерротипа К. П. Мазера

Такая категоричность не может не вызвать возражений. Если учесть сумму всех тех военных «внушений», о которых шла речь

выше, и прибавить к ним ещё ряд действовавших в этом же направлении субъективных и объективных факторов николаевского времени, знаменитого всевластьем «чиновнизма и капрализма», когда «казарма и канцелярия» (Герцен) заслоняли собой все другие поприща общественной деятельности и «рваться грудью в капитаны» было моральной нормой и практической целью, поощряемой всюду. Не зря с первого детства патриотизмом мозги были, скорее, исключением в сословии, к которому принадлежал Толстой. Как писал современник, «бесперывные войны, ведённые Россией со шведами, турками, поляками, татарами и горцами Кавказа, преобразовали нашу нацию в нацию военную» (*Цит. по кн.: Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969. С. 148*). Если учесть всё это, то можно сделать вывод, что в факте поступления Толстого на военную службу обнаруживается определённая закономерность. Более того: *фатальность*. Действительно, «военно-служилая» судьба подстерегала юного Льва... Среди бумаг троюродной сестры Л. Н. Толстого Екатерины Фёдоровны Толстой (в замужестве Юнге) сохранился листок с бесценной для нас записью воспоминания Л. Н. Толстого в беседе 16 июля 1886 г. с французским писателем Полем Деруледом, навестившим Толстого в Ясной Поляне:

«Когда он поступил в университет и пошёл к портному заказывать мундир, то офицер у портного разговорился с ним и спросил, на какую службу он пойдёт, военную или статскую, то он отвечал: “Разве порядочный человек может поступить иначе как в военную?”» (*Юнге Е. Ф. Воспоминания. Переписка. Сочинения. 1843 – 1911. М., 2017. С. 437*).

В конце 1840-х годов Толстой, формально числившийся с ноября 1849 года канцелярским служителем Тульского депутатского дворянского собрания и не работавший там ни одного дня, неоднократно задумывается о поступлении на военную службу. К этому времени, по его словам, он убедился в том, что «умозрением и философией жить нельзя, а надо жить положительно, т. е. быть практическим человеком» и что не следует строить «испанские замки и планы, для исполнения которых не достанет никаких сил. человеческих» (59, 29; 46, 38). Планы по поводу службы в армии кажутся наиболее реальными, если учесть его военно-дворянское происхождение.

Подытоживая, выразимся краткой формулировкой так: в роду Льва Николаевича не было палачей, но военных было довольно, да и личный драматический опыт военной службы был достаточен, для того, чтобы даже в «христианский период» отношение Льва Николаевича к военному сословию, военной службе, войску и войне существенно отличалось от отношения к смертным казням и их исполнителям. Отличия мы будем раскрывать в книге в ходе изложения, а ниже, именно для того, чтобы подчеркнуть их значительность и принципиальность, необходимо повторим ряд наших наблюдений и теоретических положений из упомянутой выше книги 2019 года — «Лев Толстой и Россия убивающая».

ТРИ. Очень важное

Помимо прочего, значительное наше внимание как в предшествовавшем исследовании о казнях, так и в теперешнем будет уделено малоизученному в последующее после смерти Толстого столетие периоду деятельности Толстого как христианского антивоенного публициста, с начала 1880-х по 1910 год. Так как к некоторым ключевым определениям мы будем относиться на протяжении всей книги, важно уже здесь, во вступительной её части, охарактеризовать те духовные позиции, тот мировоззренческий религиозный «фундамент», с которого велись Толстым-публицистом этих лет критика и проповедание.

Концепция трёх различных религиозных жизнепониманий, данная Толстым в полном виде впервые в сочинениях «Религия и нравственность» (1893) и «Царство Божие внутри вас...» (1890 – 1893) — недооценённый исследователями по сей день ключ к полноценному осмыслению позиции Толстого 1880 – 1900-х гг., Толстого-христианина, не только по собственно религиозным, но и по ряду общественных проблем, включая проблемы войн и других форм системного насилия.

Проанализировав в «Религии и нравственности» различные определения религии, Лев Николаевич приходит к выводу, что сущность всякой религии состоит в ответе на вопросы: зачем я живу и каково

мое отношение к окружающему меня бесконечному миру и перво-причине его?

На выражения этого отношения в различных вероучениях влияют, конечно, и этнографические, и исторические условия, и перетолкования, т. е. нечаянное и намеренное уродование учения его мнимыми последователями, но в сущности — их не более трёх: 1) первобытное личное, 2) языческое общественное, или семейно-государственное и 3) христианское, всемирно-божеское. При этом, подчёркивает Толстой, второе, общественно-государственное, жизнепонимание есть «только расширение первого».

Первое, низшее, жизнепонимание – это выражение отношения к жизни детей, нравственно-грубых людей и дикарей: они признают себя самодовлеющими существами, а смыслом своей жизни – благо личное. Такое жизнепонимание находит своё выражение как в языческих религиях, так и в низших формах исповедания буддизма (который Толстой именуется «отрицательным язычеством»), ислама и других т. н. «мировых» религий. Чем же живёт, во что верит человек низшего, наиболее эгоистического жизнепонимания? «Двигатель его жизни есть личное наслаждение. Религия его состоит в умилоствлении божества к своей личности и в поклонении воображаемым личностям богов, живущим только для личных целей» (28, 69). Характеризующая черта молитв при этом отношении к жизни – *просительность*: человек молит богов, святых о даровании земных благ и избавлении от страданий, об уничтожении личных врагов, о победах в поединках и т. п.

Второму, *языческому, семейно-государственному или общественному*, жизнепониманию соответствует в индивидуальном развитии человека возраст возмужания.

Человек, пробудившийся к этому, высшему чем первобытно-личное, жизнепониманию, признаёт значение своей жизни уже не в благе одной своей личности, а в благе известной совокупности личностей: семьи, рода, народа, «своей» церкви, «своего» государства, а в пределе – и всего человечества. Он готов жертвовать своим личным благом ради блага этих совокупностей. «Двигатель его жизни есть слава. Религия его состоит в возвеличении глав союзов: родоначальников, предков, государей и в поклонении богам – исключительным покровителям его семьи, его рода, народа, государства» (Там же. С. 70).

Это отношение людей к миру исторически выразилось в общественно-патриархальных религиях: государственной религии Рима, иудаизме (как религии избранного народа), исламе (как религии межплеменного единения), религиях Китая и Японии, а также – и в «исторически сложившихся» церковно-государственных извращениях христианства, включая сюда греко-российское православие.

На этом отношении человека к миру, указывает Толстой, зиждутся «все обряды поклонения предкам в Китае и Японии, поклонения императорам в Риме, вся многосложная еврейская обрядность [...], все семейные, общественные церковно-христианские молебствия за благоденствие государства и за военные успехи» (39, 9).

Наконец, третье, и высшее из открытых человечеству пониманий жизни — соответствующее в индивидуальной жизни человека возрасту опыта и мудрости — признаёт значение жизни человека уже не в достижении целей отдельной личности или совокупности таких (вплоть до человечества), а исключительно в служении человеком «той Воле, которая произвела его и весь мир для достижения не своих целей, а целей этой воли» (*Там же*). Для исполнения в мире воли Бога такой человек радостно жертвует не только своим личным, но и семейным, и общественным благом. «Двигатель его жизни есть любовь. И религия его есть поклонение делом и истиной началу всего — Богу» (28, 70).

Божий мир — наша общая учебная и творческая Мастерская. Человек — дитя Бога и посланник, работник Божий в мире, сотворец, ученик Мастера; даже тело его — не его, а Божье: инструмент совершенства в мире Божьей работы, а вовсе не получения чувственных удовольствий или обслуживания интересов (экономических, военных и пр.) других людей. Любая такая деятельность в угоду отщепенцам от замысла и воли Отца — преступное соучастие в нарушении учебной и трудовой дисциплины и техники безопасности в великой Мастерской. Соблюсти же их — значит соблюсти в себе любовное отношение к таким же детям Бога, как ты, и доверие к Истине, к учению Христа об истоках и смысле жизни, о назначении человека.

И это высшее, *всемирное, божеское* жизнепонимание «получило своё полное и последнее выражение только в христианстве — в его истинном, неизвращённом значении» (39, 10).

«Вся жизнь историческая человечества есть не что иное, как постепенный переход от жизнепонимания личного, животного к жизнепониманию общественному и от жизнепонимания общественного к

жизнепониманию божескому. Вся история древних народов, продолжавшаяся тысячелетия и заканчивающаяся историей Рима, есть история замены животного, личного жизнепонимания общественным и государственным. Вся история со времени императорского Рима и появления христианства есть, переживаемая нами и теперь, история замены государственного жизнепонимания божеским» (28, 70).

Перед этим, последним, пониманием жизни — грешны, так или иначе, мы все. Ему не последуют т. н. «преступники», которых мы, в беспомощности нашего безверия, благословляем общественным проклятием на тюремное мнимое «исправление» или на «наказание» смертью: они во многих случаях «скатываются» до первобытно-личного, и общественно-государственное жизнепонимание для них невятно, непостижимо и чуждо. Но так же не постигается и жизнепонимание всемирно-божеское, христианское — головами, не вытрясшими из себя прокисших тараканов «духовного наследства» язычников и евреев, Римского права и Ветхого Завета. Эти-то горячие головы, дорвавшиеся до мирской власти или до средств воздействия на общественное мнение, обманывают людей и ссорят их, провоцируют войны.

Реальная всевременная и всепланетарная общественная практика, при которой на суевериях оправданного насилия, «добра с кулаками» (ядрами, пулями, бомбами...), паразитирует орава мундированных бездельников, равно и тех особ (или особей?) при деньгах и власти, кто использует «право» и его силовую поддержку для расправы с неудобными — подменяется в интеллигентских головах упрощёнными схемами, а в головах простецов — и вовсе схемами примитивными, несущими в себе детерминанту ложных, субъективированных и эмотивно-окрашенных рефлексий: страхов перед агрессией извне, образами «врагов» и т. п. Первые при этом (учёные, журналюжные и иные интеллигенты) с искренним в своей наивности превосходством взирают на вторых, не осознавая, что, пусть и с разной степенью эгоистичности личных мотивов и дисциплинированности ума, подчинённости суевериям и фобиям человека как «общественного животного», но стоят-таки они на одном мировоззренческом фундаменте: языческом, общественно-государственном, и, конечно же, с атавизмами первобытно-личностного, эгоистического.

Для примера, а отчасти и в качестве историографической части нашего исследования (конечно, весьма неполной), рассмотрим несколько не самых старых научных публикаций по теме.

ЧЕТЫРЁ. Немного Историографии

Литература по проблемам войны в сочинениях Льва Николаевича Толстого обширна, особенно в России. Уже в советский период в ней отразилась обозначенная нами сложность оценочного анализа исследователей, допускающих некоторую предвзятость. Чаще же, в силу сложности отношения Толстого к войне, исследователи склонны сосредоточиваться на том, что актуально для них самих или для их времени. Сравните книгу «Молодой Толстой» (1922) блистательного Бориса Михайловича Эйхенбаума (1886 – 1959), предвосхищающую именно научное, серьёзное советское толстоведение, или же, например, антивоенную статью 1916 г. Леонида Петровича Гроссмана (1888 – 1965), в которой акцент сделан на ужасе войны (*см.: Гроссман Л. П. Стендаль и Толстой. Батализм и психология рас в литературе XIX века // Русская мысль. 1916. Кн. 6. С. 32 – 51*), с популяризацией Мстислава Александровича Цявловского, приветствующей в Толстом патриота и воина, напечатанной, с понятными целями, в «Литературной газете» за 17 ноября 1940 г.

Военная тема у Толстого приобрела в советском литературоведении особую актуальность со вступлением СССР во Вторую мировую войну. Само название «Великой Отечественной войны» устанавливает связь с имперской мифологией «Отечественной войны» 1812 года, а следовательно, и с «Войной и миром», автор которой, из глубоко личных, отчасти интимных побуждений, вполне искренне эту мифологию поддерживал. Обслуживание в СССР мифа в «великих» войне и «победе» породило новые, и преднамеренные, околонучные мифы и о «военном» Толстом. Сравним, в этом отношении, нападки на Толстого В. Б. Шкловского в 1936 г., в массовой популярной публикации (*см.: Шкловский В. Б. О старой русской военной и о советской оборонной прозе // Знамя. 1936. № 1. С. 218 – 227*), писавшего о нём как о «барине», который в своих опубликованных вещах, в «Севастополе в декабре месяце» и «Рубке леса», представил смягчённую

правду о царской армии по сравнению с её изображением в неопубликованных произведениях (таких, как «Записка об отрицательных сторонах русского солдата и офицера» 1855 г. – 4, 285 – 294), с позицией Лидии Яковлевны Гинзбург (1902 – 1990) (см.: Гинзбург Л. Я. О романе Л. Толстого «Война и мир» // Звезда. 1944. № 1. С. 125 – 138), для которой, как и для ряда участников других дискуссий вокруг Толстого, на первом плане было его мастерство в описании торжества общей, «роевой» жизни обороняющегося народа во время войны. Стоит отметить здесь, что статья Л. Я. Гинзбург была опубликована по окончании блокады Ленинграда, которую Лидия Яковлевна, как жертва сталинского имперства, пережила.

Из более-менее полезных по теме советских же публикаций следует отметить работы, дающие основную информацию о военной службе Толстого. Любопытно проследить, как Юрий Зиновьевич Янковский, например, примиряет те «кричащие противоречия» Толстого, на которые положено было, цитируя В. Ленина, пенять исследователям — возлагая «ответственность» за толстовский пацифизм на несправедливость старого режима и войн, которые при нём велись (см.: Янковский Ю. З. Человек и война в творчестве Л. Н. Толстого. Киев, 1978). В том же ключе, уловив «тренд» брежневской эпохи, пишут о Толстом-военном и «антивоенном» уважаемые авторы, любопытные своим стремлением вырваться за рамки советских идеологем, как Сергей Нестерович Чубаков (см.: Чубаков С. Н. Лев Толстой о войне и милитаризме. Минск, 1973; Его же. Всё дело жизни... Лев Толстой и поиски мира. Минск, 1975) и особенно Сергей Сергеевич Дорошенко (Дорошенко С. С. Лев Толстой — воин и патриот: военная судьба и военная деятельность. М., 1966). Последняя монография сохраняет своё не только историографическое, но научное значение благодаря скрупулёзности исследования автором именно периода военной службы молодого Льва Толстого, формирования и первых манифестаций того отношения к войне, из которого, как внук от родного дедушки, берёт своё начало пресловутый «пацифизм» Л. Н. Толстого 1880 – 1900-х гг.

На характеристической дефиниции «пресловутый» мы настаиваем — имея поддержку в лице ряда предшествующих исследователей, различающих как иногда диалоговые, но всегда самобытные явления — европейский пацифизм, русское сектантство и христианское, евангельское Слово миру Льва Николаевича Толстого.

Из немногочисленной группы монографических и диссертационных исследований, так или иначе затрагивающих проблему отказов от военной службы по убеждениям, ставшую объектом пристального внимания Л. Н. Толстого со второй половины 1880-х гг., особо выделяются монография Р. М. Илюхиной «Российский пацифизм вчера и сегодня» и диссертационное исследование Е. Ф. Скорика «Концепция ненасилия Л. Н. Толстого: история и современность». В самом конце прошлого столетия появляются уникальные, не утратившие историографического значения и по сей день, сборники статей «Долгий путь российского пацифизма: Идеал международного и внутреннего мира в религиозно-философской и общественно-политической мысли России» и «Пацифизм в истории. Идеи и движения мира», созданные международными коллективами исследователей. Эти сборники своим появлением ознаменовали признание в отечественной исторической науке актуальности важного и в значительной мере нового направления в исторической науке — изучения теории и практики доктрины миротворчества и ненасилия.

В сборниках исследуются проблемы истории российской мирной идеи в её международном и внутреннем аспектах, становления пацифистской идеи, её развития на заре Нового времени, появления обществ мира в Европе в XIX в., создания пацифистской доктрины в Европе и Азии и воплощения её в жизнь в деятельности антивоенных обществ. Однако авторы этих и других работ, изданных позднее, хотя и базировались на современных подходах к изучению истории, в силу ряда причин (тематики исследований, их объёма и т. п.) кратко отразили лишь отдельные стороны российской истории отказов от военной службы по убеждениям и государственной политики в отношении этих отказов.

На особом месте по значимости довольно давняя (1998 г.), но бесценная публикация Ёкоты Мураками «Лев Толстой и пацифизм со сравнительной и “генеалогической” точки зрения». «Толстой не употреблял термин «пацифизм». Он снова и снова подчёркивал идею «ненасилия», а не «пацифизма» -- этим тезисом открывает автор свою статью (Чубарьян А.О. (ред.) *Пацифизм в истории. Сб. статей.* С. 114). Даже знать этот новый для русского языка термин Толстой не мог до 1910-х.

А главное — не мог и быть пацифистом, несмотря на сближение с пацифистами как, по внешности, идейными союзниками. Дело в том, что сама концепция «пацифизма» — вторичное порождение, то

есть высерок и ублюдок, идеологии лжехристианского, забывшего истинное учение Христа, а потому, вместе с доверием попам, в конце концов, совершенно утратившего веру, секуляризованного мира. По этой причине он был органически *чужд христианскому миротворчеству* Льва Николаевича Толстого:

«Если “мир” означает в общем смысле ту ситуацию, где не употребляется насилие, а существует покой, “пацифизм” стремится достигнуть такого положения, в котором отсутствует (военный) конфликт между государствами».

Семантика «мира» у Толстого, констатирует Ё. Мураками, ближе к древнееврейскому «шалом» (*ивр.* שָׁלוֹם [ša'lo:m]), нежели к англо-американскому «peace» в современной “оксфордской” дефиниции. А у данной лексемы, именно שָׁלוֹם, в семантическое поле входит такой широкий ряд синонимов, как *мир с Богом*, гармония, целостность, полнота, процветание, благополучие и спокойствие. «Мир с Богом» — важнейшее из значений: это то же, что *вера живая* у Толстого, «слияние своей воли с волей Отца». Для еврея это означает последование Завету, для христианина — Слову евангельскому, Христу. Последователи же Христа, побеждая в себе *верой живой*, доверием Богу, соблазны и страхи человека как зверя, животного в природе — могут лишь мирно жить между собой и с другими, не христианскими, народами, не разделяясь по признакам этносов и, тем более, «наций», а будучи соединены общинами (без государства) и основанной Христом, единой во все века, Церковью. Sapienti sat!

Доктрина же «пацифизма» — вторичный паразит на самообманах лжехристианского мира, который через 1800 – 1900 лет после Христа так и не стал, в повседневности своей, христианским — *светом миру*, примером остальному человечеству!

Отсюда, кстати сказать, и знаменитые споры о значении слова «мир» в названии великого толстовского романа. Узуальная семантика современных русских «мир» и английского «peace» не тождественны глубоким смыслам древнего שָׁלוֹם, «шалом» — пожелания ближнему, то есть, первоначально, еврею по вере, удержать себя в Завете, в подчинении ведомой воле Сущего.

На это недоразумение указывает и Ёкота Мураками:

«Толстой не говорил о «пацифизме», которому способствовала современная концепция “peace”».

[...] Концепция «пацифизма» — продукт той современной идеологии, которая считает государство одной из самых важных единиц человеческого общества, т.е. продуктом современной идеологии нации (или, точнее говоря, национального государства), в которой (обманчиво) предполагается единство народа, языка и политической единицы (государства).

[...] «Пацифизм» возникает не в результате усилий разрешения конфликтов среди национальных государств: напротив, пацифизм и есть выражение той идеологии, в которой национальные государства считаются полномочными, независимыми политическими единицами, среди которых возможна и неизбежна (но, пожалуй, не очень желательна) война. Другими словами, в этой идеологии слово «peace» представляет собой лишь антоним «войны» и определяется только как отсутствие войны...

[...] Отсюда проистекает следующий по видимости парадоксальный тезис: международный закон не разрешает конфликтов среди национальных государств, а, будучи выражением парадигмы, включающей internationalism и национализм, он устанавливает и подтверждает конфликт как определённую систему. Это объясняет то, что концепция «права на войну (a right of belligerence)» возникла параллельно с развитием концепции национального государства. Пацифизм и право на войну — взаимодополняющие понятия; «пацифисты» могут представить «peace» только как отрицание или меньшую степень прав на войну. Только такой путь им кажется реальным. Значит, как это ни парадоксально, концепция «peace» в самом деле дополняет концепцию прав на войну.

А Лев Толстой либо стремился уничтожить именно такую парадигму, либо был совсем равнодушен к ней. Этим, наверное, можно объяснить его молчание о «пацифизме» в последних произведениях» (Там же. С. 115 – 116).

Добавим от себя: «конфликт как система» и «право» на системное, организованное насилие не могут не быть чуждыми *всякому* христианскому сознанию. Как и вся системная ложь, мешающая номинально христианскому человечеству принять за руководство в жизни расчищенное от праха церковных суеверий, возвращённое миру, спасительное учение Христа — оказавшееся в XX столетии более близким мышлению людей Востока:

«Отрицание Толстым современной парадигмы, которая включала понятия интернационализма и национального государства, было

слишком радикально, поэтому его не одобряли и не понимали. Однако Толстой стал чтимым учителем философии ненасилия как в Индии, так и в Японии» (*Там же. С. 117*).

Таким образом, Ёкота Мураками констатирует непримиримое «противоречие между толстовским понятием “ненасилие” и современным понятием “пацифизм”» (*Там же. С. 120*). Эта война между земным и Небесным будет — или до уничтожения «пацифизма» и подобных ему мирских лжей, или до скончания века!

Между тем, большинство авторов повторяют одну и ту же ошибку людей, обманутых учением мира: анализируя эволюцию антивоенного мировоззрения Толстого либо (что легче и потому делается чаще) последние, «еретические», его десятилетия — они либо христианское исповедание Толстого, и не одного Толстого, низводят к этакому «отсталому», не умеющему обойтись без Бога, пацифизму, либо «пацифизм», априори (по их схеме) исповедуемый Толстым и его единоверцами, именуют *христианским*. Дальше многих из таковых авторов зашёл Константин Владимирович Ствольгин в монографии 2010 года «Отказы от военной службы вследствие убеждений в Российской империи». Религиозное мировоззрение Толстого он именует «радикальным религиозным пацифизмом», причём на довольно шатких основаниях: на том, что Толстой «призывал следовать христианской истине “не убивай”» без всяких исключений», а «в силу этого он относился отрицательно к идее замены воинской службы другой альтернативной гражданской обязанностью», то есть вредил российскому обществу и призывникам своей эпохи, «поскольку такая замена смягчала бы остроту протеста против войны и насилия» (*Ствольгин К.В. Отказы от военной службы вследствие убеждений в Российской империи. Минск, 2010. С. 38 – 39*). Рассуждения автора более чем странны, учитывая свидетельства в монографии его глубокого знакомства с историей христианства с первых его веков — которые, как мы увидим, Толстой ставил для современников в образец последовательности и жертвенности отказа. Последование Христу — это не “сопли с сахаром” современных выкормышей буржуазных обществ, не консенсусы со злом, не *любовь плюс толерантность*, а — брань духовная, и нетерпимость, и кровь, и жертва, с пониманием обречённости человеческой жизни, в любом случае, концу, и пониманием необходимости в краткий земной век пребыть в воле Отца,

Бога, познанной из Нового Завета, из учения Иисуса Христа — до-прежде деяний и посланий апостольских, в которые уже проникают зло и обман мира. А основа евангельского отрицания *всяческого* участия христианина в системном, организованном насилии или угрозе его, составляющих сущность всякого государства — отнюдь не в ветхозаветной, Моисеевой заповеди «не убий», а — в Нагорной проповеди Христа, в притчах его и в примере его земной жизни, от учения к учительству и, наконец, к добровольной (в воле Отца) жертве.

Возникает резонный вопрос: при чём здесь пацифизм, который и появиться-то мог лишь на определённом этапе всё большего и большего отступления христианских народов от повиновения Богу и Христу, всё большего обдуманного, *системного* устройства жизни на началах, чуждых первоначальной Истине? Христианин не может служить разбойничьему гнезду государства не только солдатом, но и, например, врачом, лечащим побитых на войне или поэтом, войну и подвиги, и дрянные «победы» военные воспевающим.

Кроме того, эпоха Толстого ещё не была эпохой «терпимостей», консенсусов и симулякров: в России и ряде других стран в реальности (а Стволыгин предпочитает иметь дело с официальными статистиками) никаких «альтернатив» не предлагали. И не предлагают по сей день: право на АГС (альтернативную гражданскую службу) призывникам 2020-х гг. приходится отстаивать у тёти родины в судах — и далеко не всегда успешно!

В целом же книга Стволыгина написана пусть и без понимания христианских основ антивоенных выступлений Л. Н. Толстого, но — с глубокой симпатией и к Толстому, и к пацифистам и сектантам, о численности и социальном составе которых монография содержит ряд ценных сведений.

Для нас не менее ценно выделение автором из числа мистических (каких было большинство) и духовных (рационалистских) сектантских движений ещё одного направления, представители которого «порвав отношения с сектами, объединяются в особые группы и называют себя “свободными христианами”, “свободомыслящими”, “сынами свободы”» (*Стволыгин К.В. Указ. соч. С. 59*). Если духоборчество до влияния на него Толстого сохраняло признаки вполне догматизированной мистической секты, то само «толстовство», христианское исповедничество Л. Н. Толстого с учениками, помимо мистицизма, соединяло в себе и отщепенчества других сект: искание свободы (от рабства миру) и искания более глубокого понимания Бога и

единения с Ним (духовные). Это значительный признак истинности, *тождественности христианству Христа* значительной части воззрений Л. Н. Толстого.

Знакомясь с трудом другого толстоведа, уже XXI столетия, статьёй Коити Итокава «Об антивоенном пафосе в произведениях Толстого», опубликованной в 2010 г. в Туле, в научном «Яснополянском сборнике», остаётся лишь констатировать своего рода “проседание” в анализе проблемы «пацифизма Льва Толстого» японской толстоведческой мысли — по отношению к блестящим прозрениям Ё. Мураками в 1990-х. По выводам автора:

«После «перелома» в сочинениях Толстого появляется и сотни раз повторяется формула «непротивление злу насилием». Однако антивоенный пафос (иначе говоря, пацифистский дух) и непротивление злу насилием — не совсем разные позиции, они почти тождественны, ибо в них обеих — общий дух, дух Нагорной проповеди, вершины Евангелий. В основе первой — заповедь: «Вы слышали, что сказано древним: “не убивай; кто же убьёт, подлежит суду”. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, подлежит суду» (Мтф. 5, 21 – 22). В основе же второй — заповедь: «Вы слышали, что сказано: “люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего”. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мтф. 5, 43 – 44). Следовательно, две эти позиции из одного корня.

Первая и вторая половины жизни и творческого пути Толстого объединены и этими позициями, и этими заповедями. Из сказанного следует, что так называемого *перелома* в жизни и творчестве писателя, по сути дела, не было, не было двух четко разделённых «переломом» половин его жизни и творчества. Кажущийся переход от одного Толстого к иному — только переход от одной евангельской заповеди («не убивай») к другой («любите врагов ваших»)» (Итокава К. *Об антивоенном пафосе в произведениях Толстого // Яснополянский сборник. 2010. Тула, 2010. С. 99*).

В свете уже сказанного выше — заметим здесь кратко: автор глубоко заблуждается не только о пресловутом «переломе», который всё-таки был: «не убивай» — это заповедь не Христа, а Моисея для евреев, древнейший Завет, а пацифизм, как и было выше сказано —

и вовсе порождение секулярной, гнусной эпохи безверия Нового и Новейшего времени.

Очень значительны для нас и наблюдения Александра Степановича Кондратьева в статье 2002 г. «Религиозный идеал в творческом сознании раннего Толстого», где, однако, автор так же склонен к пересмотру концепции «духовного переворота» Л. Н. Толстого (*Кондратьев А.С. Религиозный идеал в творческом сознании раннего Толстого // Толстовский ежегодник. 2002. Тула, 2003. С. 341 – 351*). Автор справедливо настаивает, вслед за классиком толстоведения Б. С. Эйхенбаумом, на недопустимости «снисходительного» противопоставления «автора “Детства” и издателя педагогического журнала “Ясная Поляна” признанному всем миром мудрецу и духовному наставнику заблудшего человечества», когда художественно-философская концепция писателя, сложившаяся к концу 70-х гг. XIX столетия изучается «без соотнесения с ранним периодом его духовных исканий» (*Там же. 341*).

В то же время, на наш взгляд, А. С. Кондратьев делает существенную ошибку, предопределённую его принадлежностью к церковно-православному “лагерю” в толстоведении. Желая нивелировать значение именно посткризисных, или постпереломных, с начала 1880-х гг., «еретических» писаний Льва Николаевича Толстого, он ставит под сомнение духовный перелом конца 1870 – начала 1880-х гг. в Толстом, приводя в «доказательство» его же, Толстого, широко известное признание в ответе 1892 г. на письмо французского профессора Жоржа Дюма (Georges Dumas, 1866 – 1946), обратившего внимание на элементы христианской этики из позднейших проповедей Толстого-христианина уже в «Анне Карениной» и даже «Войне и мире». Толстой отвечал профессору так:

«Я думаю, что вы совершенно правы, предполагая, что перемена, о которой я говорю в “Исповеди”, произошла не сразу, но что те же идеи, которые яснее выражены в моих последних произведениях, находятся в зародыше в более ранних. Эта перемена показалась мне неожиданной потому, что я неожиданно её осознал» (*66, 188; оригинал на франц.*).

А. С. Кондратьев в связи с этим настаивает на «преемственности этапов» творческого пути Толстого (*Кондратьев А. С. Указ. соч. С. 341*). Но обратим внимание: Толстой говорит в ответе о «неожидан-

ности осознания» им накопившихся постепенно перемен в жизнепонимании, поставивших водораздел между его сознанием и прежней «верой отцов», а также прежним отношением ко многим реалиям жизни нашего лжехристианского мира, включая войну или смертную казнь. То есть, речь здесь надо вести, действительно, не о некотором «сломе» одного догматического мировоззрения в пользу другого, православного в пользу «еретического», а о динамическом, непрерывном процессе эволюции *системы* толстовского мировоззрения, в которой, именно по широко известному свойству всех открытых, саморазвивающихся систем, неспешные, «чуть-чуточные» изменения доверчивой к мирским лжам и заманкам юности сменились более скорым духовным развитием и неизбежным при этом обособлением в зрелые годы, подведя Толстого именно к той кризисной точке 1877 – 1881 гг., после которой он уже не мог верить ни прежним мирским лжам, ни учению церкви, и сознание его диалектически стало эволюционировать от необходимого прежде обособления — к единению с миром, но уже совершенно, качественно иного порядка: с единой, незримой, сокрытой до времени в мире Церковью, основанной Христом, но до сего времени не торжествующей, и с её адептами, соединёнными высшим, нежели еврейское или православное, религиозным пониманием жизни.

Таким образом, неосновательность противопоставлений юноши и молодого человека Толстого — Толстому же старцу не снимает проблемы «духовного переворота» Л. Н. Толстого указанного периода и не доказывает (к чему стремится православный тульский литературовед), что такового не было.

Зато доказательством, пусть и косвенным, в пользу «перелома» сознания Толстого, поворота в сторону независимого от церковных суеверий и лжи жизнепонимания первоначального христианства, служит, как ни странно, та самая запись в Дневнике Л. Н. Толстого от 8 марта 1910 г., когда Толстой, размышляя об одном, весьма известном, суждении из давнего своего письма к двоюродной тётке, умнейшей, замечательной графине *Александре Андреевне Толстой* (1817 – 1904), подтверждает, что и «теперь бы ничего не сказал другого». А. С. Кондратьев, для «доказательства» того, что ему хочется доказать, цитирует только этот обрывок, прибегая таким образом к умолчанию и подлогу. В источнике отзыв Льва-старца на суждение молодого Льва выглядит так:

«Вечер опять читал с умилением свои письма к Александре Андреевне. Одно о том, что жизнь труд, борьба, ошибка — такое, что теперь ничего бы не сказал другого» (58, 23).

Легко догадаться, что речь идёт вот об этом отрывке из письма Толстого к тётке Александре Андреевне Толстой, от 18 или 19 октября 1857 г.:

«Мне смешно вспомнить, как я думывал и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаянья, без путаницы жить себе потихоньку и делать не торопясь, аккуратно всё только хорошее. Смешно! *Нельзя*, бабушка. Всё равно, как *нельзя*, не двигаясь, не делая моциона, быть здоровым. Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость. От этого-то дурная сторона нашей души и желает спокойствия, не предчувствуя, что достижение его сопряжено с потерей всего, что есть в нас прекрасного, не человеческого, а *оттуда*» (60, 230 – 231).



Александра Андреевна Толстая.
Конец 1860-х.

«Рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать» — ведь это и есть описание крайне неустойчивого, что и характеризует все живые системы, но динамического, диалектически-последовательного и непрерывного духовного развития, когда сознание человека проходит через множество системных состояний: малых «кризисов» освобождения от заблуждений, от мирских соблазнов и лжей. И, подобно тому как время Христа мыслители нередко именуют рубежным, «осевым», то есть важнейшим среди прочих кризисных, поворотных этапов духовного роста человечества, так и в жизни человека Толстого приход к вере Христа, к выраженному в евангелиях новому, прежде неизвестному миру и до сего времени не принятому им, религиозному пониманию жизни так же должен быть признан важнейшим из непрерывных его «метаний» и исканий Истины.

Таким образом, отказавшись от противопоставления «двух Толстых» в эволюции антивоенной позиции писателя и мыслителя, мы не отказываемся от определения «кризиса», «переворота» и подобных, как описания «точки бифуркации» в эволюции воззрений Л. Н. Толстого как сложной открытой самоорганизующейся системы.

В Дневнике молодого Толстого и первых его сочинениях, «кавказского» и «севастопольского» периодов, А. С. Кондратьев видит значительную долю «религиозного мышления», устремлений молодого Льва к духовному единению с Высшим началом и освобождения от растлевающих соблазнов и искушений», с опорой на «нравственный закон» Христа (Кондратьев А.С. Указ. соч. С. 343 – 345). Бесценно наблюдение А. С. Кондратьева о сопряжении толстовского определения религии как «отношения человека... к целому, которого он чувствует себя частью», с его же суждением в Дневнике ещё 1853 года: «...Разум отдельного человека есть часть всего существующего, а часть не может расстроить порядок целого... образуй свой разум так, чтобы он был сообразен с целым, с источником всего, а не с частью, с обществом людей; тогда твой разум сольётся в одно с этим целым, и тогда общество, как часть, не будет иметь влияния на тебя» (46, 4).

С такой позиции остранения от мирской лжи Толстой приучил себя смотреть и на военную службу, и на самые войны. Толстому, по мысли А. С. Кондратьева, было предначертано «в атмосфере атеистического и нигилистического угара» заражённой секуляризмом и

безверием имперской России «способствовать укреплению религиозной аксиологии в духовной жизни соотечественников» (С. 344 – 347). Русский Христос, но одновременно и *спаситель Христа* для нас, *последний евангелист* — не менее того!

«Поздний» Толстой «открывает для себя <учение> Христа как путь достижения гармонии с собой и миром» (Там же. С. 345). Но и гораздо раньше, подчёркивает автор статьи, начиная с первых художественных сочинений, творчество Толстого уже пронизано «пафосом доверия к религиозному идеалу, воплощающему эсхатологическую перспективу, интуитивно освоенную в “легенде о Зелёной Палочке”, зарытой на Фанфароновой горе, и в мечте о “муравейном” братстве» (Там же. С. 348). Религиозный идеал, таким образом, был путеводным для Толстого на протяжении всего духовного пути.

Труды Нины Эльдаровны Бурнашёвой (1944 – 2020) останутся ещё для поколений исследователей образцом вдумчивой наблюдательности при работе с рукописным наследием Л. Н. Толстого. Для нас важны многие, впервые подмеченные ею, подробности работы писателя над ранними своими рассказами, над повестями «Казачи», «Хаджи-Мурат» и романом «Война и мир», а равно и отмеченные Ниной Эльдаровной особенности «взаимоотношений» писателя со своими персонажами: например, то, что любимые персонажи Толстого, близкие ему, участвуя в войнах, стычках и боях никого *не убивают* (Бурнашёва Н.И. «...Пройти по трудной дороге открытия». Загадки и находки в рукописях Льва Толстого. М., 2005. С. 225 – 248). Но, как повелось, в таких трудах, “слабым местом” автора являются некоторые *общие* выводы, тоже значительные для нашей темы. Так, в завершении одной из глав указанной выше книги, читаем у Нины Эльдаровны такой пассаж:

«Он <Толстой> пытался и на восьмом десятке жизни понять и объяснить, “под влиянием какого чувства” люди убивают друг друга, что переживают они в душе, когда “одурённые молитвами, проповедями, воззваниями, процессиями, картинами, газетами, пушечное мясо, сотни тысяч людей, однообразно одетые, с разнообразными орудиями убийства, оставляя родителей, жён, детей, с тоской на сердце, но с напущенным молодечеством, едут туда, где они, рискуя смертью, будут совершать самое ужасное дело: убийство людей, которых они не знают и которые им ничего не сделали” (т. 36, с. 106). Одно перечисление таких разнообразных внешних причин и

«влияний» говорило о том, что даже глубокий и тончайший психолог Лев Толстой, способный в “чужую боль” и в “чужой восторг переселяться”, “испытывал ужас [...] перед сознанием бессилия человеческого разума” (т. 36, с. 108), “перед помрачёнными умом и совестью” и за всю свою долгую жизнь так и не смог ответить на вопрос, с мучительной остротой и ясностью вставший перед ним ещё во времена молодости: “под влиянием какого чувства убил один солдат другого”» (*Там же. С. 249*).

Конечно же, это не так. Нина Эльдаровна цитирует в начале и конце данного отрывка “вопрос”, вставший перед главным персонажем рассказа «Набег», волонтёром на Кавказской войне. Но его можно, во имя точности, переформулировать и так: «Под влиянием чего люди соглашаются быть убийцами?» *Каких* помыслов и *каких* чувств? И откуда они берутся в них? И Толстой, не в одних перечислениях статьи «Одумайтесь», а и задолго до неё, отвечает на этот вопрос — себе и, через расстояние в десятки лет, своему автобиографическому *alter ego*, волонтёру. Он пишет о принуждении, подкупе как средствах вербовки в войско, а главное — о множестве обманов, оправдывающих и освящающих войну, главный из которых — поповский, религиозный. Как человек XIX столетия, он не мог бы ответить лучше! Он не мог знать о хорошо известном в наше время материальном, биохимическом влиянии на мозг и нервную систему человека как музыки, так и звучащих слов пропагандиста, а при настырном, навязчивом повторении, иногда принуждении к заучиванию — даже и печатных текстов! Он не владел термином *психическое заражение* — хотя, как психолог-литератор, неоднократно описывал его действие. Наконец, уже на Кавказе он самолично мог видеть, как страх солдат, на глазах которых убивают их товарищей, сменяется озверением, ненавистью к военному противнику... Низшая, до Творения, дочеловеческая природа возбуждается в человеке — в интересах тех, кто обманывает его и толкает на войну.

У Толстого был и главный ответ: на вопрос, что с этим делать. Ответ — христианский, религиозный, и основанный на этих же личном опыте и наблюдениях психолога. «Обличение лжи и утверждение истины» — так формулировал Толстой свою деятельность противостояния «заражению» нерв и сознания людей контрпродуктивными эмоциями и лжами. Соединение людей в общем религиозном руководстве жизнью, единой живой вере — это о том же, другими словами. Всякая живая, руководящая человеком, вера чудотворна.

Чудо же христианской веры — в обретении сил для утверждения в себе человеческого и подчинения низшего, первобытного, звериного. Человек стяжает эту благодать в обмен на подлинное доверие Богу, на вручение себя — Ему, безраздельно, а не мирским начальникам и владыкам. Нина Эльдаровна исповедовала православие, которое, к сожалению, не ставит перед адептами своими таких задач — зато лукаво проповедует повиновение мирским начальникам прежде Бога! В этом, думается, причина того, что, даже цитируя толстовский ответ на вопрос об основах в человеческой природе удобопреклонности ко греху насилия, повиновения, она словно бы «не замечает» его, не считает его таковым, то есть ответом!

Паноптикум подпутинских бюджетных уродцев (как в смысле публикаций, так и их авторов) уверенно пополняют Токарев Григорий Валериевич (Тула) и Яхьяиур Марзие (Тегеран) с их статейкой 2017 года (см: Токарев Г.В., Марзие Я., *Пацифистские взгляды Л. Н. Толстого // Исследовательский журнал русского языка и литературы, Vol. 10. 2017 (2), С. 29 – 40*).

В «Севастопольских рассказах» авторы находят «моральное оправдание патриотизма», что, само по себе, предсказуемо. «Если ранний Толстой поддерживал войну народную и освободительную, то поздний считал любую войну проявлением зла, насилия, негативно оценивал деятельность военного, патриотизм» — полагают они (Токарев Г.В., Марзие Я. *Указ. соч. С. 29*). Это упрощённая схема. Кризис мировоззрения, засвидетельствованный «Исповедью», отменить нельзя, но ряд источников именно из молодых лет Толстого, которые мы проанализируем ниже, заставляют предположить, что, ища «политических» или «народно-оборонительных» оправданий для военного насилия, Толстой сам себя «ловил» на недостаточности той неоригинальной, как правило, аргументации — даже при кропотливом её изложении на бумаге.

В «Хаджи-Мурате», с их же точки зрения, русская военная кампания на Кавказе показана с немалой долей цинизма (Там же. С. 34). Это неверно, так как «цинизм» в известном, действительно эмотивно окрашенном, описании разорённого аула и ненависти горцев (см. 35, 80) – это лишь попытка (обеспеченная личным опытом общения с горцами) взглянуть на совершившееся глазами не юного волонтера, как в рассказе «Набег», а самих горцев.

И, наконец — такой вот авторский «перл»:

«Увы, Толстой, как и при жизни, оказывается в оппозиции идеям государства, церкви, светской морали. Но он вместе с обычным человеком. Нужен ему и поддержан им» *(Там же. С. 38)*.

В этом заключении узнаётся один из авторов статьи, именно Гриша Токарев с его говнистым характером. Грише насрать даже на то, что, как сам он признаёт, фундаментом для толстовского «пацифизма» является евангельское учение Христа. Грише на тёпленьком месте в Тульском педагогическом университете кормней, спокойнее и приятней, со всею, как ему фантазируется, интеллектуальной элитой России, поддерживающей «государство, церковь» во всех их мерзостях и лжи, равно и «светскую мораль», подменившую для них, для «умных» религиозную этику, нравственный Христов закон ещё в эпоху Толстого, и даже ранее. Толстого же с его «пацифизмом» Токарев «отдаёт» умозрительному простонародью, «обычному человеку», толпе — как Пилат Понтийский отдал Иисуса Христа с его непонятной и презренной язычнику «истиной»!

Для анализа духовного пути «дохристианского» Толстого значительна публикация 2022 г. в журнале «Вопросы философии» А. К. Куликова «Проблема судьбы и героизма у Лермонтова и Льва Толстого. Философский анализ» *(Куликов А. Проблема судьбы и героизма у Лермонтова и Льва Толстого. Философский анализ // Вопросы философии. 2022. № 1. С. 122 – 133)*. Автор статьи проводит интересное сопоставление творчества двух великих классиков, у которых находит близость идейного содержания. Он утверждает: «Мир – творческий хаос в духе Гераклита, в котором клокочет жизнь, господствуют судьба и случай. [...] Сегодня реальны две альтернативы. Либо человеческая жизнь бесцельна и поэтому бесценна, [...] либо она бесцельна и поэтому пошла и скучна» *(Куликов А. К. Проблема судьбы и героизма у Лермонтова и Льва Толстого. Философский анализ // Вопросы философии. 2022. №1. С. 123)*.

Фатализм и героизм «Севастопольских рассказов», в особенности же эпопеи «Война и мир» противостоит христианскому пониманию истории и европейскому рационализму. Читаем у А. К. Куликова: «Неслучайно судьба и героика часто противопоставляются новоевропейскому рационализму: идеям свободной личности, разумного смысла и цели истории и жизни, которые символизируют как бы период «взросления» европейской культуры» *(Там же. С. 124)*.

Судьба у Лермонтова и Толстого, как и в понимании античных авторов, живших до Сократа, выступает как эстетическая категория. Героизм, хотя и не придаёт жизни смысл, но оправдывает её красотой, благородством. Приводится в пример Хаджи-Мурат. Автор статьи упоминает проявление «бездумной» храбрости молодого Толстого во время Крымской войны. Такую смелость будут демонстрировать его герои: Андрей Болконский и Хаджи-Мурат. Ему близка героика древней трагедии, дионисизм, стихийная энергия. Стихийную энергию Толстой «искал в сближении с роевой жизнью народа и в общении с крестьянскими детьми». Да, именно это, а не ответ на вопрос о смысле жизни, народу, а тем более детям, неизвестный! (*Там же. С. 125*).

А. К. Куликов пишет о родстве героики, утверждаемой писателем, с детским мировосприятием. Имеются в виду жажда жизни, полнота и невинность бытия. Здесь автор отсылает нас к древнейшей стихийной диалектике человечества — к учению Гераклита. Кстати, как отмечал ещё С. Н. Трубецкой, мышление Гераклита было интуитивным, он мыслил образами (*Трубецкой С. Н. Курс истории древней философии. М., 1997. С. 142*). А это свойственно так же гениям и детям. Автор статьи подчёркивает: «Во всем этом Толстой сближается с Лермонтовым, чей юный гений был, вероятно, ещё ближе к этой светлой детскости, единению с вечной природой, героике и вместе с тем детскости греческой лирики и трагедии» (*Куликов А. К. Указ. соч. С. 125*).

Природа у Лермонтова и Толстого олицетворяет идеал вечных свободы, мира и гармонии — тем самым, по мнению А. К. Куликова, выражая антизападный пафос в сознании молодого Толстого. Но отчего же антизападным? Обоснования автора неубедительны. Быть может, точнее его было бы назвать *антиправославным*, но не в сторону труднейшую, постигновения истинного христианства, а, скорее, в «руссоистскую» — первобытной воли и дикости, дарующих счастье без тяжких рефлексий? В этом смысле вся еврейская, авраамическая традиция, а не только принятая в европейских католичестве и протестантизме, подчиняет человека определённому, навязываемому воспитателями, пониманию жизни его самого и референтных для него общностей, да и общества, и человечества в целом.

При этом ни одно из «исторически сложившихся» течений христианства не освобождает человека от роковой детерминации первобытных, бессознательных влечений — поведенческих программ

агрессивного территориального животного, не изученных и, конечно же, неизвестных ни романтикам, ни Л. Н. Толстому. Отсюда близкое Толстому «антивоенное» недоумение и вопрошание героя лермонтовского «Валерика», которого цитирует, в подкрепление своей позиции, и А. К. Куликов и к которому мы неизбежно вернемся в основной части нашей книги.

Итак, в статье А. К. Куликова выявляется связь поэтики природы у Л. Н. Толстого с героикой, судьбой и детством. Героизм и судьба противопоставлены рационалистическому восприятию жизни и истории. Автор неубедительно оспаривает мнение Ю. М. Лотмана о восточном происхождении идеи судьбы у Лермонтова. Он считает, что тут не мусульманский, а античный фатализм. И приводит в пример купца Калашникова как наиболее чистый тип героизма. У других героев постепенно происходит вырождение этого свойства, фатализм подменяется психологизмом, чрезмерной рефлексией, самокопанием, пустословием. Наиболее рельефно в этом смысле выступает Печорин. Искажение, опошление фатализма, считает Куликов, приводит к профанации героизма.

Герой пытается преодолеть историю. «Таков, думается, главный корень колоссального дерева «Войны и мира». Это история, созданная против истории, против включения России в историческую жизнь Западной Европы» — выводит А. К. Куликов (*Там же. С. 127*).

Антиисторическая установка, по мысли автора статьи, направлена Львом Толстым против европейской классической философии. «В записях Софьи Андреевны читаем, как Толстой восхищался Шопенгауэром, считая Гегеля пустым набором фраз» (*Там же*). В истории нет смысла, ею правят случайности.

Но здесь нам стоит заметить, что, во-первых, увлечение Шопенгауэром автора «Войны и мира» не распространилось на последующие периоды жизни, в особенности годы христианского исповедничества, с начала 1880-х. А второе то, что в самом увлечении философией Артура Шопенгауэра в 1860-е Толстой был безусловным европейцем — разделившим «моду» на Шопенгауэра со многими своими ровесниками в Германии, Швейцарии, Франции... Ниже, в основном тексте книги, мы не раз вернёмся к этому оригинальному, озадачивавшему и раздражавшему И. С. Тургенева, парадоксальному европеизму Толстого, проявлявшему себя во многом — от наблюдений за европейской политикой и культурной жизнью, продолжая, в частности, симпатиями к неблизким в целом (продолжим убеждать

читателя и в этом!) антивоенным движениям в Европе, и завершая повседневными бытовыми мелочами.

«На рассуждения Пьера в духе Гердера Андрей Болконский отвечает: «Да, это учение Гердера... но не то, душа моя убедит меня, а жизнь и смерть, вот что убеждает». «Убеждают в необходимости будущей жизни не доводы» (Толстой, 1938, X, 117), – добавляет он». (Там же. С. 128).

Подобное мы, действительно, встречаем у Лермонтова. В статье-приводятся следующие строки из «Маскарада»:

Что ни толкуй Волтер или Декарт –
Мир для меня – колода карт,
Жизнь – банк, рок мечет, я играю,
И правила игры я к людям применяю.

Но беда концепции А. К. Куликова в том, что персонаж «Маскарада», именно Афанасий Павлович Казарин, своей концепцией жизни сближается отнюдь не с возлюбленными Л. Н. Толстым персонажами сочинений, а, например, с самоубийцей Анатолием Нехлюдовым в «Записках маркёра». С *диалектикой души* значительнейших толстовских персонажей сей замысел Лермонтова просто несопоставим. Фатализму и “философии” игрока Афанасия Казарина духовно противостоит не только однофамилец в романе «Воскресение», открывший для себя учение Христа, но и сам князь Андрей Болконский в романе «Война и мир» — поддавшийся *детской* увлечённости нового, неожиданного собеседника и друга, Пьера Безухова, и изменивший свои мрачные тридцатилетние взгляды на жизнь — подчеркнём: отнюдь не в сторону сближения с Гердером, а, хотя и сам не признавал этого, в сближение с рождественской и пасхальной *радостью* христианства, одинаково неведомой в лжехристианском мире, то есть в Европе и России как её части, всем тем, кто обманывает себя, обслуживая указанные выше первобытные атавизмы человеческой психики, вместо жертвенного противостояния им с общедоступным уже теперь 2000 лет духовным оружием христианской веры.

Наконец, в статье А. К. Куликова подчёркивается героический аристократизм персонажей произведений рассматриваемых классиков. С миром эллинской трагедии их роднит наличие страдания и не-

справедливости. У Лермонтова «в «Демоне» и «Маскараде» есть нравоучительное торжество справедливости над злом, но оно туда добавлено по требованию цензоров». «Два брата», «Вадим» – там этого нет.

«Несправедливость – не чья-то личная вина и коварный расчёт, а сама судьба, с которой отчаянно борется трагический герой. Именно так рассуждает приговорённый к смерти Пьер» (*Там же*).

Об этом эпизоде подробнее расскажем ниже, в особенной Главе нашей книги, посвящённой «Войне и миру». Здесь скажем кратко: страшное зрелище казни, с ожиданием собственной смерти, мытарства и духовное обновление Пьера — всё, с позиций христианского понимания жизни, проявления не несправедливости, а, напротив, *милости Божией*, ведущей к просветлённой радости, к новому качественно состоянию сознания, недостижимому для лермонтовских омрачённых, демонических «героев времени».

Н. А. Балаклеец (Вологда, Россия) в статье «Философия войны: Толстой и Клаузевиц» (2017) не просто убеждена в обширном знакомстве Толстого с сочинениями Карла фон Клаузевица, но и находит, что в романе «Война и мир» автор трактата «О войне» предстаёт как эксплицитный персонаж, атакуемый критикой как Толстого-художника, писателя (посредством образов, метафор, диалогов), так и метафизика и историсофа:

«...Война для Толстого бесцельна и бессмысленна не только в плане человеческого интеллекта, но и на метафизическом уровне. Слепая воля философии Шопенгауэра в отличие от гегелевского мирового духа не ведаёт никаких целей. Поэтому столкновение и гибель народов и отдельных индивидов в системе философских взглядов Толстого – это в корне бесцельный процесс, выражающий противоречивость и бессмысленность земного бытия» (*Балаклеец Н.А. Философия войны: Толстой и Клаузевиц // Социодинамика. 2017. № 1. С. 7*).

Современный автор Сэмюэл Мойн (Samuel Moyn), профессор Йельской школы права (Yale Law School) в Нью-Хейвене (Коннектикут, США), опубликовал в 2021 году статью «I Would Not Take Prisoners», содержащую близкий нашему, истинно свежий и оригинальный взгляд на эволюцию и особенности толстовской антивоенной мысли (<https://lithub.com/i-would-not-take-prisoners-tolstoys-case-against->

[making-war-humane/](#)). Ниже, помимо изложения, даём цитаты из указанной статьи в переводе.

На диалектически предопределённом пути к христианскому религиозному пониманию жизни, к отрицанию безбожного, так называемого «светского» гуманизма либеральной и иной пацифистствующей интеллигентской сволочи, Толстой «оделил» одного из несомненно любимых персонажей «Войны и мира», именно князя Андрея, некоторыми близкими ему в 1860-х годах мыслями. «Не брать пленных», не сохранять жизни сдавшимся в плен — это, по светской моралистике даже XIX-го, уже затронутого секуляризмом, века, безусловно «жестоко». Но всё же логично: сказав «А», «В», неизбежно прийти и до «О», и до «V», и, конечно же, до «Z». «С Богом» или без Оного. Честнее — без! А светское «жаление» солдатшек лишь затягивает войну — которая, при последовательном послушании Богу и Христу хотя бы одной из сторон военного конфликта не могла бы даже начаться!

Толстой работал над романом с 1863 по 1869 гг., то есть размышления кн. Андрея, подчёркивает проф. Мойн, может быть прямым откликом автора на первую Женевскую конвенцию и создание Красного Креста, о котором в своей позднейшей публицистике Лев Николаевич несколько раз выскажется довольно критически, с неприятием, вплоть до вынесения в заглавие статьи 1889 г. своеобразного лозунга: «Не Красный Крест, а крест Христовый!»

«Болконский у Толстого весьма недвусмысленно ссылается на первую робкую попытку империй гуманизировать свои непрерывные стычки: «...убивают моих детей, моего отца и говорят о правилах войны и великодушии к врагам», – говорит князь Андрей. И добавляет: «Не брать пленных, а убивать и идти на смерть!»

Позиция князя есть не что иное, как прямое осуждение идей Анри Дюнана (Анри Дюнан, фр. Jean Henri Dunant; 8 мая 1828 — 30 октября 1910), создателя Красного Креста. Осуждение, основанное не на императиве мира (к нему Толстой придёт позже), но на неординарной идее о том, что усиление войны будет косвенно способствовать миру».

В этом князь Андрей оказывается парадоксально близок теориям знаменитого и в наши дни Карла фон Клаузевица. Последний «утверждал, что цель сражения – полное и бесповоротное уничтожение», а в классическом труде «О войне» (1832) афористично заявлял: «Ошибки, проистекающие из доброты, самые тяжёлые». Считать бойню на войне грехом, который нужно искупить, или, что ещё

хуже, пятном на самом прекрасном занятии в жизни, есть моральная ошибка. «Тщетно или даже неправильно закрывать глаза на то, что есть война и на явные страдания, которые она причиняет», – объяснял Клаузевиц. «Сам факт, что бойня – ужасающее зрелище, должен заставить относиться к войне со всей серьёзностью, – продолжал он, – но не может служить оправданием постепенному приглушению мечей во имя человечности». И добавил: «Рано или поздно кто-нибудь придёт с острым мечом и отрубят нам руки». Человечность при такой геополитической данности — своего рода “опция”, «добавочная выгода а не истинная цель». Ученик Клаузевица Франц Либер в начале 1860-х, то есть ещё до написания «Войны и мира» Толстого, обнародовал военный Устав, исходящий из принципа, что «всё, что необходимо для войны, должно быть законным; и, если и имеют место чрезмерное насилие и страдания, то только потому, что того требует победа, а победа приближает мир». То есть залог мира — в жестокости и интенсивности войны.

«Князь Андрей, по иронии, звучит в унисон с Клаузевицем», когда утверждает, что «предоставленный сам себе, гуманизм будет порождать новые войны и требовать всё новых жертв».

Более того, замечает Андрей, сделайся война более гуманной, её станет гораздо легче начинать: ибо жизнь не поставлена на карту. «Если бы на войне не было такого великодушия, – продолжает он свою страстную проповедь, – мы должны вступать в войну только тогда, когда стоит идти на верную смерть».

Но далее проф. Мойн делает справедливый, на наш взгляд, вывод о том, что аргументы кн. Андрея основаны на спекуляциях:

«Сторонники гуманизации войны привели тот же самый аргумент. Ещё в 1864 году Гюстав Муанье назвал Женевскую конвенцию «пологим спуском, который сходится к единственному логичному завершению – тотальному осуждению войны». Законы войны станут «секретными средствами умиротворения», – предрекал Муанье в один из редких моментов визионерского энтузиазма. «Гуманизация войны может закончиться только её отменой», – пообещал он спонсорам.

[...] Короче говоря, не интенсификация косвенно способствовала бы умиротворению, а гуманизация.

[...] Поздний Толстой отказался от близорукого взгляда князя Андрея. Но Эйлмер Мод, его биограф и друг, был абсолютно прав в том,

что эта речь предвосхищала последующую более зрелую атаку Толстого на «гуманизм» по отношению к войне, как молния предвосхищает грозу.

Для князя Андрея главное – не предсказания, но правда и риск промолчать о ней. Облагораживание зла – это уловка, ведущая к компромиссам с совестью» (*Там же*).

А вот ещё одна теоретически бесценная для нашей темы концепция! Систему образов военной повседневности, представленную Толстым в рассказах Кавказского и Крымского циклов современный исследователь Маттиас Фрайзе характеризует значительнейшим определением: «бастионный хронотоп» (*Фрайзе М. Бастионный хронотоп // Лев Толстой и мировая литература. Вып. 20. Тула, 2021. С. 7*). Автор поддерживает точку зрения Б. Эйхенбаума о том, что Толстой преодолевает в своих повествованиях «с войны» лживую романтическую традицию её изображения: он «противопоставляет изображению массовых сцен концентрацию на отдельных персонажах, которых описывает не в исключительной ситуации опасности и проявления героизма, как можно было бы ожидать, а в их очевидной повседневности» (*Там же. С. 5*). Маттиас Фрайзе так же подчёркивает, что, по его выводам, «до Толстого война в литературе была представлена либо как индивидуальное взаимодействие выдающихся героев (Ахилл против Гектора, Давид против Голиафа, Александр против Дария), либо — в батальных сценах и панорамах — как взаимодействие коллективов: как в «Истории Пелопоннесской войны» Фукидида [...] так и в дальнейшей европейской традиции, восходящей к Иосифу Флавию («Иудейская война»), Вальтеру Скотту («Айвенго») и Виктору Гюго («Собор Парижской Богоматери»), и в русской — к Михаилу Васильевичу Ломоносову («Ода блаженныя памяти государыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года»), Михаилу Матвеевичу Хераскову («Россиада») и Гавриилу Романовичу Державину («На взятие Измаила»). [...] Вместо этого у Толстого появляется новая, ранее не использовавшаяся форма социального взаимодействия в ситуации войны — форма, которая возникает только в совершенно особых условиях — в условиях бастиона», и могущая поэтому, по мысли исследователя, быть поименованной «бахтинским термином — “хронотоп бастиона”». Этот хронотоп создаёт между уровнями массового военного действия и индивидуального военного действия третий

уровень — группового и в определённом смысле более близкого, «родственного», «семейного» военного действия» (Там же. С. 6 – 7).

* * * * *

Приведённые выше, с нашим кратким анализом, отрывки из некоторых авторских работ по теме «антивоенного» Л. Н. Толстого не исчерпывают, разумеется, историографических задач, которые мы могли бы реализовать в данном Введении. Но наша задача цитирования, буквально “навскидку”, некоторых авторов и комментирования их была совершенно иной: дать представление о том направлении нашей мысли, по отношению к единомышленникам и оппонентам в предшествующей научной литературе, которое будет сопровождать читателя и на страницах основной книги и, надеемся, доставит ему немало полезных и радостных минут.

ПЯТЬ. Наше видение проблематики

Лев Николаевич Толстой, психологически травмированный несколькими случаями жестокости старших в детстве, в сознательном возрасте практически *всегда* был противником жестокости, принуждений, насилия — включая, разумеется, и злейшие, системно-организованные их формы. Военные убийства и смертные казни никогда не были для него исключением, но отношение к этим формам насилия было у Толстого разное от начала — что связано было с условиями воспитания, формирования личности Толстого. Внушённое в детстве сословное уважение к военным, к военной службе давало себя знать. Палачей в роду Толстых не было — зато всегда были государственные служащие, и чаще всего военные. Обыкновенные же оправдания военной службы риском для жизни, необходимостью храбрости, бывшей для Толстого с юных лет безусловной моральной ценностью, невозможно было экстраполировать на судью и палача, зато (кстати сказать) без особых усилий возможно было — на «воинов» с общественными неправдами, радикальных оппозиционеров правительству. Именно этим, атавистическим, действием воспитывающего внушения положительного отношения к героизму, к бес-

страшию, к жертвованию своей жизнью, следует объяснить странный феномен, когда Толстой-христианин, отрицая методы революционеров 1870 – 1900-х гг., симпатизировал многим из них как жертвующим собой, бесстрашным личностям.

Но вернёмся к нашей теме... Значительный перелом в воззрениях Льва Николаевича Толстого на системно организованное насилие был связан с увиденным им в Париже в апреле 1857 г. зрелищем смертной казни.

Незадолго до этого Л. Н. Толстой, как многие гениальные люди, пережил очередной приступ депрессии, «сомнения во всём» (запись в Дневнике от 19 марта; ср. 5 апр.). Приступ был связан, как предполагает биограф его, Н. Н. Гусев, с его тогдашним «рассеянным, малодейственным образом жизни, недостаточной творческой и умственной работой» (*Гусев Н.Н. Материалы... 1855 – 1869. С. 190*). В облегчённой форме это было то же, что и знаменитая «арзамасская тоска», пережитая писателем гораздо позднее, в ночь на 3 сентября 1869 г., при сходных (рассеянное полубезделие путешественника) условиях.

5 апреля Толстой узнал, что утром на другой день предстоит на площади, перед одной из парижских тюрем, совершение публичной смертной казни посредством гильотины. Он решил поехать посмотреть на казнь.

Преступник, некий Франсуа Ришё, по профессии повар, был осуждён судом присяжных за два убийства с целью ограбления. 6 апреля в семь с половиной часов утра в камеру осуждённого вошли начальник тюрьмы, начальник полиции и священник, в сопровождении которых осуждённый отправился к месту казни, где сам, без посторонней помощи, поднялся по ступенькам на помост гильотины, поцеловал поданное ему священником распятие, — и через минуту всё было кончено.

На Толстого, видевшего до этого случая множество смертей на трёх войнах Российской империи, именно вид смертной казни произвёл потрясающее впечатление. «Больной встал в 7 часов, — записал он в Дневнике, — и поехал смотреть экзекуцию. Толстая, белая, здоровая шея и грудь. Целовал Евангелие и потом – смерть, что за бессмыслица! — Сильное и не даром прошедшее впечатление» (47, 121).

Не даром, ибо Толстой кое-что важнейшее понял в себе:

«Я не политический человек. Мораль и искусство. Я знаю, люблю и могу» (*Там же. С. 121 – 122*).

И здесь же — ещё более интимно-личное признание:

«Гильотина не давала спать и заставляла оглядываться» (*Там же. С. 122*).

Более подробно о впечатлении, произведённом на него зрелищем смертной казни, Толстой в тот же день, 6 апреля 1857 г., писал В. П. Боткину: «Я имел глупость и жестокость ездить нынче утром смотреть на казнь... Это зрелище мне сделало такое впечатление, от которого я долго не опомнюсь. Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но ежели бы при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека. Там есть не разумная [воля], но человеческое чувство страсти, а здесь до тонкости доведённое спокойствие и удобство в убийстве и ничего величественного. Наглое, дерзкое желание исполнять справедливость, закон Бога. Справедливость, которая решается адвокатами, которые каждый, основываясь на чести, религии и правде, говорят противоположное» (*60, 168*).

Толстой уже не верит в то, что посредством судебных приговоров осуществляется пресловутая «справедливость». Понемногу он подступает к тому, чтобы в принципе отринуть эту языческую категорию общественной этики: суеверие о справедливости, «которая решается адвокатами, которые каждый, основываясь на чести, религии и правде, говорят противоположное». В то же время в этом неприятии немало *эстетического* и *этико-эстетического*, восходящего как раз к представлениям языческого мира о прекрасном, о красоте, благородстве... Всего этого, как мы покажем ниже, он обнаружил немало на военной службе — которая, впрочем, быстро разочаровала его: не только чужестыю для него большинства её участников из числа служилого, офицерского сословия, но и *ощущением контраста* войны, как якобы определённого Свыше общего дела, красоте, и покою, и радости в природе, в Божьем мире и мудрой, тихой мирной жизни народов, казачьего и горских, которых военачальники волонтёра, подпоручика, поручика Льва Толстого распорядились убивать без жалости!

Но были среди служащих, офицеров и солдат, и праведники, и храбрецы, и хорошие друзья... Были храбрость, риск своею жизнью и подвиг. Всего этого он не находит ни в «технологичной» казни гильотиной, ни в глазающей на неё буржуазной толпе «демократических» французов: «Толпа отвратительная, отец, который толкует дочери,

каким искусным удобным механизмом это делается, и т. п.» (*Там же*).

И далее, мнение Толстого-воина, возненавидевшего даже военное, не столь мерзкое, как казни, системное насилие, о государственности и законах, задолго до знаменитых его «анархистских» статей:

«Закон человеческий — вздор! Правда, что государство есть заговор не только для эксплуатаций, но главное для развращения граждан. [...] Я понимаю законы нравственные, законы морали и религии, не обязательные ни для кого, ведущие вперед и обещающие гармоническую будущность; я чувствую законы искусства, дающие счастье всегда; но политические законы для меня такая ужасная ложь, что я не вижу в них ни лучшего, ни худшего. Это я почувствовал, понял и сознал нынче» (*Там же. Выделения в тексте наши. – Р. А.*).

И, как приговор самому себе и своей карьере, не только военной, но и в политике или в духовенстве:

«...Никогда не буду служить нигде *никакому* правительству» (*Там же. С. 193. Выделение в тексте – Л. Н. Толстого*).

Обратим внимание: задачей искусства Толстой 1850-х гг. полагает *счастье*, которое здесь явно синонимично «удовольствию». Этические же законы – *необязательны ни для кого*, хотя и полезны указанием религиозного идеала «гармонической будущности». Сколь значительны и важны эти отличия от христианского мировоззрения «позднего» Толстого!

Таким образом, для Толстого, в условиях последования им, с одной стороны, общественно-государственному религиозному пониманию жизни, с другой же — действия собственных благородных нравственных установок и результатов самовоспитания и личного жизненного опыта, отнюдь не «большее зло» (с мирских позиций) вело за собой отрицание «меньшего» (казней), а напротив: отвращение к деятельности правительств по «рационализации» гарантированных, без угрозы безопасности палачу или судьям, расправ над преступниками постепенно и логично вело Льва Николаевича Толстого к отрицанию такого же «прогресса» в зарезаловке людей военной: посредством современных вооружений и всеобщей воинской повинности.

Ненависть к «прогрессу», питаемая в молодые годы обожаемым Жан-Жаком Руссо, в возрасте зрелости приобрела у Льва Николаевича не замечаемые многими самостоятельные этико-эстетические основания, в которых соединились чувства аристократа и художника, служителя слова.

А со всеобщей воинской повинностью, «военным рабством» народов, органично соединилась эволюция духовная Толстого — к тому высшему религиозному пониманию жизни, о котором мы вели выше речь, к полюблению Истины и источника её в Боге и Христе.

Финальная, *третья стадия* – христианская, в отношении к феноменам казней и военного насилия, достигается Л. Н. Толстым во второй половине 1870-х гг. Толстой в эти годы немало общается с российскими сектантами, отрицавшими насилие и военную службу, и сам к концу десятилетия становится в эти годы активно и неортодоксально верующим человеком.

Примечательно, как Лев Николаевич уже с этих, новых, христиански-религиозных позиций вспоминает ту же смертную казнь 1857 г. в третьей главе «Исповеди» (1882):



Обложка издания «Исповеди» 1906 г.

«...В бытность мою в Париже, вид смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидал, как голова отделилась от тела, и то, и другое врозь застучало в ящике, я понял — не умом, а всем существом, — что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка и что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было теориям, с сотворения мира, находили, что это нужно, — я знаю, что это не нужно, что это дурно и что поэтому судья тому, что хорошо и нужно, не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я с своим сердцем» (23, 8).

Оценка «дурно» имеет здесь уже отчётливо нравственную коннотацию. Что именно *дурно* для Толстого? Дурна, как и прежде, *системная расчётливость* государственного палачества, своего рода проработанная до мелочей *технологичность* «процедуры» над беспомощной жертвой. (Саул Ушеревич соответствующую главу своей книги о смертных казнях в царской России так и назвал: «Техника казней». — см. Ушеревич С. *Смертные казни в царской России*. Харьков, 1933. С. 158).

Примечательно, что в «Исповеди» же Толстой решительно расходится с мирским отношением, как к нравственно допустимому, даже благому — и со многим прочим, случившимся в это жизни, не исключая военной карьеры и участия в войнах, и даже «успешного» в глазах мира писательства:

«Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть - всё это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны. Добрая тётушка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтоб я имел связь с замужною женщиной [...], ещё другого счастья она желала мне, — того, чтоб я был адъютантом, и лучше всего у государя; и самого большого счастья - того, чтоб я женился на очень богатой девушке и чтоб у меня, вследствие этой женитьбы, было как можно больше рабов.

Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей да войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любоддеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал, и за всё это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком. Так я жил десять лет.

В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал. Сколько раз я ухитрялся скрывать в писаниях своих, под видом равнодушия и даже лёгкой насмешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысл моей жизни. И я достигал этого: меня хвалили» (23, 4 – 5).

И вся эта гадость и подлость, которыми юноша и молодой человек обыкновенно “подгибает” себя под требования референтных для него личностей и общностей — всё с оправданием служения обществу, общественного блага!.. вот то, что будет в смертных казнях и в войне, в жизни военщины отвращать Толстого с этих лет и уже до конца дней!



«Так что же намъ дѣлать?»

Издание 1906 г.

А в социально-обличительном трактате 1884 – 1886 «Так что же нам делать?» читаем почти то же, что в «Исповеди», но с важной прибавкой:

«Тридцать лет тому назад я видел в Париже, как в присутствии тысячи зрителей отрубили человеку голову гильотиной. Я знал, что человек этот был ужасный злодей; я знал все те рассуждения, которые столько веков пишут люди, чтобы оправдать такого рода поступки; я знал, что это сделали нарочно, сознательно, но в тот момент, когда голова и тело分离лись и упали в ящик, я ахнул и понял — не умом, не сердцем, а всем существом моим, что все рассуждения, которые я слышал о смертной казни, есть злая чепуха, что сколько бы людей ни собралось вместе, чтобы совершить убийство, как бы они себя ни называли, убийство худший грех в мире, и что вот на моих глазах совершён этот грех. Я своим присутствием и невмешательством одобрил этот грех и принял участие в нём» (25, 190).

Судье, палачу, толпе ничего не грозит. Кто-то получит за это действие жалование, а кто-то – потребные эмоции. Совсем не то на войне... Если бы кто-то из гостей московского дома Толстых, высказавшись, стандартно и грубо, против войн и военных, после того стал бы защищать «необходимость» смертных казней, мнение Толстого, в эти годы и позднее, о таком человеке было бы — как о самом *низком*, подлом, не близком для “тонкокожего” на ощущение людей Толстого-аристократа и Толстого-художника.

И, наконец, о том же, о парижской казни — в самом знаменитом публицистическом выступлении Льва Николаевича против казней, статье 1908 г. «Не могу молчать»:

«Ужаснее всего то, что делается это не по увлечению, чувству, заглушающему ум, как это делается в драке, *на войне*, в грабеже даже, а, напротив, по требованию ума, расчёта, заглушающего чувство» (37, 85. *Выделение наше. – Р. А.*).

Важнейший для автора мотив, выраженный в статье — желание посредством своей печатной манифестации снять с себя груз вины за *безопасное*, пассивное участие, как бы одобряемое «пользование», такими государственными «услугами».

Начиная писанием свой манифест о казнях, Толстой плакал.

Но вот если бы Лев Николаевич известился, что кто-то из его соседей-помещиков защитил себя и семью в жесточайшем, с опасностью для жизни поединке с атаковавшими его дом бандитами — такими

же, каких приговаривали к казни при П. А. Столыпине — безусловно, его непосредственные чувства не поддержали бы столь же эмоционально резоны христианской веры, которые он мог бы выдвинуть против такого факта «противления насилем» с очевидными храбростью и риском для жизни атакованной разбойниками жертвы.

Это своеобразное наследие «этико-эстетической» стадии духовной эволюции Толстого, которую Толстой забрал с собой в «последний путь» — на главное своё поприще жизни: христианское проповедание и обличение зол общественного жизнеустройства. Такое наследие предопределило ряд издержек, кажущихся либо подлинных «противоречий» Толстого как проповедника и публициста.

Ниже мы особенно подробно рассмотрим общественную и публицистическую деятельность Льва Николаевича именно на этой стадии эволюции его неприятия системного насилия войны, со всеми интеллектуальными и духовными высотами, но и с противоречиями писателя, мыслителя и публициста, в ней себя проявившими. Однако, исходя из нашего воззрения на *закономерность* смены лишь внешне «противоречивых» высказываний Л. Н. Толстого о войнах и военном насилии в печати, мы и в этом, как прежде в духовно-интеллектуальном, процессе выделим свои, нестрогие по границам, периоды: литературно-художественный, религиозно-философский и общественно-публицистический. Средний из них приходится на период с середины 1870-х по конец 1880-х годов, то есть от времени религиозных исканий и сомнений Толстого, даровавших ему христианское религиозное основание для его прежнего, эстетического и светски-гуманитарного, неприятия системного насилия, включая военные убийства, до времени замышления и создания, в тяжелейших, но и поучительных, духовно *преображающих* условиях, религиозно-философского и одновременно общественно-политического трактата «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание» (1890 – 1893). В этот период Толстой уясняет для себя неизбежные для христианина выводы в отношении войны, но в то же время стремится знакомить читателя не столько собственно с этими выводами, сколько именно с основанием их в религиозной вере. Это важно уяснить себе и помнить читателю, чтобы не склоняться к атрибуции позднейших антивоенных воззрений Л. Н. Толстого как светски-гуманистических или

«пацифистских». Для исповедника учения Христа пацифизм избыточен, нелеп.

В названном трактате, «Царство Божие внутри вас...», помимо значительнейшей для нас концепции *религиозных жизнепониманий*, наличествует и обобщение опыта Л. Н. Толстого в дискурсе, устном, эпистолярном и посредством печати, с современниками, включая членов семьи, на тему войны и мира, военной службы, обмана светского и религиозного, оправдывающего и освящающего войну... После этого трактата и вызванного его цензурным запрещением в России, а ещё более нецензурным содержанием общественного резонанса, Толстой, уже до этого вынужденно, с 1881 года, зимовавший, по воле семейства, в Москве, как вполне светский и «публичный» человек, знаменитый литератор и религиозный проповедник, стал публичным авторитетом и в рамках этой тематики, что вызвало необходимость других выступлений и вместе составило третий, важнейший для общества, для человечества, общественно-публицистический период в выражении Толстым антивоенных настроений.

Но прежде всего, в Первой части нашей книги, мы остановимся, конечно же, без претензий на полноту, а тем более на уникальность нашей аналитической картины, на периоде наиболее хронологически длительном и, на самом деле, наиболее противоречивом: первом, относящемся к преимущественно литературно-художественным писаниям Л. Н. Толстого о войне: от кавказских повестей до вершины «дохристианского» художественного творчества Л. Н. Толстого, романа «Война и мир».

В чём антивоенное содержание этого периода — подробно будет сказано ниже. Коротко же: природный по месту рождения, усадебный по воспитанию и деревенский по народолюбивым пристрастиям крепостника-аристократа, молодой Лев, волонтёр, а впоследствии и офицер, участник двух больших войн России, взирает на войну как проявление *ужасающей, но неизбежной* дисгармонии в природе и в природосообразной повседневности гибнущих на его глазах солдат — преимущественно бывших крестьян. Он жалеет народ, и даже не обязательно русский народ — находя уже в рассказе «Набег» слова понимания и для горцев, чей мирный уклад в аулах был разрушен войной. Наблюдая сопротивляющихся, «немирных» жителей Кавказа и атакующих их, по чужим приказам, военных рабов имперской тётки родины в составе российского войска (а

в Крыму – и войск французского, английского), Толстой воспринимает *выживание* последних, даже с бравадой и шутками, как ненормальное искажение ценной, мирной и трудовой, их повседневности, в условиях которого нравственно высокие качества, как то солидарность и храбрость, требуются для выживания и убийств, по чужим приказаниям, военного противника, а не для *живой и настоящей*, не для мирной жизни.

Нездорова, ненормальна не оставляемая ими привычками жизнь зрелых мужей, но сколь гибельней, хотя по внешности привлекательней для столь ярко проявляющей себя в юной чувственности первобытной, атавистической животности человека, эта жизнь для юных персонажей Толстого, у которых на пути воспитания и социализации встают страшные задачи: убивать и, наконец, быть самым убитыми!

Чем более захлёстывают молодого Льва патриотические эмоции, «прививку» для которых и в его сознании подготовило воспитание, тем далее он отходит от осознания всей мерзости и лжи такого принуждения людей к убийству друг друга, но *особенность* этой безумной жизни, по отношению к норме для человеческого в человеке — не теряет из виду никогда и описывает в образах и красках поистине ярчайших.

Из размышлений над представленной выше концепцией «бастионного хронотопа» Маттиаса Фрайзе о «родственном» и «семейном» в отношениях между собой участников боевых действий, у нас рождаются некоторые, вероятно, не предвиденные автором выводы, позволяющие связать даже самые патриотичные, чуждые отрицанию войны описания молодого Толстого — с самыми эмоциональными и глубокими по смыслам выступлениями против военного насилия и подготовок к нему Толстого-христианина 1880-1900-х гг.

Стихийно осиротелый, согнанный в военное рабство крестьянский «мир» складывается, в мельчайшей повседневности своего походного и бастионного выживания, в ту автономную от правительств и военачальников, живущую по своим непостижным законам *общинную агломерацию*, при которой остаются важны лишь общие вера для этического братства в Боге и Христе, язык для коммуникации и честный перед товарищами образ жизни. При должных воспитании и распространении в людях этих морально бесценных слагаемых разумной жизни — государства, правительства, войска, военщина и самые войны сделались бы невозможны! А вот в военных условиях,

в мельчайшей повседневности жизни общинников эта жизнь принимает выморочные, болезненные формы и подталкивает более слабых из солдат и даже офицеров либо к мелким нравственно порицаемым проступкам в отношении товарищей, либо даже к нарушению дисциплины, трусости, предательству... Среда провоцирует их, и в этом повинны не столько личные их пороки, сколько сама сущность военной среды — до понимания чего молодому Льву, добровольцем напросившемуся в 1852 году на военную службу по примеру старшего брата Николая, было, разумеется, ещё очень далеко! Невозможно, однако, понять множественные уникальные именно для личности Толстого интенции в его общественно-публицистическом протесте против войны в 1890 – 1900-е годы, не проследив его трудный путь к этой очевидности. Этим мы теперь и займёмся уже непосредственно.





**Часть первая.
СЛУЖБА ГОСУДАРЮ...
И БОЖЬЕЙ ПРАВДЕ ИСТИНЕ**

**Глава Первая.
ЮНОСТЬ «ПАЦИФИСТА»**

1. 1. РАННИЙ НАБЕГ НА ТЕМУ ВОЙНЫ

И с грустью тайной и сердечной
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?»

(Лермонтов «Валерик»)

Война всегда интересовала меня.
Но война не в смысле [учёных] комбинаций великих полководцев —
воображение моё отказывалось следить за такими громадными действиями:
я не понимал их — а интересовал меня самый факт войны — убийство.
Мне интереснее знать, каким образом и под влиянием какого чувства
убил один солдат другого,
чем расположение войск при Аустерлицкой или Бородинской битве.

(«Набег»)

В разумном дитя Бога, в человеке, военного-армейского зверя будят различными средствами: не только словом пропаганды, устным и письменным, но и звуками, запахами, эмоциями... Не “очаковское курение” при посещении горшка — так любимые книжки, стихи, лошадка и барабан... Так или иначе, а на натоптанные дорожки мирского обмана загоняются, в каждом поколении, почти все.

Вот и молодой, 23-летний Лев, ведомый обманом, внушённым ему лжехристианским миром, весной 1851 года выбирает из нескольких мирских поприщ, вслед старшему брату Николаю — военную службу.

В 1847 году Толстой бросает Казанский университет, недовольный и общими условиями сложившейся в Казани жизни, и ходом преподавания наук. Бросает не совершенно: помимо хозяйства и отношений с крестьянами, юным Львом намечено за два года подготовиться и сдать экзамены. Толстой начинает посещать Тулу и Москву, живёт там подолгу и ведёт светскую жизнь. Конечно же, скоро рождается неудовлетворённость ею, а перспектива службы канцелярской крысой в Дворянском депутатском собрании в Туле буквально отпугивает чудесного львёныша. В том же 1847 году, в поиске нового образа жизни, он чуть не уезжает с зятем в Сибирь. Позже, в 1849 году, будущий писатель внезапно едет в Петербург, где опять возникают мысли о сдаче экзамена за университет.

В этот приезд в Петербург Толстой и задумался впервые о военной службе. В связи с союзнической кампанией России в Венгрии: подавлением, по просьбе австрийского императора, революционного восстания, Толстой в письме к брату Сергею от 1 мая 1849 г. делится замыслом «вступить юнкером в конногвардейский полк» (59, 45). Это не было осуществлено, и, скорее, характеризовало очередное охлаждение Толстого к подготовке экзаменов — на скучную, как петербургские присутственные места, профессию юриста.

В конце декабря 1851 года с Кавказа приехал в отпуск брат Николай, офицер-артиллерист, служивший ещё с 1844 года. Тогда, будучи в Москве, юный Лев посетил брата в лагере под Москвой и здесь впервые столкнулся с военно-армейским бытом и обществом офицеров, о коих вынес для себя самое невыгодное впечатление. В письме к *Татьяне Александровне Ёргольской* (1792 – 1874) (тётка и воспитательница Л. Н. Толстого, троюродная сестра отца Л. Н. Толстого Николая Ильича Толстого) он тогда не без насмешки писал: «Бедный малый, ему плохо в лагере... А товарищи его... Что это за грубые люди! Как посмотришь на эту лагерную жизнь, получишь отвращение к военной службе» (59, 12). Отвращение лишь усилилось,

когда юноша узнал о применении офицерами в отношении солдат телесных наказаний. Несомненно, под этим впечатлением позднее, в повести «Юность» Толстой вывел нелепый образ всё прокутившего и продавшего себя в рекруты студента Семёнова, которого Николенька Иртеньев с товарищами навещает в казармах. Как ни мрачно описана жизнь в казарме, с тяжёлым запахом и храпом на нарах сотен выбритых, однообразно одетых рекрутов, едва освещённых несколькими ночниками, ещё страшнее для морально чистого и гордого юноши размышления Семёнова, который радуется, что он дворянин, а значит его не будут колотить и сечь прутьями по заднице, да ещё, если только начнётся война — можно выслужиться в офицеры!

Иначе говоря, эстетическое отвращение к впечатлениям казарм и порки розгами сочетается в сознании Толстого уже тогда с неприятием этическим: вразрез с внушением воспитателей, юноша видит правду о том, что военная служба способна отнюдь не облагородить, а, скорее и чаще, массовой, развратить человека.

Но охота пуще неволи... Канцелярская служба страшней! И Толстой, переговорив с братом и другими близкими людьми, решается ехать на Кавказ, в компанию возвращавшемуся из отпуска брату. Подчеркнём: добровольцем, ещё не военнотружущим, а волонтером.

Кавказ считался в те годы своеобразным приютом для некоторого рода «беспутных» людей, преимущественно молодых недотёп — не нашедших ещё своего поприща после 20-ти от роду лет. Главным местом стоянки 4-й батареей батареи 20-й артиллерийской бригады, в которой служил Николай Николаевич Толстой, была станица гребенских казаков Старогладковская Кизлярского округа Терской области, расположенная на левом берегу Терека. 30 мая братья прибыли на место, и в первый же день по приезде в станицу вечером Толстой развернул взятую с собой и начатую тетрадь Дневника и занёс в неё следующее: «Пишу 30 июня [описка — вместо «мая»] в 10 часов ночи в Старогладковской станице. Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже» (46, 60).

В письме к Т. А. Ёргольской от 12 ноября 1851 года Толстой называл свой с братом отъезд «внезапно пришедшей в голову фантазией». Но значительно позднее, в вариантах к повести «Казачья», мы находим, по вероятности, вполне автобиографичные «откровения» о куда более весомых причинах отъезда на Кавказ Дмитрия Оленина:

«Он говорил себе, что ехал для того, чтобы быть одному, чтобы испытать нужду, испытать себя в нужде, чтобы испытать опасность, испытать себя в опасности, чтоб искупить трудом и лишениями свои ошибки, чтобы вырваться сразу из старой колеи, начать всё снова,

и свою жизнь и своё счастье. А война, слава войны, сила, храбрость, которые есть во мне! А природа, дикая природа! думал он. Да, вот где счастье! решил он и, счастливый будущим счастьем, спешил туда, где его не было» (6, 250).



Станица Старогладковская.
Рисунок Евгения Лансере. 1928 г.

И это всё — правда жизни и автора... кроме последних слов: Толстой, в отличие от возлюбленного персонажа «Казачков», не столь увлечён был романтической химерой, и своё счастье на Кавказе он отыщет! Гораздо позднее Толстой признался в своём Дневнике, что, уезжая на Кавказ, он «больше всего надеялся» на роскошную кавказскую природу и, кроме того, на то, что на Кавказе в нём разовьётся «лихость». Хотя позднее, уже в дунайской армии, Толстой, в очередной раз пребывая в настроении самообличения, пишет, что он сам себя «угнал» на Кавказ, «чтобы бежать от долгов и, главное, привычек» (*Запись в дневнике от 7 июля 1854 года; 47, 8*).

Была и ещё одна причина, на которую исследователи творчества писателя этого периода почти не обращают внимания и которая в свете рассмотрения эволюции толстовских взглядов на войну имеет

особое значение, — это идея присоединения Кавказа к России мирным путём. В черновом варианте повести «Казачья Оленин обдумывает и составляет «план мирного покорения Кавказа» (6, 253). Об автобиографичности этого замысла свидетельствует дневниковая запись от 29 мая 1852 года: «Мечтал целое утро о покорении Кавказа» (46, 119).

При всей фантастичности этого замысла у него была и реальная основа. Впоследствии, в 1876 – 1878 годах, писатель работал над эпическим полотном, главной, возлюбленной автором мыслью которого должна была стать мирная «завладевающая сила русского народа», представлявшаяся Толстому, по пересказу его жены С. А. Толстой, «в виде постоянного переселения русских на новые места на юге Сибири, на новых землях к юго-востоку России, на реке Белой, в Ташкенте и т. д.» (*Толстая С.А. Дневники: В 2-х т. М., 1978. Т. 1. С. 502 [Запись от 3 марта 1877 г.]*). Именно тогда у него перед глазами могла встать картина заселения русскими Кавказа, к истории которого писатель проявлял живейший интерес в период всего пребывания там.

В исторических же источниках сохранилось немало свидетельств о мирном характере отношений между местными кавказскими племенами, народностями и поселившимися там русскими людьми, преимущественно казаками. Исторические корни этих отношений уходили в давние времена, в XIV — XV века. «Вольные казаки, ходившие в варяжское молодечество на Волгу, рано узнали дорогу к устьям Терека. Здесь находили они превосходные зимние стоянки и обильные уголья для рыболовства и охотничьих промыслов, которыми вольное казачество кормилось в героический период своего существования. Сюда же укрывались они от преследований царских ратей, очищавших Волгу от разбоев. В разветвлениях последнего течения Терека терялась черта, разграничивающая шемхальские и кабардинские владения, и в эту приморскую местность стекались разные выходцы из Нижней и Верхней Кабарды, из кумык, чечкизов (чеченцев), из больших и малых ногаев и даже кубанских адыгов (черкес). Всё это были люди того же пошиба, что и русские вольные казаки, а поэтому последние с ними легко якшались и уживались» (*Попко И. Теркские казаки с стародавних времён. СПб., 1880. Вып. 1. Гребенское войско. С. VI—VII. [Вступительный очерк.]*).

В книге того же автора находим: «Казачья держались в своих гребнях благодаря поддержке князей Нижней или Малой Кабарды, землю которых они прикрывали, и приятельским связям с малоинтересными и немусульманскими тогда соседними чеченскими обществами, из которых брали даже себе жен» (*Там же. С. V*).

От взора Толстого, приехавшего на Кавказ, не укрылся мирный характер отношений между казачеством и местным горским населением. «Живя между чеченцами, — писал он позднее в повести «Казачи», — казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев» (6, 16).

Толстовская мысль о мирном, ненасильственном присоединении Кавказа оказалась — и не могла не оказаться — несбыточной. По справедливому замечанию Бориса Ивановича Бурсова, с такой мыслью в то время «нечего было делать на Кавказе» (Бурсов Б.И. Л. Толстой. *Идейные искания и творческий метод*. М., 1960. С. 350).

Для молодого Льва начался долгий путь к очевидности: к тому, чтобы признать сначала себя человеком *невоенным*, сущностно негодным к «государевой службе» в войске, а впоследствии и самую войну — безумием множества людей, в котором нравственно невозможно участвовать.

Все предпосылки к этому, хотя он того и не признавал, были при нём и в нём. В черновой рукописи (№ 7, ред. III) к первому своему «кавказскому» рассказу «Набег», о котором мы поведём речь ниже, Толстой устами своего рассказчика, молодого волонтера, признавался в том «невоенном» интересе к войне, который в сильнейшей степени выразит в романе «Война и мир»:

«Война всегда интересовала меня. Но война не в смысле комбинаций великих полководцев — воображение моё отказывалось следить за такими громадными действиями: я не понимал их — а интересовал меня самый факт войны — убийство. Мне интереснее знать: каким образом и под влиянием какого чувства убил один солдат другого, чем расположение войск при Аустерлицкой или Бородинской битве. Для меня давно прошло то время, когда я один, расхаживая по комнате и размахивая руками, воображал себя героем, сразу убивающим бесчисленное множество людей и получающим за это чин генерала и бессмертную славу. Меня занимал только вопрос: под влиянием какого чувства решается человек без видимой пользы подвергать себя опасности и, что ещё удивительнее, убивать себе подобных? Мне всегда хотелось думать, что это делается под влиянием чувства злости; но нельзя предположить, чтобы все воюющие беспрестанно злились, и <чтобы объяснить постоянство этого неестественного явления> я должен был допустить чувства самосохранения и долга <хотя к несчастью весьма редко встречал его. Я не говорю о чувстве самосохранения, потому что, по моим понятиям, оно должно-бы было заставить каждого прятаться, или бежать, а не драться.>

Что такое храбрость, это качество, уважаемое во всех веках и во всех народах? Почему это хорошее качество, в противоположность всем другим, встречается иногда у людей порочных? Неужели храбрость есть только физическая способность хладнокровно переносить опасность?» и т. д. (3, 228 – 229).

По-видимому, довольно точно описал Толстой своё душевное состояние перед отъездом на Кавказ в одной из черновых рукописей повести «Казачи», где сказано, что Оленин, «говорил себе, что ехал для того, чтобы быть одному, чтобы испытать нужду, испытать себя в нужде, чтобы испытать опасность, испытать себя в опасности, чтобы искупить трудом и лишениями свои ошибки, чтобы вырваться сразу из старой колеи, начать все снова — и свою жизнь и свое счастье. “А война, слава войны, сила, храбрость, которые есть во мне! А природа, дикая природа!” — думал он. — “Да, вот где счастье!” — решил он...» (6, 250).

Ощущение нового, счастливого состояния повергло в трепет Толстого (а в повести «Казачи» Оленина), когда он, урождённый житель бесталанной и прозаической «русской равнины», впервые увидел снеговые горы. В повести это состояние передано автором с дотошной биографической и психологической точностью. Рано утром Оленин «вдруг... увидал — шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту — чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчётливую воздушную линию их вершин и далёкого неба. И когда он понял всю даль между ним и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон». Когда же Оленин «мало-помалу начал вникать в эту красоту и *почувствовал* горы», «всё, что только он видел, всё, что он думал, всё, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор». О чем бы он ни думал, всё возвращалось к одному и тому же: «а горы...» (Там же. С. 13 – 14).

Результаты этой поездки окажутся — куда более многообразные, не могущие быть предвиденными юным Львом. К личностным результатам можно отнести начало никогда не завершившегося преодоления Толстым «соблазна тщеславия», угождения окружающим внешнестью, «комильфо». Кстати, накануне приезда на Кавказ, как вспоминал Толстой, эта «комильфотность» приняла у него формы чрезмерные, иногда просто смешные. Биограф Толстого, личный друг и единоведец во Христе П. И. Бирюков передаёт следующий анекдот, покаянно рассказанный ему самим Львом Николаевичем:

«Настроение Льва Николаевича во время этой поездки продолжало быть самое глупое, светское. Он рассказывал, как именно в Казани

брат его заставил его почувствовать его глупость. Они шли по городу, когда мимо них проехал какой-то господин на долгушке, опершись руками *без перчаток* на палку, упёртую в подножку.

— Как видно, что какая-то дрянь этот господин.

— Отчего? — спросил Николай Николаевич.

— А без перчаток.

— Так отчего же дрянь, если без перчаток? — с своей чуть заметной ласковой, умной насмешливой улыбкой спросил Николай Николаевич» (Бирюков П.И. *Биография Л.Н. Толстого: В 4-х тт. М. - Пг., 1923. Том 1. С. 74*).

Такие рассуждения о перчатках — продукт той же искусственной среды лжехристианской цивилизации, что и оправдывающие, освящающие войну идеи и теории: эволюционная, националистическая, церковно-религиозная... Но стоит бекжать из этой среды, и!..

Невиданные горы стали первым впечатлением «из другого мира», в котором люди живут *иначе*, не будучи ничем «ниже», глупее, дичее своего наблюдателя. Путешествия дарят ощущение единства мира, как Божьего всехнего хозяйства, данного человечеству для трудов во славу Его, а не драк, равно как и ощущение *возлюбленной непохожести* людей других культур, верований — непохожести, за фасадом которой один общий смысл «хождения перед Богом», служения Ему как дети Отцу, как ученики работники, сотворцы — великому Творцу мастеру, хозяину мира, наставнику чад Своих и учеников. Путешественник, если он не безумец и не грубо идеологически ангажированный человек — не может быть поклонником войны!

Экстровертирование сознания Толстого на новые впечатления приведёт его к наблюдениям не только пейзажей, но и окружающих, в условиях бивачных и боевых: «так тяжкий млат, дробя стекло, куёт булат», так питается «мозг костей» интеллектуального и духовного станового хребта Великих Львов мира: так возрастал в начинающем писателе художник-психолог. И выводы этого художника и наблюдателя людей, человека честного перед собой и нравственно, сравнительно со многими даже в его эпохе, чистого, не могли не оказаться нелицеприятны для военщины, для книжной цензуры имперской России и даже для России как таковой — аристократической и казённо-служивой!

Толстой застал на некоторой специфической стадии затяжную агрессию Российской империи по отношению к кавказским народам, начатую ещё в XVII столетии и активизировавшуюся после Георгиевского трактата, поставившего грузинские царства, угрожаемые Турцией и Ираном, под протекторат России. С 1816 по 1826

годы командиром отдельного кавказского корпуса был генерал Алексей Петрович Ермолов (1777 – 1861). Тактика войны, проводившаяся Ермоловым, состояла в том, чтобы последовательно вытеснять горцев вглубь неплодородных скалистых ущелий. Оставленные горцами местности занимались казаками. Именно Ермолов начал применять новый способ борьбы с горцами — систематическую рубку лесов с целью глубокого проникновения в их земли.

Ермолов положил в основу усмирения Чечни крутые методы. По его приказу, если чеченская семья отказывалась выдать какого-то своего члена, совершившего даже не только нападение на русских солдат, но и воровство в русских и казачьих поселениях, то вся семья подлежала аресту. Если жители аула укрывали такую семью или позволяли ей бежать, то обязаны были выдать её родственников. Если и родственники скрывались, то аул подлежал уничтожению. Причём мужчин было велено не брать в плен.

Не в последнюю очередь, именно жестокость Ермолова спровоцировала последующий всплеск фанатизма горцев, религиозное движение мюридизма и явление Шамиля.

В 1834 году горцы избрали предводителем войны против «неверных» (имамом) *Шамиля* (1797, Гимры, Дагестан – 1871, Медина), который мужественно вёл борьбу с имперской Россией в течение 25 лет. Тактика Шамиля состояла в том, чтобы задерживать наступление русских войск, изматывать их в постоянных стычках, а при отступлении их причинять им большие потери неожиданными и непрекращающимися атаками. И вот русские начали часто и по заслугам получать от воинов Шамиля увесистых пиздюлей. Ряд неудач в борьбе с горцами в 1840 – 1842 годах и окончательное упрочение власти Шамиля в Чечне и Дагестане заставили русское военное командование перейти от наступательных действий к оборонительным. В 1842 году Николай I запретил все вообще наступательные действия против горцев. Шамиль между тем усилил вооружённое противостояние и повёл среди верующих мусульман усиленную агитацию за полное изгнание русских с Кавказа. Русские войска перешли к позиционной войне. Начинается систематическая рубка лесов, служивших препятствием к движению войск. Прорубаются широкие (на ружейный, а иногда и на пушечный выстрел) просеки. Захваченные пространства укрепляются. У горцев постепенно отнимаются все их главные точки опоры. Просеки, пролагаемые русскими войсками, всё больше и больше стесняют горцев и заставляют их уходить вглубь бесплодных гор.

В первое время жизни на Кавказе Толстой, повторяя внушённые ему мифологемы войны, выражал уверенность в том, что в войне

русских с горцами справедливость на стороне русского агрессора. Этому мнению, однако, не суждено будет пережить относительно краткого времени пребывания молодого Льва на Кавказе: наблюдения над действиями, над жестокостью и над личными моральными качествами некоторых «христианнейших» соотечественничков колеблют его в доверии лжи, внушённой русским православным воспитанием.

Имперская политика в этом крае в те годы осуществлялась наиболее естественным — насильственным — путём. С первых дней пребывания в действующей армии Толстой стремится самостоятельно, используя личные впечатления, разобраться в сложных и многообразных причинах войны, в том числе в причинах её длительности. Он глубоко интересуется характером, целями, общим смыслом этого события, затянувшегося на многие десятилетия. Такое отношение будущего писателя к войне в решающей мере предопределило реализм его военной прозы.

Толстой, будучи на Кавказе, увидел ещё одну причину, отличную от тех, о которых распространялась официальная историография: русскому самодержцу и его генералитету война нужна была больше, чем победа, нужен был «рассадник» боевых генералов и офицеров и военный полигон, чтобы поддерживать «дух» войск, военный психоз в империи. По этой не единственной, но значительной причине война сознательно затягивалась «понятливыми» кавказскими наместниками. К тому же под пули горцев в любое время можно было послать лиц, неудобных правительству — «авось их там убьют» (Лесков Н.С. *Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 10. С. 166*).

В начале 1900-х годов Толстой, в одном из черновиков «Хаджи-Мурата» (рукопись № 51), так писал о войне на Кавказе: «Успех горцев надо было приписать тому, что русские баловались в войну, поддерживали войну, убивали горцев и губили жизни своих солдат только затем, чтобы поддерживать практику убийства и иметь случай раздавать и получать кресты и награды» (35, 458). При этом писатель назовёт в повести конкретные имена «баловней», а также конкретные случаи такой «практики». Горцы же «голодные, оборванные, с средневековым оружием и с теми пушками и снарядами, которые они отнимали у русских, из последних сил, с отчаянным религиозным упорством боролись за свои дома, за свои семьи, за свою веру» (Там же).

Уже в первые годы своего пребывания на Кавказе Толстой не мог не заметить странного характера войны. В первой редакции первой кавказской повести Толстого «Набег», над которой молодой писатель работал с мая по декабрь 1852 года, есть примечательный диалог

впервые участвующего в сражении добровольца и старого капитана, долго служившего на Кавказе:

«— Как вы предполагаете: куда идёт этот отряд?

— Что предполагать?.. верно, опять на завал, больше идти некуда.

— Какой это завал?

— А вот какой это завал: в четвёртом годе, когда мы его брали, в одном нашем батальоне было 150 человек потери, в третьем годе две сотни казаков занеслись вперёд, да и попали в такую трущобу, что из них вряд ли десятый человек вернулся; да и в прошлом годе опять-же под этим завалом нас пощёлкали-таки порядочно.

— Неужели этот завал так хорошо укреплен, что его никак нельзя взять?

— Какой, нельзя взять, да его каждый год берут. Возьмут да уйдут назад, а они его к будущему году ещё лучше укрепят.

— Отчего же не удержат навсегда это место, не построят крепость?

— А подите спросите, — отвечал мне капитан» (3, 218).

Речь здесь отнюдь не о своеобразных домыслах военнослужащих о начальстве, как можно было бы подумать. Точка зрения Толстого подтверждается и некоторыми историческими документами. «Борьба на Кавказе ознаменовала всё почти царствование императора Николая рядом непрерывных военных действий, которые, среди всех доблестных подвигов и чудес храбрости, более или менее состояли именно только в борьбе, а не в решительном преоборении», — с грустной иронией писал старший современник Толстого, барон Модест Андреевич Корф (1800 – 1876) (*Из записок барона (впоследствии графа) М.А. Корфа // Русская старина. 1900. № 1. С. 25*). Издерживались немалые суммы на “кормушку” для титулованной бездари: «на множество комитетов, комиссий, экспедиций, чиновников и проч.», «сыпались, наконец, щедрые награды, и всё это обращалось, более или менее, в одни результаты личные» (*Там же. С. 26*).

В книге Поля Лакруа «История жизни царствования Николая I» сообщается следующий интересный разговор фельдмаршала Дибича с русским императором по поводу Кавказской войны: «Можно было бы легко окончить это в одну кампанию, если бы это было угодно вашему величеству. Но лучше, чтобы война на Кавказе продолжалась: это лучшая школа как для генералов, так и для русских солдат» (*Цит. по: Сергеенко А. «Хаджи-Мурат»: неизданные тексты // Литературное наследство. М., 1939. Том 35 – 36. Л. Н. Толстой. I. С. 517*).

Полный курс этой «школы» прошёл и Толстой...

Вначале многое на Кавказе разочаровало Толстого. «Природа, на которую я больше всего надеялся... не представляет до сих пор ничего

завлекательного. Лихость, которая, я думал, развернётся во мне здесь, тоже не оказывается», — писал он в дневнике ночью при свечке, сидя на барабане в палатке (46, 61). Сослуживцы брата показали ему людьми совершенно невоспитанными и необразованными. «Слишком большая разница в воспитании, чувствах, взглядах моих и тех людей, — пишет он Т. А. Ёргольской, — которых я здесь встречаю, чтобы я испытывал малейшие удовольствия с ними» (59, 177).

Однако вскоре его мнение о людях и природе края коренным образом изменится. Позднее же не раз он будет высоко отзываться о подполковнике Алексееве, командире батареи, как о прекрасном человеке и добром христианине; о капитане Хилковском как «о старом солдате из уральских казаков, простом, но благородном, храбром и добром», послужившем, как известно, прообразом центральной фигуры его первого военного рассказа «Набег», а также о других офицерах, солдатах и казаках, с кем пришлось ему делить два года bivачной жизни на Кавказе.

Жизнь солдат и офицеров на далёкой окраине, в непосредственной близости от неприятеля, во многом отличалась от условий, в которых находились войска в центральной России. Несмотря на тяготы боевой обстановки, отношения между солдатами и офицерами в воинских частях носили более мягкий, более гуманный характер, отсутствовали бессмысленная вахтпарадная муштра и одуряющая шагистика, столь характерные для армии николаевской эпохи.

Но особенное впечатление на Толстого произвело гребенское казачество — это неповторимое своеобразие военного братства, с издавна «присущим ему духом молодечества» (Попко И. Указ. соч. С. 34). «Странно, что мой детский взгляд — молодечество — на войну, для меня самый покойный», — пишет он в дневнике после полугодового пребывания в казачьей станице (46, 90 – 91).

В свободное от службы время (а его у Толстого было достаточно, ибо командир батареи Алексеев не делал притеснений на этот счёт, а, узнав о литературных успехах молодого автора, вовсе освободил его от служебных тягот) он занимался охотой, чтением книг, изучением языков, истории края и истории России, джигитовкой и, наконец, тем, что начинает доминировать над всеми другими видами деятельности — работой над литературными произведениями. Окружающая действительность давала богатейший материал для его творений. Художественное творчество, в свою очередь, помогает глубже осознать действительность и определить своё отношение к ней. И, прежде всего, отношение к такому явлению этой действительности, как война.

В первые же месяцы нахождения в Старогладковской Толстой проявляет горячий интерес к быту, психологии, образу жизни казаков, а с некоторыми из них, особенно с *Епифаном Сехиным* (Епишка, Япишка; ? – к. 1850-х), поддерживает дружеские отношения до самого отъезда из станицы. «Теперь я снова в одиночестве, и в полном одиночестве», — такую запись в Дневнике Толстого можно найти за это время (59, 92). Характерно, что и Епифан Сехин тоже был «одинец»: «...на станичные сборы не ходил, общественных дел не касался... Знал лишь своё ружьё, охоту, сети, попить да погулять. Никому не услуживал, а любили его все. Про него чудеса рассказывали: славный был джигит, но потом от войны отказался, почему, никто не знал» (*Гиляровский В. Старогладковцы. – В кн.: Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 218*). Такие отзывы о Сехине, явившемся прообразом дяди Ерошки — эпической фигуры будущих «*Казаков*», — услышал Владимир Алексеевич Гиляровский в 1900-х годах от старогладковцев, помнивших Сехина.



Толстой Л.Н. и Сехин Епифан (казак)

Художник М. В. Нестеров. 1928

О своём твёрдом решении остаться служить на Кавказе пишет Толстой родным из Старого Юрта 24 июня 1851 года (см. 59, 113). Последним толчком к принятию окончательного решения послужила встреча с двоюродным дядей Ильёй Андреевичем Толстым (1813 – 1879), с которым они вместе посетили князя *Александра Ивановича Барятинского* (1815 – 1879), у которого И. А. Толстой служил адъютантом. Барятинский и И. А. Толстой пытались уговорить молодого человека поступить в действующую армию волонтером. «Многие мне советуют поступить на службу здесь и, в особенности, князь Барятинский, которого протекция всемогуща», — сообщал родным Толстой.

Вскоре назначенный главнокомандующим Кавказской армией князь Александр Иванович Барятинский (1815 – 1879), по отзывам современников, был одним из наиболее способных и энергичных генералов. Начальником штаба у него одно время служил Дмитрий Алексеевич Милютин (1816 – 1912), ставший впоследствии военным министром. Во многом благодаря решительным действиям Барятинского и его помощников было значительно ускорено ведение войны, закончившейся в 1859 году пленением Шамиля. Вот как отзывался о Барятинском участник Кавказской войны, бывший офицер, военный историк Арнольд Львович Зиссерман: «Не счастливая звезда князя Барятинского, не слепая благосклонная ему судьба, не одно утомление истощённого неприятеля, не одни лишь большие данные ему средства, как силились утверждать многие, были причиной успеха. Нужен был план, плодотворная мысль, можно сказать, вдохновение, энергия, настойчивость, действия без колебаний, без растерянности, и всё это было принадлежностью князя, его заслугой» (Зиссерман А.А. *По поводу записок М.Я. Ольшевского // Русский архив. 1895. № 1. С. 128*).

Сохранились свидетельства и о других качествах, характеризующих Барятинского с положительной стороны, с той стороны, которая больше всего могла импонировать Толстому, — о более гуманном, по сравнению с предшественниками, отношении Александра Ивановича к противнику. В воспоминаниях князя Дмитрия Дмитриевича Оболенского содержится хвалебный отзыв современника (тост на обеде в Английском клубе в Санкт-Петербурге) о том, что Барятинский победил непокорных горцев «не силою русского оружия, а, собственно, обаянием своей личности, умом, великодушием и правдою, и что в силу всего этого к нему князя и народности кавказские привязались» (59, 115). Отзыв, безусловно, преувеличен, но наверняка не лишён и значительной доли правды.

В силу определённого «обаяния» личности Барятинского его советы, вероятно, должны были получить для молодого Толстого особую убедительность. Не последнюю роль играет аргумент князя об уже проявленном Толстым спокойном, мужественном хладнокровии во время июньского набега на аулы горцев, в котором Толстой, ещё не планируя участвовать в боевых действиях, участвовал как наблюдатель, даже и одетый не по-военному: в штатском платье и фуражке с козырьком.

Так или иначе, но после убеждений со стороны родни и обаятельного князя Толстой начинает хлопотать об оформлении на военную службу. Фактическое же «употребление» Толстого на службу произошло не сразу. Пришлось пережить долгие месяцы ожидания и потратить немало хлопот, прежде чем коллежскому регистратору 4 класса Тульского губернского правления (к тому же не исполнявшему эту должность ни одного дня!), с мая 1851 по январь 1852 находившемуся в батарее и принимавшему участие в её боевых действиях на положении вольноопределяющегося, было позволено написать прошение о зачислении в артиллерийскую бригаду (с одновременной при этом подпиской о непринадлежности к масонским ломам и другим тайным обществам). После сдачи соответствующих экзаменов он мог приступить лишь с 1 января 1852 года к исполнению обязанностей уносного фейерверкера IV класса, получив отныне возможность, по его шутливому признанию, иметь удовольствие делать фронт и провожать глазами встречных офицеров и генералов (см. 59, 129).

Военная карьера Толстого, в отличие от карьеры многих его предков и родственников, не была удачной. Уносным фейерверкером пришлось прослужить ему ни мало ни много — почти два года, так как для увольнения с гражданской службы, после чего могло произойти производство в офицеры, нужно было специальное постановление правительствующего сената, подтверждающее дворянское происхождение вольноопределяющегося. Указ сената был издан лишь в октябре 1855 года, т. е. тогда, когда были позади годы службы Толстого не только на Кавказе, но и на Дунае, и в Крыму. Только благодаря родственным связям с командующим Дунайской, а позднее Крымской, армиями *Михаилом Дмитриевичем Горчаковым* (1793 – 1861) и его протекции вопрос о производстве был решён без бумаг, подтверждавших графство и дворянство Толстого. И он к тому времени, когда пришли нужные бумаги, служил в действующей армии уже в чине подпоручика. Волокита же с производством в офицеры, немало попортившая крови вольноопределяющемуся, а затем унос-

ному фейерверкеру, дала ему возможность основательно ознакомиться со степенью бюрократической невменяемости в работе военной и государственной машины, характерной для России.

Травматический либо просто глубоко негативный опыт военной службы выразился в творчестве Л. Н. Толстого многообразно. Например, уже тогда «из вполне конкретной ненависти к Наполеону — разрушителю феодальных пережитков и отчасти личных неудач на военной службе у Толстого родилась антиполководческая теория», выразившаяся в «Войне и мире» — заключил в 1935 году замечательный советский литературовед Николай Иванович Замошкин (1896 – 1960) (см. *Замошкин Н. Толстой и война // Знамя. 1935. № 11. С. 169*).

Но, главное для нас: в этот период формируется антивоенная позиция Толстого — как опытное подтверждение уже детского, сердечного отвращения к насилию.

Участвуя впервые в «деле» — в набеге Чеченского отряда в июне 1851 года на аулы Автуры и Герменчук, Толстой, как мы уже сказали, подобно Безухову в Бородинском сражении, был наблюдателем, ещё не военным человеком, а только волонтером — но смог увидеть в войне нечто такое, что не могло не привести его к сомнениям в правомерности своих честолюбивых устремлений. В «Войне и мире», как известно, на вопрос князя Андрея о расположении войск перед Бородинским сражением Пьер ответил, что он, как невоенный человек, может быть, не вполне, но всё-таки понял общее расположение. На это Болконский насмешливо замечает, что в таком случае он, Безухов, знает больше, чем кто бы то ни было (см. 11, 204). Уже устами волонтера в черновом наброске «Набега», задавшего вопрос бывалому «кавказцу» о завалах, гласит, пожалуй, та истина, что он «знает больше, чем кто. бы то ни было». В этом специфика занятий безумных, которыми занимаются как бы взрослые, обманутые миром, люди, и на которые ребёнок или свежий, менее других ведомый обманом человек способен взглянуть со спасительным и одновременно творчески продуктивным острашением, недоверием...

И отнюдь не один этот счастливый, хотя и не всегда положительный жизненный опыт обрёл Толстой в годы кавказской службы. Главное, что там он – родился как писатель. Именно на Кавказе пишется прелестное «Детство». Там же, и уже на «взрослом» опыте военной службы, параллельно с «Детством», пишет Толстой и первые из цикла военных рассказов — «Набег» и «Рубка леса».

Над «Набегом» автор работал с 22 мая по 26 декабря 1852 г. В основе сюжета рассказа — реальное событие, набег на аул горцев летом 1851 г.: это было первое «дело», в котором участвовал только что приехавший на Кавказ, пока ещё частным лицом, волонтером Толстой. В набеге он участвовал в качестве добровольца. В рассказе с множественными элементами автобиографии описаны захват и разграбление солдатами опустевшего селения и возвращение отряда, во время которого предстояло столкнуться с засевшими в лесу горцами. В этой стычке был смертельно ранен юный прапорщик Аланин, впервые участвовавший в военной операции. Не послушав мудрых слов о «настоящей храбрости» от опытного капитана Хлопова, он, увлекая за собой нескольких солдат, поскакал к лесу в надежде разбить неприятеля. Тяжёлое ранение и смерть юноши стали итогом его жизни и финалом рассказа.

Какая же именно ступень на пути к христианскому неприятию войны выразилась в этом рассказе? Самая невысокая. Реальность разочаровывает недавнего, как многие молодые образованные люди тогдашней России, читателя романтических книг о Кавказе — но реальность же грубовато разворачивает сознание молодого мечтателя из сферы индивидуальной неудовлетворённости жизнью и желания романтических подвигов — к жизни, в которой от молодого сначала гостя в полку, а позднее, по вступлении в военную службу в январе 1852 г., юнкера при артиллерии требуется отнюдь не повседневно героическая, но весьма нужная работа — часть общего дела, в котором находится место не одной лишь своеобразной рутине солдатской и офицерской повседневности, но и настоящей храбрости, содержание и значение которой становится предметом самостоятельных рефлексий молодого Толстого, перенесённых им на страницы своих кавказских рассказов. С разной степенью успешности этот кризис перехода от эгоистического, самого низшего, понимания жизни к общественному, при котором значение и достоинство военной службы государству ощущаются повседневно, а не памятуется лишь, как внушённая воспитателями «высокая» идея — проходят персонажи позднейших писаний Толстого-художника: Севастопольского цикла рассказов, повести «Казаки», и, конечно, «Войны и мира».

К идеалам же высшего, всемирного и божеского, религиозного жизнепонимания как сам он чувствует и записывает в Дневнике 12 июня 1851 года, ещё накануне участия своего в первом набеге на аулы горцев, открыты лишь его помыслы, но не возможности личности в целом:

«Вчера я почти всю ночь не спал, пописавши дневник, я стал молиться Богу. Сладость чувства, которое испытал я на молитве, передать невозможно. Я прочёл молитвы, которые обыкновенно творю: Отче, Богородицу, Троицу, Милосердия Двери, воззвание к ангелу-хранителю и потом остался ещё на молитве. Ежели определяют молитву просьбою или благодарностью, то я не молился. Я желал чего-то высокого и хорошего; но чего, я передать не могу; хотя и ясно сознавал, чего я желаю. Мне хотелось слиться с существом всеобъемлющим. Я просил его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели оно дало мне эту блаженную минуту, то оно простило меня. Я просил и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить и что я не могу и не умею просить. Я благодарил, да, но не словами, не мыслями. Я в одном чувстве соединял всё, и мольбу и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло. Ни одного из чувств веры, надежды и любви я не мог бы отделить от общего чувства. Нет, вот оно чувство, которое испытал я вчера это любовь к Богу. Любовь высокую, соединяющую в себе всё хорошее, отрицающую всё дурное.

Как страшно было мне смотреть на всю мелочную — порочную сторону жизни. Я не мог постигнуть, как она могла завлекать меня. Как от чистого сердца просил я Бога принять меня в лоно Своё. Я не чувствовал плоти, я был — один дух. Но нет! Плотская — мелочная сторона опять взяла своё, и не прошло часу, я почти сознательно слышал голос порока, тщеславия, пустой стороны жизни; знал, откуда этот голос, знал, что он погубит моё блаженство, боролся и поддался ему. Я заснул, мечтая о славе, о женщинах; но я не виноват, я не мог» (46, 62).

Вот ещё значительное для нашей темы самопризнание молодого Льва Николаевича в Дневнике на 2 июня: «В том горе, что я слишком рано взялся за вещи серьёзные в жизни, взялся я за них, когда ещё не был зрел для них, а чувствовал и понимал; так сильной веры в дружбу, в любовь, в красоту нет у меня, и разочаровался я в вещах важных в жизни; а в мелочах ещё ребёнок» (46, 77).

13 октября 1851 г. Лев Николаевич отмечает в Дневнике, что намерен писать «К[авказские] О[черки] для образования слога и денег», а 19 числа там же — приводит и программу задуманной серии очерков. Среди них значится характеристический, по счастью уцелевший, отрывок с самостоятельным заглавием — «Поездка в Мамакай-Юрт». Вот выдержки из него:

«В 1852 году <ошибка Толстого, надо: 1851. — Р. А.> в июне месяце я жил на водах Старого Юрта. — Кавказ так мало был известен

мне... Когда-то в детстве или первой юности я читал Марлинского, и разумеется с восторгом, читал тоже не с меньшим наслаждением Кавказские сочинения Лермонтова. Вот все источники, которые я имел для познания Кавказа, и боюсь, чтобы большинство читателей не было в одном положении со мною. Но это было так давно, что я помнил только то <поэтическое> чувство, которое испытывал при чтении, и возникшие поэтические образы воинственных черкесов, голубоглазых черкешенок, гор, скал, снегов, быстрых потоков, чинар... бурка, кинжал и шашка занимали в них не последнее место. — Эти образы, украшенные воспоминанием, необыкновенно поэтически сложились в моём воображении. Я давно уже позабыл поэмы Марлинского и Лермонтова, но в моём воспоминании составились из тех образов другие поэмы, в тысячу раз увлекательнее первых. [...] Кавказ был долго для меня этой поэмой на незнакомом языке; и когда я разобрал настоящий смысл её [?], во многих случаях я пожалел о вымышленной поэме и во многих убедился, что действительность была лучше воображаемого» (3, 215 – 216).

Таким образом, Толстой сделал героем своих военных рассказов *правду* — ещё задолго до широко известной декларации в завершении «Севастополя в мае». Ложное, напыщенное читательское представление о Кавказе и Кавказской войне, насаждаемое литературой 1820 – 1840-х гг., он стремился заменить представлением правдивым. При этом он следует принципу, выраженному ещё в черновой редакции «Детства»: писатель убеждён, что действительная жизнь включает в себе больше поэтических элементов, чем какие бы то ни были «романтические» вымыслы.

Нам важно это подчеркнуть. Анализируя эволюцию зародившихся уже в юные годы сознательно-антивоенных убеждений Льва Николаевича Толстого, мы должны жёстко разделить *правду духовную*, *правду* позднейших религиозных прозрений Л. Н. Толстого — от *правды художественной*, в рамках которой молодой писатель стремился не более чем соединить правдивое описание Кавказа с поэтическим его художественным изображением. На неразличении этих «правд», условно: эстетической и религиозной — основаны спекуляции некоторых авторов, подобных проф. Коити Итокаве (Ниигата, Япония), который, отказываясь признавать в творческом пути Толстого-писателя «перелом», тесно связанный с явно неблизкими Итокаве христианскими рефлексиями Толстого, проводит одну линию «правдоискания» и призывов к воюющим народам «одуматься» — от начинающего в писательстве автора «Набега» до тещащего себя обожаемым и в старости художественным творчеством автора «Хаджи-

Мурата» и гневного Христовым, праведным гневом, измученного военными новостями, даже пробудившими в нём, в дни поражений в Русско-японской войне, «низкие», давно было позабытые патриотические чувства, автора не менее гениальной статьи «Одумайтесь!». Вот что говорит о Толстом японец в своей статье 2010 года:

«В «Анне Карениной» читаем: “Уже входя в детскую, он вспомнил, что такое было то, что он скрыл от себя. Это было то, что если главное доказательство божества есть откровение о том, что есть добро, то почему это откровение ограничивается одной христианской церковью? Какое отношение к этому откровению имеют верования буддистов, магометан, тоже исповедующих и делающих добро?” Это позиция истины, уходящая корнями в финальное признание «Севастополя в мае». Этой позицией продиктованы многие страницы более позднего творчества Толстого, в том числе страницы знаменитого трактата «Одумайтесь!», написанного по случаю начала Русско-японской войны (*Итокава, Коити. Об антивоенном пафосе в произведениях Толстого // Яснополянский сборник – 2010. Тула, 2010. С. 95*).

Вряд ли сколько-нибудь искушённому читателю нужно доказывать, что «истина» богословская, занимавшая сознание зрелого Константина Левина в романе — не то же самое, что «правда» художнического отображения действительности, избранная молодым Толстым за четверть века до «Анны».

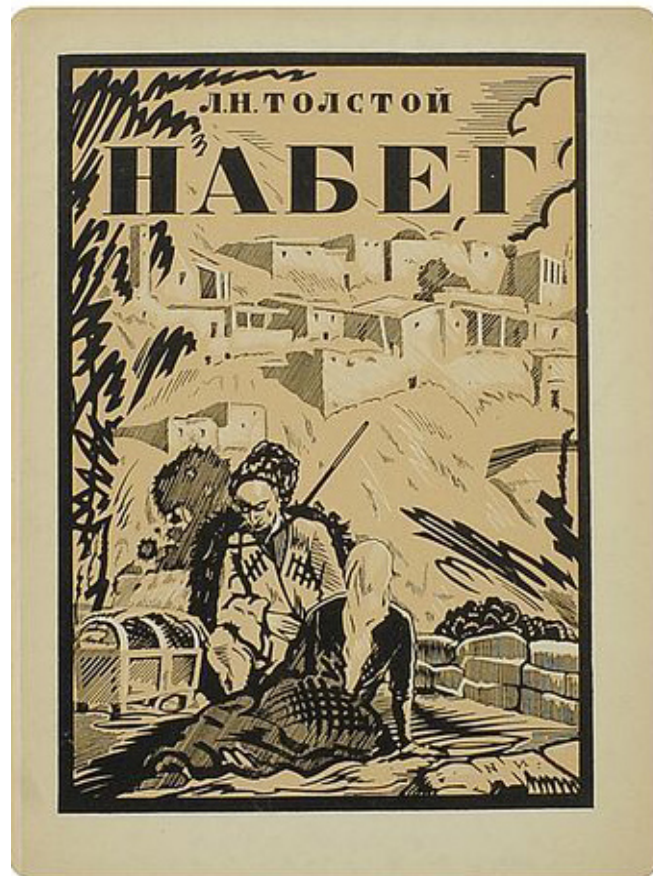
Или ещё:

«<В «Войне и мире»> рождается новый Андрей Болконский, для которого всё прежнее — “ничто, пустое, обман”, кроме “неба, высокого неба, бесконечного неба”. Примечательно, что в эпосе «Война и мир», как и в давнем рассказе «Набег», антивоенный пафос рождается и выражается под впечатлением величия природы. [...] Что касается последующих произведений Толстого, то прежде всего нужно назвать трактат «Одумайтесь!», само название которого прямо перекликается с процитированными выше строками из «Войны и мира» (“Опомнитесь. Что вы делаете?”)» и т. д. (*Там же. С. 97 – 98*). Такое “неразличение” японским исследователем различных мировоззренческих фундаментов одного писателя в очень различные периоды его жизни — уже следует, вероятно, напрямую связывать с распространённостью и влиятельностью в современной Японии атеизма, пацифизма и светского гуманизма. Как и многие критики Толстого, Коити Итокава узрел в немеркнущем толстовском “зеркале” собственную азиатскую физиономию!

Итак, «Набег» — первая из *реалистических*, но не чуждых и некоторой романтике поэм в прозе молодого Толстого. Персонажи рассказа — молодые и старые офицеры, служащие на Кавказе: старый «кавказец», спокойный и мудрый капитан Хлопов, восемнадцатилетний прапорщик Аланин, недавно прибывший «из корпуса» и рвущийся в свой первый бой, молодцеватый, рисующийся офицер Розенкранц... Многие персонажи имеют прототипов: капитан Хлопов это капитан Хилковский, Аланин — прапорщик Буемский, Розенкранц — Пистолькорс, генерал — князь Барятинский...

На Кавказе Толстой впервые увидел войну не со страниц романтических сочинений А. А. Бестужева-Марлинского и М. Ю. Лермонтова, а во всей её реальной неприглядности, несущей кровь, страдания, смерть. Узнал о казённой своей тёте «родине», к которой поступил на службу, и некоторые неприглядные вещи: то, что в основе поведения России в Кавказской войне — нападения на мирные селения, грабежи, убийства.

Впервые увидел войну и его волонтёр, от имени которого ведётся рассказ, и впервые, может быть, задумался, зачем вообще люди воюют:



«Набег».

Обложка изд. 1928 г. Худ. Н.[иколай] И.[льин]

«Природа дышала примирительной красотой и силой.

Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звёздным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Всё недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой — этим непосредственнейшим выражением красоты и добра» (гл. VI; 3, 29).

Эта медитация в прозе — конечно же, должна напомнить читателю свою стихотворную предшественницу из поэмы М. Ю. Лермонтова «Валерик» (1840):

Уже затихло всё; тела
Стащили в кучу; кровь текла
Струёю дымной по камням,
Её тяжёлым испареньем
Был полон воздух. Генерал
Сидел в тени на барабане
И донесенья принимал.
Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом.
А там вдали грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы — и Казбек
Сверкал главой остроконечной.

И с грустью тайной и сердечной
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?»

Галуб прервал моё мечтанье.
Ударив по плечу, — он был
Кунак мой, — я его спросил,
Как месту этому названье?
Он отвечал мне: «Валерик,
А перевесь на ваш язык,
Так будет речка смерти: верно,
Дано старинными людьми».

Не только гуманистическим пафосом, но и подробностью описаний военной повседневности «Валерик» М. Ю. Лермонтова сближается с «Набегом» Толстого. И не случайно. По биографическим сведениям, Толстой перечитывал Лермонтова в период работы над «Набегом»,

хотя и не известно точно, какие были прочитаны произведения. Закончив 24 декабря 1852 г. работу над рассказом, он ещё несколько дней запойно перечитывал то, что его вдохновляло, и 26 декабря в Дневнике появляется запись: «Читаю Лермонтова третий день» (46, 154).

Влияние М. Ю. Лермонтова несомненно: недаром очерк, над которым Толстой работал в мае 1852 г. и из которого впоследствии вышел рассказ «Набег», имел рабочее заглавие «Письмо с Кавказа» (3, 289. [Комментарий.]).

Лермонтовский принцип изображения «истории души человеческой», которая «едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа» (Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. Предисловие к Журналу Печорина), также находит новаторское развитие в прозе Толстого. Новаторство в том, что психологический анализ, составивший силу и преимущество лермонтовской прозы, применён в трилогии и военных рассказах в особом качестве — как изображение «диалектики души», её «текучести». Это художественное открытие Толстого генетически связано с психологизмом Лермонтова.

Равным образом колорит, поэтику «кавказских описаний» следует рассматривать не только в контексте пушкинской поэмы и повестей А.А. Бестужева-Марлинского («Аммалат-бек», «Мулла-Нур»), но в большей степени — лермонтовских зарисовок величавых красот экзотического края. Но, как мы покажем, уже в случае описания природы Кавказа и позднее, в произведениях Севастопольского цикла и в романе «Война и мир» в эти описания, как будто иллюстрируя возможный результат рано прервавшегося духовно-нравственного развития поэта, вкладывает собственное протестное, антивоенное содержание.

Восторженное отношение к кавказским сочинениям Лермонтова сказалось в близости некоторых «кавказских» образов Толстого лермонтовским персонажам. В рассказе «Набег» поручик Розенкранц напоминает, с одной стороны, Грушницкого, с другой — обобщённый образ «кавказца», нарисованного Лермонтовым в одноимённом очерке (1841). Капитан Хлопов — вариант лермонтовского Максима Максимыча.

Наконец, как и «Валерик» Лермонтова, «Письмо...» первоначально подразумевало повествование от первого лица; позднее автор заменил эпистолярного рассказчика наблюдателем-волонтёром. Л. Н. Толстому, очевидно, хотелось замаскировать автобиографический характер очерка, чтобы тем свободнее вводить в него автобиографический элемент. Но автобиографический характер «Набега» был удостоверен самим Толстым, который в 1910 году в разговоре со

старшим сыном по поводу этого очерка сказал: «Да ведь это я в набег ходил, я тогда не служил ещё» (*Маковицкий Д. П. У Толстого. Яснополянские записки // Литературное наследство [Далее в книге: ЛН]. М., 1979. Т. 90. Кн. 4. С. 227*).

На страницы своего яснополянского дневника, домашний доктор Толстых Душан Маковицкий, заносит свидетельство того, что Толстой и на исходе жизни, в 1910 году, с сожалением вспоминал, как цензура не пропустила в печать некоторых мест в «Набеге»:

«Например, длинное хорошее рассуждение о том, на чьей стороне справедливость: на стороне ли оборванца-чеченца, защищающего свою семью, саклю, скарб, или русского офицера, метящего в адъютанты, или саксонца-офицера.

Л. Н. помнит, что ему было обидно, что это рассуждение было пропущено. Л. Н. сказал, что это удивительно, как эти самые мысли, что теперь, он уже тогда высказал.

— Надо вставить, что пропущено, — сказал Л. Н.» (*Там же*).

Просьбу эту Лев Николаевич отнёс к сыну, Сергею Львовичу, который тогда помогал матери, Софье Андреевне Толстой, в подготовке к переизданию сочинений отца в составе очередного Собрания сочинений.

Конечно же, цензура, со своих позиций, была безусловно права: пускай ещё без главной, духовной опоры во Христе, пускай светско-гуманистические, с претензией на знание политики, пускай «писательские», но всё-таки антивоенные, и с «широким захватом», рассуждения молодого Толстого здесь имеют место. В академических, не для широкого читателя, «Материалах к биографии Л. Н. Толстого» Николай Николаевич Гусев цитирует выдержки из черновой редакции этого злосчастного размышления юного волонтера — оставленной в рукописях и не включённой в 1935 году даже в состав Полного (Юбилейного) собрания сочинений:

«У генерала «есть славное имение, славный чин, славная жена и ещё много прекрасных вещей, которыми он может владеть совершенно спокойно»; он «не имеет никакой личности ни против одного чеченца», его «ровно ничего не принуждает вынимать свой меч против них». Далее Толстой характеризует почти теми же словами, что и в последующей редакции, молодого офицера, состоящего в свите генерала, и офицера-немца, о котором замечает: «Немца на Кавказе так же странно видеть, как корову в гостиной». Или, быть может, говорит далее Толстой, справедливость на стороне этого чисто одетого офицера, который думает о том, сколько получит рационов? Или на стороне адъютанта с глянцеви́тым лицом, который думает:

«Вот штука-то будет, как убьют или ранят. Чорт возьми», — и страшно затягивается папироской? Или на стороне этого солдата, который курит трубку и ни о чем не думает? Или не на стороне ли того, который заставил всех находить пользу и удовольствие в этой войне?»

Что означает эта последняя фраза? Кто тот, который «заставил всех находить пользу и удовольствие» в войне с горцами? Совершенно ясно, что эти слова могут относиться только к царю, и больше ни к кому. В этих словах находим, таким образом, протест Толстого против колониальной политики Николая I» (*Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. С 1828 по 1855 год. М., 1954. С. 415*).

Последний вывод биографа идеологически принадлежит эпохе создания «Материалов...» и вряд ли справедлив, но сама критическая «отсылка» у Толстого к императору Николаю I, на наш взгляд, вполне очевидна. Ещё во время учёбы в Казанском университете, сравнивая «Наказ» Екатерины II с «Духом законов» Монтескье, Толстой начал задумываться о природе государственного деспотизма. На Кавказе он убеждается в том, что между такими понятиями, как война и деспотизм, существует определённая связь.

В последующей редакции отсылка к имп. Николаю I, конечно же, была Толстым вымарана.

А вот этот упоительно «нецензурный» отрывок из черновика Третьей редакции рассказа, более проработанный:

«Я люблю ночь. Никакое самолюбивое волнение не может устоять против успокоительного, чарующего влияния прекрасной и спокойной природы.

Как могли люди среди этой природы не найти мира и счастья? — думал я.

Война? Какое непонятное явление <в роде человеческого>. Когда рассудок задаёт себе вопрос: справедливо ли, необходимо ли оно? внутренний голос всегда отвечает: нет. Одно постоянство этого неестественного явления делает его естественным, а чувство самосохранения справедливым.

Кто станет сомневаться, что в войне русских с горцами справедливость, вытекающая из чувства самосохранения, на нашей стороне? Ежели бы не было этой войны, что бы обеспечивало все смежные богатые и просвещённые русские владения от грабежей, убийств, набегов народов диких и воинственных? Но возьмём два частных лица. На чьей стороне чувство самосохранения и следовательно справедливость: на стороне ли того оборванца, какого-нибудь Джеми, который, услышав о приближении русских, с проклятием

снимет со стены старую винтовку и с тремя, четырьмя зарядами в заправках, которые он выпустит не даром, побежит навстречу гяурам, который, увидав, что русские всё-таки идут вперёд, подвигаются к его засеянному полю, которое они вытопчут, к его сакле, которую сожгут, и к тому оврагу, в котором, дрожа от испуга, спрятались его мать, жена, дети, подумает, что всё, что только может составить его счастье, всё отнимут у него, — в бессильной злобе, с криком отчаяния, сорвёт с себя оборванный зипунишко, бросит винтовку на землю и, надвинув на глаза попаху, запоёт предсмертную песню и с одним кинжалом в руках, очертя голову, бросится на штыки русских? На его ли стороне справедливость, или на стороне этого офицера, состоящего в свите генерала, который так хорошо напевает французские песенки именно в то время, как проезжает мимо вас? Он имеет в России семью, родных, друзей, крестьян и обязанности в отношении их, не имеет никакого повода и желания враждовать с горцами, а приехал на Кавказ.... так, чтобы показать свою храбрость. Или на стороне моего знакомого адъютанта, который желает только получить поскорее чин капитана и тёпленькое местечко и по этому случаю сделался врагом горцев? Или на стороне этого молодого немца, который с сильным немецким выговором требует пальник у артиллериста? Каспар Лаврентьич, сколько мне известно, уроженец Саксонии; чего же он не поделил с кавказскими горцами? Какая нелёгкая вынесла его из отечества и бросила за тридевять земель? С какой стати саксонец Каспар Лаврентьич вмешался в нашу кровавую ссору с беспокойными соседями?» (3, 234 – 235).

На этом черновой отрывок обрывается... чтобы быть изъятым по соображениям цензуры из окончательного варианта рассказа — к нашему большому сожалению! С сожалением же, вслед Н. Н. Гусеву, мы констатируем появление в этом черновике явно искусственной, выпадающей из логики рассуждений и настроений автора, вставки, содержащей оправдание военной политики России на Кавказе. Получается, что, «считая, по указанию “внутреннего голоса”, всякую войну несправедливой и ненужной, Толстой в то же время признаёт справедливой войну, вытекающую из чувства самосохранения. Эту мерку он тут же применяет к войне русских с кавказскими горцами». Так Толстой «отдельвал для печати» опасный отрывок, но увы! никакие ухищрения не помогли: всё рассуждение волонтёра было вымарано цензурой (Гусев Н.Н. Указ. соч. С. 412, 415 – 416).

Конечно же, этот “прогиб” под идеологические и цензурные условия николаевской России был унижителен, крайне неприятен своей

фальшью и самому автору. Чувство самосохранения — психологическая реакция индивида или локальной общности на агрессию. Украина, поднявшая в наши дни, в 2022 году, “дубину народной войны” в отношении русского агрессора, террористической, преступнейшей путинской России — руководится столь же насущной задачей выживания и обороны беззащитных, как и отдельный человек, вступивший в поединок с хищным зверем или сумасшедшим убийцей. Но по отношению к Кавказской войне Российской империи и её военным и геополитическим причинам ни о каком «самосохранении» со стороны империи не могло быть и речи.

И всё же, даже ушедшее в печать — потрясающе... В разгар войны рождается, прорываясь сквозь мирские, внушённые юному Льву, лжи первый, и самый значительный, самый христианский из трёх «проклятых» вопросов русской литературы и общественной мысли: **«зачем?»**. «Что делать?» и «кто виноват?» появятся позднее... Конечно же, молодой Толстой не был готов дать на него именно *евангельский* ответ. Его ответ — филиппика храбрости, стойкости в битве до конца — вполне соответствует исканиям и открытиям его в тот период. Ответ светско-этический, эстетический, романтический, языческий, пантеистский — но только ещё не христианский! Нам это также важно подчеркнуть, в связи с отмеченной выше тенденцией литературоведов отрицать для конца 1870-х и начала 1880-х годов существенный, “системный” перелом в мировоззрении Л. Н. Толстого на основании наличия уже в ранних сочинениях писателя, в частности, в рассказе «Набег», якобы “тех же” пацифистских убеждений и того же «правдолюбивого» писательского настроения, что и у «антивоенного» Толстого 1880 – 1900-х гг. Вот что пишет названный выше Коити Итокава:

«В “Набеге” [...] уже звучит тема пацифизма, которая занимает центральное, едва ли не первое место в мировоззрении Толстого после так называемого перелома. [...] Здесь уже присутствует зародыш проповеди непротивления злу насилем, здесь ощущается дух Нагорной проповеди Иисуса Христа» (*Там же. С. 92 – 93*).

Вот с последним-то и нельзя согласиться. Евангельское учение Иисуса Христа не тождественно ни пантеизму, ни светским пацифизму и гуманизму. А сущность сознания “послепереломного” Толстого именно религиозна, и не просто религиозна, а *евангельска, христианска*. Иное дело, что к решающему перелому, к обретению именно христианского жизнепонимания, система воззрений Толстого подвигалась, действительно, с самых юных лет, хотя и под воздействием литераторов таких, как Лермонтов или Жан-Жак Руссо, которые значительно дистрактировали юношу и молодого человека

от значительнейшего для него, по чувствам его, пути к Богу, подменяя истинно евангельское — более «вкусным» для юнцов и простецов гуманистическим, языческим, пантеистским.

Как и герою поэмы Лермонтова, молодому волонтеру рассказа «Набег» суждено узнать вскоре *ответ мира и слуг его* на свои вопрошания. Мирскую «правду», благословляющую военную службу и даже самые войны! Поступившие на службу не скрывают от героя рассказа, что сделали это ради карьеры и, как бы мы сейчас сказали: *самореализации* на военной службе (как и начинающий писатель Толстой!), а поехали на Кавказ, не в последнюю степень — ради двойного жалованья. Никакой ненависти при этом выборе к горцам у них не было. Так, один из положительных персонажей рассказа, умный и честный капитан Хлопов, на вопрос юного волонтера, для чего тот служит, отвечает ему: «Надо же служить. А двойное жалованье для нашего брата, бедного человека, много значит» (гл. 1; 3, 18). Но в их и молодого Толстого сознании актуализировано и оправдание совершаемого ими над горскими народами военного насилия — «необходимостью» для империи присоединить и «усмирить» Кавказ.

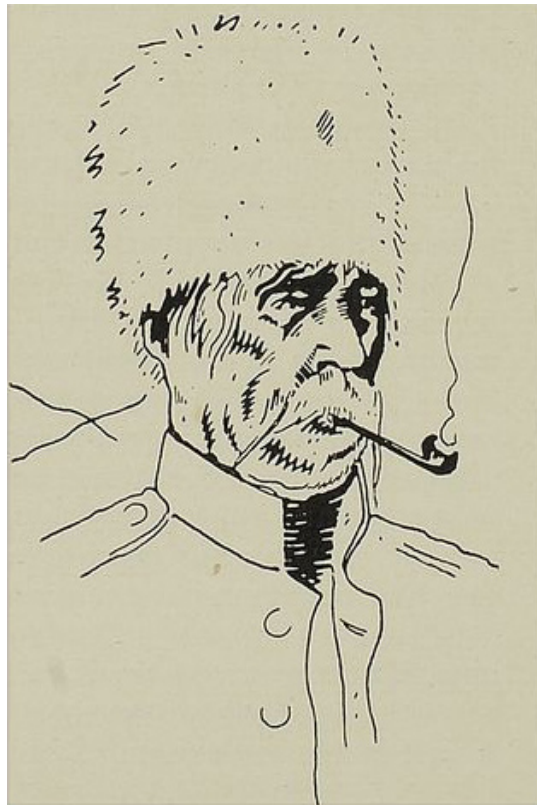
В черновиках рассказа Толстой наделил капитана Хлопова рядом сатирических черт, так или иначе выделяющих его в офицерских кругах как «правдолюбца» и оттого отщепенца среди офицерства, едва ли не шута. Таким правдолюбцем, кстати сказать, проявит себя на службе в Крымскую войну сам Толстой. Своему биографу Павлу Ивановичу Бирюкову он подтвердил такую подробность:

«По обычаю тогдашнего времени, командиры частей, и в том числе командир батареи, получая казённые деньги на содержание батареи, могли оставлять себе всё, что они сэкономят. Это составляло для большинства командиров порядочный доход и, разумеется, вело ко многим злоупотреблениям.

Толстой, заметив остаток казённых денег при сведении счетов, записал его на приход, т. е. отказался от него. Этот поступок вызвал, конечно, неудовольствие других командиров. Генерал Крыжановский вызвал его и сделал ему замечание. [...] Графа обвиняли в том, что он проповедовал офицерам возвращать в казну даже те остатки фуражных денег, когда офицерская лошадь не съест положенного ей по штату» (Бирюков П.И. Указ. соч. М. - Пг., 1923. Том первый. С. 122).

Учитывая масштабы векового, не изжитого до сего дня на России, ограбления офицерьем солдат, такие подробности более радуют, нежели смешат. В конечном варианте рассказа «Набег» и образ Хлопова уже совершенно не сатиричен, а множество характеризующих его подробностей заменено одной ёмкой деталью: «У него

была одна из тех простых, спокойных русских физиономий, которым приятно и легко смотреть прямо в глаза» (Там же. С. 18 – 19). В творчестве Л. Н. Толстого образ Хлопова играет важную роль. От него идут нити к положительным образам офицеров в «Войне и мире»: не только к созданному творческой фантазией Толстого-художника командиру артиллерийской батареи капитану Тушину, но и к действительным историческим личностям, тоже любимым автором — Кутузову и Багратиону. И Тушин, и Кутузов, каким он подан был в романе — такие же, как капитан Хлопов, живые и добрые по существу, чуждые жестокости войны люди, далёкие от идеологизированных образчиков «военных героев». Но сущностная чуждость мерзостям и жестокости войны не мешает им быть храбрыми! Далеко не последнюю роль в глазах людей общественного жизнепонимания и в рассказе Толстого играет эта моральная ценность: личная храбрость, о которой Толстой заносит свои размышления и толкования старших офицеров ещё в первые дни на Кавказе, в Дневнике 1851 года.



Капитан Хлопов.
Рис. Н.[иколая] И.[льина]. 1928

Сколь огромно отличие этих небогатых, но благородных и честных людей XIX столетия от современных наших, 2022 года, подпутин-

ских негодяев, выезжающих мародёрствовать, насиловать, разрушать, убивать в Украине не просто ради наживы и крупной денежной оплаты государством их соучастия в его преступлениях, но и ради утоления чувства ненависти, внушённого этим существам средствами казённой русско-фашистской, путинской пропаганды.

Итак, Лев Николаевич имел право и в те молодые годы, и позднее, выгодно отличать людей на государевой службе — от служителей тюрем и палачей, в повседневность которых не вписан риск для собственной шкуры. Ибо, и вправду — оные *честь имели!*

У солдат и офицеров, участвующих в набеге — риск очень даже вписан, и именно в повседневную, для многих ставшую привычной, жизнь. Довольно прозаическую — но в которой вдруг вспыхивает яркою звёздочкой личные благородство, героизм сослуживцев...

Анализируя происходящие события, окружающих людей и их поступки, волонтёр, определённо образ автобиографический, постепенно расстаётся с романтическими иллюзиями. Он хотел своими глазами увидеть войну, и всё здесь вызывало у него живой интерес: детали военного быта, ход сражения, поведение солдат и офицеров, пленные — одним словом, всё то, к чему, казалось бы, привыкает опытный воин. Но не теми ли глазами молодого, не оуплётённого, не сильно ещё испорченного мирским развратом взирает позднее на небеса Аустерлица князь Андрей Болконский, готовая к рождению для жизни духа «птица небесная»? Не теми ли очами смотрит на Бородинское сражение и отдых солдат уже совершенно «штатский» Пьер Безухов?

Перед нами — эпизод «диалектики души» персонажа, настолько автобиографического, что возможное продолжение этого душевного и нравственного развития за пределами сюжета «Набега» мы могли бы проследить, изучая биографию Льва Николаевича — который относительно скоро, и в невысоком ещё звании поручика, будет, по личной просьбе своей, выключен из военной службы — чтобы *никогда* уже не возвращаться к ней иначе, нежели в литературно-художественных и публицистических своих писаниях!

Конечно же, дело здесь именно в молодости, в *неукоренённости* молодого персонажа в мирской лжи, оправдывающей и освящающей войну. Глазами нравственно чистого персонажа, а значит и через собственные восприятие и опыт молодой Лев показывает читателю войну *остранённо*, очами чистого человека, остро и непосредственно, как может воспринимать ребёнок, воспринимающего войну во всей её бессмысленности и трагичности. Этот приём (остранение), столь удачно найденный молодым писателем, Толстой будет использовать и в дальнейшем своём творчестве — и одной из

несомненных вершин его станут страницы о пребывании Пьера на Бородинском поле в романе «Война и мир».

Несмотря на самоцензуру автора, изъявшего из окончательного текста многие острые и «сатирические» детали и на разрушительную работу над рассказом цензуры, в тексте его сохранилось главное: заражающее читателя, как и должно быть в настоящем произведении искусства, авторское ощущение нелепости всего происходящего среди этих людей, стремящихся в большинстве своём, кроме романтично-наивного Аланина и подобных ему, накануне грозящей смерти просто жить, как жили бы в мирных условиях, в обыкновенном, не военном походе. Нехитрая еда, разговоры, азартная игра в карты... Ожидание жалованья – как будто заработка за настоящий человеческий труд.

Из этой спокойной, хотя и нездоровой, повседневности выделяется своим поведением лишь прапорщик Аланин. Но ведь и недаром он явился первым среди юных героев Толстого, павших в своём первом бою, и погибших напрасно, нелепо. Позднее в рассказе «Севастополь в августе 1855 года» в первом своём бою погибнет другая жертва общественного «воспитания», точнее же военно-патриотического оболванения, семнадцатилетний прапорщик Володя Козельцов, только что прибывший в осаждённый Севастополь, а в книге «Война и мир» в первом же своём сражении будет убит подражавший взрослым «отцам-героям» храбрый пятнадцатилетний Петя Ростов.

Ряд суждений заставляют читателя сразу вспомнить их позднейшее развитие в «Войне и мире»:

«...Так как мы все имеем склонность по себе судить о других, я с любопытством вслушивался в разговоры солдат и офицеров и внимательно всматривался в выражения их физиономий; но ни в ком я не мог заметить ни тени малейшего беспокойства. Шуточки, смехи, рассказы, игра, пьянство выражали общую беззаботность и равнодушие к предстоящей опасности. Как будто нельзя было и предположить, что некоторым не суждено уже вернуться назад по этой дороге, как будто все эти люди давно уже покончили свои дела с этим миром. — Что это: решимость ли, привычка ли к опасности, или необдуманность и равнодушие к жизни? — Или все эти причины вместе и ещё другие неизвестные мне, составляющие один сложный, но могущественный моральный двигатель человеческой природы, называемый *esprit de corps*? [силой спаянности?] Этот неуловимый устав, заключающей в себе общее выражение всех добродетелей и пороков людей, соединённых при каких бы то ни было постоянных

условиях, — устав, которому каждый новый член невольно и безропотно подчиняется и который не изменяется вместе с людьми; потому что, какие бы ни были люди, общая сумма наклоностей людских везде и всегда остаётся та же. В настоящем случае он называется *дух войска*» (3, 233 – 234).

Но этот «дух войска» — дух грешный, порочный. В Дневнике Л. Н. Толстого периода работы над «Набегом» и в черновых материалах к рассказу остались множество нелицеприятных для российской армии образов, сцен и подробностей. Убийства со стороны обороняющихся от российского имперского агрессора горцев вызывают ненависть и среди этих, реалистичных в своей бытовой «приземлённости» и невоинственности людей. Ненависть, смешанную со страхом. И вот – заражающая читателя отвращением сцена того, без чего не обходилась в человеческой истории, вероятно, ни одна война: бессмысленные разрушения и грабёж при захвате аула.

Н. И. Бурнашёва в связи с повестью «Набег» справедливо замечает, что Толстой никогда не «отправляет» на убийство тех своих персонажей, кто ему близок, кого он любит. А из неблизких — первое в сочинениях Толстого убийство совершает безымянный, эпизодический персонаж в данном рассказе (*Бурнашёва Н. И. «...Пройти по трудной дороге открытия...». Загадки и находки в рукописях Льва Толстого. М., 2005. С. 225*). И описание этого убийства — значительнее любых велеречивых и наивных пацифистских трактатов той эпохи!

Это поистине отвратительное зрелище: «Там рушится кровля, стучит топор по крепкому дереву и выламывают дощатую дверь; тут загораются стог сена, забор, сакля, и густой дым столбом подымается по ясному воздуху. Вот казак тащит куль муки и ковёр; солдат с радостным лицом выносит из сакли жестяной таз и какую-то тряпку, другой, расставив руки, старается поймать двух кур, которые с кудахтаньем бьются около забора; третий нашёл где-то огромный кумган с молоком, пьёт из него и с громким хохотом бросает потом на землю» (3, 34).

В ауле никого нет: все жители попрятались, ушли, только один девяностолетний старик не смог уйти, и его «захватили» в плен.

В сохранившихся рукописных черновиках рассказа сцены разрушений аула и насилий над жителями уже вполне отвратительны:

«Драгуны, казаки и пехота рассыпались по аулу. — Там рушится крыша, выламывают дверь, тут загораются забор, сакля, стог сена, и дым расстилает по свежему утреннему воздуху; вот казак тащит куль муки, кукурузы, солдат — ковёр и двух куриц, другой — таз и

кумган с молоком, третий навьючил ишака всяким добром; вот ведут почти голого испуганного дряхлого старика чеченца, который не успел убежать.

[...] Я выехал на гору, откуда весь аул и кипевшее в нём и шумевшее войско и начинавшийся пожар видны были, как на ладонке. Капитан подъехал ко мне, мы спокойно разговаривали и шутили, посматривая на разрушение трудов стольких людей. Вдруг нас поразила крик, похожий на гикание, но более поразительный и звонкий; мы оглянулись. Сажень в 30 от нас бежала из аула к обрыву женщина с мешком и ребёнком на руках. Лицо её и голова были закрыты белым платком, но по складкам синей рубашки было заметно, что она ещё молода. Она бежала с неестественной быстротой и, подняв руку над головой, кричала. Вслед за ней ещё быстрее бежало несколько пехотных солдат. Один молодой карабинер в одной рубашке с ружьём в руке обогнал всех и почти догонял её. — Его, должно быть, соблазнял мешок с деньгами, который она несла.

“Ах, каналы, ведь они её убьют”, сказал капитан, ударил плетью по лошади и поскакал к солдату. “Не трогай её!” закричал он. Но в то же самое время прыткий солдат добежал до женщины, схватился за мешок, но она не выпустила его из рук. Солдат схватил ружьё обеими руками и из всех сил ударил женщину в спину. Она упала, на рубашке показалась кровь, и ребёнок закричал. — Капитан бросил на землю папаху, молча схватил солдата за волосы и начал бить его так, что я думал, — он убьёт его; потом подошёл к женщине, повернул её и когда увидал заплаканное лицо гологолового ребёнка и прелестное бледное лицо 18-ти летней женщины, изо рта которого текла кровь, бросился бежать к своей лошади, сел верхом и поскакал прочь. Я видел, что на глазах его были слёзы».

И далее в рукописном варианте рассказа следует пространный сентиментальный отрывок, безусловно обречённый быть вымаранным автором в последующей работе, но значительный для нашей темы — указанием на отношение тогдашнего, молодого и воспитанного в православии Л. Н. Толстого к жестокостям военщины:

«Карабинер, зачем ты это сделал? Я видел, как ты глупо улыбался, когда капитан бил тебя по щекам. Ты недоумевал, хорошо ли ты сделал или нет; ты думал, что капитан бьёт тебя так по нраву, ты надеялся на подтверждение твоих товарищей. — Я знаю тебя. — Когда ты вернёшься в Штаб и усядешься в швальню, скрестив ноги, ты самодовольно улыбнёшься, слушая рассказ товарищей о своей удали, и прибавишь, может быть, насмешку над капитаном, который бил тебя. Но вспомни о солдатке Анисье, которая держит постоянный двор в Т. губернии, о мальчишке — солдатском сыне — Алёшке,

которого ты оставил на руках Анисьи и прощаясь с которым ты засмеялся, махнув рукою, для того только, чтобы не расплакаться. Что бы ты сказал, ежели бы буяны фабричные, усевшись за прилавком, с пьяна стали бы бранить твою хозяйку и потом бы ударили её и медной кружкой пустили бы в голову Алёшки? — Как бы это понравилось тебе? — Может быть, тебе в голову не может войти такое сравнение; ты говоришь: «бусурмане». — Пускай бусурмане; но поверь мне, придёт время, когда ты будешь дряхлый, убогий, отставной солдат, и конец твой уж будет близко. Анисья побежит за батюшкой. Батюшка придёт, а тебе уж под горло подступит, спросит, грешен ли против 6-й заповеди? «Грешен, батюшка», скажешь ты с глубоким вздохом, в душе твоей вдруг проснётся воспоминание о бусурманке, и в воображении ясно нарисуется ужасная картинка: потухшие глаза, тонкая струйка алой крови и глубокая рана в спине под синей рубахой, мутные глаза с невыразимым отчаянием впялятся в твои, гололобый детёныш с ужасом будет указывать на тебя, и голос совести неслышно, но внятно скажет тебе страшное слово. — Что-то больно, больно ущемит тебя в сердце, последние и первые слёзы потекут по твоему кирпичному израненному лицу. Но уж поздно: не помогут и слёзы раскаяния, холод смерти обнимет [?] тебя. — Мне жалко тебя, карабинер» (3, 222 – 223).

Н. И. Бурнашёва находит, что «отголоски этой проповеди» прозвучали через много лет, в 1887 году, в статье Толстого «Николай Палкин», в начале её, где встреченный автором в пещем его путешествии до Ясной Поляны 95-летний старик, бывший николаевский солдат, перед смертью признался в грехе, рассказав, как участвовал в наказании солдат посредством «прогнания сквозь строй» — что фактически было равно жестокой смертной казни (*Бурнашёва Н. И. Указ. соч. С. 223*).

Конечно же, здесь на память приходит и близкое по авторскому настроению осуждения описание русской жестокости и естественной ответной ненависти горцев в «Хаджи-Мурате». Но это осуждение, художественно представленное всё тем же гениальным художником, выносилось в 1900-х уже совершенно иным Толстым-человеком, и подробнее мы скажем о нём в соответствующем месте. Здесь же — не лишне будет сослаться на биографа, а при жизни Л. Н. Толстого личного его секретаря, друга и религиозного, во Христе, единомышленника Николая Николаевича Гусева, который находит в отрывке «в первый раз (хотя и не вполне определённо) выраженную Толстым мысль о братстве народов, нарушаемом правительствами, устраивающими войны, о чём он многократно писал впоследствии

в своих статьях» (Гусев Н. Н. *Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. 1828 – 1855. М., 1954. С. 406*).

Похоже, впрочем, что биограф и знаменитый «толстовец» выдаёт в своих «Материалах» желаемое за факты. Где он находит выражение мысли о братстве народов? В возражении рассуждающего сам с собой волонтёра на распространённую в народе номинацию горцев и вообще азиатов «бусурманами»? Но данная лексема восходит, как общеизвестно, к татарским откупщикам — *бесерменам*, собиравшим дань во времена зависимости Руси от Монгольского ханства. Вооружённые «налоговики» вызывали, конечно же, в народе, ненависть и страх — перенесённые позднее на «грабителей», как таковых, а с другой стороны — на азиатов, как таковых, то есть на людей, узнаваемо отличавшихся языком и внешностью, и ещё шире — на всех религиозно и культурно чуждых иностранцев. Словарь В. И. Даля приводит удивительную народную поговорку, связанную с данной лексемой: «Наши бары за морем басурманятся, а домой воротятся, своё и не любо» (*Даль В.И. Толковый словарь. Часть первая. М., 1863. С. 46*). Эти невежественные ненависть и страх, иногда смешанные и с завистью перед качеством жизни умных «чужаков» — вековечное, русское-народное, «нутряное», и совершенно непонятно, в чём здесь перед Н. Н. Гусевым провинились некие «правительства». Лев Николаевич Толстой в данном отрывке всего лишь следует своей установке на фактологическую и психологическую достоверность, даже не подступаясь ни к каким развесистым проповедям.

(Мимоходом заметим, что не только в документы личного происхождения, как *Дневник Толстого*, но и в художественные тексты его проникало собственное его, особенно в молодые годы, скептическое отношение к некоторым народностям — полякам, евреям, немцам, англичанам...).

Впрочем, русский мужик сам ни на каких «бусурман», как бы ни ненавидел и ни страшился таковых «по наследству» от предков, войной не пойдёт. Военное насилие — конечно же, в значительной степени спровоцировано не одними суевериями ксенофобского «русского мира», которые по сей день ловко используют правительство и военщина, но и военным непосредственным начальством, и совершается солдатами бездумно, лишь потому, что разрешение на зверства актуализирует в их сознании «наследственные» плоды их невежества и омрачённости и в целом будит худшее, первобытное в их натуре. В черновых рукописях Первой редакции повести сохранились сатирические образы тех, кто затеял всё это и несёт моральный ответ: генерала со свитой:

«В свите Генерала было очень много офицеров; и все офицеры эти были очень довольны находиться в свите генерала. Одни из них были его адъютанты, другие адъютанты его места, третьи находились при нём, четвёртые — кригскомиссары или фельдцех... или квартирмейстеры, пятые командовали артиллерией, кавалерией, пехотой, шестые адъютанты этих командиров, седьмые командовали арьергардом, авангардом, колонной, восьмые адъютанты этих командиров; и ещё очень много офицеров — человек 30. — Все они, судя по названию должностей, которые они занимали [...] были люди очень нужные. — Никто не сомневался в этом, один спорщик капитан уверял, что всё это шельганы, которые только другим мешают, а сами ничего не делают.

[...] Генерал, полковник и полковница были люди такого высокого света, что они имели полное право смотреть на всех здешних офицеров, как на что-то составляющее середину между людьми и машинами, и их высокое положение в свете заметно уже было по одному их взгляду, про который г-да офицеры говорили: “О! как он посмотрит!” Но капитан говорил, что у генерала был не только не величественный, а какой-то глупый и пьяный взгляд, и что русскому генералу и полковнику прилично быть похожим на русских солдат, а не на английских охотников» (3, 219 – 220).

Генерала со свитой Толстой сатирически сравнивает с охотящимся в «своих» землях русским дворянчиком-англоманом с друзьями, родней и выученными для этого холопами и моськами. И, как собак, он натравливает «своих» солдат на беззащитный аул. Нравственной ответственности за это на солдатах, исполняющих приказ — не многим больше, чем на охотничьих собаках.

В последней части рассказа, где описывается отступление отряда после разорения аула, автор опять переходит в сатирический тон. Полковник характеризуется как «британец совершенный». Доктор, призванный к смертельно раненному офицеру, настолько пьян, что вместо того, чтобы направить зонд в рану на груди, попадает зондом в нос раненому офицеру (*Там же. С. 225*). Свита, окружающая генерала, поражает своим отвратительным подхалимством. Обступив генерала, эти офицеры «с большим участием смотрели на приготовление для него в спиртовой кастрюльке яичницы и битков; казалось, им очень нравилось, что генерал будет кушать» (*Там же. С. 224*). Услыхав рассказ генерала о том, как он когда-то давно служил на Кавказе вместе с капитаном, командующим арьергардом в этом набеге, «присутствующие изъявили участие, удивление и любопытство» (*Там же*).

Здесь так же не следует преувеличивать антивоенных настроений молодого Толстого. Скорее, ему просто было по-человечески противно увиденное, а кроме того, как и положено русскому дворянину, было *за державу обидно*. Поэтому Толстой невольно начал описывать всё то, что так сильно возмущало его в кавказской службе того времени: карьеризм высших чинов армии, их равнодушие к напрасным жертвам солдатских жизней, лесть и подбострастие близких к генералу офицеров, праздность и паразитизм штабных. Все это Толстой впоследствии ярко изобразил в «Войне и мире» — не догадываясь, конечно же, что и через 200 лет после описанных событий имманентные русской армейщине пороки не только не исчезнут, но примут особенно подлые формы своего проявления.

Сомнительно и предположение Н. Н. Гусева, что отказ от сатиры был связан у Толстого не с серьёзностью избранной темы: героизм и храбрость в условиях смертельного риска войны, и не с «пачкотностью» для ощущаемого начинающим писателем в себе большого таланта сатирических приёмов как таковых, доступных множеству мелких умишек и талантов, а с «общим идеалистическим мирозерцанием Толстого, по которому в каждом человеке заложены начала добра, и для того, чтобы быть полезным людям, в том числе литературными работами, нужно воздействовать на эти задатки добра, скрытые в душе каждого человека» (*Гусев Н. Н. Летопись... 1828 – 1855. С. 408*). Такая мотивация, пожалуй, могла присутствовать среди причин отказа Толстого от сатирических приёмов, но её сколько-нибудь ощутимую значительность требуется доказать, чего почтенный биограф, к сожалению, не делает.

Николай Николаевич Гусев предполагает, и на этот раз с немалой долей вероятности, что в сатирическом изображении Толстым высшего кавказского офицерства сказалось и некоторое влияние его брата Николая Николаевича, о котором хорошо его знавший в конце 1850-х годов Аф. Аф. Фет писал: «Он так ясно умел отмечать действительную сущность от её эфемерной оболочки, что с одинаковой иронией смотрел и на высший, и на низший слой кавказской жизни» (*Фет А. А. Мои воспоминания: В 2-х ч. Часть I. М., 1890. С. 217 – 218*).

Но кончая первую редакцию очерка, Толстой, занятый разрешением нравственных вопросов, почувствовал недовольство тем сатирическим направлением, которое приняло его новое произведение. «Надо торопиться скорее окончить сатиру моего “Письма с Кавказа”, — записал он 7 июля, — а то сатира не в моём характере» (46, 132).

Примечательно, однако, то, что рассказчик, глядящий на военное руководство критическим взглядом молодого Толстого, оправдыва-

ется перед читателем, что мог перевернуть имена должностей генеральской свиты, так как сам он человек «не военный». Вероятно, то же почувствовал уже в этот, ранний период, накануне официальной военной службы, и сам Толстой — подобно тому, как позднее, в роковой день парижской казни 1857 года почувствует, что он и «не политический» человек! Впрочем, в этом жизнь распорядится по своему, и Льву Николаевичу придётся ещё неоднократно быть влиятельным голосом в политике...

В связи с анализом сцены разорения аула и насилия над беззащитным населением разум невольно обращается к актуальным сопоставлениям из дней сегодняшних, сентября 2022 года. В современных палачах и извергах рашистской орды в Украине — зло абсолютно, сознательно и недрёманно. Поганый «русский мир» антихристов, палаческ и военен по *сущности*. Они способны на «свою инициативу» в мародёрстве, изнасилованиях женщин, детей, пытках, расстрелах... Если в «Набеге» религиозное табу православного воспитания совести снимается с солдат волею царя, обманщиков попов и офицеров, начальствующих над ними, то у рашистов В. В. Путина этого воспитания, у большинства, нет вовсе. Зато — присутствуют самые низменные побуждения, несовместимые с христианским сознанием как таковым. Налицо гнусный «конкордат» знаний, технологий, опыта с чёрным, «глубинным», достоевским и бесовским, началом в человеке, бывшим в нём от грехопадения. Вот что пишет современный журналист и публицист Леонид Невзлин о развратных мерзавцах, продолжающих ещё орудовать в Украине в дни написания этих строк:

«Никакие деньги, технологии и открытые границы с их прелестями не искоренят эту “раскольническую черту”, это гадкое право вознести топор над тем, кто посмел быть другим.

Украинка медик-волонтер Юлия Паевская (“Тайра”), выступая перед Хельсинской комиссией Конгресса США после трех месяцев плена, рассказала о диалоге со своим мучителем. “Вы знаете, почему мы это делаем с вами”, - спросил он ее. И смелая Юлия ответила: “Потому что можете. Только раб может мучить жертву, зная, что в ответ ему ничего не будет”.

“Тайра” абсолютно права. Люмпенизированная пена знает, что в собственной стране её считают за мусор. За очень короткий век русского солдата, гниющего теперь в землях Украины, никому не приходило в голову наделить его достоинством и самоуважением. Эти качества всегда были вражескими в России. За 30 лет в России выросло поколение ненужных молодых людей — в то время, как их

украинские одногодки знали, что их голос важен, они важны для своей страны.

[...] Россия напала, руководствуясь ощущением безысходности и обиды. С каждым годом россияне всё чётче видели, что соседи рядом становятся всё лучше и всё сильнее, отрываются от совкового прошлого, расправляя плечи в своей национальной идентичности. 5-10 лет и было бы поздно, поэтому война была неизбежна для прикрытия собственной гнили» (<https://t.me/leonidnevzlin/374>).

Здесь — прямое, хотя и не осознаваемое Л. Невзлиным, указание на «осевую» смену век в развитии религиозного сознания человечества: отход от фантазирования о «горних» или «небесных» владыках, царях, «промыслителях», добрых или злых духах, к осознанию мира, живущего в Боге как сущности неличной, по отношению к Которой человек — дитя не по плоти и не по личностным качествам (воление, гнев, милость и под.), а по духу и разумению. И не просто дитя, а ученик, работник, маленький сотворец Творца великого. Долженствующий памятовать, *ощущать* нужность свою не тётке казённой «родине», а Отцу. Но в эру секуляризации и войн с религиями традиционных обществ, начиная с эпохи Просвещения и по наши дни, люди утратили доверие «поповским сказкам» дедовой и отцовой веры, не заменив её для себя ничем другим. Без этой же духовно-нравственной опоры человек не может уважать сам себя, вожделеет такого самоуважения и, неизбежно, оказывается обманываем мирскими обманщиками, «носим по ветру» идеологическими поветриями своего времени. Обманщики же не только не помогают побеждать невежество, омрачённость, ожесточённость и иные следствия массовой ресентиментализации сознания в России, но культивируют в массовом сознании такие контрпродуктивные чувства и эмоции.

Век XIX – й далёк от подобного изошрённого и изгалённого сатанизма. Но обман религиозный, подкрепляемых страхом, а при виде погибающих товарищей — и ненавистью, незримо управляет офицерами и солдатами, заставляя и их совершать многие несовместимые с учением Христа поступки. Толстой в рассказе избегает натуралистических зарисовок; он лишь показывает реакцию и поведение некоторых персонажей. Когда на обратном пути отряд вступил в перелесок и «с обеих сторон стали беспрестанно мелькать конные и пешие горцы» и «пули визжали с обеих сторон», капитан Хлопов, не раз бывший в сражениях, «снял шапку и набожно перекрестился; некоторые старые солдаты сделали то же» (гл. X; 3, 36).

Здесь-то и понял волонтер, что такое храбрость рабов и слуг мира, таких же, как он сам — вопрос, на который он (и автор рассказа!) давно искал ответ и который отчасти был причиной его (и автора!) приезда на Кавказ. «Храбрость» Аланина, молоденького прапорщика, которому от восторга в начале похода «хотелось целоваться и изъясняться в любви со всеми», «прекрасные чёрные глаза его блестя отвагой, рот слегка улыбался», обернулась смертельным ранением. Упоенный жаждой подвига, Аланин не сознаёт бессмысленность своего поступка.

Ещё один персонаж привлёк внимание волонтера — поручик Розенкранц. «Это был один из наших молодых офицеров, удалцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму Героев нашего времени, Мулла-Нуров и т. п., и во всех своих действиях руководствуются не собственными наклонностями, а примером этих образцов» (3, 21). Фигура, внешне очень яркая, колоритная, желающая обратить на себя внимание. Розенкранц резко выделялся среди других офицеров: на нём «чёрный бешмет с галунами», «жёлтая черкеска и высокая, заломленная назад папаха», на поясе «кинжал в серебряной оправе», «шашка в красных сафьянных ножнах» (Там же). Поручик часто ходил «с двумя-тремя мирными татарами по ночам в горы засаживаться на дороги, чтоб подкарауливать и убивать немирных проезжих татар, хотя сердце не раз говорило ему, что ничего тут удалого нет...» (Там же. С. 22). Но во время одной из таких экспедиций он ранил чеченца, которого потом взял к себе, «лечил его, ухаживал, как за ближайшим другом, и, когда тот вылезился, с подарками отпустил его» (Там же). Во время захвата аула Розенкранц «без умолку распоряжался и имел вид человека, чем-то крайне озабоченного» (Там же. С. 34).

Для рассказчика-волонтера поведение Розенкранца едва ли выглядело «храбростью»: этому офицеру всегда необходимо было «перед самим собой казаться тем, чем он хотел быть, потому что товарищи его и солдаты не могли понять его так, как ему хотелось» (Там же. С. 22 – 23).

Коити Итокава в своём желании доказать «единство в развитии», без духовного религиозного переворота, антивоенных убеждений Толстого, относит Розенкранца к образам «пацифистским», поддерживая вывод Н. Э. Бурнашёвой, о котором мы уже упомянули выше. «Как это ни парадоксально, в многочисленных “военных” произведениях Толстого, будь то короткие рассказы или величайшая книга о войне “Война и мир”, любимые герои Толстого [...], люди военные,

участвуют в военных событиях, но... не убивают. Даже когда рассказчик в “Набеге” переживает “воинственный восторг”, чувство, при котором он, “кажется, был [бы] способен из своей руки убить человека” [ГМТ. ОР. “Набег”, оп. 2, л. 3 об.], не поднимается у него рука на себе подобного. То же чувство испытывают на войне юные Володя Козельцов и Петя Ростов; состояние, родственное этому чувству, охватит Михаила Козельцова в день последнего штурма Севастополя и Андрея Болконского во время Аустрелицкого сражения... И хотя Володя командовал двумя “мортирками”, которые стреляли по неприятелю, на его руках нет крови, как не запятнали себя ни капитан Хлопов, ни волонтёр, ни даже Розенкранц, ни солдаты и офицеры из “Рубки леса” и севастопольских рассказов. Ни одного убийства нет на совести Ростова, Андрея Болконского, капитана Тимохина, капитана Тушина, Василия Денисова...» (*Бурнашёва Н.И. «Пройти по трудной дороге открытия...»: Загадки и находки в рукописях Льва Толстого. М., 2003. С. 225 – 226; ср.: Итокава, К. Указ. соч. С.98 -- 99).*

Однако, первое, близость гуманистических настроений названных персонажей не делает их религиозными единомышленниками Толстого-христианина 1880 – 1900-х гг. А второе то, что тот же Розенкранц, и по немецкой фамилии своей судя, и по описанию его поведения — явно не может быть отнесён не только к исключительным противникам насилия, как «поздний» Толстой, но и к любимым персонажам Толстого молодого, презиравшего позу и неискренность в людях.

А вот капитан Хлопов, конечно же, к таковым может быть отнесён... Всматриваясь в лица и поведение офицеров, волонтёр в «Набеге», за которым автор скрыл себя и скудный пока, но ценный свой военный опыт, замечал в них массу «различных оттенков»: «один хочет казаться спокойнее, другой суровее, третий веселее, чем обыкновенно», и только по лицу капитана Хлопова было заметно, «что он и не понимает, зачем казаться» (3, 37). Поведение и вес образ именно капитана Хлопова ассоциируются у волонтёра с истинной храбростью: «В фигуре капитана было очень мало воинственного, но зато в ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. „Вот кто истинно храбр“, сказалось мне невольно» (3, 37). Этот незаметный, «невоинственный» человек, выполняющий свой долг, о себе и о своих делах предпочитает не рассказывать, потому что нет здесь ничего героического. Во время стычки с горцами Хлопов остаётся таким же простым, естественным и невоинственным: «Он был точно таким же, каким я всегда видал его: те же спо-

койные движения, тот же ровный голос, то же выражение бесхитростности на его некрасивом, но простом лице; только по более, чем обыкновенно, светлому взгляду можно было заметить в нём внимание человека, спокойно занятого своим делом» (*Там же*).

Это — преломление в военной среде этико-эстетической «истинного» комильфо, «гражданскую» версию которой Толстой сообщит позднее, в повести «Юность». «Истинно храбрый» человек вовсе не лишён чувства страха и полагает, что «это не значит храбрый», если «суётся туда, где его не спрашивают». «Храбрый тот, который ведёт себя как следует» — эти слова Хлопова напомнили волонтеру мысль Платона, и рассказчик откровенно признаётся, что «даже определение капитана вернее определения греческого философа» (*гл. I; Там же. С. 16 – 17*).

Образ капитана Хлопова — идеал Толстого, «отправная точка», с которой писатель, а позднее публицист Толстой разовёт по-разному и с разных точек зрения, но всегда животрепещущую для него тему «нравственного повреждения» представителей наиболее близкого и понятного ему — собственного — «служилого» сословия. Неоднократно, как мы покажем, Толстой вернётся к этой теме и в антивоенной, христианской публицистике поздних лет жизни.

Образ капитана — безусловно антивоенный. Капитан Хлопов спокойно занят повседневным исполнением порученного — и мы понимаем, что точно так же в более разумно устроенном обществе, среди настоящих, чуждых войне, людей христиан, Хлопов *не капитан* мог бы спокойно и строго заниматься мирным, созидательным и разумным, трудом. Представления капитана о храбрости перекликаются с простым народным здравым смыслом.

Но, опять же, тождествен ли этот образ воззрениям Толстого-публициста, а в особенности Толстого-христианина «позднего» периода, ради которого мы и затеяли весь этот предстоящий обзор?

Всё-таки — нет и нет!

Вести себя, «как следует» — значит отвечать ожиданиям окружающих, начальства, делать должное, воздерживаясь от глупостей и гадостей. «Делай то, что должен, а там пусть будет всё так, как решат боги». Памятуя эту античную этическую максиму с юных лет, Толстой, однако, постепенно изменил для себя её смыслы — именно представления о «должном»: не перед людьми уже, а перед Богом. Когда отказ от призыва, от мобилизации, от военной службы и от всякой службы государству — этически ценнее того, чтобы угодить властителям и начальствующим мира сего.

«Набег. Рассказ волонтера» был опубликован в № 3 журнала «Современник» 1853 г. с подписью «Л. Н.». Цензура чудовищно исказила рассказ. Сам Толстой в майском 1853 г. письме к брату Николаю подвёл грустный итог: «„Набег“ так и пропал от цензуры. Всё, что было хорошего, всё выкинуто или изуродовано» (21, 127).

Но «Набег» не «пропал». Как этап на пути к христианскому отвержению войны Л. Н. Толстым он бесценен для нас — хотя выражает ещё, скорее, языческое, “художническое” неприятие убийства, нежели христианскую веру. Всё насилие в рассказе «Набег», как и теперешнее в Украине, происходит на фоне прекрасной природы, дивных пейзажей, освещённых солнцем. Вот ещё такая сцена, из эпизода, в котором нашкодившая в чужом ауле русня, поджав хвосты, удрала от ответного огня горцев:

«Тёмные массы войск мерно шумели и двигались по роскошному лугу; в различных сторонах слышались бубны, барабаны и весёлые песни. Подголосок шестой роты звучал изо всех сил, и исполненные чувства и силы звуки его чистого грудного тенора далеко разносились по прозрачному вечернему воздуху» (гл. XII; 3, 39). Но на душе у автобиографического персонажа «Набега» и, соответственно, у самого Толстого было смутно и тяжело. «Как хорошо жить на свете, как прекрасен этот свет, как гадки люди и как мало умеют ценить его» — думал он. На эти мысли навела его вся окружающая его природа и особенно «звучная беззаботная песнь перепёлки, которая слышалась где-то далеко в высокой траве». «Она, верно, не знает и не думает о том, на чьей земле она поёт: на земле ли русской или на земле непокорных горцев. Ей и в голову не может прийти, что эта земля не общая. Она думает, глупая, что земля одна для всех... Она знает только одну власть, власть природы, и бессознательно, безропотно покоряется ей» (3, 239 – 240).

Этот, безусловно антивоенный, отрывок так же сохранился лишь в черновом рукописном варианте.

Для Толстого-художника эти картины — реальный аргумент против войны, и именно в связи с этим, художническим, но также и животным и языческим, восторгом перед природой, которой будут наполнены и «Казаки», он, по внешности риторически, а на самом деле вполне всерьёз, вопрошает читателя: «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звёздным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщениия или страсти истребления себе подобных?» (Там же. С. 29).

И пока, в далёком 1852-м, не находит для себя вполне удовлетворительного ответа.

Отправляясь в настоящий, первый свой военный поход, Толстой не мог преодолеть сомнений в «необходимости» и справедливости той войны, участником которой он был. Поэтому он старался не думать об этом вопросе и видеть в войне только то, что он видел в ней в годы «очаковских курений», то есть будучи ребёнком: «возможность проявления молодечества и храбрости». Уже находясь в походе, 5 февраля 1852 года, он записывает в Дневнике: «Странно, что мой детский взгляд – молодечество — на войну для меня самый покойный» (46, 90 – 91).

Как ни определённы были критические в отношении военного насилия мысли и чувства, они не были в Толстом ещё настолько сильны и не проникли так глубоко в его существо, чтобы хотя бы воспрепятствовать его поступлению на военную службу, к которому он стремился и которое было подтверждено приказом в марте 1852 года.

В последующие месяцы 1852 года Толстой работает над повестью «Детства» и ищет себя — в литературе и в жизни. Под 29 марта в Дневнике появляется значительнейшая для темы нашей книги запись:

«С некоторого времени меня сильно начинает мучать раскаяние в утрате лучших годов жизни. И это с тех пор, как я начал чувствовать, что я бы мог сделать что-нибудь хорошее. [...] Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рождён не для того, чтобы быть таким, как все. [...] ...Всё меня мучат жажды... не славы — славы я не хочу и презираю её; а принимать большое влияние в счастья и пользе людей» (46, 102).

Оставалось главное: отыскать именно *свои* пути для утоления этих жажд. Он отчуждается от офицерского общества, погружён в размышления... «Неужели я-таки и сгасну с этим безнадежным желанием?» (Там же). О том, что его настоящее призвание есть литературная деятельность, Толстой тогда и не помышлял. Он много читает и заново «открывает» для себя науку историю — которую, по собственному признанию, прежде не любил по причине «дурного воспитания» (запись 14 апреля). Летом 1852 года молодой Лев перечитывает ряд сочинений обожаемого Руссо, и заносит в дневник ряд размышлений о нравственных и религиозных вопросах, вызванных чтением «Исповедания веры Савойского викария». Например, в записях 29 и 30 июня он пробует распределить людей по группам в зависимости от тех целей, какие они себе ставят в жизни, и приходит к следующим выводам: «Тот человек, которого цель есть собственное счастье, дурен; тот, которого цель есть мнение других,

слаб; тот, которого цель есть счастье других, добродетелен; тот, которого цель — Бог, велик» (46, 128).

Конечно же, по такой строгой классификации, со столь возвышенным идеалом, молодой Лев сам оказывался слабее котёнка. Личная мораль для него в это время вполне совместима не только с самой военной службой, но и с исканием похвал начальства и наград за неё — кстати сказать, за подлинные случаи храбрости. 1 января 1853 года дивизион, в который входила артиллерийская батарея № 4, в которой служил Толстой, выдвинулась в поход — и он испытал тогда то «бодрое чувство радости жизни и вместе с тем опасности смерти и желания деятельности и сознания причастности к огромному, управляемому одной волей целому», которым наделил впоследствии ряд возлюбленных своих персонажей: например, в схожих выражениях он описывает душевное состояние офицера Бутлера, отправившегося со своей ротой в поход против горцев («Хаджи Мурат», гл. XVI; 35, 77). Но, хорошо начатый, поход продолжился длительной стоянкой в крепости Грозной. Командующий отрядом князь Барятинский решил, во-первых, истомить горцев ожиданием и, во-вторых, возбудить против Шамиля и его сторонников недовольство местных жителей, которые должны были снабжать войска Шамиля продовольствием. Для отряда началась праздная, бездеятельная жизнь в крепости. Толстому такой образ жизни был очень неприятен. «Все, особенно брат, пьют, — пишет он 6 января, — и мне это очень неприятно. Война такое несправедливое и дурное дело, что те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести» (46, 155). Впоследствии Толстой никогда не откажется от этого вывода из практических наблюдений — значительного для его антивоенных убеждений. Однако в те январские деньки у него отнюдь ещё нет полной уверенности в том, что дело, в котором он принимает участие, есть дело дурное. «Хорошо ли я делаю?» — спрашивает он себя и не находит вполне ясного ответа на свой вопрос. И, не будучи в силах разрешить своё сомнение, он заканчивает запись словами: «Боже, настави меня и прости, ежели я делаю дурно» (Там же). «Страшно напился в Грозной... я напился... офицеры и б<ляди>... я напился... голова болит... имел глупость проиграть... напился с Ариневским... картёжная страсть сильно шевелится... буду ещё играть... без гроша денег... не хочу больше играть... брат пьёт...» — таков рефрен этих дней в Дневнике молодого Льва (Там же. С. 155 – 157). Гнусный разврат повседневной жизни военщины Толстой испытал на себе: в частности, соблазн карточной игры и невозможность, несмотря на бездеятельность, сосредоточенной и плодотворной твор-

ческой работы. 12 января ему вдруг приходит в голову замысел сказа из «дослужебного» своего опыта, с «говорящим» сам за себя названием: «Бал и бардель» (*Там же. С. 156*). По счастью, этот сомнительный замысел остался неосуществлённым.

Пьянка “по инерции” продолжилась и по выходе дивизиона в поход. Для Толстого она имела положительное значение, отмеченное им в Дневнике 10 февраля: «Чувствую, что буду переносить лучше опасность, чем прошлого года» (*Там же. С. 157*). Так вот какова в военных, ненормальных для человека, условиях может быть цена “высокой”, в глазах тогдашнего Толстого, моральной ценности — храбрости. Кое-как опохмелившись, уже во время стоянки на Качкальковском хребте, Толстой записывает 20 февраля в Дневник, что с удивлением узнал от сослуживца, что «было 16 числа артиллерийское дело ночью и 17 днём», и что он, Лев Николаевич, представлен за храбрость к Георгиевскому кресту! (*Там же*). Прочего товарищ, тоже без меры пивший, вспомнить не смог, но, судя по официальному Послужному формулярному списку юнкера Толстого, он ещё с 30 января принимал участие в следующих боевых операциях: «30 января в движении на реку Мичик и к аулу Нети-Су и далее по Гасовинскому ущелью, при рубке леса и возвращении в Куринское укрепление; февраля 1-го в движении в Гасовинское ущелье для сделания просеки и при перестрелке с горцами; 6-го в движении на Хаби-Шавдонские высоты и расположении на оных лагерем; 11-го при рекогносцировке берегов Мичика; 13-го в перестрелке во время рубки леса»; с 18 февраля, стараясь не просыхать, молодой Лев, герой отечества, принял участие в следующих боевых операциях: «18-го — в движении к аулу Мазлагаш, разорении онога и отступлении в лагерь с боем; 25-го при разорении аулов Дадан Юрт и Али Юрт; с 28 февраля по 9 марта в рубке леса» (*Цит. по: Летописи. Гос. литературный музей. 1948. Кн. 12. С. 186*).

За всё это геройство во хмелю Толстому очень хотелось получить Георгиевский крест — «только для Тулы», как записал он в Дневнике 20 февраля (т. е. имея в виду своих родных и тульских знакомых). Но получение креста расстроилось самым неожиданным образом. Толстой пытался бороться с алкогольной и игровой зависимостью — переключившись на игру в шахматы. И накануне того дня, когда предстояла выдача наград, Толстой, играя в шахматы со знакомым офицером, так увлёкся, что не явился в назначенный час на службу. «Дивизионный начальник Олифер, — рассказывает со слов Толстого его жена, — не найдя его на карауле, страшно рассердился, сделал ему выговор и посадил под арест». На другой день, когда с музыкой и барабанным боем раздавали георгиевские кресты, Толстой «вместо

торжества сидел одинокий под арестом и предавался крайнему отчаянию» (Толстая С.А. *Материалы к биографии Л.Н. Толстого // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 тт. М., 1978. Т. 1. С. 41*).

Выйдя из-под ареста, Толстой 10 марта 1853 г., на стоянке у реки Гудермес, подвёл в Дневнике грустный итог похода: «Кавказская служба ничего не принесла мне, кроме трудов, праздности, дурных знакомств... Надо скорей кончить. Проиграл всё, что было, и остался должен. [...] То, что я не получил креста, очень огорчило меня. Видно, нет мне счастья. А признаюсь, эта глупость очень утешила бы меня. Я даже жалею, что не отказался от офицерства» (46, 158). Последняя фраза Толстого вызвана была тем, что бригадный командир генерал Левин объявил ему, что за «дело 17 февраля» он представлен к производству в офицерский чин и потому одновременно не может быть представлен к получению Георгиевского креста.

Впоследствии был ещё один случай, когда Толстой мог получить Георгиевский крест, но и в этот раз его постигла неудача. В батарею, в которой он служил, после движения 18 февраля (вероятно, 1853 года) были присланы два георгиевских креста. Батарейный командир Алексеев обратился к Толстому со словами: «Вы заслужили крест, хотите — я вам его дам, а то тут есть очень достойный солдат, который заслужил тоже и ждет креста, как средства к существованию». (В то время георгиевский крест давал солдату право на пожизненную пенсию в размере жалованья.) И Толстой «с отчаянием в душе» согласился уступить крест этому старому солдату (*Там же. С. 40*).

Толстой утрачивал постепенно прежнее суеверное уважение к военной службе — наблюдая в ней за собой и, кстати, старшим братом, серьёзно его разочаровавшим. И за прочими сослуживцами... В дневниковых размышлениях Толстой выделяет отдельно такое понятие, как «класс военных», и задумывается над его природой. В его Дневнике появляются записи, похожие на афоризмы, проливающие свет на этот вопрос: «Для существования класса военных необходима дисциплина, для существования дисциплины необходим фронт. — Фронт есть средство посредством малых угроз доводить людей до машинального повиновения. От этого жесточайшие казни не произведут той субординации, которую производит привычка к фронту» (46, 205).

Всё же многое ещё пока не ясно Толстому в природе тех сил, которые гонят людей на «истребление человеческого рода», как писал когда-то его отец. В его руках ещё только часть из клубка тех ниток, которые ведут по ложному и запутанному лабиринту войны. Но

неутомимый путник, наблюдатель, мыслитель и художник, готов идти дальше!

Подступала для него пора выбраться для этого из военной униформы... Спустя всего полтора года после того, как с нетерпением ждал зачисления своего в юнкера артиллерии, летом и осенью 1853 года Толстой уже с таким же нетерпением ждал своего производства в офицерский чин — чтобы со службы выйти. 20 июля Толстой пишет брату Сергею Николаевичу: «Я уже писал тебе, кажется, что я подал в отставку. Бог знает, однако, выйдет ли и когда она выйдет теперь — по случаю войны с Турцией. Это очень беспокоит меня, потому что теперь я уже так привык к счастливой мысли поселиться скоро в деревне, что вернуться опять в Старогладковскую и ожидать до бесконечности так, как я ожидаю всего, касающегося моей службы, очень неприятно» (59, 241).

Общество его сослуживцев офицеров, и ранее его не удовлетворявшее, теперь всё более и более становится для него тягостным. 26 ноября 1853 г. он пишет брату Сергею Николаевичу: «Во всяком случае к новому году я ожидаю перемены в своём образе жизни, который, признаюсь, невыносимо надоел мне. Глупые офицеры, глупые разговоры, глупые офицеры, глупые разговоры — больше ничего. Хоть бы был один человек, с которым бы можно было поговорить от души» (59, 251).

Надеждам на скорую отставку, однако, не суждено было сбыться. 14 июня 1853 года был подписан, а 15 числа того же месяца обнародован Высочайший манифест Николая I о занятии русскими войсками Дунайских княжеств, Валахии и Молдавии, находившихся под протекторатом Турции. В сентябре турецкое правительство предъявило России ультиматум с требованием очистить в 18-тидневный срок занятую русской армией территорию. Ультиматум остался без ответа, начались военные действия. Россия объявила Турции войну. Началась, таким образом, на этот раз очень серьёзная для России Восточная война. Толстой узнаёт, что отпуска и отставки из армии по приказу Николая воспрещены. Вопреки тому «благородному, прекрасному намерению», которое он принял, — отказаться от военной карьеры и с помощью литературы «принимать большое влияние в счастии и пользе людей» — он начинает подумывать об участии в Турецком походе (см. 46, 176). Чтобы вырваться из неприятной ему среды развратных бездельников, Толстой идёт на решительный шаг: подаёт командующему войсками, расположенными в Молдавии и Валахии, М. Д. Горчакову, докладную записку о своём переводе в действующую армию. Толстой ожидал и перевода, и производства в офицерский чин, — но наиболее охотно предпочёл бы быть

выключенным из службы совершенно. 1 декабря он записал в дневнике: «Ожидание перемены жизни беспокоит меня, а серая шинель до того противна, что мне больно (морально) надевать её, чего не было прежде» (46, 205). Служба на батарее всё больше не удовлетворяет Толстого. Смотры, парады, учения — всё то, на что мальчиком, обманутым взрослыми, а помимо них и атавизмами собственной животной природы, он любовался в Москве, о чём мечтал в юности, теперь вызывает в нём отвращение.

Благодаря протекции влиятельных Горчаковых просьба Толстого выполняется быстро, ускоряется процесс присвоения Толстому офицерского чина и оформления перевода на новое место службы. В середине января 1854 г. Толстой сдаёт экзамен на офицерский чин «по полевой артиллерии» (кстати, на «отлично»: 134 балла из 144 возможных) и отбывает к новому месту. Закончился, таким образом, кавказский период его жизни, длившийся в общей сложности 2 года и 7 с половиной месяцев.

Но вынужденное бездействие осени и декабря 1853 г. стало своеобразной «болдинской осенью» Толстого: в эти дни он регулярно ведёт Дневник, записывая многочисленные для себя установления, касающиеся будущего писательского творчества, а также обозначив своё сочувственное отношение к рабочему народу и к «политическим преступникам», разжалованным и ссыльным — сохранившееся у Толстого на всю жизнь. Одним из новых знакомцев Толстого стал бывший офицер *Александр Матвеевич Стасюлевич* (1830 – 1867) разжалованный в солдаты и сосланный на Кавказ за то, что во время его дежурства из тюрьмы убежало несколько арестантов. Стасюлевича показушно сделали «козлом отпущения», наказанным из-за общего разгильдяйства и недисциплинированности в армии. О несчастливой судьбе А. М. Стасюлевича Толстому суждено будет вспоминать через много лет, в связи с участием его в судьбе другой несчастной жертвы мира и мирских лжи и зла — солдата Василия Шабунина, в 1866 году.

Кроме вопросов художественного творчества, многие другие важные вопросы являлись предметом размышлений Толстого в период его уединённой кавказской жизни. Сама жизнь заставляла его усиленно думать над вопросом об отношении к войне, в которой ему пришлось быть участником. Отношение к народу, к крепостному праву также было тем вопросом, над которым Толстой не мог не думать долго и напряженно. Он не приходит ещё к принципиальному отрицанию крепостного права, но ему уже ясны моральные преимущества «простого народа» перед привилегированными классами. Во-

просы личной нравственности, составление для себя «правил поведения», борьба со своими недостатками характерны для всего кавказского периода жизни Толстого. Основные вопросы философии, религиозной метафизики и религиозного понимания жизни также являлись в то время одним из главных предметов размышлений Толстого. Критическое отношение к учению православной церкви, начавшееся ещё в Казани, теперь усилилось ещё больше. Многие из того, до чего Толстой, живя на Кавказе, додумался в области религии, осталось на всю жизнь его твёрдым убеждением. О своих религиозных исканиях кавказского периода Толстой через пять лет после отъезда с Кавказа, в мае 1859 года, писал А. А. Толстой: «...я был одинок и несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать. У меня есть мои записки того времени, и теперь, перечитывая их, я не мог понять, чтобы человек мог дойти до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошел тогда. Это было и мучительное и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал *туда*, как в это время, продолжавшееся два года... Из двух лет умственной работы я нашёл простую, старую вещь, но которую я знаю так, как никто не знает, — я нашёл, что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого для того, чтобы быть счастливым вечно. Эти открытия удивили меня сходством с христианской религией, и я вместо того, чтобы открывать сам, стал искать их в Евангелии, но нашёл мало. Я не нашёл ни Бога, ни икупителя, ни таинств, ничего; а искал всеми, всеми, всеми силами души, и плакал, и мучился, и ничего не желал, кроме истины... Так и остался с своей религией...» (60, 293).

В раздумьях писателя того периода одно из первых мест занимали мысли о том, что отделяет людей друг от друга, о таких барьерах между людьми и народами, как насилие, человеконенавистничество, война. Глубокое впечатление на него произвела жизнь казаков и горцев с её простотой, естественностью, отсутствием всякой фальши, близостью к природе. «Всё Бог создал на радость человеку. Ни в чём греха нет, — говорит дядя Ерошка в «Казаках» Оленину. — Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше и в нашем живёт. Куда придёт, там и дом» (6, 56). «Как хорошо жить на свете, как прекрасен этот свет! — сказано в одном из вариантов «Набега». — Эту не новую, но невольную и задушевную мысль вызвала у меня вся окружающая меня природа, но больше всего звучная беззаботная песнь перепёлки, которая слышалась где-то далеко, в высокой траве. Она верно не знает и не думает о том, на чьей земле она поёт, на земле ли русской или на земле непокорных горцев, ей и в голову

не может придти, что эта земля не общая. Она думает, глупая, что земля одна для всех» (3, 239).

Биограф и друг П. И. Бирюков, беседовавший в 1905 году с писателем о его пребывании на Кавказе, передаёт нам следующее: «Лев Николаевич с радостью вспоминает это время, считая его одним из лучших периодов его жизни, несмотря на все отклонения от смутно сознаваемого им идеала» (Бирюков П. И. *Биография Льва Николаевича Толстого: В 4-х т. М. – Пг., 1923. С. 104*).

В то время как напряжённая работа мысли помогала Толстому углублять основы своего мирозерцания, общение с окружающими расширяло его жизненный опыт — борьбы с миром и его заманками, а равно и с собственным желанием *угождения миру*, тем самым, которое в наши дни, в XXI столетии, даёт возможность халтурным и лживым правительствам собрать тщеславящихся молодых (и не очень) простецов под военные стяги. Та среда, в которую попал Толстой на Кавказе, совершенно не походила на пресловутое *светское общество*, в котором он вращался в Москве. Это были прежде всего его сослуживцы офицеры, большинство которых происходило не из светских кругов. Хотя Толстой не мог не чувствовать своего умственного и нравственного превосходства над этими людьми, общение с ними было для него полезно в том отношении, что помогало ему отрешаться от тех нелепых предрассудков *комильфотности*, в которых он был воспитан.

В черновике одного из своих писем (брату Сергею от 5 декабря 1852 года) Толстой считает время, проведённое на Кавказской войне, школой для себя. Только уроки, полученные в этой школе, во многом оказались, как показало будущее, прямой противоположностью тому, на что рассчитывали царь и его генералитет.

Разочарованием своим в военной среде и службе Толстой “заразит” и персонажей очередных своих сочинений: рассказов «Святочная ночь», «Записки маркёра», «Рубка леса», «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный», «Два гусара», позднее — «Казачи». И здесь же явятся первые яркие образы носителей «морального повреждения» в дворянской и офицерской среде, о котором Толстой тоже знал уже не понаслышке.

Последние числа декабря 1853-го и особенно весь январь 1854 года, до самого отъезда с Кавказа, прошли у него в напряжённой работе. Толстой одновременно работает над тремя начатыми им произведениями: «Отрочеством», «Романом русского помещика» и «Записками фейерверкера» — впоследствии превратившимися в рассказ «Рубка леса».

1. 2. ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛ

«Школа», начатая на Кавказе, была продолжена на Дунае и в Севастополе. Следующим этапом предназначенного Льву Николаевичу Толстому пути к отвержению войны именно с христианских религиозных позиций стал опыт участия в т.н. Восточной войне России. В марте 1854 года Толстой приезжает в Бухарест, где находился штаб Горчакова.

Михаил Дмитриевич Горчаков, знавший отца писателя, участвовавший, как и Н. И. Толстой, в войне 1812 года (позднее он участвовал в русско-турецкой войне 1828 года и в Польской кампании 1830 – 1831 годов), встретил Толстого по-родственному. «Он меня расцеловал, — писал Толстой родным, — звал к себе обедать каждый день, хочет меня оставить при себе, хотя это ещё не вполне решено» (59, 259). Через месяц «это» решилось вполне, и Толстой был командирован к горчаковскому штабу в качестве офицера для особых поручений при начальнике артиллерии Дунайской армии генерале Сержпутовском.

В Горчакове Толстому импонировали простота, скромность, отсутствие позы, приветливое обращение с подчинёнными. В письме к Т. А. Ёргольской он называет себя поклонником князя и так описывает его во время осады Силистрии: «Надо видеть эту слегка комичную фигуру — большого роста, с руками за спиной, фуражкой на затылке, в очках и с чем-то от индюка в манере говорить. Видно, что он так погружён в общий ход дела, что ни пули, ни бомбы для него не существуют. Это...человек, который всю свою жизнь посвятил службе отечеству и не из человеколюбия, а по долгу» (59, 274).

Воспоминания о Горчакове помогли Толстому-романисту в создании одного из лучших, ярчайших и одновременно идеальных образов «Войны и мира», полководца М. И. Кутузова.

На ещё живую плоть слабеющей Османской империи слетались более сильные хищники, среди которых свои претензии высказывала и Россия. Близкие к правительству круги мечтали о значительном расширении русских владений за счёт Турции. Славянофилы мечтали об объединении всех славян под главенством России и о том,

чтобы вновь водрузить православный крест над храмом святой Софии в Константинополе, превращённым турками в мечеть. В 1862 году Н. Г. Чернышевский в одной из своих статей, напечатанных в «Современнике», вспоминая первые годы Крымской войны, писал: «При начале Восточной войны из ста так называемых образованных людей девяносто девять ликовали при мысли, что мы скоро овладеем Константинополем» (*Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений, т. X, М., 1951. С. 488*). Впрочем, тот же Чернышевский в другом месте делится наблюдением, что эти самые «мы» пресловутыми «образованными кругами» практически и исчерпывались, в рядах же самих народов, столкнутых своими правителями в военной драке, не было ни патриотизма, ни религиозного фанатизма: «Из тысяч сражавшихся солдат, турецких или русских, было ли хоть два человека, которые добровольно взялись за оружие? Было ли в каждой тысяче солдат хоть по одному человеку, который с радостью не отложил бы оружие в сторону и не пошёл бы куда-нибудь подальше от войны на работу или хоть на мирную праздность?» (*Там же. С. 360*). С высокой вероятностью, это наблюдение можно, и то с оговорками, отнести лишь к солдатам с *российской* стороны.

Толстой в Восточную войну не принадлежал ни к патриотам правительственного лагеря, ни к славянофилам, ни к пораженцам. Та война, в которой ему теперь приходилось принимать участие, в его сознании была совершенно не похожа на ту, участником которой он был на Кавказе. Здесь русские войска воевали с турками, которые по традиции считались давнишними врагами России. Еще больше оправдывалось в сознании Толстого его участие в войне с турками известиями о жестокостях, совершавшихся турками в этой войне. В письме к своей воспитательнице, «тётиньке» Т. А. Ёргольской от 5 июля 1854 года Толстой рассказывает, что по мере того, как русская армия покидала болгарские селения, в них появлялись турки и, «кроме молодых женщин, годных в гаремы, истребляли всех жителей». «Я ездил, — писал Толстой, — из лагеря в одну деревню за молоком и фруктами, и там было вырезано всё население» (59, 275).

Толстой под Силистрией чаще бывал зрителем, чем участником войны. «Столько я видел интересного, поэтического и трогательного, что время, проведённое мною там, никогда не изгладится из моей памяти», — писал Толстой Т. А. Ёргольской уже по снятии осады 5 июля 1854 года. Русский лагерь был расположен на правом берегу Дуная в садах, принадлежавших губернатору Силистрии Мустафе-

паше. Отсюда был виден Дунай с обоими берегами его и расположенными на нём островами, были видны Силистрия и её форты, в подзорную трубу можно было даже различить турецких солдат; слышна была не прекращавшаяся ни днём, ни ночью пушечная и ружейная стрельба. «По правде сказать, — писал Толстой в том же письме, — странное удовольствие глядеть, как люди друг друга убивают, а между тем и утром и вечером я со своей повозки целыми часами смотрел на это. И не я один. Зрелище было поистине замечательное, и, в особенности, ночью» (Там же. С. 273).

В ночь с 8 на 9 июня был назначен штурм крепости. Днём началась артиллерийская подготовка; около пятисот орудий стреляли по Силистрии. Стрельба продолжалась всю ночь. «Мы все были там, — рассказывает Толстой в том же письме, — и, как всегда, накануне сражения делали вид, что о завтрашнем дне мы думаем не более, чем о всяком другом. Но я уверен, что на самом деле у всех сердце немножко сжималось (и даже не немножко, а очень сильно) при мысли о штурме... К утру с приближением момента действия страх ослабевал, а к трём часам, когда ожидали ракету, как сигнала к атаке, я был в таком хорошем настроении, что ежели бы пришло известие, что штурма не будет, я бы очень огорчился».

Но то, чего Толстой так не желал, и случилось. 4 июня Австрия при поддержке Пруссии потребовала от Николая I вывода войск из дунайских княжеств. Николаю пришлось уступить и тем свести на нет всю дунайскую кампанию, продолжавшуюся больше года. Вскоре войскам было приказано не только снять осаду Силистрии, но и переправиться обратно на левый берег Дуная.

За час до условленного времени начала штурма к Горчакову прискакал курьер с письмом от фельдмаршала Паскевича. Фельдмаршал извещал, что царь «разрешить изволил снять осаду Силистрии, ежели до получения письма Силистрия не будет ещё взята или совершенно нельзя будет определить, когда взята будет». Получив это извещение, Горчаков сейчас же приказал войскам, уже занявшим позиции для штурма, вернуться в лагерь.

«Могу сказать, не боясь ошибиться, — писал Толстой в том же письме, — что это известие было принято всеми — солдатами, офицерами, генералами, как настоящее несчастье. Тем более, что было известно от шпионов, которые часто являлись к нам из Силистрии и с которыми мне самому приходилось говорить, — было известно, что

когда овладеют фортом, — а в этом никто не сомневался — Силистрия не сможет продержаться более 2, 3 дней» (*Там же. С. 275*).

Этот рассказ Толстого о настроении русских войск после отмены штурма Силистрии вполне подтверждается свидетельствами других современников. Для молодого же Льва этот опыт стал новой, великолепной школой ненависти — пока ещё не к военщине и разбойничьим гнёздам государств, как таковым, а к порочным практикам одного лишь государства Российского, привыкшего (и не отвыкшего по сей день, в наши дни — осень 2022 года!) класть тысячи жертв своих граждан в угоду изменчивостям политики.

Толстой возвращается к стремительно надоедающей ему штабной работе, переделывает «Записки фейерверкера», а на досуге — читает и перечитывает любимых Пушкина, Лермонтова, Диккенса... Из произведений Пушкина, в частности, Толстого поразили «Цыганы», «которых, странно, — пишет он в Дневнике на 9 июля, — я не понимал до сих пор» (47, 10). Совершенно понятно, почему именно «Цыганы» особенно понравились Толстому: ему близка была идея этой поэмы, противопоставление простых, цельных, живущих естественной общей жизнью людей изломанному, испорченному ложной цивилизацией эгоисту Алеко. У Лермонтова Толстого поразило стихотворение «Умиравший гладиатор»:

И кровь его течёт — последние мгновенья
Мелькают, — близок час... вот луч воображенья
Сверкнул в его душе... пред ним шумит Дунай...
И родина цветет... свободный жизни край;
Он видит круг семьи, оставленный для брани,
Отца, простёршего немеющие длани,
Зовущего к себе опоры дряхлых дней...
Детей играющих — возлюбленных детей.
Все ждут его назад с добычею и славой,
Напрасно — жалкий раб, — он пал, как зверь лесной,
Бесчувственной толпы минутною забавой...
Прости, развратный Рим, — прости, о край родной...

«Эта предсмертная мечта о доме удивительно хороша» — записывает он в Дневнике (*Там же. С. 9 – 10*). Судьба будущего христианского публициста, проповедника мира продолжала верно служить Высшему Промыслу.

Заметим кстати, что М. Ю. Лермонтов, пища своего «Гладиатора» в 1836 году, на восходе «золотого века» русской культуры, имел в виду

в этом образе «отживший», по его мнению, лучшие годы «европейский мир»:

Стараясь заглушить последние страдания,
Ты жадно слушаешь и песни старины
И рыцарских времён волшебные преданья...

Но с куда большей уверенностью этот образ, если изъять из него черты благородства, подходит в наши дни, в 20-е годы XXI века, к так называемому «русскому миру», давно пережившему культурный свой «век золотой», а «серебряный», в XX столетии — выселивший в эмиграцию или уничтоживший, и теперь, как осенняя муха — старающийся перед гибелью побольнее «укусить» всё ещё сильный мир, единой в наши дни, евро-атлантической цивилизации и подлейше навредить «предателям» — осколкам бывшей Российской империи и СССР, таким, как Грузия или Украина, стремящимся примкнуть культурно к этому миру и принять его защиту — зрелого, потрёпанного в боях веков, но всё ещё сильного, не поверженного гладиатора!

Политический шаг российского правительства, снятие осады Силистрии после многочисленных жертв в её ходе, вызвал в Толстом возражение того особенного, замешанное на сочувствии к народу, к солдатам, патриотического чувства, которое, лишь уютно теплящимся, мы обнаруживаем впервые в рассказе «Набег» и которое позднее, под Севастополем, разгоралось всё мощнее, в яростный пожар неприятия, отрицания, оппозиции — выжигая в своём огне всё наносное, ложное... То, что позорное отступление из-под крепости стало катализатором этих настроений косвенно подтверждают наблюдения Н. Н. Гусева над Дневником Л. Н. Толстого Дунайского периода:

«...Во всём Дневнике, за исключением нескольких незначительных упоминаний, совершенно не находим никаких записей, относящихся к войне. По содержанию Дневника невозможно догадаться, что его ведёт штабной офицер действующей армии. Очевидно, задушевные интересы автора Дневника были совершенно в иных областях жизни, не связанных с его службой» (*Гусев Н.Н. Материалы к биографии Льва Николаевича Толстого. 1828 – 1855. М., 1954. С. 495*).

Очень скоро, к чести не одного Толстого, но и России, и счастьем читающих поклонников Толстого и русской литературы во всём

мире, этому состоянию сознания «автора Дневника» предстоят необратимые огромные перемены.

19 июля 1854 года штаб начальника артиллерии, оставляя дунайские княжества, выехал из Бухареста по направлению к русской границе. Переезд продолжался больше месяца. 3 сентября Толстой переехал границу у местечка Скуляны Бессарабской губернии и 9 сентября приехал в Кишинев, куда была переведена главная квартира армии.



Л. Н. Толстой с братьями Сергеем, Дмитрием и Николаем. 1854 г.

Ко времени пребывания Толстого в Дунайской армии, службы в Кишинёве, относится значительнейший и для нашей темы, и для всей жизни Льва Николаевича эпизод, требующий отдельного и пристального исследовательского внимания.

6 сентября 1854 года Толстой получает чин поручика — как после окажется, последний в его служебной карьере, но, что важно для нас, довольно значительный в глазах старших и по летам, и по зва-

нию офицеров. Как следствие, в Кишинёве, куда молодой Лев добирался к 9 сентября, на него обращают внимание и он обретает новых знакомых в офицерских кругах. На волне тревожных военных известий в среде этих знакомых в начале осени 1854 года выделяется интеллигентный офицерский кружок «выдающихся людей», как именует их Толстой в письме к Т. А. Ёргольской (59, 294), желающий выразить публично своё очень умеренное, даже и благонамеренное, но всё-таки недовольство состоянием солдат и войска, руководства ими. К середине сентября кружок состоял из следующих семи лиц: капитан Александр Яковлевич Фриде (1829 – 1894), капитан Аркадий Дмитриевич Столыпин (1822 – 1899), штабс-капитан Иосиф Карлович Комстадиус (? – 1854), штабс-капитан Лев Фёдорович Балюзек (1822 – 1879), поручик Шубин (имя и даты жизни не установлены), поручик Константин Николаевич Боборыкин (1829 – 1904) и, конечно же, поручик граф Лев Николаевич Толстой — последний из присоединившихся, но не последний по значению! Вероятнее всего, именно ему принадлежал первоначальный замысел: основать Общество для содействия просвещению и образованию среди войск. 17 сентября молодой Лев записывает в Дневнике, что план основания общества «сильно занимает» его. На следующий день он уже составляет проект устава общества, который, к сожалению, не сохранился. Но, задумавшись о конкретной деятельности, в которой должно было выразить им свою просветительскую миссию, друзья пришли к идее издания официального военного журнала. Отчего именно журнал? От идеи Общества, работающего неподконтрольно с солдатами (регулярные занятия, чтения, беседы), пришлось тут же отказаться, по понятным причинам: «традиционное» у сволочной тётки родины, имперской России, насторожённое отношение к любым «обществам» в условиях войны выросло до маниакально-параноидального фазиса. Кроме того, у самих товарищей по просветительской инициативе не хватило бы личных времени и сил для такой работы. У намечавшегося же изданием журнала были достойные предтечи и современники, как были и помощники, имевшие соответствующий опыт. Например, Осип Ильич Константинов (1813 – 1856) с 1846 по 1849 годы был первым редактором газеты «Кавказ». Первоначально это было частное издание, издававшееся по инициативе Кавказского наместника князя Воронцова. «Кавказ» пользовался поддержкой правительства: новая газета способствовала русификации окраин. В 1850 году газета перешла в собственность канцелярии

управления наместника кавказского, и к 1856 г. окончательно превратилась в правительственный официоз. Осип Ильич находился в это время в Севастополе, при князе М. Д. Горчакове, пиша «по горячим следам» историю Севастопольской обороны — кстати сказать, до сих пор вполне не опубликованную.

Журналу сначала предполагалось дать название «Солдатский вестник», а затем — «Военный листок». Редакторами предполагаемого журнала были выбраны Толстой и всё тот же бывший редактор газеты «Кавказ» О. И. Константинов. Журнал предполагалось выпускать с 1 января 1855 года еженедельно, размером в один печатный лист, и сделать его общедоступным по цене (3 рубля в год).

По Проекту журнала, издание должно было финансироваться средствами подписчиков и всех учредителей. Но позднее ответственность за финансирование была возложена на Л. Н. Толстого и А. Д. Столыпина. Видимо, остальные участники издательского сообщества, не располагая деньгами, пришли к договоренности, что в случае «недостаточности» авансируемых сумм выходить из положения будут «общими» усилиями. Такой, на наш взгляд, смысл извлекается из записи Толстого в «Заметке по поводу Военного журнала»: «Денежные средства находятся у Фриде. В случае же недостаточности — общими силами» (4, 284).

Толстой изыскал средства, предприняв весьма решительный и знаменитый шаг. Ещё летом 1853 года, пребывая на вакации в Пятигорске, на лечении, он поручил зятю своему, *Валериану Петровичу Толстому* (1813 – 1865), продать по доверенности старый усадебный дом в Ясной Поляне. Конечно же, решиться на эту продажу Толстому было нелегко, так как дом был дорог ему по связи с воспоминаниями детства, юности и первой молодости. Но дом ветшал в отсутствие хозяина, остававшегося в те годы ещё холостяком, и, по меткому выражению брата Сергея в письме ко Льву от 18 июля 1852 г., при промедлении с продажей через год-два мог бы сгодиться только «как сувенир» (59, 198). Дом был продан осенью 1854 года соседнему помещику П. М. Горохову, который перевёз его в своё имение Долгое, в том же Крапивенском уезде, в восемнадцати верстах от Ясной Поляны. Деньги, вырученные от продажи дома, для сохранности были положены в Приказ общественного призрения на случай экстренных хозяйственных расходов.

Письмо, в котором Толстой просил своего зятя выслать ему деньги, не сохранилось, но сохранилось письмо В. П. Толстого к Т. А. Ёргольской с сообщением об этом письме к нему Льва Николаевича. Лев Николаевич писал В. П. Толстому, что затеял одно важное предприятие, о котором сообщит подробно, когда будет в нём уверен, и просил немедленно выслать ему 1500 рублей серебром, «не огорчая» его «никакими возражениями». В. П. Толстой, скрипя сердцем, исполнил просьбу своего шурина. «Дай бог, — писал он Т. А. Ёргольской, — чтобы это предприятие Лёвы оказалось более удачным, чем другие, но я сильно побаиваюсь, чтобы деньги эти, последние ресурсы Ясного, не исчезли, не принесли ему ни малейшей пользы» (Цит. по: Гусев Н.Н. *Материалы... 1828 – 1855. М, 1954. С. 501*).

Разрешение на издание журнала зависело от резолюции царя по докладу военного министра. Коллективно был составлен подробный проспект предполагаемого журнала, черновик которого, переписанный писарем и отредактированный Толстым, сохранился в архиве Толстого и был опубликован только в Полном (юбилейном) Собрании сочинений, т. 4.



Эскиз обложки № 1 журнала «Военный листок»

По намеченной в этом проспекте программе, задачи журнала определялись следующим образом: «1) распространение между войсками

правил военных добродетелей: преданности престолу и отечеству и святого исполнения воинских обязанностей; 2) распространение между офицерами и нижними чинами сведений о современных военных событиях, неведение которых порождает между войсками ложные и даже вредные слухи, о подвигах храбрости и доблестных поступках отрядов и лиц на всех театрах настоящей войны; 3) распространение между военными всех чинов и родов службы познаний о специальных предметах военного искусства; 4) распространение критических сведений о достоинстве военных сочинений, новых изобретений и проектов; 5) доставление занимательного, доступного и полезного чтения всем чинам армии; 6) улучшение поэзии солдата, составляющей его единственную литературу, помещением в журнале песен, писанных языком чистым и звучным, внушающих солдату правильные понятия о вещах и более других исполненных чувствами любви к монарху и отечеству» (4, 281 – 283).

Инициаторы благого дела солдатского просвещения оптимистично намеревались привлечь к участию в журнале некоторых высоких особ, по списку:

«Генерал-адъютанта Коцебу
Генерал-адъютанта Безака
Генерал-лейтенанта Соймонова
Генерал-лейтенанта Липранди
Генерал-лейтенанта Бриммера
Генерал-лейтенанта Ковалевского
Генерал-майора Бутурлина
Генерал-майора Затлера
Генерал-майора Баумгартена
Полковников: Милютина
— Веймарна
— Лебедева
— Шуббе
— Кулебякина
— Карлгофа
— Левина

Преосвященного Инокентия
и Выс[око]пр[еосвященного] Филарета» (Там же. С. 283).

Предполагалось рассылать издание бесплатно по войсковым частям из контор в Санкт-Петербурге, Москве и ещё нескольких губернских городах (*Там же*).

Но к этому времени в Петербурге, по «Высочайшему соизволению», в качестве неофициального органа военного министерства уже издавался журнал «Чтение для солдат» (с 1847 г., выходил 6 раз в году; редактор – участник Кавказских походов 1830-х гг. Иван Гаврилович Чекмарёв (1815 – 1887), впоследствии генерал). В Санкт-Петербурге в типографии Артиллерийского Департамента шесть раз в году выходил «Артиллерийский Журнал». Широкой популярностью пользовалась газета «Русский инвалид», история которой убеждала, что даже частная инициатива может иметь успешное продолжение. Созданная в 1813 г. чиновником-масоном и филантропом, балтийским немцем Павлом Павловичем Пезаровиусом (урожд. Paul Wilhelm von Pomian de Pesarovius; 1776 – 1847) по благотворительным побуждениям (помощь инвалидам 1812 года, вдовам, сиротам), газета приносила доход, а с 1816 г. выходила ежедневно; в годы Крымской войны фактически обрела «официальный» характер (с 1862 г. – официальная газета Военного Министерства; с 1869 г. – орган Генерального штаба). Ещё ближе был убедительный пример журнала «Морской сборник», инициаторами создания которого стала группа морских офицеров во главе с Фёдором Петровичем Литке (урожд. Friedrich Benjamin Graf von Lütke; 1797 – 1882), выдающимся исследователем Арктики.

Без сомнения зная обо всех таковых предтечах, издатели задуманного «Вестника» всё же, надо полагать, разумели какое-то решающее отличие их журнала от уже осуществляемых официозов. Так оно и было! В письме к брату Сергею Николаевичу от 20 ноября 1854 года, то есть уже из Крыма, Толстой более откровенно рассказал о намечавшихся задачах предполагаемого журнала. Он писал, что предполагаемый журнал ставит своей задачей «поддерживать хороший дух в войске». «В журнале, — писал Толстой, — будут помещаться описания сражений — не такие сухие и лживые, как в других журналах, подвиги храбрости, биографии и некрологи хороших людей и преимущественно из тёмненьких; военные рассказы, солдатские песни, популярные статьи об инженерном и артиллерийском искусстве и т. д.» (59, 283).

Таким образом, судя по письму Толстого, задачи задуманного журнала сводились к следующему: способствовать усилению патриотических чувств в солдатах и офицерах; сообщать *правдивые* сведения о происходящих сражениях (Толстой к тому времени уже успел убедиться в том, что официальные сообщения о сражениях обычно бывают лживыми); повышать уровень военных знаний солдат и офицеров; рассказывать о подвигах храбрости и мужества преимущественно солдат («тёмненьких»); улучшать качество единственной художественной литературы, доступной в то время русскому солдату, — солдатских песен (здесь сказалось участие Толстого в составлении программы). Об усилении в солдатах «преданности престолу», «любви к монарху», не говорится здесь ни одного слова, из чего можно заключить, что пункт этот был внесён в официальную программу журнала только по необходимости. Нельзя не признать, что военный журнал, ставивший себе такого рода задачи, был бы прогрессивным явлением в крепостнической России времени царствования Николая I. Но слишком широкий тематический охват замысленного издания, включающий дублирование официальных военных новостей в изданиях, подобных «Русскому инвалиду», могущих поэтому потерять подписантов и доходы — вряд ли мог понравиться царю и прочим протекторам тогдашних военных официозов!

В тот же письме к брату С. Н. Толстому от 20 ноября 1854 г. молодой Лев делится впечатлениями, подробно пересказывает разговоры встреченных в Севастополе солдат, священников, и кстати делится замыслами журнала: «В нашем артиллерийском штабе <в Кишинёве. — Р. А.> [...] родилась мысль издавать военный журнал, с целью поддерживать хороший дух в войске, журнал дешёвый (по 3 р.) и популярный, чтобы его читали солдаты. Мы написали проэкт журнала и представили его Князю» (*Там же. С. 282*).

Будущие издатели во многом полагались на авторитет уже встреченного выше, на этих страницах, читателем Главнокомандующего Южной армией, генерала от артиллерии, великолепного Михаила Дмитриевича Горчакова, участника Бородинского сражения и русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг.



Горчаков Михаил Дмитриевич, князь.
Под Севастополем во время Крымской войны, 1855.
Ксилография.

Проспект журнала был представлен на одобрение «князя», и Горчаков отнёсся к нему сочувственно. 16 октября он отослал проект в Петербург на рассмотрение военного министра с последующим докладом царю.

Был составлен также пробный номер журнала, в который Толстой включил небольшое, специально подготовленное своё сочинение.

Точно о содержании этого сочинения ничего не известно. Биограф Л. Н. Толстого Николай Николаевич Гусев заключает, что на тот момент это мог быть только патриотический рассказ «Как умирают русские солдаты», сохранившиеся в автографе 1854 года и, в изменённом виде, неполной, более поздней «черновой» копии с утраченного автографа — 1858 года. Надо предполагать, что в 1858 г. Толстой вернулся к работе над рассказом, уже написанным им ранее, в 1854 г. Под 11 апреля 1858 г. в Дневнике отмечено: «Разбирал бумаги и книги» (48, 12). Весьма вероятно, что среди разбиравшихся старых бумаг и книг оказался и написанный в Севастополе рассказ,

и Толстой вновь принялся за работу над ним. Показательно, что вариант 1858 года озаглавлен значительно нейтральнее — «Тревога». Автограф же с заглавием «Как умирают русские солдаты» имеет карандашные пометы: в левом верхнем углу — «№ 2», под заглавием — «№ 4». Предположительно, оставленные карандашом №№ обозначали последовательно изменившееся место рассказа в проектированном выпуске журнала. Завершается автограф вот такой приписанной сентенцией: «Велики судьбы славянского народа! Не даром дана ему эта спокойная сила души, эта великая простота и бессознательность силы!..» (5, 236). Высока вероятность, что этими выспренними словами, намеренно приписанными в завершение очень драматического и реалистичного рассказа, Толстой хотел расположить цензоров нового журнала к разрешению публикации.

Есть и другой, так же по воспоминаниям о Кавказской войне, рассказ «Дяденька Жданов и кавалер Чернов», относившийся исследователями прежде к числу художественных замыслов Л. Н. Толстого для журнала. Но он, во-первых, не был окончен Толстым, а во-вторых, в известном нам черновом виде — исключительно нецензурен и мрачен. Кроме того, современная датировка его, по сравнению с временем издания Юбилейного собрания сочинений, убедительно скорректирована: по выводам Н. И. Бурнашёвой, оно появилось не ранее марта 1855 г., в атмосфере надежд на перемены в России и необходимые реформы в армии после смерти Николая I. Поэтому рассказ не может быть отнесён к проектам Л. Н. Толстого для «Военного журнала» 1854 г. (*Бурнашёва Н. А. Раннее творчество Л. Н. Толстого: текст и время. М., 1999. С. 39 – 51*).

Ниже ещё пойдёт речь о «Дядиньке Жданове», здесь же лишь прибавим, что справедливость мнения исследователей, относящих данный рассказ к позднему времени, действительно ощутима уже по несовместимому с настроением рассказа приподнятому настроению Л. Н. Толстого в эти осенние дни, его патриотизму и вере в гражданское, а не рабское будущее для России. 2 ноября 1854 года, под впечатлением от известий о трагических для России Альминском и Инкерманском сражениях, молодой Лев записывает в Дневнике: «Ужасное убийство. Оно ляжет на душе многих! Господи, прости им. Известие об этом деле произвело впечатление. Я видел стариков, которые плакали навзрыд... Велика моральная сила русского народа. Много политических истин выйдет наружу и разовьётся в нынешние трудные для России минуты. Чувство пылкой любви к

отечеству, восставшее и вылившееся из несчастий России, оставит надолго следы в ней. Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы. Они с большим достоинством и гордостью будут принимать участие в делах общественных, а энтузиазм, возбужденный войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства» (47, 27 – 28).

Здесь же Толстой записывает, что просить о переводе в Севастополь его «более всего» побудило известие о гибели в несчастливом для россиян Инкерманском сражении Соймонова, «одного из немногих честных и мыслящих генералов русской армии», и в особенности одного из членов «общества» и издателей предполагавшегося журнала, Комстадиуса: «Мне как будто стало совестно перед ним» (Там же).

В ходе Восточной войны назревал крутой перелом. Англия ставила себе целью вытеснить Россию с Кавказа, Крымского побережья, побережий Балтийского и Белого морей, с Камчатки и из близлежащих районов Средней Азии. Было решено начать решительные действия против России на Чёрном море. Были сформированы союзные корпуса, предназначенные к отправлению в Крым. 2 сентября состоялась высадка союзных войск на морском берегу между Евпаторией и рекой Альмой. 7 сентября союзная армия после четырёхдневной стоянки на месте высадки двинулась по направлению к Севастополю. На другой день, 8 сентября, произошла первая встреча союзной армии с русскими войсками на реке Альме. Сражение было проиграно вследствие как численного превосходства союзной армии, так и превосходства её вооружения и полного отсутствия руководства со стороны русского командования. Потеряв больше 5600 человек, русские войска отступили по направлению к Севастополю.

Толстой сейчас же по прибытии в Кишинев отправился в дальнюю (вёрст за 200, по его записи) служебную поездку в город Летичев Подольской губернии. Поездка, во время которой Толстой, как он записал, видел «много нового и интересного», продолжалась неделю. Возвратившись 16 сентября, Толстой в тот же день записывает в дневнике: «Высадка около Севастополя мучит меня». «Дела в Севастополе всё висят на волоске», — с беспокойством добавляет он в свой Дневник 21 октября. У него появляется желание самому принять участие в защите Севастополя. Его возмущало то, что в то время, как армия отступала и в Крыму происходили серьёзные сра-

жения, в Кишинёве давались балы в честь приехавших великих князей Николая и Михаила. На одном из таких балов Толстой заявил о своём желании перевестись в Севастополь.

В письме к брату Сергею Николаевичу от 3 июля 1855 года Толстой сообщал, что просил об этом переводе «отчасти для того, чтобы видеть эту войну, отчасти для того, чтобы вырваться из штаба Сержпутовского», который ему не нравился, «а больше всего, — писал Толстой, — из патриотизма, который в то время, признаюсь, сильно нашёл на меня» (59, 321). И в командировке, и на кишинёвской квартире Толстого окружало множество людей, поэтому легко понять, что имело место психическое заражение Льва Николаевича эмоциями окружающих, ненавистью к противнику и обыкновенными военными страхами, а для рационализации бессознательного подчинения такому заражению — приятие Львом Николаевичем многих мыслей и выводов, кочевавших из головы в голову в той же толпе.

Так или иначе, а около 1 ноября Толстой выехал из Кишинёва в Крымскую армию — навстречу подвигу не только воинскому, личной храбрости, но и творческому, и, конечно значительной духовной эволюции отрицания войны.

Отослав пробный номер «Военного листка», Толстой продолжал гореть издательским энтузиазмом. Биограф писателя Н. Н. Гусев предполагает, что первоначальную редакцию очерка «Севастополь в декабре» он готовил так же для задуманного военного журнала.

Между тем ещё 21 ноября 1854 г. в главной квартире Южной армии в Кишинёве, из которой Лев Николаевич уже отбыл в Севастополь, был получен ответ военного министра князя Василия Андреевича Долгорукова командующему Крымской армией М. Д. Горчакову на его просьбу о разрешении издания военного журнала, начинавшийся с того, что военный министр «имел счастье всеподданнейше докладывать» царю о проекте издания этого журнала. Далее министр сообщал:

«Его величество, отдавая полную справедливость благонамеренной цели, с каковою предположено было издавать сказанный журнал, изволил признать неудобным разрешить издание оного, так как все статьи, касающиеся военных действий наших войск, предварительно помещения оных в журналах и газетах, первоначально печатаются в газете «Русский инвалид» и из оной уже заимствуются в

другие периодические издания. Вместе с сим его императорское величество разрешает г. г. офицерам вверенных вашему сиятельству войск присылать статьи свои для помещения в “Русском инвалиде”» (*Цит. по: 59, 289*).

Итак, монополия и выгоды официозного издания были взяты под защиту! Здесь стоит подчеркнуть это, так как речь идёт именно о таких мотивах для запрета предполагаемого издания, а не других, и весьма вероятных в те годы — цензурных ограничениях.

Впрочем, такие соображения тоже не ускользали ни из внимания генерала М. Д. Горчакова, который, по предположению Сергея Сергеевича Дорошенко, ещё до представления проекта журнала “по начальству” в устной беседе «приказал изменить название журнала», ни от военного руководства, от внимания которого вряд ли ускользнуло то обстоятельство, что «в проекте журнала шла речь не только о просвещении военных, но и о критике существующих положений, проектов и оружия. Отсюда совсем недалеко до критики не порядков в армии со снабжением, отсталости военной техники, бездарного командования, а там и не порядков в России вообще!

[...] <В проекте> Толстой предполагает отстранение своего органа от конфликтов, в первую очередь политического порядка. [...] <Но> вопреки заявлениям, содержащимся в проекте журнала, следует считать бесспорным, что в случае выхода в свет “Военного листка” его содержание сразу же вступило бы в противоречие как с официальной прессой, так и с намерением издателей избежать такого конфликта» (*Дорошенко С. Лев Толстой – воин и патриот. М., 1966. С. 134, 136 – 137*).

Толстой был очень и огорчён и возмущён решением царя. В письме к тётиньке Т. А. Ёргольской от 6 января 1855 года причину отказа он сформулировал следующим образом: «так как у нас всюду интрига, нашлись люди, которые опасались конкуренции этого журнала, да кроме того, может быть, и направление его было не во взглядах правительства» (*Там же. С. 294*).

Огорчило Толстого крушение того начинания, которое он считал полезным и в исполнение которого намеревался вложить весь свой талант и всю энергию. Альтернативой неудачному замыслу, которую молодой Лев высказывал тётиньке в этом же письме, было продолжение военной карьеры — поступление в Военную академию в Петербурге (*Там же*). Как видим, настроения Толстого в этот период

лишь умеренно, и, в эти последние николаевские дни, затаённо оппозиционны по отношению к бедламу в стране и в войске: продолжению военной карьеры не препятствуют ни отвращение собственнно к войне, ни религиозные убеждения. Но, подчеркнём: все эти впечатления постепенно формировали сознание будущего убеждённого противника войны, военщины и патриотизма как таковых! Как писал Толстой Некрасову 11 января 1855 года, ему было «не столько жалко даром пропавших трудов и материалов, сколько мысли этого журнала, которая стоит того, чтобы быть осуществлённой, хотя <бы> отчасти» (Там же. С. 296).

Толстого возмутило разрешение царя предполагавшимся участникам задуманного журнала присылать свои статьи в официальную газету военного министерства «Русский инвалид», на что они имели право и без этого разрешения. «На проект мой государь император всемилостивейше изволил разрешить печатать статьи наши в “Инвалиде” – с возмущением сообщал Лев Николаевич Н. А. Некрасову 1 декабря 1854 г (59, 287, 289 [Примечания]). Л. А. Орехова и Д. К. Первых обращают внимание на описку Толстого, назвавшего в этом письме свой несостоявшийся «Военный листок» — «солдатским»: это, по мнению авторов, «свидетельствует о сохранявшейся ориентированности Толстого именно на “солдатское” издание» (Орехова Л. А., Первых Д. К. От «Солдатского вестника» к «Военному листку»: эволюция идеи издания в условиях Крымской войны // Уч. зап. Крымского федерального ун-та им. В. И. Вернадского. Филологич. науки. Научный журнал. Том 7 (73). № 4. С. 202). Здесь кстати будет напомнить читателю, что в Севастополе Толстой изучает язык солдат, записывает в книжечку «солдатские разговоры», заинтересовавшие его фразы и отдельные слова, отчасти использованные в рассказе «Севастополь в августе» (4, 297 – 298, 417 [Примечания.]).

В следующем письме к Некрасову, от 11 января года, Толстой, не указывая, что запрещение журнала исходило от царя, писал: «Из военного министерства... ответили нам, что мы можем печатать статьи свои в “Инвалиде”. Но по духу этого предполагавшегося журнала, — с горькой иронией заключает Толстой, — вы поймёте, что статьи, приготовленные для него, скорее могут найти место в “Земледельческой газете” или в какой-нибудь “Арабеске”, чем в “Инвалиде”» (Там же. С. 296). Толстой имеет здесь в виду не только совершенно безвредное для войска и государства содержание своих статей, но и принципиально их простонародный язык, не характерный и даже

недопустимый для страниц официальных журналов. Между тем именно эта, живая народная речь, речь простых солдат и составляла, по мысли Толстого достоинство текстов, которые должны были войти в «Солдатский вестник».

Итак, Россия, как обычно, достигла своих целей, традиционно гнусных, запретительно-разрушительных: под благовидным предлогом журнал не был дозволен, деньги, на него Л. Н. Толстым собранные, позднее ушли на уплату личного его карточного долга, а солдаты не получили дружелюбного независимого издания. Зато Некрасовский «Современник» не потерял постоянный источник талантливых публикаций о войне. В том же, 11 января, письме к Некрасову Толстой обращается к нему с предложением доставлять в редакцию «Современника» ежемесячно от двух до пяти и более печатных листов статей военного содержания «литературного достоинства никак не ниже статей, печатаемых в вашем журнале», с тем лишь условием, чтобы Некрасов непременно печатал всё, что будет получать от Толстого (*Там же. С. 297*). Что Толстой обращается с этим предложением именно к Некрасову, а не к какому-либо другому редактору, он объясняет в своём письме тем, что «Современник» — «лучший и пользующийся наибольшим доверием публики журнал» (*Там же*). Характерно это суждение о «Современнике» Толстого севастопольского периода — в противопоставление официальной военной литературе России, «почему-то не пользующейся доверием публики и потому не могущей ни давать, ни выражать направления нашего военного общества» (*Там же. С. 296*).

Ответ Некрасова можно было предвидеть. Сейчас же по получении письма Толстого Некрасов 27 января ответил, что он «не только готов, но и рад» дать ему «полный простор в «Современнике». «Вкусу и таланту вашему верю больше, чем своему», — со свойственными ему скромностью и художественным чутьём писал Некрасов (*Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 10. С. 219*).

Вероятно, за перепиской Л. Н. Толстого, в связи с его инициативой, был, впервые в жизни писателя и публициста, установлен негласный надзор: это письмо Некрасова он почему-то получил с большим запозданием (*Гусев Н.Н. Материалы... 1828 – 1855. М., 1954. С. 517*).

Фактически те авторы помощники, на которых рассчитывал Толстой, обещая публикации Некрасову, не оправдали его надежд, и единственным корреспондентом, на благо не только журнала, но и всей русской литературы, оказался он сам.

1. 3. ПРОЕКТ О ПЕРЕФОРМИРОВАНИИ АРМИИ

В своих позднейших, 1890 – 1900-х годов, критиках военно-патриотического обмана, военного сословия и деятельности правительств Толстой «непростительно» опередил человечество на целые эпохи — быть может, не на одну сотню лет. Но и десятилетнее даже такое опережение, по отношению к военной реформе 1860-х гг., оказалось близко, по ничтожности и негативизму единственно возможной на него реакции в военной среде — неприятию «большим обществом» публицистических выступлений Толстого-христианина на сретении веков.

18 февраля 1855 года умер Николай I. Разнообразные круги русского общества почувствовали облегчение при этом известии. «Николай умер, — писал в своих «Воспоминаниях» Н. В. Шелгунов. — Надо было жить в то время, чтобы понять ликующий восторг «новых людей». Точно небо открылось над ними, точно у каждого свалился с груди пудовый камень, куда-то потянулись вверх, в ширь, захотелось летать» (*Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания: В 2-х т. М., 1967. Том 1. Воспоминания Н. В. Шелгунова. С. 234*).

Даже умеренные либералы чувствовали весь гнёт николаевского режима и, как известный профессор и цензор А. В. Никитенко, испытывали удовлетворение от сознания того, что «длинная и, над таки сознаться, безотрадная страница в истории русского царства дописана до конца» (*Никитенко А.В. Записки и дневник: В 3 т. СПб., 1904. Т. 1. С. 449*).

Вполне понятно, что всей оппозиционной самодержавному строю эмиграцией смерть Николая I была воспринята как самое радостное событие. Александр Иванович Герцен рассказывает:

«Утром 4 марта я вхожу, по обыкновению, часов в восемь в свой кабинет, разворачиваю “Таймс”, читаю десять раз и не понимаю, не смею понять грамматический смысл слов, поставленных в заглавии телеграфической новости: “The death of the Emperor of Russia” («Смерть русского императора»). Не помня себя, бросился я с “Таймсом” в руке в столовую; я искал детей, домашних, чтоб сообщить им великую новость, и со слезами истинной радости на глазах подал им

газету... Несколько лет свалилось у меня с плеч долой, я это чувствовал... Мы ещё не успели прийти в себя, как вдруг карета остановилась у моего подъезда, и кто-то неистово дёрнул колокольчик: трое поляков прискакали из Лондона в Твикнэм, не дожидаясь поезда железной дороги, меня поздравить.

Я велел подать шампанского, — никто не думал о том, что всё это было часов в одиннадцать утра или ранее. Потом без всякой нужды мы поехали все в Лондон. На улицах, на бирже, в трактирах только и речи было о смерти Николая; я не видал ни одного человека, который бы не легче дышал, узнавши, что это бельмо снято с глаз человечества, и не радовался бы, что этот тяжёлый тиран в ботфортах, наконец, зачислен по химии...

Смерть Николая удесятирила надежды и силы» (*Герцен А.И. Полн. собр. соч. и писем / Под ред. М. К. Лемке. Госиздат, Пг., 1919. Том 13. С. 615 – 616*).

С началом нового царствования многие ожидали важных реформ во внутреннем управлении. В таком же настроении находился и Толстой. Записав в дневнике 1 марта, что войска принимали присягу новому царю, Толстой прибавляет: «Великие перемены ожидают Россию. Нужно трудиться и мужаться, чтобы участвовать в этих важных минутах в жизни России» (47, 37).

Всё более чем понятно: смерти государя Николая Павловича ждали отнюдь не враги России, а сторонники необходимой её модернизации, в том числе и в армии. Так же и мы в эти осенние дни 2022 года ждём — даже не смерти В. Путина, этого слишком мало, а отставки от «кормушки» и власти, осуждения всей его воровской, палаческой и лживой банды.

И вот радостное известие благословляет защитников Крыма. Надо думать, что под влиянием этой радостной новости и связанных с нею надежд у Толстого является мысль написать проект, работой над которым он был занят 2 – 4 марта. В нём впервые получила освещение тема «солдатского рабства», которую продолжит после значительнейшего в жизни религиозного, духовного переворота и Толстой-христианин в своей антивоенной публицистике.

В Юбилейном издании, в томе 4-м, «Проект» опубликован под неудачным заглавием, данным ему редактором: «Записка об отрицательных сторонах русского солдата и офицера». Но ещё Н. Н. Гусев справедливо полагал, что при публикации должно быть принято

название, данное этому сочинению самим Толстым в Дневнике, в записи от 4 марта 1855 г.: «проект о реформировании армии» (*Гусев Н. Н. Материалы... 1828 – 1855. С. 528; ср.: 47, 37*). Вызвано это тем, что в сохранившихся рукописях Проект не завершён, и представляет собой черновые варианты записки, которую предполагалось представить одному из великих князей, сыновей императора. Второй вариант Проекта лаконичней и сдержанней: «автоцензура заставляла искать более лояльные выражения, но общий обличительный пафос Проекта оставался прежним» (*Бурнашёва Н. И. Раннее творчество Л. Н. Толстого. Текст и время. М., 1999. С. 46*).

Вот отрывок из первоначального наброска «Проекта»:

«Русское войско огромно и было славно, было непобедимо; поэтому то оно самонадеянно и неединодушно; и несмотря на громадность этого войска Россия в опасности.

Многие понимают это положение отечества, сочувствуют ему и готовы для него жертвовать имуществом, трудами и жизнью. Многие, увлечённые страстями и привычкой злоупотребления законов, препятствуют примером и даже властью — людям преданным отечеству — оказывать ему ту пользу, которую бы они могли. Большинство равнодушно.

Слова: самопожертвование, бескорыстие, трудолюбие потеряли смысла и значение. Правила чести старинного воинства стали барьерами слишком высокими...» (4, 285).

В этих строках немало личного: и помыслов Толстого о «повреждении нравов» части служилого дворянства, выразивших себя в рассмотренных нами выше произведениях писателя, и, конечно же, расстройство чувств, вызванное запретом военного журнала, с которым у молодого Льва было связано столько хлопот и надежд. Поняв, вероятно, что вырвалось из него на страницы «Записки» пусть и дельное, но не по делу — он составляет ещё две редакции одной. Обе, однако, получились не просто эмоциональны, как первый набросок: фактически перед нами манифестация, сопоставимая со знаменитой статьёй-манифестом против смертных казней «Не могу молчать», которую уже старец Толстой напишет более чем через полвека! Судите сами. Вот как начинается первая из сохранившихся двух редакций:

«По долгу присяги, а ещё более по чувству человека, не могу молчать о зле, которое открыто совершается передо мной и очевидно влечёт

за собой погибель миллионов людей — погибель силы, достоинства и чести отечества...» (Там же).

Начало второй редакции — своеобразный, и достаточно скрупулёзно расписанный синтез двух первых текстов:

«По долгу совести и чувству справедливости не могу молчать о зле, открыто совершающемся передо мною и влекущем за собою погибель миллионов людей, погибель силы и чести отечества. Считаю себя обязанными по чувству человека противодействовать злу этому по мере власти и способностей своих. Зная истинную любовь вашу <великих князей. — Р. А.> к отечеству, я решился обнажить зло это перед вами во всей гнусной правде его и в надежде на разумное содействие ваше указать на те средства, которые одни возможны, ежели не для уничтожения, то для ослабления его.

И скорбны и непостижимы явления нынешней войны! Россия, столь могущественная силой матерьяльною, ещё сильнейшая своим духом, преданностью престолу, вере и отечеству Россия, столько лет крепчавшая и ставшая на столь грозную степень могущества, под мудрою и мирною державою Николая, не только не может силою оружия утвердить свои справедливые требования перед другими державами, не может изгнать дерзкой толпы врагов, вступивших в её пределы. Но русское войско — скажу правду — при всех столкновениях с врагом покрывает срамом великое, славное имя своего отечества.

Причины непонятных явлений этих — пороки, нравственное растление духа нашего войска. Нравственное растление это есть зло не случайное или временное, уничтожающееся постепенным развитием; напротив, это зло, вкравшееся с развитием, неразлучное с ним и увеличивающееся по мере увеличения силы и числа войска.

Не принимая того, что желал бы видеть за то, что есть, но с чувством истинного патриотизма, желающего *быть* лучше но не желающего *казаться* хорошим, постараюсь беспристрастно написать настоящую жалкую моральную картину нашего войска...» (4, 290 – 291).

Заметил ли Толстой, составляя этот документ, в себе то желание сатиры и изобличения, которое сдержал, как мы помним, пища сочинения художественные — «Набег» и «Рубку леса»? Во всяком случае, кажется, здесь он уступил им, как мы покажем из последующего анализа.

Текст, конечно, провокационный — в отношении тех, кто, за счёт здоровья, благополучия, часто жизней людей, стремится в России и в наши дни создавать «хорошую мину при плохой игре». Например, патриотически настроенный публицист Олег Сапожков на сайте Regnum именуется проектом Толстого «образцом пораженческой литературы», не погнушавшись попутно и оболгать его автора, подчёркивая для неискущённого читателя, что-де Толстой *не имел права* судить о состоянии войска, не мог знать его, так как в Крыму «несколько месяцев провёл за картами и литературными занятиями, не принимал участия ни в одном бою, ни дня не провёл на позициях». И далее, для читателя, который уже «схавал» ложь предыдущую, бодрый вывод: «У нас нет сомнений, эти “факты”, если они не выдуманы самим Толстым, — повторение подслушанных сплетен и преувеличенных домыслов, так распространённых в тыловой среде и из которых в значительной мере состоит т. н. “страшная правда о войне” в представлении впечатлительных обитателей тыла»

(<https://regnum.ru/news/polit/2408869.html>).

Лживо, гадко и даже недостойно критического разбора. У самого Толстого от кавказских лет и у членов кишинёвского Общества, передовых интеллектуалов своей эпохи, было *достаточно* знаний о язвах российской армии — в отношении именно *нравов*, взаимоотношений офицеров с солдатами и друг с другом, материального обеспечения, образования офицерского состава и обучения солдат. А Сапожков на откровенно рептильном, подпутинском сайте “старается”, не в последнюю очередь, потому, что язвы эти, к позорищу армии российской, снова налицо в наши дни!

Возвращаемся, впрочем, к тексту Первой редакции.

«Стоя по своему рождению и образованию выше среды, в которую поставила меня служебная деятельность, я имел случай изучить зло это до малейших грязных и ужасных подробностей. — Оно не скрывалось от меня, быв уверено найти во мне сочувствие, — и я способствовал ему своим бездействием и молчанием. Но ныне, когда зло это дошло до последних пределов, последствия его выразились страданиями десятков тысяч несчастных и оно грозит гибелью отечества, я решился, сколько могу, действовать против него пером, словом и силою» (*Там же. С. 286*).

Великолепная, искренняя, остро-нецензурная с первых слов, манифестация!

Автором «Проекта» делается вывод, что это коренное зло — «разврат, пороки и упадок духа» в войске, совершенно необходимые по тем нравам и иным условиям, в которых проходит служба офицеров и солдат:

«В России, столь могущественной своей матерьяльной силой и силой своего духа, нет войска; есть толпы угнетённых рабов, повинующихся вора́м, угнетающим наёмникам и грабителям и в этой толпе нет ни преданности к царю, ни любви к отечеству — слова, которые так часто злоупотребляют, ни рыцарской чести и отваги, <a> есть, с одной стороны, дух терпения и подавленного ропота, с другой дух угнетения и лихоимства». (Во второй редакции добавлено: «дух... жестокости») (Там же. С. 286; ср. 291).

И далее молодой бунтарь “проходитсЯ” по носителям этого растления в войске, начиная с солдат — неожиданно, в их характеристике, сближаясь со свежей ещё в памяти своей же “классификацией” в рассказе «Рубка леса», о которой мы рассказали выше. Но здесь, в обращении к молодым князьям, к будущему России, эта классификация принимает вдруг черты эмоционально окрашенных сатиры и памфлета:

«Солдат — бранное поносное слово — в устах нашего народа, солдат существо, движимое одними телесными страданиями, солдат существо грубое, грубеющее ещё более в сфере лишений, трудов и отсутствия оснований образования, знания образа правления, причин войны и всех чувств человека. Солдат имеет по закону только строго необходимое, а в действительности менее того, чтобы не умереть человеку сильного сложения — от голода и холода слабые умирают. Наказание солдата за малейший проступок есть мучительная смерть, высшая награда — отличие, дающее ему право, присущее человеку, — быть не битым по произволу каждого. Вот кто защитники нашего отечества.

У нас есть солдаты 3-х родов — я говорю про армейских, которых знаю. Есть *угнетённые*, *угнетающие* и *отчаянные*.

Угнетённые — люди, сроднившиеся с мыслью, что они рождены для страдания, что одно качество возможное и полезное для него есть терпение, что в общественном быту нет существа ниже и несчастнее его. Угнетённый солдат морщится и ожидает удара, когда при нём кто-нибудь поднимает руку; он боится каждого своего слова и поступка: — каждый солдат — годом старше его, имеет право и истязает его, и он, угнетённый солдат, убеждён, что всё дурно, что только

знают другие, хорошо же то, что можно делать скрытно и безнаказанно. Офицер велел дать 100 розог солдату за то, что он курил из длинной трубки, другой наказал его за то, что он хотел жениться; его бьют за то, что он смел заметить, как офицер крадёт у него, за то, что на нём вши — и за то, что он чешется, и за то, что он не чешется, и за то, что у него есть лишние штаны; его бьют и гнетут всегда и за всё, потому что он, — угнетённый и потому что власть имеют над ним бывшие угнетённые — самые жестокие угнетающие. Угнетённый не получает $\frac{1}{3}$ того, что ему даёт правительство, знает это и молчит, включая всех начальников в одно безысключительное чувство подавленного презрения и нелюбви — «господ много, всем надо жить», вот его мнение. Зародыш чувства мщения есть в душе каждого, но оно слишком глубоко подавлено угнетением и мыслью о невозможности осуществить его, чтобы обнаруживаться. Но, Боже! какие ужасы готовит оно отечеству, когда каким-нибудь случаем уничтожится эта невозможность. Теперь же чувство это являет себя в те минуты, когда мысль о близкой смерти уравнивает состояния и уничтожает боязнь» (4, 286 – 287).

Обратим внимание! Именно здесь *впервые* Толстой высказал своё предчувствие кровавой революции в России, вызванной унижением народа элитарными общественными стратами. В армии чувство возмущения вызывалось жестоким обхождением с солдатами николаевского офицерства. А вот с каких наивных позиций “отрицает” сообщённое Толстым в критической части проекта названный нами выше публицист Сапожников:

«...Ни в одном из известных воспоминаний участников обороны Севастополя, оставленных фронтовыми офицерами, которые в отличие от Толстого провели осаду, постоянно находясь на бастионах, нет указаний на солдатскую трусость и тем более на убийства и предательства солдатами своих офицеров»

(<https://regnum.ru/news/polit/2408869.html>).

Допустим даже, что это так. Но отчего фальсификатор указывает именно на мемуарные источники, а не, скажем, легко ему, как жителю Москвы, доступные архивные материалы военно-судных дел? Ответ прост: мемуаристика как исторический источник всегда характеризовалась наличием как авторских непреднамеренных неточностей и фактологических лакун, так равно умолчаний и подтасовок — которые в своих, далёких от исторической науки, целях, с удовольствием используют авторы, подобные О. Сапожникову.

А Лев Николаевич Толстой *знал правду*. И, в праведном гневе, но сперва не без надежд на гласность и реакцию в “верхах” предреформенной России, предал бумаге свои обвинения одной из самых неподатливых реформам махин в государстве Российском:

«В бою, когда сильнее всего должно бы было действовать влияние начальника, солдат столько же, иногда более, ненавидит его, чем врага; ибо видит возможность вредить ему. Посмотрите, сколько русских офицеров, убитых русскими пулями, сколько легко раненных, нарочно отданных в руки неприятелю, посмотрите, как смотрят и как говорят солдаты с офицерами перед каждым сражением: в каждом движении, каждом слове его видна мысль: “не боюсь тебя и ненавижу”. Угнетённый солдат не боится ни физических, ни моральных страданий и оскорблений: первые дошли до такой степени, что хуже ничего не может быть, — смерть же для него есть благо, — последние не существуют для него. Единственное наслаждение его есть забвение — вино, и три раза в год, получая жалованье 70 к. — эту горькую насмешку над его нищетой, — он приходит в это состояние, несмотря ни на какие угрозы, — *проздравляет*, т. е. пропивает жалованье. Солдат наш особенно храбр, когда ведут его, — сам идти он не может, потому что не мыслит и не чувствует, — храбр потому, что мысль — авось всё кончится, не оставляет его.

Угнетающие солдаты — люди перенёсшие испытания и не упавшие, но ожесточившиеся духом. Их чувство справедливости — заставлять страдать каждого столько же, сколько они страдали. Угнетающий солдат сжился с мыслью, что он солдат, и даже гордится сим званием. Он старается и надеется улучшить своё положение — угнетением и кражей. Он открыто презирает угнетённого солдата и решается выказывать иногда чувство ненависти и ропот начальнику. В нём есть чувство сознания своего достоинства, но нет чувства чести; он не убьёт в сражении своего начальника, но осрамит его. Он не украдёт тулупа у товарища, но украдёт порцию водки. Он так же, как угнетённый, невежествен, но твёрдо убеждён в своих понятиях. Его оскорбит не телесное наказание, а оскорбит сравнение с простым солдатом.

Отчаянные солдаты — люди, убежденные несчастьем, что для них нет ничего незаконного, и ничего не может быть худшего. О будущей жизни они не могут думать, потому что не думают. Для отчаянного

солдата нет ничего невозможного, ничего святого; он украдёт у товарища, ограбит церковь, убежит с поля, перебежит к врагу, убьёт начальника и никогда не раскается.

Угнетённый страдает, терпит и ждёт конца. Угнетающий улучшает свой быт в солдатской сфере, в которой он освоился. Отчаянный презирает всё и наслаждается.

[...] Офицеры, за малыми исключениями, или, *наёмники*, служащие из одних денег, средств к существованию, без всякого чувства патриотизма и мысли о долге — поляки, иностранцы и многие русские, *грабители*, — служащие с одной целью украсть у правительства состояние и выдти в отставку, и *безнравственные невежды*, служащие потому, что надобно что-нибудь [делать], мундир носить хорошо, а больше по направлению образования они ни на что не чувствуют себя способными.

Генералы — наёмники, честолюбцы и генералы, потому что надо быть когда-нибудь генералом.

Главкомандующие — придворные. Главкомандующие не потому, что они способны, а потому что они царю приятны» (*Там же*. С. 286 – 288).

Во Второй редакции критика командования даже несколько пространней:

«Русский офицер по большинству есть человек неспособный ни на какой род деятельности кроме военной службы. — Главные цели его на службе суть приобретение денег. Средства к достижению её — лихоимство и угнетение.

[...] У нас есть офицеры 3-х родов. *Офицеры по необходимости* из корпусов или из юнкеров, люди попавшие раз в сферу военной службы и не чувствующие себя способными к другому средству поддерживать существование. — Эти люди ко всему равнодушные, ограниченные самым тесным кругом деятельности, усвоившие себе, не обсудив, общий характер угнетения и праздности и лихоимства, и без мысли и желания об общей пользе, бессознательно коснеющие в грубости, невежестве и пороках. — *Офицеры беззаботные*, люди служащие только для мундира или мелочного тщеславия и презирающие сущность военной службы (службу во фронте), люди по большей части праздные, богатые, развратные и не имеющие в себе военного ничего кроме мундира, — и самый большой отдел *Офицеры аферисты*, служащие для одной цели — украсть каким бы то ни было путём состояние в военной службе. — Это люди без мысли о

долге и чести, без малейшего желания блага общего, люди составляющие между собой огромную корпорацию грабителей, помогающих друг другу, одних начавших уже поприще воровства, других готовящихся к нему, третьих прошедших его — люди составившие себе в сфере грабежа известные правила и подразделения. — Люди, считающие честность глупостью, понятие долга сумашествием, заражающие молодое и свежее поколение этой правильной и откровенной системой корысти и лихоимства. Люди, возмущающие против себя и вселяющие ненависть в низшем слое войска. Люди, смотрящие на солдата как на предлог, который при угнетении даёт возможность наживать состояние.

Русский генерал по большинству существо отжившее, усталое, выдохнувшееся, прошедшее в терпении и бессознании все необходимые степени унижения, праздности и лихоимства для достижения сего звания — люди без ума, образования и энергии. Есть, правда, кроме большинства *Генералов терпеливых* ещё новое поколение, *Генералов счастливых* — людей или какой-нибудь случайностью, или образованием, или истинным дарованием, проложивших себе дорогу мимо убивающей среды настоящей военной службы и успевших вынести светлый ум, тёплые чувства любви к родине, энергию, образование и понятие чести; но число их слишком незначительно в сравнении с числом терпеливых генералов, отстраняющих их от высших должностей, появление слишком подлежит случайности, чтобы можно было надеяться на будущее влияние их» (*Там же. С. 292 – 293*).

Кажется, трудно отвратней картину нарисовать?.. Конечно же, Толстой помнил, что в русской армии того времени были не одни такие отрицательные типы. Он ведь и сам дал в «Набеге» образ капитана Хлопова, в «Рубке леса» — Веленчука и других солдат, которые не подходят под приводимые им в записке характеристики типов солдат и офицеров. Но здесь внимание Толстого сосредоточено на тёмных явлениях в русской армии того времени. Этим же можно объяснить повторение, с негативной коннотацией, «классификации типов русского солдата», которую читатель может встретить в рассказе «Рубка леса».

Читая толстовский «Проект о переформировании армии», рождается подозрение, что Толстой сознательно мешкал, либо уже передумал подавать такой проект именно великим князьям — что, по последствиям для его карьеры, могло стать не менее губительным,

нежели стояние на 4-м бастионе под ядрами и пулями противника — для его жизни. Слишком уж это похоже на черновой набросок для художественного сочинения — нежели на официальный документ! Но и такого художественного сочинения, исполненного сатиры, у Толстого не могло явиться: мы помним его признание о нелюбви к сатире в художественном тексте. Остаётся порадоваться, что «Набег» и «Рубка леса» были убережены чутким автором от того, чем сквозят нам эти черновые листки.

А удивительный документ на этом не оканчивается. Вот уже просто *нечто*, из Второй редакции:

«Ни в одном европейском государстве солдат и офицер не стоит на столь низкой степени материального благосостояния и морального развития — условий одинаково необходимых для возвышения духа войска. Ни в одном европейском государстве не существует унижающего человеческого достоинство и переходящего в бесчеловечное истязание телесного наказания. Ни в одном государстве, исключая наше отечество, нет возможности приобретения высших степеней военных одним терпением. Ни в одном европейском государстве военное искусство так не отстало, как в нашем. Ни в одном европейском государстве нет по самой организации армий тех злоупотреблений лихоимства, которые существуют в нашем не как исключение, а как правило» (*Там же. С. 294*).

Для сравнения, Первая редакция:

«...Ни в одном европейском войске нет солдату содержания скуднее русского, нет злоупотреблений лихоимства, лишаящих солдата $1/2$ того, что ему положено; ни в одном войске нет телесного наказания, — а главное, тех злоупотреблений телесного наказания, превышающих не только в 10 крат меру наказания положенного правительством, но даже возможную; ни в одном государстве нет такого невежественного войска, как в русском» (*Там же. С. 238*).

В связи с этим сопоставлением Толстым нравственных язв русского войска с идеальным образом европейских вооружённых сил даже духовно близкий ему биограф Н. Н. Гусев не преминул подчеркнуть ошибочность данной картины: «Так, он утверждает, что ни в одном европейском государстве не существует «унижающего человеческого достоинство и переходящего в бесчеловечное истязание телесного наказания». Между тем в английской армии и особенно во флоте существовали телесные наказания, и очень жестокие» (*Гусев Н. Н. Указ. соч. С. 531*).

В дальнейшем тексте Первая редакция значительно полней: вероятно, дописав Вторую до этого места, Толстой начал утрачивать к ней интерес, отлично поняв, что представить такую инвективу, по первоначальному замыслу его, великим князьям так же положительно невозможно, как и явить оную в печати.

Остатний текст приводим по Первой редакции.

«Главные пороки нашего войска:

- 1) Скучность содержания.
- 2) Необразованность.
- 3) Преграды к повышению людям способным.
- 4) Дух угнетения.
- 5) Старшинство.
- 6) Лихоимство.

Разберу вред, который приносит каждый из этих недостатков, и средства против них.

Армейский солдат имеет от правительства только строго необходимое для того, чтобы не умереть от холода и голода. По неправильному же организации нашего войска, дающему возможность всем тем лицам (а их ужасно много), через руки которых проходит его содержание, отклонять оное в свою пользу, солдат получает на деле меньше необходимого и часто умирает от лишений. — Я буду говорить про военное время. Солдат получает у нас от правительства (*de jure*) пищу хорошую и достаточную, одежду плохую, жалованье ничтожное. На деле же он получает плохую пищу, — пища нечиста и неразнообразна (капуста), — одежду плохую и недостаточную, — сукно плохого достоинства, шубы нет, — и никакого жалованья, — жалованья мало на табак, кому есть потребность. Каким образом это происходит, было бы слишком длинно рассказывать. Причина же общая есть злоупотреблённое доверие правительства к начальникам частей в отношении продовольствия. Солдат, не получая необходимого, или чахнет и уничтожается от лишений, или считает себя принужденным и правым делать беззакония. Солдат крадёт, грабит, обманывает без малейшего укора совести; дух молодечества русского солдата состоит в пороке. Солдат презирает, не верит и не любит начальника вообще, видит в нём своего угнетателя, и трудно разубедить его. Солдат презирает и не любит своё звание. Солдат ниже духом, чем бы он мог быть. Человек, у которого ноги мокры и вши ходят по телу, не сделает блестящего подвига. Дайте лучшую пищу, лучшей доброты одежду, лучшую и более достаточную обувь, шубы,

табак и жалованье в 5 раз больше, главное устраните частных начальников пользоваться доходами с продовольствия, — солдат будет счастливее, нравственнее и храбрее. Содержание же офицера нашего было бы недостаточно для офицеров таких, какие должны быть, но для таких, какие есть, оно слишком велико. Ежели вполнину убавить жалованье офицера и вполнину прибавить оным жалование солдата, войско наше было бы вдвое лучше.

Необразованность. Из солдат наших едва ли 1/100 знает грамоте, но, что важнее ещё, [едва ли] знает религию, правительство, организацию войска, в которых они родились и воспитаны. Солдат стоит на такой низкой степени образования, что ничто кроме физической боли не ощутительно для него и, не зная ни событий истории, ни образа правления, ни причин войны, он дерётся только под влиянием духа толпы, но не патриотизма. Не понимая религии, он становится безнравственнее. — Офицеры наши большей частью из юнкеров не были никогда более образованы солдат, другая же, меньшая часть, из корпусов, не только не имея средств продолжать начатое образование, но, попадая в сферу грубую и порочную, теряют малое, что приобрели. Военное же образование, приобретающееся в Военной Академии, встречается слишком редко.

Заведите во всех полках школы, дайте солдатам журналы, хороших духовников, офицерам ротные и батарейные библиотеки, учредите экзамены на каждый чин. Учредите отделения военной академии при каждом корпусе, в котором бы на чины командиров частей должны бы были держать экзамены, и у вас будет войско, а не рабские угнетенные толпы.

Старшинство. Люди, имевшие одно достоинство терпеливо идти в службе или проискавши доверие начальства, заступают места людям даровитым и образованным. Пускай бы это было зло необходимое в низших чинах, но звание командиров пусть приобретается даровитостью и экзаменом.

Дух угнетения до того распространен в нашем войске, что жестокость есть качество, которым хва[с]тают самые молоденькие офицеры. Засекают солдат, бьют всякую минуту, и солдат не уважает себя, ненавидит начальников, а офицер не уважает солдата и наслаждается в присутствии каждому человеку чувстве угнетения. Мне скажут: солдат был лучше, когда их больше били, да! Но мы двинулись вперед и воротиться не можем к старому и не можем оставаться в

переходном состоянии, мы должны быстро шагнуть вперёд, уничтожив телесное наказание.

Лихоимство. Солдат не получил $1/10$ того, что ему следует, знает это и ненавидит офицера. Большинство офицеров имеет одну цель — украсть состояние на службе и, достигая его, бросает службу. Содержать армию подрядом — вот одно средство» (*Там же.* С. 288 – 290).

Ко второй редакции прибавлено заключение, долженствовавшее, надо полагать, завершать и документ:

«Я знаю всю трудность достижения этой многосторонней цели, знаю, что оно возможно вполне только с помощью времени и неусыпного совокупного труда людей единомыслящих. Я изложу свои мысли на столько, сколько успел развить их, надеясь, что другие разовьют их больше в более правильном труде, дополнят то, что упустил, исправят то, в чём я ошибся» (*Там же.* С. 294).

На этом рукописи обрываются, проект не был дописан... Н. Н. Гусев заключает: «Вероятно, Толстой увидел, что не может быть никакой надежды не только на то, чтобы проект его был в какой бы то ни было части принят, но и на то, чтобы записка его была представлена по назначению. И он решил прекратить эту работу, начатую им с таким страстным увлечением, с таким глубоким чувством возмущения и желания уничтожить царящее зло». В то же время биограф справедливо определяет значение «Проекта о реформировании армии» в эволюции не только антивоенных настроений Л. Н. Толстого, но и отрицания им насилия как такового:

«В нём Толстой впервые выступает сильным, страстным, гневным обличителем существующего общественно-политического строя, глубоко страдающим при виде царствующего зла и неправды. Эта заметка, начинающаяся словами о том, что автор «не может молчать» при виде творящегося и облечённого властью зла, таит в себе зародыш будущих смелых и гневных обличительных статей Толстого, в том числе и знаменитой статьи о смертных казнях — «Не могу молчать!», написанной в 1908 году.

[...] В смысле эволюции мирозерцания Толстого является новой проводимая им здесь идея о личной ответственности за общественное зло («я способствовал ему [злу] своим бездействием и молчанием») (*Гусев Н. Н. Указ. соч. С. 531 - 532*).

Читатель нашей книги «Лев Толстой и Россия убивающая» безусловно, вспомнит, что эта же идея стала мощным стимулом и для автора «Не могу молчать».

В своей заключительной части, где предлагаются различные мероприятия по реорганизации армии, записка является так же *первым* опытом обращения Толстого к лицам, имеющим власть, с практическими предложениями. В последний период своей жизни Толстой написал несколько подобных обращений к царям и министрам — на грустном опыте познав неменяемость российской элиты при власти, что лишь утвердило его в антивоенных и религиозных, христианских «анархических» воззрениях.

Помимо названного манифеста против смертных казней «Не могу молчать» 1908 года, здесь припоминается кстати и статья Л. Н. Толстого о неурожае в России 1898 года «Голод или не голод». Выводы Толстого в этой статье — о том, что крестьянство не столько голодает, сколь пало духом от унижающего к нему отношения властной и иных общественных элит. Автор статьи явно зрит в корень зла имперской России: указывая на поганую «традицию» неуважительного отношения власти к людям. По существу, пафос проекта так же выходит далеко за рамки простого патриотического «за державу обидно», выражая настроения Толстого *антиимперские*, то есть протестные в отношении целого ряда освящённых временем пороков общественного строя в России. Это не собственно протест против войны, но это большее: то выражение сущностного, значительнейшего в характере и умонастроениях уже молодого Льва, которое позднее станет вдохновителем выступлений Толстого-публициста против насилия и лжи, то есть военщины и церковников. Совершенно не случайно в дни составления проекта, а точнее 4 марта 1855 г., в Дневнике Л. Н. Толстого появляется первая манифестация этого грядущего отречения от обслуживающей империю лжи церковников:

«Нынче я причащался. Вчера разговор о божественном и вере навёл меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. — Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. — Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему и когда-нибудь фанатизм или разум приведут её в исполнение. Действовать *сознательно*

к соединению людей с религией, вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечёт меня» (47, 37 – 38).

При этом и с точки зрения безрелигиозной, современного исследователя К. В. Стволыгина, «общая правомерность оценок русской армии, даваемых Л. Н. Толстым в предлагаемом им проекте реформирования армии, подтверждается последующим ходом российской истории, в частности, характером военных реформ 60 – 70-х гг. XIX в.» (Стволыгин К. В. *Отказы от военной службы вследствие убеждений в Российской Империи*. Минск, 2010. С. 87).

По всем вышеуказанным причинам и мы уделили здесь малоизвестному тексту толстовского «Проекта о реформировании армии» столь значительное внимание.

Время написания «Проекта» исследователями первой половины-середины прошлого века неточно и ошибочно определялось лишь его текстом, в котором о вступлении неприятеля на русскую землю говорится, как о событии сравнительно недавнего времени, ещё не принявшем затяжного характера. Союзники, как известно, первую высадку произвели в Евпатории 31 авг./12 сентября 1854 г. небольшим отрядом, всего 3170 человек: через день это число поднялось до 45 000, к 8 сент. превысило 62 000; 8 сент. произошло неудачное для русских Альминское сражение и 9-го отступление армии к Бельбеку. 24 октября состоялось несчастное сражение под Инкерманом, про один из эпизодов которого Толстой писал в Дневнике как про «дело предательское, возмутительное» (47, 27). Толстой был весь захвачен войной: он тяжело, с страданием переживал неудачи, радовался успехам, глубоко вникая в причины того, что совершалось. В записи Дневника 2 ноября 1854 г. он возмущается действиями ген. Данненберга в Инкерманском сражении.

Вообще осень 1854 г. для Толстого — время наивысшего подъёма патриотизма, веры в «великую моральную силу русского народа». «Велика, — писал он, — моральная сила русского народа. Много политических истин выйдет наружу и разовьётся в нынешние трудные для России минуты. Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившееся из несчастий России, оставит надолго следы в ней. Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы. Они с большим достоинством и гордостью будут принимать участие в делах общественных, а энтузиазм,

возбуждённый войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства» (47, 28). Подобную бячку и сейчас, устно, либо пиша в интернет, выдают люди с неустойчивой психикой, подверженные патриотической заразе.

Но психика Толстого восстанавливалась быстро, сознание очищалось — в особенности под влиянием новейших впечатлений. Влияние психического заражения патриотизмом ослабло, а повседневность войны осветила для него все неприглядные её стороны, и вот уже иные настроения заступили прежнее увлечение, и ему начало казаться странным то, что было естественно, а, главное, стало казаться невозможным чувство патриотизма, которое несомненно сначала было в нём. Уже 5 ноября, в дневнике появилась запись, в которой впервые звучали горечь и обеспокоенность: «Видел французских и английских военных, но не успел разговориться с ними. Один вид и походка этих людей почему-то [убедили меня в том] внушили в меня грустное убеждение, что они гораздо выше стоят нашего войска. Впрочем, для сравнения у меня были фурашаты, провожавшие их» (47, 29), — успокоил себя Толстой, не погружаясь пока в тревожные раздумья о русском войске.

11 ноября, вскоре после приезда в Севастополь, ознакомившись с его укреплениями, Лев Николаевич ещё радужно смотрел на положение русских и был уверен, что взять Севастополь нет никакой возможности; «в этом, — писал он, — убеждён, кажется, и неприятель — по моему мнению он прикрывает отступление». После недельного пребывания в Севастополе, с 7-го по 15-е ноября, как видно из письма к брату Сергею Николаевичу 20 ноября из местечка Эски-Орды, он ещё радовался тому, что увидел: «Дух в войсках, — писал он, — выше всякого описания; во времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо «Здорово, ребята!», говорил: «нужно умирать, ребята, умрёте?», и войска кричали: «умрём, Ваше превосходительство. Ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а взаправду, и уж 22 000 исполнили это обещание. Раненый солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 24-го французскую батарею и их не подкрепили; он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастион для солдат. Многие убиты и ранены.

Священники с крестами ходят на бастионы и под огнём читают молитвы. В одной бригаде 24 было 160 человек, которые, раненые, не вышли из фронта. Чудное время!» (59, 281 – 282). Толстой благодарит Бога, что «видел этих людей и живет в это славное время». «Только наше войско может стоять и побеждать, — (мы ещё победим, в этом я убежден) при таких условиях» — уверен он. По существу, под действием патриотического опьянения рассудка Толстой радуется всему тому, что устало бы, отвратило любого нормального человека, и его самого, без влияния этой заразы и что ему самому будет глубоко отвратительно с 1880-х, после утверждения в вере Христа.

Примечательно, что о своём проекте военного журнала для поддержания «хорошего духа в войске» Толстой сообщает брату как раз в этом возбуждённом до нездоровости письме.

Но похмелье неотвратимо, и, по мнению С. С. Дорошенко, его прибило контрастные с героизмом и готовностью к самопожертвованию солдат впечатления от штабных служащих — слишком неприятно напомнивших ему оставленный было с облегчением штаб Дунайской армии, о котором очевидец и один из участников убиенного в зародыше «Военного листка», Пётр Кононович Меньков, вспоминал позднее следующее:

«Чтобы успешнее овладеть Калафатом и прочно сохранить завоевание, генерал-адъютант князь Горчаков в первых числах января <1854 г.> выехал туда из Букареста со всем своим штабом. [...] Тут был и хотинский провиантский чиновник, и дипломатическая канцелярия, и дежурство, и провиантское и наградное отделения, и генеральный штаб с топографами... И вся эта разнокалиберщина, увенчанная лаврами, спешила назад в Букарест!..

И вот, пройдут года, и бывалый в страхе краснобай-чиновник, увешанный крестами, будет рассказывать юному поколению о своей *лихой* молодости, исполненной отваги и опасностей!

Прибыл штаб в Букарест, и пошла жизнь прежним порядком — *не то по военному, не то по мирному* положению! Пресловутое гулянье на шоссе, невкусные обеды, опера, французский театр, перестрелка на Дунае, женщины и турки, сведения о неприятеле и городские сплетни — составляли вседневный интерес общества!

Били голодных писарей за пропущенную букву...

Заведённым порядком шли дела в дежурстве, устраивались госпитали — больные голодали и умирали, смотрители госпиталей толстели и богатели!

Процветало и интендантство — обзавелись экипажами и лошадьми, шубами и женщинами.

[..] Были какие-то сплетни, неясные слухи о том, что будто бы больные в госпиталях кормятся *очень дурно*, лечатся *ещё хуже*; говорили, что будто бы *корпия*, присылаемая из России для раненых, *продаётся* пудами, что будто бы чиновники интендантства *обворовывают казну*, но всё это, *полагать надо*, ложь, какая ни на есть, злословие!» (Меньков П.К. *Записки: В 3-х тт. Т. 1. СПб., 1898. С. 105 – 108*).

Надо отметить, что цитрируемые нами отрывки из «Записок» П.К. Менькова, в томе, изданно уже в конце XIX столетия, красноречиво зияют множественными цензурными изъятиями. *Всю правду о войне знает только Бог*.

Картина штаба Крымского, по наблюдениям Сергея Сергеевича Дорошенко, открылась взору Толстого ничуть не лучшая:

«В самом Севастополе воюет русское войско, возглавляемое истинно русскими, лучшими умами, патриотами. [...] По-другому смотрят на войну на “Бельбеке”, то есть в кругах военного руководства. И Меншиков, и его ближайшие помощники [...] крайне удивлены, как это до сих пор наша армия сопротивляется врагу, каким путём удерживается город-герой и почему враг не овладел ещё всем Крымом. Здесь разговоры о скорейшем заключении мира, здесь грабежи, пьянство, разврат, алчность, погоня за чином или орденом» (Дорошенко С.С. *Лев Толстой – воин и патриот. М., 1966. С. 153*).

Из этого опыта, безусловно, проистекает то отвлечение к “штабным”, которое позднее, в «Войне и мире», выразит автор и от своего имени, и от имени любимого персонажа — Николая Ростова.

Как следствие, уже через несколько дней после “хмельного” от патриотизма письма брату, 23 ноября 1854 года, глубже вдумавшись в положение вещей, в непарадную сторону дела, горькую правду действительности, Толстой, полный отчаяния, пишет в Дневнике, что «больше чем прежде убедился, что Россия должна пасть или совершенно преобразоваться. Всё, — читаем дальше, — идёт на выворот: неприятелю не мешают укреплять своего лагеря, тогда как это было бы чрезвычайно легко, сами же мы с меньшими силами, ни откуда не ожидая помощи, с генералами, как Горчаков, потерявшими и ум, и чувство, и энергию, не укрепляясь стоим против неприятеля и ожидаем бурь и непогод, которые пошлёт Николай Чудотворец, чтоб изгнать неприятеля. Казаки хотят грабить, но не драться, гусары и

уланы полагают военное достоинство в пьянстве и разврате, пехота в воровстве и наживании денег. Грустное положение — и войска и государства.

Я часа два провёл, болтая с ранеными французами и англичанами. Каждый солдат горд своим положением и ценит себя, ибо чувствует себя действительной пружиной [в] войске. Хорошее оружие, искусство действовать им, молодость, общие понятия о политике и искусствах дают ему сознание своего достоинства.

У нас — бессмысленные учения о носках и хватках, бесполезное оружие, забитость, старость, необразование, дурное содержание и пища, убивают вним[ание], последнюю искру гордости и даже дают им слишком высокое понятие о враге» (47, 31).

По мнению Н. Н. Гусева, Н. И. Бурнашёвой и ряда других исследователей, эта запись служит определением начального момента, к которому было бы можно приурочить «Проект» Толстого. Негодование, которым дышит запись Дневника, возмущение тем, что происходит в армии, яркая картина пороков, которыми армия страдает — всё это сближает её с Проектом. Весьма возможно, что 23 ноября во время писания Дневника мысль о необходимости борьбы со злом в армии у Толстого ещё не приняла той определённой формы, в которую она вылилась потом; может быть, он тогда ещё и не думал вообще бороться или бороться тем способом, который он выбрал, когда, пользуясь своим несколько привилегированным положением, хотел указать это зло лицам, стоящим на вершинах власти; но тем не менее связь между Дневником и Проектом несомненна. То, о чём неполно и неопределённо говорится в Дневнике, в Проекте получает развитие, находит свою форму, правда, в конце концов не удовлетворившую составителя.

Запись Дневника ясно говорит, что именно в это время у Толстого явилось сознание творящегося зла; это сознание дало толчок к составлению «Проекта о переформировании армии», но написан он был значительно позже: Н. Н. Гусев предполагает, что именно о Проекте говорится в записи, занесенной в Дневник 23 января 1855 года. В этой записи Толстой, как часто он делает в Дневнике, положил себе задание «написать докладную записку». К предположению, что именно о Проекте говорит здесь Толстой, приводит охватившее в это время Толстого увлечение военными вопросами, сильно разросшийся интерес к военному делу, свидания с лицами, близко сто-

ящими к делу обороны. Что касается до момента окончания Проекта, то из слов, в которых о Николае I говорится, как о живом (ум. 18 февраля 1855 г.), неизбежно заключить, что он была составлена не позже конца февраля, когда пришла в Севастополь весть о его смерти. А адресован Проект мог быть или Николаю Николаевичу, или Михаилу Николаевичу, бывшим в Севастополе с октября по декабрь 1854 года и позднее, в январе – феврале 1855 г. Когда Толстой осознал моральную невозможность для себя написать «Проект» достаточно сдержанно и не правдиво, чтобы возможно было представить его великим князьям, а через них и новому царю, он забросил его писание.

Схожую участь постигла выше уже упоминавшееся нами художественное произведение, своеобразную иллюстрацию к тезисам «Проекта» — рассказ Л. Н. Толстого «Дяденька Жданов и кавалер Чернов». Работа Толстого над ним относится не ранее как ко времени прерывания работы над Проектом.

Сергей Сергеевич Дорошенко считает, что в «Дяденьке Жданове...» имеет место «явное отражение настроений взглядов Толстого времён составления проекта реформирования армии. Трудно представить, чтобы Толстой допускал возможность публикации *такого* рассказа в журнале для солдат: к этому времени он был уже достаточно знаком с царской цензурой» (Дорошенко С. *Лев Толстой — воин и патриот*. М., 1966. С. 140).

Для нас вопрос о очной датировке рассказа принципиально важен, так как его обличительное содержание великолепно коррелирует с содержанием «Проекта о реформировании армии», зато разительно противоречит патриотическим настроениям Л. Н. Толстого, выраженным им в записях Дневника сентября — ноября 1854 года, цитированного выше письма к брату, а особенно рассказа «Как умирают русские солдаты» и других материалов, готовившихся Толстым для несостоявшегося журнала, в том числе предложенных позднее, в виде, проектов в письмах к Н. А. Некрасову. Между тем, констатирует Н. И. Бурнашёва, случайность, поместившая неоконченный рассказ в одну архивную папку с материалами, подготовленными Толстым ранее для журнала, привела к ошибкам ряда исследователей, относивших написание Толстым рассказа к осени 1854 года. Это случайная чья-то ошибка, и настоящая датировка рассказа —

март 1855 г., то есть сразу за «Проектом о переформировании армии» (*Бурнашёва Н. И. Указ. соч. С. 39 – 40, 51*).

* * * * *

В те дни, когда писался проект о переформировании армии (конец февраля — начало марта 1855 г.), Толстой получил письмо из Никольского, датированное 18 февраля 1855 г., в котором Н. Н. Толстой, разделяя возмущение брата армейскими мерзостями, рассуждал, чего «стоят» русской деревне и самим помещикам «эти подвиги, которые так глупо и пошло описывают в газетах. С тех пор как я в отставке, — писал Николай Толстой, — я уже поставил 8 рекрутов. Сегодня назначил ещё 4-х, да через месяц надобно поставить 8-х в милицию. Не знаю, что лучше: видеть, как умирает солдат в деле или как провожают *гожих*, как у нас их называют. Бедный наш добрый русский мужик!

И когда поймёшь, что никак не можешь облегчить его участи, то делается как-то гадко и досадно за себя. Что такое помещики — *se sont les boucs d'expiations* <фр. козлы отпущения>, на которых падают слёзы и проклятия народа, а за что? За здорово живёшь!» (*Переписка Л. Н. Толстого с сестрой и братьями. М., 1990. С. 181*). Этим размышлением о рекрутах заканчивалось письмо, которое, конечно, не могло не запечатлеться в душе Толстого.

«Проект», как признавался сам Толстой, «подвигался туго», возможно, и потому, что в творческом сознании писателя уже зрела мысль о художественном воплощении «настоящей жалкой моральной картины» состояния российского войска. Побудительной причиной для такого замысла могло стать и письмо Н. Н. Толстого о рекрутах. После 4 марта в Дневнике и в записной книжке Л. Н. Толстого нет ни одного упоминания о «Проекте». Художественная форма оказалась не только привычнее, но и удобнее для Толстого: оставляла больше простора высказываться прямо и честно. Этот рассказ по существу тоже «не могу молчать!» Толстого, но — в художественной форме, и, если памятовать неизбежность для России и российской армии затронутых в нём проблем — содержит в себе, по сравнению с «Проектом», и значительное именно антивоенное содержание.

Как раз в этом тексте, как мы можем заключить, «прорвались» подлинные, значительно более оппозиционные, нежели у прочих товарищей по кружку, настроения Толстого. Не подлежит сомнению, —

пишет Е. Н. Купреянова, — что эти строки представляют собой попытку образного воплощения сказанного об «угнетённом» солдате в «Проекте» (*Купреянова Е.Н. Молодой Толстой. Тула, 1956. С. 102*).

Начатый рассказ даёт яркую картину тяжёлого солдатского рабства при Николае I. Об этом рабстве достаточно говорят самые обороты речи, принятые в то время и в народе, и в военных кругах и употреблённые Толстым в его рассказе: рекрутов «пригнали»; унтер-офицер «гнал партию»; солдат «выгоняли на ученье», «выгоняли на работу».

Н. И. Бурнашёвой замечено, что автограф писан точно на такой же бумаге, что и вторая редакция «проекта» (*Бурнашёва Н. И. Указ. соч. С. 48*). И не случайно! В сохранившемся фрагменте начала «Дяденьки Жданова...» — два главных персонажа, два рекрута, «пригнанных» на линию в 1828 году. Один из них, Жданов, по классификации Толстого в «проекте», принадлежал к роду солдат «угнетённых». Весь облик Жданова, его поведение словно иллюстрировали характеристику, данную Толстым этому роду солдат в Проекте о преформировании армии. Вспомним, в первой редакции Проекта: «Единственное наслаждение его есть забвение — вино, — и три раза в год, получая жалованье 70 к. — эту горькую насмешку над его нищетой, — он приходит в это состояние, несмотря ни на какие угрозы, — *проздравляет*, т.е. пропивает жалованье». «Он <Жданов> не мог поить товарищей, — вторило Проекту новое сочинение, — но так же, как и они, старался отуманиться вином и весельем. Веселье его, однако, было как-то неловко, дико и жалко. Раз его напоили, и он тоже пошёл плясать на цыпочках по-солдатски, но вдруг расплакался, бросился на шею к Чернову и начал приговаривать такую дичь, что всем смешно стало. На другой день он поставил косуху и опять плакал» (3, 272).

В «проекте» Толстой писал о том, как бьют «угнетённого» и за что бьют. Побои — главный и самый распространённый метод обучения новобранцев. «Жданову битья много было», — рассказывает автор, и Жданову «одно оставалось — терпеть». Автор поясняет, что Жданова били не потому, что он был виноват, и не для того, чтобы он исправился: «его били не затем, чтобы он делал лучше, а затем, что он солдат, а солдата нужно бить». И кончилось тем, что Жданов так привык к тому, что его все бьют, что когда, бывало, к нему подходил старший солдат и поднимал руку, чтобы почесать в затылке, Жданов

уже «ожидал, что его будут бить, жмурился и морщился» (*Там же. С. 272 – 273*).

Толстой отнюдь не преувеличивал разгул насилия в армии. В Дневнике его под 4 – 5 октября 1854 года находим такое свидетельство: «От Херсона до Олешко везли меня на лодке. Лоцман рассказывал про перевоз солдат: как солдат в проливной дождь лёг на мокрое дно лодки и заснул. Как офицер прибил солдата за то, что он почесался, и как солдат на перевозе застрелился от страха, что просрочил <из отпуска> два дня, и как его бросили без похорон» (47, 29).

До боли похожее блядство совершается непрерывно и в современной российской армии, а бросание погибших, убитых без похорон стало одной из гнуснейших подробностей преступной и позорной агрессии 2022 – 2023 гг. путинской России в Украине.

Кавалер Чернов — как раз “плоть от плоти” поганого, палаческого «русского мира»: точнее, ранний его, в XIX столетии, предтеча. В условиях военной службы разнообразные пороки человека выходят из-под контроля «гражданских» табу и, не будучи в безверном сознании сдерживаемы «автономным», религиозным, нравственным законом, набирают злую силу и мощь.

Первоначальный замысел рассказа предполагал рассказать незатейливую и тяжёлую жизнь Жданова «в солдатстве»; Жданов должен был стать основным героем этой истории, о чём говорило первое заглавие начатого сочинения: «Дяденька Жданов». Но в процессе писания Толстой изменил главное направление рассказа: понадобилась сюжетная линия и для второго персонажа, своеобразного антипода Жданова, — Чернова. Не случайно и сопоставление: Жданов — «дяденька», Чернов — «кавалер».

Имя Чернова также упоминалось в «Рубке леса», причём дважды: в связи с кражей сукна на шинель фельдфебелю, и это — денщик-пьяница; в рассказе Толстой причислял Чернова к «отчаянным развратным» солдатам. Возможно, сюжет нового сочинения о Жданове и Чернове должен был опираться на какой-то неприглядный поступок «кавалера». Тем более, что сама фигура Чернова не была вызвана писательским воображением, а взята из живой солдатской жизни: в батарее служил некий Черных, о котором есть запись в Дневнике Толстого. Это замечание к «Запискам фейерверкера» (будущей «Рубке леса»): «Только бы фолейтору возжи держать», — сказал Черных перед кабаком, продавая краденую шубу» (46, 222). Факт этот,

видимо, прочно врезался в память Толстому, да и сам тип «отчаянного» солдата, увиденный ещё на Кавказе, теперь, в Севастополе, стал предметом для размышления писателя в проекте о реформировании армии. Даже здесь прозвучал отголоском случай с «краденной шубой»: говоря об «угнетающих солдатах», Толстой уверен, что этот солдат «не украдёт тулупа у товарища, но украдёт порцию водки». Для «отчаянного» же солдата «нет ничего невозможного, ничего святого; он украдёт у товарища, ограбит церковь, убежит с поля <боя?>, перебежит к врагу, убьёт начальника и никогда не раскается». Какой из этих сюжетов мог выбрать Толстой для начатого рассказа о «кавалере Чернове»?

«Отчаянного солдата» во второй редакции «проекта» Толстой характеризовал как существо «неверующее, порочное и развратное». «Отчаянный презирает всё и наслаждается в пороке». Упомянув тип «отчаянного развратного» солдата в «Рубке леса», писатель не показал, однако, ни одного такого солдата, хотя обозначил это «подразделение» типа «отчаянных», считая его «ужасно дурным». И далее, говоря об этом «подразделении», Толстой замечал, что, «отчаянные развратные, к чести русского войска, встречаются весьма редко, и если встречаются, то бывают удаляемы от товарищества самим обществом солдатским» (3, 44).

Возможно, именно в таком, нравственно учительном, направлении должен был развиваться сюжет начатого произведения о Жданове и Чернове.

Нравственный антипод воришки Чернова, как будто сбежавшего в середину XIX века из путинской России, дяденька Жданов, тоже имел свой благородный прототип среди знакомцев Толстого. Солдат Жданов служил с ним в одной батарее, и в Дневнике под 6 января 1854 года, в один день с записью о воре Черных, явилась очень тёплая запись о Жданове, о том, что он «даёт бедным рекрутам деньги и рубашки», о помощи Жданова фейерверкеру Рубину, когда тот был рекрутом; обращение «солдатики» к Жданову — «дядинька» — особенно понравилось: Толстой его даже подчеркнул в своём Дневнике (46, 222), а потом взял в заглавие начатой истории.

Замысел рассказа о судьбе солдатской мог быть особенно близок Толстому и потому, что уже полтора года с переменным увлечением и успехом шла работа над «Рубкой леса», где «солдатики» были главными персонажами и где автор хотел показать различные типы русских солдат, живших на Кавказе. «Характеры» и «лица» солдатские,

материал, накопленный для «Рубки леса», как нельзя лучше подходили и для нового дела. Совершенно очевидно, что Жданов в «Рубке леса» и в «Дяденьке Жданове...» — это одно и то же лицо. Время, о котором шла речь и в том и в другом произведении, тоже одно.

Но один из двух творческих проектов был приостановлен. Толстой, очевидно, увидел совершенно ясно, что рассказ, рисующий такую правдивую и безрадостную картину солдатской жизни того времени, ни в каком случае не будет пропущен цензурой, и бросил писание «Дяденьки Жданова». «Очевидно, -- заключает Е. Н. Купреянова, — что по своему откровенно обличительному характеру этот отрывок не мог войти и в «Рубку леса», почему и был отброшен» (*Купреянова Е.Н. Молодой Толстой. Тула, 1956. С. 102*). Немаловажную роль в судьбе «Дядиньки Жданова» сослужило и начало работы Л. Н. Толстого в марте 1855 года над первой из «Севастопольских повестей», потребовавшей, как мы покажем ниже, актуализации в сознании молодого писателя серьёзно пошатнувшихся за военную зиму патриотических настроений.

* * * * *

Наконец, логическим прибавлением к нецензурнейшим «Проекту о переформировании армии» и родственному ему по идеям рассмотренному выше рассказу служит написанный в феврале 1855 года «Проект о переформировании батарей в 6-орудийный состав и усилении оных артиллерийскими стрелками». В данном случае нам важно остановить внимание читателя не столько на самом Проекте, сколько на его *судьбе*.

В двадцатых числах января в Дневнике Л. Н. Толстого появляются записи о поездке в Севастополь за деньгами и о проигрыше их (части суммы, вырученной от продажи усадебного дома в Ясной Поляне) в карточной игре. Не от хорошей жизни воротился Толстой к этому занятию бездарей: после перевода из Эски-Орды, из 11-й артиллерийской батареи, в 14-ю, он попал в бытовые условия непривычно тяжёлые не только физически, но и морально: оказался среди пустых и неприятных для него людей. От увлечения игрой, от самого унижения своего до уровня новых сослуживцев Толстому сделалось так гадко, что он «желал бы забыть про своё существование» (47, 35). Но и в этом состоянии он не забывает о взятом на себя поприще

служения всему военному обществу и России. 23 января и 2 февраля 1855 г. он упоминает здесь же, в Дневнике, о своём «проекте о штуцерных батальонах», который в поездку свою в Севастополь он успел показать начальнику севастопольского гарнизона Дмитрию Ерофеевичу Остен-Сакену (1793 – 1881), и преуспешнейше: «Он совершенно со мной согласен» (*Там же*). Это значит, что уже к 15 января проект был написан. Любопытно здесь признание его автора самому себе: «Теперь, когда я подаю проэкт, я ожидаю за него награды. В наказание и в вознаграждение за свой проигрыш, обрекаю себя работе за деньги» (*Там же*). Ужасное наказание! Но теперь стечение обстоятельств помиловало автора проекта: дальнейшая судьба нового проекта оказалась плачевна. Уже 5 февраля Толстой записывает: «3, 4, 5 февраля. Был в Севастополе. Показывал Кашинскому проект. Он как будто недоволен» (47, 36). Имеется в виду Лаврентий Семёнович Кишинский, генерал-майор, командир 6-й артиллерийской дивизии, дважды контуженный в голову в сражениях на Альме и при Инкермане.

В этот приезд в Севастополь Толстой, по-видимому, и представил свой проект начальнику штаба Крымской армии, генералу от инфантерии Константину Романовичу Семякину. Семякин направил проект для отзыва генерал-адъютанту Алексею Илларионовичу Философову и затем исполнявшему должность начальника артиллерии Крымской армии генерал-майору Лаврентию Семёновичу Кишинскому. И тот и другой дали отрицательную оценку проекту Толстого, и проект дальнейшего движения не получил.

Следует особо отметить отзыв о проекте Толстого А. И. Философова, известного истории главным образом как воспитатель младших сыновей Николая I. Придворный ментор в своём отзыве выразил точку зрения наиболее консервативных военных кругов. 20 февраля 1855 г. он писал: «Об государственной экономии и об вопросах высшей военной организации, к которым принадлежит возбуждённый графом Толстым, рассуждают обыкновенно высшие сановники, и то не иначе, как с особого указания высочайшей власти. В наше время молодых офицеров за подобные умничания сажали на гауптвахту, приговаривая: “Не ваше дело делить Европу, гг. прапорщичики; вы обязаны ум, способности и познания свои устремлять на усовершенствование порученной в командовании вашей части и думать лишь о том, как бы в деле лучше ею управлять и извлечь из неё больше пользы”» (*Цит. по: 90, 356 – 357*).

Проект о переформировании батарей был сдан в архив, где он и пылился ровно сто лет, и лишь военные специалисты середины XX столетия высоко оценили предложения Толстого по реформированию русской артиллерии XIX в. (См.: Поликарпов В.Д. *Неизданная рукопись Л.Н. Толстого // Исторический архив. 1956. № 1. С. 196 – 202*).

* * * * *

Наконец, не обойдём вниманием значительный рукописный документ, относящийся предположительно к севастиопольской общественной инициативе Л. Н. Толстого с товарищами — три листочка, озаглавленные редакторами Полного (юбилейного) собрания сочинений следующим образом: «О <русском> военно-уголовном законодательстве» (5, 237 – 240; ср. 334 [Примечания.]).

Точная датировка рукописей вызывает затруднения. В записи Дневника Толстого от 19 апреля 1856 года говорится: «Привёл в порядок бумаги и хочу приняться за серьёзную работу о военных наказаниях» (47, 67). В это время Толстой ещё состоял на военной службе, хотя уже не занимал строевой должности, будучи с осени 1855 года откомандирован в Петербург. Представляется, однако, не совсем ясным, почему он именно теперь заинтересовался вопросом о русском военно-уголовном законодательстве, когда у него остались с военной службой лишь формальные связи. Судя по приведённой выписке из Дневника, можно думать, что внешним поводом послужил для Толстого пересмотр его старых бумаг, среди которых, вероятно, сохранились какие-либо наброски, относящиеся к данному вопросу. Особенно примечательно, что на первом из листков (т. н. «Рукописи А») исследователями разобрано зачёркнутое первоначальное название: «Из записок артиллерийского офицера». В связи с этим велика вероятность, что эта рукопись относится ещё ко времени пребывания Толстого в Крымской армии и имела первоначальный смысл — стать полноценным исследованием по теме для публикации в предполагавшемся журнале! (5, 334 [Примечания.]). «Рукопись В», то есть третий и последний из уцелевших листков, представляет собой черновой набросок программы широко задуманной работы о русском военно-уголовном законодательстве, сравнительно с законодательством, действующим в других европейских странах. Заключительная часть статьи должна была дать общую оценку русских военно-

уголовных законов, причём из самой постановки вопросов ясно выступает резко отрицательное отношение автора к существующей практике русских военных судов.

О том же свидетельствуют вступительный отрывок и план сочинения в первой рукописи:

«Я хочу рассмотреть существующее русское военно-уголовное законодательство.

Военное общество нельзя рассматривать как гражданское общество. Цель гражданского общества, т. е. союза, в себе самом — осуществление идеалов вечной правды, добра и общего счастья; цель военного общества — внешняя. Военное общество есть одно из орудий, которым осуществляется современная правда, цель его есть убийство.

Оно ненормально: то, что есть преступление в гражданском обществе, не таково в военном, и наоборот» (*Там же. С. 237*).

Эти рассуждения о «ненормальности» войска, об убийствах, похожи на достаточно радикальную антивоенную позицию Толстого, сродни позднейшей. Но не тут-то было:

«Я полагаю излишним говорить о законности существования военного общества, несмотря на несправедливость его. Ни одно общество не осуществляет вполне и прямо общих целей вечной справедливости, а путём современной несправедливости все идут к общей и вечной правде» (*Там же. С. 239*).

Это вполне традиционные суждения для выкормышей и воспитанников империй: абстрактная «вечная правда» в умозрительном грядущем требует военных убийств или палачества в настоящем!

Характеристично в этом же отношении и противопоставление Толстым юридически обоснованных прав гражданина в гражданском статусе и на военной службе. На последней он оправданно должен повиноваться особым законам и дисциплине:

«Цель законов гражданского общества — справедливость. Цель военного общества — сила. Силу военного общества составляет единство всех членов в одном целом. Единство всех в одном, дисциплина, отличается от единства всех членов гражданского общества в государстве тем, что в последнем случае, она разумна и не стесняет произвола, в последнем же механически и исключает произвол личный. Дух войска отличается от духа общества тем, что в последнем он только следствие законодательства, в первом же — цель, так как

цель военного общества есть сила, а сознание силы есть первое условие силы. (Воен<ные> дела решаются не огнём и мечом, а духом). Во всех веках главным способом достижения дисциплины, механической покорности, была привычка и непоколебимость уголовного закона (не страх, ибо страх смерти больше, чем палки, но 1-е может быть, 2-е верно)» *(Там же. С. 237 – 238)*.

Не менее характеристичен даваемый далее план сочинения, со множеством правок и пометок автора:

«Цель уголовных гражданских законов есть общая справедливость, цель военного общества — дисциплина. Кроме того дух войска.

<Далее, по пунктам, Толстой указывает на то, что нецелесообразно, то есть препятствует достижению этих целей. – Р. А.>

1) Перевод в армию. Влияние на дисциплину и дух. Пример аристократического развращения армии.

2) Разжалование — о солдате, составляющем преимущественно дух войска. Взгляд на него, и в продолжении срока. Развращение классами [?] жестоко[е]» *(Там же. С. 238)*.

Высокохудожественный образчик, писанный с живых натур, этого «жестокоего развращения» мы рассмотрели выше — говоря о задуманном ещё на Кавказе рассказе Л. Н. Толстого «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный».

А дальше — тема телесных наказаний, доходивших в ту эпоху до убийства истязуемого — тема, критическое отношение к которой хорошо известно нашему читателю по книге «Лев Толстой и Россия убивающая». Разница с отношением к собственно войне — снова ощутимая: неприятие сечений, забивания до смерти розгами у Толстого совершенно однозначное и даже эмоциональное:

«3) Прогнание сквозь строй. а) Невозможность, признанная законом. Палачи все. Развращение. Нецелесообразность. Ужас только в зрителях. Кто решил, что мало простой смерти?

4) Наказание розгами. Произвол. Противоположное дисциплине. Недостижение цели. Палачи судьи. Судья и подсудимый, начальник части. Ни исправленья, ни угрозы. Чем заменить, скажут? Да докажете ещё необходимость варварского обычая. — Пример французское лучшее войско. Примеры есть в нашем» *(Там же)*.

Упоминание, с негативной оценкой, о «наказании розгами», возможно, заставит нашего читателя вспомнить подробности о таком наказании из позднейшей, уже Толстого-христианина, статьи «Николай Палкин», равно как и его протест в статье «Стыдно» против

применения наказания сечением в отношении крестьян — ибо оно, по унизительности своей, несовместимо, как с таковым, с гражданским положением личности. Так постепенно умеренно-оппозиционное отрицание Толстым системного насилия в армии перешло на всё гражданское население России, получив и религиозное подкрепление.

Напряжённая работа над проектом о реформировании армии в первых числах марта 1855 года означала, что тяжёлая полоса, в которую Толстой вступил во второй половине января, уже кончилась. Наступила весна, а с нею вместе, как это всегда бывало у молодого Толстого, настало время нравственного обновления.

Толстого вновь начинают занимать вопросы о цели и смысле жизни. 4 марта, сейчас же вслед за записью о работе над проектом о реформировании армии, Толстой записывает в Дневнике тот замысел свой о «создании новой религии», о котором мы уже упомянули выше. Торжественный, приподнятый, декларационный тон этой записи свидетельствует о том, насколько важна была в глазах Толстого пришедшая ему новая мысль о той цели жизни, которой он может посвятить себя. Вместе с тем запись эта указывает на дальнейшую эволюцию религиозных воззрений Толстого. В то время как на Кавказе молодой Лев писал, что хотя и «не понимает тайны Троицы и рождения сына Божия», тем не менее он «уважает и не отвергает веру отцов» (дневник, 14 ноября 1852 года), теперь он уже определённо заявляет, что нужна иная религия — религия, «очищенная от веры и таинственности», ставящая своей целью не достижение блаженства в будущей жизни, а устройство счастливой жизни людей здесь, на земле.

Три дня, с 9 по 11 марта, Толстой провёл в Севастополе. Здесь его приятель, офицер А. Д. Столыпин, уговорил его принять участие в вылазке в ночь с 10 на 11 марта. Вылазка эта, в которой участвовало 11 батальонов морской пехоты, была назначена генералом Хрулёвым для уничтожения укреплений неприятеля. Вылазка была очень кровопролитной; русские потеряли 387 человек убитыми и около 1000 человек ранеными.

Толстой участвовал в вылазке без разрешения начальства. И, по видимому, всё-таки что-то тяжёлое для Толстого было в этой вылазке, так как в Дневнике сейчас же вслед за этой записью следует запись совершенно иного характера: «Военная карьера не моя, и чем

раньше я из неё выберусь, чтобы вполне предаться литературной, тем будет лучше».

Находясь в состоянии душевного и умственного «подъёма, Толстой 12 марта принимается за продолжение тетралогии — начинает повесть «Юность».

1. 4. «РУБКА ЛЕСА»

Другим осуществлённым в эти грозные дни замыслом писателя был рассказ «Рубка леса», выше уже упоминавшийся. В Дневнике он упоминался под разными названиями: «Дневник кавказского офицера», «Записки кавказского офицера», 28 июня появилось новое «рабочее» название, ставшее потом окончательным: «Рубка леса». Позднее — «Записки фейерверкера», «Записки юнкера», «Рассказ юнкера». Рассказ был задуман Толстым ещё в июне 1853 г., а четвёртая, окончательная редакция его была окончена в Севастополе в июне 1855 г. Работа над сочинением, в котором автор намеревался рассказать о жизни и службе кавказских солдат и офицеров, шла неровно, увлечённость сменялась охлаждением. Параллельно Толстой работал над «Романом русского помещика» и «Отрочеством», написал «Записки маркёра» и продолжал обдумывать «Беглеца» (будущие «Казачьи»), создал два севастопольских рассказа и задумал «Метель». «Отрочество» и «Записки фейерверкера» продолжались Толстым и по отъезде с Кавказа; что же касается «Романа русского помещика», то Толстой не вернулся больше к продолжению этого произведения.

Рассказ в немалой степени автобиографичен: связан с реальным «делом», в котором участвовал и даже подверг себя опасности Толстой. Через много лет, в день своих именин, 18 февраля 1900 г., в присутствии записавшего мемуар Александр Борисовича Гольденвейзера, Толстой с удовольствием вспоминал это время:

«В этот самый день на Кавказе я наводил пушку, а в это время неприятельская граната ударила в обод колеса этой пушки, вогнула колесо, а мы все остались целы. Это было дело, которое у меня описано в рассказе «Рубка леса». Потом уже вечером, страшно усталые, мы ехали, и опять раздались выстрелы, и как трудно было снова поднять свои уже опустившиеся нервы, чтобы быть бодрым в виду опасности. А потом на ночлеге у казаков был такой вкусный козёнок, какого мы никогда не ели. И спать легли в одной хате восемь

человек рядом на полу. А воздух был всё-таки отличный, как козёнок...» (*Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. Л., 1959. С. 61 [Запись от 21 февраля]*).

Рассказ впервые, разумеется, с цензурными изъятиями, опубликован в журнале «Современник» (1855, № 9) с подписью «Л. Н. Т.». Толстой посвятил свой рассказ Тургеневу, поскольку нашёл «много невольного подражания его рассказам», как он сам писал соратнику Некрасову Ивану Ивановичу Панаеву (1812 – 1862). Редакция и читатели восторженно встретили «Рубку леса», а Тургенев, тогда ещё лично не знакомый с Толстым, в письме поблагодарил молодого писателя: «...ничего ещё во всей моей литературной карьере так не польстило моему самолюбию».

Однако сходство «Рубки леса» с рассказами Тургенева было во многом внешним, на что сразу же обратил внимание умница Некрасов, писавший Толстому 2 сентября 1855 г.: «...формой она точно напоминает Тургенева, но этим и оканчивается сходство; всё остальное принадлежит Вам и никем, кроме Вас, не могло бы быть написано. В этом очерке множество удивительно метких замечок, и весь он нов, интересен и делен. Не пренебрегайте подобными очерками; о солдате ведь наша литература доньше ничего не сказала, кроме пошлости. Вы только начинаете, и в какой бы форме ни высказали Вы всё, что знаете об этом предмете, всё это будет в высшей степени интересно и полезно» (*Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем: В 15-ти т. СПб., 1998. Т. 14. Кн. 2. С. 217 – 218*).

Позднее Некрасов отметил ещё одну важную черту рассказа: достоверность. И дело не в том, что почти у каждого героя есть свой прототип, в том числе и у солдат (Максимов — фейерверкер Рубин, Веленчук — Спевак, под своей фамилией выведен Жданов). Толстому важно было показать истинную жизнь солдата, солдатский мир. Так, 6 января 1854 г. он записал в дневнике, что «солдат Жданов даёт бедным рекрутам деньги и рубашки. Теперешний фейерверкер Рубин, бывший рекрутом и получив от него помощь и наставления, сказал ему: „Когда же я вам отдам, дядинька?“ — “Что ж, коли не умру, отдашь, а умру, всё равно останется», — отвечал он ему» (46, 222). Такие разговоры, эпизоды солдатской жизни, солдатские характеры, в которых проявляются высокие нравственные качества человека, даже речь солдатская («та дерево», «чудо такая») привлекали внимание Толстого, становились материалом для его рассказа.

Уважительная достоверность к изображению солдатского походного бытия стала для Толстого, ещё неведомо ему самому, шагом в развитии его критического отношения к войне и военщине: невозможно стремиться к художественной правде, не пройдя при этом путь к отвержению мирских лжей о войне и к проклятию войне как таковой.

Интерес писателя вызывали разные типы его героев, которые в полной мере раскрывались в обычных военных ситуациях. Как мы уже упоминали выше, во второй главе рассказа Толстой даже составил классификацию солдатских типов: покорные, начальствующие и отчаянные (внутри каждого типа есть подразделения). Иллюстрируя эту свою классификацию, Толстой прибегает к намеренному контрасту «простых», но нравственно достойнейших людей — людям высокопоставленным, офицерствующим и начальствующим, но которых, в той или иной степени, коснулась нравственная порча (в то время ещё не связываемая молодым, напросившимся на военную службу, юнкером Толстым с самой военной службой, её сущностью).

Нравственно прекрасный человек — Веленчук, один из основных персонажей, «принадлежал к разряду покорных хлопотливых», для которых характерна «ограниченность умственных способностей, соединённая с бесцельным трудолюбием и усердием» (3, 43). Честный до мелочности, он носит в себе именно то христианское отношение к человеческому труду и его результатам, при котором, будь оно в христианском мире всеобщим, не могло бы быть ни денег, ни грабежей, ни войн — первобытный смысл которых именно в стяжании посредством насилия, умычке, грабеже. У самого Веленчука так и не найденный впоследствии негодяй украл сукно, данное ему, как искусному портному, на пошив начальником, фельдфебелем:

«Начальствующий, политичный <фельдфебель> Михаил Дорофеич, как человек с достатком, занимаясь кое-какими сделочками с каптенармусом и артельщиком, аристократами батареи, скоро совершенно забыл о пропаже партикулярной шинели; Веленчук же, напротив, не забыл своего несчастья. [...] Он не пил, не ел, работать даже не мог и всё плакал. Через три дня он явился к Михаилу Дорофеичу и, весь бледный, дрожащей рукой достал из-за обшлага золотой и подал ему. [...] К чести Михаила Дорофеича должно сказать, что он не взял с Веленчука недостающих двух рублей, хотя Веленчук через два месяца и приносил их» (Там же. С. 45). Смертельно ранен-

ный, он думает не о смерти, а переживает, что не успел сшить шинель поручику, должен вернуть деньги, и просит юнкера передать их (*Там же. С. 60*).

Безусловно, такого праведного человека и все дела его легче представить вне военных условий, в мирной повседневности того любовного добра, которым дышит сердце и живёт разум Веленчука, наивно преданные мирским начальникам, но стихийно, не сознательно — Божьей правде-Истине и Христу.

Иное совершенно — ефрейтор Антонов, тип из «начальствующих суровых», встречающихся обычно в высшей солдатской сфере. Бомбардир Антонов никогда не теряет присутствия духа, спокойно, по деловому отдаёт приказания; он «ещё в тридцать седьмом году, втроём оставшись при одном орудии, без прикрытия, отстреливался от сильного неприятеля и с двумя пулями в ляжке продолжал идти около орудия и заряжать его» (*Там же. С. 46*). Но дурно пахнуций, даже издалека и даже чрез века, поганый «русский мир» уже наложил на ефрейтора свою порчу. Получить более высокое звание Антонову мешал «странный» характер: «в трезвом виде не было человека покойнее, смиреннее и исправнее; когда же он запивал, становился совсем другим человеком, не признавал власти, дрался, буянил и делался никуда не годным солдатом. [...] Когда он, бывало, под хмельком возьмёт в жилистые руки балалайку и, небрежно поглядывая по сторонам, заиграет „барыню“ или, с шинелью внакидку, на которой болтаются ордена, и заложив руки в карманы синих нанковых штанов, пройдёт по улице, надо было видеть выражение солдатской гордости и презрения ко всему несолдатскому, игравшее в это время на его физиономии, чтобы понять, каким образом не подраться в такие минуты с загрубившим или просто подвернувшимся денщиком, казаком, пехотным или переселенцем, вообще не артиллеристом, было для него совершенно невозможно. Он дрался и буянил не столько для собственного удовольствия, сколько для поддержания духа всего солдатства, которого он чувствовал себя представителем» (*Там же. С. 46 – 47*).

Кажется, *этот* «дух войска» намного реалистичнее, нежели выдуманный Толстым позднее, в романе «Война и мир».

Даже в пороках Антонова проявляются достоинства — но сколь специфические! Сволочная тётя «родина», вырастив, выучив и вымуштровав Антонова для военной службы — отобрала у него навсегда моральную «автономию», чувство личного самоуважения, достоинства

просто человека, как дитя Бога, вне военных званий и заслуг. В нашем лжехристианском мире таких обуродованных «системой» людей немало: обычно они страшатся бессемейного, одинокого положения, а, возрастив детей, боятся возраста выхода в отставку или на пенсию, так как не сумели возвысить своё сознание до жизнепонимания Христа и найти смыслы жизни, независимые от мирских временных, могущих быть отобранными в пользу других, обязанностей. Довольно часто такие люди подвергают себя алкогольной и табачной интоксикации — так как трезвый рассудок подсказывает им «тощесть», неверность и временность их почётного и, до времени, приятного мирского положения.

Не менее, хотя и на свой салтык, поражён мирским тщеславием «начальствующий политичный» — это фейерверкер (унтер-офицер в артиллерии) Максимов. Он немного учился, очень гордился этим, поэтому любил «говорить иногда нарочно так, что не было никакой возможности понять его». Солдатам нравилось его слушать: они ни слова не понимали, но «подозревали» в его речах «глубокий смысл» (*Там же. С. 45 – 46*). Естественно, такой человек «считает себя несравненно выше простого солдата», но редко сам бывает хорошим солдатом. С сожалением отмечает автор, что люди такого типа начали распространяться в армии, в офицерской среде. Тему такой нравственной порчи в среде военнслужащих Толстой продолжит в рассказе «Два гусара», в романе «Война и мир» — и в ряде последующих публицистических выступлений в печати.

Наконец, в любом взводе есть *забавник* (подразделение «отчаянных»). Например, «милый человек Чикин, как его прозвали солдаты», который в любой момент может развлечь товарищей сказкой, изобразить татарина или немца, а главное, найти смешное и неожиданное в привычных вещах, да такое, что «все помирали со смеху». В походе Чикина очередной раз просили рассказать хорошо известную всем историю, и «весь взвод покатывался со смеху»: как не стоит деревня без праведника и не веселится без дурака, так и на войне без забавника не обойтись (*Там же. С. 47*). Тот же, по характеру, рассказчик, и тоже забавник, но значительно старше и серьёзнее, уже *прислушивающийся к Небесам*, готовым скоро забрать его — Платон Каратаев в «Войне и мире». Всё образы людей сугубо мирных — либо перемогающих условия войны запасами своей весёлости и народной мудрости, либо, исчерпав с годами весёлость и бодрость,

но возросши в мудрости, насколько дали им условия жизни — медленно, как Платон Каратаев, «доходящие» и погибающие от жестокостей войны.

Великолепный Жданов, которым ощутимо любит автор рассказа — «дяденька» — самый старый солдат в батарее. Это тот же, несмотря на разврат мирского воспитания, стихийный христианин, что и Веленчук — но без контрпродуктивных акцентуаций, имманентных характеру малоросса. Чудесный Жданов старается помочь товарищам, при этом особенно «покровительствует» рекрутам и молодым солдатам. «Дяденька» — это уважительное и доброе обращение к нему: в нём видели старшего, который не оставит в беде. «Белая как лунь голова, нафабранные чёрные усы и загорелое морщинистое лицо придавали ему, на первый взгляд, выражение строгое и суровое; но, взглядевшись ближе в его большие круглые глаза, особенно когда они улыбались (губами он никогда не смеялся). что-то необыкновенно кроткое, почти детское вдруг поражало вас» (*Там же*. С. 48). Жданов — фигура по-своему тонкая и поэтическая, и не случайно рассказ заканчивается пением «Берёзушки», любимой песни Жданова, слушая которую старый солдат «ажно плачет» (*Там же*. С. 73 – 74; гл. XIV).

Всё это люди, для которых военный поход и необходимость убийства людей по приказу — явно не подходящее им занятие. Добрых оно мучает, заставляя буквально «выживать», заполняя походную повседневность маленькими добрыми делами, порочных же людей — ещё более развращает... В устах порочных, особенно офицера, их «откровения» о желаемых ими чинах и наградах будто сочатся кровью ещё живых горцев, которых им потребуется убить, а дома их разорить и сжечь — чтобы получить вожделенные мирские поощрения и награды. Добрые же — и орудие для выстрела разворачивают с тем же чистым сердцем, с каким разворачивали бы в поле на борозде пахущую лошадь или раскрывали книгу, чтобы научиться читать...

Этим бы и заниматься им — так же неспешно и основательно, как вынужденно они заняты войной! Это люди ещё не городской, а — старой, общинной России. Их сознание чуждо всех лжей: патриотизма, национализма, фантазирования о «геополитике» и проч. — которыми оправдывают своё участие в войне теперешние, 2022 года, путинские палачи Украины.

Выделяя в рассказе различные типы солдат, Толстой говорил о некоторых отличительных чертах русского солдата вообще: «Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух товарищей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны: для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера» (*Там же. С. 70 – 71; гл. XIII*). Умение и возможность разглядеть и оценить в «русском воине» сущностно чуждое войне разумное дитя Бога, впервые проявившиеся в «Рубке леса», стали прочной основой для создания последующих «военных» сочинений писателя, от севастопольских рассказов до «Войны и мира» и «Хаджи-Мурата», до «Песен на деревне» и до «поздних» антивоенных публицистических статей, в которых автор включал немало художественных иллюстраций.

Моральное противопоставление контрастирующих типов солдат и офицеров — важная, выше уже затронутая нами, проблема рассказа. Мир солдат простой и естественный: здесь нет лжи и патетики. Вот «солдатики» вспоминают кровавые сражения и тех, кто там остался; никто не говорит о своей личной храбрости, зато все подчёркивают достоинства погибших. О подвигах солдаты не думают, для них навязанная им «служба» — продолжение отнятого у них гадиной «родиной» мирного труда.

Офицеры же в основном люди самолюбивые, мечтающие о наградах, славе. Таков ротный командир Болхов. Ему давно надоела служба, Кавказ его раздражает. Он думал, что здесь испытает новые чувства, избавится от всего надоевшего в свете. Каково же было его разочарование, когда «всё приехало» вместе с ним! Но и вернуться назад он не хочет: без орденов «Анны и Владимира, Анны на шею и майора» (за этим и ехал на Кавказ!) он не будет героем в глазах света.

Чтобы всё это получить, необходимо совершить подвиг, а Болхов понимает, что он не храбр: за два года так и не привык к опасностям (*Там же. С. 61 – 62*).

Болхов — своего рода Толстой «навыворот» (или «навыворот» Оленин из толстовских «Казаков» — если памятовать автобиографичность этого образа и этой повести). Но «навыворот» не в плане объективных черт характера молодого Толстого, а, скорее, как его нравственный *антиидеал*, «худшая версия себя». В то же время образ этот — и вполне реалистичен в своём отупелом цинизме, характерном и для современных нам обладателей погон и мундиров в путинской России, готовых, прячась за спины гибнущих своих военных рабов, считать денежки и награды!

Некоторых же честолюбивых офицеров Кавказ вполне устраивает: можно в красках рассказывать о своём героизме, ничего при этом не совершая. Например, капитан Крафт в «Рубке леса» без конца повествует о своих подвигах в ночь «с двенадцатого на тринадцатое», когда «пятнадцать завалов взяли в один день». Но все знают о нём, что он служит при штабе, т. е. не имеет понятия, как проходят сражения. В его же патетическом рассказе (откровенном вранье!) оказывается, что главнокомандующий лично просит Крафта «взять эти завалы»... и конечно же, все заслуги офицер Крафт приписывает только себе, а солдат неприкрыто презирает («С русским солдатом, знаете, надо просто») (*Там же. С. 67 – 69*).

Но именно солдаты в рассказе проявляют искомую начинающим писателем с первых дней на Кавказе *истинную храбрость*. Если офицеры, желая скрыть волнение и страх, пытаются шутить, говорить на отвлечённые темы, казаться спокойными, то солдатам нечего скрывать. И когда ядро разрывается рядом, в этом нет ничего особенного: «Тьфу ты, проклятый! — сказал в это время сзади нас Антонов, с досадой плюя в сторону. — Трошки по ногам не задела». «Всё моё старанье казаться хладнокровным и все наши хитрые фразы показались мне вдруг невыносимо глупыми после этого простодушного восклицания» — признаётся рассказчик (*Там же. С. 58*).

По биографическим свидетельствам, столь же храбр был и офицер Толстой — и на Кавказе, и в Крыму. Куда большие, чем пули и ядра, протестующие движения благородного сердца вызывали «делишки» таких людей, как описанный в «Рубке леса» фельдфебель — ворующий из солдатских рационов, да ещё и обшиваемый наивным, суетливым Божьим человеком Веленчуком.

Толстой в годы службы проявил не меньшую честность, чем Веленчук. Но столкновения его с воровством и подлостью, конечно же, усилили его критические настроения — подведя в середине 1850-х к потребности высказаться о состоянии николаевской армии на всю Россию.

В «Рубке леса» Толстой впервые попытался соединить два абсолютно разных мира: солдатский и офицерский. Но единосущный мирной деревенской, наполненной трудом, жизни солдатский мир вполне чужд и не интересен офицерам, ищущим в военных убийствах личных своих выгод. Только юнкер-рассказчик часто приходит к своим солдатам, наблюдает за ними, слушает их разговоры, песни. Когда Антонов поёт «Берёзушку», юнкер видит, как действует песня на солдат: разговоры затихают, а Жданов, как кажется рассказчику, плачет. Может быть, потому и тянет юнкера к солдатам, что нет там фальши и пошлости, которые он чувствует в офицерском кружке?

Только капитан Тросенко чем-то близок к солдатам, он один такой же простой и без фальши. Правда, как и ефрейтор Антонов, любитель выпить. Но не столь порчен средой, как Антонов. Он чем-то похож на капитана Хлопова из рассказа «Набег». Похож он и на один из возлюбленных авторских вымыслов: «красноносого» капитана Тимохина, который через полтора десятилетия явится в «Войне и мире».

Рассказ «Рубка леса» стал важным этапом на пути как к великой книге Толстого, так и к идейным публицистическим выступлениям против насилия и войн 1880-х, а преимущественно 1890 – 1900-х годов, о которых, как главной теме нашей книги, мы уже подробнее поговорим ниже.

* * * * *

Ещё одно значительное сочинение о кавказской службе, которое мы не можем обойти вниманием — рассказ «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный». Рассказ этот был задуман Львом Николаевичем в 1853 г. на Кавказе, а написан лишь в 1856 г. в Петербурге. Как следствие, в нём выразились, с одной стороны, лично-биографические мотивы автора: поиск нравственных идеалов и самовоспитание, неприятие пороков в рядах «своего» (дворянского) сословия и полюбление «народа», простых солдат и близких к нему, нравственно чистых, уважаемых солдатами офицеров, с другой же —

неприятие пороков военной системы, как таковой, а в частности — нормы военно-уголовного законодательства о разжаловании в солдаты.

Замысел возник под впечатлением встреч Толстого во время службы на Кавказе с А. И. Европеусом и Н. С. Кашкиным, членами кружка М. В. Бугашевича-Петрашевского, отбывавшими наказание в качестве рядовых за участие в политическом кружке, а также с А. М. Стасюлевичем, разжалованным в солдаты и лишённым дворянского звания «за не одобрительное поведение». Толстой вспоминал об этих встречах в старости.

Рассказ был опубликован в 1856 г. в журнале «Библиотека для чтения» (№ XII) под заглавием «Встреча в отряде с московским знакомым. Из кавказских записок князя Нехлюдова». Первоначальное авторское название «Разжалованный» было снято военной цензурой (восстановлено в Юбилейном издании по рукописи). Рассказ не имел большого успеха, его «приняли холодно». 3 января 1857 г. Боткин писал Тургеневу, что рассказ Толстого в «Библиотеке для чтения» «прошёл почти незаметным», и делал предположения, отчего это случилось с недавно вышедшим в отставку молодым офицером и писателем:

«Всё это мне кажется от того, что при одних *характеристиках* оставаться нельзя, как это до сих пор делает Толстой, а делает это он, кажется мне потому, что у него не сформировалось ещё взгляда на явления жизни. Он до сих пор всё возился с собой. Теперь наступил для него период *Lehrjahre* и он весь исполнен жажды знания и учения, — ты удивился бы сколько цепкости и твёрдости в этом уме и сколько идеальности в душе его. Великий нравственный процесс происходит в нём и он всё более и более возвращается к основным началам своей природы, которые в прошлом году так затемнены были разными житейскими дрызгами прежнего кружка и прежней колеи жизни. Он теперь собирается за границу...» (*Боткин В.П., Тургенев И.С. Неизданная переписка. 1851 – 1869. М. – Л., 1930. С. 112*).

«Разжалованный» примыкает к группе военных рассказов, в которых молодой Толстой передаёт свои впечатления от войны на Кавказе и ищет собственный стиль описания человека в необычных военных условиях. Вместе с тем рассказ выделяется среди ранних произведений Толстого «нетипичностью» главного героя, отчасти напоминающего болезненно изломанных героев Достоевского.

Сюжет «Разжалованного» строится на принципе загадки-разгадки: рассказчик, князь Нехлюдов, вспоминает встречу в военном лагере, на походе, со странным человеком. Человек этот привлёк его внимание своим необычным видом («незнакомый... небольшой человек... в нагольном тулупе и в папахе», в клетчатых панталонах и сапогах с «солдатскими голенищами») и «жалким» поведением (робость, суетливость, нервозность). Видно было, что он объект иронии и насмешек офицеров. Называли его странно и смешно: Гуськантини — это кличка от презрительно искажённой фамилии «Гуськов».

Рассказчику показалось, что он «прежде знал и видел этого человека», да и фамилия Гуськов о чём-то напоминала. Выяснилось, что действительно Гуськов, разжалованный в солдаты и отправленный на Кавказ за какую-то таинственную «несчастную историю», — прежний знакомый Нехлюдова по московскому высшему свету. Встреча с Гуськовым на Кавказе напомнила ему невоенную жизнь — жизнь, в которой «разжалованный» и он, князь Нехлюдов, были людьми одного круга. Но как изменился этот прежде «один из самых образованных и любимых» в свете молодых людей!

Логика повествования предполагает, что разгадкой должна стать исповедь — рассказ Гуськова о себе и о превратностях судьбы (вспомним лермонтовского «Героя нашего времени»). Однако «Разжалованный» явно выбивается из романтической традиции рассказа о *странном человеке*. В рассказе Толстого действительно есть исповедь, но она не раскрывает причины ссылки Гуськова на Кавказ и не объясняет странностей этого человека. Его исповедь, скорее, ставит новые вопросы и оставляет впечатление недосказанности: невозможно понять, как произошла в человеке такая перемена. Повествование строится по лермонтовскому принципу изображения человека: от внешнего впечатления к внутреннему — самораскрытию.

Однако у Толстого объектом интереса становится не благородный герой (он лишь наблюдатель и повествователь), а его антипод — «разжалованный», смешной и неблагородный. Рассказ представляет собой сплетение двух психологических линий — разжалованного Гуськова и князя Нехлюдова, который не только описывает встреченного человека, но и фиксирует собственную реакцию — понимание и непонимание, сострадание и неприятие, — как бы проецируя познание «другого» на свой опыт. Исповедь Гуськова прерывается

комментариями рассказчика, который наблюдает не только за странным знакомцем, но и за собой.

Внутренняя логика появления «Разжалованного» среди других сочинений Толстого 1850-х гг., вероятно, не только в писательском интересе к человеку необычному, выбивающемуся из привычной среды. Тема «пропащего человека» звучит у Толстого и в других произведениях тех лет: в «Записках маркёра», «Святочной ночи», «Альберте»... Эта тема для молодого писателя глубоко личная. По Дневнику видно, как драматично было его становление — в постоянной борьбе с собственными страстями, переживанием неудачи военной карьеры, неумением сойтись с людьми («...я какой-то нелюбимый... не могу никому быть приятен, и все тяжелы для меня»: «я дурен и несчастен»), переходами от неуверенности в себе к уверенности в собственной исключительности и презрению к низменным интересам окружающих («я рождён не для того, чтобы быть таким, как все»). В разжалованном Гуськове, выброшенном из привычного светского круга в «несчастные», Толстой описывает психологию человека самолюбивого, тщеславного, неуверенного в себе, но при этом уверенного в своём превосходстве над другими.

Это сочетание униженности и гордыни напоминает героев Достоевского. У толстовского рассказчика, князя Нехлюдова, такой тип личности вызывает двойственное чувство: сострадания и вместе с тем отталкивания, почти отвращения — как от чего-то неблагородного.

В итоге рассказчик убеждается в непорядочности Гуськова: на деньги, только что с унижением, слезами и жалобами выпрошенные у Нехлюдова, он угощает вином офицеров, похваляясь своим знакомством со «страшно богатым» князем (не была ли его исповедь, с настоящими слезами, только способом получить эти деньги? — ситуация из будущего «Идиота» Достоевского). Источник неблагородства «разжалованного», таким образом, не в обстоятельствах (социальная несправедливость, удары судьбы), а в пороке тщеславия, уверенности в собственном превосходстве, который уродует сознание человека. Оказавшись в несчастье, он, во что бы то ни стало, желая доказать своё превосходство, перестаёт различать в себе самом самоунижение и самоуверенность, искренность и притворство.

В рассказе есть ещё один персонаж, с кем соотносит себя Гуськов, кому старается услужить и близостью к которому похваляется, — адъютант Павел Дмитриевич. Этот персонаж, в отличие от самого Гуськова, имеет в рассказе не кличку-прозвище, а имя и отчество и

уважаемую должность. Но он тоже «пропащий», потерянный — на Кавказе, в рутине офицерского быта становится злосчастливым игроком, с которым все отказываются играть, теряет достоинство. При этом вымещает свои неудачи на Гуськове, напоминая ему, что он «нижний чин».

В этой борьбе самолюбий немаловажной становится деталь: Павел Дмитриевич — сын управляющего отца Гуськова, т. е. по социальному положению ниже «разжалованного». Павел Дмитриевич унижает его, но тот и сам готов унижаться. Зато Гуськов презирает солдат, рядом с которыми вынужден находиться: для него оскорбительно «лежать в овраге с каким-нибудь Антоновым, за пьянство отданным в солдаты», или «идти рядом с каким-то диким Антоном Бондаренко и т.д.» и думать, что между ним и простым солдатом «нет никакой разницы», что его, Гуськова. убьют или убьют солдата — всё равно.

Жалкому образу и участи «разжалованного» в рассказе словно противопоставлены описания естественной жизни природы и простого быта солдат. Разговоры офицеров, исповедь Гуськова, размышления рассказчика даны на фоне «ясного, тихого и свежего» декабрьского вечера на Кавказе, с типичными для толстовского пейзажа деталями: заход солнца за отроги гор. зарницы в сумерках, мерцание звёзд. Военный лагерный быт, особенно ночной, в часы отдыха, — это жизнь под открытым небом, в «Божьем мире», и Толстой создаёт живописные картины малого человеческого мирка, живущего в большом мире природы: костёр у палатки, блеск меди на батарейном оружии, огонёк свечи, неярко, но тепло просвечивающий сквозь бумагу, которую денщик Никита привязал «от ветру», и выхватывающий в темноте «кастрюльку, горчицу в банке, жестяную рюмку» — нехитрые «домашние» вещи, детали офицерского позднего ужина под звёздным кавказским небом.

Военный быт, «низкий» для Гуськова (ведь здесь ему приходится жить среди презираемых им людей), — это и проза (картёжная игра офицеров, грубая мужская среда, соперничество), и поэзия. Поэтическое является в рассказе и в мимолётных зарисовках: это ночная поездка рассказчика через весь лагерь к начальнику артиллерии, это и солдатская палатка, где светится огонь и слышится сказка, которую рассказывает полковой балагур «битком набившимся» вокруг него солдатикам, это и странный внезапный взрыв одинокого ядра,

непонятно откуда залетевшего в лагерь. Все эти найденные в военных рассказах приёмы изображения природы и человека позднее получают своё развитие и высшее воплощение в «Войне и мире».

1. 5. СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ

Значительнейший проект Льва Николаевича в севастопольский период — конечно же, цикл «Севастопольских рассказов». Название это не авторское: так традиционно стали называть три рассказа Толстого: «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае» и «Севастополь в августе 1855 года», объединённые общей темой обороны Севастополя в 1854 – 1855 гг., во время Крымской кампании. Толстой создавал их как отдельные, самостоятельные произведения, с разными героями, разными проблемами и разной степенью неприятия войны. Эти рассказы выросли из наблюдений писателя и боевого офицера над развитием севастопольской военной кампании, длившейся 349 дней; их объединяет этико-эстетическая установка писателя на «горькую правду» — конечно же, ещё не включающую в себя ни проклятий войне, ни инвектив затевающим войны правительствам именно с христианских позиций.

Более того, по ряду признаков, как мы покажем ниже, Толстой на этом, Свыше ему предопределённом, пути делает своеобразную «уступку» мыслям и эмоциям, характеризующим пресловутый *патриотизм*. Естественно, что он не мог снова не заразиться им в Севастополе, наблюдая отчаянную храбрость военных рабов казённой тётки «родины», которым их руководство внушило, что в грызне за морское владычество и пресловутое «турецкое наследство» нескольких разбойничьих гнёзд, государств с амбициями имперства, хищничества — они, простые «рекруты», отнятые от мирного крестьянского труда, от семей своих, якобы «защищают» убийствами свою ойкумену долготерпенья, свои «отчины и дедины», земли предков и семейства. Не вникая, что и не было возможно в ту эпоху, в психологические нюансы влияния на человеческое сознание такого обмана, актуализирующего низшие, первобытные животные страхи и защитные бессознательные поведенческие программы человека как стайно-территориального животного, Толстой, воспитанный, как

мы помним, в преклонении перед военными доблестью и храбростью и изначально искавший их среди солдат и офицеров в годы жизни и службы на Кавказе, не мог не отдаться любованию этой покорности «идущих на смерть» высшей воле — но не Бога, Которому нужны человеческие любовь и труд, а не драки, а военачальников и царя!

Итак, находясь на службе при штабе Дунайской армии, Толстой, как и многие под влиянием патриотического заражения, сам выпросился в сражающийся Севастополь. В письме к брату С. Н. Толстому из Севастополя от 20 ноября он сообщал не одни факты, но и настроение многих участников событий в те дни:

«Город осаждён с одной стороны, с южной, на которой у нас не было никаких укреплений, когда неприятель подошёл к нему. Теперь у нас на этой стороне больше 500 орудий огромного калибра и несколько рядов земляных укреплений, решительно неприступных. Я провёл неделю в крепости и до последнего дня блудил, как в лесу, между этими лабиринтами батарей. Неприятель уже более 3-х недель подошёл в одном месте на 80 сажен и нейдёт вперёд; при малейшем движении его вперёд, его засыпают градом снарядов. Дух в войсках свыше всякого описания. В времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая войска вместо: «здорово ребята!», говорил: «нужно умирать, ребята, умрёте?» и войска кричали: «умрём, В[аше] П[ревосходительство.], Ура!» И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а *взаправду*, и уж 22 000 исполнили это обещание.

Раненный солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 24-го франц[узскую] батарею и их не подкрепили; он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для солдат.

Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнём читают молитвы. [...] Чудное время! Теперь, впрочем [...] неприятель почти не стреляет, и все убеждены, что он не возьмёт города, и это действительно невозможно. Есть 3 предположения: или он пойдёт на приступ, или занимает нас фальшивыми работами, чтобы прикрыть отступление, или укрепляется, чтобы зимовать. Первое менее, а второе более всего вероятно. Мне не удалось

ни одного раза быть в деле; но я благодарю Бога за то, что я видел этих людей и живу в это славное время. Бомбардированье 5-го числа останется самым блестящим славным подвигом не только в русской, но во всемирной истории. Более 1500 орудий два дня действовали по городу и не только не заставили сдать его, но не заставили замолчать и 1/20 наших батарей. Ежели, как мне кажется, в России невыгодно смотрят на эту кампанию, то потомство поставит её выше всех других; не забудь, что мы с равными, даже меньшими силами, с одними штыками и с худшими войсками в русской армии (как 6-й корпус), дерёмся с неприятелем многочисленнейшим, имеющим ещё флот, вооружённый 3 000 орудий, отлично вооружённый штуцерами и с лучшими его войсками. Уж я не говорю о преимуществе его генералов. Только наше войско может стоять и побеждать (мы ещё победим, в этом я убеждён) при таких условиях» (59, 281 – 282).

Первый набросок рассказа «Севастополь в декабре месяце» был сделан Толстым, видимо, по свежим впечатлениям от пережитого, в ноябре — декабре 1854 г. Как мы помним, в январе 1855 г. Толстой обратился к Н. А. Некрасову с просьбой предоставить в «Современнике» место для публикации материалов, подготовленных для журнала «Военный листок», не разрешённого к изданию Николаем I. Некрасов, заинтересованный в сотрудничестве с Толстым, с радостью на это согласился. 20 марта, в день получения письма от Некрасова. Толстой записал в дневнике: «Напишу Севастополь в различных фазах и идиллию офицерского быта». «Севастополь днём и ночью» — таково было первоначальное название замысла, который в процессе работы разделится на «Севастополь в декабре месяце» (Севастополь днём) и «Севастополь в мае» (Севастополь ночью).

В начале апреля Толстой был переведён на самый опасный участок обороны города — 4-й бастион, но и здесь продолжалась работа над рассказом: жизнь рядом с солдатами в условиях смертельной опасности дала писателю главный материал. В конце апреля рассказ, названный «Севастополь в декабре месяце», был закончен и отправлен с курьером в Петербург, в редакцию «Современника».

Быстро и благополучно он прошёл цензуру и за подписью «Л. Н. Т.» был напечатан в шестой книжке журнала, вышедшей 1 июня 1855 г. И. И. Панаев, замещавший в качестве редактора Некрасова, восхищённый рассказом, в письме от 19 мая писал автору: «Умоляю Вас

присылать в „Современник” статьи вроде присланной... Они будут читаться с жадностью» (Цит. по: 59, 318).



Л.Н. Толстой в Севастополе.
Художник В. Н. Высоцкий

Самые первые страницы «Севастополя в декабре» — это описание осаждённого города, являющего собой «странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака» (4, 5). Да и само описание сильно и странно напоминает современные, публикуемые в интернете, видеозарисовки защитников Украины, снимаемые на камеры телефонов для своих близких и друзей в тылу, повествующие о повседневных, даже сугубо бытовых деталях их героического противостояния государству-агрессору, России, и террористическому режиму международных преступников: Путина, Кадырова, Пригожина... Разница лишь в том, что противниками россиян в Крымской войне не были мародёры, палачи, любящие пытки и расстрелы, насильники над женщинами, стариками, детьми — каковы в массе своей выкормыши и воспитанники «русского мира», путинской России начала 2020-х! В середине XIX столетия люди ещё жили в религиозной традиции предков, определяющей некоторые безусловные религиозно-нравственные табу. Для России XXI века, декларативно выступающей за «традиции» предков — Бог умер, вероятно, навсегда!

В «Севастополе в декабре» получил развитие собственно толстовский приём, заданный гениально уже в «Набеге». Е. В. Душечкина характеризует его, в контексте литературой преемственности, следующим образом:

«Новатором в изображении войны считается Лермонтов. В стихотворении «Бородино» (1837) сражение, о котором рассказывает его участник, изменило перспективу и стилистику повествования. Бой дан в позиции снизу, с точки зрения его участника...

Не раз отмечалось, что в «Валерике» Лермонтов в изображении войны предвосхищает Толстого. И да, и нет. В «Набеге», написанном Толстым через десять с небольшим лет, действительно используются приёмы, которые уже встречались у Лермонтова. Но к ним добавляются новые. В «Набеге» многое в изображении войны уже намечено из того, что позже отразилось в «Войне и мире». Здесь рассказчик – не участник сражения: он волонтер, зритель и одновременно – внимательный наблюдатель. [...] Каждый из персонажей видит войну с разных позиций, и эти позиции отмечены рассказчиком, что провоцирует появление не одной точки зрения (хоть и преобладающей), но множественность их» (<https://www.litmir.me/br/?b=762292&p=45>).

Действительно, если многочисленные предтечи Лермонтова и Толстого, не исключая и российских: М. В. Ломоносова, М. М. Хераскова, Г. Р. Державина, А. С. Пушкина и др., как будто «зависали», (как в наше время можно — с дроном, оборудованным видеокамерой) близ поля битвы или над ним, представляя читателю всё как бы «со стороны» и не весьма заботясь о достоверности в мелочах, то автор «Севастополя в декабре» как будто демонстрирует нам военную повседневность через видеокамеру или смартфон, которые, шагая по земле, держит в руках — да так демонстрирует, что ощущаются многие запахи и эмоции давно почивших в Боге людей, а не только слышатся звуки. По убеждению А. Н. Толстого, новичок, впервые видящий осаждённый город, будет разочарован, не заметив в лицах и поведении севастопольцев показного энтузиазма: «вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать» (4, 5). Ему даже может показаться, что разговоры о героизме защитников Севастополя сильно преувеличены. Но в реальности первобытные программы человека, как животного делают своё дело, и внешне как будто «мирный» город давно перешёл в психологическое состояние обороны, поддерживаемое страхами, разжигаемыми, в свою очередь, невежеством и пропагандой.

Автор предлагает такому умозрительному *новичку читателю*, пройти с ним, со «смартфоном» его мастерского пера, по городу: посетить госпиталь, поговорить с тяжело ранеными солдатами, побывать на бастионах — главных местах обороны. Конечная цель маршрута — легендарный 4-й бастион.

Обращение: *вы видите, вы слышите...* — удачно найденный художественный приём, стремительно вовлекающий читателя в атмосферу военной жизни города, бесчисленных трагедий, страданий, мужества и героизма, приём, помогающий, по выражению Толстого, «перенести на себя» его мысли о страданиях людей (*Там же. С. 9*). Он компенсирует невозможность для пригласившего нас на «видеопрогулку» Толстого-воина использовать отдалённые от времени Крымской войны, неизвестные той эпохе кинематограф или цветовую фотографию.

Но «показ» развит именно по логике распространённых в наши дни фото- либо видеопрезентации, и, с помощью волшебства Толстого-художника, достигает эффекта, наилучшего из возможных для такого повествовательного жанра. Сила эстетического воздействия толстовских описаний такова, что незаметно вы перестаёте слышать рассказчика, а видите *своими глазами*, слышите *своими ушами*, мучительно переживаете то, что происходит вокруг.

На самом деле это, конечно, *не антивоенный* текст — в простом осмыслении его потенциальной «антивоенности». Ещё Борис Эйхенбаум отмечал, что в «Севастопольских рассказах», как ранее в «Набеге», «знаменитый» толстовский приём *остранения* не несёт на себе задачи манифестации неких антивоенных идей, вообще коннотации религиозной либо этической, а служит пока лишь эстетике молодого художника: преодолению влияния писателей-романтиков, их «романтического ореола»:

«Напрасно стали бы мы толковать слова волонтёра <в «Набеге»> как осуждение или отрицание войны, выраженное здесь Толстым. Резкая генерализация нужна здесь Толстому, но здесь же, как и в «Севастопольских рассказах», картина сражения не раз описывается как «величественное зрелище», а рядом с противопоставлением войны мирной природе есть и моменты слияния воедино этих двух стихий» (*Эйхенбаум Б. Молодой Толстой. Петербург – Берлин, 1922. С. 93*).

Всё верно, и таких «слияний» в «Севастопольских рассказах» даже больше... Но заметим здесь же, что, следуя выраженной в «Поездке

в Мамакай-Юрт» установке на правду в противостоянии вымыслу и приукрашенности у романтиков, Толстой не мог не прийти к конфликту с имперской ложью о Крымской войне, как пришёл уже в конфликт с ложью и умолчаниями о состоянии армии. Будучи ещё сам в середине 1850-х далёким от цели на своём пути к христианскому отвержению системного насилия, войн, армий, оружия, сам не сознавая возможных влияний и значения своих подробных и правдивых зарисовок — Толстой делает всё возможное, чтобы ребёнок, юноша или даже взрослый, не бывший на войне и не сумевший прежде сформулировать для себя своё независимое отношение к войнам и «военному сословию», встал на путь неизбежного (в случае устремления именно к *независимой от мирской лжи* позиции) неприятия их и прошёл на этом пути столько же поприщ, сколько прошёл к тому времени 26-тилетний Лев Николаевич Толстой — молодой ветеран двух военных кампаний и участник уже третьей...

Леденящее душу изображение ужасов войны неизменно соединено в рассказе с трогательно-сердечным сострадательным отношением автора к её жертвам, но одновременно — с восхищением мужеством и терпением защитников Севастополя. И тут в первом из рассказов патриотической настрой писателя берёт своё: картины ужасов старательно им «сглаживаются» рассуждениями о мощи и величии «народа-героя»: «Главное отрадное убеждение, которое вы вынесли, — это убеждение в невозможности поколебать где бы то ни было силу русского народа, — и эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хитросплетённых траншей, мин и орудий [...] но видели её в глазах, речах, приёмах, в том, что называют духом защитников Севастополя» (4, 16). Дефинирующая лексема «отрадное» повторяется в небольшом рассказе «Севастополь в декабре» *четырежды*: так автор, заразившись сам, стремится заразить своими эмоциями и читателя. В последующих рассказах цикла лексема присутствует не более 1 – 2 раз, и в совершенно иных контекстах.

Напомним читателю, что личные симпатии Толстого к людям, рискующим либо жертвующим своей жизнью, даже революционерам, а не только воинам — это «бастион» старого, внушённого воспитанием отношения к жизни, который даже старец Толстой, до конца жизни человек своевольный, не только не сможет, но и не захочет разрушить! Ниже в данной книге будет немало ещё примеров такого отношения писателя и публициста к мужеству и храбрости человека в

экзистенциальном, особенно всегда интересном Толстому состоянии — *перед лицом смерти*.

Размышляя о причинах стойкости и мужества этих героев, Толстой со всей определённоностью заключает: «Из-за креста, из-за названия <т. е. ради награды или звания. — Р. А.>, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина» (4, 16). В старом Полном (юбилейном) собрании сочинений совершена ошибка: рука редактора тома, Всеволода Измаиловича Срезневского (1867 – 1936), дрогнула, и исключила следующие, завершающие суждение, слова, вошедшие в издание рассказов 1856 г.: «И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, — любовь к родине» (Там же. С. 183. Печатные варианты). Аргументация редактора вызвала у позднейших исследователей закономерные возражения:

«Когда Э<йльмер> Моод, издавая перевод Севастопольских рассказов на английский язык, обратился к Толстому “с просьбой разъяснить ему происхождение некоторых фраз, вошедших в рассказы и совершенно не соответствующих ни общему их содержанию, ни отношению самого Льва Николаевича к описанным событиям” (слова П. И. Бирюкова), Толстой ответил ему, что все указанные Моодом места “или изменены или добавлены редактором в угоду цензору и потому лучше исключить их”. [...] Правда, если мы вспомним, что о переводе в Крым из Кишинёва, как Толстой пишет в письме к брату, он просил главным образом «из патриотизма», который в то время «сильно напал» на него, что он «предоставил начальству распоряжаться своей судьбой», что, наконец, как видно из его дневника того времени, его тогда захватывали и война, и военная служба, и боевая жизнь, и опасности, — то можно думать, что и слова, которые так шли в разрез со всеми мыслями его в 1890-ых – 1900-ых гг., были естественны в 1855 г.» (Там же. С. 386).

Это образчик того, как в литературоведение “просачивается” довольно вульгарная толстовщина. Напомним читателю, что, в разной степени, ей симпатизировали и Павел Бирюков, вполне толстовец, и переводчик сочинений Толстого на английский язык, много лет проживший в России, *Эйльмер (Алексей Францевич) Моод* (Aylmer Maude, 1858 – 1938), не толстовец, но хороший приятель “толстовца № 1” Владимира Черткова, приближённого многолетнего друга Тол-

стого, и, кроме того, человек, идейно близкий к европейским «левым», социалистам, то есть к оппозиции по отношению тогдашнему «устройству жизни», в том числе к милитаризму.

Вероятно, несчастный В. И. Срезневский, под влиянием В. Г. Чертова, активно участвовавшего в подготовке большинства томов данного издания, сделал уступку именно «толстовским» (толстовцев, но не Толстого!) наивным воззрениям на «всегдашнюю ненависть» их «духовного учителя» ко «всякому насилию». Сложнейшая личность Толстого искусственно «упрощена», его мировоззрению «отказано» в праве на эволюцию — несмотря на вторую часть приведённого выше комментария, в которой редактор выразил свои справедливые сомнения в справедливости навязанного ему купирования текстов молодого, ещё патриотически настроенного Льва.

Конечно, сказанное не придаёт «спорному» суждению Л. Н. Толстого в рассказе «Севастополь в декабре» характеристик истины. Зная в наше время, через более чем полтора века, как «работает» человеческая психика под действием бессознательных животных программ, актуализируемых страхами и ложью: как, например, выполняют волю сакрального лидера обманутые им и удерживаемые в неволе члены тоталитарной секты, как отупело идут в наши дни, осени 2022 года, на преступную Украинскую войну, рабы и обманутые прислужники путинского режима в России — мы вправе усомниться в этом красивом рассуждении, безусловно справедливом для человека XIX столетия, получившего, как юный Лев, «классическое» воспитание усадебного аристократа.

Кроме того, несмотря на искреннюю любовь к защитникам города, реалист Толстой с горечью показал: в условиях жестокой войны человек черствеет, попросту привыкая к тому, что ежедневно гибнут товарищи, да и он сам, скорее всего, «временный жилец», живущий «при ста случайностях смерти вместо одной» (*Там же. С. 16*). Так, вопреки требованиям не только цензуры, но и собственного, обманутого эмоциями, рассудка, Толстой возвращается к теме, заданной уже в «Набеге»: ненормальности для разумного существа, для человека, губительного для душевного и нравственного здоровья положения убийцы ближних, людей же, и даже христиан, и убиваемого ими!

Вот тяжело раненного солдата уносят на носилках в госпиталь, он прощается с товарищами, быть может, навсегда, а «в это время то-

варищ-матрос подходит к нему, надевает фуражку на голову, которую подставляет ему раненый, и спокойно, равнодушно размахивая руками, возвращается к своему оружию. „Это вот каждый день этак человек семь или восемь”, — говорит вам морской офицер, отвечая на выражение ужаса, выражающегося на вашем лице, зевая и свёртывая папиросу из жёлтой бумаги» (Там же. С. 15).

Рисуя страшные картины войны, Толстой делал важные для себя выводы нравственно-философского и эстетического характера о том, как следует честному писателю-гуманисту изображать войну: уже в первом севастопольском рассказе писатель-баталист Толстой провозглашал свою программу изображения войны, с завидным постоянством именуемую исследователями «эстетической». «Вы [...] увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знамёнами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем её выражении: в крови, в страданиях, в смерти...» (Там же. С. 9).

Напомним тем, кто не знакомился с прежней книгой нашей «Лев Толстой и Россия убивающая», что, вослед «начитке» по теме смертных казней в студенческой юности, молодой Толстой после зрелища гильотинирования в Париже в апреле 1857 года, утвердился в неприятии смертных казней, которое мы назвали *этико-эстетической* стадией такого неприятия — на пути к религиозной, христианской (Алтухов Р.В. *Лев Толстой и Россия убивающая. Великий яснополянец против смертных казней. Ясная Поляна, 2021. С. 29 – 32*). Позволим и здесь уточнить определение многих наших предшественников и старших коллег: со времени кавказских рассказов мотивация Толстого для безжалостно-реалистического изображения войны была именно *этико-эстетической* — и с приматом именно гуманистического сочувствия к народу, а не художественных, писательских предпочтений. Уже у молодого Льва, таким образом, *правда и красота служат добру*. Не политике и не модному течению в писательстве, а *всечеловеческому*. Как горькое лекарство, могущее, при некоторых настойчивости и мастерстве доктора, вылечить больных в разной стадии запущенности болезни. Таким же принципом *правдивого* до безжалостности к читателю, к его стереотипам и самообманам, сочувствия к павшим и выжившим товарищам, к стране, даже к человечеству в целом, продолжавшего и в веке XX-м быть обременённым войнами, руководился, например, ветеран Второй мировой войны Виктор Петрович Астафьев (1924 – 2001) в своей

книге «Прокляты и убиты» или, тоже ветеран той же бойни, поэт Иона Лазаревич Деген (1925 – 2017), в знаменитом своём восьмистишии — всё на ту же, близкую Толстому, тему эмоционального «выгорания», компенсиремого боевым задором:

Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай, на память сниму с тебя валенки.
Нам ещё наступать предстоит.

(<http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/DEGEN/stihi.txt>)

Патриотическое послание Толстого было оценено. Из «Современника» текст рассказа перепечатала официальная газета «Русский инвалид», расхваливая широко по всей России. Тот самый не правдивый официоз, ради поддержки которого, недопущения оттока читателей и подписантов, военное министерство запретило Толстому его, по замыслам независимый, военный журнал! Именно на страницах «Русского инвалида» многие, в том числе и И. С. Тургенев, впервые прочитали «Севастополь в декабре месяце». Почта приносила Толстому всё новые и новые восторженные отзывы о рассказе и о том, что в конце июня его читали новому государю императору Александру II, который приказал перевести «Севастополь в декабре месяце» на французский язык. Это «польстило самолюбию» автора, поверившего, что он «начинает приобретать репутацию в Петербурге». Все русские газеты и журналы словно в один голос не скупилась на похвалы рассказу молодого писателя. На страницах дневника Толстой признавался, что для него «настало время истинных искушений тщеславия» (47, 50).

Значение севастьяпольских рассказов, и прежде всего первого из них, в творческой судьбе Толстого, да и всей русской литературы, огромно. Великая эпопея «Воина и мир» не могла быть написана без участия Толстого в Севастопольской кампании, без создания севастьяпольских рассказов. Равно как не было бы известного нам «антивоенного» Толстого без наивной, подогреваемой в те дни патриотизмом, веры писателя, столь знакомой и ветеранам так называемой

«Великой отечественной» войны XX столетия в оккупированной большевистской сволочью России, в то, что победа может принести облегчение, улучшения и в мирной жизни народа. Вспомним формулировку этой веры в дневниковой записи ещё 2 ноября 1854 года, последних месяцев николаевской деспотии, времени, когда Толстой был убеждён, что героическая оборона Севастополя явится прологом не к одной даже отмене крепостного права, а к модернизации России в целом, что «те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы [...] а энтузиазм, возбуждённый войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства» (47, 27 – 28).

Без разочарования в этой вере и в молодом императоре — не было бы диалектически необходимого шага писателя к более радикальному в 1860-е годы неприятию отошедших в историю военных событий. Впрочем, всё ещё *этическому* — без главного, «одухотворяющего» элемента позднейшего протеста: живой религиозной веры: веры Христа, а не попов и богословов.

Второй севастопольский рассказ Толстого — «Севастополь в мае». Из замысла «Севастополя днём», написанного под обстрелами на 4-м бастионе, получился рассказ «Севастополь в декабре месяце»; замысел другого черновика, под заглавием «Севастополя ночью», на время был оставлен: к нему Толстой вернулся в июне, окрылённый успехом «Севастополя в декабре месяце» и наконец завершив рассказ «Рубка леса». Работа над вторым севастопольским рассказом, будущим «Севастополем в мае», продолжалась всего несколько дней. Под названием «Весенняя ночь 1855 года в Севастополе» в начале июля рукопись была послана в «Современник».

Предвидя осложнения с цензурой. Толстой в некоторых местах рассказа дал более мягкие варианты, разрешая редактору что-то заменить или исключить. 18 июля редактор журнала, знаменитый Иван Иванович Панаев, писал автору: «Благодарю Вас несказанно, Лев Николаевич, за Ваш рассказ „Ночь весною в Севастополе“. Я сейчас получил его и прочёл. Вы правы: рассказ этот несравненно лучше первого, но он меньше понравится, по той причине, что героем его — правда, а правда колет глаза, голой правды не любят, к правде без украшений не привыкли. Сделаю всё, что могу, дабы защитить его от цензуры. Впечатление рассказа тяжело (ах, как мы не привыкли к правде!) — и надобно бы было кое-что прибавить в конце,

что дескать *всё-таки Севастополь и русский народ* и проч. для цензуры, хотя это было бы пошловато; но я кое-что посмягчил и погладил, не портя сущности рассказа и предвидя за него борьбу с цензурой. Это было необходимо» (59, 328 – 329).

Увы! усилий Панаева не достало... В первые дни августа 8-й номер журнала был свёрстан и отпечатан. Сохранилась корректура рассказа, подписанная «в печать» цензором Санкт-Петербургского цензурного комитета, статским советником Владимиром Николаевичем Бекетовым (1809 – 1883), цензором «Современника», вполне дружеским в отношении журнала и в принципе либеральным: хрестоматийно известны случаи допуска им к печати, например, повести И. С. Тургенева «Муму» в 1854 г., а позднее, уже в 1863 году — своего рода «короля» российской итературной нецензурщины той эпохи, романа Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?».

Вероятно, именно случай с Тургеневым, ещё памятный в Комитете, и навредил цензурной судьбе «Севастополя в мае». Внезапно грянул гром: сам председатель цензурного комитета, грозный и печально знаменитый Михаил Николаевич Мусин-Пушкин (1795 – 1862), тайный советник, сенатор и, кстати, ветеран т. н. «Отечественной войны» 1812 года и Войны шестой коалиции, затребовал рассказ для личного ознакомления. Корректура рассказа привела его в ярость. До неузнаваемости исчеркав текст сочинения, он распорядился: «Запретить и оставить корректуру при деле». Запрет “высокого” цензурного начальника вынудил редакцию срочно изъять из готовой книжки «Современника» рассказ Толстого. В письме к И. С. Тургеневу от 18 августа 1855 г. Некрасов делился горькими мыслями: «Толстой прислал статью о Севастополе — но эта статья исполнена такой трезвой и глубокой правды, что нечего и думать её печатать, да и на будущие его статьи об Севастополе нельзя рассчитывать, хотя он и будет присылать их: ибо вряд ли он способен (т. е. наверное неспособен) изменить взгляд» (*Некрасов Н.А. Полное собр. соч. и писем: В 15-ти т. СПб., 1998. Т. 14. Кн. 1. С. 214*).

Толстому в письме от 2 сентября бедолага отписал, вполне искренно, следующее: «Возмутительное безобразие, в которое приведена Ваша статья, испортило во мне последнюю кровь. До сей поры не могу думать об этом без тоски и бешенства. Труд-то Ваш, конечно, не пропадёт... он всегда будет свидетельствовать о силе, сохранившей способность к такой глубокой и трезвой правде, среди

СОВРЕМЕНИКЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

НОЧЬ

ВЕСНОЮ 1855 ГОДА ВЪ СЕВАСТОПОЛѢ.

ИЗДАВАЕМЫЙ СЪ 1847 ГОДА Н. ПИКВЕРМЪ И Н. НЕКРАСОВЫМЪ

ТОМЪ LIII

С. 11



САНКТ-ПЕТЕРБУРГЪ

ВЪ ТИПОГРАФИИ ГЛАВНАГО ШТАБА ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВѢДѢНІЯ
ПО ВОЕННО-УЧЕБНЫМЪ ЗАВѢДѢНІЯМЪ

1855

Уже шесть мѣсяцевъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ просияло первое ядро съ бастіоновъ Севастополя и взрыло землю на работахъ непріятеля; и съ тѣхъ поръ тысячи бомбъ, ядере и пуль не переставали летать съ бастіоновъ въ траншеи и изъ траншей на бастіоны и ангелъ смерти не переставалъ парить надъ ними.

Тысячи людскихъ самолюбій успѣли оскорбиться, тысячи успѣли удовлетвориться, тысячи — успокоиться въ объятіяхъ смерти. Сколько розовыхъ гробовъ и полотняныхъ покрововъ! А все тѣ же звуки раздаются съ бастіоновъ, все также съ невольнымъ трепетомъ и страхомъ смотреть въ ясный вечеръ французы изъ своего лагеря на желтоватую взрытую землю бастіоновъ Севастополя, на черныя движущіяся по нимъ фигуры нашихъ матросовъ и считаютъ амбразуры, изъ которыхъ сердито торчатъ чугуныя пушки; все также, въ трубу разсматриваетъ съ вышки телеграфа, штурманскій унтер-офицеръ пестрыя фигуры французовъ, ихъ батареи, палатки, колонны движущіяся по Зеленой горѣ и слышитъ вспыхивающіе въ траншеяхъ; и все съ тѣмъ же жаромъ стремится съ различныхъ сторонъ свѣта разнородныя толпы людей, съ еще болѣе разнородными желаніями, къ этому роковому мѣсту. А вопросъ первѣнный дипломатами все еще не рѣшается порокомъ и кровью...

Digitized by Google

Digitized by Google

Первая публикация рассказа «Севастополь в мае»

обстоятельств, в которых не всякий бы сохранил её. Не хочу говорить, как высоко я ставлю эту статью и вообще направление Вашего таланта и то, чем он вообще силён и нов. Это именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда, — правда, которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской литературе. Вы правы, дорожа всего более этою стороною в Вашем даровании. Эта правда в том виде, в каком вносите Вы её в нашу литературу, есть нечто у нас совершенно новое. [...] Вы молоды; идут какие-то перемены, которые — будем надеяться — кончатся добром, и может быть Вам предстоит широкое поприще. Вы начинаете так, что заставляете самых осмотрительных людей заноситься в надеждах очень далеко. [...]

Не буду Вас утешать тем, что и напечатанные обрывки Вашей статьи многие находят превосходными; для людей, знающих статью в настоящем виде, — это не более как набор слов без смысла и внутреннего значения. Но нечего делать! Скажу одно, что статья не была

бы напечатана, если б это не было необходимо. Но имени Вашего под нею нет» (*Там же. С. 217 – 218*).

Редакция не хотела печатать рассказ в изуродованном виде, но все-таки Мусин-Пушкин потребовал его опубликовать в переделанном им виде (59, 330).

9-й номер «Современника» за 1855 г. открывался рассказом «Ночь весною 1855 года в Севастополе» без подписи автора. Примечательно, что среди омерзительных цензорских вставок в публикации современника выделяется завершающая исковерканный текст, до боли знакомая, до тошноты пошлая *патриотическая* ложь — оправдывающая и до наших дней многие военные преступления халтурных правительств (фрагмент со стр. 30 в номере «Современника»):

Но не мы начали эту войну, не мы вызвали это страшное кровопролитие. Мы защищаемъ только родной кровь, родную землю и будемъ защищать ее до послѣдней капли крови....

Основой сюжета второго севастопольского рассказа стала вылазка в ночь с 10 на 11 мая 1855 г. и перемирие 12 мая, свидетелем которых был Толстой. Более полугола прошло с начала осады Севастополя, и «с тех пор тысячи бомб, ядер и пуль не переставали летать с бастионов в траншеи и с траншей на бастионы, и ангел смерти не переставал парить над ними. Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи — успокоиться в объятиях смерти» (4, 18). Если главные персонажи в первом севастопольском рассказе в основном солдаты и матросы, в целом собирательный образ русского народа, то в «Севастополе в мае» на первый план Толстой выводит офицеров. Это и пехотные офицеры, и штабные, *аристократы*, которые надменно и с презрением относятся к пехотным, презирая их за то, что те ходят без белых перчаток и не имеют тонкого белья; им трудно поверить, «чтобы люди в грязном белье, во вшах и с неумытыми руками могли бы быть храбры», — так говорит о них князь Гальцин (*Там же. С. 30*).

Сам Гальцин — трус, за всё время лишь однажды побывавший на опасном 4-м бастионе. Правда, его обвинение было тут же отвергнуто: «Ну что ты говоришь. пустяки! — сердито перебил Калугин, уж

я видел их здесь больше тебя и всегда и везде скажу, что наши пехотные офицеры хоть, правда, во вшах и по десяти дней белья не переменяют, а это герои, удивительные люди» (*Там же*).

Задумывая рассказать об офицерской жизни в военном Севастополе, Толстой намеревался показать «идиллию офицерского быта», каковой поначалу представлялась ему эта жизнь в первые месяцы осады. Майским вечером весёлая компания офицеров-аристократов собирается в уютной квартирке адъютанта Калугина: светские разговоры, шутки, сплетни, чай со сливками и крендельками, пение под фортепьяно... Но «идиллию» нарушает сообщение о начавшейся вылазке. И настает «момент истины». Каждый из офицеров по-своему проявляет себя: Калугин отправляется на бастион, Гальцин прохаживается «взад и вперёд» по улице, видит раненых солдат, идущих с бастиона, на носилках и пешком встречавшихся ему, слышит их разговоры и даже, вступая в разговор, укоряет, что «отдали траншею». Его укоры подхватывает вынырнувший из темноты поручик Непшитшетский, симулянт и любитель спрятаться за чужую спину. Он обрушивается на раненых солдат, этот «подлый народ!». Сцена до такой степени разоблачающая, что даже «князю Гальцину вдруг ужасно стыдно стало за поручика Непшитшегского и ещё больше за себя» (4, 36). Он «пошёл на перевязочный пункт»; «вошёл в первую комнату, взглянул и тотчас же невольно повернулся назад и выбежал на улицу. Это было слишком ужасно!». И далее следует короткая глава с описанием перевязочного пункта — страшная, почти натуралистическая картина является перед читателем...

«Севастополь в мае» вошёл в историю русской и мировой литературы как новаторское произведение, углубившее познание внутреннего мира человека в его противоречивой сложности, «текучести». Основной способ, средство этого художественного познания — «внутренний монолог», раскрытие «диалектики души» (удачный термин, введённый Н. Г. Чернышевским), означающий передачу спонтанных «сцеплений понятий и чувств», «сменяющихся одно другим с чрезвычайно быстрой и неистощимым разнообразием». Как замечательный образец «внутреннего монолога» критик приводит течение мыслей и чувств одного из персонажей «Севастополя в мае», ротмистра Праскухина, за несколько секунд до его смерти:

«Праскухин, идя рядом с Михайловым, разошёлся с Калугиным и, подходя к менее опасному месту, начинал уже оживать немного, как

он увидал молнию, ярко блеснувшую сзади себя, услышал крик часового: „Маркела!“ — и слова одного из солдат, шедших сзади: „Как раз на батальон прилетит!“. Бомба «опускалась прямо в середину батальона.

— Ложись! — крикнул чей-то испуганный голос. Михайлов упал на живот.

Праскухин невольно согнулся до самой земли и зажмурился; он слышал только, как бомба где-то очень близко шлёпнулась на твёрдую землю. Прошла секунда, показавшаяся часом, — бомбу не рвало. Праскухин испугался, не напрасно ли он струсил: может быть, бомба упала далеко и ему только казалось, что трубка шипит тут же. Он открыл глаза и с самолюбивым удовольствием увидал, что Михайлов, около самых ног его, недвижимо лежал на земле. Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся трубкой в аршине от него крутившейся бомбы.

Ужас — холодный, исключаящий все другие мысли и чувства ужас — объял всё существо его. Он закрыл лицо руками и упал на колена.

Прошла ещё секунда — секунда, в которую целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его воображении.

„Кого убьёт — меня или Михайлова? Или обоих вместе? А коли меня, то куда? в голову — так всё кончено; а ежели в ногу, то отрежут, и я попрошу, чтобы непременно с хлороформом, — и я могу ещё жив остаться. А может быть, одного Михайлова убьёт, тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли. его убило и меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе... меня! [...] Впрочем, может быть, не лопнет", — подумал он и с отчаянной решимостью хотел открыть глаза. Но в это мгновение, ещё сквозь закрытые веки, глаза его поразил красный огонь, с страшным треском что-то толкнуло его в середину груди: он побежал куда-то, спотыкнулся на подвернувшуюся под ноги саблю и упал на бок.

„Слава богу! Я только контужен“, — было его первою мыслью, и он хотел руками дотронуться до груди; но руки его казались привязанными, и какие-то тиски сдавливали голову. В глазах его мелькали солдаты — и он бессознательно считал их: „Один, два, три солдата [...]“ Ему вдруг стало страшно, что они раздавят его; он хотел крикнуть, что он контужен, но рот был так сух, что язык прилип к нёбу, и ужасная жажда мучила его. Он чувствовал, как мокро было у него около груди, — это ощущение мокроты напоминало ему о воде, и ему хотелось бы даже выпить то, чем это было мокро. „Верно, я в кровь

разбился, как упал”, — подумал он, и, всё более и более начиная поддаваться страху, что солдаты, которые продолжали мелькать мимо, раздавят его, он собрал все силы и хотел закричать: „Возьмите меня!“ — но вместо этого застонал так ужасно, что ему страшно стало, слушая себя. Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах — а ему показалось, что солдаты кладут на него камни; огни всё прыгали реже и реже, камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте осколком в середину груди» (4, 47 – 49).

Своё уникальное мастерство в умении уловить ход сознания человека, впервые так ярко проявившееся во втором севастопольском рассказе, писатель впоследствии не раз будет использовать в других своих сочинениях.

В конце рассказа со смешанным чувством надежды, тревоги и сомнения Толстой рисует светлую картину перемирия. «...На бастионе и на траншее выставлены белые флаги, цветущая долина наполнена мёртвыми телами, прекрасное солнце спускается к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу». Картина ужасов войны, взаимного истребления сменилась сценами дружеского общения солдат и офицеров воюющих армий. Все, «как французы, так и русские, кажутся очень довольными и улыбаются». Все войны, как известно, кончаются миром. Но... «Посмотрите лучше на этого десятилетнего мальчишку. — пишет Толстой, — который в старом, должно быть, отцовском, картузе, в башмаках на босу ногу и нанковых штанишках, поддерживаемых одною помощью, с самого начала перемирия вышел за вал и всё ходил по лощине, с тупым любопытством глядя на французов и на трупы, лежащие на земле, и набирал полевые голубые цветы, которыми усыпана эта роковая долина. Возвращаясь домой с большим букетом, он, закрыв нос от запаха, который наносило на него ветром, остановился около кучей снесённых тел и долго смотрел на один страшный безголовый труп, бывший ближе к нему. Постояв довольно долго, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой окоченевшей руки трупа. Рука покачнулась немного. Он тронул её ещё раз и крепче. Рука покачнулась и опять стала на своё место. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь, к крепости» (Там же. С. 58).

Эта короткая сцена могла бы стать самостоятельным рассказом: здесь о войне сказано всё.

Завершая рассказ, Толстой признавался, что в его сочинении нет ни «злодеев», ни «героев»: «Все хороши, и все дурны». Он подчёркивал свой главный нравственный и эстетический принцип: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда» (*Там же. С. 59*). Этому принципу он не изменит на протяжении всего своего творчества.

Прежний молодой, с гуманистических и эстетических позиций, протестант против ужасов войны достигает в этой своей новелле уровня чародея, волшебника слова, уверенно представляющего читателю не просто уникальные, а странные, даже страшноватые своей необычностью вещи — такие, как описание гибели Праскухина *через восприятие погибающего*. «Страшная вещь!» — писал о новом рассказе Толстого И. С. Тургенев сестре писателя М. Н. Толстой (*Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем. Письма: В 18 т. М., 1987. Т. 3. С. 65*). «Ужас овладевает, волосы становятся дыбом от одного только воображения того, что делается там. Статья написана до такой степени безжалостно-честно, что тяжело становится читать. Прочти её непременно!» — советовал Алексей Феофилактович Писемский Александру Николаевичу Островскому в письме от 26 июля 1855 г. (*Писемский А. Ф. Материалы и исследования. М.-Л., 1936. С. 82*).

Самое тонкое исследование «Севастополя в мае», не утратившее своего значения и сегодня, было сделано Николаем Гавриловичем Чернышевским в статье «Детство и отрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого», помещённой в «Современнике» (1856, № 12). Определяя особенности таланта Толстого и своеобразие его психологического анализа, критик обращал внимание на умение писателя воспроизвести в своих сочинениях «таинственнейшие движения психической жизни». В этом Чернышевский видел «совершенно оригинальную черту» таланта Толстого, благодаря которой «из всех замечательных русских писателей он один мастер на это дело» (*Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. М., 1947. Т. 3. С. 426*).

Третий севастопольский рассказ, «Севастополь в августе 1855-го», был начат Толстым в Крыму, в действующей армии. Первое упоминание о нём — в Дневнике 19 сентября 1855 г. Самый ранний автограф — запись солдатского разговора — сделан утром 27 августа, перед началом последнего штурма Севастополя.

Во время штурма Толстой командовал пятью батарейными орудиями. Он стал свидетелем несокрушимости духа и одновременно отчаяния, с которыми русские войска покидали пылающий город. В Ясную Поляну Т. А. Ёргольской он писал 4 сентября 1855 г.: «27-го в Севастополе произошло большое и главное дело. Я имел счастье или несчастье прибыть в город как раз в день штурма; так что я присутствовал при этом и даже принял некоторое участие, как доброволец. [...] Я плакал, когда увидел город в огне и французские знамёна на наших бастионах; и вообще во многих отношениях это был день очень печальный» (59, 335; перевод с фр.).

1 и 2 сентября по поручению начальника штаба артиллерии генерала Николая Андреевича Крыжановского (1818 – 1888) Толстой работал над составлением «Донесения о последней бомбардировке и взятии Севастополя союзными войсками» на основании присланных ему со всех бастионов рапортов артиллерийских офицеров. Этот специфический опыт так же послужил укреплению антивоенных настроений писателя. Позднее, в очерке «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”», Толстой вспоминал:

«После потери Севастополя начальник артиллерии Крыжановский прислал мне донесения артиллерийских офицеров со всех бастионов и просил, чтобы я составил из этих более чем 20-ти донесений — одно. Я жалею, что не списал этих донесений. Это был лучший образец той наивной, необходимой, военной лжи, из которой составляются описания. Я полагаю, что многие из тех товарищей моих, которые составляли тогда эти донесения, прочтя эти строки, посмеются воспоминанию о том, как они, по приказанию начальства, писали то, чего не могли знать. Все испытавшие войну знают, как способны русские делать своё дело на войне и как мало способны к тому, чтобы его описывать с необходимой в этом деле хвастливой ложью. Все знают, что в наших армиях должность эту, составления реляций и донесений, исполняют большей частью наши инородцы» (16, 11). Желая иронизировать, Толстой, по существу, отдал поклон благодарности «инородцам» на службе русскому императору, исполнявшим не одно столетие в стране рабов и дураков более творческие

и интеллектуальные занятия, нежели те, на которые способны, в массе своей, представители “титульного” народа России.

Отсылая документ Крыжановскому, Толстой писал, что опирался не столько на официальные донесения с их противоречивыми и недостаточными сведениями, сколько на рассказы очевидцев. Эти рассказы, как и собственные впечатления и наблюдения, стали главным материалом при создании третьего севастопольского рассказа.

16 сентября Толстой получил письмо от Н. А. Некрасова, которое мы ужн цитировали выше. Редактор «Современника», возмущаясь «безобразием», в которое был приведён цензурой второй севастопольский рассказ, давал высокую оценку таланту молодого писателя, ставя его имя рядом с именем Гоголя. Письмо и расстроило, и воодушевило Толстого: «Я, кажется, сильно на примете у синих. За свои статьи. Желая, впрочем, чтобы всегда Россия имела таких нравственных писателей; но сладеньким уж я никак не могу быть, и тоже писать из пустого в порожнее — без мысли и, главное, без цели», — записал он в Дневнике 17 сентября 1855 г. И здесь же: «Моя цель — литературная слава. Добро, которое я могу сделать своими сочинениями» (47, 60). Необратимые изменения совершились: Толстой более не связывает мечтаний о славе с военной или иной *государевой* службой. Слава несовместима с бесславием служения злу.

Решимость не отступать от правды, несмотря на препоны цензуры и возможные преследования, нашла прямое воплощение в третьем рассказе о Севастополе.

23 сентября Толстой составил подробный план рассказа. Частично сохранились первые черновые наброски. В них фамилия главного героя — будущего Козельцова — Чернищев, а Мезенцов — будущий юнкер Вланг.

Фамилия Мезенцов не случайна. В нём — черты севастопольского сослуживца Толстого, «добродушнейшего малого», которого он «очень любил». По замыслу писателя, Мезенцов должен был стать свидетелем того, как Володя в блиндаже был заколот зуавом.

19 ноября 1855 г. Толстой прибыл в Петербург, где продолжилась работа над рассказом. А уже через месяц сочинение близилось к завершению и Толстой читал его главы в литературном кругу в доме А. М. Тургенева и на квартире Некрасова. Сохранилась наборная рукопись «Севастополя в августе», подписанная автором. Это первая наборная рукопись, над подготовкой которой к печати Толстой работал вместе с редактором. 9 января 1856 г. вышел первый номер

«Современника» с рассказом «Севастополь в августе 1855 года». Впервые сочинение уже известного и для многих любимого писателя Л. Н. Т. было подписано полным именем автора: «Граф Л. Н. Толстой».

Всего два дня из жизни воюющего Севастополя воссоздал Толстой на страницах рассказа. Его главные персонажи — два брата Козельцовы, случайно встретившиеся по дороге в осаждённый город: старший, Михаил, поручик, возвращался из госпиталя после тяжёлого ранения, а младший, семнадцатилетний Володя, прапорщик, только что выпущенный из Дворянского полка (военно-учебного заведения в Петербурге), ехал вместе с товарищами, такими же юными, «спа-сать отечество».

Михаил Козельцов — человек «недюжинный», талантливый, наделённый «самолюбивой энергией», с развитым чувством офицерской чести, ответственности. Володя — наивный, романтически-восторженный юноша. На вопрос старшего, «отчего меньшей вышел не в гвардию», он, «улыбаясь и краснея», отвечал, что «просился на войну» и «желал поскорей в Севастополь»: «...главное, я затем просился, что всё-таки как-то совестно жить в Петербурге, когда тут умирают за отечество» (4, 71).

Как мы помним, этими же патриотическими мотивами руководился при переводе из Дунайской армии и Лев Николаевич Толстой. Недаром он откровенно любит Володей, его молодостью. «Козельцов 2-й Владимир был очень похож на брата Михайлу, но похож так, как похож распускающийся розан на отцветший шиповник. Волоса у него были те же русые, но густые и вьющиеся на висках. На белом нежном затылке у него была русая косичка — признак счастья, как говорят нянюшки. По нежному, белому цвету кожи лица не стоял, а вспыхивал, выдавая все движения души, полнокровный молодой румянец. Те же глаза, как и у брата, были у него открытее и светлее, что особенно казалось оттого, что они часто покрывались лёгкой влагой. Русый пушок пробивался по щекам и над красными губами, весьма часто складывавшимися в застенчивую улыбку и открывавшими белые блестящие зубы. Стройный, широкоплечий, в расстёгнутой шинели, из-под которой виднелась красная рубашка с косым воротом, с папироской в руках, облокотясь на перила крыльца, с наивной радостью в лице и жесте, как он стоял перед братом, — это был такой приятно-хорошенький мальчик, что всё бы так и смотрел на него» (Там же. С. 72).



«Севастополь в августе 1855 года». Иллюстрация Бориса Зворыкина

Дальше братья решили ехать вместе. По пути в Севастополь, а это всего несколько вёрст, они успели и «наговориться почти досыта», и, чтобы узнать о месте расположения полка Михаила и батареи Володи, заехать к обозному офицеру, нечистоплотному и жуликоватому, заведующему «обозом полка и продовольствием лошадей». Доехав до Михайловской батареи, братья оставили повозку и дальше пошли пешком. Постепенно восторженное настроение Володи, его «эстетическое наслаждение и героическое чувство самодовольства», что вот и он в Севастополе, начинало меняться: «он ощущал какую-то тяжесть на сердце». Всё, что он видел, слышал, чувствовал, было как-то несообразно с тем, что он представлял себе прежде. И, словно вторя состоянию Володи, «направо туманно-враждебно шумело и чернело море, отделяясь бесконечной ровной чёрной линией от звёздного, светло-сероватого в слиянии горизонта; далеко где-то светились огни на неприятельском флоте [...] Впереди над Севастополем носились те же огни, и громче, громче долетали страшные звуки. Набежавшая волна с моря разлилась по правой стороне моста

и замочила ноги Володе: два солдата, шлёпая ногами по воде, прошли мимо него. [...] Володе вдруг сделалось ужасно страшно: ему всё казалось, что сейчас прилетит ядро или осколок и ударит его прямо в голову. Этот сырой мрак, все звуки эти, особенно ворчливый плеск волн, — казалось, всё говорило ему, чтобы он не шёл дальше, что не ждёт его здесь ничего доброго, что нога его уж никогда больше не ступит на русскую землю по эту сторону бухты, чтобы сейчас же он вернулся и бежал куда-нибудь, как можно дальше от этого страшного места смерти». Порабощённая безумием человека, прекрасная, но и страдающая, уродующаяся, гибнущая природа контрастирует с юностью Володи, одним видом своим благословляющей Бога и вызывающей о мире, о любви, о праве каждого жить и радоваться жизни. И впервые в сознании мальчика явилась мысль о смерти: «„Господи! Неужели же меня убьют, именно меня? Господи, помилуй меня!“ — сказал он шёпотом и перекрестился» *(Там же. С. 76, 80 – 82)*.

Узнав о ранении полкового товарища Михаила, Козельцовы пошли на перевязочный пункт. И снова Толстой, как и в первых двух севастопольских рассказах, приводит своих героев в госпиталь. Козельцову-старшему госпитальная обстановка знакома; для Володи же — всё впервые. И не случайно в этой короткой главе всё передано через восприятие Володи.

Выйдя с перевязочного пункта, Михаил и Володя расстались: это оказалось последнее прощание братьев. Каждый направился к своему месту назначения. Больше они не увидятся — оба 27 августа будут убиты при последнем штурме Севастополя.

Перед лицом даже неизвестной ещё смерти не испорченный вконец миром, не отупелый человек бывает тоскующе одинок. В природе человека заложена Богом потребность исполнения смыслов его жизни: от утилитарных и животных, каковы поддержание тела и репродукция, до высшего, единого, всеобщего: сотворчества Богу ради Царствия Его на Земле. Не служивший этому важнейшему поприщу, растративший себя служению миру либо же очень юный, не поживший человек — всенепременно тоскует перед лицом витальной опасности, в смертельной болезни или в близости от своей гибели. Для святого нет смерти, но для юного человеческого зверька она — обезумливающе и удушающе страшна. Расставшись с братом, Володя почувствовал себя именно так: тоскливо, ужасающе одиноко. «Вся его молодая, впечатлительная душа сжалась и ныла под

влиянием сознания одиночества и всеобщего равнодушия к его участи в то время, как он был в опасности. „Убьют, буду мучиться, страдать, и никто не заплачет”. И всё это вместо исполненной энергии и сочувствия жизни героя, о которой он мечтал так славно. [...] „Один, один! Всем всё равно, есть ли я, или нет меня на свете”, — подумал мальчик, и ему без шуток захотелось плакать». «Это сознание одиночества в опасности — перед смертью, как ему казалось, — ужасно тяжёлым холодным камнем легло ему на сердце. Он остановился посреди площади, оглянулся, не видит ли его кто-нибудь, схватился за голову и с ужасом проговорил и подумал: „Господи! неужели я трус, подлый, гадкий, ничтожный трус? Неужели за отечество, за царя, за которого с наслаждением мечтал умереть так недавно, я не могу умереть честно? Нет! Я несчастное, жат кое создание!”» (Там же. С. 85 – 86).

«Но, может, уж поздно, уж решено теперь» — подумал он, содрогаясь частью от этой мысли (Там же. С. 82). Это тоже простая защитная реакция психики животных и человека как животного: перестать бояться и бороться, если «всё равно» уже опоздано спасением. И не выручает она Володю, и страх не сразу отступает от него.

«Истинным чувством отчаяния и разочарования в самом себе» преисполнен Володя Козельцов, явившийся на батарею (Там же. С. 86). И это чувство на время заслонило все остальные мысли и чувства. Ночью, «оставшись наедине со своими мыслями», мальчик прибегает к более действенным в таких ситуациях самообманам: казнит себя, испытывая «тяжёлое чувство презрения, отвращения даже, к самому себе»: «Я подлец, я трус, мерзкий трус!» «Но вдруг мысль о Боге всемогущем» пришла ему в голову. И он стал молиться: «“Если нужно умереть, нужно, чтоб меня не было, сделай это. Господи, — подумал он, — поскорее сделай это; но если нужна храбрость, нужна твёрдость, которых у меня нет, — дай мне их, избави от стыда и позора, которых я не могу переносить, но научи, что мне делать, чтобы исполнить Твою волю”». Детская, запуганная, ограниченная душа вдруг возмужала, просветлела и увидела новые, обширные, светлые горизонты. Много ещё передумал и перечувствовал он в то короткое время, пока продолжалось это чувство, но заснул скоро покойно и беспечно, под звуки продолжавшегося гула бомбардирования и дрожания стёкол» (Там же. С. 89 – 90).

Воля Бога в том, чтобы люди в Его мире учились и совершенствовались, устремляясь к Нему, а не нарушали во всехней великой Мастерской технику безопасности и дисциплину. Так что на том поприще, на которое, повинувшись мирскому обману, встал Володя Козельцов, он никак не мог быть в воле Бога, и светлые туманные горизонты, пригрезившиеся ему, не более чем «воспоминания о будущем» — о жизни, которую у него уже отнял обманувший его мир и которую ему не суждено уже прожить. Обманы церковно-православный и военно-патриотический торжествуют над юной своей жертвой — но дарят при этом Володе успокоение, уверенность, храбрость в бою, а перед боем — сонное забвение, подобное смертному сну человека, замерзающего в поле в метель. В дальнейшем, в анализе романа Л. Н. Толстого «Война и мир», мы покажем, как этот же, с участием сна, приём, глубокий, и трагичный, и (в отношении к взрослому миру), обличительный по содержанию, Толстой реализует в эпизодах участия в партизанском набеге и гибели юного Пети Ростова.

В следующих трёх главах Толстой переключил внимание на Михаила Козельцова, на его отношения с полковым командиром, офицерами, солдатами. В конце рассказа ещё одна глава посвящена старшему брату: в день штурма он героически погибает на пятом бастионе. Получив смертельное ранение в грудь, он спрашивает, выбили французов или нет. Из жалости ему говорят, что да, выбили. Он умирает, думая о брате и радуясь, что выполнил свой долг.

Все остальные главы — о Володе: о его знакомстве с офицерами батареи, с Влангом, о том, как он вытянул жребий идти на Малахов курган... Впервые юный прапорщик Козельцов шёл впереди своей «команды», он «не кланялся ядрам» и, казалось, «трусил даже гораздо меньше других», хотя раз двадцать «был на волоске от смерти». Легко и просто он сошёлся с солдатами: ему было хорошо, весело с ними... Наутро он уже командовал «двумя мортирками» (короткоствольными пушками) и «был в чрезвычайном восторге: ему не приходила и мысль об опасности. Радость, что он исполняет хорошо свою обязанность, что он не только не трус, по даже храбр, чувство командования и присутствие 20 человек, которые, он знал, с любопытством смотрели на него, сделали из него совершенного молодца. Он даже тщеславился своей храбростью, франтил перед солдатами, вылезал на банкет и нарочно расстегнул шинель, чтобы его заметнее было».

И даже начальник бастиона «не мог не полюбоваться на этого хорошенького мальчика, в расстёгнутой шинели, из-под которой видна была красная рубашка, обхватывающая белую нежную шею, с разгоревшимся лицом и глазами, похлопывающего руками и звонким голоском командующего...» *(Там же. С. 110).*

Не случайно Толстой рисует такой пленительный портрет Володи: в нём красота молодости, сила жизни... Тем разительнее финал этой сцены: на батарее, уже занятой французами, около Володи никого не было, только трусишка Вланг, яростно размахивая хандшпугом и крича: «За мной, Владимир Семёныч! Что вы стоите! Бегите!», бросился прятаться в траншею. «Вскочив в траншею, он снова высунулся из неё, чтобы посмотреть, что делает его обожаемый прапорщик. Что-то в шинели ничком лежало на том месте, где стоял Володя, и всё это пространство было уже занято французами, стрелявшими в наших» *(Там же. С. 115 – 116).*

Небеса любят насмешничать над великими... «По косточкам» разобрал, очень критично, в 1903 году творчество Шекспира, раскритиковав его на примере пьесы «Король Лев», Толстой через несколько лет сам повторит, во многих чертах, мученический, прерванный смертью, путь несчастного её главного персонажа. В написанном немногим позднее, в начале 1905 года, «Послесловии к рассказу Чехова “Душечка”», Толстой настаивал, что, желая «проклясть» Душечку, сделать из неё комического персонажа — Чехов вознёс, благословил её в её смиренной женственности:

«Есть глубокий по смыслу рассказ в «Книге Числ» о том, как Валак, царь Моавитский, пригласил к себе Валаама для того, чтобы проклясть приблизившийся к его пределам народ израильский. Валак обещал Валааму за это много даров, и Валаам, соблазнившись, поехал к Валаку, но на пути был остановлен ангелом, которого видела ослица, но не видал Валаам. Несмотря на эту остановку, Валаам приехал к Валаку и взошёл с ним на гору, где был приготовлен жертвенник с убитыми тельцами и овцами для проклятия. Валак ждал проклятия, но Валаам вместо проклятия благословил народ израильский.

23 гл. (11) «И сказал тогда Валак Валааму: что ты со мной делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь?

(12) И отвечал Валаам и сказал: не должен ли я в полностью сказать то, что влагает господь в уста мои?

(13) И сказал ему Валак: пойдй со мной на другое место... и прокляни его оттуда».

И взял его на другое место, где тоже были приготовлены жертвы.

Но Валаам опять вместо проклятья благословил.

Так было и на третьем месте.

24 гл. (10) «И воспламенился гнев Валака на Валаама, и всплеснул он руками своими, и сказал Валак Валааму: я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь и вот уж третий раз.

(11) Итак, ступай на своё место; я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести».

И так и ушёл Валаам, не получив даров, потому что вместо проклятья благословил врагов Валака.

То, что случилось с Валаамом, очень часто случается с настоящими поэтами-художниками. Соблазняясь ли обещаниями Валака — популярностью или своим ложным, навеянным взглядом, поэт не видит даже того ангела, который останавливает его и которого видит ослица, и хочет проклинать, и вот благословляет.

Это самое случилось с настоящим поэтом-художником Чеховым, когда он писал этот прелестный рассказ «Душечка» (41, 374).

Чехов, по мысли Толстого, хотел дать в рассказе сатиру в духе Гоголя, а вышло у него вместо того — трогательное изображение лучших сторон женской природы.

С севастопольским циклом у «настоящего поэта-художника» Льва Николаевича Толстого получилось ровно наоборот, нежели с Валаамом: желая, и вполне искренне, будучи несомым волною патриотический чувств, если не вознести, не облагородить, то как-то оправдать войну — Толстой именно как настоящий художник проклял её! И не в первый уже раз...

Гибель Володи Козельцова, очень прозаическая, незаметная, — зловещая закономерность войны. Так же прозаически гибнет юный прапорщик Аланин в рассказе «Набег», а в «Войне и мире» — пятнадцатилетний Петя Ростов. У всех у них жизнь только начиналась: по существу, они жили ещё тем, чтобы освоить социальные навыки и роли нормальной, мирной человеческой жизни. За остатки, ничтожные фрагменты которой среди страшной «бастионной» реальности, цеплялись и вверенные Володе солдатики — в большинстве своём прежде, от роду и по воспитанию, добрые, мирные крестьяне, рекрутированные подкупом, обманом или, чаще всего, принуждением

в «государеву службу». Но среди этих ролей, подложенная служителями смерти, лукавыми князьями мира, как яблоко Еве или как опасная игрушка малому дитя, самой привлекательной для вчерашних детей оказалась война — к сожалению, не игра, не *понарошку*.



В 1856 г. «Севастополь в августе...» Толстой напечатал в сборнике «Военные рассказы»: здесь появился новый финал рассказа, придавший сочинению подлинно эпическое звучание. Все три севастьяпольских рассказа стали великой школой писателя на пути к роману-эпопее «Война и мир».

Очень высоко оценили современники третий севастьяпольский рассказ. Все газеты, журналы расточали похвалы молодому автору; рассказ обсуждался в частной переписке: «Как вам нравится „Севастополь“ Толстого (Л. Н. Т.)? Я от этого Толстого жду чего-нибудь необыкновенного. Ему, кажется, Бог дал самородного таланту больше всех наших писателей», — делился впечатлениями о рассказе писатель и публицист И. В. Киреевский.



Отдельное издание цикла военных рассказов Л. Н. Толстого. 1856 г.

Три севастопольских рассказа как единое целое рассматривал А. В. Дружинин в статье, напечатанной в «Библиотеке для чтения» (1856. 9). Сопоставляя их с очерками об осаде Севастополя лучших французских и английских корреспондентов, он делал вывод, что ни одна из воюющих держав «не имела у себя хроникёра осады, который мог бы соперничать» с Толстым. «Всякий читатель, одарённый здравым смыслом, видел и знал», что в осаждённом Севастополе «находился настоящий русский военный писатель, одарённый зорким глазом,

слогом истинного художника, писатель, готовый делиться с публикою историею всего им виденного и пережитого во время осады Севастополя».

1. 6. «КАЗАКИ»: ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ МОЛОДОСТИ

Об этой повести Льва Николаевича мы недаром говорим в завершение Первой большой главы нашей книги. Повесть эта — уникальная по значительности веха на распутье толстовских не только творческих, но и духовных исканий. Уникальна она даже количеством рукописного материала. Оно таково, что активные исследования и замечательные открытия, так или иначе связанные с этой повестью, происходили в научном толстоведении в течение всего XX века, продолжают и сейчас, и их результаты уже настолько значительны, что в научных работах ссылки не только на справочный аппарат, статьи и комментарии, сопровождающие публикацию повести в Полном собрании сочинений писателя, но и на текст самой повести, принято делать не на старое (Юбилейное) издание, точнее том 6-й из далёкого 1936 года, а на тт. 4 и 4 (21), нового 100-томного Полного собрания сочинений, вышедшие на грани тысячелетий, в 2000 и 2001 гг. и содержащие итоги колоссальных трудов учёных вплоть до конца прошлого столетия.

Выделяется повесть и продолжительностью, с перерывами, её писания Львом Николаевичем: с августа 1853 по 1862 г. Почти десятилетие... И *какие* это годы в жизни Толстого! Сколько передумано и пережито! В 1851 году добровольцем он отправился на Кавказ; ему пришлось прожить 5 месяцев в пятигорской избе, ожидая документы. Значительную часть времени Толстой проводил на охоте, в обществе казака Елифана Сехина («Епишки» или даже «Япишки» в Дневнике Толстого), прототипа дяди Ерочки из будущей повести. Но это лишь подробность внешней биографии, относящейся к повести... Через годы уже после оставления службы, в конце апреля — начале мая 1859 г., Толстой так исповедался о значении «кавказской школы» в своём духовном становлении в письме к А. А. Толстой:

«Ребёнком я верил горячо, сантиментально и необдуманно, потом, лет 14, стал думать о жизни вообще и наткнулся на религию, которая не подходила под мои теории, и, разумеется, счёл за заслугу разрушить её. Без неё мне было очень покойно жить лет 10. Всё открывалось перед мной ясно, логично, подразделялось, и религии не было места. Потом пришло время, что всё стало открыто, тайн в жизни больше не было, но сама жизнь начала терять свой смысл. В это же

время я был одинок и несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать. У меня есть мои записки того времени, и теперь, перечитывая их, я не мог понять, чтобы человек мог дойти до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошёл тогда. Это было и мучительное, и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал *туда*, как в это время, продолжавшееся 2 года. И всё, что я нашёл тогда, навсегда останется моим убеждением. Я не могу иначе. Из 2 лет умственной работы я нашёл простую, старую вещь, но которую я знаю так, как никто не знает, я нашёл, что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого, для того, чтобы быть счастливым вечно. Эти открытия удивили меня сходством с христианской религией, и я вместо того, чтобы открывать сам, стал искать их в Евангелии, но нашёл мало. Я не нашёл ни Бога, ни Искупителя, ни *таинств*, ничего; а искал всеми, всеми, всеми силами души, и плакал, и мучался, и ничего не желал, кроме истины. ...Редко я встречал в людях такую страсть к истине, какая была в то время во мне. Так и остался с своей религией, и мне хорошо было жить с ней» (50, 293 – 294).

Это воспоминание значительно тем, что под ним практически мог бы «подписаться», как под своим, главный персонаж повести «Казаки», юнкер Дмитрий Андреевич Оленин. Но если юнкер Толстой в 1852-м ещё смело мечтал о мирском успехе на выбранном поприще службы, о славе и любящих женщинах, то через десятилетие Толстой столь же смело подвёл своего литературного «двойника» к некоторому экзистенциальному фиаско.

Молодой Лев безусловно нащупывает верный путь — к Богу и Христу, к недогматическому, первоначальному христианству, то есть к Истине. Но совершенно преждевременно полагает тогда, в первой половине 1850-х, что хотя бы твёрдо встал на этот путь — не говоря уже о том, чтобы пройти по нему довольно, чтобы об Истине и о Боге утверждать что-либо наверняка. Такой поиск себя и Бога в себе же не уберёт молодого писателя, равно как и главного персонажа его будущей повести, от увлечений и соблазнов мира. Как мы показали в предшествующей части завершаемой теперь главы, воспитанные в ребёнке чтением и воспитателями симпатии к военной службе, романтические представления о Кавказе и Кавказской войне сменились разочарованием и реалистическим видением и горцев, и русской военщины, и самой войны, а по отношению к нравам, царившим в николаевской армии — даже отвращением, которое в условиях Крымской кампании дополнилось сожалением о напрасно по-

гибавших солдатах, состраданием к ним, как военным рабам империи и обманывающих, грабящих их офицеров и желанием Толстого личного участия в переменах этого положения к лучшему, усилившимся настроениями, последовавшими за смертью императора Николая I.

Что касается второй половины 1850-х, значительной иллюстрацией ступени духовного развития и стадии на пути к отвержению военного насилия тогдашнего Толстого могут послужить сведения из первой заграничной поездки писателя в 1857 году. Выше мы уже останавливались на значительнейшем сюжете этой поездки: когда в состоянии, близком к позднейшей, 1869 года, известной «арзамасской тоске», то есть в депрессии, вызванной навязываемым Парижем путешественникам рассеянным полубезделием, Толстой 6 апреля становится свидетелем публичной смертной казни преступника, зрелище которой в одно утро уничтожает в нём прежние симпатии к общественному строю Франции. В Париже ему делается несносно, и уже на следующий день он уезжает в Швейцарию, в Женеву, где в то время живёт его двоюродная тётка Александра Андреевна (Alexandrine) Толстая.

В Женеве Толстой пробыл почти две недели. Здесь он проводил время в том, что любовался природой, наблюдал «здешний свободный и милый народ», как писал он тётушке Ёргольской 17 апреля, читал и писал.

Здесь же, как и позднее, в 1870-е годы, Толстой испытывает себя в «вере отцов», в православии. «Видя нас всех говеющими, — рассказывает А. А. Толстая в своих «Воспоминаниях», — Лев тоже собрался говеть» (*Толстая А. А., гр. Мои воспоминания о Л. Н. Толстом // Л. Н. Толстой и А. А. Толстая. Переписка (1857 – 1903). М., 2011. С. 13*). Но Толстой уже не смотрел, как в детстве, на исповедь, как на «таинство»: отметив в своём Дневнике, что он исповедовался, он счёл нужным для себя самого тут же прибавить оговорку: «хорошее дело во всяком случае» (47, 123).

Вера в церковные догмы в нём к этому времени уже совершенно исчезла, зато из юности вынесена была — и пронесена через всю жизнь — вера в возможность сделаться лучше, руководясь учением и примером земной жизни Христа. А. А. Толстая в своих воспоминаниях пишет об этом следующее:

«Он постоянно стремился начать жизнь сызнова и, откинув прошлое, как изношенное платье, облечься в чистую хламиду. С какою наивностью мы оба верили тогда в возможность сделаться в один день другим человеком — преобразиться совершенно, с ног до головы, по мановению своего желания.

[...] Лев был уже тогда полон отрицаний, но больше по уму, чем по сердцу. Душа его была рождена столько же для веры, сколько для любви, и часто, сам того не сознавая, он это проявлял в различных случаях.

Разговоры наши клонились большею частью к религиозным темам, но едва ли мы друг друга понимали» (*Толстая А. А., гр. Мои воспоминания о Л. Н. Толстом // Указ. изд. С. 14*).

Действительно, Александра Андреевна и в отношениях своих с Богом оставалась тем же мирским, совращённым миром человеком, что и в придворной службе — в то время в качестве фрейлины великой княгини Марии Николаевны (1819 – 1876), герцогини Лихтенбергской. Ей, как и супруге Толстого, никогда не суждено будет сполна уразуметь этого родственно близкого и искренне любимого ими человека.

Сообщение А. А. Толстой об «отрицательном» настроении Толстого подтверждается записью его в Дневнике, в которой он выражает сожаление об утрате веры. Познакомившись с настоятелем русской церкви в Женеве Петровым, Толстой 11 мая записывает в Дневнике, что это человек «умный, горячий и знающий своё дело», «аскетик» (то есть аскет), и тут же прибавляет: «прошу Бога, чтобы он дал мне эту веру» (47, 127). Но, не имея веры в церковные догматы, Толстой уже тогда принимал нравственное учение христианства, считая его спасительным для человечества. При этом он не придавал никакой цены работам различных несогласных между собой историков, занимавшихся разыскиванием данных о жизни Христа. По этому поводу он делает в записной книжке следующую запись: «Дали людям учение счастья, а они спорят о том, в каком году, в каком месте и кто им дал это учение» (47, 205).

Много времени Толстой посвящал чтению. Кроме художественных произведений, Толстой читал также книги по истории Французской революции (Токвиль «Старый порядок и революция») и по истории Швейцарии, а также положение о швейцарской конституции.

Историческое чтение навело Толстого на ряд мыслей об исторических событиях, которые он занёс в свою записную книжку.

Питая чувство отвращения ко всякому кровопролитию, в том числе и к кровавым государственным переворотам, Толстой в желательном для него свете понимает и ход исторических событий. Убеждённый в том, что «кровь — зло одно», он объясняет слабость французской Директории 1795 года тем, что в революцию «всех перебили, не осталось людей», а успешность переворота, произведённого Наполеоном в 1799 году, тем, что при этом перевороте «не было крови»

(47, 205). С возмущением отмечает Толстой в своём Дневнике зверство Наполеона, по приказанию которого, во время франко-турецкой войны 1799 года, весь сдавшийся французам турецкий гарнизон города Яффы в количестве 4000 человек был истреблён за убийство французского парламентаря.

В целом можно сказать, что, в отличие от веры в догматы и таинства, заповедь «Не убий» и в эти годы не исчезала для православно воспитанного Л. Н. Толстого, не уходила за умозрительные горизонты, хотя, в целом, в системе значимых, влиявших на его поступки мотиваций именно христианская вера по-прежнему отступала, с одной стороны, перед моральным и эстетическим отвращением к убийству, перед светским гуманизмом, с другой же — перед результатами эмоционального заражения патриотизмом, так же хорошо «прилипавшим» к подготовленной воспитателями морально-психологической основе.

Таков был Толстой 1850-х – начала 1860-х годов. Таков и персонаж писанной в эти годы — и главной за эти годы в раскрытии Толстым тематики войны и мира — повести «Казачи», к работе над которой он вернулся в эти дни швейцарской «тёплой ванны» для чувств. Получив достаточно негативные впечатления от чтения романов Бальзака и Дюма и найдя их «мелкими», а Дюма и весьма развратным, Толстой, с не изменившим ему эстетическим и этическим чутьём, делает образцами для своего повествования древнейшие и высочайшие эпические шедевры — «Илиаду» и «Одиссею» Гомера. Вообще писательская работа Толстого периода его швейцарской жизни в 1857 г. определялась его общим душевным состоянием. Один из главнейших для него этических постулатов художественного творчества в той же записной книжке, в записи на 10 апреля 1857 г., он формулировал следующим образом: «Евангельское слово “не суди” глубоко верно в искусстве: рассказывай, изображай, но не суди» (47, 203).

Примечательно, что сам образ офицера, поселившегося в станице с казаками, появляется в рукописях Льва Николаевича не ранее 1857 года — то есть, по итогам и даже по осмыслению уже всего военного опыта Толстого, вышедшего к этому времени в отставку.

Одна из особенностей повести в том, что феномен военного убийства исследуется Толстым в условиях, в некотором смысле, «лабораторных»: в среде не «русского мира» с его рабами и господами, развратным офицерьем и всетерпеливыми, но готовыми от такой жизни хоть сегодня умереть «за царя и отечество» солдатами, не в бивачных, бастионных или походных условиях, а в мирной повсе-

дневности гребенских казаков, свободолюбивого народа, для которого военная служба и периодические стычки с горцами, скорее, часть их повседневной мирной, и очень нравственной даже (гребенцы были старообрядцами) жизни, а не перерыв в её течении, как для царских рекрут и их военных начальников. Поэтому и мы здесь сосредоточимся именно на этом феномене, убийстве по военной «необходимости», и на отношении к нему Толстого, шагнувшего за годы писания повести из юности в молодость, и даже в первую зрелость.

В повести, как общеизвестно, две значительные сюжетные линии: поиск себя одним из любимых персонажей Толстого, Дмитрием Андреевичем Олениным, ради чего он оставил развративший его и измучивший город, светскую жизнь и, подобно самому Толстому, записался в юнкера, в военную службу и поселился в станице гребенцов Новомлинской (под этим названием, как полагали биографы Толстого П. И. Бирюков и Н. Н. Гусев, представлена станица Старо-Гладовская). Другая сюжетная линия связана с казаком Лукашкой и возлюбленной его, дочерью хорунжего, своенравной казачкой Марьяной. Эпизод убийства Лукашкой чеченца, «абрека», стал сюжетообразующим в повести «Казачьи». Молодому казаку, как говорили товарищи, «счастье Бог дал: ничего не видавши, абрека убил». Толстой описывает убитого: «Чеченец был убит в голову. На нём были синие портки, рубаха, черкеска, ружьё и кинжал, привязанные на спину. [...] Протащив тело несколько шагов, казаки опустили ноги, которые, безжизненно вздрогнув, опустились, и, расступившись, постояли молча несколько времени. Назарка подошёл к телу и поправил подвернувшуюся голову так, чтобы видеть кровавую круглую рану над виском и лицо убитого. [...] Казаки молча и неподвижно стояли вокруг убитого и смотрели на него. Коричневое тело в одних потемневших мокрых синих портках, стянутых пояском на впалом животе, было стройно и красиво. Мускулистые руки лежали прямо, вдоль рёбер. Синеватая свежесбрита круглая голова с запёкшеюся раной сбоку была откинута. Гладкий загорелый лоб резко отделялся от бритого места. Стеклянно-открытые глаза с низко остановившимися зрачками смотрели вверх — казалось, мимо всего. На тонких губах, растянутых в краях и выставлявшихся из-за красных подстриженных усов, казалось, остановилась добродушная тонкая усмешка. На маленьких кистях рук, поросших рыжими волосами, пальцы были загнуты внутрь и ногти выкрашены красным» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 100 т. Серия 1. Художественные произведения: В 18 т. Т. 4. С. 36 – 38. Далее ссылка цифры: том, страница).

Ничего нет ужасного, нечеловеческого, враждебного в облике мёртвого чеченца. Даже сам Лукашка почувствовал это: «Тоже человек был!» — проговорил он, видимо любясь мертвецом» (*Там же. С. 38*).

Убийство не принесло счастья молодому казаку: в конце повести Лукашка сам погибает от пули абрека. Такое «воздаянье», по мысли Толстого, рано или поздно непременно должно настичь пролившего кровь, и не только по личной недоброй воле, но и по «служебной» необходимости — таков неписанный Высший закон. На этом и построена главная сюжетная линия повести.

Уже в самых ранних рукописях будущих «Казаков», того периода, когда повесть носила ещё первоначальное, «рабочее» название «Беглец», один из героев, казак Гурка, муж Марьяны, отличился в набеге. Старик «дядя Епишка», будущий дядя Ерошка, говорит о нём, своём крестнике: «...Я радуюсь своему сыну хресному, не то, что он домой пришёл, а то, что он молодец — чеченца срубил и коня привёл» (*Там же. Т. 4 (21). С. 21*). В казацкой станице считают, как говорит в другой ранней рукописи казак Кирка, что до тех пор «не казак, пока чеченца не убьёшь» (*Там же. С. 85*). Но здесь уже совсем иное произносит старый Ерошка, «увидав ясно человеческое тело на отмели»: «Дурак, дурак! — сказал он, — не знаешь кого, а убил. Зачем убил? Дурак, дурак!». Далее Толстой в нескольких словах описывал убитого: «Ясно видно было тело с бритой головой, в синих портках, с суком и мешком за плечами. Из головы текла кровь». Наконец, и сам Кирка (будущий Лукашка), глядя на дело рук своих, скажет почти то же, что появится в окончательном тексте: «Ведь тоже человек был» (*Там же. С. 95*).

Похожие мысли посещают офицера Ржавского (прообраз Оленина в первой редакции «Казаков»). В письме приятелю он описывал, как «ловили абреков», которые «засели в бурунах», описывал «ужас», который «застлал глаза» ему, когда слышались «выстрелы, крик, стон» и когда он увидел убитых: «Эти чеченцы рыжие, к<оторые> минуты тому назад были чужие, неприступные, лежали тут убитые и раненые. Один был жив. У каждого было своё выражение; все были люди, особенные. Казаки, запыхавшись, растаскивали» (*Там же. С. 135 – 136*). Некоторые формулировки, черты, детали, найденные Толстым на этой ранней стадии работы над будущими «Казаками», почти без изменения пройдут через все редакции и войдут в окончательный текст повести.

Во второй редакции первой части офицер Ржавский во 2-м письме к своему приятелю размышлял о Кирке, который «отличился с месяц тому назад, убил чеченца и с тех пор, как кажется, и загулял. У него уже есть лошадь и новая черкеска. Он иногда приезжает в станицу

и держит себя аристократом, гуляет с товарищами и с хорунжим [...], держит себя гораздо самостоятельнее». И далее: «Странное дело, убийство человека вдруг дало ему эту самонадеянность, как какой-нибудь прекрасный поступок. А ещё говорят, человек разумное и доброе существо. Да и не в одном этом быту это так, разве у нас не то же самое. Война, казни. Напротив, здесь это ещё меньше уродливо, потому что проще» (*Там же. С. 143*).

Но недаром фамилия у этого прообраза красавца Оленина — Ржавский, от ржавчины: минутное прозрение его к мерзостям собственного его «русского мира», преступлениям его родной Российской Империи и всей лжехристианской цивилизации тут же погасает, склоняя Ржавского от судьбоносных в своём потенциале, но бесплодных в его случае антивоенных обобщений к умонастроению обыкновенного «представителя цивилизации» среди туземцев:

«Убийство человека вдруг из мальчишки сделало Кирку человеком. И растолковать ему, что в этом деле нет ничего хорошего, так же трудно, как [зверю] волку доказать, что нехорошо есть овец». Радость и «самодовольная улыбка» Кирки рождает в душе Ржавского недоумение и вопросы: «И чему радуется? — думал я, — а радуется искренно, всем существом своим радуется». Невольно мне представлялась мать, жена убитого, которая теперь где-нибудь в ауле плачет, бьёт себя по лицу. Глупая штука жизнь, везде и везде» (*Там же. С. 143 – 144*).

А между тем, по мере продвижения работы Льва Николаевича над повестью, в черновиках заметно изменяются характеры героев, мотивация их поведения, их оценка ситуации... И вот уже Лукашка, прежний Кирка, убивший абрека и потому счастливый и возвысившийся в собственных глазах, начинает глубоко внутри чувствовать что-то странное: он «не отрывая глаз смотрел на мертвеца, и прекрасные глаза его принимали более и более задумчивое выражение» (*Там же. С. 210*).

Персонажи повести, от более ранних черновых вариантов к позднейшим, всё далее отходят от стереотипов имперских «цивилизаторов» и «усмирителей». Вплоть до того, что способны, не зная этого, к нравственному укору и обличению николаевской военщины. Вот дядя Ерошка — уже, кстати, в окончательном варианте повести — рассказывает Оленину свои мысли, проистекающие из личного его опыта общения с жестоким «русским миром», который сразу напечалит нам страшную сцену в раннем рассказе Л. Н. Толстого «Набег»:

«А то раз сидел я на воде; смотрю — зыбка сверху плывёт. Вовсе целая, только край отломан. То-то мысли пришли. Чья такая зыбка?

Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребёночка убил какой чёрт: взял за ножки да об угол. Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях! И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю: зыбку бросили и бабу угнали, дом сожгли, а джигит взял ружьё, на нашу сторону пошёл грабить. Всё сидишь, думаешь» (*Там же. Т. 4. С. 54*).

И этот взгляд на «русско-мирную» сволочь, по свидетельству Льва Николаевича — взгляд не одного старика Ерошки (за которым, напомним читателю, стоит реальный прототип с теми же убеждениями — Епифан Сехин), но всех терских и гребенских казаков — людей диковатых, но со здоровым нравственным «ядром»:

«Очень, очень давно предки их, староверы, бежали из России и поселились за Терекон, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и там во всей прежней чистоте русский язык и старую веру. [...] Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими, и любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляет главные черты их характера. Влияние России выражается только с невыгодной стороны: стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там. Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает врага-горца, но презирает чужого для него и угнетателя солдата. Собственно, русский мужик для казака есть какое-то чуждое, дикое и презренное существо, которого образчик он видал в заходящих торгашах и переселенцах-малороссиянах, которых казаки презрительно называют шаповалами» (*Там же. С. 18*).

И, будто для посрамления Оленина-Ржавского, косноязычно, но искренне старик сам прибегает к нравственно-метафизическим обобщениям о «законах», по которым живут и люди, и звери, все «твари Божии», закончив вдруг выводом о жизни человечьей вполне в духе помышлений своего слушателя: «Эхма! Глуп человек, глуп, глуп человек!» (*Там же. С. 54*).

Этот ночной разговор Оленина со стариком-казакон завершается короткой сценой: «Старик, облокотив голову на руку, задремал. Петух вскрикнул на противоположном дворе. А Оленин всё ходил и ходил, о чём-то думая. Звук песни в несколько голосов долетел до его слуха. Он подошёл к забору и стал прислушиваться. Молодые голоса казаков заливались весёлою песнею, и изо всех резкою силой выдавался один молодой голос.

— Это знаешь, кто поёт? — сказал старик, очнувшись. — Это Лукашка-джигит. Он чеченца убил; то-то и радуется. И чему радуется? Дурак, дурак!

— А ты убивал людей? — спросил Оленин.

Старик вдруг поднялся на оба локтя и близко придвинул своё лицо к лицу Оленина.

— Чёрт! — закричал он на него. — Что спрашиваешь? Говорить не надо. Душу загубить мудрено, ох, мудрено!» (Т. 4. С. 55).

Уезжая от светского разврата на службу военную, Оленин стремился послужить этим и спасению, очищению своей души. И вот он от близкого к природе, к живой жизни и Богу существа, от бессознательного, но посылно послушливого дитя Его, от простого казака, узнаёт, как откровение, что вся его жизнь, даже самая пассивная, на военной службе — погубление души, а не очищение, не спасение. Правда, этому «погублению души», как раб внушённым воспитанием мирской лжи, отдал в молодости дань и сам дядя Ерошка, который «был в старину первый молодец в станице. Его все знали по полку за его старинное молодечество. Не одно убийство и чеченцев и русских было у него на душе. Он и в горы ходил, и у русских воровал, и в остроге два раза сидел» (4, 55 – 56). Много лет спустя, прочитав повесть Толстого, один из кавказских старожилов писал о Сехине: «В станице Старогладковской я нашёл современника дяди Епишки и, читая ему “Казаки”, старался что-нибудь услышать от него, чтобы дополнить образ Епишки – “Ерошки”. Всё, что о нём сказано у Льва Николаевича, изображено с фотографической точностью... Среди жителей станицы о Епишке сохранилась дурная слава: он ходил за Терек и из-за Терека приводил чеченцев. Ему в молодости было одинаково грабить и своих и чеченцев» (Из письма П.А. Цырульниковца 1916 г. // Дневник молодости Л.Н. Толстого. М., 1917. Т. 1. С. 215. – Цит. по: Бурнашёва Н.И. Епифан Сехин // Лев Толстой и его современники. Энциклопедия: 2-е изд. М., 2010. С. 459). Но старость взяла своё, смирила прежнего удальца — и заставила на многое открыть глаза...

Мудрость старого казака, сама личность и жизнь его невольно притягивали Оленина, рождали вопросы, заставляли задуматься. «Что за люди, что за жизнь!» (4, 55) — думал он, вглядываясь и в самого дядю Ерошку, и в быт и обычаи казацкой станицы Новомлинской, и в радости и веселье молодых казаков.



Станица Старогладовская. Двор деда Епишки. Худ. Е. Е. Лансере. 1928

Молодечество Лукашки вызывало противоречивые чувства: в той мере, в какой сам он, Дмитрий Оленин, был с юных лет испорчен мирским обманом, удасть, весёлость Лукашки отзывались в душе его, с одной стороны, восхищением («какой молодец»), с другой же — «цивилизаторским» кичливым сожалением о «его необразовании»: «Что за вздор и путаница? — думал он. — Человек убил другого, и счастлив, доволен, как будто сделал самое прекрасное дело. Неужели ничто не говорит ему, что тут нет причины для большой радости? Что счастье не в том, чтобы убивать, а в том, чтобы жертвовать собой?» (4, 74). «Чему ж ты радуешься? — сказал Оленин Лукашке. — Как бы твоего брата убили, разве бы ты радовался?» Глаза казака смеялись, глядя на Оленина. Он, казалось, понял всё, что тот хотел сказать ему, но стоял выше таких соображений». Оленину же многое непонятно в этом юном дитя природы, хотя он и «был рад товариществу такого приятного на вид и разговорчивого казака», по-своему «так любил всех и особенно Лукашку в этот вечер!», даже подарил ему своего коня и оттого «был счастлив, как двенадцатилетний мальчик», на деле испробовав «свою новую теорию счастья» (Там же. С. 75, 77 – 78). Но в то же время в душе его постоянно свербил вопрос: «Да что, тебе не страшно, что ты человека убил?» — спросил Оленин Лукашку (Там же. С. 76).

Но Лукашке не страшно: как не страшно было Толстому под Севастополем. К поступкам, актуализирующим, под влиянием внушения воспитывающей среды либо витальных стрессов, низшие поведенческие программы человека как агрессивного территориального животного, инстинкты и поведенческие структуры, обеспечивающие выживание и социализацию, индивид привыкает быстро. Это разумное и доброе нуждаются в усилиях человека, в молитве и помощи Божией.

Но вот настают и для юнкера день и момент жестокой истины. Через несколько дней вместе с казаками Оленин поехал «абреков ловить»: ему «хотелось непременно посмотреть абреков» (4, 126). «Абреки сидели под горой в болоте. Оленина поразило место, в котором они сидели. Место было такое же, как и вся степь, но тем, что абреки сидели в этом месте, оно как будто вдруг отделилось от всего остального и ознаменовалось чем-то. Оно ему показалось даже именно тем самым местом, в котором должны были сидеть абреки» (Там же). Въехав на бугор, откуда всё можно было рассмотреть, Оленин видел и слышал, что происходило у чеченцев: «чтоб избавиться от искушения бежать, они связались ремнями, колена с коленом, приготовили ружья и запели предсмертную песню» (Там же). А вслед за тем Оленин услышал «несколько выстрелов, крик и стон. Он видел дым и кровь, как ему показалось». Когда он подбежал к казакам, «ужас застлал ему глаза. Он ничего не разобрал, но понял только, что всё кончилось. Лукашка, бледный, как платок, держал за руки раненого чеченца и кричал: “Не бей его! Живого возьму!” Чеченец был тот самый, красный, брат убитого абрека, который приезжал за телом. Лукашка крутил ему руки. Вдруг чеченец вырвался и выстрелил из пистолета. Лукашка упал. На животе у него показалась кровь. Он вскочил, но опять упал, ругаясь по-русски и по-татарски. Крови на нём и под ним становилось больше и больше». И в финале — картина, напоминающая нам о ещё отдалённом по времени написания «Хаджи-Мурате»: «Чеченцы, рыжие, с стриженными усами, лежали убитые и изрубленные. Один только знакомый, весь израненный, тот самый, который выстрелил в Лукашку, был жив. Он, точно подстреленный ястреб, весь в крови (из-под правого глаза текла у него кровь), стиснув зубы, бледный и мрачный, раздражёнными, огромными глазами озираясь во все стороны, сидел на корточках и держал кинжал, готовясь ещё защищаться. Хорунжий подошёл к нему и боком, как будто обходя его, быстрым движением выстрелил из пистолета в ухо. Чеченец рванулся, но не успел и упал». А потом «казаки, запыхавшись, растаскивали убитых и снимали с них оружие», и словно мимоходом Толстой (а может быть, и Оленин) замечает:

«Каждый из этих рыжих чеченцев был человек, у каждого было своё особенное выражение» (4, 127). Обыкновенное на войне расчеловечение врага не помогло Оленину.

Домой «Оленин вернулся сумерками и долго не мог опомниться от всего, что видел» (Там же). Марьяна прогоняет его от себя, ошутимо, сильнее скорбя о перебитых казаках и, особенно, о Лукашке. И, наверное, не только Марьянино: «Никогда ничего тебе от меня не будет. Уйди, постылый!» (Там же. С. 128), издевающееся как над преждевременно счастливым Олениным, так и над романтической традицией «горских» повестушек в русской литературе — но и эти убийство абреков и гибель казаков заставило его уехать из станицы.

Повесть «Казачи» была завершена и напечатана непосредственно перед началом работы Толстого над крупнейшим батальным полотном «Войны и мира», о котором мы поведём речь уже в особенной главе. Судьбы нескольких сотен самых разных персонажей, почти все из которых так или иначе прошли через войну или соприкоснулись с ней, открывали автору широкие возможности, чтобы наконец понять и показать, «под влиянием какого чувства убил один солдат другого». Но едва ли можно считать, что и в этом величайшем произведении о войне Толстой смог наконец *ответить* на свой давний вопрос, ибо прибегнул к прежней особенности сюжетостроения: «толстовские» персонажи «Войны и мира» — *не убивают*. Этот ответ Толстым к началу 1860-х только лишь «нащупан» средствами писателя, художника, а на религиозном незыблемом фундаменте дан лишь через 20 лет.

ЗДЕСЬ КОНЕЦ ПЕРВОЙ ГЛАВЕ



Глава Вторая. ЦВЕТУЩАЯ МОЛОДОСТЬ И ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ: 1860 – 1870-е гг.

2. 1. ВОЙНА ВОЙНЁ В «ВОЙНЁ И МИРЁ»

Когда с простреленной грудью
офицер упал под Бородиным и понял, что он умирает,
не думайте, чтоб он радовался спасению отечества
и славе русского оружия, и унижению Наполеона.
Нет, он думал о своей матери, о женщине, которую он любил,
о всех радостях и ничтожестве жизни,
он поверял свои верованья и убеждения:
он думал о том, что будет *там* и что было здесь.
А Кутузов, Наполеон, великая армия и мужество россиян, —
всё это ему казалось жалко и ничтожно
в сравнении с теми человеческими интересами жизни,
которыми мы живём прежде и больше всего
и которые в последнюю минуту живо предстали ему.

(Из черновиков начала романа. Рукон. № 49)

Взгляните на птиц небесных:
они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы;
и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?
Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться,
потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает,
что вы имеете нужду во всём этом.
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам.

(Мф. 6, 26 – 27, 31 – 33)

Как ни парадоксально (а, быть может, и предвидимо) покажется это читателю — но данная глава, при всём нашем желании, может быть сколь угодно обширной, но никак не основной в данной книге — несмотря на то, что «Война и мир», безусловно, вершина русской литературы своей эпохи, равно и жемчужина литературы всемирной, возведшая молодого, восходящего в писательстве автора если не на Олимп, то уж точно на Прайд-Рок величайших её Львов.

Причина к этому проста, и понятна всякому из тех, кто прошёл с нами путь от Первой главы: чудесный Лев, гений художественного слова и т. п. – оставался всё-таки ещё юным лвьёнком в отношении страшнейшего, для многих и в наши дни безответного в причинах, феномена убийства на войне. Сопровождавшая зрелость физическую самая «глупая», позднее раскаянная в «Исповеди» молодость Льва именно как отрицателя войны и военщины совершится в годы писания великого романа, триумфа литературного, и продлится вплоть до «осевого» экзистенциального кризиса личности, то есть истинного, духовного возмужания, ознаменованного «арзамасским ужасом» 1869 года и началом, приблизительно с середины 1870-х, сомнений во внушённых мирскими воспитателями представлениях о жизни и месте в ней религии, семейства, карьеры, войны и проч. То, что прежде казалось незыблемым, и допреже прочего вера, религиозная основа жизни – было во второй половине десятилетия проверено на «прочность» и найдено ничтожным по отношению к простым истинам евангелий. И конфликт с «сынами мира» не заставит себя ждать — уже на этапе публикации следующего большого романа.

Но за более чем десятилетие до того, в первой половине 1860-х, грядый «великий писатель земли русской» — лишь великое годами дитя перед Истиной, ведомое мирскими лжами и соблазнами. 17 октября 1863 г. он хвастается в письме к авторитетнейшей для него, сиротки, тётками воспитанного, двоюродной тётке Александре Андреевне Толстой, что задумал новую книгу: «роман из времени 1810 и 20-х годов, который занимает меня вполне с осени...» (61, 23). Легко понять, что это очередной, после «Декабристов», подступ молодого писателя к будущему роману «Война и мир». И гений тут же кокетливо прибавляет, уже совсем как мальчик, хвастающийся своими успехами во взрослении: «Я теперь писатель *всеми* силами своей души, и пишу и обдумываю, как я ещё никогда не писал и не обдумывал» (Там же. С. 24). И тут же, следом: «Я счастливый и спокойный муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого желания, кроме того, чтоб всё шло по-прежнему». Святая простота! Семейное счастье, как полагает наивный «молодой» супруг, изменило его необратимо — от идеалов либерально-народнических к «здравомысленному» консерватизму и общественно оправданному эгоизму мужа и отца. Тётке Лев сознаётся, «что взгляд его на жизнь, на *народ* и на *общество* теперь совсем другой, чем тот, который у него был» при

последней встрече с тёткой: «Их можно жалеть, но любить, мне трудно понять, как я мог так сильно. Всё-таки я рад, что прошёл через эту школу; эта последняя моя любовница меня очень формировала. — Детей и педагогику я люблю, но мне трудно понять себя таким, каким я был год тому назад. Дети ходят ко мне по вечерам и приносят с собой для меня воспоминания о том учителе, который был во мне и которого уже не будет» (Там же. С. 23 – 24).

А вот похвала волшебника слова самому же себе и разъяснения замыслов его для читателя — в одном из вариантов предполагавшего вступления:

«В 1856 году я начал писать повесть с известным направлением, героем которой должен был быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию. Невольно от настоящего я перешёл к 1825 году, эпохе заблуждений и несчастий моего героя, и оставил начатое. Но и в 1825 году герой мой был уже возмужалым, семейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно было перенестись к его молодости, и молодость его совпадала с славной для России эпохой 1812 года. Я другой раз бросил начатое и стал писать со времени 1812 года, которого ещё запах и звук слышны и милы нам, но которое теперь уже настолько отдалено от нас, что мы можем думать о нём спокойно. Но и в трети й раз я оставил начатое, но уже не потому, чтобы мне нужно было описывать первую молодость моего героя, напротив: между теми полуисторическими, полуобщественными, полувывымышленными великими характерными лицами великой эпохи личность моего героя отступила на задний план, а на первый план стали, с равным интересом для меня, и молодые и старые люди, и мужчины и женщины того времени. В третий раз я вернулся назад по чувству, которое может быть покажется странным большинству читателей, но которое, надеюсь, поймут именно те, мнением которых я дорожу: я сделал это по чувству, похожему на застенчивость и которое я не могу определить одним словом. Мне совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с бонапартовской Францией, не описав наших неудач и нашего срама. Кто не испытывал того скрытого, но неприятного чувства застенчивости и недоверия при чтении патриотических сочинений о 12-м годе. Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и поражений» (13, 54).

То есть, пока автор собирал материалы к книге, он отошёл от более сильного, с точки зрения милой ему *правды*, замысла о декабристах, с некоторыми из которых он мог пообщаться и лично, а не только через мемуары и архивные документы событий, и запустил в свой, ещё только замышляемый, роман совершенно нелюбезного, но неизбежного персонажа: *вымысел* околонатурный (памятуя, что *история* всё же наука, хотя и атакуемая спекуляциями дилетантов), усадебно-кабинетный, по хотелкам бывшего вояки, ещё продолжавшего героизировать военные подвиги, и аристократа, пристально всматривающегося в дела и дни близких своих, из интересующей эпохи, предков. Вымысел сладкий, былинно-сказочный, с виньетками красот моралистических, бытовых, батальных и проч. – но всё же, увы, в очень многом лжеисторический и историософский, диктуемый психическим заражением характерными для русского интеллигента чувствами *патриотизма*. Откуда? Для этого довольно помнить, с кем общался Лев Николаевич и что читал, готовя себя к реализации действительно грандиозного художнического замысла. Здесь, однако, мы не можем специально останавливаться на этой особенной и обширной теме.

Приступая к работе над сочинением о важнейшем событии в истории России начала XIX в., Толстой предвзято, дилетантски, но всё-таки тщательно изучал различные источники: в Ясной Поляне в начале 1860-х гг. стала собираться даже библиотека из материалов об эпохе войн России с Наполеоном, о людях, событиях, о быте и правах того времени. Толстой просил родственников и знакомых присылать ему всё, что они найдут на интересующую его тему: такими поисками занимались Андрей Евстафьевич Берс, отец С. А. Толстой, её сестра Елизавета Андреевна и другие лица. Стремясь «быть до малейших подробностей верным действительности» (известный принцип Толстого), он штудировал груды официальных русских историков А. И. Михайловского-Данилевского и М. И. Богдановича, многочисленные воспоминания русских и французов... При этом, будучи грубым дилетантом в работе исследователя историка, он не разумел различий между сведениями от очевидцев, которых попросту не застал в живых, и официально «дозволенными» цензурой трудами николаевских служилых и придворных историографов, а уж тем более официально опубликованными мемуарами — источником, требующем от научного исследователя наиболее

осторожного подхода. Показательно, что впервые «почву под ногами», писательскую уверенность в деле творения собственной, именно художественной, «версии» событий и их трактовок, Толстой ощутил при чтении мемуаров, едва ли не самых сомнительных в объективности и правдивости даже в этом специфическом жанре — «Дневника партизанских действий» обласканного славой *Дениса Васильевича Давыдова* (1784 – 1839). При этом известно, что в домашней библиотеке Д. В. Давыдова книг лишь по истории Франции эпохи Наполеона было до полутора тысяч (*Соболев Л. Путеводитель по книге Л. Н. Толстого «Война и мир»: В 2-х ч. Ч. 1. М., 2012. С. 85*). Яркое свидетельство о симпатиях этого, по официальной легенде, «гусара-патриота» и лично к персоналии блестящего правителя и полководца, и к самой наполеоновской Франции!

Мемуаристы свидетельствуют, что писатель даже отказывался читать некоторые из предлагавшихся ему материалов — так, Бартенев писал в 1908 году: «Помогая графу Л. Н. Толстому в первом издании его “Войны и мира”, мы указывали ему неосновательность в изображении Кутузова (который якобы ничего не делал, читал романы и переваливался грузным старческим телом сбоку набок). Доставлены были графу для прочтения тогдашние письма Кутузова к Д. П. Троицкому, исполненные забот и попечений. Граф Толстой возразил: “В письмах все лгут”» (*Русский архив. 1908. № 4; оборот обложки. С. 2; библиографическое сообщение о выходе двух томов Переписки Пушкина под ред. В.И. Саитова*). Н. П. Петерсон, служивший в 1868 – 1869 годах в Чертковской библиотеке, собрал, по просьбе Толстого, «множество рассказов [...] газетных и других, так что пришлось поставить особый стол для всей этой литературы», о Верещагине, но писатель читать их не захотел, «потому что в сумасшедшем доме встретил какого-то старика — очевидца этого события, и тот рассказал ему, как это происходило» (*Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2-х т. Т. 1. М., 1978. С. 125 – 126*).

Пресловутая «мысль народная», которую Толстой в разговоре с женой 3 марта 1877 г. охарактеризовал как основную мысль, позволяющую творцу любить свою книгу и работать над ней — это тоже плод увлечённости *легендой*, которую творили о событиях 1805 – 1812 гг. их участники и официально признанные в империи историографы. «Мысль народная» это позиция автора, его точка зрения, с которой он рассматривает всех персонажей и всё, что происходит в его сочинении, но для чего-то экстраполированная им на «народ»,

с этой его точки зрения, патриотически равнодушный к самодержавной России и готовый гвоздить военного противника Империи «дубиной народной войны». По рождению Лев Николаевич принадлежал к не весьма богатому, но безусловно родовитому крепостнику, ощущавшему народ так же, как в архаических, больных сексизмом обществах ощущает развращённый таким обществом мужчина — женщину: как предмет покровительства, заботы, несамостоятельное, сродни глупому дитя... и одновременно предмет влечения, «любви», в лучшем же случае — попыток познания. Толстой, судя по многим записям в дневнике супруги, Софьи Андреевны, не только ей самой отравил домашний быт пережитками внушённого ему патриархальным воспитанием гнусного сексизма, но и самой ей внушил отношение к *свободному* уже народу, как к таким опекаемым чадам. А патриархальные опекуны любят любоваться «успехами» своих чад. У Толстого это, как известно, зашло с годами много далее любования военной храбростью и «победами» в сражениях, приведя его к столь характерному для образованных аристократов его эпохи *чувству вины* перед идеализируемым «народом» — которую, соответственно, нужно «искупать». Однако, именно чувство вины и практики сближения с образом жизни настоящего народа и «выдавили» из Толстого идеалистическое народолюбие. Обгадившись совершенно во второй половине 1850-х годов в устремлении освободить своих крепостных до официального Манифеста, даже и на более выгодных условиях, нежели даровал им февральский 1861 года Манифест, но не встреченных доверием крестьян, корыстно ждавших от царя «совершенной воли» и земельных наделов от помещиков, желательной халявкой, без выкупа; обгадившись даже и в любезной ему педагогике (именно в *практике*, так как *теоретиком* Толстой-педагог остаётся выдающимся), в ведении хозяйства усадьбы и в семейной жизни, воспитании *своих* детей, почувствовав скоро экзистенциальный вакуум, недостаточность такого образа жизни, Толстой неизбежно вернулся к писательству, как служению «народной славе» пером, силою слова. В своём романе он искренне стремился взглянуть на войны Александра I с постреволюционной, наполеоновской Францией и на мир в эпоху этих войн с точки зрения русской деревни, с позиции простого народа, простого русского мужика, крестьянина, солдата — да вот только имел специфические понятия того, в чём состоит эта позиция. Даже «природная целесообразность» деятельности народа в

противостоянии оккупантам, не говоря уже о специфическом образе солдата Платона Каратаева — несёт на себе отпечаток личности аристократа своих эпохи и поколения, народолюбца, но никак не собственно *народной* позиции. Всякое её выражение в источниках, всякое о ней свидетельство Толстой обходил, как нарушающее уже воздвигнутые им установки сословные и патриотические. Например, быть может, попадало ему на глаза сообщение *Дмитрия Павловича Рунича* (1780 – 1860), состоявшего в 1812 – 1816 году почт-директором в Москве, а позднее, с 1821 года, занявшего пост попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, члена Российского библейского общества, который совершенно отрицал для народа патриотизм, неотделимый в цивилизованном мире от представлений о своих политических правах и возможностей пользоваться ими. Это могли делать элиты России — кстати, совершенно вестернизированные по привычкам, образу жизни и даже языку — но это было невозможно для русского крестьянина, который, по свидетельству Рунича, жил «только для удовлетворения своих физических потребностей и для того, чтобы пользоваться свободой, которую он ищет в растительной жизни» (*Русская старина. 1901. № 3. С. 612*).

К области гипотетического, но довольно вероятного можно отнести неприязнь комплексовавшего из-за своей внешности молодого Толстого к своего рода эталонам мужественности и красоты — среди которых был великий Наполеон. Да и осложнённые отношения Толстого, женившегося только в 34 года, с женщинами, вероятно, связанные с некоторым его сексуальным влечением к мужчинам — тоже могли играть роль в антипатии к мужчинам эталонно красивым и традиционным по своим половым предпочтениям. Современный выдающийся исследователь эпохи Наполеоновских войн Евгений Понасенков стремится на страницах своего труда о войне 1812 года обосновать документально гипотезу о том, что агрессивной политикой императора Александра I, по причине особенностей его внешности, гомосексуальности и трудностей с потенцией, руководила зависть к успешному полководцу и красивому мужчине Наполеону Великому, «усугубившаяся уже в ходе развязанной им против Наполеона войны» (*Понасенков Е.Н. Первая научная история войны 1812 года. 3-е изд. [М.] 2017. С. 72*). В свою очередь, мы предполагаем, (не имея возможности, однако, развивать и аргументировать эту гипотезу в рамках темы этой книги) что разработкой Л. Н. Толстым как образа Наполеона в своём, безусловно великом, романе,

так и концепции ничтожества роли полководцев (и, в частности, Наполеона при Бородино) латентно руководила в Толстом та же зависть закомплексованого и сексуально «не простого» человека.

К выводу о таковых именно латентных причинах негативного, в отношении исторических персоналий, субъективизма автора «Войны и мира» приходит и Е. Н. Понасенков:

«О том, что в романе Л. Н. Толстого история преподается в его произвольных представлениях, о множестве фактических ошибок (их можно было бы в литературном произведении не выискивать, но автор, указав на использованные им источники, сам подставился под удар критиков) уже написано большое количество работ. Однако гораздо значительнее исторических неточностей — тот интеллектуальный и моральный эффект, который производит его тяжеловесная, неестественная и неорганичная философия. Откуда подобное взялось?»

[...] Автор, как будто бы намеренно перекраивает на свой манер миропорядок, учительствуя окружающих. Зачем беллетристу выступать в роли обвинителя и занудного нравоучителя? Кроме того, создатель «Войны и мира» не скрывает того, что внешняя красота для него — это всегда холодное, недоброе, неискреннее начало, а красивые люди (Элен Безухова, Анатолий и др.) — это т. н. «люди войны». Как стало возможным, чтобы художник возненавидел красоту?! Вернее, красоту человека: ведь в то же время Л. Н. Толстой способен любоваться природой (зеленеющий дуб Андрея, высокое небо Аустерлица и т. д.), невероятно психологически тонко смотрит глазами юной девушки на первый в её жизни бал.

Подобное тем более странно, что в произведении молодого Л.Н. Толстого «Детство» (вторая редакция) он пишет, к примеру, о Саше Мусине-Пушкине следующее: «Его оригинальная красота меня поразила с первого взгляда. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение.

[...] В своём дневнике 23-летний Лев Толстой писал: «Все люди, которых я любил, чувствовали это, и я замечал, им было тяжело смотреть на меня. Часто, не находя тех моральных условий, которых рас судок требовал в любимом предмете, или после какой-нибудь с ним неприятности, я чувствовал к ним неприязнь, но неприязнь эта была основана на любви.

...Красота всегда имела много влияния в выборе; впрочем, пример, Д[ьякова]; но я никогда не забуду ночи, когда мы с ним ехали из

П[иорогова?] и мне хотелось, увернувшись под полостью, его целовать и плакать».

Мы имеем дело с очень своеобразным и болезненным выражением “приязни”, которое можно было бы назвать “любовью наоборот”. Причём (читаем там же) “красота всегда имела много влияния в выборе...” (подчеркну, речь шла именно о мужчинах). Однако с течением времени подобное отношение к красоте эволюционирует в комплекс: человеческая красота и публичное признание в любви к этой красоте в сознании писателя табуируется. [...] И именно от этого психологического надлома идёт его желание закрыться защитным панцирем им же созданной философии, отсюда его декларирование презрения к человеческой красоте (красивы лишь расплывшиеся старики и вечно беременные жёны-наседки), мучительство женщин (в том числе жены) и т. д. Исходя из вышеперечисленного, можно предполагать, что роман “Война и мир”, действительно значительное произведение мировой литературы, которое, однако, надо читать “наоборот”: то есть, часто подразумевая смысл прямо противоположный написанному. Тогда всё становится на свои места, становятся объяснимыми нападки Л. Н. Толстого на А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, превозносивших Наполеона.

Что же: видимо, не просто так адельфопоэзис (фактически — церковный брак между мужчинами) был долгие века популярен именно в восточной христианской традиции...» (Там же. С. 147 – 148).

Просто и коротко сказать: лжехристианская и гомофобная гадина по имени «русский мир» искалечила и калечит с детства психику некоторого процента людей, с особенностями которых не желает любовно и деликатно считаться. И это деструктивное влияние сказалось в творчестве Льва Николаевича. Мы не можем согласиться с замечательным историком современности лишь по двум вопросам: по поводу «создания» философии (или, как вариант — новой религии) и в вопросе эстетики в восприятии художника. Как контраргумент, мы постулируем тезис о том, что со второй половины 1870-х гг. речь должна идти не о «прогессе заболевания», а как раз о душевном и духовном *излечении* Льва Николаевича — причём в той степени, что уже окружающие, начиная с членов семьи, начали демонстрировать свои комплексы и уродства, мучая этим Льва Николаевича. «Мучительство» же женщин и жены Толстым — один из чуждых серьёзному толстоведению мифов, задействие которого

уважаемым Е. Н. Понасенковым лишь характеризует ограниченность у коллеги некоторых специальных познаний в данной тематике.

А вот что мы можем уточнить о *красоте* у Толстого-художника. Ваш непокорный слуга, автор данной книги, работал над близкой темой на материале трилогии Л. Н. Толстого о детстве, отрочестве и юности. В результате исследований Р. В. Алтухов установил, что уже в начале 1850-х писатель прибегал к антитезе истинного, доброго и красивого (детство) ложному, комильфотному и «красивенькому» (красивость), характеризующему мир юности и взрослых. Это прослеживается в трилогии Л. Н. Толстого на уровне не только идей и образов, но и лексики:

«Описываемая в повестях обстановка светской красоты, подменившей собою красоту, отражается и на оценочной лексике повести: в главах о московской жизни Толстым используются слова, обычно характеризующие у него именно бессодержательную красоту: *красивый (некрасивый), хорошенькая (дама), хорошенькое (лицо), прилично-величавый, дурен (недурён) собой, недурно, милочка, щёголь* и др.

[...] Контрастом по отношению к бездушной *comme il faut*, к таящей скрытые пороки светской красоты становятся в повести < «Отрочество» > образы простых горничных, обитательниц девичьей. Их душевная чистота, искренность и непосредственность оттеняют эгоизм, развращённость и лицемерие дворянско-светского окружения Николеньки. [...] Простой труженик утверждается в трилогии не только в своём высоком нравственном содержании, но и в качестве достойнейшего предмета *эстетического* изображения. *Трудовую обстановку* девичьей Толстой описывает с большой любовью, как *мир подлинной, пусть и скромной, красоты*.

[...] Первая глава повести < «Юность» > свидетельствует о назревании кризиса в сознании Николеньки: он ещё привычно разглядывает себя в зеркале на предмет соответствия идеалам красоты и *comme il faut*, но уже прислушивается к словам своего друга Дмитрия Нехлюдова, зовущего к «нравственному усовершенствованию». Следующие две главы («Весна» и «Мечты») посвящены описанию едва не совершившегося духовного переворота. [...] Весеннее возрождение природы, великолепие которого впитывает, стоя у окна, Николенька, и его собственное нравственное возрождение едва не стано-

вятся сопряжёнными процессами: такова сила воздействия природной красоты на душу Николеньки. Но – недаром говорит автор о том, что *в городе красоту «меньше видишь»*: городская жизнь с её суетой и ограничениями (и не только визуального характера) отвлекает, уводит от «красоты, счастья и добродетели». [...] Но вот внешняя обстановка – движущая пружина чувств, мыслей и поступков Николеньки Иртеньева – снова изменяется: семья переезжает на лето в родовое поместье. И вновь эстетические впечатления от живой природы подталкивают героя к внутренней перемене. [...] Женитьба отца, осеннее возвращение в Москву, университет знаменовали в жизни Николая Иртеньева торжество уродливого (либо красующегося), ложного и суетного над красотой и истиной. Он не может порвать ложный круг сложившегося бытия, груз аристократических навыков и представлений погребает заживо все его светлые юношеские мечтания. Торжествует «принятый» образ жизни... [...] Неожиданностью для Николая оказывается отсутствие у него преимуществ по сравнению с его новыми товарищами. Простые, небогатые, не «комильфотствующие» и не гордящиеся своим аристократическим происхождением, эти студенты живут в скромной трудовой обстановке, как живёт прислуга в доме Николенькиной бабушки, учатся со всем старанием, ради своего будущего, не обеспеченного богатством родителей, а выглядят при этом, с точки зрения мученика *comme il faut*, просто «непорядочно». [...] Так в душе героя происходит благое соединение летних деревенских эстетически значимых впечатлений и новых, студенческих, революционно меняющих его этические воззрения; естественная красота понемногу начинает одолевать *красивость*. Окончательную победу, впрочем, автор оставляет за рамками сюжета, лишь показав неутешительный итог предыдущего развращения Николеньки: его тяжёлое моральное поражение, понесённое во время университетских экзаменов».

И ещё:

«Обычно положительная эстетическая оценка наружности человека сочетается <в трилогии> с отрицательной этической оценкой его сущности: внешняя красота, по Толстому, лишь пытается маскировать внутреннюю пустоту. [...] *Некрасивой* внешностью наделяются не только центральный персонаж трилогии, но и ряд других положительные герои повестей Л. Н. Толстого; именно некрасивая внешность героев заставляет внимательно приглядеться и увидеть внутреннее содержание человека, которое, согласно Толстому, гораздо

красивее и важнее внешней оболочки. Герои, которые характеризуются Л. Н. Толстым как *некрасивые*, зачастую постоянно ведут душевную работу, самосовершенствуются» (Алтухов Р. *Лексика с семантикой эстетической оценки в трилогии Л.Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность»*. Личный архив автора).

Таким образом, восприятие Толстым именно человеческой красоты не сводится к обозначенной Е. Н. Понасенковым схеме. Позднее, уже в «христианский» период, «выздоровевший» Толстой находит место в разуме и сердце и для красоты привлекательных, красивых людей. Вот отрывок из записи Л. Н. Толстого в Дневнике на 1 октября 1892 г.:

«Жизнь не может иметь другой цели, как благо, как радость. Только эта цель – радость – вполне достойна жизни. – Отречение, крест, отдать жизнь, всё это для радости. – И радость есть и может быть ничем ненарушимая и постоянная. И смерть переходит к новой, неизведанной, совсем новой, другой, большей радости. И есть источники радости, никогда не иссякающие: красота природы, животных, людей, никогда не отсутствующая. В тюрьме – красота луча, мухи, звуков. И главный источник: любовь — моя к людям и людей ко мне.

Как бы хорошо было, если бы это была правда!

Неужели мне открывается новое?

Красота, радость, только как радость, независимо от добра, отвратительная. Я узнал это и бросил. Добро без красоты — мучительно. Только соединение двух, и не соединение, а красота, как венец добра.

Кажется, что это похоже на правду» (52, 73. *Выделение в тексте наше.* – Р.А.).

«Красота как венец добра», благо и радость как награды Свыше за то, что дитя Бога, человек, последует истине своего Отца... Эту высшую мудрость Птицы Небесной старец-Лев *попытался* донести до современников в своём трактате 1897 г. «Что такое искусство?». Но автор «Войны и мира», как мы покажем ниже, был ещё к этому совершенно не готов...

Вероятно, на такие же выводы об основаниях субъективизма исторических воззрений и отношения к историческим персоналиям автора «Войны и мира» приходили и современные Л. Н. Толстому историки — конечно, не имея в ту эпоху возможности указать на них читателю иначе, как намёками.

Витмер А. 1912 год в «Войне и мире». По поводу исторических указаний IV тома «Войны и мира» графа Л.Н. Толстого. СПб., 1869. 122 с.

Вполне понятно, что молодой, частично (как минимум) женственный и бесславно тщеславный автор готов был ловить, прежде всего, хвалы и хвалы своему новоявленному детищу. Одним из первых именно специалистов военного дела порадовал его военный историк и педагог *Николай Александрович Лачинов* (1834 – 1919), в то время сотрудник (а впоследствии – редактор) военной газеты «Русский инвалид». Автор затронул практически только военно-историческую часть повествования, и лишь слегка коснулся изложенных в начале тома философских взглядов писателя на историю, отметив их некоторую узость и односторонность, определив их как «исторический фатализм». Что же касается художественного мастерства Толстого в военных сценах романа, то Лачиновым оно было оценено весьма высоко. Например, описание Шенграбенского сражения военный историк оценил, как «верх исторической и художественной правды». С одобрением, в целом, было отмечено и описание Толстым Бородинского сражения.

«Милостивый государь! – обращался Толстой 11 апреля 1868 года к тогдашнему редактору газеты «Русский инвалид» С.П. Зыкову. - Я сейчас прочел в 96 № вашей газеты статью г-на Н. Л. о 4-м томе моего сочинения. Позвольте вас просить передать автору этой статьи мою глубокую благодарность за радостное чувство, которое доставила мне его статья, и просить его открыть мне свое имя и, как особенную честь, позволить мне вступить с ним в переписку.

Признаюсь, я никогда не смел надеяться со стороны военных людей (автор, наверное, военный специалист) на такую снисходительную критику.

Со многими доводами его (разумеется, где он противного моему мнению) я согласен совершенно, со многими нет. Если бы я во время своей работы мог пользоваться советами такого человека, я избежал бы многих ошибок.

Автор этой статьи очень обязал бы меня, ежели бы сообщил мне свое имя и адрес...».

Умница автор, Николай Лачинов, не сообщил Толстому ничего, и вообще отказался вступать в полемику с человеком, сперва давшим

широчайшие по «захвату», едва ли не «конечные», оценки как исторических событий, так и науки истории, а затем, в отзыве на критику — пеняющем на отсутствие у него, в годы работы над романом, сколько-нибудь системных, полных знаний о затронутых вопросах и на отсутствие в связи с этим военно-исторического консультанта!

Другим рецензентом, о позиции которого мы не можем умолчать, был *Авраам Сергеевич Норов* (1795 – 1869) – известный государственный деятель, действительный тайный советник, ученый, путешественник и писатель, действительный член Санкт-Петербургской академии наук, в 1853-1858 годах министр народного просвещения, в войне 1812 года участвовал с первых дней. Воевал в составе 1-й Западной армии. В Бородинском сражении был прапорщиком 2-й легкой роты гвардии артиллерии. Командовал полубатареей из двух пушек, защищавших Семеновские (Багратионовы) флеши. Здесь же был тяжело ранен, лишившись ноги.

Сочинение Норова, посвящённое «Войне и миру», было написано в Павловске в сентябре 1868 года и опубликовано сначала в 11-м Военном сборнике, а затем издано в Петербурге отдельной брошюрой. Носило оно, вполне в традиции эпохи, длинное название: «Война и мир (1805 – 1812) с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника. По поводу сочинения графа Л.Н. Толстого «Война и мир». При чтении романа Толстого, ветерана войны с Наполеоном затронуло, прежде всего, то, «что громкий славою 1812 год, как в военном, так и в гражданском быту, представлен... мыльным пузырем; что целая фаланга наших генералов, которых боевая слава прикована к нашим военным летописям, и которых имена переходят доселе из уст в уста нового военного поколения, составлена была из бездарных, слепых орудий случая, действовавших иногда удачно, и об этих даже их удачах говорится только мельком, и часто с иронией».

Собственный пересказ военных событий, предпринятый Норовым, дополнял историографию Отечественной войны, но при этом автор не шёл далее того, в чем уличили Толстого другие критики. «Романтический рассказ» Толстого Норов признаёт и «живописным», и «пахнущим порохом». Но с прискорбием говорит, что отличный талант автора принял ложное направление, пропагандируя и утверждая стихийное, бессознательное начало человеческой жизни, что «в романе собраны только все скандальные анекдоты военного времени той эпохи, без ссылки на реальные источники».

Более всего Норов упрекает Толстого за то, что он не просто вставлял в роман вымышленные и или произвольно описанные военные эпизоды, но облакал «их стратегическими рассуждениями, рисуя боевые диспозиции, и даже планы баталий, давая всему этому характер исторический...».

Вслед за Норовым свое отрицательное мнение об исторической достоверности романа выражает очевидец войны 1812 года, авторитетный литератор пушкинской поры П. А. Вяземский. Он отмечает смешение документальной истории и ее художественной интерпретации как неправомерное и неестественное с точки зрения литературного жанра. Образцом подобного соединения, по его мнению, являются романы Вальтера Скотта, где основная сюжетная интрига происходит на историческом фоне. Именно фоновое использование реалий эпохи Вяземский считает достаточным для исторического повествования.

Нарастающий вал вопросов Толстой надеялся остановить своим открытым высказыванием «Несколько слов по поводу книги «Война и мир», впервые опубликованном в № 3 журнала «Русский архив» за 1868 г. Заявляя, что его сочинение «не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника», писатель отстаивает свое право на собственное видение важного для многих современников периода отечественной истории. Толстой подчеркивает, что его разногласие с историками «не случайное, а неизбежное», и свою задачу он видит не в повторении уже сложившихся стереотипов восприятия известных личностей, как, например, бесконечно смотрящий в подзорную трубу Кутузов или поджигающий Москву Растопчин, а в попытке постигнуть саму сущность своих героев, даже если она не соответствует сложившейся типажности. «Как историк будет неправ, ежели он будет пытаться представить историческое лицо во всей его цельности, во всей сложности отношений ко всем сторонам жизни, так и художник не исполнит своего дела, представляя лицо всегда в его значении историческом. <...> Для историка, в смысле содействия, оказанного лицом какой-нибудь одной цели, есть герои; для художника, в смысле ответственности этого лица всем сторонам жизни, не может и не должно быть героев, а должны быть люди».

Вопрос различия художественной и исторической правды в данной статье обретает еще более полемическое звучание, когда речь заходит об исторических источниках, использованных писателем в про-

цессе создания эпического произведения. «Для историка (продолжаем пример сражения) главный источник есть донесения частных начальников и главнокомандующего. Художник из таких источников ничего почерпнуть не может, они для него ничего не говорят, ничего не объясняют. Мало того, художник отворачивается от них, находя в них необходимую ложь».

Будучи участником Севастопольского сражения, Л. Н. Толстой приводит в пример свой жизненный и военный опыт, отмечая, насколько расходятся описания очевидцев в первое время после события, и какое оказывает влияние на восприятие этих же людей последующая официальная интерпретация. Именно реляции военных чиновников, по мнению Толстого, превращают живой хаос первых впечатлений в жесткую схему, где нет места разночтениями и субъективным трактовкам. Такую трансформацию писатель называет ложью, вытекающей «из потребности в нескольких словах описывать действия тысячей людей, раскинутых на нескольких верстах, находящихся в самом сильном нравственном раздражении под влиянием страха, позора и смерти. <...> Через месяц и два расспрашивайте человека, участвовавшего в сражении, - уж вы не чувствуете в его рассказе того сырого жизненного материала, который был прежде, а он рассказывает по реляции».

Не удивительно, что подобные заявления писателя не могли оставить историков равнодушными. Значительно глубже, профессиональнее и, по заслугам, безжалостнее, чем старенькие свидетели событий, как Норов или Вяземский, обошлись с творцом «Войны и мира» замечательные, выдающиеся военно-исторические специалисты своего времени, теоретики и педагоги — *Александр Николаевич Витмер* (1839 – 1916) и *Михаил Иванович Драгомиров* (1830 – 1905). Здесь приходится сожалеть, что на оценках писаний Толстого такими людьми приходится останавливаться лишь бегло. Более того, мы нашли возможность, дабы не загромождать данную главу, вынести сведения о книге М. И. Драгомирова «Война и мир» графа Толстого с военной точки зрения» в другую часть и другую главу книги. Здесь скажем ещё немного лишь о позиции Александра Витмера.

Профессор Николаевской академии Генерального штаба, в недавнем прошлом боевой офицер, а в будущем — предприниматель, меценат и популярный драматург, Александр Витмер в 1868 году публикует в журнале «Военный сборник» ряд статей, вошедших

позднее в книгу «1912 год в “Войне и мире”». По поводу исторических указаний IV тома «Войны и мира» графа Л.Н. Толстого». Открывается книга таким свидетельством популярности толстовского романа:

«Смелые парадоксы IV тома “Войны и Мира” распространили в большей части нашего общества, столь доверчивого ко всякого рода авторитетам, самые превратные понятия как о военном деле, так и об исторических событиях 1812 года. Мнения, по меньшей мере, странные, не раз слышанные автором даже от людей довольно образованных, послужили поводом к настоящим заметкам...» (Витмер А. 1812 год в «Войне и мире». СПб, 1869. С. I [Вступление]).

Критик принципиально подходит к роману как к историческому сочинению. «IV том «Войны и мира» дает полное право относиться к нему с тою же строгостью, как и ко всякого рода историческому труду, потому что здесь автор-художник отходит на второй план, уступая место историку, философу и историческому критику» (*Там же. С. II [Вступление]*).

Толстой, по наблюдению Александра Николаевича, в IV томе романа «третирует историков» и историческую науку «с замечательной нетерпимостью, а подчас и с иронией», рассчитывая на то доверчивое большинство публики, которое не видит разницы между Толстым-художником и Толстым-философом и историком:

«А разница между ними — громадная!» (*Там же. С. 2*).

Витмер выражает принципиальное несогласие с Толстым и по поводу его литературного видения событий отечественной войны 1812 года, и по самой постановке вопроса соотношения истории документальной и её художественной интерпретации, как она дана в очерке Толстого «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”»:

«Итак, значит, историк „обязан” взять из собственной головы какую-нибудь идею, „вложить” её в историческое лицо и затем подводить все его действия под предвзятую идею» (*Там же. С. 2 – 3*).

Автор методично опровергает ряд исторических фактов, представленных в романе, критикует автора за ошибки в изложении хода военных действий, уличая отставного поручика Толстого в незнании основ военного дела. Восхищаясь литературным талантом романиста, Витмер, тем не менее, жестоко и справедливо треплет его и за некритический подход к подбору исторических источников: Толстой называет главными для себя источниками, «единственными памятниками эпохи», сочинения Тьера и Михайловского-Данилевского с

их смехотворными нелепостями, которые, «включая сюда и графа Сегюра», следует отнести к «наименее достойным веры» среди авторов-современников событий 1812 года (*Там же. С. 6 – 7*). Витмера удивляло: как это, владея, по собственному признанию в очерке, целой библиотекой материалов, при описании военных сцен романа Толстой воспользовался далеко не самыми лучшими и авторитетными источниками?

Вслед за Лачиновым, как профессиональный военный, Витмер восстаёт против фатализма Толстого, его игнорирования того, что боевые операции, как правило, тщательно планируются и такие полководцы как Наполеон, Барклай де Толли, Кутузов сыграли существенную роль в ходе военных действий как стратеги.



А. Н. Витмер

«Учение о том, что не отдельные личности руководят мировыми событиями, а что, напротив, они являются не более как орудиями неизбежного порядка вещей — учение не новое и принятое почти всеми новейшими историками-философами; но граф Толстой развивает это учение до самых крайних пределов» (*Там же. С. 8*). Истина не любит таких крайностей, тем более историческая истина. Александр Николаевич Витмер корректирует зарвавшегося самозванца в историках, справедливо постулируя антитезис и том, что «передовые люди, хотя и выдвигаются событиями, но, в свою очередь, руководят ими», и приводит ряд убедительных исторических примеров, одним из примеров метко и чувствительно задевая и лично персону, которой адресована критика, бывшего крепостника,

помещика, провалившего в 1857 г. свой проект «облагодетельствования» крестьян:

«Необходимость освобождения крестьян сознавалась вполне нашим правительством в самых первых годах настоящего столетия, а между тем это освобождение осуществилось только 60 лет спустя, и могло осуществиться десятью, двадцатью годами позже. Оно совершилось бы непременно; во могло совершиться раньше или позже, и — мирным путём или насильственным. Всё зависело от решимости правительства и целесообразности мер» (см. *Указ соч. С. 10*).

Не стремясь разгадать субъективные причины акцентированности, крайности выводов Л. Н. Толстого о ничтожестве Наполеона и неопытности русских, противостоявших ему полководцев, А. Н. Витмер лишь констатирует наличие в тексте «Войны и мира» и такого авторского бзика, и тут же приводит возражение — не собственное «своё», по каким-то своим хотелкам, а именно с позиций научно-исторического знания:

«Можно с уверенностью сказать, что в нашей армии не было ни одного человека, который, по способностям мог бы соперничать с гениальным нашим противником; но взамен того, во главе русского войска (вопреки автору) стояли люди с замечательной военной опытностью, приобретённую в непрерывных войнах, которыми отличались царствования Екатерины, Павла и Александра. Таковы были Барклай, Багратион, Бенигсен, наконец Кутузов. Начальники частей также отличались большим знанием своего дела и замечательной распорядительностью... В числе же корпусных командиров были такие люди как Витгенштейн, Раевский, Ламберт, Пален и др., имена которых, всякому, хотя несколько знакомому с описываемой эпохой, красноречиво говорят сами за себя» (*Витмер А.Н. Указ. соч. С. 20*).

Правнук выходца из Дании на русской службе, Витмер смачно и заслуженно бьёт здесь по выраженной в романе ксенофобии молодого Толстого — в отношении поляков и «всяких там» немцев в руководстве русской армией. Большинство тех, кого он называет и кого имеет в виду — именно иностранцы на русской службе, частью и потомственные, как сам Александр Витмер.

Задолго до активизации у Л. Н. Толстого неоднозначной половой ориентации отец поощрял в нём естественное во всяком неиспорченном человеке, в ребёнке уважение к «великому врагу», Наполеону

Бонапарту. Известны два рассказа Толстого об одном из воспитательных эпизодов с восьмилетним малышом Львом. Первый рассказ записан с его слов его женой в 1876 году в её «Материалах к биографии Л. Н. Толстого». Здесь читаем: «Не было Льву Николаевичу восьми лет, как раз его отец застал его за какой-то хрестоматией, в которой маленький Лёвочка с большим увлечением и с интонацией читал стихи Пушкина «На смерть Наполеона». Отца поразила, вероятно, верность интонации и увлечение ребенка; он сказал: «Каков Левка! Как читает! Ну-ка, прочитай ещё раз» и, вызвав из другой комнаты крестного отца Льва Николаевича С. И. Языкова, он при нем заставил сына читать стихи Пушкина».

Вторично рассказал Толстой о том же эпизоде в своих «Воспоминаниях»: «Помню, как он [отец] раз заставил меня прочесть ему полюбившиеся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина: «К морю» («Прощай, свободная стихия!») и «Наполеон» («Чудесный жребий совершился: угас великий человек» и т. д.). Его поразило, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи, и он, прослушав меня, как-то значительно переглянулся с бывшим тут Языковым. Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моём чтении, и был очень счастлив этим» (*Цит. по: Гусев Н. Н. Л. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954. С. 93*).

Как и отец Л. Н. Толстого и многие просвещённые люди его поколения, А. Н. Витмер справедливо, заслуженно восхищался Наполеоном и скептически оценивал роль Кутузова в войне 1812 года. Толстой придерживался прямо противоположного мнения. В части Четвёртой IV тома романа, в пятой главе Толстой творит свой миф о Кутузове — тоже мудром, дальновидном, старому и внешне, как мы помним, безобразном — то есть, не привлекательном как мужчина ни для дам, ни для гомосексуалистов. Не могущем вызывать зависти у Толстого, какую с юных лет вызывал великий Наполеон! Может быть, не случайно Толстой, использовавший в своей работе сравнительно небольшое количество источников (всего 47), в значительной степени опирался на весьма спорную работу А. Н. Михайловского-Данилевского «Описание Отечественной войны 1812 года». Дело в том, что Михайловский-Данилевский, как и Толстой, отрицательно относился к Наполеону и не видел в нём великого человека, а Витмер, не разделявший таких взглядов, критиковал Толстого за выбор такого недостоверного источника, как Михайловский-Данилевский.

Наполеон изображён в романе Толстого резко сатирически и несправедливо-безобразно: «жёлтый, опухлый, тяжёлый, с мутными глазами, красным носом», «маленький Наполеон, с своим безучастным, ограниченным и счастливым от несчастья других взглядом». В 4 томе романа Толстой описывает утренний туалет Наполеона: камердинер растирает одеколоном «толстую спину» и «жирную грудь» императора. Витмера возмутила эта сцена: «Мы воздержимся от каких бы то ни было замечаний по поводу жирной спины, её вспрыскивания одеколоном и других интересностей XXVI главы, отвечая на все это весьма мудрой французской поговоркой: “Il n’y a pas de grand homme pour son valet de chambre” [*фр.* “Для лакея нет великого человека”]» (*Витмер А.Н. Указ соч. С. 65*).

Такая пощёчина, прямое оскорбление печатным словом, стало ошибкой Витмера и незаслуженный подарок Толстому: он использовал оскорбительный выпад для оправдания своего молчания в ответ на разумные и справедливые, в основном, критические замечания выдающегося военного историка. Но задет был, безусловно, болезненно. Любопытно, что в редакции романа 1873 года появляется следующая сентенция: «Для лакея не может быть великого человека, потому что у лакея своё понятие о величии» (*ВиМ – 2. С. 667*). В контексте романа она связана с характеристикой отношения военных и придворных кругов к кумиру Толстого, М. И. Кутузову. Сама эта фраза, весьма вероятно, связана с воспоминанием об оскорблении от Витмера и являет неуклюжую, наивную попытку возражения. В последующие годы Толстой как будто вымарал самую личность историка из своей памяти: он не упоминается нигде в 90 томах Полного собрания его сочинений.

Дабы не раздувать очерка, позицию самого А. Н. Витмера охарактеризуем ниже лишь рядом его цитат из книги.

О боевых генералах и Наполеоне — замечательный историк ругает Толстого основательно, и при том снова задорно:

«Нет, мнение, что лучине генералы — глупые люди, что сам Бонапарте — не более как глупый человек, с самодовольным и ограниченным лицом, подобное мнение могло прийти в голову только князю Болконскому! Не помним, в какую часть тела князь был ранен под Аустерлицем; но, во всяком случае, подобные мнения мы приписываем последствиям его тяжкой раны, и, как с человеком, находящимся не в нормальном состоянии, спорить с ним не будем.

И что за странное смешение понятий: лучшие генералы, и хорошие полководцы, и храбрые полководцы, и Багратион, и Бонапарте?! Можно быть хорошим генералом, прекрасным дивизионным или корпусным командиром и в то же время никуда не годиться в роли главнокомандующего. [...] Здесь необходим обширный ум, непреклонная воля и самые разносторонние способности, и такими способностями, действительно, отличались все великие полководцы: Александр, Аннибал, Цезарь, Фридрих и наконец Наполеон. И каковы же должны были быть современники Наполеона, если он, из безвестного корсиканца сделавшийся императором, был не более как самодовольным глупцом? И отчего же до сих пор, даже люди вовсе ему не симпатизирующие, но знакомые близко с той эпохой, удивляются ему не только как полководцу, но и как законодателю?» (*Витмер А. Н. Указ. соч. С. 61 – 62*).

О красивом мифе Толстого про «тёплый патриотизм», исключительно и волшебным образом помогавший русским разгромить французов, А. Н. Витмер не мог в подцензурном издании своей эпохи написать тех опровержений, на которые мы уже указали выше. Но вот что, тоже справедливое и значительное, сообщает нам по этой теме историк:

«Чувство, на которое указывает Болконский, и которое граф Толстой [...] называет „тёплым патриотизмом“, всего менее оказывает влияния на участь боя, потому что на войне ничего сверхъестественного человек сделать не может, а делает только то, что в его силах. Всё же возможное хорошо-воспитанный солдат сделает и без патриотизма, в силу чувства долга и дисциплины. Согреты войска патриотизмом — хорошо; но и отсутствие его, или какой бы то ни было воодушевляющей идеи, не заставит войска драться менее храбро.

[...] Солдат регулярной армии (понимаем это слово в широком значении) есть, прежде всего, ремесленник. Таков <в романе> Тимохин, прекрасный, то есть вполне правдивый тип, выведенный автором. Он человек ограниченный; не рассуждает, не кипятится, как Болконский; он даже не понимает, о чём тот говорит; он не ожесточён против врага, не воодушевлён патриотизмом; он просто — ремесленник, но в деле такой ремесленник стоит героя» (*Там же. С. 63 – 64*).

В связи с идеей о такой дисциплине — пожалуй, серьёзно льстящей русской имперской орде, ораве военных рабов — находится и отношение историка к Бородинскому сражению и его результатам, так же резко возражающее автору «Войны и мира»:

«Бородинское сражение вовсе не „было первое, которое не выиграл Наполеон”: под Асперном и Эслингеном, например, он, самым положительным образом, проиграл сражение, то есть принужден был отступить в виду неприятеля, оставив на поле сражения около половины сражавшихся; под Прейсиш-Эйлау мы также продержались целый день на позиции и нанесли французам страшные потери. Мало того: если руководиться справедливостью, а не ложным патриотизмом, то необходимо сознаться, что Бородинское сражение было нами проиграно; оно не было такой решительной победой, к каким привыкли французы и на какую они рассчитывали, но, тем не менее, это была победа: по крайней мере, русские были сбиты на всех пунктах, принуждены ночью же начать отступление, бросая по дороге своих раненых и понесли громадные потери, далеко превосходившие потери неприятеля; наконец, прямым следствием сражения было занятие неприятелем без боя нашей <первопрестольной> столицы» (*Там же. С. 88 – 89*).

В заключительной части своей работы А. Н. Витмер отмечал: «Смеем надеяться, что никто, даже сам автор, не упрекнёт нас в недобросовестности разбора. Быть может, подчас мы слишком горячо оспаривали ложные мысли и выводы автора; но это произошло оттого, что они высказывались писателем, имеющим на нашу публику обаятельное влияние, художником с самым замечательным талантом, далеко выдающимся из обыкновенного уровня и высказывались с возмутительным апломбом и вызывающей нетерпимостью. Мы принадлежим притом к слишком горячим почитателям этого художника и, вместе с тем, слишком дорожим нашей, бедной дарованиями, отечественной литературой, чтобы равнодушно смотреть, как первостепенный её представитель тратит свой талант, и силы, и время, на дело совершенно чуждое его блестящему дарованию» (*Там же. С. 121 – 122*).

* * * * *

Выше, конечно — не полноценная историография по нашей теме, а только некоторая общая установка наша для читателя, исходящая из выводов некоторых наших предтеч в её исследовании. Теперь, не претендуя на исчерпанность темы, пролистаем роман — именно уникально, авторски *антивоенные* его страницы, а не «пацифист-

ские», как иногда утверждается, ибо, живи даже Толстой в Швейцарии, где лишь в 1867 году появилась первая в мире пацифистская организация, «Лига мира и свободы», он никак не мог бы быть, в строгой дефиниции термина, именно пацифистом — попросту не проявляя в 1860-е гг. интереса ни к этой организации, ни даже к её религиозным вдохновителям и предтечам, сектантам квакерам с их «обществами друзей мира», поощряемыми первоначально, в 1810-х годах в Великобритании и Американских Штатах геополитическими противниками и военными врагами Франции и России.

Заметим мимоходом, что в этой теме, именно разграничения светски-гуманистического и православно-религиозного неприятия «закона насилия» персонажами романа «Война и мир» у современных исследователей, чаще всего случайных в научном толстоведении лиц, возникает немало недоразумений. Так, для примера, ходячим недоразумением оказывается украинский баптист и, конечно, миротворец Геннадий Гололоб с его статьёй «Пацифистский смысл романа Льва Толстого "Война и мир"»

(<https://christianpacifism.info/2015/paczifistskij-smysl-romana-lva-tolst/>).

По версии автора, «между детскими мечтами о мире без войн и идейным переломом писателя находился долгий период духовного становления. Это становление имело три последовательных, но плавно переходящих один в другой этапа: милитаризм (1851 – 1866), антимилитаризм (1867 – 1877) и пацифизм (1878 – 1910)» (Там же). Все антивоенные образы и высказывания в период от «Набега» до «Казачков» Гололоб «сливает» в общее корыто неких «незрелых форм последующего периода»: то есть, в целом, даже автор «Войны и мира», работая над двумя первыми томами романа, оставался, ни много и мало, *милитаристом* (! – Р. А.). Но лишь только заявила о себе в далёкой Швейцарии «Лига мира и свободы», и в текстах Толстого вдруг забрезжил «антимилитаризм»! Само собой, что период институционализации европейского пацифизма для Геннадия Гололоба значительней, нежели 1870-е гг., и поэтому, вопреки всем исследователям и биографам Толстого, он, «большее частью», относит ко времени «перехода» Толстого к антивоенным убеждениям период писания именно «Войны и мира», а не «Анны Карениной»: «в романе «Война и мир» мы обнаруживаем и антимилитаризм, и пацифизм одновременно, но с плавным смещением в сторону последнего» (Там

же). Что во внешней либо духовной биографии Толстого в 1866 – 1867 гг. могло послужить такому качественному изменению — автор пояснить избегает. Вероятнее всего, и не в силах...

Минуя совершенно вниманием «чужую» для него, сектанта, веру автора романа и *большинства* персонажей романа, именно православие, Гололоб разделил антивоенные мотивы в романе на более умеренные, антимилиитаристские, и на пацифистские:

«Антимилиитаризм отличается от пацифизма тем, что допускает лишь справедливые войны, а использует пассивное сопротивление лишь в безысходной ситуации с сильным противником. У Толстого оба эти подхода перемешаны и отнесены к различным персонажам, которые, к тому же, выражают их не всегда или недостаточно последовательно...» *(Там же)*.

Ещё бы Гололобу и «последовательность»! При том, что для христианского сознания, даже церковно-верующего человека, страх возможности войн, ужас перед убийством людей, оплакивание павших, осуждение трусости, подлости, мародёрства — являются не менее, а, пожалуй, и более актуальными этическими константами, нежели для европацифистов. Очищенное же от мирских суеверий, верно понятое христианство, к исповеданию которого Толстой, не осознавая, шёл уже со времени своих усиленных рефлексий и прозрений 1-й полов. 1850-х гг., выразившихся в Кавказском дневнике, по отношению к пацифизму столь же самодостаточно, как скажем, по отношению к феминизму, защите «прав женщин».

Никак не обосновывая фактами априори признаваемое им знакомство Л. Н. Толстого в 1860-х с едва делающим первые шаги движением пацифизма, Гололоб вещает вот такое:

«...Пацифизм Толстого, появившийся в третьем томе романа, отличаются не стратегические соображения сдерживания врага, а настоящее родство между двумя враждующими лагерями, хотя и показанное на просто народном или солдатском уровне» *(Там же)*.

Иначе сказать, *родство*, во всех смыслах слова, в жизни хоть тех же казаков и чеченцев, миролюбие и добродушие части солдат и офицеров, положительных образов в рассказах Кавказского цикла — следует отнести к пацифистским увлечениям Л. Н. Толстого 1850-х годов — то есть времени, когда и пацифизма, как движения, ещё не существовало!

Уже в 1860-е годы, по мнению украинского «знатока» жизни и творчества Л. Н. Толстого, писатель был «ревнивым сторонником равенства всех людей». «Миролюбие и готовность к сотрудничеству простых солдат» враждующих русской и французской армий Гололоб связывает с неким пацифистским замыслом Толстого — хотя, чтобы не выдумывать такой нелепицы, довольно бы было помнить об опасливом *любопытстве* к незнакомцам, а также *альтруистическом инстинкте* по отношению к слабым членам стаи либо к не сопротивляющимся, ослабевшим противникам, выказываемым в живой природе, в поведенческих структурах многих высших животных, не исключая приматов, то есть наличествующих и в человеческой природе, а кроме того — о *культурной близости* двух христианских народов и, конечно же, о потребности автора романа последовать своему кумиру, пресловутой *правде жизни*, и спутнице оной, *исторической правде*.

Особенно значителен для мифотворчества Гололоба образ Николая Ростова — наполненный в романе, что общепризнанно у исследователей, автобиографическими чертами. В пользу «пацифизма» Ростова украинский автор приводит, например, разочарование его в реалиях войны, провозглашение, при австрийцах, здравицы «миру как братству людей, независимо от национальных и классовых различий, жалость, в первой части Третьего тома, к пленному французцу «с дырочкой на подбородке»...

«И уж, конечно, чисто христианским пацифизмом исполнены религиозные убеждения княжны Марьи Болконской, которая ещё до эпизода с Николаем Ростовым убеждала своего брата, Андрея: “Мы не имеем права наказывать. И ты поймёшь счастье прощать”» — ляпает, чтоб уж до кучи, Гололоб и такое. Опровергать здесь нечего: европацифист и баптист не мог бы удержаться от таких, предсказуемых, выводов. Между тем образ княжны Марьи, что общеизвестно, имеет прообразом самого дорогого Толстому человека, матушку его, *Марию Николаевну Толстую* (урожд. кн. Волконская; 1790 – 1830). Образ княжны прописан кропотливо и любовно, и никаких сомнений в её *православности*, то есть принадлежности к религии, даже в XXI веке находящей оправдания для войн и последовательно отрицающей пацифизм, не может быть даже у школьника, впервые читающего роман.

«...Всех их – императоров и чиновников, генералов и политиков – следует признать единственными врагами человеческого рода, в целом, и собственного народа, в частности» — приписывает Гололоб автору «Войны и мира» изыски собственного ума, и в «подтверждение» своей подтасовки цитирует следующее место из Четвёртого тома: «Русские, умиравшие наполовину, сделали все, что можно сделать и должно было сделать для достижения достойной народа цели, и не виноваты в том, что другие русские люди, сидевшие в тёплых комнатах, предполагали сделать то, что было невозможно (ч. 3, гл. 19)». Поистине, смешно! Если бы у цензоров романа в 1860-х возникло подозрение на такой «замах» мысли романиста — вряд ли бы сочинение могло увидеть свет в России.

«Если для его читателей этот роман так и остался данью отечественному патриотизму (в частности русскому народу), то для самого автора, эта книга отличалась не только антимилитаристским, но и пацифистским характером» — такой вывод ляпает Гололоб в завершение статьи, не поясняя, отчего поколения исследователей не обнаружили ни в рукописях, ни в документах личного происхождения писателя в 1860-е гг. никаких признаков интереса ни к «пацифистской» традиции в христианском сектантстве, ни самого слова «пацифизм», ни хотя бы описания близких ему воззрений, подпадающих под узуальную семантику данного термина.

Перед нами, таким образом, безусловный фальсификат: попытка выдавать желаемое за факты, чем-то схожая с писаниной “учёных” Чеченской республики, которые на гранты от Рамзана Кадырова вещают миру о Льве Толстом... «тайно» (разумеется, тайно!) перешедшим в юности... в ислам. Как в этом мифе фальсификаторы пользуются некоторыми недоразумениями и изустными байками, в основном эпохи СССР, точно так и Гололоб «переводит», посмертно, в «пацифисты» автора романа «Война и мир» — исключительно в расчёте на поддержку своего массового (в интернете) читателя, в головах которого сидит колом представление, что Толстой «отрицал войну» именно как пацифист.

Таких же публикаций, склоняющихся к признанию «пацифизма» автора «Войны и мира», немало. Однако, дабы не обращать историографию темы в особый и объёмный очерк, мы остановимся здесь, «от противного» обозначив именно нашу позицию, и, с этой именно позиции, предпримем ниже анализ некоторых ключевых образов и сюжетов великого романа.

* * * * *

«Двенадцатого июня силы Западной Европы перешли границы России и началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» (Толстой Л. Н. *Война и мир: В 2-х кн. М., 2009. Кн. 2. С. 9 [Далее: ВиМ-1, 2]*). Таким эпическим вступлением начинается в романе описание войны 1812 г. Утверждение, сделавшееся популярной цитатой, при этом более чем спорное как для знатоков человеческой психологии, так и для историков. Историк А. Н. Витмер пишет в своём заслуженно-разгромном анализе IV тома романа: «причина всех войн заключается в свойствах человеческой природы»; «природа создала человека <таким>, что человек — существо несовершенное, что он склонен к насилиям» (Витмер А. *Указ. соч. С. 12 – 13*). Между прочим, преподаватель в военно-учебном заведении в стране, где учащимся таких заведений, равно как и простым солдатам попы и военные наставники срали в мозг идеями о сакральном, благословенном Богом значении «защиты отечества», военных «побед» и даже самых войн, якобы «ниспосылаемых» их гневным богом «за грехи» — отчего-то считает подобные утверждения даже слишком банальными для того чтобы быть особо сообщены читателю в историческом сочинении (Там же). Оставим это на совести и на усмотрении историка, но здесь же подчеркнём, что именно для художника, для романиста Толстого и такое, тоже «космического охвата» утверждение, и противоположное, высказанное в начале Третьего тома «Войны и мира», процитированное нами выше — равно вполне допустимы и равно не могут обосновать или опровергнуть ни самих себя, ни что-либо другое. Выбор Толстого в пользу отрицания имманентности человеческой природе характеристик системной деструктивности в реализациях коммуникативных поведенческих структур связан, на самом деле, с членствованием его, ещё безо всяких оговорок, в церкви *православных*, то есть имперских фарисеев, обрядоверов и идолопоклонников, фактически *безверных*. Пустоту, вакуум безверия заполняли уже в те времена различные увлечения и идейные уклоны. Для А. Витмера это, кажется, материализм и атеизм. Для Толстого — отвлечённый, «розовый» гуманизм (известного качества, аппетитно именуемого в народе «сопли с сахаром») вкупе с руссоистской склон-

ностью идеализировать эту «природу». Такая идеализация не коррелирует ни с научными знаниями о человеке, располагаемыми наукой уже в середине XIX столетия, на которые опирается, в частности, А. Витмер, ни с церковным учением о «повреждении грехом» человека, о ничтожестве попыток, без воли Бога тайной, соделаться хотя бы немного, но устойчиво человеком лучшим в отношении нравственности. Наконец, не коррелирует такое видение человека даже и с независимой, недогматической верой Толстого-христианина 1880 – 1890-х годов, признающей градацию религиозных «жизнепониманий» человека — по существу, восхождение, руководствуясь идеалом евангельским, учением Христа, но своими усилиями, из глубин страхов, невежества и эгоистической омраченности, из плена у зверя, из «власти тьмы».

Обратим кстати внимание и на продолжение, а именно на ту часть приведённого выше знаменитого высказывания Л. Н. Толстого о войне, которое обыкновенно опускают любители цитирования:

«Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберёт летопись всех судов мира, и на которые, в этот период времени, люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления» (*ВиМ – 2. С. 9*).

Это красиво, талантливо, эмоционально и заразительно своим настроением. Но это — именно светско-гуманистические «сопли с сахаром». Ни слова о нравственности живой, религиозной: о нарушении людьми воли общего Отца, Бога, выраженной в первоначальном учении Христа. С позиций общественного жизнепонимания, воспитанного в нём лжехристианством православием, Толстой, как мы покажем в необходимо-пространном анализе ниже, нигде в этой своей книге не достигает до жизнепонимания собственно христианского, и, *если* порицает, то порицает поступки участников войны именно с язычески-еврейских позиций, осуждая общественно вредные эгоизм, вражду и злонамеренность: говоря шире, те или иные нарушения общественной лукавой «морали выживания», частично всегда, во всех общностях людей охраняемой и регулируемой установлениями законодателей, нормами человеческого писанного «права», среди которых во все времена могло оказаться и требование участия в общей полоумной, намеренно организованной и заранее обеспеченной орудиями убийства драке — то есть войне.

ТОМ ПЕРВЫЙ

Через испытание войной, соблазном делания и оправдания насилия Толстой проводит почти всех своих действующих лиц, как исторических, реальных, так и вымышленных. В центре внимания читателей — сословие, наиболее понятное, близкое автору: судьбы представителей нескольких благородных семейств, служивых людей России: Ростовых, Болконских, Безуховых, Долоховых, Денисовых, Бергов — за каждым представителем которых реальные, и в основном значительные для Толстого, в том числе и родственно близкие прототипы. По отношению к феномену системно организованных насилий человека над человеком, то есть войны, все они прошли в основах своих сходное воспитание, от домашнего для благородных девиц до заграничного университета для Пьера Безухова: выросли на облагороженных преданиях о победах и героях, от времён античных и персонажей Плутарха до Суворовских походов. Но, в сочетанном воздействии с прочими мирскими влияниями и с особенностями характеров и темпераментов каждого, такое сословное воспитание дало совершенно неодинаковые результаты.

Действие романа начинается в июле 1805 года, накануне войны, на петербургском светском вечере Анны Павловны Шерер, фрейлины вдовствующей императрицы. Здесь обсуждаются последние события текущего периода наполеоновских войн — убийство герцога Энгийенского, последние действия Наполеона в отношении итальянских Генуи и Лукки, российское посредничество в заключении им мира с Англией (миссия Новосильцева) — и появляются некоторые главные персонажи романа, в частности, Андрей Болконский и Пьер Безухов, два ярчайших образа, иллюстрирующих два возможных, и при том до крайности различных, пути жизни человека — по отношению к надмирному её смыслу.

Андрей получил “классическое” воспитание своей эпохи — усадебное, похожее на образование и воспитание самого автора, Л. Н. Толстого. И мотивации его к поступлению в военную службу — не менее сходны, не сложны и не оригинальны для заданных эпохи, поколения и сословия, чем мотивы молодого Льва, наследного графа Толстого. Более того, Андрею в начале романа уже 27 лет, он женат, у милейшей маленькой княгини Болконской скоро должен родиться

ребёнок, и нет острой необходимости в армейской службе. На вопрос светских любопытствующих, почему князь едет в армию, он отвечает по-французски, что генералу Кутузову угодно его к себе в адъютанты. Иное через пару часов он говорит Пьеру о своей семейной мирной, пошлой и скучной ему жизни с женой: «Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь — не по мне!» (ВиМ – 1. С. 52). И совсем по-другому молодой Болконский объясняет сам себе стремление в армию: он должен *найти свой Тулон*.

Осада Тулона — боевые действия с 29 августа по 19 декабря 1793 года во время французских революционных войн, во время которых проявил себя и получил известность молодой Наполеон Бонапарт. Слово «Тулон» стало метафорически означать момент блестящего начала карьеры никому не ведомого молодого храбреца и молодца на военной службе. То есть, «найти свой Тулон» для князя Андрея значит: стяжать мирскую славу — высокоценимую рабами и прислужниками мирской лжи, языческого, общественно-государственного религиозного непонимания.

Пьер тоже немало забрал от такого первоначального домашнего воспитания, но главное влияние оказали на него годы учения за рубежом, неизбежно склонившие его в пользу симпатий к Франции, к «великому делу» революции и — тоже, конечно же, к Наполеону! «Пьер с десятилетнего возраста был послан с гувернёром-аббатом за границу, где он пробыл до двадцатилетнего возраста» — сообщает только автор, не уточняя места. Но, судя по осведомлённости Пьера позднее, в беседе с капитаном Рамбальем, о парижской жизни, по упоминаниям его о том, что он жил в Париже и в особенности по тому, что гедонист Рамбаль, Парижем сладко совращённый, нашёл в Пьере не просто товарища, а *соотечественника*: убеждённо посчитал за француза — вероятнее всего, Пьер был воспитанником именно свободной, послереволюционной Франции.

С событий в городе Тулоне в 1793 г. началась стремительная карьера достойного кумира обоих молодых людей — и Андрея, и Пьера. С этого счастливого момента всего за 11 лет самый, в своём поколении, выдающийся человек Европы прошёл путь от капрала «Буонапарте» до великого Наполеона, в 35 лет объявив себя императором Франции. Многие современники Наполеона бредили такой головокружительной карьерой, многие, как император Александр I, грязно, озлобленно завидовали успешному полководцу и любимому народом императору, большинство же справедливо боготворило его,

склоняя головы перед его мирским величием: кому-то, как князю Андрею, он представлялся «военным гением», эталоном вождя «пути к славе», а кому-то, как молодому Пьеру — «гением французской революции». Но для обоих это отнюдь не слепой культ личности: князь Андрей ни в коем случае не «обожает» Наполеона, а, скорее, в себе хочет видеть такие же возможности. Вот почему в 1805 г. он оказывается в штабе Кутузова. Увлечён Наполеоном и Пьер, но это иное увлечение. Для Пьера имя Наполеона связано с французской революцией: «революция была великое дело», благо для народов, и оттого Наполеон — «великий человек» (*ВиМ – 1. С. 42 – 44*). И Пьеру, дитя Франции по воспитанию, понятно, что российское дворянство не имеет разумных оснований быть не на стороне Наполеона, а поддерживать российского императора в его зависти и вражде к наполеоновской Франции и лично к великолепному императору.

Примечателен спор князя Андрея и Пьера о возможностях жить человечеству без войны — кстати, в той же беседе, в которой звучит признание князя о желании сбежать на войну от семейной рутины. Выслушав на вечере у Анны Павловны Шерер проект вечного мира от фаворита сборища, некоего аббата Морио (прототипом которого был *Сципион Пьятоли*, 1849 – 1909, участник восстания Тадеуша Костюшко и Польского сопротивления российской оккупации), Пьер сообщает другу: «По-моему, вечный мир возможен, но я не умею, как это сказать... Но только не политическим равновесием...» (*Там же. С. 50*). Под этими словами в годы написания романа мог подписаться и автор, не имевший ещё понятий о *христианском* разрешении ложной «проблемы веков». Строгий друг склонен не поддержать идеализма собеседника, предлагая говорить «о деле», о карьере Пьера, но тому важнее донести до друга, готового добровольно на войну, совершенно другое:

«Теперь война против Наполеона. Ежели б это была война за свободу, я бы понял, я бы первый поступил в военную службу; но помогать Англии и Австрии против величайшего человека в мире... это нехорошо...» (*Там же. С. 51*).

Современники не жили ещё теми патриотико-героическими мифами об «агрессии» Наполеона, о «спасителе отечества» императоре Александре, о «всенародной» обороне, «отечественной» войне и под., к которым привыкло уже поколение Льва Николаевича Толстого и

которые использовались для патриотического оглушения детей и малодумающих взрослых даже в XX веке, в эпоху СССР. Поэтому вряд ли может быть, что князь Андрей не понял, к чему клонит Пьер. Для него, как и для Николая Ростова, как даже и для автора в 1860-е, искренне верящего лжи имперских «историков», это были речи «бонапартиста», изменника — повод для разрывания дружбы. И поэтому, не дав Пьеру доболтаться до конца, Толстой прерывает его категоричной репликой друга: «Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было. [...] Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда не будет». И тут же оба, князь Андрей и автор, попадают на простом, «женском» вопросе Пьера: «Ну, для чего вы идёте на войну?». Оказывается, очень даже возможно идти на войну, исходя даже не из более благородных общественных, политических, а из сугубо личных побуждений!

Кстати. По свидетельствам в дневнике Софьи Андреевны, Лев Николаевич в первый год после брака переживал именно такой экзистенциальный вакуум, которым «одарил» в романе князя Андрея. Из записей на 24 апреля 1862 г.: «Лёва или стар, или несчастлив. Неужели кроме дел денежных, хозяйственных, винокуренных ничего и ничто его не занимает» (*Толстая С. А. Дневники: В 2-х тт. М., 1978. Т. 1. С. 53*). Вряд ли Софью Андреевну, наблюдавшую эти попытки любимого человека «засуетить» себя от осознания недостаточности для него такой жизни, порадовали откровения князя Андрея Пьеру о том, что жизнь его «испорчена» именно семьёй и «связью с женщиной» (*ВиМ – 1. С. 56 – 57*).

А накануне годовщины свадьбы муж, прелестный муж порадовал беременную жену, а к тому же и маму лучшего, быть может, из сыновей Льва Николаевича — пожеланием отправиться на войну: быть может, не оконченную ещё в те годы Кавказскую — то есть к сладко-памятной и вожделенной воле! Либо на войну с борющейся за независимость от поганого «русского мира» Польшей, в очередной раз восставшей как раз в тот год.

Единственная запись об этой прихоти Л. Н. Толстого у С. А. Толстой — под 22 сентября 1863 г.:

«До сих пор я думала, что шутка; вижу, что почти правда. На войну. Что за странность? Взбалмошный — нет, не верно, а просто непостоянный. Не знаю, вольно или невольно он старается всеми силами устроить жизнь так, чтобы я была совсем несчастна. Поставил в такое положение, что надо жить и постоянно думать, что вот не нынче,

так завтра останешься с ребёнком, да, пожалуй, ещё не с одним, без мужа. Всё у них шутка, минутная фантазия. Нынче женился, понравилось, родил детей, завтра захотелось на войну, бросил. Надо теперь желать смерти ребёнка, потому что его я не переживу. Не верю я в эту любовь к отечеству, в этот enthousiasme в 35 лет. Разве дети не то же отечество, не те же русские? Их бросить, потому что весело скакать на лошади, любоваться, как красива война, и слушать, как летают пули. Я его начинаю меньше уважать за непостоянство и за малодушие. [...] Виновата в том, что люблю его и не желаю его смерти или разлуки с ним. Пусть дуется, я бы желала заранее приготовиться, т. е. перестать любить его... А детей у него больше не будет. Я не хочу давать ему их для того, чтоб он их бросил. Вот деспотизм-то: «Я хочу, а ты не смей слова сказать». Войны ещё нет, он ещё тут. Тем хуже. Теперь жди, томись. Один бы конец» (*Толстая С. А. Дневники. Указ. изд. Т. 1. С. 61 – 62*).

Весьма красноречивая эта запись, наверняка прочитанная Толстым (супруги в те годы давали друг другу на прочтение дневники), конечно же, напомним читателям такие же жалобы на «мужчин» «маленькой княгини», жены князя Болконского, перед отъездом его в действующую армию.

Отправляясь на войну, Андрей Болконский оставляет свою беременную жену Лизу со своим отцом и сестрой, княжной Марьей, в фамильном имении Лысые Горы, представляющем нам картины и образы неколебимо патриархальных нравов с их омрачённостью и суевериями. Его отец, генерал-аншеф князь Николай Андреевич Болконский, вот уже несколько лет безвыездно живёт в своём имении. Он отличается прямоотой своих суждений, суровостью и строгостью — которые, впрочем, унаследовал и сын. В споре с крайне консервативным отцом уже и князь Андрей оказывается в глазах того «поклонником Буонапарте» (*Война и мир. Кн. 1. С. 158 – 159*). Прощаясь с сыном, суровый князь хвалит того, что тот спешит к службе, а «не держится за бабью юбку», а княжна Марья вручает, несмотря на скепсис брата, характерный для обрядоверов лжехристианского мира колдовской оберег: образок Христа на цепочке (*Там же. С. 161 – 162, 165*). Кстати, и у самого князя были при себе, в любом походе, в любой поездке семейные реликвии, выражающие собственный его характер, и в их числе — «два турецких пистолета и шашка — подарок отца, привезённый из-под Очакова» (*Там же. С. 158 – 159*). Так

читателя “догоняет” в «Войне и мире» аромат полусказочного «очаковского курения», предмет детских воспоминаний и семейно-патриотической гордости Николеньки Иртенева и самого Льва Николаевича Толстого!

Во второй части Первого тома романа князь Андрей сталкивается, как и волонтёр, фейерверкер, после поручик Толстой с разочаровывающей прозой военной службы. В австрийском Браунау оказываются князь и другой персонаж книги — Фёдор Долохов, небогатый дворянин, насквозь испорченный мирским воспитанием: амбициозный офицер, самостоятельно прокладывающий себе дорогу в жизни, он за рискованное, со спиртным и медведем, «гуляние» в Петербурге (в котором участвуют также Пьер Безухов и другой порочный персонаж, Анатолий Курагин) пострадал более всех: был разжалован из офицерского чина и отправлен тётей родиной рисковать жизнью на войне — уже как простой солдат, принудительно. Кутузов, главнокомандующий армией, устраивает в Браунау смотр, сопровождающийся неразберихой, ради угодливости военных начальников царскому фавориту: солдат передевают то в парадную униформу, то снова в походную... Типичная для страны дураков ситуация с нетипичным финалом: за несоответствие формы установленной генерал грубо ругает «простого солдата» Долохова — и получает от «простого» военного раба тёти родины неожиданный словесный отпор, на который неспособны были обыкновенные солдаты (*ВиМ – 1. С. 173 – 174*). Такое же исключение из массы, но в офицерской среде — капитан Прохор Игнатьевич Тимохин, скромный, иногда и робкий перед начальством старый воин, которому чужды угодливость и карьеризм. Радуюсь за успешно отбитый смотр, генерал-ругатель оправдывается перед Тимохиным в личной беседе... трудностями «царской службы» — чувствуя при этом свою неправоту и нравственное превосходство и солдата Долохова, и маленького, скромнейшего командира роты Тимохина (*Там же. С. 177 – 178*).

Война, в которую ввязались эти люди, при всём внешнем благородстве *некоторых* личностей солдат и офицеров, обстановки, диктуемой эпохой — всё-таки, в существе своём, была тем же разбойничьим делом, пробуждающем в людях низшие свойства рассудка и души, что и новейшая в истории человечества, к несчастью, всё ещё идущая (и сегодня ровно год — 24 февраля 2023 г.) гнусная война бандитской и фашистской, путинской России с Украиной и всем

свободным миром. Это была так называемая Война Третьей коалиции против послереволюционной Франции — до 1804 года республиканской, сорвавшейся в имперство, реставрацию монархии, но всё-таки тяжело, понемногу, как и Украина в наши дни, учащейся более разумной и доброй жизни, нежели та, к которой и по сей день только и способен мрачный, жестокий, палаческий и страшный, страшный, страшный «русский мир»! Четырёхмесячная (с 25 сентября по 26 декабря 1805 г.) в которой прогрессивная Франция со своими слабыми союзниками (Испания, Бавария и Италия), но, слава Богу, с гениальным полководцем оборонялась от полчищ мощной Третьей коалиции, в которой России, привыкшей во все века не щадить «пушечного мяса», помогали главные европейские агрессоры: Австрийская империя, Великобритания и Швеция (к которым примкнуло убудочное, полуфейковое Неаполитанское королевство, справедливо связывавшее надежды на своё выживание с укреплением европейских монархий, включая реставрацию династии Бурбонов во Франции).

Как следствие, в поведении александровской орды в Европе проявились все обыкновенные свойства бандитских вылазок «классического» военного агрессора. Историкам о них известно безмерно больше, чем пожелал «знать» патристически настроенный автор «Войны и мира». Но даже на страницы романа, угрожая автору цензурой, проникли намёки на то, о чём Толстой-романист не мог хотя бы не намекнуть — не отступив уж слишком разительно от законов художественного реализма, от декларативно, со времён «Севастопольских рассказов», любезной ему правды. Вот, для примера, отрывок в главе VII – й Второй части, в которой русские вояки, нюхнув пороху от наполеоновского авангарда, единым бараньим стадом, давя друг друга, отступают на, конечно же, «заранее подготовленные позиции» за рекой Энс. Среди них, по несчастью, затесалась на мосту повозка мирных беженцев:

«...Форшпан на паре, нагруженный, казалось, целым домом; за форшпаном, который вёз немец, привязана была красивая, пёстрая, с огромным выем, корова. На перинах сидела женщина с грудным ребёнком, старуха и молодая, багроворумяная, здоровая девушка-немка.

Видно, по особому разрешению были пропущены эти выселявшиеся жители. Глаза всех солдат обратились на женщин, и, пока проезжала повозка, двигаясь шаг за шагом, все замечания солдат относились

только к двум женщинам. На всех лицах была почти одна и та же улыбка непристойных мыслей об этой женщине.

— Ишь, колбаса-то, тоже убирается!

— Продай матушкѹ, — ударяя на последнем слоге, говорил другой солдат, обращаясь к немцу, который, опустив глаза, сердито и испуганно шёл широким шагом.

— Эж убралась как! То-то черти!

[...] Несвицкий, как и все, бывшие на мосту, не спускал глаз с женщин, пока они не проехали» (*Там же. С. 206 – 207*).

Понятно, что в другой обстановке, нежели спасение собственных русских задниц, и без свидетелей в лице высшего офицерства, включая адъютанта Кутузова Несвицкого (сослуживца Андрея Болконского), всю семью ждала бы обыкновенная, многожды повторившаяся в 2022 году в Украине, участь безоружных беженцев в лапах жадных и похотливых мародѐров и убийц.

Иван Несвицкий, кстати, — один из числа столь же благородного меньшинства офицеров в российской армии. «Был бы я царь, никогда бы не воевал» — произносит он при виде гибнущих от ядер противника отступавших солдат (*Там же. С. 216*).

Реалии войны не щадят чувств князя Андрея не только картинами, подобными этим, столь осторожно описанным автором. Отвратительным контрастом сценам гибели и паники людей стало для него посещение, по долгу службы адъютанта, ставки австрийского военного министерства в Брюнне (в наши дни это город Брно в свободной, счастливой, демократической Чехии). Приехал он с известием о первой военной победе Коалиции 19 (31) октября 1805 г. близ г. Линца — той самой, эпизодом которых было баранье отступление русских. Но в атмосфере военно-придворной, в обществе министра с его «глупой, притворной» улыбкой князь Болконский быстро «почувствовал, что весь интерес и счастье, доставленные ему победой, оставлены им теперь и переданы в равнодушные руки военного министра и учтивого адъютанта. Весь склад мыслей его мгновенно изменился: сражение представилось ему давнишним, далѐким воспоминанием» (*Там же. С. 223*).

Князь останавливается в Брюнне у своего знакомого, русского дипломата Билибина. В посольстве сложился кружок членов дипломатического корпуса — своеобразных привилегированных паразитов на крови, пользователей войны, не менее равнодушных до её жертв, чем военный австрийский министр. Для этого кружка актуальны

были «свои, не имеющие ничего общего с войной и политикой, интересы высшего света, отношений к некоторым женщинам и канцелярской стороны службы» (*Там же. С. 230 – 231*).

Умный Билибин осаживает молодого князя в его надеждах на «Тулон» и предлагает Болконскому остаться на службе австрийского короля, предсказывая поражение армии Кутузова: «или не доедете до армии и мир будет заключён, или поражение и срам со всею кутузовскою армией». Но князь патриотично отказывается от предложения — рассчитывая, что именно бедственное положение армии, которую он может спасти, приближает его героический триумф, его «Тулон». «Мой милый, вы — герой» — только и отвечает ему насмешливо умница Билибин (*Там же. С. 236, 238 – 239*). Отвечает на французском языке, языке светских салонов — тем самым намекая, что не согласен с князем Болконским, и что его «героизм» для умного, опытного, зрелого человека, *русского европейца* своей эпохи — не более чем мальчишество и глупость.

И хотя заразительнее всего в человеческих практиках именно усладительная ложь, но и грустная, не без доли цинизма, правда умного дипломата об Александровой войне с прогрессивной Францией — поимела на князя Андрея своё влияние. Французы наступали, и Наполеон был полон решимости заставить русские полчища «с конца света», перенесённые в Европу посредством «английского золота», испытать позор австрийцев генерала Мака под Ульмом. Эта установка на справедливую, заслуженную победу, данная великим Наполеоном при начале кампании, в князе Болконском пробуждала «удивление к гениальному герою, чувство оскорблённой гордости и надежду славы» (*Там же. С. 240*).

Орда отступала... «Князь Андрей с презрением смотрел на эти бесконечные, мешавшиеся команды, повозки, парки, артиллерию и опять повозки, повозки и повозки всех возможных видов, обгонявшие одна другую и в три, в четыре ряда запружавшие грязную дорогу. Со всех сторон, назади и впереди, покуда хватал слух, слышались звуки колёс, громыхание кузовов, телег и лафетов, лошадиный топот, удары кнутом, крики понуканий, ругательства солдат, денщиков и офицеров. По краям дороги видны были беспрестанно то павшие ободранные и неободранные лошади, то сломанные повозки, у которых, дожидаясь чего-то, сидели одинокие солдаты, то отделившиеся от команд солдаты, которые толпами направлялись в соседние деревни или тащили из деревень кур, баранов, сено или

мешки, чем-то наполненные. На спусках и подъёмах толпы делались гуще, и стоял непрерывный стон криков. Солдаты, утопая по колена в грязи, на руках подхватывали орудия и фуры; бились кнуты, скользили копыта, лопались построики и надрывались криками груди. Офицеры, заведывавшие движением, то вперёд, то назад проезжали между обозами. Голоса их были слабо слышны посреди общего гула, и по лицам их видно было, что они отчаивались в возможности остановить этот беспорядок.

«Voilà le cher [фр. вот оно, милое] православное воинство» — подумал Болконский, вспоминая слова Билибина» (Там же. С. 240 – 241).

Он привёл в чувства по пути ошалевшего от обстановки офицера, с бессмысленной жестокостью, с кнутом напавшего на лекарскую кибитку, в которой сидела возбуждающе-беспомощная, испуганная жена полкового лекаря, и, в целом, по внешности с честью перенёс испытание «русским миром», как он есть; но душевно князь Андрей был смущён, снедаем «оскорбительными, мучившими его мыслями»: «Это толпа мерзавцев, а не войско. ...Всё мерзко, мерзко и мерзко» (Там же. С. 242).

Настояв на своём «пути героя», князь Андрей присоединился к армии Багратиона — как раз накануне его Шёнграбенского торжества 4 (16) ноября 1805 г. Но ещё до самого «дела» к его отрицательным впечатлениям присовокупилось ещё одно, от расправы во взводе гренадёр над раздетым для экзекуции солдатом, обвинённым в воровстве:

«Двое солдат держали его, а двое взмахивали гибкие прутья и мерно ударяли по обнажённой спине. Наказываемый неестественно кричал. Толстый майор ходил перед фронтом и, не переставая и не обращая внимания на крик, говорил:

— Солдату позорно красть, солдат должен быть честен, благороден и храбр; а коли у своего брата украл, так в нём чести нет; это мерзавец. Ещё, ещё!

И всё слышались гибкие удары и отчаянный, но притворный крик. — Ещё, ещё, — приговаривал майор.

Молодой офицер, с выражением недоумения и страдания в лице, отошёл от наказываемого, оглядываясь вопросительно на проезжавшего адъютанта» (Там же. С. 253 – 254).

В этой сцене отвратно не только притворство вора. Мелкое, одного человека, воровство — конечно же, грех человека перед замыслом о нём Всевышнего, так как отбрасывает его личность в глубокую

нравственную низость — в первобытное, до Божьего Творения человека на Земле, прошлое: к «предковым формам», чьё поведение было близко к известным нам, всегда вороватым, обезьянам. Но ведь ни статус вора в лжехристианском обществе, ни масштабность и системность, ни многовековая долговременность воровства — ничего перед Божьей правдой-Истиной не оправдывают! А государство Российское возникло в глубокой древности именно как вооружённая разбойничья кодла, на хороших конях и с оружием, собиравшая откуп, «дань» с безоружных, мирно трудящихся людей — за право не быть убитыми и ограбленными. Когда впоследствии конкурентов в грабеже стало много (ибо всегда приятнее для поражённой грехом природы человека ограблять чужой труд, нежели отдавать свой), потребовалась институционализация: явились места сбора дани и крепости, где пряталось награбленное от ограбленных, а вооружённые грабители стали защищать «своё» человечье стадо от конкурентов в грабеже. Таким образом, «православное воинство», проще говоря, армия России, а в особенности её руководство всех уровней — как искони были воры, так и остались ими по сущности. Налоги, поглощаемые «оборонкой», идущие, значительной частью, на пропаганду войны и обоснование «необходимости» военщины и государства — разве что-то иное, как не ограбленный у обманутых людей труд? Вот почему, всякое наказание в России, от имени государства, за мелкое воровство обыкновенного «гражданина», то есть не сумевшего наворовать ловчее лошка, является поистине гомерическим лицемерием!

И такое же лицемерие наверняка ощутил князь Андрей в речах разжалованного Долохова, встреченного им в цепи, готовой атаковать французов. Цепи сошлись очень близко, и солдаты противных сторон видели лица друг друга, а Долохов, во весь роман как будто «пахнувший» дрянным «русским миром» — омрачённостью, самомучительством, кровью, смертью... — не преминул по-французски подразнить простецов-солдатиков Наполеона:

«— Вас заставят плясать, как при Суворове вы плясали! — сказал Долохов.

— Qu'est-ce qu'il chante? [Что он там поёт?] — сказал один француз.

— De l'histoire ancienne, [Древняя история,] — сказал другой, догадавшись, что дело шло о прежних войнах» (Там же. С. 255).

Характерная деталь, не правда ли? И по сей день Россия, даже вляпанная в безусловные преступления против Бога и человечества, основывает свою ложную, языческую самоуверенность орды пошитых

в дурни, вещающих о мнимых «правах» на реванш, на ультиматумы в отношении «западных врагов» — как раз на перетолкованных, героизированных событиях прошлого, зачастую не менее преступных.

Русские солдаты, хотя и не понимали перебранки Долохова, отнеслись к ней по заслугам — насмешливо. Долохова стали передразнивать, и от русских солдат весёлым хохотом заразились и французы: «...После этого нужно было, казалось, разрядить ружья, взорвать заряды и разойтись поскорее всем по домам.

Но ружья остались заряжены, бойницы в домах и укреплениях так же грозно смотрели вперёд и так же, как прежде, остались друг против друга обращённые, снятые с передков пушки» (*Там же. С. 255 – 256*).

Обманутые своими правительствами, натравленные друг на друга, но никогда, в нормальных условиях мирной повседневности, не сумевшие бы найти причин для взаимной неприязни, мирные, добрые простые люди все (кроме ретировавшегося от позора Долохова) менее всего желали драться, убивать друг друга — но не могли выйти из того деструктивного системного состояния, в которое были вовлечены такими же (и более «высокопоставленными») слугами лжи и смерти, как злосчастный Долохов.

И вот — неизбежный итог: после ещё одной неприятной сцены, когда князь Андрей Болконский был вынужден защищать перед Багратионом героического, но кроткого и лично симпатичного князю батарейного командира капитана Тушина:

«Князю Андрею было грустно и тяжело. Всё это было так странно, так непохоже на то, чего он надеялся» (*Там же. С. 287*).

В этом разочаровании в реальной войне чувства князя готов к этому времени разделить ещё один из числа важнейших персонажей книги, Николай Ильич Ростов. Кстати, как мы уже упомянули в начале книги, для этого персонажа существует совершенно определённый прототип — отец Л. Н. Толстого, Николай Ильич Толстой. Как и отец писателя, каким его запомнил сын, герой этот отличается «стремительностью и восторженностью», он весел, открыт, доброжелателен и эмоционален. В начале романа ему было 20 лет, и он студент университета, готовый, однако, бросить учение, чтобы служить в армии и принять участие в борьбе против Наполеона. Юноша искренне считает, что армия является его призванием.

Подруга детства княжны Марьи, глупышка Жюли Карагина, высоко отзываясь в письме о достоинствах личности Николая Ростова, предмета её симпатий, сообщала о его отъезде с сожалением, как о юноше «чистом и полном поэзии» (*ВиМ – 1. С.142*). Княжна Марья утешает подругу в ответном письме, напоминая, что «христианская любовь к ближнему, любовь к врагам достойнее, отраднее и лучше, чем те чувства, которые могут внушить прекрасные глаза молодого человека молодой девушке, поэтической и любящей, как вы» (*Там же. С. 145*).

Мы остановили внимание читателя на этом эпизоде лишь для того, чтобы напомнить степень идиотизма, до которого могут доходить тенденциозные «аналитики» романа: Геннадий Гололоб, статью которого мы представили читателю в начале данной главы, характеризует процитированные выше слова княжны Марьи в утешение подруге, от которой убыл потенциальный жених, как свидетельство её, княжны, *христианского пацифизма*. Удостоив Гололоб вниманием, то есть прочтением, не то, что весь роман, а хотя бы главы о жизни княжны с отцом в Лысых Горах — баптистский идиот убедился бы, что, как ни кротка была милая княжна, а по отношению к «защите отечества» вполне была склонна разделить позицию не сектантов, а отца, брата и родной, возлюбленной своей, духовно её напитавшей Православной российской церкви.

Но движемся далее... В деле у переправы через Энс поэтический и любящий Николай Ростов в первый раз «понюхал пороху» — по выражению своего товарища по Павлоградскому гусарскому полку, замечательного Василия Денисова — одного их самых положительных персонажей романа, жизнелюбивого и гуманного, несмотря на удивительную храбрость, как мы помним, высоко ценимую Львом Толстым ещё в годы собственной военной службы на Кавказе. Образ и характеристика Василия Денисова в романе соответствуют историческому портрету знаменитого *Дениса Васильевича Давыдова* (1784 – 1839), гусара, партизана и поэта, не принимавшего, правда, активного участия в действиях Третьей антинаполеоновской коалиции в 1805 – 1806 гг. Умный и опытный Денисов хорошо понимает чувства Ростова: «каждому было знакомо то чувство, которое испытал в первый раз необстрелянный юнкер» (*Там же. С. 218*).

На глазах Николая Ростова смертельно ранит на мосту одного из гусаров:

«Николай Ростов отвернулся и, как будто отыскивая чего-то, стал смотреть на даль, на воду Дуная, на небо, на солнце. Как хорошо показалось небо, как голубо, спокойно и глубоко! Как ярко и торжественно опускающееся солнце! Как ласково-глянцовито блестела вода в далёком Дунае! И ещё лучше были далёкие, голубеющие за Дунаем горы, монастырь, таинственные ущелья, залитые до макуш туманом сосновые леса... там тихо, счастливо... “Ничего, ничего бы я не желал, ничего бы не желал, ежели бы я только был там, — думал Ростов. — Во мне одном и в этом солнце так много счастья, а тут... стоны, страдания, страх и эта неясность, эта поспешность... Вот опять кричат что-то, и опять все побежали куда-то назад, и я побегу с ними, и вот она, вот она, смерть, надо мной, вокруг меня... Мгновенье — и я никогда уже не увижу этого солнца, этой воды, этого ущелья”...

В эту минуту солнце стало скрываться за тучами... И страх смерти и носилок, и любовь к солнцу и жизни — всё слилось в одно болезненно-тревожное впечатление.

“Господи Боже! Тот, Кто там в этом небе, спаси, прости и защити меня!” — прошептал про себя Ростов» (*Там же. С. 217 – 218*).

Это недовольство Ростовым собой, своей «трусостью» — на деле более глубокое, нежели тогдашнее отвращение к происходящему князя Андрея, состояние: ощущение бессмысленности и безусловности, абсолютности зла совершаемого вокруг него людьми. То же остранённое восприятие, в сопряжении с живым прекрасным пейзажем, характеризовало, как мы помним, наблюдения юного волонтера, персонажа «Набега».

Но ощущение это — гасится в зачатке волей героя, опирающейся на внушение воспитателей. В главе VII Третьей части автор сводит Николая с Андреем — и Ростов, приняв князя Болконского за «штабного», неприкрыто гордится своим участием в «деле» под Шёнграбеном и своим лёгким ранением. Князь деликатно отклоняет попытку Ростова оскорбить его — дав почувать ему как своё, опытом жизни, превосходство, так и неосновательность гордости Ростова участием в массовом убийстве (*Там же. С. 348 – 349*). Впрочем, семена антивоенного скепсиса, зароненные князем Андреем, не прорастут в сознании Николая Ростова.

Именно князю Андрею суждено пройти путь к очевидности до конца.

Третья часть Первого тома романа, по заданному Толстым для себя алгоритму, возвращает нас в «мирную» московскую жизнь, именно в семейство Ростовых — к сестре Николая Наташе и младшему брату Пете. Рискующее разорением от желания следовать сословным преданиям семейство по этой же причине: внушённым сыновьям преданию о достоинстве для дворянина и о героизме военной службы — рисковало в эту зиму, 1805 – 1806 гг., и самими детьми: Николая смерть обошла: был «немножко ранен, но произведён в офицеры», но завидующий старшему брату девятилетний Петя уже мечтает сделать кучу из убитых лично им французов. И при этом, совершенно справедливо, на реплику сестры Наташи: «Петя, ты глуп» — отвечает серьёзно: «Не глупее тебя, матушка» (*Там же. С. 335 – 337*). Действительно, Наташа Ростова, как и её прототипы, именно жена Л. Н. Толстого вкупе с младшею её сестрой, весьма симпатичной мордашкой, Татьяной Андреевной Берс — при всём их «вольнодумстве», по существу — воспитанницы всё того же патриархального и сословного общества, отводящего членам своим вполне определённые одобряемые им роли. Пете, по сюжету романа, суждено погибнуть от последования учению мира, Наташе же, напротив — жестоко от мирского обмана пострадать и быть сломленной им в своих благороднейших мечтах и чаяниях — вплоть до утешения религией на парочку с княжной Марьей.

До какой степени влияет, как актуализирует себя в психике человеческих индивидов и общностей мирское воспитание, внушение, иллюстрирует следующий большой эпизод Третьей части — смотр кутузовских полков в Ольмюце, с участием императора (Том 1. Часть третья. Глава VIII). Стоя «в первых рядах», Николай Ростов разделит с ордой сослуживцев «чувство самозабвения, гордого сознания могущества и страстного влечения к тому, кто был причиной этого торжества» (*Там же. С. 351*). То есть, по существу, заразительный атавистический первобытный психоз обожания стайного боевого самца — в отношении Верховного Обезьяна, вожака стаи: в данном случае, самого императора Александра I. Все «сакральные» авторитеты, по существу, восходят к тому же атавизму, зоологическому пережитку в природе человека как животного: будь то идолопоклонники лжехристианства православия, бросавшиеся во времена Толстого в ножки «батюшке чудотворному» Иоанну Сергиеву, по кличке «Кронштадтский», или собранные по тюрьмам вооружённые на войну в

Украине убийцы, надрачивающие в наши дни при одном имени Путина, Суровикина или Пригожина.

Вчитаемся в это пронизательное описание, в котором верный психологической правде Толстой-художник сказал больше, чем смог бы Толстой-публицист в те же 1860-е годы:

«Он чувствовал, что от одного слова этого человека зависело то, чтобы вся громада эта (и он, связанный с ней, — ничтожная песчинка) пошла бы в огонь и в воду, на преступление, на смерть или на величайшее геройство, и потому-то он не мог не трепетать и не замирать при виде этого приближающегося слова.

— Урра! Урра! Урра! — гремело со всех сторон, и один полк за другим принимал государя звуками генерал-марша; потом “урра!...” генерал-марш и опять “урра!” и “урра!!”, которые, всё усиливаясь и прибывая, сливались в оглушительный гул.

Пока не подъезжал ещё государь, каждый полк в своей безмолвности и неподвижности казался безжизненным телом; только сравнивался с ним государь, полк оживлялся и гремел, присоединяясь к реву всей той линии, которую уже проехал государь. При страшном, оглушительном звуке этих голосов, посреди масс войска, неподвижных, как бы окаменевших в своих четвероугольниках, небрежно, но симметрично и, главное, свободно двигались сотни всадников свиты и впереди их два человека — императоры. На них-то безраздельно было сосредоточено сдержанно-страстное внимание всей этой массы людей.

Красивый, молодой император Александр, в конно-гвардейском мундире, в треугольной шляпе, надетой с поля, своим приятным лицом и звучным, негромким голосом привлекал всю силу внимания. Ростов стоял недалеко от трубачей и издали своими зоркими глазами узнал государя и следил за его приближением.

Когда государь приблизился на расстояние 20-ти шагов и Николай ясно, до всех подробностей, рассмотрел прекрасное, молодое и счастливое лицо императора, он испытал чувство нежности и восторга, подобного которому он ещё не испытывал. Всё — всякая черта, всякое движение — казалось ему прелестно в государе.

Остановившись против Павлоградского полка, государь сказал что-то по-французски австрийскому императору и улыбнулся.

Увидав эту улыбку, Ростов сам невольно начал улыбаться и почувствовал ещё сильнейший прилив любви к своему государю. Ему хотелось выказать чем-нибудь свою любовь к государю. Он знал, что это невозможно, и ему хотелось плакать.

“Боже мой! что бы со мной было, ежели бы ко мне обратился государь! — думал Ростов: — я бы умер от счастья”.

[...] “Только умереть, умереть за него!” – думал Ростов.

Государь ещё сказал что-то, чего не расслышал Ростов, и солдаты, надсаживая свои груди, закричали: “урра!”

Ростов закричал тоже, пригнувшись к седлу, что было его сил, желая повредить себе этим криком, только чтобы выразить вполне свой восторг к государю.

[...] Когда смотр кончился, [...] более всего во всех кружках говорили о государе Александре, передавали каждое его слово, движение и восторгались им.

Все только одного желали: под предводительством государя скорее идти против неприятеля. Под команду самого государя нельзя было не победить кого бы то ни было, так думали после смотра Ростов и большинство офицеров.

Все после смотра были уверены в победе больше, чем бы могли быть после двух выигранных сражений» (Там же. С. 351 – 354).

Послушные инстинктам зверюшки Дарвина из русской орды уже словно умертвлены: обращены в толпу, в *безжизненные тела* одинаковых полков, гальванизируемое только самыми примитивными раздражителями. Возрождение к жизни происходит, но так же, как происходит, к примеру, реанимация человека, сильнейше отравленного алкоголем: человек уже не тот, и последствия интоксигирующего удара по мозгу, нервной системе и всему организму не заставят ждать себя. Так во времена карательной психиатрии в СССР издевались, под видом лечения, над мозгом и психикой инакомыслящих, протестовавших против политики коммунистических бандитов в самом СССР и странах «соцлагеря». И так же, но обыкновенно меньшими дозами, производится отравление, хотя и не медикаментозное, а именно психическое, заражение детей и малодумающих взрослых в путинской фашистской России 2020-х — через официальные военно-патриотические мероприятия, телевидение и пр. Итог один: люди, в повседневной жизни распинающие ежедневно Христа своим нежеланием даже в XXI веке, через 2000 лет после Христа, жить по-Божьи, повседневно убивающие Христа своими большими

и малыми грехами — не только преднамеренными, но и оформленными в систему греховодничества, участие в которой общественно одобрено, а зачастую и необходимо — готовы «в огонь и в воду, на преступление, на смерть» по выкрикам мирских своих вожаков — лукавых, обманывающих и ограбляющих мирный труд этих же людей и паразитирующих на атавистической, вредной работе животных, обезьяньих, бессознательных поведенческих программ, принуждающих «человека разумного» к самому неразумному повиновению.

Вот по отношению к которому эпизоду должны бы были прозвучать в романе знаменитые слова Толстого о «великих» и «величии» в истории, сопряжённые в его тексте с несправедливой критикой и очернением Наполеона:

«...Когда уже невозможно дальше растянуть столь эластичные нити исторических рассуждений, когда действие уже явно противно тому, что всё человечество называет добром и даже справедливостью, является у историков спасительное понятие о величии. Величие как будто исключает возможность меры хорошего и дурного. Для великого — нет дурного. Нет ужаса, который бы мог быть поставлен в вину тому, кто велик.

[...] И никому в голову не придет, что признание величия, неизмеримого мерой хорошего и дурного, есть только признание своей ничтожности и неизмеримой малости.

Для нас, с данною нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды» (ВнМ – 2. С. 643 – 644).

Ничего не только христианского, но и великого в древнем, языческом смысле слова не было ни в зависти Алексадра I лично к Наполеону, ни в ненависти и страхах русской и ряда иных европейских монархий в отношении к Франции, ни в Антифранцузских коалициях, в которых разбойничьи участвовала Россия, включая сюда и авантюру т. н. Отечественной войны 1812 года, ни, наконец, в использовании разбойничьим гнездом под названием Российская Империя для своих авантур в Европе военных рабов, то есть солдат, набранных по преимуществу из числа рабов владельческих, крепостных крестьян.

Исходя даже из архаической, дохристианской системы представлений — Наполеон, стремившийся в 1812 году перезаключить мир, избежать войны и только совершивший роковую ошибку, погнав своё

доблестное войско в пустоши русской орды, защищал свою страну так же, как в наши дни защищают себя, и снова от того же разбойника, от России, Украина и весь свободный демократический мир. Даже пресловутое «вторжение» его в Россию — было превентивным ударом по собиравшему силы для похода на Францию агрессору, а в ответном сопротивлении возмущённого грабежами, напуганного, либо просто обманутого и согнанного в орду населения — было не больше великого и «отечественного», чем было в 1940-х — в сопротивлении большевицких колхозных и красноармейских рабов недавнему союзнику СССР по ненависти к европейской цивилизации — реваншистской гитлеровской Германии.

Историю, к сожалению, пишут *победители по войнам, а не по жизни*: мирной, разумной и доброй — во всяком случае, ту официальную «историю», которую, как источник сведений своих о войнах России против Наполеона, использовал Лев Николаевич Толстой. Именно те преступники, диктаторы, либо просто халтурщики, кто захватил либо удержал власть, спешат изваять «единый истинный» учебник истории для детей и «единый истинный» набор книжек для взрослых, любопытных до истории, в которых заданы как «мера хорошего и дурного», так и образчики «величия». Толстой как «писатель-исследователь» истории — не более чем последователь в русле заданных, общепринятых референтной для него социокультурной общностью мифологем.

Между тем, император российский, а совсем не Наполеон, более всего нелеп в эпизоде 16 ноября 1805 года, предшествующем главной, заслуженно позорной для него Аустерлицкой битве:

«Сражение, состоявшее только в том, что захвачен эскадрон французов, было представлено как блестящая победа над французами, и потому государь и вся армия, особенно пока не разошёлся ещё пороховой дым на поле сражения, верили, что французы побеждены и отступают против своей воли. [...] В самом Вишау, маленьком немецком городке, Ростов ещё раз увидал государя. На площади города, на которой была до приезда государя довольно сильная перестрелка, лежало несколько человек убитых и раненых, которых не успели подобрать. Государь, окружённый свитой военных и невоенных, был на рыжей, уже другой, чем на смотру, англазированной кобыле и, склонившись на бок, грациозным жестом держа золотой лорнет у глаза, смотрел в него на лежащего ничком, без кивера, с окровав-

ленною головою солдата. Солдат раненый был так нечист, груб и гадок, что Ростова оскорбила близость его к государю. Ростов видел, как содрогнулись, как бы от пробежавшего мороза, сутуловатые плечи государя, как левая нога его судорожно стала бить шпорой бок лошади, и как приученная лошадь равнодушно оглядывалась и не трогалась с места. Слезший с лошади адъютант взял под руки солдата и стал класть на появившиеся носилки. Солдат застонал.

— Тише, тише, разве нельзя тише? — видимо, более страдая, чем умирающий солдат, проговорил государь и отъехал прочь.

Ростов видел слёзы, наполнившие глаза государя, и слышал, как он, отъезжая, по-французски сказал Чарторижскому:

— Какая ужасная вещь война, какая ужасная вещь! *Quelle Au terrible chose que la guerre!*» (Толстой Л. Н. *Война и мир*. Указ. изд. Кн. 1-я. С. 364 – 365).

Немногим позднее, в описании финала Аустерлицкой славной и заслуженной победы великого Наполеона Бонапарта читатель встретит значительно благороднейшее отношение императора французского по отношению к раненному (которым будет князь Андрей) и мужественное — по отношению к самой войне.

Поведение в армии латентного педераста Александра I не военное, и даже не очень-то мужское. И если простые гусары, офицеры и солдаты опьянены и ослеплены зоологическим обожанием сакрализованного ложной верой самца-вожака, то у более здравомысленных людей в дни Аустерлица было иное мнение — передать которое, хотя и не напрямую, Толстой не преминул. Эпизод этот, кстати, как и вышеизложенный, подтверждается источниково. В день своего позора император торопит М. И. Кутузова с началом наступления, на что получает отповедь полководца: «Мы не на параде и не на Царицыном лугу!» (то есть, на плацу в Петербурге, именовавшемся позднее Марсово поле, где император принимал парады) (Там же. С. 395 – 396). Не имея подцензурных возможностей написать об этом прямо, Толстой описанием последовавшего сражения даёт почувствовать, понять, что присутствие обожаемого императора сыграло в поражении русской орды под Аустерлицем свою роль.

Князь Андрей, между тем, существенно скорректировал свои мечты о «Тулоне», о славе. Накануне Аустерлицкой битвы, в ночь после военного совета, он уже раздумывает о риске жизнью, о возможной гибели своей — как цене всё ещё вожделенного подвига! Бессонными ночными часами он во всех подробностях воображает себе

сценарий именно славы, славы... И вдруг слышит, как берейтор во дворе Кутузова дразнит повара:

«Тит, а Тит? – Ну? – отвечал старик. – Тит, ступай молотить» (*Там же. С. 378*).

И эта же неумная шутка берейтора повторяется в другом эпизоде, хронологически — уже после несчастливого сражения:

«— Тит, а Тит! — сказал берейтор.

— Чего? — рассеянно отвечал старик.

— Тит! Ступай молотить.

— Э, дурак, тьфу! — сердито плюнув, сказал старик. Прошло несколько времени молчаливого движения, и повторилась опять та же шутка» (*Там же. С. 411*).

Отчего-то писателю было важно, чтобы читатели обратили внимание на этот незатейливый диалог. Обратим внимание, что повторяется он, словно зеркальное отражение — *до* и *после* катастрофической Аустерлицкой битвы, причём вослед за описанием совершенного, опустошённого разочарования и отчаяния Николая Ростова, пережившего опасность гибели и плена, в буквальном смысле «сбежавшего от смерти в кусты», при виде беглого кумира своего Александра I и, в особенности, при виде вот такой ужасающей картины живых и мёртвых на «поле брани»:

«Он въехал в то пространство, на котором более всего погибло людей, бегущих с Працена. [...] На *поле*, как *копны на хорошей пашне*, лежало человек десять, пятнадцать убитых, раненых на каждой десятине места. Раненые сползались по два, по три вместе, и слышались неприятные, иногда притворные, как казалось Ростову, их крики и стоны» (*Там же. С. 408. Выделение наше. – Р. А.*).

Настойчивые упоминания Толстым *пахоты*, *боронования* (этимологически родственно с «бранью»), и *молотьбы* — совершенно не случайны. А. М. Ранчин и Л. И. Соболев находят в этих образах огромную, даже «многослойную» антивоенную символику. Во-первых, «поддразнивающая, автоматически повторяющаяся реплика кучера, вопрос, не требующий ответа, выражает и подчёркивает абсурдность и ненужность войны». Во-вторых, само «имя Тит символично: Святой Тит, праздник которого приходится на 25 августа старого стиля, в народных представлениях ассоциировался с молотьбой (на это время приходился разгар молотьбы) и с грибами (на 28 августа приходится память преподобного Тита Печерского, бывшего во-

ина). [...] Несомненно, это символическое значение имени Тита поддерживалось для Толстого тем, что праздник святого Тита был кануном Бородинского сражения (26 августа старого стиля) одного из самых кровопролитных в истории войн с Наполеоном. Значимо и то, что в ночь накануне Бородинского сражения князь Андрей вспоминает рассказ Наташи о том, как она ходила в лес за грибами (т. 3, часть вторая, гл. XXV). Урожай грибов ассоциируется с громадными потерями обеих армий в Бородинской битве и со смертельным ранением князя Андрея при Бородине». И, наконец, по версии А. М. Ранчина, в этой «отражённой» через море крови шутке выразилась «ирония писателя по адресу незадачливого полководца Александра I: имя Тит было нарицательным обозначением правителя» (Цит. по: *Соболев А. И. Путеводитель по книге Л. Н. Толстого «Война и мир»: В 2-х ч. М., 2012. Часть 2-я. С. 63*).

Последнюю версию поддерживают и страшные образы «людей-копен» на «поле брани»:

«Как пишет А. М. Ранчин, “уподобление поля битвы пашне традиционно для народной поэзии; в “Слове о полку Игореве” содержится противопоставление битвы пахоте. У Толстого это контраст под видом сравнения, осквернение земли убийством, зловещий урожай смерти”» (Там же. С. 68). То есть, Толстой *расподобляет* образ-стереотип «поля брани», ставит вне закона сравнение насущного мирного труда с бессмысленным служением человека зверству!

С «Титом-же полководцем», незадачливым завистником Наполеона и международным интриганом императором Александром образ копен в поле связан гораздо очевиднее: латентно гомосексуальный император ведёт себя ещё накануне битвы, как трус, как баба — а сгребание, увязывание и даже погрузка на телеги копен сена почиталось среди русских крестьян традиционно *бабьим* занятием. Незадачливого «Тита» Романова народ зовёт, выражаясь уже фигурально, «пожать то, что посеял».

Кстати, после Аустерлицкого позора реальный, исторический Александр тоже поведёт себя по-бабьи: в поражении будет винить союзников, австрийцев, а от Кутузова потребует отставки, означавшей, по существу, опалу и немилость.

Такая непростая символика на нашем пути анализа романа встречается не напрасно. Мы подошли вплотную к одному из самых знаменитых эпизодов «Войны и мира», который бы можно было назвать

и ключевым, сложись под пером Толстого иначе судьба его главного участника.

Сцена паники русского войска, глава XVI Третьей части... Залп французов сражает подпрапорщика, нёсшего батальонное знамя. Кутузов в тоске адресуется к своему адъютанту с риторическим вопросом: «Болконский, что ж это?», на который наш герой не преминул тут же приступить пространно ответить действием:

«...Князь Андрей, чувствуя слёзы стыда и злобы, подступавшие ему к горлу, уже соскакивал с лошади и бежал к знамени.

— Ребята, вперёд! — крикнул он детски-пронзительно.

“Вот оно!” – думал князь Андрей, схватив древко знамени и с наслаждением слыша свист пуль, очевидно, направленных именно против него. Несколько солдат упало.

— Ура! — закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжёлое знамя, и побежал вперёд с несомненною уверенностью, что весь батальон побежит за ним.

Действительно, он пробежал один только несколько шагов. Тронулся один, другой солдат, и весь батальон с криком “ура!” побежал вперёд и обогнал его. Унтер-офицер батальона, подбежав взял колебавшееся от тяжести в руках князя Андрея знамя, но тотчас же был убит. Князь Андрей опять схватил знамя и, волоча его за древко, бежал с батальоном. Впереди себя он видел наших артиллеристов, из которых одни дрались, другие бросали пушки и бежали к нему навстречу; он видел и французских пехотных солдат, которые хватали артиллерийских лошадей и поворачивали пушки. Князь Андрей с батальоном уже был в 20-ти шагах от орудий. Он слышал над собою непрерывавший свист пуль, и беспрестанно справа и слева от него охали и падали солдаты. Но он не смотрел на них; он вглядывался только в то, что происходило впереди его — на батарее. Он ясно видел уже одну фигуру рыжего артиллериста с сбитым на бок кивером, тянущего с одной стороны банник, тогда как французский солдат тянул банник к себе за другую сторону. Князь Андрей видел уже ясно растерянное и вместе озлобленное выражение лиц этих двух людей, видимо, не понимавших того, что они делали.

“Что они делают? — думал князь Андрей, глядя на них: — зачем не бежит рыжий артиллерист, когда у него нет оружия? Зачем не колет его француз? Не успеет добежать, как француз вспомнит о ружье и заколет его”.

Действительно, другой француз, с ружьём наперевес подбежал к борющимся, и участь рыжего артиллериста, всё еще не понимавшего того, что ожидает его, и с торжеством выдернувшего банник, должна была решиться. Но князь Андрей не видал, чем это кончилось. Как бы со всего размаха крепкою палкой кто-то из ближайших солдат, как ему показалось, ударил его в голову. Немного это больно было, а главное, неприятно, потому что боль эта развлекала его и мешала ему видеть то, на что он смотрел.

“Что это? я падаю? у меня ноги подкашиваются”, подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба — высокого неба, не ясного, но всё-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нём серыми облаками. “Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, — подумал князь Андрей, — не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, — совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!...” (Толстой Л. Н. *Война и мир*. Указ. изд. Кн. 1-я. С. 400 – 401).

И ниже, в заключительной в Первом томе, XIX – й, главе Третьей части:

«На Праценской горе, на том самом месте, где он упал с древком знамени в руках, лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью, и, сам не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном.

К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, как долго продолжалось его забытьё. Вдруг он опять почувствовал себя живым и страдающим от жгучей и разрывающей что-то боли в голове.

“Где оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидал нынче?” было первою его мыслью. “И страдания этого я не знал также, — подумал он. — Да, я ничего, ничего не знал до сих пор. Но где я?”

Он стал прислушиваться... Он раскрыл глаза. Над ним было опять всё то же высокое небо с ещё выше поднявшимися плывущими облаками, сквозь которые виднелась синюющая бесконечность» (*Там же. С. 414*).

Это кощунственно было бы не процитировать именно так — пространно и без купюр. Небу не ведомы границы — ни в ширь, ни в глубину. И очень важный шаг к Богу — бессознательно, но сделан был князем Андреем именно под небом Аустерлица! Трудно представить, насколько короче, и короче ли, оказался путь к пробуждению возлюбленного автором персонажа к жизни духовной от мирской — окажись таковым, и на месте князя Болконского, чувствительный и склонный к созерцанию Николай Ростов. Ниже мы увидим, что и князь Андрей был склонен оттолкнуть свой крест: рождение в себе — апеллируя к излюбленным Л. Н. Толстым евангельским образам — *Птицы Небесной*, то есть человека, несущего в себе по жизни Небо: готового слить свою волю с волей Бога, отдать себя в Его волю совершенно, сораспяться Христу...

Жизнь теперь показалась князю Андрею «столь прекрасною, потому что он так иначе понимал ей теперь» (*Там же. С. 415*).

Иное жизнепонимание!.. Жизнепонимание Христа. Андрей, именно князь, то есть ещё раб Божий, совершенно прав, когда подумалось ему, что прежде «страдания этого он не знал». Всю картину можно уподобить родам. Стоны его — как стоны беременного, готового родить дитя. Или, быть может, крики матери-птицы, готовой к появлению птенца? Боль же в голове — от разрывания “пуповину”, связывающую с прежним — и прежней, полудетской, жизнью, и с прежним жизнепониманием.

Увенчались ли тогда же “схватки” духовными “родами”? Как помнит наш читатель — нет и нет. Великое Небесное было грубо прервано великим же, но Земным: над князем Андреем, «лежавшим навзничь с брошенным подле него древком знамени», явился, ложным средостением с Небом, сам Наполеон:

«Князь Андрей [...] знал, что это был Наполеон — его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нём облаками. Ему было совершенно всё равно в эту минуту, кто бы ни стоял над ним, что бы ни говорил о нём...» (*Там же*).

Волею Наполеона князь Андрей был поднят и отправлен к врачу — к великолепному, знаменитому Жану Доминику Ларрею (фр. Dominique-Jean Larrey; 1766 — 1842), французскому Пирогову. И тот отстоял, отобрал у смерти ещё одну, уже зацепленную ею, жертву...

На перевязочном пункте недавний кумир и герой Андрея Болконского обратился к нему лично, но не был удостоен ответом:

«Ему так ничтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так мелочен казался ему сам герой его, с этим мелким тщеславием и радостью победы, в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял, — что он не мог отвечать ему.

[...] Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысла которой никто не мог понять и объяснить из живущих» (*Там же. С. 417*).

Тайна позволила прикоснуться к себе — но не раскрылась тогда же: раб остался рабом, не пробудившись к осознанию своего сыновства в Отце, в Боге. А мир “тащил” уже Андрея Болконского назад, на себя, к себе, в себя: и не только добрые воспоминания о Лысых Горах, о жене, отце и сестре, но и развенчанный перед Высшей Правдой, *почувствованной* в её присутствии в мире князем Андреем — недавний его кумир, теперь просто «маленький Наполеон с своим безучастным, ограниченным и счастливым от несчастья других взглядом» (*Там же. С. 418*). Он символизировал *защиту Отечества, победу, славу* и всё то, что оставалось значительным для близких, молившихся далеко, в России, о его возвращении. На груди своей князь Андрей нашарил образок княжны Марьи, символическое выражение идолопоклонства людей, так и проживающих жизнь, не услышав ни разу шёпот Небес, не поглядев на мир *иными глазами* — *Птицы Небесной*. Кажется, именно этот грузик на золотом цепочечном аркане “притянул” раба Андрея уже совершенно назад, к земле с её суетами и неправдами. И князю, теперь уже снова князю Андрею, осталось лишь сожалеть о неотвеченности ему — то есть, если точнее, неготовности его воспринять ответы, которые всегда наготове у Неба — на вопросы о смысле жизни и её, давшем князю Андрею отсрочку, смертном исходе:

«Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнее!» (*Там же. С. 418*).

Деталь, мимо которой проходят многие исследователи: среди пленных пред Наполеоном предстаёт 19-тилетний подпоручик, граф Павел Петрович Сухтелен (нидерл. Paul Graaf van Suchtelen; 1788—1833), с его дерзким, знаменитым ответом Наполеону: «Молодость не мешает быть храбрым!». Ответ восхитил Человека Мира, и он изрёк в ответ юному храбрецу: «Молодой человек, вы далеко пойдёте!» (*Там же. С. 417*).

Но в Томе четвёртом, как наверняка помнит читатель, споёт свою недлинную песенку храбрости очарованный Петя Ростов, судьбою своею указывая, сколь недолог может быть такой путь юных «героев»: до первой нелепой ямы, куда нелепо свалит тебя нелепая, шальная пуля...

Вопреки “изобличениям” Толстого в едва ли не пожизненном руссоизме, он всегда сохранял вполне христианский антропологический пессимизм: на одного человека, родившегося духовно, приходится очень немало, отдающих жизнь за обманы и соблазны мира!

ВТОРОЙ ТОМ

Второй Том, несмотря на его репутацию Тома «мирного», на самом деле, не менее любопытен для нашей темы, нежели Первый. Например, эпизод рождения мифа о сражении при Аустерлице, героизирующего русских и винящего за поражение союзников, среди болтунов московского Английского клуба, чествовавших Багратиона (*Толстой Л. Н. Война и мир: В 2-х кн. М., 2009. Кн. 1. [Далее: ВиМ – 1] С. 438 – 440*). Там же, как может помнить читатель, произошла ссора бедокура Долохова с Пьером Безуховым, из-за намёков о поведении жены Безухова Элен, завершившаяся дуэлью и ранением Долохова. Пьер, сравнительно недавно обосновывавший в салоне Анны Павловны Шерер право на политическое убийство во имя «общего блага» — вдруг ощутил ложность, фальшь любых оправданий для убийства: «Глупо... глупо! Смерть... ложь...» — твердил он, морщась» (*Там же. С. 450*). Мамаша Долохова, то есть одна из воспитательниц его в ложном мирском предании, в разговоре с Ростовым оправдывающем, освящающем войны, дуэли — винит в случившемся не провокатора

сынका, а Пьера, отчасти справедливо относя его к «развращённому свету», но, совершенно несправедливо, идеализирует своего Фединьку, считая «слишком благородным и чистым душой» для этого самого «света» и особенно для дружбы с Безуховым (*ВиМ – 1. С. 467*). Между тем «дружок» на прощальной, перед отъездом в армию, пирушке с холодностью именно убийцы, палача, отторгающего душу из плоти, отдающего её во власть сатаны и адской бездны, обыгрывает в карты Ростова, дитя и без того небогатого, клонящегося к разорению отца, на огромную сумму в сорок три тысячи (*Там же. С. 481 — 484*).

Интересен эпизод в Лысых Горах, где князь Андрей, теперь вдовец с малюткой сыном, Николенькой, выздоровевший после ранения и давший себе установку не помышлять о военной службе — при этом, однако, взволнован военными подробностями в полном сарказма письме от Билибина и расстроен известием из письма отца о «виктории» русских при Прейсиш-Эйлау (7 – 8 февраля 1807 года), в ходе участия России в Четвёртой уже антифранцузской коалиции. «Прививка» мирского обмана делает своё дело: для него вдруг снова делается, ненадолго, приемлемым — военное убийство и риск собственной жизнью. Отрезвляет его вдруг явившийся страх за ребёнка — единственную всего-то, но субъективно бесценную для родителя, для отца, для князя Андрея жизнь (*Там же. С. 527 – 535*).

Но неизмеримо значительнейший поворот в сознании Андрея Болконского от исповедания «закона насилия» к «закону любви», к истине, к Богу, связан с последующими сценами — встречей его, после двухлетнего перерыва со старым другом Пьером Безуховым, успевшим за это время вступить в масонское «братство» и начитаться соответствующей, «духовной», литературы, катализировавшей и канализировавшей в религиозно-мистическое русло его размышления о жизни, а кроме того, давшей способность, а скоро и опыт красноречия по поводу сомнительных вещей — того самого, которым славятся сектанты, вербующие в свои ряды новых членов.

Итак, Пьер заезжает в гости к князю Андрею в имение Богучарово, и встречает друга — физически залеченного, но душевно подранка, ходячий продукт не столько зрелости, сколько именно войны: друга резко постаревшего, бледного, нахмуренного, с мёртвыми улыбкой на лице и взором, сосредоточенным на непрерывном, замкнутом от других внутреннем страдании (*Там же. С. 541*). С безжалостной и зловещей меткостью князь Андрей окрестил внутренне готового на

душегубство, пахнущего смертью Долохова, при рассказывании Пьера о дуэли с ним, «злой собакой», которую и убить было бы «даже очень хорошо» (*Там же. С. 543*). Апелляции к религиозной этике у него ассоциируются с грубо суеверной религиозностью сестры, княжны Марьи. Над её верой он привык насмешничать, однако вне её, недоступных искалеченной душе брата, пределов — есть лишь «добро для себя», равно как и правда, которая у каждого своя, и жизнь — тоже для себя. «Угрызение совести и болезнь» — вот несчастья, да и то первое из них легко побеждается самооправдывающей индивида софистикой. Бог умер для души и сознания человека, узревшего едва ли не худшее в ту эпоху, что люди способны совершать над людьми же. Ему не вдохновительны рассказы Пьера о учреждаемых им школах и больницах для своих крепостных рабов, а по отношению непосредственно к медицине князь Андрей практически повторил формулу многолетнего скепсиса автора романа: «Что за воображенье, что медицина кого-нибудь и когда-нибудь вылечивала... Убивать — так!» (*Там же. С. 546*). Дворянское мирное самоуправление он именуется «озабоченной пошлостью», подходящей для «добродушных» (*Там же. С. 546 – 547*). Назвав «злой собакой» действительно гнусного в некоторых своих поступках Долохова, князь Андрей не замечает собственной своей озлобленности. Не может замечать — кстати, вместе с автором, переживавшем в годы писания «Войны и мира» период «семейного счастья», о самообманах и пошлости которого расскажет позднее, устами злосчастливого Позднышева в «Крейцеровой сонате» — и того, что духовная «яма» первобытного эгоизма, который он защищает, суть антитезис по отношению к его прежнему поклонению военной славе и гению Наполеона. Пространство, отделяющее его низшее, первобытное жизнепонимание от христианского, всемирного, божеского — это разбег, нужный для взлёта Птицы Небесной...

Этот евангельский образ *доверия Богу*, то есть *веры парящей*, живой — ключевой не только для «Войны и мира». Птица — один из любимых образов в творчестве и дневниках Толстого. В одной из записей (записная книжка 1879 года, 28 октября) Толстой противопоставляет «Наполеонов», которых называет «людьми мира, тяжёлыми, без крыл», людям лёгким, «воскрылённым», «идеалистам». Себя он называет человеком «с большими, сильными крыльями», падающим и ломающим крылья, но способным «воспарить высоко», когда они заживут.

Сам себя выдал! Описание великолепно подходит к тому, что совершается в романе с князем Андреем Болконским — как раз от времени разговора с восторженным другом!

Сам ещё не зная, до встречи с Пьером, этого за собой, князь Андрей, однако, как все сдавленно-несчастные люди, был не менее сестры своей уязвим для опиума не только таких отдельных людей, но и целых несчастных народов — то есть, для религии. И тут-то он поймался: Пьер был масон и, конечно, не преминул постучаться в душу друга молоточком «вольных каменщиков»:

«Он говорил, что масонство есть учение христианства, освободившегося от государственных и религиозных оков; учение равенства, братства и любви» (*Там же. С. 550*). На земле всё зло и неправда, но «во всём» Божьем мире есть «царство правды», а люди — «дети всего мира», каждый из людей суть — «звено, одна ступень от низших существ к высшим» (*Там же. С. 500 – 551*). На князя Андрея, видевшего гибель на войне многих и потерявшего любимую жену, эта риторика не могла не произвести действия. Птица Небесная в нём вдруг очнулась... почувствовала себя...



Пьер Безухов и кн. Андрей на пароме.
Илл. Деметрия Шмаринова

А Пьер, разогнавшись в своей проповеди — уже вовсю убеждал духовное существо Андрея, раба Божия — «встать на крыло», чтобы раб превратился в сознательное дитя:

«— Ежели есть Бог и есть будущая жизнь, то есть истина, есть добродетель; и высшее счастье человека состоит в том, чтобы стремиться к достижению их. Надо жить, надо любить, надо верить, — говорил Пьер, — что живём не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно там, во всём (он указал на небо). Князь Андрей стоял, облокотившись на перила парома и, слушая Пьера, не спуская глаз, смотрел на красный отблеск солнца по синеющему разливу. Пьер замолк. Было совершенно тихо. Паром давно пристал, и только волны течения с слабым звуком ударялись о дно парома. Князю Андрею казалось, что это полосканье волн к словам Пьера приговаривало: “правда, верь этому”.

Князь Андрей вздохнул, и лучистым, детским, нежным взглядом взглянул в раскрасневшееся восторженное, но всё робкое перед первенствующим другом, лицо Пьера.

[...] Выходя с парома, он поглядел на небо, на которое указал ему Пьер, и в первый раз, после Аустерлица, он увидал то высокое, вечное небо, которое он видел лёжа на Аустерлицком поле, и что-то давно заснувшее, что-то лучшее что было в нём, вдруг радостно и молодо проснулось в его душе. Чувство это исчезло, как скоро князь Андрей вступил опять в привычные условия жизни, но он знал, что это чувство, которое он не умел развить, жило в нём. Свидание с Пьером было для князя Андрея эпохой, с которой началась хотя во внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь» (Толстой Л.Н. *Война и мир*. Указ изд. Кн. 1. С. 552).

С этого времени князь Андрей возростает к христианскому религиозному пониманию жизни, к сознательному сыновству Отцу и последованию Христу — идя по тому же непростому, но верному пути, по которому шёл и сам Лев Николаевич. Разумеется, в романе 1860-х гг. он мог верно описать только ту часть пути, которую успел пройти — например, состояние отторжения, неприятия подлости и лжи на войне и унижений простых солдат: то, которое мы в Первой главе книги описали формулой: «за державу обидно». Да, и за народ тоже... За граждан! Общественное непонимание — побеждающее эгоизм прежнего душевного калеки. Весною 1809 года князь Андрей, после особо памятной в России школярам и недоумкам

«встречи с дубом», не просто намерен возвратиться к службе, а «даже теперь не понимал, как мог он когда-то сомневаться в необходимости принять деятельное участие в жизни» (*Там же. С. 597*). И, совершенно уже автобиографическая черта: будучи в немилости у императора за неучастие, после Аустерлица, в военных его гнусных авантюрах против Франции, почувяв себя в некоторой «оппозиции» и ухватившись за сотрудничество со Сперанским, князь Андрей Болконский готовит «записку о военном уставе» — сомневаясь, по её «нецензурности», в возможности представить её царю (*Там же. С. 599*). Финал у проекта был предсказуемо трагичен: военный министр, печально знаменитый Аракчеев, не одобрил «записки» Болконского, в числе прочего обнаружив в ней влияние французского военного устава (*Там же. С. 600 – 602*).

* * * * *

Проследив судьбу идейно глубочайшего, значительнейшего из персонажей романа: того, в связи с которым антивоенная тема «черпается» Толстым-художником, безусловно, на максимуме его возможностей – на уровне метафизическом — воротимся теперь к более поверхностной, но не менее значительной для нас стороне, именно внешнем выражении писателем антивоенных настроений в романе.

Страшно проиграв сорок три тысячи беспощадному, как сама смерть, Долохову, Николай Ростов уже к службе, в Павлоградский гусарский полк возвращается, как домой — ибо дома ему сделалось неуютно, отчасти и по причине денежных отношений с отцом, на которого легла уплата долга. В условиях жизни регламентированной, примитивизированной ему было легче спрятаться от проблем жизни настоящей, «мирной», главное же — от экзистенциальной бессмыслицы такой жизни перед лицом смерти. О таком прятании Толстой будет вести речь и позднее, в связи с размышлениями о своей жизни Пьера Безухова в Части 5-й Второго тома (глава I):

«Иногда Пьер вспоминал о слышанном им рассказе о том, как на войне солдаты, находясь под выстрелами в прикрытии, когда им делать нечего, старательно изыскивают себе занятие, для того чтобы легче переносить опасность. И Пьеру все люди представлялись такими солдатами, спасающимися от жизни: кто честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто игрушками,

кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто вином, кто государственными делами. “Нет ни ничтожного, ни важного, всё равно: только бы спастись от неё как умею! — думал Пьер. — Только бы не видеть её, эту страшную её” (*Вум – 1. С. 755*).

Но если разумное и доброе мирной жизни, действительно, отсекается условиями стойбища или казармы, то пороки людей, как узнал это практикой уже Толстой-волонтёр на Кавказе, напротив, выступают в условиях выморочных, неестественных, мучительных для Божественного в человеке — только разительней. Русская орда, отступая по разорённым ею же немецким землям, оказалась в роли бараньего стада, удерживаемого ставящим жестокий опыт пастухом на участке, где для баранов нет уже питания. В зиму и весной 1807 г. Павлоградский полк, не участвовавший ни в отвратительной мясорубке при Прейсиш-Эйлау, ни в других значительных стычках с французами, «потерял только двух раненых; но от голоду и болезней потерял почти половину людей» (*Там же. С. 561*). Решительный Денисов спасает своих солдат, отбив обоз с провиантом, предназначавшийся пехотному полку. Дабы, задним числом, уладить дело, Денисов навещает провиантское ведомство, где зажратые лицемеры винят его в «разбое», а в кабинете комиссионера восседает подлец Телянин — прежний сослуживец Денисова и Ростова, персонаж у Толстого более гнусный, чем Гуськов в «Разжалованном», удалённый из Павлоградского полка за подлейшее, нижайшее морально, истинно обезьянье дело: кражу у товарища кошелька. Денисов всласть отходил с кулака ворюгу, сделавшего себе карьеру среди равных по подлости, но за это Денисову грозили уже военно-судная комиссия и разжалование (*Там же. С. 565 – 568*).

Система порочного, поганого «русского мира» взяла за глотку человека, для которого честь была дороже жизни, а не только карьеры... Дабы избежать унижительного судилища, Денисов с лёгким ранением отправляется в госпиталь.

На картинах госпитальной повседневности, которые непременно напомнят читателю описание госпиталя в «Севастопольских рассказах», мы задерживать внимания не станем. Снова, как в «Севастопольских рассказах» — цветущие, но не мирные между людьми дни начала лета... Люди, большие, взрослые люди — не радуются маю, не радуются и лету, а продолжают убивать друг друга. После Фридландского сражения (14 июня 1807 г.) объявлено перемирие — похожее на то, что много лет спустя, в статье «Патриотизм или мир?»,

описывал Толстой, вспоминая кстати французскую пословицу: «*rouir mieux sauter*, т. е. разбежались для того, чтобы лучше прыгнуть, с большим остервенением броситься друг на друга» (90, 46). Потому что «*гладиаторы воспитаны для драки*», «и если они разведены, то только на время, и завтра, послезавтра будут драться, может быть, ещё хуже, чем бы подрались нынче» (Там же. С. 163). Именно это и означал апофеоз трусости и подлости Александра I, так называемый Тильзитский мир, заключение которого, неизвестно для простых жертв политиков, готовилось в дни этого перемирия. Разница же с гладиаторами та, что гладиаторы древности рисковали лично собой, своими жизнями, гладиаторы же лжехристианского мира XIX – XXI веков предпочитают смешивать с грязью и кровью жизни других.

Бравый Денисов не только не стал здоровее в госпитале физически, но, как заметил навестивший его Николай Ростов, явно сдавал и морально. Прежнего человека было почти не узнать... Смерть, которой разит до сего дня от всякого мановения тётки «родины», государства Российского, уже отравила его изнутри:

«Рана его, несмотря на свою ничтожность, всё ещё не заживала, хотя уже прошло шесть недель... В лице его была та же бледная опухлость, которая была на всех гошпитальных лицах. [...] Ростов заметил даже, что Денисову неприятно было, когда ему напоминали о полке и вообще о той, другой, вольной жизни, которая шла вне госпиталя. Он, казалось, старался забыть ту прежнюю жизнь и интересовался только своим делом с провиантскими чиновниками» (Толстой Л.Н. *Война и мир*. Указ. изд. Книга 1-я. С. 574).

Эпизод в госпитале — более, чем *антивоенные* — *антиимперские* страницы великого романа! Отравление бытовухой насквозь этактистского, донощического, сутяжнического, поганоподлого «русского мира», не только мешало заживанию небольшой физической раны простецкого, но сущностно благородного, чистого нравственно Васьки Денисова, но всё более уничтожало изнутри этого лучшего товарища и друга Николая Ростова. Однако Ростов сумел спасти его, вызвав на разговор о тяжбе с провиантскими крысами. Выпустив из себя много яду и мало оставшейся энергии жизни, полуживой Денисов вдруг обмяк и, пробормотав известную пословицу о «плети и обухе», с «болезненно-фальшивой улыбкой» отдал Ростову письмо к подлейшему, чем они оба человеку — императору Александру I, «государю»:

«Это была просьба на имя государя, составленная аудитором, в которой Денисов, ничего не упоминая о винах провиантского ведомства, просил только о помиловании» *(Там же. С. 575)*.

Сам Денисов не был настолько чувствителен, а вот для Николая Ростова совершившиеся события явились новым разочарованием — и в военной службе, и в «государе», и в государстве... так и не изменившие, впрочем, и до конца романа его общих установок «служилого человека», военного и «подданного» под присягой. В части Четвёртой Второго тома романа автор представляет нам Ростова в 1809 году: «загрубелым, добрым малым», обладающим «тем здравым смыслом посредственности, который показывал ему, что было должно» *(Там же. С. 686, 688)*. К большому его сожалению, денежные дела семьи всё расстраивались, и, выслужив чин ротмистра, он должен был ехать в отпуск — в ту самую, страшную для него, живую жизнь, мирную, настоящую жизнь человеческую, «где всё было вздор и путаница» *(Там же. С. 688)*.

Рассказ в начале Четвёртой части о возвращении Ростова в нищающее, но по-прежнему дружное своё семейство Толстой открывает интереснейшими общими, но, безусловно, основанными на личном опыте, рассуждениями о главной составляющей нравственного разврата человека от военной службы:

«Библейское предание говорит, что отсутствие труда — праздность была условием блаженства первого человека до его падения. Любовь к праздности осталась та же и в падшем человеке, но проклятие всё тяготеет над человеком, и не только потому, что мы в поте лица должны снискивать хлеб свой, но потому, что по нравственным свойствам своим мы не можем быть праздны и спокойны. Тайный голос говорит, что мы должны быть виновны за то, что праздны. Ежели бы мог человек найти состояние, в котором он, будучи праздным, чувствовал бы себя полезным и исполняющим свой долг, он бы нашел одну сторону первобытного блаженства. И таким состоянием обязательной и безупречной праздности пользуется целое сословие — сословие военное. В этой-то обязательной и безупречной праздности состояла и будет состоять главная привлекательность военной службы» *(Там же. С. 686)*.

От этой точки зрения на «военное сословие» Толстой не откажется и в годы своего христианского исповедничества: напротив, найдя в живой, первоначальной, евангельской вере Христа подтверждение

для прежних своих, с молодых лет, критических настроений, основанных на личном опыте военной службы. В статьях «Николай Палкин» (1886), «Стыдно» (1895), «Carthago delenda est» 1896 года он будет сравнивать праздное и «деградирующее» военное сословие с идеальным образом «декабристов 20-х годов», а в романе «Воскресение» сделает условия военной службы роковыми, решающими в нравственном падении главного персонажа книги, молодого Дмитрия Николаевича Нехлюдова.

ТОМ ТРЕТИЙ

Время снова обратиться к судьбе князя Андрея. Хотя бы потому, что в самом начале Третьего тома из уст князя, а значит, казалось бы, и автора, звучат как будто даже близкие «позднему», христианскому Толстому антивоенные суждения. Это подчёркивает классик советского и российского толстоведения Сергей Нестерович Чубаков, подводя итог эволюции антивоенных воззрений Л. Н. Толстого на материале его самой «долгой», по времени работы над нею, повести «Казачи»:

«Суждения писателя о войне с годами неуклонно освобождаются от пацифистской абстрактности и приобретают характер всё большей определённости и категоричности. И наконец, эти суждения приобретают свою отчётливо безоговорочную форму: война — не любезность, а самое гадкое дело в жизни, противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Война – безумие, война – преступление» (*Чубаков С.Н. Лев Толстой о войне и милитаризме. М., 1973. С. 72*).

Оставим на совести автора сближение гуманистических (жаление солдат, народа) и либерально-оппозиционных («за державу обидно») настроений Толстого с неведомым ему в 1850-е годы и не одобрявшимся никогда православной ортодоксией пацифизмом: понятно, что в подцензурном советском издании С. Н. Чубакову было безопаснее писать о Толстом как о пацифисте, нежели о его церковной вере или даже умеренном, сословном либерализме! Не в этом дело. Для нас важно, что С. Н. Чубаков цитирует здесь и автора, и его персонажа — мировоззрение которых, однако, ошибочно было бы отождествлять.

Выше мы уже сказали своё слово об одной из этих цитат, открывающей Третий том романа, о войне как «противном человеческому разуму и всей человеческой природе событии» (*Толстой Л.Н. Война и мир. Указ изд. Кн. 2. С. 9*). Чем больше Толстой избавлялся от пережитков влияния на него в юности Жана-Жака Руссо, тем менее был склонен идеализировать «человеческую природу». Христианству такая идеализация враждебно чужда! Вторая же часть «скрытой», но легко идентифицируемой цитаты С. Н. Чубакова — уже из Второй части Третьего тома, из беседы князя Андрея с Пьером Безуховым, явившимся под Бородино, чтобы видеть историческое надирание Наполеоном русской орде её русских задниц. Патриотично настроенный князь Андрей ругается на французов и немцев с их «теориями» (при том одним из «немцев» является легендарный Клаузевиц, теории которого чётко выразились в суждениях князя Андрея). Он настроен на победу, потому что «сражение выигрывает тот, кто твёрдо решил его выиграть» (*Там же. С. 241*). Вместе с тем он подчёркивает, что война «страшная необходимость» и осуждает отношение к ней как к «любимой забаве праздных и легкомысленных людей»:

«Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни и надо понимать это и не играть в войну» (*Там же. С. 244*).

«Не играть в войну» — значит, в частности, не брать пленных, а назвать их убийство «казнью» — точно так, как поступают в 2022 – 2023 гг. в Украине путинские агрессоры, мародёры и палачи в отношении не только солдат, но и мирных жителей! Отличие же позиции князя Андрея от военных преступников путинской России — в бесспорном благородстве человека, осуждающего обращение с пленными за рыцарство, и тут же восклицающего: «Не брать пленных, а убивать и идти на смерть!» (*Там же. Выделение в тексте наше. – Р. А.*). Российские, путинские бандиты в наши дни предпочитают держать в плену, в заложниках беззащитных мирных жителей, и уж никак не умирать, а возвращаться восвояси, к своим жонкам и выщенкам, с ложной «честью» и с награбленным в Украине!

Пьер чувствует безусловную искренность настроения «разогретого» для большой драки самца вида «хомо сапиенс» — князя Андрея Болконского, снова в узнаваемой роли резонёра, оправдывающего, на этот раз первобытное военное палачество человечества.

Быть может, Клаузевиц бы одобрил такие помышления... но не одобрил бы их *тот* князь Андрей — под небом Аустерлица, и *тот*

— на пароме с Пьером. Разогретый тогда, от большого и горячего Пьера, чувством совсем-совсем иным, человеческим и сложным — любовью к жизни и приугасшим было желанием жить...

На высоте своей воинственности князь Андрей даже произносит, в уши куда более мирного, *сущностно* мирного Пьера, осуждение «традиционной» войне — как будто по тексту позднейших, 1900-х годов, толстовских сборников мудрой мысли «Круг чтения» и «Путь жизни»:

«Военное сословие самое почётное. А что такое война, что нужно для успеха в военном деле, какие нравы военного общества? Цель войны — убийство, орудия войны — шпионство, измена и поощрение её, разорение жителей, ограбление их или воровство для продовольствия армии; обман и ложь, называемые военными хитростями; нравы военного сословия — отсутствие свободы, т. е. дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство. И несмотря на то, это — высшее сословие, почитаемое всеми. Все цари, кроме китайского, носят военный мундир, и тому, кто больше убил народа, дают большую награду... Сойдутся, как завтра, на убийство друг друга, перебьют, перекалечат десятки тысяч людей, а потом будут служить благодарственные молебны за то, что побили много людей (которых число ещё прибавляют) и провозглашают победу, полагая, что чем больше побито людей, тем больше заслуга. Как Бог оттуда смотрит и слушает их! — тонким, пискливым голосом прокричал князь Андрей. — Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла...» (*Там же. С. 244 – 245*).

Однако в контексте идеи о том, что крайняя жестокость в отношении пленных и безжалостность воинов к самим себе могут свести к минимуму войны — такое направление военной мысли никогда не поддерживалось Толстым, равно как, позднее, в конце XIX столетия — концепция прекращения войн в связи с изобретением слишком страшного оружия: самообман в который верили ещё в XX веке многие сторонники, например, ядерного оружия.

Но вот князь Андрей, как видно, переполнившись воспетым Толстым, в описании Бородинского сражения, тем самым «духом войска», проигрывает поединок храбрости взорвавшейся подле него гранате — до последней секунды мешаясь в чувствах: любовь к

жизни и мирское тщеславие, желание выглядеть храбрецом (*Там же. С. 292*). «Храбрый тот, который ведёт себя как следует» — здесь нам самое время снова вспомнить стихийного поклонника Платона, капитана Хлопова из рассказа «Набег». Одно отступление от древней мудрости человечества — и для князя Андрея Болконского качественно, навсегда меняется всё! Настаёт время значительнейших помыслов и поступков. Очнувшись на перевязочном пункте, тяжело раненный, он видит ненавистного ему Анатоля Курагина — соблазнителя его невесты, Наташи Ростовой — и преисполняется не то, что прощения, а «восторженной жалости и любви к этому человеку» (*Там же. С. 297*). А вслед тому — уже и надо всеми людьми мира заплакал Андрей «любовными слезами», «над собой и над их и своими заблуждениями». И вот, впервые в жизни своей, князь, уже не по внешнему, как в беседе с Пьером, влиянию, а по внутренней потребности обретает, и в сильнейшей степени, то состояние разумного сознания человека, которое несовместимо с самой возможностью войны:

«Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам — да, та любовь, которую проповедовал Бог на земле, которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, что ещё оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно. Я знаю это!» (*Там же. С. 297 – 298*).

Не «поздно» быть не может: сам автор, Толстой 1860-х, живёт ещё вполне мирским, и, лишь посредством образного художественного повествования, робко заглядывает *туда*, за пределы земного... туда, где *она*: смерть и главная загадка её.

О моменте смертельного ранения князя Андрея в сражении при Бородино, снова подтолкнувшего к Небу, к Богу в нём духовое существо, Птицу Небесную, Елена Полтавец рассуждает так:

«А может быть, не было у Толстого замысла показать патриотизм и непримиримость? Может быть, и под духом войска герой Толстого понимает в утро Бородина не готовность сражаться, а стойкость и самопожертвование в непротивлении? Если бы князем Андреем владела гордыня, Толстой показал бы его примерно таким же, каким он был в Аустерлицком сражении. Но в том-то и дело, что невероятная духовная сила князя Андрея выразилась в том, что гордыню свою он смирил, показав пример самопожертвования и христианско-буддийского непротивления на поле боя. Только так, нравственным

превосходством, враг мог быть побеждён, вернее, уничтожен морально.

Военная, физическая сила всегда побеждалась Наполеоном. Сила же духа оказалась выше его, потому что ненасилие выше насилия. Сила духа не есть гордость. По Толстому, “высшее духовное состояние всегда соединяется с самым полным смирением” (дневник, 5 мая 1909 года). Слова “мир” и “смирение” — родственные. Толстой показывает, что тот, кто смирится, победит войну» (<https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200202904>).

Мы не склонны наделять князя Андрея на Бородинском поле подобными чертами Иисуса Христа или Будды — хотя бы уже потому, что христианское смирение (подлинное, не «православное») означает полёт Птицы, веру живую, а значит — неучастие, *нравственную невозможность* участия человека в том, к чему безверных влекут соблазны, страхи, самообманы (включая соблазн «устроительства», обеспечения жизни). А это, например — стяжательство, торговля, любой «бизнес» с доходом, конкуренция и, разумеется, *война* в целокупности её проявлений и событий.

Ниже мы представляем читателю несколько иное видение символики заключительных эпизодов жизни и кончины князя Андрея Болконского в романе Л. Н. Толстого.

Эпизоды длительной болезни и кончины князя Андрея связаны напрямую с близкой Льву Николаевичу христианской идеей «торжества духа над плотью» — или, в образной системе евангелий, пробуждения Птицы Небесной.

Третья часть Третьего тома, глава XXXII. Драпающая из Москвы, от великого Наполеона русня поджигает в городе дома, не заботясь о массе раненых, свезённых туда после Бородинского сражения. Но «высокопоставленному» в мире князю Андрею повезло: несмотря на безнадежность его ранения, он был вывезен. На остановке в Мытищах он, молча терпя страдание, «оселок» своего духовного пробуждения, просит окружающих достать ему Евангелие: «Он вспомнил, что у него было теперь новое счастье, и что это счастье имело что-то такое общее с Евангелием» (*Там же. С. 439*). Размышляя об открывшемся ему *законе любви*, предписанном евангелиями, он вдруг слышит «тихий шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: “И пити-пити-пити” и потом “и ти-ти” и опять “и пити-пити-пити” и опять “и ти-ти”. Вместе с этим, под звук этой шепчущей музыки,

князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над самою серединой воздвигалось какое-то странное воздушное здание из тонких иголок или лучинок. Он чувствовал (хотя это и тяжело ему было), что ему надо было старательно держать равновесие, для того чтобы воздвигавшееся здание это не завалилось; но оно всё-таки заваливалось и опять медленно воздвигалось при звуках равномерно шепчущей музыки. «Тянется! тянется! растягивается и всё тянется», говорил себе князь Андрей. Вместе с прислушиваньем к шопоту и с ощущением этого тянущегося и воздвигающегося здания из иголок, князь Андрей видел урывками и красный окружённый свет свечки и слышал шуршанье тараканов и шуршанье мухи, бившейся на подушке и на лице его. И всякий раз как муха прикасалась к его лицу, она производила жгучее ощущение; но вместе с тем его удивляло то, что, ударяясь в самую область воздвигавшегося на лице его здания, муха не разрушала его.

[...] — Довольно, перестань пожалуйста, оставь, — тяжело просил кого-то князь Андрей. И вдруг опять выплывала мысль и чувство с необыкновенною ясностью и силой.

“Да, любовь (думал он опять с совершенною ясностью), но не та любовь, которая любит за что-нибудь, для чего-нибудь, или почему-нибудь, но та любовь, которую я испытал в первый раз, когда умирая я увидал своего врага и всё-таки полюбил его. Я испытал то чувство любви, которая есть самая сущность души и для которой не нужно предмета. Я и теперь испытываю это блаженное чувство. — Любить ближних, любить врагов своих. Всё любить — любить Бога во всех проявлениях. Любить человека дорогого можно человеческою любовью; но только врага можно любить любовью божескою. [...] Любя человеческою любовью можно от любви перейти к ненависти; но божеская любовь не может измениться. Ничто, ни смерть, ничто не может разрушить её. Она есть сущность души...”

И пити-пити-пити и ти-ти, и пити-пити — бум, ударила муха...»
(Там же. С. 441 – 442).

Эта звукопись смерти животного, эгоистического существа и рождения Птицы Небесной — попытка писателя-Толстого заглянуть, хотя бы кинуть взор туда, куда не достягает без веры ни один ум.

И только теперь, в новом состоянии сознания, прощает Андрей, уже почти не князь, прощает и полюбляет любовью Христа саму невесту,

Наташу Ростову. Анатолий Курагин, напомним, прощён ещё на Бородинском поле... Женщина виноватей. Так въедливо в человеке внушение лжехристианского, гнусно-патриархального «русского мира»!

Умиравший князь Андрей прозревает к новому пониманию жизни-любви, отрицающему старое, окружавшее его. Узы земных соблазнов и суеверий разорваны, и человек готов сделаться работником в мире Бога и учеником Христа, «клевать зёрна» разумного учения жизни – «хлеба жизни», который «един на потребу»... Но, увы! тело его, приданный временно инструмент человеку для работы в мире в воле Отца, безнадежно разрушено, и ему суждено только умереть. В этом самоограничение писателя. «Птицы Небесные» из проповеди Христа (*Мф. 6: 25-26*) — это итог земной духовной эволюции. И Птица возносится к Богу — ибо, по вере православия, которому доверяет пока Лев Николаевич, дело такого человека на земле окончено.

Между тем, в жизни самого Л. Н. Толстого были несколько евангельских «птиц небесных» и, как минимум, три различные отношения к этому образу: наблюдателя, искателя, и... собственно «Птицы Небесной». Первыми были, в религиозном чтении ещё детских лет, евангельский проповедник деятельной любви и братского сожития апостол Иаков и апостол Иоанн, предание о проповеди которого в старости Толстой-христианин особенно ценил.

Это не означает, что указанные образы сводятся именно к состоянию «Птицы Небесной». Они и не являются ими на высотах своей жизни. Они – спутники учеников Христа, наставники. Но пока человек не созреет для ученичества, то есть пока не пробудится его разумное сознание к сомнению, поиску и возможности высшего, чем общее для его современников, понимания жизни, высота наставничества просто непостижима для такого человека, и всё, что он видит в людях, стоящих на этой ступени, — это их неотмирность, «святость», юродивость, даже безумие...

На следующем этапе – экзистенциальных исканий зрелых лет – Толстой, суммируя опыт своей жизни создал художественные образы, бесспорно принадлежащие к числу самых близких ему образов воспитующих сами себя *путников* от рабства учению мира: Пьера Безухова и князя Андрея Болконского в романе «Война и мир». Умиравший князь Андрей прозревает к новому пониманию жизни-любви, отрицающему старое, окружавшее его.

Когда к такому отрицанию пришёл в начале 1880-х гг. сам Лев Николаевич и выразил его в сочинениях «Исповедь» и «В чём моя вера?», его самого поспешили отнести к «нигилистам» и отрицателям едва ли не всей жизни...

Пиши Толстой этот свой роман тремя десятилетиями позже, рискнём предположить, что не «убил» бы своего князя, а сделал бы тем, чем вполне сделался он сам, Лев Николаевич, в последние десятилетия жизни: общественным деятелем и просветлённым наставником-учителем.

Такие земные поприща реализуются как рабами и прислужниками учения мира, так и учениками Бога. Невозможны они – только для срединного поприща и характерного для него переходного состояния сознания индивида: для учащегося послушника Христа, для «Птицы Небесной». Дело такого ученика: смиряться, доверять Богу, созерцать открывающуюся истину... Подниматься, насколько осилишь, по «ступенькам» Нагорной проповеди. Любовь к враждующим, отвечание любовью на вражду – один из тяжелейших уроков. Она предполагает стойкое видение в каждом (и глупом, и злом...) из ближних – Бога, любви к Нему и к человеку как земному проявлению Божественного.

Анализируя актуализации библейского образа «птицы небесной» в творчестве и жизни Л. Н. Толстого, современный исследователь И. Б. Мардов подчёркивает, что «человек является в земную жизнь непосредственно от Бога, Птицей Небесной, и она-то и действует в его духовной жизни» (Мардов И.Б. *Лев Толстой на вершинах жизни*. М., 2003. С. 232).

Но «крылья» этой Птицы, надо здесь заметить, могут и спутать, и даже подрезать те самые родители и прочие ложные воспитатели, образы которых Толстой выводит и в «Войне и мире». Это и случается с большинством детей в наших лжехристианских обществах.

«Птицы Небесные», достигшие высшей ступени, возможности продуктивных поучения и наставничества словом и примером — это и обожаемые Львом Николаевичем евангельские апостолы, и некоторые его фавориты из числа исторических лиц: такие, например, как святой брат человечеству, птицам и детям Франциск Ассизский, сюжетом из книги «Наставлений» которого, восходящим к Флорентийскому кодексу XIV в., открывает Лев Николаевич первый из сборников своей мудрой мысли — книгу «Мысли мудрых людей на каждый день», чтобы не забыть уже до последнего. К таким же неотмирным

Птицам относится для Толстого чех Ян Палечек, легенду о котором яснополянец пересказал русскому читателю (40, 412 – 422). К такому же, наконец, относится, в финале земной своей жизни, французский мыслитель *Фелисите Робер де Ламеннэ* (Lamennais, или La Mennais, Félicité Robert de; 1782 – 1854), в судьбе которого Толстой проследил проявившиеся в особенно яркой форме эти самые «ступени развития» от рабства и даже прислужничества (честолюбивого и/или корыстолюбивого) учению мира к отрицанию его в свете открывшейся разуму и совести высшей истины (см. очерк Л.Н. Толстого о Ламеннэ в «Круге чтения»; 42, 160 — 165).



Фелисите Робер де Ламеннэ
Портрет Жана-Урбена Герена (1827)

На этапе разрыва человека с прежними единомышленниками, ученичества, его перестают понимать друзья и близкие, остающиеся рабами мира; но тогда они ещё могут сочувствовать ему и беспокоиться о нём. При достижении же полноты просветления разумного сознания человека в новом жизнепонимании, обретения им новых систем психоэмоциональных связей с миром, ценностей, приоритетов — как никогда делается актуальной заповедь о любви к враждующим: ибо прежде не понимавшее духовной эволюции человека и оттого всё ещё сочувственное ему мирское окружение видит некоторый итог такой эволюции, видит новое и зрелое существо, и —

вдруг мучительно, неудержимо ненавидит, ненавидит его! Не самое существо человека, а ту Истину, то Божье Откровение Свыше, с которым уверовавший в учение Христа человек соединяет свою дальнейшую жизнь. Образец тут – жена Толстого, Софья Андреевна, к 1890-м гг. определённо перешедшая от прежнего беспокойно-непонимающего сочувствия мужу к неприязни к нему именно в его ипостаси зрелого наставника, исповедника Христа, духовного учителя и практика. Он же – не мог, в свою очередь, удовлетворить её психоэмоциональных потребностей рабы и жертвы мирского и лжехристианского церковного учений. Как не может влезть назад в яйцо взрослая Птица. Как не пожелает присосаться к львице уже самостоятельный и взрослый Лев...

«Не думайте, что я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл я принести, но меч,

Ибо я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её.

И враги человеку – домашние его.

Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня; и кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня;

И кто не берёт креста своего и следует за мною, тот не достоин меня»
(*Мф. 10: 34 – 38*).

Таким образом, не умирая, не покидая вверенного сыну и работнику Отцом инструмента трудов Ему, материального тела, Толстой и родился, и “встал на крыло” — прошёл те поприща, которые не мог в 1860-х представить для своего князя!

Как мы помним, прообраз Андрея Болконского в романе — рано умерший брат Толстого Николай. Ему не было суждено прийти к новому, высшему пониманию жизни: слишком тяжёл для разума и души оказался «груз» внушённой светской, научной и богословской лжи. Но сам Толстой оттого и чтит высочайше память именно этого своего брата, что понял порыв его разума и сердца к Истине, неведомой большинству в лжехристианском мире. И понял, что сам-то он отстал от тогдашнего, в канун его смерти, состояния сознания своего брата – придя к нему, по меньшей мере, лет через 15-ть. Вот памятные многим строчки из «Исповеди» Льва Николаевича:

«Умный, добрый, серьёзный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и ещё менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания» (23, 8).

Князь Андрей в «Войне и мире» — это образ такого же прерванного на самом первом взлёте полёта «Птицы Небесной», каким явилась жизнь Николеньки: человека, отринувшего мирской бунт и только-только, ещё в большей степени бессознательно, начавшего своё рождение духом. Он и успел пожить этой жизнью — но лишь на краю земного бытия и лишь в лучшие свои часы... Из-за смертельного ранения это его рождение не могло стать рождением в жизнь — в обновлённую духовно жизнь в прежнем материальном теле.

Четвёртый Том, часть Первая. Княжна Марья умиленно лицезреет освобождённое от мирской порчи духовное дитя: «лицо Андрюши, которое она знала с детства, нежное, кроткое...» (ВиМ – 2. С. 519). Но это было мудрое дитя:

«Он видимо с трудом понимал всё живое; но вместе с тем чувствовалось, что он не понимал живого не потому, что он был лишён силы пониманья, но потому что он понимал что-то другое, такое, чего не понимали и не могли понимать живые и что поглощало его всего» (Там же. С. 520 – 521).

Когда привели к умирающему для прощания сына — дитя взглянуло на Дитя и незримо, потаённо от мирских взрослых, причастилось тайны жизни, пока невозможной для разумения 7-милетним его сознанием. Княжна Марья расплакалась, и вдруг услышала от брата:

«— Мари, ты знаешь Еван... — но он вдруг замолчал.

— Что ты говоришь?

— Ничего. Не надо плакать здесь...» (Там же. С. 522).

Не время и не место слезам о мирском, ибо — совершается таинство. Пускай Николеньке не суждено удержать, под ударами мирских влияний, духовных результатов этого причащения — памятование о нём будет с ним и спасёт его.

«А князь Андрей, оставшись один, догадался, что сестра «плакала о том, что Николушка останется без отца. С большим усилием над собой, он постарался вернуться назад в жизнь и перенёсся на их точку зрения.

“Да, им это должно казаться жалко!” подумал он. “А как это просто!”

“Птицы небесные ни сеют, ни жнут, но Отец ваш питает их”, сказал он сам себе и хотел то же сказать княжне; “но нет, они поймут это по-своему, они не поймут! Этого они не могут понимать... Мы не можем понимать друг друга”» (*Там же*).

Соединяя нас в Истине, в жизни общин и Церкви, Иисус забирает нас у *язык* (народов) и даже у прежнего «общества» — начиная с его первоячейки, семьи:

«И всяк, иже оставит дом, или братию, или сёстры, или отца, или мать, или жену, или чада, или сёла, имене моего ради, сторицею приимет и живот вечный наследит» (*Мф. 19: 29*).

Тогда только исчезнет самая возможность для войны.

* * * * *

В том же Третьем томе, к которому теперь мы возвратимся, немало мыслей и образов, не менее значительных именно для нашей темы, нежели судьба князя Андрея Болконского. Любопытно, как с первых страниц Третьего тома, готовя читателя к «правильному» восприятию Бородинского сражения, Толстой, как некий «конечный вывод мудрости земной», представляет читателю свою теорию «бессознательной, общей, роевой жизни человечества», имеющей непонятные царям и полководцам цели: «Сердце царёво в руке Божией. Царь есть раб истории» (*ВиМ – 2. С. 13*). Кстати сказать, несмотря закономерный и понятный скепсис историков XIX столетия, историософское рассуждение писателя о «миллиардах причин», приводящих к историческому событию, не только справедливо для современного знания о сложно-системном состоянии и самого общества, и любых отношений внутри него, но и непосредственно для нашей темы. Судите сами, вот отрывок:

«Для нас — потомков не-историков, не увлеченных процессом изыскания, и потому с незатемненным здравым смыслом созерцающих событие, причины его представляются в неисчислимом количестве». И среди них может быть такая, например, как «нежелание первого французского капрала поступить на вторичную службу: ибо, ежели бы он не захотел идти на службу и не захотел бы другой и третий и тысячный капрал и солдат, на столько менее людей было бы в войске Наполеона, и войны не могло бы быть».

Ежели бы Наполеон не оскорбился требованием отступить за Вислу и не велел наступать войскам, не было бы войны; но ежели бы все сержанты не пожелали поступить на вторичную службу, тоже войны не могло бы быть. Тоже не могло бы быть войны, ежели бы не было интриг Англии и не было бы принца Ольденбургского, и чувства оскорбления в Александре, и не было бы самодержавной власти в России, и не было бы французской революции и последовавших диктаторства и империи, и всего того, что произвело французскую революцию, и так далее. Без одной из этих причин ничего не могло бы быть. Стало быть, причины эти все — миллиарды причин — совпали для того, чтобы произвести то, что было. И следовательно ничто не было исключительной причиной события, а событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться. Должны были миллионы людей, отрекшись от своих человеческих чувств и своего разума, идти на Восток с Запада и убивать себе подобных, точно так же как несколько веков тому назад с Востока на Запад шли толпы людей, убивая себе подобны» *(Там же. С. 11)*.

Отстранимся от той, сугубо практической, нелепости и утопизма, которые увидел в этих рассуждениях А. Н. Витмер, свято верующий в дисциплину и выучку войска как залог предсказуемого повиновения каждого. Будем исходить из той концепции духовного, именно христианского религиозного противостояния личности системе, которая утвердилась в антивоенных писаниях Толстого-христианина, в полном виде — со времени трактата «Царство Божие внутри вас» (1890 – 1894), о котором речь впереди. В руках такого, сорванного мобилизацией, рекрутским набором с насиженных мест народа — «действительная сила», хотя и бессознательная — вплоть до самоубийства. Ещё нескоро, только в 1904 году, родится у автора статьи «Одумайтесь!» страшный образ «пешей саранчи», которая, движимая инстинктом, «переходит реки так, что нижние слои тонут до тех пор, пока из потонувших образуется мост, по которому пройдут верхние» (36, 138). Но столь же, и даже более впечатляющие образы, в начале Третьего тома «Войны и мира», беспомощно и напрасно затонувших при переправе через Неман вояк Наполеона, по существу, такая же, но художественно оформленная картина апофеоза безумного следования «человеком разумным» бессознательным первобытным животным программам стайности и подчинения вожаку — говорящая сама за себя:

«Человек 40 улан потонуло в реке, несмотря на высланные на помощь лодки. Большинство прибило назад к этому берегу. Полковник и несколько человек переплыли реку и с трудом вылезли на тот берег. Но как только они вылезли в обмокнувшем со стекающими ручьями платье, они закричали: “Виват!”, восторженно глядя на то место, где стоял Наполеон, но где его уже не было, и в ту минуту считали себя счастливыми» (*Там же. С. 18*).

С этих же страниц начинается интенсивное обслуживание Толстым-писателем и Толстым-историософом имперского мифа об «агрессии Наполеона», «Отечественной войне» и патриотическом подвиге народа — поистине, уйма фальшивых нот в той прелестной антивоенной симфонии, которой *могла бы* стать книга по имени «Война и мир», исполни Толстой, к примеру, в 1862 году свой замысел об отъезде, эвакуации из России. Конечно, тем самым писатель отделил бы себя от нахваленных им же самим источников вдохновения, первая из которых Ясная Поляна, и, что более значимо, отрезал бы навсегда себя от ценных источников, выуженных, и без того с немалым трудом, из российских архивов и библиотек — но зато и не был бы скован цензурой, а главное: мог бы взглянуть на событие такого масштаба, как позорная для России кампания Шестой антифранцузской коалиции *извне*, со стороны.

Но, как некогда критики-современники из числа историков, подавив профессиональное отвращение, мы представим читателю, в том же порядке художественного хронотопа, «вехи» антивоенных идей и образов, особенно ярких в этой части романа.

В ночь с 13 на 14 июня 1812 г. Александр Дмитриевич Балашов (1770 – 1837), лицо историческое, советник Александра и, в качестве министра полиции, «правая рука» его в удушении реформ Сперанского, выехал с «примирительным» письмом на французские аванпосты в Россиенах (в то время — в составе Российской империи; нынче это город Расейняй в свободной, демократической Литве), где был принят Мюратом и Даву, а после переправлен ими в Вильно к Наполеону. Французский император принял парламентёра в том самом кабинете, который неделю назад занимал российский император. Переговоры, основанные на заведомой лжи русского агрессора, готовившего, в составе новой коалиции, нападение на Францию, конечно же, не дали желанного Александру I результата.

Для нас интересны несколько эпизодов этой поездки. Так, отчего-то именно маршала *Луи-Николя Даву* (1770 – 1823) – а не более близких этнически и психологически служек Александра I, что было бы справедливо — выбрал романист, чтобы охарактеризовать тип человека, испорченного титулованиями и властью. Впрочем, сравнение с наиболее одиозным из «сподвижников» плешивого русского императора в характеристике Толстого всё же присутствует:

«Даву был Аракчеев императора Наполеона — Аракчеев не трус, но столь же исправный, жестокий и не умеющий выражать свою преданность иначе как жестокостью.

В механизме государственного организма нужны эти люди, как нужны волки в организме природы и они всегда есть, всегда являются и держатся, как ни несообразно кажется их присутствие и близость к главе правительства.

[...] Балашёв застал маршала Даву в сарае крестьянской избы, сидящего на бочонке и занятого письменными работами (он поверял счёты). Адъютант стоял подле него. Возможно было найти лучшее помещение, но маршал Даву был один из тех людей, которые нарочно ставят себя в самые мрачные условия жизни, для того чтоб иметь право быть мрачными. Они для того же всегда поспешно и упорно заняты. “Где тут думать о счастливой стороне человеческой жизни, когда, вы видите, я на бочке сижу в грязном сарае и работаю”, говорило выражение его лица. Главное удовольствие и потребность этих людей состоит в том, чтобы, встретив оживление жизни, бросить этому оживлению в глаза свою мрачную, упорную деятельность» (*Там же. С. 28*).

Один из немногих историков Наполеоновских войн и войн Коалиций, писавших в советское время, которым можно, с оговорками, доверять, Альберт Захарович Манфред (1906 – 1976), приводил по поводу такой оценки маршала Даву возражения, вполне обоснованные его глубочайшими, как полноценного учёного, историка познаниями:

«Имя Луи-Николя Даву запечатлелось в памяти поколений таким, как зарисовало его гениальное перо Льва Толстого, — французским Аракчеевым, холодным, злым и мелочным человеком. Толстой был несправедлив к Даву; вернее будет сказать, его ввели в заблуждение односторонне враждебные генералу источники» (*Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. М., 1998. С. 379*).

Иначе сказать, куда ближе к исторической правде о личности маршала Даву позднейшая по сюжету романа сцена с допросом им арестованного в горящей Москве Пьера Безухова:

«Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья...» (*ВиМ – 2. С. 499*).

В этой сцене Даву пребывает в кабинете, за столом, тоже в довольно аскетичной обстановке, диктуемой, однако, явно не одними свойствами его характера.

В любом случае, качества маршала Даву были оправданы и востребованы войной, в которой Франция оборонялась от агрессивной коалиции. Иное дело — российская орда, возглавляемая лично бездарным Александром I. К концу июня 1812 г. прославленная армия уже вовсю тикала от Наполеона. К 27 июня, времени недолгого обоснования в Дрисском лагере (укреплённый лагерь русской армии, располагавшийся к северо-западу от г. Дриссы, Витебской губернии) недовольство военной бездарью императора усилилось. Толстой здесь лишь повторяет сведения историков:

«Все были недовольны общим ходом военных дел в русской армии; но об опасности нашествия в русские губернии никто и не думал, никто и не предполагал, чтобы война могла быть перенесена далее западных польских губерний» (*Там же. С. 49*).

Ещё бы им было думать: ведь предполагалась не оборонительная война с Наполеоном, а агрессия, в составе Шестой коалиции европейских монархий, против Франции! Именно этим, кстати, диктовалась слабость укреплений Дрисского лагеря: ведь они предназначались как плацдарм для *нападения*, а не для обороны!

Но массовое патриотическое недовольство, подчёркивает Толстой, было далеко не всеобщим. Помимо малочисленной всегда в России партии здравого смысла и прогресса, противницы самой идеи войны с постреволюционной Францией, вокруг царя вертелись, к примеру, орава из людей численно «самой большой» партии: «...не желавших ни мира, ни войны, ни наступательных движений, ни оборонительного лагеря ни при Дриссе, ни где бы то ни было, ни

Барклая, ни государя, ни Пфуля, ни Бенигсена, но желающих только одного, и самого существенного: наибольших для себя выгод и удовольствий». Для этого некоторые не брезговали и «стилем» маршала Даву: стремились «попадаться на глаза государю, отягчённые работой». Но все эти люди равно «ловили рубли, кресты, чины, и в этом ловлении следили только за направлением флюгера царской милости, и только что замечали, что флюгер обратился в одну сторону, как всё это трутневое население армии начинало дуть в ту же сторону, так что государю тем труднее было повернуть его в другую» (Там же. С. 55 – 56). Насилу малочисленная партия прагматиков, к которой примкнул князь Андрей, уговорила эту вредную для общего хода дел, зависимую от льстецов и подпевал бабу с мудями, военного импотента, оставить лагерь — «под предлогом необходимости для государя воодушевить к войне народ в столице» (Там же. С. 56 – 57).



Апсит А. Военный совет в Дриссе (1912)

1 (13) июля в Дриссу прибыл император Александр I. На военном совете, состоявшемся в тот же день, всего лишь через 5 дней после занятия лагеря, было принято решение лагерь оставить. Это был предел разочарования князя Андрея в коронованной девице с му-

дями в обдриссанных лосинах. Но желание лично участвовать в спасении России и армии этим разочарованием только усилилось: «На другой день на смотре государь спросил у князя Андрея, где он желает служить, и князь Андрей навеки потерял себя в придворном мире, не попросив остаться при особе государя, а попросив позволения служить в армии» (Там же. С. 67). В сценах «организованного отхода» к Витебску александровой орды из Дрисского лагеря снова появляется и образ “идеального” офицера Николая Ростова — на котором, вослед писателю, отдыхает эстетически и морально и читатель. Перед нами — всё тот же, будто сошедший со страниц Кавказских повестей, образчик *правильной храбрости*, идеал юного Льва: «Прежде Ростов, идя в дело, боялся; теперь он не испытывал ни малейшего чувства страха. Не оттого он не боялся, что он привык к огню (к опасности нельзя привыкнуть), но оттого, что он выучился управлять своею душою перед опасностью. Он привык, идя в дело, думать обо всём, исключая того, что казалось было бы интереснее всего другого — о предстоящей опасности. Сколько он ни старался, ни упрекал себя в трусости первое время своей службы, он не мог этого достигнуть; но с годами теперь это сделалось само собою» (Там же. С. 76).

Но вот эскадрон Николая Ростова атакует у Островной французских драгун. На прекрасной казацкой лошади Ростов без труда догоняет и спешивает, ради смертельного удара, одного из офицеров-драгун:

«Драгунский французский офицер одною ногой прыгал на земле, другою зацепился в стремя. Он, испуганно шурясь, как будто ожидая всякую секунду нового удара, сморщившись, с выражением ужаса взглянул снизу вверх на Ростова. Лицо его, бледное и забрызганное грязью, белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами, было самое не для поля сражения, не вражеское лицо, а самое простое комнатное лицо. Ещё прежде, чем Ростов решил, что он с ним будет делать, офицер закричал: *je me rends!* [Сдаюсь!]]» (Там же. С. 79 – 80).

И Николай Ростов доказывает, что не зря его сделал другом старший боевой товарищ, храбрый, дерзкий, но и добродушный Васька Денисов: он щадит драгуна и позволяет товарищам увести его в плен. Толстому важно показать, что именно этот, *правильно храбрый* гусар, один из возлюбленных его персонажей, *нравственно не*

способен к убийству, даже на войне — вплоть до физических мучительных ощущений от одной, едва миновавшей его в пылу боя, опасности сделаться убийцей:

«Гусары торопливо поскакали назад с своими пленными. Ростов скакал назад с другими, испытывая какое-то неприятное чувство, сжимавшее ему сердце. Что-то неясное, запутанное, чего он никак не мог объяснить себе, открылось ему взятием в плен этого офицера и тем ударом, который он нанёс ему.

Граф Остерман-Толстой встретил возвращавшихся гусар, подозвал Ростова, благодарил его и сказал, что он представит государю о его молодецком поступке и будет просить для него Георгиевский крест» (Там же. С. 80).

Мир, прежде развративший дитя Николая, юного графа Ростова, возвеличением войн и убийств на войне, теперь благодарит его — за глупость и послушание. Но у Ростова *умное сердце*. И даже пустяковое ранение «врага» нравственно мучительно храброму гусару, скромный ум которого, отравленный «прививкой» патриотизма и почитания военщины, теряется теперь в догадках о том, что подсказывает ему сердце:

«...Лестные слова Остермана и обещание награды должны бы были тем радостнее поразить Ростова; но всё то же неприятное, неясное чувство нравственно тошнило ему. “Да что бишь меня мучает? — спросил он себя, отъезжая от генерала. — Ильин? Нет, он цел. Осрамился я чем-нибудь? Нет, всё не то!” Что-то другое мучило его. как раскаяние. “Да, да, этот французский офицер с дырочкой. И я хорошо помню, как рука моя остановилась, когда я поднял её”.

[...] Весь этот и следующий день, друзья и товарищи Ростова замечали, что он не скучен, не сердит, но молчалив, задумчив и сосредоточен. Он неохотно пил, старался оставаться один, и о чём-то думал.

Ростов всё думал об этом своём блестящем подвиге, который, к удивлению его, приобрёл ему Георгиевский крест и даже сделал ему репутацию храбреца, и никак не мог понять чего-то. “Так они ещё больше нашего боятся!”, думал он. “Так только-то и есть всего то, что называется геройством? И разве я это делал для отечества? И в чём он виноват с своею дырочкой и голубыми глазами? А как он испугался! Он думал, что я убью его. За что ж мне убивать его? У меня рука дрогнула. А мне дали Георгиевский крест. Ничего, ничего не понимаю!”» (Там же. С. 80 – 81).

Роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир» уже полтора столетия читают по всему миру, именуя его сам себя «христианским». При этом читатели часто и хвастают, что *сочувствуют* любимым персонажам. Будь это так, однако: воспитывай юные поколения свои чувства, свой сердце и разум, проходя учение жизни вместе с князем Андреем, Пьером Безуховым или Николаем Ростовым — сама угроза «мировых» войн в XX столетии и, тем более, отвратительной бойни наших дней в Украине, оказалась бы невозможной!

И речь следует вести не об одних мужских персонажах романа — даже с теми оговорками, что сам автор был отягощён предрассудками патриархального сексизма, да к тому же, безусловно, отступил бы от правды, выведи он на страницы романа о первой четверти XIX столетия персонажику с характерцем, скажем, Берты фон Зуттнер (об этой страстной пацифистке у нас зайдёт разговор позднее).

Но приглядимся к нечаянно до сих пор, по диктату нашей «военной» темы, упускаемому из внимания персонажу, сестре Николая Ростова Наташе. Гармоничный персонаж, близкий Толстому: благородное воспитание плюс близость деревне и народу. Не ожидая её взрослую к военной службе, дитя Наташу меньше насильно в мозг «мужской», патриархальный мир России. Наверстав в этом безобразным поступком с Наташей Анатоля Курагина... И всё же и она была заражена оправданием войны — по той же линии, что и княжна Марья: религиозной. 12 июля, в воскресенье, постепенно оправляющаяся после Курагина Наташа посетила к обедне церковь, где старый дьякон быстро привёл её в такое особенное состояние церковной обрядовки, что скоро Наташа уже «радостно» молилась за так сладко обманувшего её врага — Анатоля Курагина. А тут ещё, очень кстати, священник напомнил о предании своего «живота» (жизни) в волю Бога (*Там же. С. 91*). Но вот поп-менеджер всей храмины притащил скамеечку и начал, как везде в то время в России по церквям, по заказу Синода, читать молитву «о спасении России от вражеского нашествия» (*Там же. С. 92*). И тут ум Наташи сдох: прежде он услужливо отыскивал рационализации для иррационального идолослужения, но при озвучении такой молитвы — сперва «вырубился», а опосля вдруг и взбунтовался:

«В том состоянии раскрытости душевной, в котором находилась Наташа, эта молитва сильно подействовала на неё. Она слушала каждое слово о победе Моисея на Амалика, и Гедсона на Мадиама, и Давида на Голиафа, и о разорении Иерусалима Твоего, и просила

Бога с тою нежностью и размягчённостью, которую было переполнено её сердце; но не понимала хорошенько, о чём она просила Бога в этой молитве. Она всею душой участвовала в прошении о душе правом, об укреплении сердца верою, надеждою и о воодушевлении их любовью. Но она не могла молиться о попрании под ноги врагов своих, когда она за несколько минут перед этим только желала иметь их больше, чтобы любить их, молиться за них. Но она тоже не могла сомневаться в правоте читаемой коленопреклонной молитвы. Она ощущала в душе своей благоговейный и трепетный ужас пред наказанием, постигшим людей за их грехи и в особенности за свои грехи, и просила Бога о том, чтоб Он простил их всех и её, и дал бы им всем и ей спокойствия и счастья в жизни.

И ей казалось, что Бог слышит ее молитву» (Там же. С. 93 – 94).

Масштаб и системность зла не оправдывают для человека отступление от такого состояния сознания и души. Война, угроза семейству, государству, «нации», то есть тому же обществу, которое есть ты, которого ты частица, ничего не должно менять в решении христианина в пользу непротивления и отвечания любовью на вражду — по той причине, что для последователей Христа, от начала соединённых им в Церковь, исчезают во всех их значениях *языческие* общности и смыслы их существования: племена, народы, «нации» и, тем более, «нуклеарная», отделённая от других семья — как общность низшего порядка, поведение в отношении которой индивида в принципе регулируется самыми низшими, животными поведенческими программами, влечениями и эмоциями.

В этом отрывке выражаются и те христианские убеждения Льва Николаевича в благости страданий, открывающих человеку глаза на смысл жизни, которые, как драгоценную истину, Толстой-христианин пронесёт через жизнь до конца дней.

Такое же отношение к страданиям истинным, отделяемым ею от надлома либо деградации в человеке, производимыми военной службой и убийствами на войне — имела княжна Марья, которой предстоит сойтись с Наташей именно в таком, просветлённом религиозным чувством, неприятию жестокости и лжеей «мужской», лжехристианской цивилизации:

«О войне княжна Марья думала так, как думают о войне женщины. Она боялась за брата, который был там, ужасалась, не понимая её, пред людскою жестокостью, заставлявшею их убивать друг друга; но не понимала значения этой войны, казавшейся ей такою же, как

и все прежние войны. Она не понимала значения этой войны, несмотря на то, что <гувернёр> Десаль, её постоянный собеседник, страстно интересовался ходом войны, старался ей растолковать свои соображения и несмотря на то, что приходившие к ней божьи люди все по-своему с ужасом говорили о народных слухах про нашествие антихриста, и несмотря на то, что Жюли, теперь княгиня Друбецкая, опять вступившая с ней в переписку, писала ей из Москвы патриотические письма» (Там же. С. 125).

Суеверные лунатики, идолопоклонники лжехристианства «православия», т. н. «божьи странники», как ни близки княжне Марье, всё же в этот раз *сердцу* её отторгающему жестокость, жалеющему людей, *сердцу матери* — могут открыть не более ценного, нежели патриоты монархии, старая подружка Жюли, а равно и Десаль, субъект «ограниченно-умный», по характеристике автора, подобранный старым князем, вероятнее всего, по принципу угодливости — умения поддержать, скрыв настоящие убеждения, общий патриотический настрой в доме.

Но это женщины... Сознания детей мужского пола тётя «родина» не жалеет — не исключая самых близких членов семьи. Родители Пети Ростова, хотя, конечно же, и не желают потерять его из-за войны, продолжают, с отупелым бездумием, уверенностью палчаей и самоубийц до конца, растить военного патриота, почитателя военных и военной службы. Вот дом Ростовых навещает в очередной раз влюблённый уже тайком (то есть явно для женщин) Пьер Безухов — как раз в это время, недовольный, как прежде князь Андрей, своей скучной жизнью богача, караулящий свой «Тулон», свой жизненный поворот «к великому подвигу и великому счастью», пытаясь нумерологически свести своё, как грядущего героя-спасителя России имя с именем «антихриста» Наполеона:

«Пьеру давно уже приходила мысль поступить в военную службу, и он бы исполнил её, ежели бы не мешала ему, во-первых, принадлежность его к тому масонскому обществу, с которым он был связан клятвой, и которое проповедывало вечный мир и уничтожение войны, и, во-вторых, то, что ему, глядя на большое количество москвичей, надевших мундиры и проповедывающих патриотизм, было почему-то совестно предпринять такой шаг. Главная же причина, по которой он не приводил в исполнение своего намерения поступить в военную службу, состояла в том неясном представлении, что он — l'Russe Besuhof, имеющий значение звериного числа 666, что

его участие в великом деле положения предела власти зверю, глаголящему велика и хульна, определено предвечно, и что поэтому ему не должно предпринимать ничего, и ждать того, что должно совершиться» (Там же. С. 94 – 98).

Будто почуяв в тёзке товарища по детским фантазиям и грёзам о героизме, к гостю в доме Ростовых привязался Петя:

«Петя был теперь красивый, румяный, пятнадцатилетний мальчик с толстыми, красными губами, похожий на Наташу. Он готовился в университет, но в последнее время, с товарищем своим Оболенским, тайно решил, что пойдёт в гусары.

Петя выскочил к своему тёзке, чтобы переговорить о деле.

Он просил его узнать, примут ли его в гусары.

Пьер шёл по гостинной, не слушая Петю.

Петя дёрнул его за руку, чтоб обратить на себя его вниманье.

— Ну что моё дело, Пётр Кирилыч, ради Бога! Одна надежда на вас, — говорил Петя.

— Ах да, твоё дело. В гусары-то? Скажу, скажу. Нынче скажу всё».

И далее, по сюжету, будто в насмешку над берегущими дитя родителями — чтение царского, возбуждающего патриотизм, манифеста и немедленная, спрограммированная текстом, предсказуемая реакция сопящего носопырккой простеца папаши, графа Ростова:

«Вот это так! Только скажи государь, мы всем пожертвуем и ничего не пожалеем. [...] Только скажи он слово, мы все пойдём... Мы не немцы какие-нибудь...» (Там же. С. 102 – 103).

Конечно же, глупец родитель тут же раздул и без того курящееся постоянно пламя патриотизма в уже совершенно беззащитном против таких влияний ребёнке:

«В это время Петя, на которого никто не обращал внимания, подошёл к отцу и, весь красный, ломающимся, то грубым, то тонким голосом, сказал:

— Ну теперь, папенька, я решительно скажу — и маменька тоже, как хотите — я решительно скажу, что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу... вот и всё...

Графиня с ужасом подняла глаза к небу, всплеснула руками и сердито обратилась к мужу:

— Вот и договорился! — сказала она.

Но граф в ту же минуту оправился от волнения.

— Ну, ну, — сказал он. — Вот воин ещё! Глупости-то оставь: учиться надо.

— Это не глупости, папенька. Оболенский Федя моложе меня и тоже идёт, а главное, всё равно, я ничему не могу учиться теперь, когда...

— Петя остановился, покраснел до поту и проговорил-таки: — когда отечество в опасности.

— Полно, полно, глупости...

— Да ведь вы сами сказали, что всем пожертвуем.

— Петя! Я тебе говорю, замолчи, — крикнул граф, оглядываясь на жену, которая, побледнев, смотрела остановившимися глазами на меньшого сына.

— А я вам говорю. Вот и Пётр Кириллович скажет...

— Я тебе говорю — вздор, ещё молоко не обсохло, а в военную службу хочет!» (Там же. С. 103).

Сказал, как отрезал. Но запретный плод — тем слаще... И не напрасно мать, бледная, взирала с ужасом и, вероятно, с самыми дурными предчувствиями на своего «маленького», с потной натугою учащегося проговаривать, повторяя за старшими, формулы сакрализованной «взрослым» миром лжи: ей предстояло тяжелее всего пережить возникшую на горизонте страшнейшую из утрат семьи.

Но совершится это при тех обстоятельствах, когда Пьер будет спасённым мучеником, жертвою, а не палачом! Доброжелательный, тайно любящий Наташу — он, конечно же, выкидывает из головы просьбу юного Пети Ростова. Палачество, даже косвенное — не путь для возлюбленных автором персонажей, фаворитов «Войны и мира»!

* * * * *

Но далеко, далеко, далеко не для всех в гнилопоганом «русском мире», далеко не для всех в России, «щедрой душе» на всяческие глупости и гадости — далеко не все столь искренне, далеко не все *сущностно*, во всей полноте личности своей, даже животного её существа, не принимали, с первой юности отвращаясь, с сердечною болью, с тошнотой физической и нравственной, отвращаясь, бежали с ужасом и отвращением — от этого самого *палачества*, какими бы рационализациями оно ни обставлялось, не исключая соображений общественных, юридических, военных, патриотических, утилитарных...

Проницательный, хорошо знающий роман читатель уже наверняка догадался, что удерживает наше внимание пока ещё на Третьем томе. Эпизод жестокой расправы над осуждённым Верещагиным

графа *Фёдора Васильевича Ростопчина* (1763 – 1826) – кстати, декларативного патриота и ненавистника *галломании* (естественных симпатий передовых людей в России к Франции и французам), что ещё в 1800-х выразилось в его малоталанливой публицистике.

Но таковым патриотом, врагом послереволюционной Франции, Ростопчин был не всегда. При императоре Павле I, в сентябре 1799 года Ростопчин, к тому моменту кавалер ордена Андрея Первозванного, занял место первоприсутствующего Иностранной коллегии, заполняя вакуум, образовавшийся после смерти князя Безбородко. В этом качестве Ростопчин способствовал сближению России с республиканской Францией и охлаждению отношений с Великобританией. Его меморандум, подтверждённый Павлом 2 октября 1800 года, определил внешнюю политику России в Европе до самой смерти императора. Союз с Францией, по мысли Ростопчина, должен был привести к разделу Османской империи, которую он (как указывает Русский биографический словарь) первым назвал «безнадёжным больным», при участии Австрии и Пруссии. Для осуществления морского эмбарго против Великобритании Ростопчину было поручено заключить военный союз со Швецией и Пруссией (позже, уже после его ухода с поста, к союзу присоединилась Дания).



Граф Фёдор Васильевич Ростопчин.
Портреты работы Сальватора Тончи, 1800 и Ореста Кипренского, 1809.

Накануне убийства императора, лишь осуществлённого российскими дворянскими «патриотами», но подготовленного и оплаченного Англией, в феврале 1801 года Ростопчин попадает в опалу, и, будучи (при содействии графа Палена, одного из организаторов цареубийства) отстранён от должности, удаляется в почётную ссылку в своё подмосковное имение Вороново, где, занимаясь литературой, но желая вернуться и в «государеву службу», меняет свои политические ориентиры.

Снискав себе имидж консерватора, безусловного монархиста, Ростопчин накануне уже задуманной Александром I агрессии против Франции, 24 мая 1812 года, был назначен военным губернатором Москвы; 29 мая он был произведён в генералы от инфантерии и назначен главнокомандующим Москвы. На новом месте Ростопчин спешил оправдать с лихвою оказанное доверие. При нём был установлен тайный надзор за московскими масонами и мартинистами, которых он подозревал в подрывной деятельности.

В начале войны московской полицией были обнаружены ходившие по рукам прокламации, содержание которых не отвечало интересам русского правительства. Речь идёт о переведённом из немецкой газеты так называемом «Письме Наполеона к прусскому королю», а также о переводе «Речи, произнесённой Наполеоном к князьям Рейнского союза». В письме от имени Наполеона фигурировало обещание народам Европы избавить их от «древних тиранов», восстановить целостность и государственность Польши, а ещё упоминалось, к примеру, о «недостойном» союзе прусского короля с «потомками Чингизхана», то есть руснёй. В обращении Наполеона к князьям Рейнского союза русские именовались «варварами», презирающими его дружбу, а российский император – одним из «древних тиранов» (Цит. по: Мещерякова А. О. Предисловие. – В кн. Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце. М., 2014. С. 43).

По сведениям в мемуарах А. Д. Бестужева-Рюмина, переводчик, знаток трёх иностранных языков *Михаил Николаевич Верещагин* (1789 – 1812) был осуждён в каторжные работы примерно за то самое, что в подпутинской, фашиствующей России 2022 – 2023 гг. именуется «фейками» — то есть, за правдивую информацию о Наполеоне, о мирных намерениях Франции, лишь вынужденной обороняться от коалиции монархий, об агрессии, в составе этой коалиции,

Александра I и о подлинном, незавидном положении отступающей с потерями русской армии. Заметки из иностранных газет, полученных при вероятном содействии почтмейстера Ключарёва, он самолично перевёл и попытался распространить по Москве (*Бестужев-Рюмин А.Д. Краткое описание происшествий в Москве в 1812 году // Чтения в Обществе истории и древностей российских. М., 1859. Кн. II. С. 72*). Как и в путинской России наших дней, все неудачи бандитской политики преступники у власти стремились списать на деятельность таких «предателей отечества» — от есть, их кровавой и преступной политики!

Из воспоминаний К. Павловой, опубликованных впервые в «Русском Архиве» 1875 г.:

«Когда народ московский, успокоенный прокламациями графа Растопчина, которые постоянно твердили о бессилии и скором уничтожении армии Наполеона, вдруг узнал, что эта армия стоит на Поклонной Горе, готовая вступить беспрепятственно в Москву, вопль отчаяния пронёсся по городу. Озлобленная чернь бросилась к генерал-губернаторскому дому, крича, что её обманули, что Москву предадут неприятелю. Толпа возрастала, разъярялась всё более и стала звать к ответу генерал-губернатора. Поднялся громкий крик: — „Пусть выйдет к нам! Не то доберёмся до него!“ В этом затруднительном положении граф Растопчин не потерял присутствия духа. Приказав скорее заложить дрожки, он вышел к народу, который встретил его сердитыми восклицаниями: „Нам солгали! Говорили, бояться нечего, французы разбиты; а французы вступают в Москву!“

„Да, вступают, отвечал громким голосом граф, вступают, потому что между нами есть изменники!“ — „Где они? Кто изменник?“ — закричала неистовая толпа. — „Вот изменник!“ — сказал граф, указывая на стоящего вблизи молодого Верещагина. — Этот последний, поражённый бессовестным обвинением, побледнел и проговорил: „Грех вам, ваше сиятельство!“ — В ту же минуту вся чернь, в остервенении, кинулась на него, и между тем как она терзала и убивала несчастного, граф Растопчин вошёл опять в дом, из которого поспешно выбрался на задний двор, сел на готовые дрожки и переулками выехал из Москвы» (*Павлова К. Воспоминания // Россия и Наполеон. Отечественная война в мемуарах, документах и художественных произведениях. Сборник. 2-е изд. М., 1913. С. 164 – 165*).

В своих мемуарах граф Растопчин, желая придать событию видимость казни по суду указывает, что Верещагин был просто зарублен

в глазах толпы двумя унтер-офицерами его конвоя (*Ростопчин Ф.В. Записки о 1812 году. – В кн. Ростопчин Ф.В. Мысли вслух на Красном крыльце. Указ. изд. С. 285*). Однако, исторически установлено, что, во-первых, по недоказанным пунктам обвинения сенатский суд приговорил Верещагина только к каторге, а не к убиению, а во-вторых, после ударов, полученных от конвоя и последовавшего за ними бегства Ростопчина (в дом и, через заднее крыльцо — из Москвы) Верещагин, быть может, ещё живой, был растерзан «подогретой» ложью Ростопчина, наблюдавшей за «исполнением приговора» толпой. Всё совершилось очень, очень по-русски, мило и традиционно:

«Ростопчин бежал не как дворянин, не как военный, не как глава города, а подобно бандиту, скрывающемуся от полицейских. Он собрал ценности в шкатулку и готов был к побегу, но во дворе собралась толпа простонародья и пьяного отребья (вспоминается: «агрессивно-послушное большинство»)» (*Цит. по: Понасенков Е.Н. Первая научная история войны 1812 года. М., 2017. С. 439*). И осуждённый, быть может, и «за дело» Верещагин был отдан на гнусную расправу пьяной толпе:

«Граф Ростопчин приказал вахмистру Бурдаеву: “Руби!” Тот растерялся и стоял, не двигаясь. Тогда генерал-губернатор повторил приказ командиру эскадрона Гаврилову, пригрозив, что тот ответит своей головой, если не исполнит приказ. Гаврилов скомандовал «Сабли вон!», затем первым нанес Верещагину удар саблей, за ним ударил Верещагина палашом вахмистр Бурдаев. Молодой человек, обливаясь кровью, упал.

...Граф Ростопчин со своей свитой не успел покинуть двор, как опьянённая первой пролитой кровью толпа бросилась на израненного Михаила Верещагина. Его привязали ногами к лошади и поволокли. Толпа хлынула прочь со двора. Ещё живого Михаила Верещагина протащили волоком по Кузнецкому мосту, по Петровке, затем через Столешников переулок на Тверскую, оттуда в Брюсов переулок. Здесь несчастного юношу забили до смерти» (*Там же. С. 440*).

И ещё, из воспоминаний участника событий 1812 года, русского дворянина Николая Тургенева:

«Какой-то чиновник Генерального штаба русской армии, возвращавшийся в город, положил конец этому возмутительному зрелищу, заставив убрать обезображенные останки, которыми натешилась ярость черни.

[...] После отступления французской армии отец жертвы попросил императора предать убийцу суду, изложив событие во всей его отталкивающей наготе. Александр пришёл в ужас от поступка Ростопчина и велел произвести расследование по этой жалобе. Но Сенат, вынужденный обвинять в убийстве генерал-губернатора, наместника императора, оказался в таком затруднительном положении, что делу не дали хода и замяли его» (*Цит. по: Понасенков Е.Н. Указ. соч. С. 441*).

Выдающийся историк наших дней Евгений Понасенков комментирует это так:

«И эти скотства творили “христиане”?! Запомните этот страшный маршрут по московским улицам, когда в следующий раз на “День города” будут вспоминать “славную пору 1812 года”! Не хватает только шизофренического лозунга, так популярного в наши дни “можем повторить”! Разве Наполеон и его армия могли даже в самых страшных снах вообразить подобную бесчеловечность? Итак, градоначальник убил чужими руками человека и позорно сбежал со шкаптулкой.

[...] Один совершил зверское преступление, другие замяли расследование. Поведение российских властей в период сдачи Москвы - это сплошной позор и преступление. Их можно было бы сравнить не с государственными лицами, а с шайкой древних азиатских бандитов, скотски расправлявшимися с невинными людьми, бросавшими без дозволения свои ответственные посты, “святыни” и убегающими, будто бы они не собственники, а всего лишь грабители, трусливо спасающиеся перед лицом законного хозяина. Или подобное и есть тот пресловутый “особый путь”? Не это ли та самая “загадочная” “*ame russe*”? [фр. “русская душа”]» (*Там же. С. 440*).

Теми же источниками, что и современные исследователи, очевидно, воспользовался и Л. Н. Толстой, серьёзно изменив исторический сюжет, зато и раскрасив его дополнительно красками безжалостного психологизма.

Значение эпизода для автора, для Льва Николаевича Толстого, трудно переоценить. В описании бессудной расправы науськанной Ростопчиным толпы над преступником соединились все те «ненависти» Толстого, о которых уже знает читатель: к войне, к смертным казням, ко лжи власть имущих, к трусости и подлости лишь номинально «благородных» офицеров и аристократов.



«Смерть Верещагина».

Иллюстрация К. В. Лебедева. Около 1912 г.

Это зло абсолютное, «чистое» — в этом смысле весьма похожее на то, что выродившаяся 200 лет спустя уже вконец русня, бывш. русский народ, вытворяет в Украине — жестоко, с пытками, убивая не только военных пленников Вооружённых сил Украины, истинных защитников отечества, но и безоружных мирных жителей!

Из этого чуда грешно драть цитаты, его надо привести целиком. Вот эпизод расправы с Верещагиным, как его увидел, почувствовал Лев Николаевич Толстой:

«Вечером 1-го сентября, после своего свидания с Кутузовым, граф РаSTOPчин, огорчённый и оскорблённый тем, что его не пригласили на военный совет, что Кутузов не обращал никакого внимания на его предложение принять участие в защите столицы и удивлённый новым открывшимся ему в лагере взглядом, при котором вопрос о спокойствии столицы и о патриотическом её настроении оказывался не только второстепенным, но совершенно ненужным и ничтожным, [...] вернулся в Москву.

[...] РаSTOPчин, пылкий, сангвинический человек, всегда вращавшийся в высших кругах администрации, хотя и с патриотическим

чувством, не имел ни малейшего понятия о том народе, которым он думал управлять. С самого начала вступления неприятеля в Смоленск, Растопчин в воображении своём составил для себя роль руководителя народного чувства — сердца России. Ему не только казалось (как это кажется каждому администратору), что он управлял внешними действиями жителей Москвы, но ему казалось, что он руководил их настроением, посредством своих воззваний и афиш, писанных тем ёрническим языком, который в своей среде презирает народ и которого он не понимает, когда слышит его сверху. Красивая роль руководителя народного чувства так понравилась Растопчину, он так сжился с нею, что необходимость выйти из этой роли, необходимость оставления Москвы без всякого героического эффекта застала его врасплох, и он вдруг потерял из под ног почву, на которой стоял, и решительно не знал, что ему делать.

[...] В Москве оставалось всё то, что именно было поручено ему, всё то казённое, что ему должно было вывезти. Вывезти всё не было возможности.

“Кто же виноват в этом, кто допустил до этого?” думал он. “Разумеется не я. У меня всё было готово, я держал Москву вот как! И вот до чего они довели дело! Мерзавцы, изменники!” думал он, не определяя хорошенько того, кто были эти мерзавцы и изменники, но чувствуя необходимость ненавидеть этих кого-то изменников, которые были виноваты в том фальшивом и смешном положении, в котором он находился.

[...] Всю эту ночь граф Растопчин отдавал приказания, за которыми со всех сторон Москвы приезжали к нему. Приближённые никогда не видали графа столь мрачным и раздражённым.

[...] К 9-ти часам утра, когда войска уже двинулись через Москву, никто больше не приходил спрашивать распоряжений графа. Все, кто мог ехать, ехали сами собой; те, кто оставались, решали сами с собой, что им надо было делать.

Граф велел подавать лошадей, чтоб ехать в Сокольники и, нахмуренный, жёлтый и молчаливый, сложив руки, сидел в своём кабинете.

[...] — Готов экипаж? — сказал Растопчин, отходя от окна.

— Готов, ваше сиятельство, — сказал адъютант. Растопчин опять подошёл к двери балкона.

— Да чего они хотят? — спросил он у полицеймейстера.

— Ваше сиятельство, они говорят, что собрались идти на французов по вашему приказанию, про измену что-то кричали. Но буйная толпа, ваше сиятельство. Я насилу уехал. Ваше сиятельство, осмеюсь предложить...

— Извольте идти, я без вас знаю, что делать, — сердито крикнул Растопчин. Он стоял у двери балкона, глядя на толпу. «Вот что они сделали с Россией! Вот что они сделали со мной!» думал Растопчин, чувствуя поднимающийся в своей душе неудержимый гнев против кого-то того, кому можно было приписать причину всего случившегося. Как это часто бывает с горячими людьми, гнев уже владел им, но он искал ещё для него предмета.

[...] — Готов экипаж? — в другой раз спросил он.

— Готов, ваше сиятельство. Что прикажете насчёт Верещагина? Он ждёт у крыльца, — отвечал адъютант.

— А! — вскрикнул Растопчин, как поражённый каким-то неожиданным воспоминанием.

И, быстро отворив дверь, он вышел решительными шагами на балкон. Говор вдруг умолк, шапки и картузы снялись, и все глаза поднялись к вышедшему графу.

— Здравствуйте, ребята! — сказал граф быстро и громко. — Спасибо, что пришли. Я сейчас выйду к вам, но прежде всего нам надо управиться с злодеем. Нам надо наказать злодея, от которого погибла Москва. Подождите меня! — И граф так же быстро вернулся в покои, крепко хлопнув дверью.

По толпе пробежал одобрительный ропот удовольствия. «Он, значит, злодеев управит усех! А ты говоришь француз... он тебе всю дистанцию развяжет!» — говорили люди, как будто упрекая друг друга в своём маловерии.

Через несколько минут из парадных дверей поспешно вышел офицер, приказал что-то, и драгуны вытянулись. Толпа от балкона жадно подвинулась к крыльцу. Выйдя гневно-быстрыми шагами на крыльцо, Растопчин поспешно оглянулся вокруг себя, как бы отыскивая кого-то.

— Где он? — сказал граф, и в ту же минуту как он сказал это, он увидал из-за угла дома выходившего между двух драгун молодого человека с длинною тонкою шеей, с головой до половины выбритую и заросшею. Молодой человек этот был одет в щегольской когда-то, покрытый синим сукном, потёртый лисий тулупчик и в грязные по-

сконные арестантские шаровары, засунутые в нечищенные, стоптанные тонкие сапоги. На тонких, слабых ногах тяжело висели кандалы, затруднявшие нерешительную походку молодого человека.

— А! — сказал Растопчин, поспешно отворачивая свой взгляд от молодого человека в лисьем тулупчике и указывая на нижнюю ступеньку крыльца. «Поставьте его сюда!» Молодой человек, брянча кандалами, тяжело переступил на указываемую ступеньку, придерживая пальцем нажимавший воротник тулупчика, повернул два раза длинную шей и вздохнув, покорным жестом сложил пред животом тонкие, нерабочие руки.

Несколько секунд, пока молодой человек устанавливался на ступеньке, продолжалось молчание. Только в задних рядах сдавливающих к одному месту людей слышались кряхтенье, стоны, толчки и топот переставляемых ног.

Растопчин, ожидая того, чтоб он остановился на указанном месте, хмурясь потирал рукою лицо.

— Ребята! — сказал Растопчин металлически-звонким голосом, — этот человек, Верещагин — тот самый мерзавец, от которого погибла Москва.

Молодой человек в лисьем тулупчике стоял в покорной позе, сложив кисти рук вместе пред животом и немного согнувшись. Исхудалое с безнадежным выражением, изуродованное бритой головой молодое лицо его было опущено вниз. При первых словах графа он медленно поднял голову и поглядел снизу на графа, как бы желая что-то сказать ему или хоть встретить его взгляд. Но Растопчин не смотрел на него. На длинной тонкой шее молодого человека, как верёвка, напряжилась и посинела жила за ухом, и вдруг покраснело лицо.

Все глаза были устремлены на него. Он посмотрел на толпу и, как бы обнадеженный тем выражением, которое он прочёл на лицах людей, он печально и робко улыбнулся и, опять опустив голову, поправился ногами на ступеньке.

— Он изменил своему царю и отечеству, он передался Бонапарту, он один из всех русских осрамил имя русского, и от него погибает Москва, — говорил Растопчин ровным, резким голосом; но вдруг быстро взглянул вниз на Верещагина, продолжавшего стоять в той же покорной позе. Как будто взгляд этот взорвал его, он, подняв руку, закричал почти, обращаясь к народу: — Своим судом расправляйтесь с ним! отдаю его вам!

Народ молчал и только всё теснее и теснее нажимал друг на друга. Держать друг друга, дышать в этой заражённой духоте, не иметь силы пошевелиться и ждать чего-то неизвестного, непонятного и страшного, становилось невыносимо. Люди, стоявшие в передних рядах, видевшие и слышавшие всё то, что происходило пред ними, все с испуганно-широко раскрытыми глазами и разинутыми ртами, напрягая все свои силы, удерживали на своих спинах напор задних.

— Бей его!.. Пускай погибнет изменник и не срамит имя русского! — закричал Растопчин. — Руби! Я приказываю! — Услыхав не слова, но гневные звуки голоса Растопчина, толпа застонала и надвинулась, но опять остановилась.

— Граф!.. — проговорил среди опять наступившей минутной тишины робкий и вместе театральный голос Верещагина. — Граф, один Бог над нами..., — сказал Верещагин, подняв голову, и опять налилась кровью толстая жила на его тонкой шее, и краска быстро выступила и сбежала с его лица. Он не договорил того, что хотел сказать.

— Руби его! Я приказываю!.. — прокричал Растопчин, вдруг побледнев так же, как и Верещагин.

— Сабли вон! — крикнул офицер драгунам, сам вынимая саблю. Другая ещё сильнейшая волна взмыла по народу и, добежав до передних рядов, волна эта сдвинула передних и шатая поднесла к самым ступеням крыльца. Высокий малый, с окаменелым выражением лица и с остановившеюся поднятою рукой, стоял рядом с Верещагиным.

— Руби! — прошептал почти офицер драгунам, и один из солдат вдруг с искаженным злобой лицом ударил Верещагина тупым палашем по голове.

«А!» коротко и удивленно вскрикнул Верещагин, испуганно оглядываясь и как будто не понимая, зачем это было с ним сделано. Такой же стон удивления и ужаса пробежал по толпе.

«О Господи!» послышалось чьё-то печальное восклицание.

Но вслед за восклицанием удивления, вырвавшимся у Верещагина, он жалобно вскрикнул от боли, и этот крик погубил его. Та натянутая до высшей степени преграда человеческого чувства, которая держала ещё толпу, прорвалась мгновенно. Преступление было начато, необходимо было довершить его. Жалобный стон упрека был заглушён грозным и гневным ревом толпы. Как последний седьмой вал, разбивающий корабли, взмыла из задних рядов эта последняя

неудержимая волна, донеслась до передних, сбила их и поглотила всё. Ударивший драгун хотел повторить свой удар. Верещагин с криком ужаса, заслоняясь руками, бросился к народу. Высокий малый, на которого он наткнулся, вцепился руками в тонкую шею Верещагина и с диким криком, с ним вместе, упал под ноги навалившегося ревущего народа.

Одни били и рвали Верещагина, другие высокого малого. И крики задавленных людей и тех, которые старались спасти высокого малого, только возбуждали ярость толпы. Долго драгуны не могли освободить окровавленного до полусмерти избитого фабричного. И долго, несмотря на всю горячую поспешность, с которой толпа старалась довершить раз начатое дело, те люди, которые били, душили и рвали Верещагина, не могли убить его; толпа давила их со всех сторон, колыхалась с ними в середине, как одна масса, из стороны в сторону и не давала им возможности ни добить, ни бросить его.

«Топором-то бей что ли?... задавили... Изменщик, Христа продал!.. жив... живуц... по делом вору мука. Запором-то!.. Али жив!»

Только когда уже перестала бороться жертва и вскрики её заменились равномерным протяжным хрипеньем, толпа стала торопливо перемещаться около лежащего окровавленного трупа. Каждый подходил, взглядывал на то, что было сделано, и с ужасом, упрёком и удивлением теснился назад.

«О господи, народ-то что зверь, где же живому быть!» слышалось в толпе. «И малый-то молодой... должно из купцов, то-то народ!., сказывают не тот... как же не тот... О господи!.. Другого избili, говорят, чуть жив... Эх, народ... Кто греха не боится...», говорили теперь те же люди, с болезненно-жалостным выражением глядя на мёртвое тело с посиневшим измазанным кровью и пылью лицом и с разрубленной длиною, тонкою шеей.

Полицейский старательный чиновник, найдя неприличным присутствие трупа на дворе его сиятельства, приказал драгунам вытащить тело на улицу. Два драгуна взялись за изуродованные ноги и поволокли тело. Окровавленная измазанная в пыли, мёртвая, бритая голова на длинной шее, подворачиваясь волочилась по земле. Народ жался прочь от трупа» (*ВиМ – 2. С. 389 – 400*).

Эта бритая голова, не отрубленная, но на разрубленной шее — по времени создания Толстым образа отстоит далеко и от репейника,

напомнившего Толстому бритую голову Хаджи-Мурата, так же искалеченную, но не склонившуюся перед ордою мерзкой русни, и от самой повести, над которой Толстой, с перерывами, работал до последнего года жизни и которая стала, в числе прочего, антивоенным завещанием писателя и христианина. И не случайно именно здесь, в этом эпизоде, ещё молодой и заболваненный патриотизмом и православием писатель сблизился с самим собой, каким станет через 20, 30 и 40 лет — в сцене казни, в которой аккумулировалось всё, за что Толстой ненавидел с юных лет не только палачество, но всяческие наказания.

Следом за сценой расправы над преступником по суду, уже совершенно по-христиански, Толстой изображает начало наказания Свыше самого палача, Ростопчина:

«В то время как Верещагин упал, и толпа с диким рёвом стеснилась и заколыхалась над ним, Ростопчин вдруг побледнел и, вместо того, чтоб идти к заднему крыльцу, у которого ждали его лошади, он, сам не зная куда и зачем, опустив голову, быстрыми шагами пошёл по коридору, ведущему в комнаты нижнего этажа. Лицо графа было бледно, и он не мог остановить трясущуюся как в лихорадке нижнюю челюсть.

— Ваше сиятельство сюда... куда изволите?., сюда пожалуйста, — проговорил сзади его дрожащий, испуганный голос. Граф Ростопчин не в силах был ничего отвечать и, послушно повернувшись, пошёл туда, куда ему указывали. У заднего крыльца стояла коляска. Далёкий гул ревущей толпы слышался и здесь. Граф Ростопчин торопливо сел в коляску и велел ехать в свой загородный дом в Сокольниках.

Выехав на Мясницкую и не слыша больше криков толпы, граф стал раскаиваться. Он с неудовольствием вспомнил теперь волнение и испуг, которые он выказал перед своими подчинёнными. «*La populace est terrible, elle est hideuse*», думал он по-французски. «*Ils sont comme les loups qu'on ne peut apaiser qu'avec de la chair*». [Народная толпа страшна, она отвратительна. Они как волки: их ничем не удовлетворишь, кроме мяса.] «Граф! один Бог над нами!» вдруг вспомнились ему слова Верещагина, и неприятное чувство холода пробежало по спине графа Ростопчина. Но чувство это было мгновенно, и граф Ростопчин презрительно улыбнулся сам над собою. «*J'avais d'autres devoirs*», подумал он. «*Il fallait apaiser le peuple. Bien d'autres*

victimes ont péri et périssent pour le bien publique», [У меня были другие обязанности. Надо было успокоить народ. Много других жертв погибло и гибнет для общественного блага.] и он стал думать о тех общих обязанностях, которые он имел в отношении своего семейства, своей (порученной ему) столице и о самом себе — не как о Фёдоре Васильевиче Растопчине (он полагал, что Фёдор Васильевич Растопчин жертвует собою для bien publique), [общественного блага] но о себе как о главнокомандующем, о представителе власти и уполномоченном царя. «Ежели бы я был только Фёдор Васильевич, [...] но я должен был сохранить и жизнь, и достоинство главнокомандующего».

Слегка покачиваясь на мягких рессорах экипажа и не слыша более страшных звуков толпы, Растопчин физически успокоился, и, как это всегда бывает, одновременно с физическим успокоением ум подделал для него и причины нравственного успокоения. Мысль, успокоившая Растопчина, была не новая. С тех пор как существует мир и люди убивают друг друга, никогда ни один человек не совершил преступления над себе подобным, не успокоивая себя этою самою мыслью. Мысль эта есть le bien publique [общественное благо], благо других людей.

Для человека, не одержимого страстью, благо это никогда не известно; но человек, совершающий преступление, всегда верно знает, в чём состоит это благо. И Растопчин теперь знал это.

Он не только в рассуждениях своих не упрекал себя в сделанном им поступке, но находил причины самодовольства в том, что он так удачно умел воспользоваться этим à propos [удобным случаем] — наказать преступника и вместе с тем успокоить толпу.

“Верещагин был судим и приговорен к смертной казни» думал Растопчин (хотя Верещагин Сенатом был только приговорён к каторжной работе). Он был предатель и изменник; я не мог оставить его безнаказанным, и потом je faisais d'une pierre deux coups; [я убивал двух зайцев одним выстрелом] я для успокоения отдавал жертву народу и казнил злодея”.

Приехав в свой загородный дом и занявшись домашними распоряжениями, граф совершенно успокоился» (Толстой Л.Н. *Война и мир*. Указ. изд. Книга 2. С. 389 – 401).

Убийство во имя «общественного блага», ради государственной необходимости, общественного порядка и даже религиозного благонаправия — это то, на что пошла еврейская элита в отношении Иисуса Христа. Используя вражескую, римскую судебную систему, но также и — страсти толпы. Но это же суеверие оправданного насилия, убийства ради «общественного блага» — то самое, чем от начала повествования и как раз до сцены пожара оставленной Москвы был так или иначе одержим Пьер Безухов. Но автор, а значит и «судьба» в произведении благоволили ему: проповедь масонских «братьев» наложилась на его нравственно здоровую натуру, а предстоящее чистилище страдания и учение среди народа, в плену — уничтожит совершенно мечты о возвеличении себя, о спасении многих ценой крови даже одного человека.

Не ему, а Ростопчину, обречённому, как и убиенный им Верещагин, смерти, предстоят годы нравственной пытки от воспоминания чернейших, рафинированных своих жестокости и подлости. Не к одру смерти Пьера, а к Ростопчину перед смертью явится видением убиенный — как явился, во плоти, в образе юродивого нищего, когда граф, успокоив было себя, дерзнул выехать из загородной виллы, через Сокольничье поле, к Яузскому мосту — для объяснений с Кутузовым об оставлении Москвы, то есть, опять же, самоуспокоения. Но не вышло успокоиться:

«Сокольничье поле было пустынно. Только в конце его, у богадельни и желтого дома, виднелись кучки людей в белых одеждах и несколько таких же людей, которые по одиночке шли по полю, что-то крича и размахивая руками.

Один из них бежал наперерез коляске графа Ростопчина. И сам граф Ростопчин, и его кучер, и драгуны, все смотрели, с смутным чувством ужаса и любопытства на этих выпущенных сумасшедших и в особенности на того, который подбегал к ним.

Шатаясь на своих длинных, худых ногах, в развевающимся халате, сумасшедший этот стремительно бежал, не спуская глаз с Ростопчина, крича ему что-то хриплым голосом и делая знаки, чтоб он остановился. Обросшее неровными клочками бороды, сумрачное и торжественное лицо сумасшедшего было худо и жёлто. Чёрные, агатовые зрачки его бежали низко и тревожно по шафранно-жёлтым белкам.

— Стой! Остановись! Я говорю! — вскрикивал он пронзительно и опять что-то задыхаясь кричал с внушительными интонациями и жестами.

Он поровнялся с коляской и бежал с нею рядом.

— Трижды убили меня, трижды воскресал из мёртвых. Они побили камнями, распяли меня... Я воскресну... воскресну... воскресну. Растерзали моё тело. Царствие Божие разрушится... Трижды разрушу и трижды воздвигну его, — кричал он, всё возвышая и возвышая голос.

Граф Ростопчин вдруг побледнел, так, как он побледнел тогда, когда толпа бросилась на Верецагина. Он отвернулся.

— Пош... пошёл скорее! — крикнул он на кучера дрожащим голосом.

Коляска помчалась во все ноги лошадей; но долго ещё позади себя граф Ростопчин слышал отдаляющийся безумный отчаянный крик, а перед глазами видел одно удивлённо-испуганное, окровавленное лицо изменника в меховом тулупчике.

Как ни свежо было это воспоминание, Ростопчин чувствовал теперь, что оно глубоко, до крови, врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживёт, но что, напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить до конца жизни это страшное воспоминание в его сердце» (*Там же. С. 402 – 403*).

ПЬЕР БЕЗУХОВ (Том Четвертый и все-все-все)

Через многие разочарования и несчастья пришлось пройти Пьеру в поисках смысла жизни, в поисках самого себя. По-разному начинаются в книге судьбы князя Андрея и Пьера — по-разному и заканчивается их жизнь в романе: Андрей погибает для жизни мира, прощая всех, а в Пьере Безухове, напротив, бурлит и словно бы торжествует жизнь. Но стоит приглядеться к обоим образам — конечно, памятуя при том, что сам писатель был в годы создания романа ещё лишь на пути к *христианскому* ответу на те вопросы жизни, которые поставлены перед персонажами романа и очень, очень по-разному отвечены ими.

Князю Андрею, как мы показали выше, отведена автором была роль «подглядывшего» неосвоенное ещё самим Толстым, в большей степени умозрительное сокровище нашей вседневной жизни — в Боге, в Истине и любви. Оставить его с этим познанием в живых было бы писательским самоубийством. Зато, как мы покажем ниже, антивоенный материал Четвёртого тома, так или иначе увязан на личности «долгожителя» среди искателей Истины в романе, Пьера Безухова — идущего, волею писателя, к тем *промежуточным* итогам молодой ещё своей жизни, которые были актуальны и ценны для самого Льва Николаевича Толстого в годы написания романа.

Переживавший в 1860-х самые счастливые годы брака писатель, конечно же, отдаёт предпочтение не триумфу Андрея, уже не князя, искателя славы, но и не «семьянина», не счастливого самца с детёнышами, а Птицы Небесной, не жизни нетленной вне пространства и времени, а — земной и телесной жизни, счастью Пьера и чудесной Наташи. Тому самому земному кругу жизни, в который для большинства и в наши дни вписаны восходящие к животной первобытности человека стереотипы о «необходимой обороне» (себя, самки, детёнышей, средств для выживания семьи...), о «добре с кулаками», и производные из них, экстраполирующие оправданное насилие с «семейной» ячейки на всё большое общество — суеверия государства, отечества и иных фантомов человеческого мозга, атавизмов психики человека как примата, зверюшки Дарвина, как агрессивно-территориального млекопитающего. Суеверия «своих» стаи, рода, народа, «нации», суеверия войска, патриотизма... Круг замкнут — и поколению юного Николеньки Болконского, и детям Пьера и Наташи не избежать новых войн.

Но не будем забегать вперёд! Пройдём теперь несколько поприщ с Пьером — условно «антивоенных», а на деле... на деле у Толстого всегда и всё глубже, глубже...

* * * * *

Вернёмся к нашим баранам. То бишь, к светскому обществу в салоне Анны Павловны Шерер. Июль 1805-го... В числе немногих живых лиц, то есть не умеющих играть светской роли, на этих светских посиделках — Безухов Пьер. А единственное из всего, о чём говори-

лось на вечере в салоне Шерер и что заинтересовало молодого мечтателя, только что воротившегося из цивилизованного мира, из Европы, где он учился — это мысль интеллектуального гостя-иностранца в салоне, аббата Морио, о вечном мире. Собственно, только одного Пьера и интересует по-настоящему эта мысль. «Здесь только семя упало на плодородную почву» (13, 195).

При некоторой авантюристичности проект аббата, существовавший в действительности, не был лишён и определённых реальных достоинств. Главным из них было искреннее стремление автора проекта к осуществлению позитивного плана всеобщего мира, основанного на идее «эквилибра», т. е. равновесия сил и независимости равных и свободных европейских наций, объединённых в лигу, которая руководствовалась бы новыми принципами международного права, запрещающего агрессию и притеснения. «Это едва ли возможно», — резонно сомневается Пьер. Сам же Толстой, соглашаясь со скепсисом своего персонажа, всё же рисует автора проекта с несомненной симпатией, тем самым отделяя его от других завсегдатаев «прядильной мастерской» Анны Павловны. В черновом варианте названо подлинное имя Морио: это аббат из Флоренции *Сципione Пьяттоли* (Scipione Piattoli; 1749 – 1809), «изгнанник, философ и политик, привезший в Петербург проект совершенно нового политического устройства Европы, который, как сказывали, он уже имел счастье через кн. Адама Чарторыйского представлять молодому императору» (13, 186).

Итальянец Пьяттоли был не только автором одного из проектов, которые изобиловали ещё в XVIII веке в Европе и в александровское время в России, и которые нередко современники называли химерическими. Он был к тому же горячим патриотом своей родины, мечтавшим о политическом объединении Италии, стремившимся использовать для этой цели силу и влияние России. Вместе с тем, второй любовью Пьяттоли была Польша, и вместе с Адамом Ежи Чарторыйским (Adam Jerzy Czartoryski; 1770 – 1861) он пытался добиваться более снисходительного и дружественного отношения к Польше при русском дворе, но без особого успеха.

Интерес Толстого к незаурядной личности этого человека, послужившего реальным прототипом образа аббата Морио, идеи которого отражали не только его собственные взгляды, но и взгляды француз-



Сципионе Пьятоли

ских просветителей и масонов, а также передовых демократов Соединённых Американских Штатов, особенно Джефферсона, свидетельствовал о том, насколько важное значение придавал Толстой вопросу поисков мира в описываемую им эпоху, а также о чрезвычайной точности в изложении исторических подробностей, хотя здесь, как и в других подобных случаях, писатель не прибегает к прямолинейному отождествлению художественных типов с историческими лицами и не преувеличивает практическую ценность идей итальянца.

В вариантах, не вошедших в окончательный текст романа, Пьер Безухов и Пьятоли спорят о важнейших проблемах и событиях первых лет девятнадцатого столетия: о правах и конституции, об идеях справедливости и праве человека, провозглашённых французской революцией и подавленных военным деспотизмом, т. е. порядком вещей, «противным всякой свободе». Спорят о жестокостях Конвента и Директории, вызванных вмешательством европейских держав во внутренние дела Франции, о том, «что признание прав чело-

века во Франции, в одной Франции, не только не повело человечество к большому счастью и благоустройству, а повело и Францию, и человечество к величайшему из зол, к войнам, к убийству ближнего и к поражению всех тех прав человека, которые были так торжественно признаны» (13, 193). В споре Пьер выступает и бонапартистом, и сторонником принципов французской революции. Он заявляет, что большая степень свободы народа не может быть дана народу, но должна быть взята его собственными руками, завоевана им, так как конституции, данные по прихоти монархов, могут быть и отняты ими по той же прихоти. В государстве, где миллионы рабов, «не может быть и мысли об ответственных миллионах и представительной каморе депутатов», «свобода невыгодна деспотам». Наконец, ставится знаменательный вопрос: «Каким образом устроить судьбу человечества так, чтобы права человека были признаваемы одинаково всем образованным миром и чтобы уничтожалась возможность войны между народами?» (Там же).

У Пьера, в отличие от аббата, ещё нет рецептов для того, чтобы превратить в действительность «возможность навсегда избавить человечество от всех зол деспотизма и злейшего из зол, родоначальника всех других — войны» (Там же). Аббат же излагает свои задушевные мысли в высказывании, вошедшем в окончательный текст романа почти в неизменённом виде: «Средство — европейское равновесие и *droit des gens*... [*фр.* международное право] — Стоит одному могущественному государству, как Россия, прославленному за варварство, стать бескорыстно во главе Союза, имеющего целью равновесие Европы, — и оно спасёт мир!» (Там же; *ср.* 9, 16).

У каждого из оппонентов свои доводы. Исполнение этой великой мысли, имеющей целью воцарение мира, невозможно без войны. Это невыгодно Наполеону, и он не разделит этих мыслей, полагает Пьер, выражая сомнение по поводу практического осуществления идей итальянца (Там же. С. 195). Аббат же считает, что коалиция держав в составе России, Пруссии, Австрии достаточно сильна, чтобы заставить Наполеона подчиниться плану политического равновесия. Поэтому война станет невозможна. «Что мы, военные люди, будем делать», — спрашивает князь Андрей, вступая в спор между аббатом и Пьером и, по сути дела, завершая его своим простым и неотразимым аргументом, хотя у князя Андрея есть и ещё один аргумент в запасе — это военный гений Наполеона, которого князь называет богом войны (13, 194). Из первоначального отрывка вошло

немногое в окончательный текст романа. Здесь, в окончательном тексте расширен круг действующих лиц, князь Андрей не вступает с разговор с итальянцем, о проекте аббата упоминается лишь мельком. Основной темой разговора становятся симптомы приближающейся войны, акцент передвинут, таким образом, со стороны «мира», умозрительного, теоретического, в сторону войны, реальной и неизбежной.

Тем не менее главное содержание спора — проблема вечного мира — сохранено и в окончательном тексте романа. В этом смысле показательно, что из всех впечатлений вечера единственное, что осталось в памяти Пьера Безухова и о чём он взволнованно и откровенно заговаривает с Андреем Болконским, — это проект аббата Морио, с которым они на вечере «оживлённо и естественно говорили и слушали», создавая «очаг опасности» для хозяйки салона.

Спустя два года Безухов ещё раз встретится с полувывымышленным аббатом Морио; стремление Пьера активно «противоборствовать злу, царствующему в мире» (10, 76; ср. 13, 649), приводит его к поступлению в масонскую ложу, вольным каменщиком которой уже числился аббат.

«Этот аббат очень интересен, но только не так понимает дело, — говорит Пьер, оставшись наедине с князем Андреем после вечера у Шерер, — по-моему, вечный мир возможен...» — «Бредни... этого никогда не будет», — отвечает ему князь Андрей (9, 31).

Через два года в Лысых Горах происходит подобный диалог Пьера со старым князем Болконским, отцом Андрея. Из этого диалога видно, что Пьер Безухов не разуверился в своей истине:

«Перед ужином князь Андрей, вернувшись назад в кабинет отца, застал старого князя в горячем споре с Пьером. Пьер доказывал, что придёт время, когда не будет больше войны. Старый князь, подтрунивая, но не сердясь, оспаривал его. “Кровь из жил выпусти, воды налей, тогда войны не будет. Бабы бредни, бабы бредни”, — проговорил он, но всё-таки ласково потрепал Пьера по плечу и подошёл к столу, у которого князь Андрей, видимо, не желая вступать в разговор, перебирал бумаги, привезённые князем из города» (10, 122 — 123).

Отец и сын, без сомнения, были единомысленны в этом эпизоде. В уста Болконских Толстой вложил аргумент, к которому испокон ве-

ков людей приучала сама история: война неискоренима, она при-
суща самой природе человека. Но примечательно, что даже в тот
момент, когда «у ворот» стояла очередная война, писатель заставляет
своих героев хотя бы мечтать о воцарении на земле всеобщего мира.

Примечательно также и то, что диспут по поводу проекта итальян-
ского аббата, изображённый в черновом отрывке романа Толстого,
происходил не в великосветском салоне г-жи Шерер, а в доме князя
Андрея Болконского, к которому Пьер питал «страстное обожание» и
с которым он подолгу говорил «о войне, о политике, о философии»
(13, 185).

В горячих спорах толстовских героев можно найти верное и глубо-
кое отражение тех интенсивных идейных исканий по вопросам
мира и войны, которые были характерны на рубеже XVIII — XIX ве-
ков для прогрессивных кругов русской дворянской интеллигенции,
знакомой с передовыми взглядами и работами русских мыслителей-
гуманистов (Р. М. Цебрикова, Я. П. Козельского, С. Е. Десницкого, А.
Н. Радищева, В. Ф. Малиновского) и западноевропейских просвети-
телей (Сен-Пьера, Руссо, Мабли, Вольтера, Гердера, Канта и др.), с
их, в частности, специальными трудами, содержащими резкую
критику войн и предлагавшими позитивные планы установления в
Европе постоянного мира.

У Пьера, как и у самого писателя, были достойнейшие предтечи и
вдохновители! Самой очевидно, безусловно влиятельной на Толстого
следует признать концепцию «вечного мира» *Шарля-Ирене Кастеля*,
аббата де Сен-Пьер (фр. Charles-Irénée Castel, abbé de Saint-Pierre;
1658 — 1743), получившую большую популярность в Европе благо-
даря изложению её в виде небольшого трактата, написанного Жан-
Жаком Руссо.

Задолго до любых пацифистов Сен-Пьер в своём трёхтомном «Про-
екте вечного мира в Европе» доказывал, что залогом мира может
явиться создание союза государств, члены которого должны при-
нять на себя взаимную обязанность отказаться от применения ору-
жия при решении возникающих конфликтов, используя с этой це-
лью специальный межгосударственный арбитражный совет, кото-
рый все спорные вопросы решал бы лишь путём переговоров.

Жан-Жак Руссо (фр. Jean-Jacques Rousseau; 1712, Женева — 2
июля 1778), сохранив аргументы и содержание объёмистой работы
Сен-Пьера, состоящей из многих томов, резко сократил её, превра-
тив первоначально научное сочинение в агитку специфических

«идей». Одновременно в этом сочинении Руссо выделил и подчеркнул мысль Сен-Пьера о том, что государственное устройство и характер внутренней политики страны являются важнейшим условием для обеспечения как внутреннего, так и внешнего мира.

И великий демагог, развратитель умов целых поколений не просчитался. На базе идей Сен-Пьера, а также предшествующих гуманистов — Гуго Гроция, Эразма Роттердамского, Томаса Мора, Яна Амоса Коменского, Томмазо Кампанеллы и других о путях к искоренению войн в своё время писали Дидро, Аламбер, Лессинг, Гердер, Пристли, Фихте, Кант и др. Однако изложение Руссо пользовалось наибольшей популярностью.

Не довольствуясь изложением мыслей Сен-Пьера, Руссо написал собственный трактат «Суждение о вечном мире», которое уже в юности так же вряд ли обошёл вниманием будущий автор «Войны и мира». В этом трактате Руссо, подвергая критике утопическую для своего времени мысль Сен-Пьера о создании дружественной лиги европейских государств, утверждал, что план Сен-Пьера был слишком хорош, чтобы быть реальным, ибо войны, завоевания и деспотизм, власть взаимосвязывают, поддерживают и обуславливают друг друга. Руссо не верил в добрую волю правивших в то время государей и их министров (исключение делается лишь для погибшего Генриха IV и его министра Сюлли, автора «Великого плана» умиротворения Европы), для которых, по мнению Руссо, войны являются лишь узаконенной формой грабежа, выгодным предлогом для денежных вымогательств, для содержания огромных постоянных армий, держащих народ в повиновении и страхе.

«Все занятия королей или тех, на кого они возлагают обязанность делать то, что они должны делать сами, относятся только к двум целям: распространять их господство за пределы своей страны и делать его как можно более неограниченным внутри неё. Всякая другая цель либо восходит к этим двум, либо служит для них лишь предлогом. Таковы цели: *общественное благо, счастье подданных, слава нации* — слова, навсегда изгнанные из кабинетов министров и употребляемые в публичных эдиктах столь неуклюже, что они постоянно возвещают лишь гибельные приказания, и народ стонет заранее, когда его повелители говорят ему о своих отеческих заботах» (Руссо Ж.-Ж. *Суждение о вечном мире // Трактаты о вечном мире / Сост. И. С. Андреева и А. В. Гулыга. М., 2003. С. 163 – 164).*

В своём месте мы покажем, что, в целом основывая свои антивоенные убеждения на религиозном христианском фундаменте, «поздний» Толстой в своей критической аргументации неоднократно повторяет и эти пассажи кумира своей юности.

Известно, какое огромное влияние на формирование взглядов декабристов имели идеи «Общественного договора» Ж.-Ж. Руссо, который упоминается в «Войне и мире». В данном трактате Руссо писал о необходимости применения более действенных мер для установления мира в Европе, нежели простая апелляция к милости просвещённых монархов (*Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 151 – 256*).

В письмах, показаниях следственной комиссии, дневниках декабристов сохранилось немало материалов, свидетельствующих об их огромном внимании к идеям просветителей по вопросам мира, войны, армии и т. п., сыгравшим существенную роль в выработке декабристской идеологии. Характерно, что проблему духовной и экономической свободы отдельных граждан декабристы ставили в зависимость от морального и материального раскрепощения общества в целом, в конкретных условиях России — в зависимость от освобождения крестьян от крепостного права. Само же крепостное право в сознании декабристов ассоциировалось с «рабством, строгим и бесчеловечным правом войны» (*Поленов А.Я. О крепостном состоянии крестьян // Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. Т. 2. М., 1952. С. 14*).

О том, насколько сильно занимали проблемы мира и войны умы прогрессивно настроенной офицерской молодёжи, из среды которой вышло большинство декабристов, свидетельствует сохранившийся черновой отрывок Пушкина о вечном мире, написанный им в 1821 году в Кишинёве как раз под впечатлением от чтения «Суждения» Руссо). Он посвящён проблемам разоружения будущего человечества, наказания виновников военных преступлений, ликвидации войн и постоянных армий и установления всеобщего мира.

Небольшая заметка Пушкина, поражающая при этом своими силой и ёмкостью, представляет собой конспектированную запись споров, которые велись у генерала *Михаила Фёдоровича Орлова* (1788 – 1842), виднейшего деятеля Союза Благоденствия, в его доме, бывшем в Кишинёве своеобразным центром, клубом политического вольнодумства, который часто навещали, помимо Пушкина, декабристы Раевский, Липранди и др. (*см. об этом подробнее: Алексеев*

М. А. Пушкин и проблема «вечного мира» // *Русская литература*. 1958, № 3).



Михаил Фёдорович Орлов (1810-е) и его супруга
Екатерина Николаевна Орлова, урожд. Раевская (1820-е)

«У нас беспрестанно идут шумные споры — философские, политические, литературные и др.», — писала в одном из писем жена М. Ф. Орлова Екатерина Николаевна в 1821 году. В другой раз, 12 декабря 1821 года, она сообщала своему брату, Александру Николаевичу Раевскому о визитах поэта (кстати, только что окончившего «оду на Наполеона», которую Раевская нашла «хорошей»): «Мы часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конёк — вечный мир аббата Сен-Пьера. Он убеждён, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия» (Цит. по: Гершензон М. *Семья декабристов. По неизданным материалам* // *Былое*. 1906. № 10. С. 308).

Можно предположить, что отголоски декабристских споров, ведшихся в доме Михаила Фёдоровича Орлова, дошли и до Л. Н. Толстого ещё в детские и юношеские годы, так как одним из близких

приятелей его отца, Николая Ильича Толстого, был часто навещавший Ясную Поляну *Александр Михайлович Исленьев* (1794 – 1882), в своё время служивший адъютантом генерала М. Ф. Орлова. Он послужил прототипом Иртеньева-отца в «Детстве», «Отрочестве» и «Юности» Л. Н. Толстого.

Пушкин в заметке о мире писал:

«1. Невозможно, чтобы люди со временем не уразумели смешную жестокость войны, как они уразумели существо рабства, царской власти и т. д. Они увидят, что наше предназначение — есть, пить и быть свободными.

2. Так как конституции уже являются крупным шагом в человеческом сознании, и этот шаг не будет единственным — вызывая стремления к уменьшению числа войск в государстве, ибо принцип вооружённой силы прямо противоположен всякой конституционной идее, — то возможно, что менее, чем через 100 лет не будет больше постоянных армий.

3. Что же до великих страстей и великих военных талантов, то на это всегда будет гильотина, так как обществу мало заботы до восхищения великими комбинациями победоносного генерала — имеются иные дела — и не для того поставили себя под защиту закона» (*Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 тт. М.-Л. 1951. Т. 7. С. 531*).

Набросок Пушкина интересен не только сам по себе, своим, высоким гуманистическим пафосом, блеском и оригинальностью мыслей, духовной созвучностью как романтизму пушкинской эпохи, так и, отчасти, будущим временам. Он интересен также и тем, что может служить ещё одним убедительным, хотя и косвенным подтверждением глубокой верности исторической правде толстовского изображения эпохи и среды, в которой «всё рождало споры и к размышлению влекло». А также подтверждением тому, что Толстой, приступая к созданию своего многообъемлющего романа, опирался на богатейшее идейное наследие просветительской и декабристско-пушкинской поры, усвоив и творчески переосмыслив многое из того, что было выработано до него предшествующей гуманистической мыслью по вопросам войны и мира. В данном случае, точно так же как и во всех других, Толстой последователен в исполнении выработанного им эстетического закона: «Усвой, что создали твои предшественники, и иди дальше». В «Войне и мире» художественно и философски реализованы мысли предшественников-гуманистов о нелепой жестокости войн, об истинном назначении человека, а

также поставлена проблема ликвидации постоянного войска, которую не оставит вниманием и разовьёт Толстой-публицист — однако, практически до конца жизни, предлагая для неё уже не светско-гуманистическое, а христианское религиозное разрешение.

Идея вечного мира составляет неотъемлемую часть учения Канта, так же мощно повлиявшего на Толстого. Глубоко обоснованная мысль о том, что мир с необходимостью проложит себе дорогу в отношениях между государствами, — вот то новое, что было внесено Кантом. Проблема мира впервые предстала как реальная философская проблема. Этика Канта будет неполной без завершающей её мирной программы, в свою очередь основные положения концепции мира базируются на его этических принципах. Это относится и к философии истории Канта, и к его теории культуры, и к учению о праве. Короче говоря, все части философской системы Канта, касающиеся человека и общества, логично приводят к постановке вопроса о преодолении войн. Идея вечного мира — заключительное звено философской системы Канта. Без этого звена она лишается цельности.

Кант — диалектик, в отличие от просветителей он понимает значение социальных антагонизмов и не сетует по поводу отсутствия согласия между людьми. Антагонизм — источник, а не тормоз прогресса. По мнению Канта, в условиях идиллической жизни аркадских пастухов, взаимной любви и всеобщего довольства человек никогда бы не развил заложенные в нём таланты, люди, мирные как овцы, влачили бы животное существование. Поэтому воздадим хвалу природе за то, что она наделила человека ненасытной страстью и жаждой господства. Люди хотят согласия, но природа лучше знает, что им необходимо, и ведёт их по пути раздора.

К чему приводит этот путь? К неожиданным результатам. Прежде всего к образованию государства, которое устанавливает правовой порядок, ограничивая произвол отдельных индивидов, направляя их предприимчивость в законосообразное русло. Затем возникает другая необходимость — установить правовые отношения между государствами. Как в своё время люди вынуждены были создать государство, так и государства должны объединиться, чтобы предотвратить взаимное истребление. Сама природа (а точнее, историческая закономерность), используя неуживчивость людей и государ-

ственных органов, «побуждает сначала к несовершенным попыткам, но в конце концов после многих опустошений, разрушений и даже полного внутреннего истощения сил к тому, что разум мог бы подсказать им и без столь печального опыта, а именно выйти из незнающего законов состояния диких и вступить в союз народов, где каждое, даже самое маленькое, государство могло бы ожидать своей безопасности и прав не от своих собственных сил или собственного справедливого суждения, а исключительно от такого великого союза народов... от объединённой мощи и от решения в соответствии с законами объединенной воли. Какой бы фантастической ни казалась эта идея и как бы ни высмеивались ратовавшие за неё аббат Сен-Пьер и Руссо (может быть, потому, что они верили в слишком близкое ее осуществление), это, однако, неизбежный выход из бедственного положения...» (Кант И. Собр. соч. Т. 8. М., 1994. С. 21).

Новое, внесённое Кантом в споры о вечном мире, состояло в обосновании исторической необходимости вечного мира на Земле. Не здравый смысл и добрая воля монарха, не его представления о пользе и счастье подданных, а сам ход истории преодолевает войну, делает её неприемлемой формой межгосударственных отношений. Вечный мир неизбежен, он наступит на нашей планете, хотят того отдельные люди или не хотят.

От этого направления мысли — прямая дорога к пацифистским теориям «мира посредством права», международных судов и арбитражи. Толстому в христианский период его творчества, с 1880-х гг., была подозрительна светская моралистика таких миротворцев, хотя, по существу, и его критика церкви была частью общей секулярной тенденции. Человечество созревает, обретает силы и берёт в свои руки то, что многие века делегировало «воле богов» или Бога. Кто может ручаться, что не в этом и состоит Всевышний замысел о мире и человеке?

Роман Толстого, на страницах которого изображалось полувековое историческое прошлое России, период, явившийся эпохой молодости декабристов, во второй половине 1850-х годов возвращавшихся из Сибири, был остро современен, публицистичен и вместе с тем полемически направлен против взглядов и суждений, под тем или иным флагом оправдывавших войну.

Ещё в том году, когда Пушкин наносил на бумаге свои мысли о вечном мире, в Париже вышла книга находившегося при царском

дворе в России в качестве посланника-дипломата сардинского короля, католика-иезуита и убеждённого монархиста *Жозефа де Местра* (Joseph de Maistre; 1753 – 1821) «Санкт-Петербургские вечера». Сразу же после выхода из печати эта книга получила широкую известность во Франции и в других странах, в том числе в России, где автора хорошо знали в различных общественных кругах (в 1803 – 1817 гг. де Местр был послом Сардинии в России). В «Санкт-Петербургских вечерах», написанных в форме философских диалогов и посвящённых наиболее актуальным проблемам своего времени, значительное место уделено вопросам мира и войны. Если Пушкин верит в то, что война не вечна, что войны, армии и «победоносные генералы» могут быть со временем устранены волей народов, то де Местр пишет о том, что война, напротив, явление извечное, божественное по своему происхождению, как первородный грех, как промысел Божий, и никогда не может быть устранена волей человека. В войне люди видят то «героическую поэму», то «бич человечества», то историческое явление, которое в давние времена имело оправдание, но не имеет его теперь. С точки зрения де Местра, война ни то, ни другое, ни третье; война «божественна», как «мировой закон» — по причинам, по которым она возникает, и по своим исходам, не зависящим от её участников; поэтому пролитая кровь питает землю непрестанно, как роса, и на громадном жертвеннике, именуемом Землёю, нет и не будет конца заклятиям (*Де Местр, Жозеф. Санкт-Петербургские вечера. СПб. 1998. С. 367 – 374 и сл.*).

Идеи де Местра отнюдь не издохли одновременно с издохновением к чертям их автора. Спустя сорок лет после появления «Санкт-Петербургских вечеров», в 1861 году, в Париже было опубликовано двухтомное сочинение *Пьера-Жозефа Прудона* (фр. Pierre-Joseph Proudhon; 1809 — 1865) «Война и мир», на страницах которого ожило имя де Местра. «Слава войне! — восклицает Прудон. — Благодаря ей человек, едва вышедши из грязи, где зародился, является великим и доблестным: на трупе убитого врага — его первая мечта о славе и бессмертии» (*Прудон П.Ж. Война и мир. Том I. М., 1864. С. 31*). Размышляя над вопросами истории войны и изучая биографии знаменитых полководцев, в особенности Наполеона, Прудон пришёл к выводу, что де Местр прав в своём утверждении о божественности войны, о том, что война — явление чудесное, сакральное, незамени-

мый спутник во всю историю человеческого существования, «существенное условие жизни человека и жизни общества». Прудон прибегает к прямым цитатным заимствованиям у де Местра, которого он называет «великим теософом»: «Война божественна сама по себе, говорит де Местр, потому что она есть закон мира. Война божественна по таинственной славе, которая её окружает, и по необъяснимому обаянию, какое она на нас производит. Война божественна по своему покровительству великим полководцам, из которых самые смелые редко погибают в сражениях, и то лишь когда слава их достигает апогея и назначение их исполнено. Война божественна в самом своём возникновении; она возникает не вследствие произвола, а вследствие обстоятельств, которым и подчиняются те, коих считают её виновниками. Война божественна по своим последствиям, коих не может предотвратить ум человеческий» *(Там же. С. 30)*.

Цитирует Прудон также и других мыслителей, художников и философов, которыми были когда-либо сказаны добрые слова о войне. Прудон защищает, в частности, мысль Гегеля о том, что война необходима для нравственного развития: «Она возвышает наше достоинство человеческое; в ней высшее проявление нашей доблести; она воскрешает мужество в народах, изнеженных миром, упрочивает существование государств, династий, служит пробным камнем для народов, раздаёт власть достойнейшим, сообщает всему в обществе движение, жизнь» *(Там же. С. 55)*.

В качестве главного тезиса своего сочинения Прудон пытается доказать, что война всегда выступает в виде «требования права силы», что право войны это и есть само право силы, и не только такое же естественное, как право труда, право любви, право разума, но, более того, оно лучшее, самое высокое право на земле и составляет «идеал человеческой добродетели и верх восторга» *(Там же. С. 84, 174 – 175)*.

Любое насильственное завоевание, любая агрессия, по мысли Прудона, есть не что иное, как продукт силы и мужества, а покорение слабой страны более сильным государством не может не быть морально оправдано, и, в свою очередь, «подчинение силе не заключает в себе ничего постыдного».

Офетишизивав войну, Прудон отдаёт дань восхищения тем, кто управляет войной, участвует в ней: государственным и военным деятелям, полководцам, среди которых он особенно выделяет Наполеона, воюющим армиям, а также «особой благородной касте» воинов. «Воин более чем человек, — утверждает Прудон, — война всю

силу своего обаяния обнаруживает в превознесении мужчины-воина». В подтверждение этой мысли Прудон прибегает к такому аргументу: «Естественный судья мужчины есть женщина. Но что всего более уважает женщина в своём спутнике? — Работника? — Нет, воина. Женщина может любить работника, промышленника, как слугу, — поэта, артиста, как дорогую игрушку, — учёного как редкость; праведника она уважает, богатый получит от неё предпочтение, сердце же её принадлежит воину. В глазах женщины воин есть идеал мужчины» (*Там же. С. 63 – 64*).

В своём исследовании Прудон затрагивает также вопрос и о коренной причине войны. Вопреки однажды высказанному им доводу о божественном возникновении войны он пишет специальную главу «О первоначальной причине войны», в которой утверждает, что «главной, всеобщей и неизменной, единственной и самой настоящей причиной всякой войны, каким бы образом и по какому случаю она ни возникла, является не что иное, как недостаток продовольствия или, говоря слогом более возвышенным, нарушение экономического равновесия... пауперизм, вот где первоначальная причина войны» (*Там же. Том 2. С. 92*).

Толстой был хорошо знаком с военно-философскими суждениями как Местра, так и Прудона. В процессе работы над «Войной и миром» им были использованы в качестве источников две книги Местра: «Санкт-Петербургские вечера» и «Дипломатическая корреспонденция» (1811 — 1817). Имя Местра упоминается в самом тексте романа: говоря в четвёртом томе о бессмысленности плана пленения Наполеона, Толстой прибавляет, что так думали и самые искусные дипломаты того времени — де Местр и другие.

Сохранилось письмо Толстого к редактору журнала «Русский архив» П. И. Бартеневу, снабжавшего писателя различными материалами во время работы над «Войной и миром», с просьбой прислать книги де Местра (*61, 61*).

Позднее Толстой не раз будет говорить о де Местре в письмах, статьях, в публицистическом трактате «Царство Божие внутри вас» — в связи с суждениями новейших оправдателей войны, которые ему живо напомнят откровения Жозефа де Местра.

С П.-Ж. Прудоном же Толстой был знаком лично. Во время своего пребывания за границей в Брюсселе в 1861 году он посетил Прудона и беседовал с ним, в том числе и о прудоновском сочинении, которое

Толстой в незаконченной статье «О значении народного образования» назвал «О праве войны» (5, 405) и которое вышло из печати в том же году, вскоре после отъезда Толстого из Брюсселя, под заглавием «La guerre et la paix», а в русском переводе появилось в 1864 году. По свидетельству биографа писателя П. И. Бирюкова, на Толстого произвели впечатление энергичность и самостоятельность Прудона как мыслителя, обладающего, по излюбленному Толстым французскому выражению, «le courage de son opinion» [смелостью своего мнения] (*Бирюков П.И. Биография Л. Н. Толстого: В 4-х тт. т. М. - Пг., 1923. Том 1. С. 195*).

После того как в начале 1865 года в «Русском вестнике» были опубликованы первые главы романа под названием «Тысяча восемьсот пятый год», Толстой продолжал работать над следующими частями эпопеи, которую он принял решение в 1867 году озаглавить тем же названием, которое было использовано Прудоном в его трактате.

И тут нельзя не признать правоту Н. Н. Арденса, утверждающего, что вся историческая и мемуарная литература о времени наполеоновских походов подсказывала заглавие, в котором могла отразиться идея соотношения мира и войны и что заглавие трактата Прудона, дававшее в руки Толстого готовые и меткие слова, приковало к себе особое внимание писателя и было им избрано никак не случайно. Толстой сделал свой выбор «с целью», вложив в заглавие своего романа определённый полемический смысл, и что эта полемичность была целиком направлена против Прудона (*Арденс Н.Н. Творческий путь Л. Н. Толстого. М., 1962. С. 253*).

К этому утверждению следует добавить, что полемичность Толстого была направлена не только против Прудона и не только против тогдашней активной и многообразной апологетики, которая защищала развязанные после Крымской кампании на Западе и в центре Европы войны конца 1850-х и середины 1860-х годов (войны между Францией и Пьемонтом, между Италией и Францией, Австрией и Пруссией и т. д.). Она была направлена против целой идеологической системы, в течение многих лет создававшейся и Ж. де Местром, и А. Гобино («Опыт о неравенстве человеческих рас»), а несколько позднее — Мольтке, Ницше и многими другими идеологами, той системы, одной из основных целей которой объективно сделалось моральное оправдание готовившихся войн, воспитание и создание «человека войны», равнодушного и, главное, послушного в руках господствующих классов насильника и убийцы.

Взгляды же Прудона, абстрактные, внеисторические и по существу своему антигуманистические, были избраны Толстым в качестве ближайшей мишени. Этим взглядам Толстой противопоставил собственную концепцию войны, построенную на историческом материале войн 1805 – 1814 годов.

В эпиграф своей работы «Война и мир», о которой было много сказано в начале этой Главы, Прудон поставил слова о войне: «Разгадай, или я тебя пожру. Сфинкс».

Вот беда-то... Вот предел! Как раз к разгаданию «загадки сфинкса», социального феномена системного, организованного насилия, а в частности войны, автор «Войны и мира» ещё и не был готов!

И поэтому в сознании безусловного фаворита писателя и поклонника идеи «вечного мира», Пьера Безухова, светский гуманизм оставляет место идейкам «добра с кулаками», причём на уровне политики, где оно уже точно никогда не добро: убийства, по его мнению, вполне заслуживают — то противник Наполеона, а то он сам, великий Наполеон...

«Моральные оценки, всегда субъективные и спорные, вряд ли должны быть привносимы в историческую науку» — пишет популярнейший в СССР исследователь эпохи Наполеона Альберт Захарович Манфред. И следом даёт значительнейшую для нашей темы установку:

«...Важно обратить внимание прежде всего на одну лишь сторону. Переворот 18 брюмера закреплял созданное революцией буржуазное общество во Франции и призван был в дальнейшем силой оружия сломить казавшиеся неприступными бастионы феодально-абсолютистского строя в Европе и проложить пути распространению буржуазных отношений на континенте. Л. Н. Толстой был верен исторической правде, когда, начиная свой знаменитый роман сценой политической беседы в салоне фрейлины русской императрицы Анны Павловны Шерер в июле 1805 года, вкладывал в уста Анны Павловны негодующие речи против “гидры революции”, которая стала “теперь ещё ужаснее в лице этого убийцы и злодея”. Под “этим убийцей и злодеем” фрейлина русской императрицы подразумевала предпочтительно произносимое имя Наполеона Буонапарте» (*Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. Указ. изд. С. 221 – 222*).

Если, опираясь на эту установку, с сожалением отрешиться от 200-летнего христианского идеала ненасилия, от Нагорной проповеди — в пользу точки зрения традиционного «историзма», то, без сомнения, воспитанный в Европе Пьер был «прогрессором» своей эпохи и, тем более, референтной социокультурной общности.

И в то же время он — сторонник «целесообразного» убийства...

В 1803 году, после возобновления войны с Соединённым Королевством, власть Наполеона Бонапарта оставалась всё ещё слишком хрупкой, подвергалась слишком большому количеству внешних и внутренних угроз, в частности, покушений, совершённых роялистами. В конце 1803 года британцы и роялисты решили организовать переворот, чтобы свергнуть наполеоновский режим. 29 февраля 1804 года против первого консула Франции был раскрыт т. н. «заговор Пишегрю». На допросах участников заговора всплыло имя герцога Энгиенского, особи «королевской крови», на которого делали ставку сторонники воссоздания монархии Бурбонов. По донесениям, герцог, проживавший тогда в Эттенхайме, всего в нескольких километрах от французской границы, общался с агентом из Англии. В середине марта принц был похищен и доставлен во Францию. 19 марта 1804 года спешно собранный трибунал в замке Венсен на основании обвинительного документа, без присутствия защитников и не выслушивая свидетелей, подписал смертный приговор герцогу Энгиенскому. В ночь на 20-е приговор был приведён в исполнение. Многие, многие подробности этого дела вызывали сомнения уже у современников.

В своей книге «Жизнь Наполеона» (1818 г.) Стендаль рассказывал, что Вильгельм Варден (William Warden, 1777 – 1849), который надзирал за Наполеоном на острове Святой Елены и часто с ним беседовал, говорил, что он видел своими глазами копию письма Наполеону, написанного герцогом Энгиенским перед его смертью, в котором герцог заявлял, что он больше не верит в возвращение Бурбонов и что он стремится служить Франции. Наполеон, в свою очередь, утверждал, что никогда не получал от герцога никаких писем. А. З. Манфред настаивает, что письмо было написано:

«Принц, все ещё не веря, что дело принимает серьёзный оборот, всё же написал письмо первому консулу; он просил свидания с ним. Бонапарт, получив письмо, дал распоряжение Реалю <Пьер-Франсуа Реаль (1757 – 1834), в то время префект полиции. – Р. А.> напра-

виться в Венсени и самому разобраться в деле. Реаль выполнил приказ, но он в то утро проспал чуть дольше (нет надобности разьяснять, что вряд ли случайно). Когда он приехал в Венсенн, принц был уже расстрелян.

[...] Взрыв негодования, вызванный расстрелом герцога Энгиенского, объяснялся прежде всего тем, что он был принцем королевского дома и феодальная монархическая Европа почувствовала в этой казни удар, нанесённый по её лицу. Политический резонанс этой казни или этого преступления, как угодно, был во многом усилен тем, что принц был молод (он погиб тридцати двух лет), красив, отважен; больше всех негодовали женщины — они определяли общественное мнение в столицах монархий. Лев Толстой и в этой детали обнаружил удивительное историческое чутьё: в салоне Анны Павловны Шерер более всего возмущались убийством «праведника» — герцога Энгиенского — высокопоставленные дамы» (*Там же. С. 333*).

Здесь же А. З. Манфред приводит пикантную подробность: когда, через месяц после казни герцога, Убри, поверенный имп. Александра I в Париже, потребовал объяснений, Наполеон составил письмо в адрес самого императора, в котором вежливо “опустил” его:

«Жалоба, предъявляемая ныне Россией, побуждает задать вопрос: если бы стало известным, что люди, подстрекаемые Англией, подготавливают убийство Павла и находятся на расстоянии одной мили от русской границы, разве не поспешили бы ими овладеть?». Это был намёк на обстоятельства убийства отца Александра I, императора Павла, организованного на английские деньги, к которому позорно, но исторически доказанно был причастен сынок...

И вот «объективное», из атеистических 1960-х, общее по данной теме заключение А. З. Манфреда:

«Казнь герцога Энгиенского от начала до конца была политическим актом. Расстрелом члена королевской семьи Бонапарт объявил всему миру, что к прошлому нет возврата. [...] Лев Толстой с его замечательным даром постижения далёких событий истории заставляет Пьера Безухова горячо одобрять казнь герцога Энгиенского. Он находит и вкладывает в его уста точное определение: “Это была государственная необходимость”. Это было верно, и так говорили в начале девятнадцатого столетия, в 1804 году. Вероятно, десятью го-

дами раньше, в эпоху Конвента, та же мысль была бы выражена иными словами: «революционная необходимость» (Там же. С. 336).

Но мы уже знаем, что заражение, в одно время с семейством Ростовых, патриотическими настроениями Пьера вместе с известиями о преследовании Наполеоном удиравшей орды Александра I, подававшемся пропагандой как «агрессивное вторжение», привело Пьера к отделению «великого дела революции» от личности «антихриста», виновника гибели множества людей. И уже убийство «антихриста» Наполеона представляется этому доброму человеку столь же целесообразным, каким прежде представлялось убиение в Венсенском замке злосчастного герцога Энгийенского.

И если вскоре после вступления в 1806-м в орден масонства Пьер идеалистически воспринимает новых «братьев» как организацию вполне христианскую, сполна неприемлющую войны, и в таком духе представляет масонов в беседе с временно разочарованным жизнью князем Андреем, то, постояв с простыми солдатами под ядрами противника на Бородинском поле и отведав с уцелевшими символического блюда *кавардачку* — причастившись *народного дела*, по мифотворчеству Толстого — один из богатейших аристократов России решает для себя: «Солдатом быть, просто солдатом!» (Толстой Л.Н. *Война и мир. Указ. изд. Книга вторая. [ВиМ – 2] С. 336*). Наконец, утомлённый Пьер засыпает в стане русских воинов и слышит во сне голос своего, уже к тому времени покойного, «благодетеля» Баздеева, мастерски завербовавшего его в масоны, который «сообщает» ему уже совершенно другое, весьма далёкое от Нагорной проповеди:

«Война есть наитруднейшее подчинение свободы человека законам Бога, — говорил голос. — Простота есть покорность Богу; от него не уйдёшь. И они просты. Они не говорят, но делают. Сказанное слово серебряное, а не сказанное — золотое. Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. А кто не боится её, тому принадлежит всё. Ежели бы не было страдания, человек не знал бы границ себе, не знал бы себя самого. Самое трудное (продолжал во сне думать или слышать Пьер), состоит в том, чтоб уметь соединять в душе своей значение всего. Всё соединить?» сказал себе Пьер. — «Нет, не соединить. Нельзя соединять мысли, а *сопрягать* все эти мысли, вот что нужно! Да, *сопрягать надо, сопрягать надо!*» с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучающий его вопрос.

— Да, сопрягать надо, пора сопрягать.

— Запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство! Ваше сиятельство, — повторил какой-то голос, — запрягать надо, пора запрягать...

Это был голос берейтора, будившего Пьера (*Там же. С. 337 – 338*).

Пьер досадовал на берейтора и на себя, что не понял “услышанных” во сне слов. Но стоило ли?.. То же умиление аристократа о *народе* — без сопряжения со своим значением в глазах того же «народа». А для этих военных рабов крепостник Пьер, возомнивший себя ещё в том же 1806-м благодетелем своих рабов — один из земных богов, решающих их судьбы. Отправляющих в рекруты, в солдаты за провинность. Решающих, в лице более высокопоставленных в Империи, быть ли войне или миру... Им, простецам, действительно остаётся только делать. Да вот только — не Божье и не Христово дело в мире, а то, которое их принудили совершать земные боги. Такие, как «барин» Пьер Безухов. Да и для них, для аристократов — разве значат что-то евангельские проповеди, притчи, поучения Христа — когда и над ними властвует земной божок — их возлюбленный «государь»?

Простота, действительно, есть покорность Богу. Но простота невежественного пейзажа и простота питомка парижской, или немецкой, или российской даже, академии — две различные простоты, между которыми есть, как минимум, две большие разницы. Простота человека, как Пьер, свободно, на нескольких языках могущего прочесть не только Новый Завет, но и многосложные богословские сочинения и простота крепостного крестьянина, обречённого верить во всё то, что расскажет ему о Боге сельский поп — не одно и то же! И если подчинение невежественного человека, как и животного, не может идти далее подчинения воле другого человека, то просвещённый человек знает, благодаря евангелиям, в чём, в отношении «венца Творения», человека, воля Отца, Бога. Как нужно жить, чтобы быть христианином. «Подчинение свободы человека законам Бога» для такого человека состоит «в победе над слепым зверством и необузданными вожделениями человека-зверя» (41, 572). И ещё: «Таким образом, я вижу всегда один и тот же закон: возрастающее освобождение личности, приближение людей к благу, к справедливости, к мудрости» (*Там же*). Эти слова, впоследствии включённые Толстым в «Круг чтения» (откуда мы и приводим их), ещё не родились тогда под пером женевского мыслителя Анри Фредерика Амиеля. Он запишет их в свой «Задушевный дневник» только 9 августа 1877 г. —

размышляя о несовместимости с этикой справедливости «возрастающего в торжестве» дарвинизма: «Высший человеческий закон не может быть заимствован у животности» (*Из дневника Амиеля. СПб, 1894. С. 83*).

Между тем, в отличие от подчинения соблазнов, страстей и страхов, влекущих человека к действиям грабежа, насилия либо, наоборот, «обеспечения» себя от оных подготовкою способов ответного насилия, подчинение самим этим соблазнам в себе либо в принуждающих тебя к повиновению государственных и религиозных вожаках — не есть подчинение Богу и Христу, а только подчинение низшим, первобытным (то есть господствовавшим в животной природе до человека — до начала его *творения* Богом, то есть до запуска Высшим Разумением процесса *эволюции*) поведенческим программам, срабатывающим помимо сознания и воли человека и, соответственно, долженствующим быть побеждёнными именно чудотворным действием *живой веры* — доверия Богу, моления Ему, упований на Него, вкупе с собственными усилиями последования Истине в учении того, последователями кого именуют себя христиане.

Мешают этой победе в человеке жизни духа — именно пресловутые *витальные* страхи: голода, жажды, утраты возможности добывания себе корма, утраты возможности половой репродукции, утраты крова, самки, детёнышей... Коротко сказать: страхов *смерти* и любых страданий и утрат, которые приближают к ней. Стремление *обеспечить* себя от мучительности страхов предполагает ограбление жизненных ресурсов других. Христианство всё — именно в отрицании таких страхов и стремлений человека как животного, в указании пути победы над ними — в стремлении к *слиянию своей воли с волей Бога*. Именно подчинения своей свободы, обрётённой грехопадением первых людей — законам Разумения для чад его во всей Вселенной.

Свидетельство же доверия Отцу, право же на упование, молитвы же Ему и содержание собственных усилий предполагают, *как минимум*, неучастие человека в прямо обратном: в системных, намеренно организованных актах насилия — к каковым и относится всякая война. И, конечно, осуществление такого неучастия в условиях сословного *лжехристианского* общества неизмеримо легче достижимо «привилегированному» богатею и аристократу, нежели владельческому рабу, забритому в солдаты! Это безусловно понимал в конце 1870-х автор «Анны Карениной», но, увы! ещё не осознавал во

второй половине 1860-х автор «Войны и мира». Вот почему Пьеру в романе суждено было проснуться прежде, чем прояснилось для него содержание того, что голос, звучавший ему, поименовал *сопряжением*.

Скоро, однако, Пьеру начнут открываться смыслы жизни человека, выходящие за пределы суетных мечтаний *общественных*.

После Бородинского сражения Пьер остаётся в горящей Москве, переодевается в крестьянское платье, достаёт пистолет, чтобы... убить Наполеона — назначив себя «рукой провидения» для совершения казни над «зверем» (обыкновенное расчеловечение войны!) и тем «прекратить несчастье всей Европы» (*ВиМ – 2. С. 411, 413*). 3 сентября 1812 года Пьер просыпается с готовностью исполнить своё намерение. Да вот незадача: *сущностно* мирный, добродушный, незлобивый человек так и не научился обращаться с орудиями, преднамеренно устроенными человеком для человекоубийства.

«Оправив на себе платье, Пьер взял в руки пистолет и сбирался уже идти. Но тут ему в первый раз пришла мысль о том, каким образом, не в руке же по улице нести ему это оружие. Даже и под широким кафтаном трудно было спрятать большой пистолет. Ни за поясом, ни под мышкой нельзя было поместить его незаметным. Кроме того, пистолет был разряжен, а Пьер не успел зарядить его. “Всё равно кинжал”, сказал себе Пьер, хотя он не раз, обсуживая исполнение своего намерения, решал сам с собою, что главная ошибка студента в 1809 году состояла в том, что он хотел убить Наполеона кинжалом. Но как будто главная цель Пьера состояла не в том, чтоб исполнить задуманное дело, а в том, чтобы показать самому себе, что не отрекается от своего намерения и делает всё для исполнения его, Пьер поспешно взял купленный им у Сухаревой башни вместе с пистолетом тупой зазубренный кинжал в зелёных ножнах и спрятал его под жилет» (*Там же. С. 444 – 445*).

Не правда ли, похоже на описание поступков ребёнка, удравшего ради пригрезившегося ему героического деяния от нянек и родителей? Но, в отличие от трагически уплывшего, в тех же грёзах о подвиге, от матери и отца *насовсем* Пети Ростова, судьба авторского фаворита в романе хранила Пьера. «Все страшные мысли и намерения Пьера заканчиваются спасением из огня маленькой девочки» - с пасхальной радостью констатирует Нина Эльдаровна Бурнашёва в подтверждение своего наблюдения, что «толстовские» персонажи

“Войны и мира” — не убивают» (Бурнашёва Н. И. «...Пройти по трудной дороге открытия...». Загадки и находки в рукописях Льва Толстого. М., 2005. С. 239 – 240). Пьер объявляет её своей дочерью, но в тот момент он именно в том состоянии сознания: благодатном, просветлённом, Христовом, когда «свои» для человека — даже Наполеон, или Александр, а тем более обыкновенный француз или татарин...

Незадолго перед этим палач и подлец Ростопчин говорил с Пьером как с равным по подлости: максимально развязно, грубо он «посоветовал», а по существу, потребовал от Пьера, кстати и в связи с его масонством, оставить Москву. И вот ответ негодяю Свыше: посреди всеобщей вакханалии насилия, смерти, в горящей Москве, в Пьере, первоначально оставшемся в Москве, чтобы стать тем, чем было стать для него невозможно, убийцей, происходит то *воскрешение праведника*, о котором возвестил удирающему от своей совести негодяю сумасшедший — юродивый!



Пожар Москвы. Худ. А. Ф. Смирнов. 1813 г.

Недолго, однако, ему суждено было остаться чистым: нравственная необходимость потребовала от него поступка, пусть и ситуативно оправданного: заступиться за девушку армянку, которой угрожало изнасилование мародёра — но, безусловно, греховного:

«Пьер был в том восторге бешенства, в котором он ничего не помнил, и в котором силы его удесятаялись. Он бросился на босого француза и, прежде чем тот успел вынуть свой тесак, уже сбил его с

ног и молотил по нём кулаками. Послышался одобрителный крик окружавшей толпы и в то же время из-за угла показался конный разъезд французских уланов. Уланы рысью подъехали к Пьеру и французам и окружили их. Пьер ничего не помнил из того, что было дальше. Он помнил, что он бил кого-то, его били, и что под конец он почувствовал, что руки его связаны, что толпа французских солдат стоит вокруг него и обыскивает его платье» (*Там же. С. 454*).

Краткий восторг Птицы Небесной, освобождения от обмана, и, тут же, в минуты — неизбежное в земной юдоли отягощение грехом... Переданная, ради драки, в чужие руки спасённая Пьером девочка — символ упущенного очищения и спасения.

Арестом Пьера и началом для него искупления, чистилища и преобразования заканчивает Лев Николаевич Толстой Третий том своего великого романа.

Том Четвёртый в начале своём, в первых главах воспроизводит принцип *de profundis*: от низких людей и обстоятельств — к более высоким. Из столичного салона Анны Павловны Шерер, для завсегдаев которых «те же были выходы, балы, тот же французский театр, те же интересы дворов, те же интересы службы и интриги», от патриотической лжи императора Александра I, звучавшей в подобных салонах, от нелепой истории Элен, нелепой жены Пьера Безухова, грешно жившей и умершей — писатель возводит нас допреже до нравственной высоты честного служаки Николая Ростова, который «без всякой цели самопожертвования, а случайно, так как война застала его на службе, принимал близкое и продолжительное участие в защите отечества»; до добрейших, чуждых военному палачеству, но суетных Сони и Наташи Ростовой; одновременно, ещё нравственно выше — до княжны Марьи, в это время познавшей земную любовь в отношениях с Ростовым (то есть, по логике писателя — тоже «павшей» по отношению к прежней её любви к Богу в мире и всех людях), а затем уже вводит в круг людей солдатского братства, для которого такое самопожертвование сделалось повседневностью, пусть и навязанной им земными богами, распорядителями чужих судеб, и в среде которого, именно пленных солдат и иных пленников, предстояло пройти Пьеру Безухову его очищение страданием (*см. Толстой Л. Н. Война и мир. Указ. изд. Книга вторая. С. 459 – 493, 504 – 505 и сл.*).

Начинается чистилище Пьера с наиболее мучительной, чудовищной его части, в то же время и наиболее отвратительной, как мы знаем, Толстому-человеку: безвинного осуждения Пьера и страшной процедуры казни.

8 сентября, в день Рождества Богородицы, под благовест, Пьера повели на судилище. В роли Пилата Понтийского, как мы упоминали уже выше, выступил маршал Даву — не исторический Луи-Николя Даву, а та гнусь, которую угодно было сотворить из наполеоновского соратника русскому романисту:

«Даву сидел на конце комнаты над столом с очками на носу. Пьер близко подошёл к нему. Даву, не поднимая глаз, видимо справлялся с какою-то бумагой, лежавшею пред ним. Не поднимая же глаз, он тихо спросил: *Qui êtes vous?* [*фр.* Кто вы?]

Пьер молчал от того, что не в силах был выговорить слова. Даву для Пьера не был просто французский генерал; для Пьера Даву был известный своею жестокостью человек. Глядя на холодное лицо Даву, который, как строгий учитель, соглашался до времени иметь терпение и ждать ответа, Пьер чувствовал, что всякая секунда промедления могла стоить ему жизни; но он не знал, что сказать. Сказать то же, что он говорил на первом допросе, он не решался; открыть своё звание и положение было и опасно и стыдно.

[...] Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба. они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья.

В первом взгляде для Даву, приподнявшего только голову от своего списка, где людские дела и жизнь назывались номерами, Пьер был только обстоятельство; и, не взяв на совесть дурного поступка, Даву застрелил бы его; но теперь уже он видел в нём человека» (*Там же. С. 498 – 499*).

Но вошедший в комнату адъютант напомнил Даву о его мирской, жестокой и глупой, роли. Не сообщив своего решения Пьеру, Даву, вероятнее всего, распорядился пощадить его — но жесточайше провести через всю процедуру расстрела, наблюдения за казнью. И Пьера уводят на казнь:

«Пьер не помнил, как, долго ли он шёл и куда. Он, в состоянии совершенного бессмыслия и оупления, ничего не видя вокруг себя,

передвигал ногами, вместе с другими до тех пор, пока все остановились, и он остановился.

Одна мысль за всё это время была в голове Пьера. Это была мысль о том: кто, кто же наконец приговорил его к казни? Это были не те люди, которые допрашивали его в комиссии: из них ни один не хотел и очевидно не мог этого сделать. Это был не Даву, который так человечески посмотрел на него. Ещё бы одна минута и Даву понял бы, что они делают дурно, но этой минуте помешал адъютант, который вошёл. И адъютант этот очевидно не хотел ничего худого, но он мог бы не войти. Кто же это наконец казнил, убивал, лишал жизни его — Пьера со всеми его воспоминаниями, стремлениями, надеждами, мыслями? Кто делал это? И Пьер чувствовал, что это был никто.

Это был порядок, склад обстоятельств.

Порядок какой-то убивал его — Пьера, лишал его жизни, всего, уничтожал его» *(Там же. С. 500)*.

Значительно позднее, в статье «Единое на потребу» (1905), Толстой назовёт прямо этот порочный «порядок» — само устройство разбойничьего гнезда, именуемого государством.

Две гнусные системы соединились, поддерживая и оправдывая одна другую: смертные казни — условиями «военного времени», а война, в глазах многих, мысливших близко Толстому — своим более благородным характером в сравнении с технологичной «машиной» гарантированного и безопасного для палачей убийства.



В покоренной Москве (Расстрел поджигателей).

Худ. В. Верещагин. 1897—1898 гг. ГИМ

На огородах, близ Девичьего поля, Пьера поставили шестым — то есть, первым из тех, кто был помилован, чего Пьер не знал. И грянула любимая «музыка» военщины и палачей, уже давно примеченная Толстым в её свойстве одурения и расчеловечения людей:

«Несколько барабанов вдруг ударили с двух сторон, и Пьер почувствовал, что с этим звуком как будто оторвалась часть его души. Он потерял способность думать и соображать. Он только мог видеть и слышать. И только одно желание было у него, желание, чтобы поскорее сделалось что-то страшное, что должно было быть сделано» (*Там же. С. 501*). Под одуряющим влиянием этого грохота изменилось поведение людей: «заметно было, что все торопились и торопились не так, как торопятся, чтобы сделать понятное для всех дело, но так, как торопятся, чтоб окончить необходимое, но неприятное и непостижимое дело» (*Там же*). Двое приготовленных на казнь, перед самыми залпами даже, не верили в своё убийство: «Они не могли верить, потому что они одни знали, что такое была для них жизнь, и потому не понимали и не верили, чтобы можно было отнять её» (*Там же. С. 502*). Пятый из обречённых, молодой фабричный, бился и кричал, а затем вдруг замолк: «То ли он понял, что напрасно кричать, или то, что невозможно, чтоб его убили люди...» (*Там же. С. 503*). Взирая на эти ужасы глазами своего персонажа, Толстой бескомпромиссно вспоминает свои впечатления от парижской казни в 1857 году, мельчайшие подробности... «Не политический человек» платит нелёгкую, морально нелёгкую художническую дань Тому, кому уже в 1860-х бессознательно служил своим словом, творчеством:

«Должно быть слышалась команда, должно быть после команды раздались выстрелы 8-ми ружей. Но Пьер, сколько он ни старался вспомнить потом, не слышал ни малейшего звука от выстрелов. Он видел только, как почему-то вдруг опустился на верёвках фабричный, как показалась кровь в двух местах, и как самые верёвки, от тяжести повисшего тела, распустились, и фабричный, неестественно опустив голову, и подвернув ногу, сел. Пьер подбежал к столбу. Никто не удерживал его. Вокруг фабричного что-то делали испуганные, бледные люди. У одного старого усатого француза тряслась нижняя челюсть, когда он отвязывал верёвки. Тело спустилось. Солдаты неловко и торопливо потащили его за столб и стали сталкивать в яму.

Все очевидно-несомненно знали, что они были преступники, которым надо было скорее скрыть следы своего преступления.

Пьер заглянул в яму и увидел, что фабричный лежал там коленами кверху, близко к голове, одно плечо выше другого. И это плечо судорожно, равномерно опускалось и поднималось. Но уже лопатины земли сыпались на всё тело. Один из солдат сердито, злобно и болезненно крикнул, на Пьера...

[...] Пьер смотрел теперь бессмысленными глазами на этих стрелков, которые попарно выбегали из круга. Все, кроме одного, присоединились к ротам. Молодой солдат с мёртво-бледным лицом, в кивере, свалившемся назад, спустив ружьё, всё ещё стоял против ямы на том месте, с которого он стрелял. Он как пьяный шатался, делая то вперёд, то назад несколько шагов, чтобы поддержать своё падающее тело. Старый солдат, унтер-офицер, выбежал из рядов и, схватив за плечо молодого солдата, втащил его в роту. Толпа русских и французов стала расходиться. Все шли молча с опущенными головами.

— Ça leur apprendra à incendier, [Это научит их поджигать,] — сказал кто-то из французов. Пьер оглянулся на говорившего и увидел, что это был солдат, который хотел утешиться чем-нибудь в том, что было сделано, но не мог. Не договорив начатого, он махнул рукою и пошёл прочь» (*Там же. С. 503 – 504*).

Это описание убийства только одного человека, т. н. «преступника по закону». В наши дни (начало марта 2023 г.) путинская гадина вербует по тюрьмам тысячи ею же испорченных, а затем ошельмованных и осуждённых людей — подталкивая самое дешёвое в России мясо, пушечное, на верную смерть, под пули украинских воинов-героев, защищающих своё Отечество.

И гнусные воспитанники Совка-СССР, выходцы из коммунацкого мордора — уже совсем не столь чувствительны, как французские солдаты, люди из цивилизованной Европы, рабы военной необходимости и подневольные вершители отвратительной казни... и, конечно же, большинство из добровольных палачей украинцев в 2022 – 2023 гг., если, после победы Украины и свободного мира, после краха путинизма их не постигнет наказание по мирским законам — сами вряд ли будут, вспоминая свои «подвиги», переживать так же остро, как Пьер переживал увиденное:

«С той минуты, как Пьер увидел это страшное убийство, совершённое людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг

выдернута была та пружина, на которой всё держалось и представлялось живым, и всё завалилось в кучу бессмысленного сора. В нём хотя он и не отдавал себе отчёта, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в Бога. Это состояние было испытываемо Пьером прежде, но никогда с такою силой как теперь. Прежде, когда на Пьера находили такого рода сомнения, сомнения эти имели источником собственную вину. И в самой глубине души, Пьер тогда чувствовал, что от того отчаяния и тех сомнений было спасение в самом себе. Но теперь он чувствовал, что не его вина была причиной того, что мир завалился в его глазах, и остались одни бессмысленные развалины. Он чувствовал, что возвратиться к вере в жизнь — не в его власти» (*Там же. С. 505*).

Но тяжелейший из экзаменов *чистилища*, с большим поранением души, с испытанием страшным веры — был для Пьера позади. В тяжелейшем своём настроении он попал в руки хорошего «лекаря» — нового, в солдатских арестантских бараках знакомого, Платона Каратаева.

Образ этот настолько памятен любому из читателей романа, что мы позволим себе не останавливаться на нём пристально. Отметим лишь, что Платон разведal поприще Пьера перед Богом едва ли не сразу: узрел духовными очами, очами любви, что Пьер — страдалец в мире за свои грехи и грехи мира, Птица, за грехи, до времени влачащая по праху свои крыла... В Платоне арестантский люд также чувствовал Птицу Небесную — и называли его недаром *соколиком*, и так же, *соколиком*, назвал уже в первой беседе старый солдат Пьера. Соколиком, но тут же, сперва — *барин*ом. Обращаясь на «вы». Но тут же, скоро — по-человечески: соколик, «ты». По-христиански, оставляя *свободу выбора*. «Ты» или «вы». Бог, который один, или бесы, которых легион. Обращающийся на «вы» предпочитает бесов. «Ты» — это к Богу, живущему в каждом человеке.

И Пьеру — новое испытание. Встать с Господом — пусть не на крыло ещё, рано! Но хоть на ноги, или — остаться с мирскими чертами, с *обманом*, которым обманывали себя Даву, Александр, Наполеон...

Таким же страдальцем, но более смиренным от младых лет, *доверчивым Богу*, был и сам Платон Каратаев. Рассказывая о семье своей, он сообщает Пьеру кратко и многозначительно: «Жили хорошо. Христьяне настоящие были» (*Там же. С. 509. Выделение наше. – Р. А.*). Христьяне! Здесь любое понимание верно: «хорошая» жизнь для

верующего мужика — это и благочестие, и дружество в семье, и честный перед «миром» (общиной) труд, дарующий жизнь «хорошую» и в смысле зажиточности... Случился с Платоном грех — так и то на пользу и семье, и душе Платоновой:

«...И Платон Каратаев рассказал длинную историю о том, как он поехал в чужую рощу за лесом и попался сторожу, как его секли, судили и отдали в солдаты. — Чтò ж, соколик, — говорил он изменяющимся от улыбки голосом, — думали горе, а радость! Брату бы идти, кабы не мой грех. <По рекрутскому набору. — Р. А.> А у брата меньшого сам-пят ребят, а у меня, гляди, одна солдатка осталась.

[...] Так-то, друг мой любезный. Рок головы ищет. А мы всё судим: то не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету. Так-то» (Там же. С. 509).



Это — всё о том же, о евангельском: птицы небесные и лилии полевые... Довольно на каждый день своей заботы. А человек, страшась и желая обеспечить себя от страшного в умозрительном грядущим — портит жизнь, делает зло многим, и Божьему миру. И страшнейшее из зол, стяжаемых в погоне за счастьем «обеспечения» от страшного — война, война!

Платон перед сном молится обо всём этом мире, страдающем за грехи людей: не забывая не только себе подобных, но и зверяток. «Господи, Иисус Христос, Никола угодник, Фрола и Лавра». «Фрола и Лавра» — православные «местоблюстители» языческих «скотьих» богов: по убеждению Платона Каратаева: «И скота жалеть надо» (Там же. С. 510).

И вот результат слова и примера, духовного влияния на Пьера «христьянина» Платона:

«Пьер долго не спал и с открытыми глазами лежал в темноте на своём месте, прислушиваясь к мерному храпению Платона, лежавшего подле него, и чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новою красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, двигался в его душе» (*Там же*).

Недаром наш лжехристианский мир атакует образ Платона Каратаева жестокой критикой — ещё со времени первых публикаций романа. Этот персонаж — попытка Толстого ответить себе на вопросы: как не умереть, как умер князь Андрей, а *жить в миру* Птице Небесной? И не в достоинстве обеспеченного аристократа, а -- простым солдатом или крестьянином. «Да всё так же...» — отвечает тихо Платон Каратаев. Отвечает не столько словами, сколько примером своей жизни:

«Лицо его, несмотря на мелкие круглые морщинки, имело выражение невинности и юности; голос у него был приятный и певучий. Но главная особенность его речи состояла в непосредственности и спороности.

[...] Стоило ему лечь, чтобы тотчас же заснуть камнем и стоило встряхнуться, чтобы тотчас же, без секунды промедления, взяться за какое-нибудь дело, как дети, вставши, берутся за игрушки. Он всё умел делать не очень хорошо, но и не дурно. Он пёк, варил, шил, строгал, точал сапоги. Он всегда был занят и только по ночам позволял себе разговоры, которые он любил, и песни. Он пел песни, не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел как поют птицы, очевидно потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться; и звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские, заунывные, и лицо его при этом бывало очень серьёзно» (*Там же. С. 511*).

Молитва и медитация — диалог человека с Богом. Таково и медитативное пение старого солдата, без расчёта на человеческого слушателя — в этом противоположное, как Небеса аду, треску барабанов: гипнотизирующему человека, намеренно отупляющему, толкающему на злые поступки, и на худший для христианина грех — повинение миру большее, нежели Богу!

А то, что отвечал ему в разуме и сердце Господь — Платон сообщал ближним. Как мог. Поговорками. Самыми краткими, афористическими, понятными указаниями на то, как жить разумному дитя и работнику в мире для Бога:

«Поговорки, которые наполняли его речь, не были те, большею частью неприличные и бойкие поговорки, которые говорят солдаты, но это были те народные изречения, которые кажутся столь незначительными взятые отдельно, и которые получают вдруг значение глубокой мудрости, когда они сказаны кстати. [...] Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь» *(Там же. С. 512 – 513)*.

Как жить, если ты знаешь, что ты дитя Отца, что ты — не плоть, а душа Божья во плоти, что ты — Птица? Как жить в неволе, в тяжелейших условиях войны, в солдатчине?..

«Да всё так же, как до солдатчины — так и надо жить: настоящим, человечим...» — как будто внушает Пьеру бесценный товарищ по несчастью. И Толстому. И читателям Толстого... Словом и личным примером. Вослед за солдатами «Севастопольских повестей» и Кавказского цикла... За Веленчуком, тем самым солдатом-праведником из «Рубки леса», который не мог простить себе украденного у него кем-то другим отреза материи.

Не напрасно Лев Николаевич не только настроением, поведением сближает своего Платона с честным бедолагой из «Рубки леса», но и вводит схожий эпизод, с пошивом рубахи французскому солдату, и в текст романа. Солдат поступает нехорошо, желая уличить Платона в совсем уже ничтожной «краже» оставшихся от пошива обрезков:

«— Чтò ж, соколик, ведь это не швальня, и струмента настоящего нет; а сказано: без снасти и вша не убьёшь, — говорил Платон, кругло улыбаясь и видимо сам радуясь на свою работу.

[...] Каратаев поблагодарил за деньги и продолжал любоваться своею работой. Француз настаивал на остатках и попросил Пьера перевести то, что он говорил.

— На чтò же ему остатки-то? — сказал Каратаев. — Нам подвёрточки-то важные бы вышли. Ну, да Бог с ним. — И Каратаев с вдруг изменившимся, грустным лицом достал из-за пазухи свёрточек обрезков, и не глядя на него, подал французю. — Эх ма! — проговорил Каратаев и пошёл назад. Француз поглядел на полотно, задумался, взглянул вопросительно на Пьера, и как будто взгляд Пьера что-то сказал ему:

— Platoche, dites donc, Platoche, — вдруг покраснев, крикнул француз пискливым голосом. — Gardez pour vous, [Платош, а Платош. Возьми себе.] — сказал он, подавая обрезки, повернулся и ушёл.

— Вот поди ты, — сказал Каратаев, покачивая головой. Говорят нехристи, а тоже душа есть. — То-то старички говаривали: потная рука таровата, сухая неподатлива. Сам голый, а вот отдал же» (*Там же. С. 564*).

В Божьем мире всё — Божье и всехнее. Ничто, и ты сам, не «твое». Ты работник, Он — Хозяин. Смысл жизни — исполнить Его волю, научиться быть сотворцом и учить других тому — в пространстве и времени. Условие для успеха в этом — дисциплина в Божьей «швальне», в общей, всехней учебной и творческой Мастерской. Это, в числе прочего, и любовь нелицеприятная. Каратаевская:

«Привязанностей, дружбы, любви, как понимал Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком — не с известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом; но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему (которою он невольно отдавал должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним» (*Там же. С. 512*).

Потому что смерти нет. Разлучение смертью — временная иллюзия. Навсегда разлучают — грех, нелюбовь. Любовь даёт смысл и радость. Награду за дисциплину в великой Мастерской.

Но не одна любовь... а и — бескорыстное, в краткий, всегда могущий быть пресечённым Богом, наш век — бескорыстное служение друг другу: как можно больше успеть *уступить, а не продать*. Не разбоить чужой труд и уступать свой. Без «эквивалента» ценности. Без счётов и пересчётов того, что *не твоё*. Божье.

Победа христианского отношения к труду и его результатам разумных обитателей Земной планеты — навсегда победит, убьёт на Земле и войну!

Таково, в рамках нашей темы, духовное учительное значение образа Каратаева в романе. В анализе дальнейшего «крестного пути» Пьера мы так же будем сосредоточивать внимание не столько на самом персонаже, сколько на его значении по отношению к вере.

Месяц в повседневных страданиях плена и в общении с народным праведником сильнее, и положительно, изменил Пьера:

«Именно в это-то самое время он получил то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде. Он долго в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим собою, того, что так поразило его в солдатах в Бородинском сражении — он искал этого в филантропии, в масонстве, в рассеянии светской жизни, в вине, в героическом подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе; он искал этого путём мысли, и все эти искания и попытки обманули его. И он, сам не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим собою только через ужас смерти, через лишения и через то, что он понял в Каратаеве. Те страшные минуты, которые он пережил во время казни, как будто смыли навсегда из его воображения и воспоминания тревожные мысли и чувства, прежде казавшиеся ему важными. Ему не приходило и мысли ни о России, ни о войне, ни о политике, ни о Наполеоне. Ему очевидно было, что всё это не касалось его, что он не призван был и потому не мог судить обо всём этом. [...] Ему казалось теперь непонятным и даже смешным его намерение убить Наполеона и его вычисления о кабалистическом числе и звере Апокалипсиса. Озлобление его против жены и тревога о том, чтобы не было посрамлено его имя, теперь казались ему не только ничтожны, но забавны.

...Впоследствии и во всю свою жизнь, Пьер с восторгом думал и говорил об этом месяце плена, о тех невозвратимых, сильных и радостных ощущениях и, главное, о том полном душевном спокойствии, о совершенной внутренней свободе, которые он испытывал только в это время» (Там же. С. 565 – 567).

Пусть и в нездоровых для человека, неестественных условиях военной угрозы, тюрьмы, люди эти жили той доброй, мирной жизнью, в общении, в трудах самообеспечения и взаимного служения, условия которой и должны бы составлять повседневность разумного дитя Бога. Эта атмосфера действовала и на французов, так что накануне начала отступления от Москвы, 6 октября, Пьер по-человечески запросто мог обсуждать слухи с распорядившимся охранявшими его солдатами французским капралом, «по-домашнему расстёгнутом, в

колпаке, с коротенькой трубкой в зубах» (*Там же. С. 562*). В частности, Пьер договорился, как ему показалось, с капралом о судьбе одного из солдат, Соколова, тяжело заболевшего:

«...И потом, господин Кирил, вам стоит сказать слово капитану, вы знаете... Это такой... ничего не забывает. Скажите капитану, когда он будет делать обход: он всё для вас сделает.

Капитан, про которого говорил капрал, почасту и подолгу беседовал с Пьером и оказывал ему всякого рода снисхождения» (*Там же*).

Но вот война ворвалась в эту общую живую жизнь — напомнив о своих требованиях этим людям — подобно тому, как вместе играющим детям обманывающие их взрослые напоминают об их «неравенстве», якобы установленном самим Богом. Пьер отыскал такого накануне простодушного, дружелюбного капрала:

«И капрал, и солдаты были в походной форме, в ранцах и киверах с застёгнутыми чешуями, изменявшими их знакомые лица.

Капрал шел к двери с тем, чтобы по приказанию начальства затворить её. Перед выпуском надо было пересчитать пленных.

— *Caporal, que fera-t-on du malade?*... [Капрал, что с больным делать?] — начал Пьер; но в ту минуту, как он говорил это, он усомнился, тот ли это знакомый его капрал или другой неизвестный человек: так не похож был на себя капрал в эту минуту. Кроме того, в ту минуту, как Пьер говорил это, с двух сторон вдруг послышался треск барабанов. Капрал нахмурился на слова Пьера и, проговорив бессмысленное ругательство, захлопнул дверь. В балагане стало полутемно; с двух сторон резко трещали барабаны, заглушая стоны больного.

“Вот оно!.. Опять оно!” сказал себе Пьер, и невольный холод пробежал по его спине. В изменённом лице капрала, в звуке его голоса, в возбуждающем и заглушающем треске барабанов Пьер узнал ту таинственную, безучастную силу, которая заставляла людей против своей воли умерщвлять себе подобных, ту силу, действие которой он видел во время казни. Бояться, стараться избегать этой силы, обращаться с просьбами или увещаниями к людям, которые служили орудиями её, было бесполезно. Это знал теперь Пьер. Надо было ждать и терпеть. Пьер не подошёл больше к больному и не оглянулся на него. Он, молча, нахмурившись, стоял у двери балагана.

Когда двери балагана отворились, и пленные, как стадо баранов, давя друг друга, затеснились в выходе, Пьер пробился вперёд их и подошёл к тому самому капитану, который, по уверению капрала,

готов был всё сделать для Пьера. Капитан тоже был в походной форме, и из холодного лица его смотрело тоже “оно”, которое Пьер узнал в словах капрала и в треске барабанов.

[...] Драм да да дам, дам, дам, трещали барабаны. И Пьер понял, что таинственная сила уже вполне овладела этими людьми и что теперь говорить ещё что-нибудь было бесполезно» (Там же. С. 568 – 570).

После прихода к вере Христа, в начале 1880-х гг., в трактате «В чём моя вера?», и ещё позднее, в статье-“катехизисе” «Христианское учение» (1894 – 1896) и, конечно же, в «Крейцеровой сонате» (1889) Толстой уверенно характеризует музыку, как одно из средств одурманивания и греховного, влекущего ко злу самоодурманивания человека. И в ряде духовных писаний, начиная с «В чём моя вера?», он укажет на униформу и звания, должности, набор обязанностей человека (а точнее: внушённых ему представлений об обязанностях перед государством и обществом) — как средства обращения человека в исполнителя приказов, в автомат. В живого «идола» и одновременно идолопоклонника, как, под влиянием христианских писаний Льва Николаевича, характеризовал это подчиняющее человека себе влияние один из ранних его духовных единомышленников, т. н. толстовцев, Александр Иванович Архангельский:

«Царь – это главный идол – человек, стоящий во главе мирского обмана. За ним тянутся три ряда идолов людей, числом поболее, ценою подешевле: военные, гражданские и духовные, а промеж них помещаются идолы особого рода: дворяне, богатеи, образованные и учёные; все они, будучи обыкновенными людьми, считаются особенными, необыкновенными, и по особенному наряжаются, по особенному, сословно, разговаривают.

Идолы – люди военные обрядились в свои особые выдумки: дисциплина, уставы, знамёна, чины, мундиры, медали и сверх того ещё удивительная выдумка: какая-то честь мундира. Нацепляют на себя большущие ножи, самострельные пистолеты, наряжаются в удивительные колпаки, в золотые позументы, в разноцветные лоскутки, и пуще всех гордятся, выступают и кричат по-петушиному эти мундирные петухи. Они гордятся тем, что будто бы они защищают отечество, на самом же деле они убивают собою отечество и ремесло ихнее – убийство человека.

[...] Один мой приятель (он был, между прочим, когда-то становым приставом) рассказал мне, что мундир делает человека другим; в самом деле от него делается какая-то прибавка, какое-то особенное наваждение: шевелишь, говорит, плечами туда-сюда, смотришь — делаешься, говорит, более развязным в обращении с людьми, смелым, нахальным, так что чего бы, не говоря, что стыдно, а просто невозможно было бы сделать в обыкновенном, простом виде, то в мундире делаешь шутя и совершенно удачно. Есть, говорят, в мундире какая-то особенная сила. Особенная сила эта есть сила дьявольская, обманная, сила идола, сила истукана» (*Архангельский А.И. Кому служить? М., 1920. С. 35, 40*).

Музыку Толстой-христианин многократно приводит в веренице «гипнотических» средств либо одурманивающих предметов роскоши и в одном перечислении с вином и табаком. А в главе XXXIX трактата «Так что же нам делать?» (1884 – 1886) есть прекрасное суждение, которое могло бы украсить и страницы «Войны и мира»:

«Ведь всякое величайшее дело делается именно в условиях незаметности, скромности, простоты: ни пахать, ни строить, ни пасти скотину, ни мыслить даже нельзя при освещении, громе пушек и в мундирах. Освещение, гром пушек, музыка, мундиры, чистота, блеск, с которыми мы привыкли соединять понятие о важности занятия, напротив, всегда служат признаками отсутствия важности дела.

Великие, истинные дела всегда просты и скромны» (25, 396).

Или, ещё образец — в Дневнике 1889 года:

«Пошёл к солдатам. У них шёл обман принятых осенью. Их заставляли присягать перед знаменем. Попы в ризах пели с певчими в нарядных стихарях, носили иконы, били в барабаны, и играла музыка. Проходя назад, слышал разговор вахмистра: “не полагается”.

Какое страшное слово. Ведь не про Божеский закон оно говорится, а про безумную, жестокую чепуху военного устава» (50, 76).

Началось искупление Пьера, очищение страданием: его поединок с роковой силой омрачённости, зла, владевшей всеми и стремившейся завладеть и им. Страшное предвестие: вымазанный сажей труп у ограды церкви в Хамовниках (*Там же. С 571*). Не на него глазами мертвеца взглянула тогда смерть, а на праведного Платона Каратаева, его обрекла — но Пьер не мог знать об этом. Вид покойника не потряс его, как многих других:

«С той минуты как Пьер сознал появление таинственной силы, ничто не казалось ему странно или страшно... как будто душа его, готовясь к трудной борьбе, отказывалась принимать впечатления, которые могли ослабить её» (Там же. С. 573).

«Удавка» болезненного, ненормального состояния войны и плена незримо душила Пьера сильнее и сильнее по мере озлобления отступавших из Москвы французов. «Шли очень скоро, не отдыхая, и остановились только, когда уже солнце стало садиться. Обозы надвинулись одни на других, и люди стали готовиться к ночлегу. Все казались сердитыми и недовольными. Долго с разных сторон слышались ругательства, злобные крики и драки. [...] Велено пристреливать тех, кто будет отставать. Пьер чувствовал, что та роковая сила, которая смяла его во время казни, и которая была незаметна во время плена, теперь опять овладела его существованием. Ему было страшно; но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от неё сила жизни» (Там же. С. 574).

И вот итог этого возрастания, духовный эпицентр книги:

«Пьер вернулся, но не к костру, к товарищам, а к отпряжённой повозке, у которой никого не было. Он, поджав ноги и опустив голову, сел на холодную землю у колеса повозки и долго неподвижно сидел, думая. Прошло более часа. Никто не тревожил Пьера. Вдруг он захотел своим толстым, добродушным смехом так громко, что с разных сторон с удивлением оглянулись люди на этот странный, очевидно-одинокий смех.

— Ха, ха, ха! — смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собою: — Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. *Кого меня? Меня? Меня* — мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!.. Ха, ха, ха!.. — смеялся он с выступившими на глаза слезами. Какой-то человек встал и подошёл посмотреть, о чём один смеётся этот странный, большой человек. Пьер перестал смеяться, встал, отошёл подальше от любопытного и оглянулся вокруг себя.

Прежде громко шумевший треском костров и говором людей, огромный, нескончаемый бивак затихал; красные огни костров потухали и бледнели. Высоко в светлом небе стоял полный месяц. Леса и поля, невидные прежде вне расположения лагеря, открывались теперь вдали. И ещё дальше этих лесов и полей виднелась светлая, колеблющаяся, зовущая в себя бесконечная даль. Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звёзд. «И всё это моё, и всё это во мне,

и всё это я!” думал Пьер. “И всё это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!” Он улыбнулся...» (Там же. С. 575 – 576).

В «Соединении евангелий» Льва Николаевича, книге, написанной значительно позднее, на рубеже 1870 – 1800-х годов, есть схожий эпизод: не по сюжету, а по значению. Это «победа духа над плотью» страждущего и размышлявшего о жизни Христа в пустыне:

«Иисусу было тогда 30 лет. Он пришёл на Иордан к Иоанну и слушал проповедь его о том, что Бог идёт, что надо обновиться, что теперь люди очищаются водой, но что должны очиститься духом, и тогда Бог придёт. Иисус не знал своего отца плотского и считал отцом своим Бога. Он поверил проповеди Иоанна и сказал себе: если правда, что мой отец Бог и я сын Бога, и правда то, что говорит Иоанн, то мне надо только очиститься духом, чтобы Бог пришёл ко мне.

И Иисус ушёл в пустыню, чтобы испытать правду того, что он сын Бога, и что Бог придёт к нему. Он ушёл в пустыню и без пищи и питья жил там долго и, наконец, отощал. И нашло на него сомнение, и он сказал себе: Говоришь, что ты дух, сын Бога, и что Бог придёт к тебе, а мучаешься тем, что у тебя нет хлеба, и Бог не приходит к тебе: стало быть, ты не дух, не сын Бога. Но он сказал себе: Плоть моя желает хлеба, но хлеб нужен мне для жизни; человек жив не хлебом, а духом, — тем, что от Бога.

Но голод всё-таки мучил его. И нашло на него другое сомнение, он сказал себе: Говоришь, что ты сын Бога и что Бог придёт к тебе, а страдаешь и не можешь прекратить своих страданий. И ему представилось, что он стоит на крыше храма, и ему пришла мысль: Если я дух, сын Бога, то, если я брошусь с храма, не убьюсь, а невидимая сила сохранит меня, поддержит и избавит от всякого зла. Отчего же мне не броситься, чтобы перестать страдать голодом? Но он сказал себе: Зачем мне испытывать Бога в том, что он со мной или нет. Если я испытываю его, я не верю в него, и его нет со мною. Бог дух даёт мне жизнь, и потому в жизни дух всегда во мне. И я не могу испытывать его. Я могу не есть, но убить себя я не могу, потому что чувствую в себе дух.

Но голод всё мучил его. И ему ещё пришла мысль: Если я не должен испытывать Бога в том, чтобы не броситься с храма, то я не должен также испытывать Бога в том, чтобы голодать, когда мне хочется есть. Я не должен лишать себя всех похотей плоти. Они вложены в

меня и во всех людей. И ему представились все царства земные и все люди, как они живут и трудятся для плоти, ожидая от неё награды. И он подумал: Они работают плоти, и она даёт им всё то, что они имеют. Если я буду работать ей, и мне то же будет. Но он сказал себе: Бог мой есть не плоть, а дух; им живу, его знаю в себе всегда, его одного почитаю, и ему одному тружусь, от него ожидаю награды.

Тогда искушение оставило его, и дух обновил его, и он познал то, что Бог уже пришёл к нему и всегда в нём; и, познав это, он в силе духа вернулся в Галилею.

И с той поры, познав силу духа, он стал возвещать присутствие Бога. Он говорил: Пришло время, обновитесь, верьте возвещению блага» (24, 95 – 96).

Как и в этой евангельской истории, в эпизоде с Пьером Птица Небесная, духовный человек — воспрянул, расправил крылья и закричал, диким криком свободного, даром Свыше свободного существа! Радостные крики Христа тогда никто не услышал, но читатели «Войны и мира», чудесные львята Льва Николаевича, знают, что эти выстраданные восторг и радость — без сомнения, были, были!!

Духовный, христианский восторг Пьера можно рассматривать и как неуправляемую, от сердца, манифестацию *антиимперства*, не «головного», не «идейного», как у политических оппозиционеров Империи, а *сущностного*, когда не можешь иначе — особенно близкую Толстому-человеку, выразившуюся в разные годы отращиванием к наказаниям и принуждению воспитателей, к университетской учебной системе, к статской, а наконец и к военной службе, к смертной казни... А самый-самый первый свой протест о несвободе Лев Николаевич вспомнил нескоро, рассказав о нём в автобиографических воспоминаниях «Моя жизнь» (1878):

«Вот первые мои воспоминания... Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мною стоят нагнувшись кто-то, я не помню кто, и всё это в полутьме, но я помню, что двое, и крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу ещё громче. Им кажется, что это нужно (т. е. то, чтобы я был связан),

тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком противным для самого меня, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собою. [...] Это было первое и самое сильное моё впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страдание, но сложность, противуречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают. Им меня жалко, и они завязывают меня, и я, кому всё нужно, я слаб, а они сильны» (23, 469).

«Я слаб, а они сильны» — это формула противостояния с миром всякой живой души, которой с первого детства стремятся сломать еле пробившиеся крылья. Отчаяние обречённости, неотделимое от осознания, чувствования своего права на протест, данного Свыше, от Бога — это и декабристы на площади, и молодой Достоевский на страшной имитации смертной казни, устроенной ему тётёй родной, православной Империей... Это и неумелая, детская и обречённая речь молодого Льва Толстого в 1866 г. в защиту солдата Шабунина, обречённого той же падлой тётенькой на расстрел... Это и антивоенные пикеты, рисунки, любые протесты безоружных людей и детей в современной, фашиствующей путинской России — с которыми развращённая большевизмом изуверка тётенька расправляется с жестокостью и подлостью, неуместными даже на войне времён Льва Николаевича Толстого.

Самое тяжёлое — это одновременно и противостояние, удары врага и подножки ложных, прежних «друзей», и боль, боль, боль — от сломанных крыл... Хочется остановить противостояние, получить обезболивающую прививку обмана... Так рождаются в мир люди мира — не хорошие, а *хорошенькие*, милые и... и бесполезные для Божьего в мире дела. Как Ростовы — Николай и Петя... Последний, почти на глазах старшего своего тёзки, отбитого у французов с другими пленными, воюет и нелепо гибнет в партизанском отряде.

Остановимся подробнее на этом трагическом эпизоде, переполненном гуманистическими и религиозными символами и смыслами.

24 августа Денисов собрал первый партизанский отряд. Таких отрядов вскоре стало около сотни. В составе отряда оказывается и Петя Ростов. До этого он уже участвует в Вяземском сражении и ждёт случая, чтобы отличиться. Петю отправляют в отряд Денисова,

но генерал запрещает ему участвовать в любых стычках. «Петя находился в постоянно счастливо-возбуждённом состоянии радости на то, что он большой» (*ВиМ – 2. С. 610*).

Денисов вместе с Долоховым намеревался атаковать и взять французский транспорт с русскими пленными и грузом кавалерийских вещей. Желая захватить «языка», они отправляют к французам лазутчика — Тихона Щербатого, добровольца из крестьян и человека специфической «нравственности»: генетического холопа угодливого до «господ», до начальника и «барина», в том числе в военной форме, а одновременно и кацапа, неумно-хитрого и жестокого, вплоть до спокойного рассказывания о совершённых им убийствах. Одно из самых страшных, безобразных и при том массовидных порождений «русского мира»:

«Денисов велел позвать к себе Тихона и, похвалив его за его деятельность, сказал при старосте несколько слов о той верности царю и отечеству и ненависти к французам, которую должны блюсти сыны отечества.

— Мы французам худого не делаем, — сказал Тихон, видимо оробев при этих словах Денисова. — Мы только так, значит, по охоте баловались с ребятами. *Миродёров* точно десятка два побили, а то мы худого не делали...

[...] Тихон, сначала исправлявший чёрную работу раскладки костров, доставления воды, обдирания лошадей и т. п., скоро оказал большую охоту и способность к партизанской войне.

[...] Тихон не любил ездить верхом и всегда ходил пешком, никогда не отставая от кавалерии. Оружие его составляли мушкетон, который он носил больше для смеха, пика и топор, которым он владел как волк владеет зубами, одинаково легко выбирая ими блох из шерсти и перекусывая толстые кости» (*Там же. С. 605 – 606*).

При этом сам Васька Денисов, по внешности безупречно храбрый «человек войны», гордится тем, что без крайности не убил ни одного французца — и никогда, никогда не убил ни одного пленного!

Когда гармонично недоразвитый урод, с улыбочкой, рассказывает Денисову, как «не довёл» живым, убил очередного пленного, посчитав недостаточно «справным» для «господ», Пете от его речей делается нехорошо, «неловко»:

«Он оглянулся на пленного барабанщика и что-то кольнуло его в сердце» (*Там же. С. 609*).

Юный Винсент, пленный барабанщик — мальчик, ровесник Пети Ростова и естественный друг, которого тётя родина навязала ему во «враги». «Пете многое хотелось сказать барабанщику, но он не смел» *(Там же. С. 613)*.

Но в сознании Пети тут же актуализировались внушённые ему воспитателями с первого детства лжи о героизме и достоинстве военной службы, о храбрости и прочем:

«...Неловкость продолжалась только одно мгновенье. Он почувствовал необходимость повыше поднять голову, подбодриться и расспросить эсаула с значительным видом о завтрашнем предприятии с тем, чтобы не быть недостойным того общества, в котором он находился» *(Там же)*

Именно в эту «компанию» угодил Петя Ростов, за которым Денисов взялся «присмотреть», чтобы возвратить юного «героя» живым и с честью к генералу, отправившему его к Денисову лишь с поручением, а не для драк. Но Петя, чтобы остаться при отряде, скрыл от Денисова запрет генерала на участие в любых вылазках партизан:

«До выезда на опушку леса Петя считал, что ему надобно, строго исполняя свой долг, сейчас же вернуться. Но когда он увидал французов, увидал Тихона, узнал, что в ночь непременно атакуют, он с быстротою переходов молодых людей от одного взгляда к другому, решил сам с собою, что генерал его, которого он до сих пор очень уважал, — дрянь, немец, что Денисов герой и эсаул герой, и Тихон герой, и что ему было бы стыдно уехать от них в трудную минуту» *(Там же. С. 610)*.

Отряд Денисова готовил нападение на обоз и депо французов, которому предшествовала дерзкая вылазка Денисова и Пети, в ходе которой французы приняли их за «своих». Успех вылазки ещё более раззадорил Петю Ростова.

Когда Петя напрашивался в вылазку, проявил себя второй палач в отряде Давыдова — всё тот же, кровью пахнувший, Фёдор Долохов:

«— Я, я... я поеду с вами! — вскрикнул Петя.

— Совсем тебе не нужно ездить, — сказал Денисов, обращаясь к Долохову, — а уж его я ни за что не пущу.

— Вот прекрасно! — вскрикнул Петя, — отчего же мне не ехать?..

— Да оттого, что не зачем.

— Ну уж вы меня извините, потому что... потому что... я поеду, вот и всё. Вы возьмёте меня? — обратился он к Долохову.

— Отчего ж?.. — рассеянно отвечал Долохов, вглядываясь в лицо французского барабанщика» (Там же. С. 614).

Где равнодушие — там и закоренелое зло. Равнодушно “благословляя” одного ребёнка на смертельную опасность, Долохов не с добром взирает на другого, тут же заводя с Денисовым разговор, клонящийся к тому, что пленных при вылазках отряда не нужно «брать» — то есть, оставлять живыми... И опять Пете Ростову неловко при речах уже не мужика, а «благородного», но сущностно — такого же кацапа, палача.



Петя Ростов в ночь перед убоем.

Илл. Дементий Шмаринов, 1955

Накануне вылазки Петя хвастает Денисову, что «привык не спать перед сражением», но, конечно же, засыпает — и видит последний в жизни сказочный сон... продолжение грёз наяву, в которых удерживал его мирской обман.

«Храбр тот, кто ведёт себя, как следует...» На следующий день *нелепая* храбрость Пети подставляет его под пули. Ещё во сне он *слышит*

смерть: вступительную *фугу смерти*, *гимн смерти*, а затем и *хор погребальный* о себе:

«<Звуки инструментов> сливались то в торжественно-церковное, то в ярко блестящее и победное» (*Там же. С. 623*).

Обман церковный, освящающий войну — и тут же соблазн для ребёнка, подростка юноши: “блестящие” образы войны. И снова — музыка, музыка... Всё вместе — страшная заманка в смерть.

«Ах, это прелесть что такое!» — думает во сне ребёнок о сладком и разноцветном, светло-радующем гимне (*Там же*). Вот именно, что *прелесть*. То, чем по сей день, уверенно и настырно, промышляет наш *лжехристианский* мир: обман детей и малодумающих взрослых, введение целых поколений в грех и погибель. Прелесть «одного из малых сих», доверчивых детей, о которой, как смертном грехе, предупреждал Иисус:

«С торжественным победным маршем сливалась песня, и капли капали, и вжиг, жиг, жиг... свистела сабля, и опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него» (*Там же. С. 624*).

Околдование, подобное сну, обречённого продолжается и вне пределов соматического состояния сна: ещё в полутьме рассвета прозвучал сигнал к атаке, и Петя, не слушая Денисова, поскакал вперёд, и ему *показалось* «что вдруг совершенно, как середь дня, ярко рассветело в ту минуту, как послышался выстрел» (*Там же. С. 625*). В детских грёзах о сказочной, *идеальной войне* не может быть ни тьмы, ни полутьмы, а погожий день и яркое солнышко, как при прогулке на детской площадке: ведь иначе кто из взрослых увидит в темноте твои геройские поступки, чтобы похвалить тебя?

Петя доскакал до подходящего места подвига, именно моста, где увидел не вчерашних, в вылазке, отдыхающих на привале, нестрашных французов, а всамделишных, возбуждённых и приятно возбуждающих *врагов*.

Наступило системное состояние необратимости: Денисов уже не мог догнать Петю. Смерть сдавила капкан, но в боевом задоре ребёнку ещё не было больно...

И теперь, именно теперь, *когда поздно спастись*, Петя Ростов *увидел смерть*, увидел *лицо войны*. Увидел лицо без жалости убиваемого в бою человека:

«У одной избы столпились казаки, что-то делая. Из середины толпы послышался страшный крик. Петя подскакал к этой толпе и первое,

что он увидал, было бледное с трясущеюся нижнею челюстью лицо француза, державшегося за древко направленной на него пики.

[...] Впереди слышны были выстрелы. Казаки, гусары и русские оборванные пленные, бежавшие с обеих сторон дороги, все громко и нескладно кричали что-то. Молодцеватый, без шапки с красным нахмуренным лицом, француз в синей шинели отбивался штыком от гусаров. Когда Петя подскакал, француз уже упал. Опять опоздал, мелькнуло в голове Пети, и он поскакал туда, откуда слышались частые выстрелы» (*Там же. С. 625*).

Француз в этом эпизоде — *молодцеватый*, то есть храбрый *молодец*: такой именно храбрец, который *ведёт себя, как следует*. Дисциплинированный и преданный солдат великого Наполеона, отбивающийся от проникнувшей тем самым патриотическим «духом войска», разбойной и всласть разбойничающей русни. Всё же не даром и не дёшево отдаёт презренным варварам свою жизнь.

А вот русский, среди «своих», мальчик Петя...

То, что отшатнуло бы трезвого, в спокойном состоянии сознания человека — Петю, в его наваждении, привело в недостижимый в нормальном состоянии человеческого сознания экстаз самоубийства. В этом экстазе, последним в земной жизни из знакомых лиц, он вдруг видит палача Долохова — «с бледным, зеленоватым лицом».

Этого страшного цвета не было в сладкой музыке, приснившейся Пете!

Это настоящее. Это зло. Смерть!

Лик смерти — в этот раз непосредственно её!

И Смерть, то есть пассивный палач Долохов кричит *правильную*, соответственную ситуации команду: «В объезд! Пехоту подождать!». Но не кидается к Пете, как сделал бы Денисов, не вытаскивает его из боя, как из пожара, не закрывает собой...

«— Подождать?.. Ураааа!.. — закричал Петя и, не медля ни одной минуты, поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был пороховой дым. Послышался залп, провизжали пустые и во что-то шлёпнувшие пули. Казаки и Долохов вскакали вслед за Петей в ворота дома. Французы в колеблющемся густом дыме, одни бросали оружие и выбегали из кустов навстречу казакам, другие бежали под гору к пруду...

[...] Долохов слез с лошади и подошёл к неподвижно, с раскинутыми руками, лежавшему Пете.

— Готов, — сказал он нахмурившись и пошёл в ворота навстречу ехавшему к нему Денисову.

— Убит?! — вскрикнул Денисов, увидав ещё издалека то знакомое ему, несомненно безжизненное положение, в котором лежало тело Пети.

— Готов, — повторил Долохов, как будто выговаривание этого слова доставляло ему удовольствие, и быстро пошёл к пленным, которых окружили спешившиеся казаки. — Братъ не будем! — крикнул он Денисову» (Там же. С. 626 – 627).

И ещё немного этого имперского кацапа, в эпилоге всей истории:

«Долохов стоял у ворот разваленного дома, пропуская мимо себя толпу обезоруженных французов. Французы, взволнованные всем произошедшим, громко говорили между собой; но когда они проходили мимо Долохова, который слегка хлестал себя по сапогам нагайкой и глядел на них своим холодным, стеклянным, ничего доброго не обещающим взглядом, говор их замолкал. [...] Встречаясь глазами с проходившими пленными, взгляд его вспыхивал жестоким блеском» (Там же. С 638).

Не завлекающее сияние, а только страшный блеск в очах Смерти — для тех, кто не одурманен, не обезболен, кто страдает, кому суждено ещё чуть-чуть пожить в страдании трезвого и мучимого человека — вплоть до заготовленной Долоховым расправы.

Сказочного боя из детских грёз не случилось. Случилось — как обыкновенно в «русском мире»: торжество Смерти. Тётя родина заполучила ещё один «героический» сюжет — болванить новые поколения (новых жертв, таких, как Петя) сказками про «славных партизан в Отечественную войну». А Долохов заполучил своё, вождеденное: ту самую установку *оправданной войной жестокости*, «пленных не брать!», которая опьянила приятно, до восторга, огромного взрослого ребёнка Пьера Безухова в беседе, накануне Аустерлица, с Андреем. Как будто под надзором ходившего неподалёку великого теоретика жестокой войны фон Клаузевица.

Потому что слово звучащее, писанное, образы, звуки, запахи — всё имеет своё материальное воздействие на человека, сотворчески (Творцу, Богу) или же, чаще — в служении мирской лжи — деструктивно управляющее его помыслами и поведением.

Токсичная для мозга всякого человека, установка оправдания убийства противника, т. н. «врагов», на войне опьянила смертной дозой маленького Петю Ростова.

И Петя *услышал* смерть. *Увидел* смерть: она глянула ему в очи, когда изловила... И *вкусил*, наконец, смерти.

Петя Ростов погиб.

Его мучительно жалко всем, а Денисову — так, как будто он утратил родного сына. Но не такие ли, как Васька Денисов, любя и заботясь, внушали прежде Пете Ростову те самые сказочные представления о войне, которые убили его? И, будь Петя Ростов постарше — не то же ли, со смесью досады и презрения, сказал бы о его смерти Денисов, что говорит старый солдат в «Набеге» о прапорщике Аланине: «Известно, жалко! Ничего не боится: как же этак можно! Глуп ещё — вот и поплатился» (3, 38).

«Глуп ещё». А когда им делаться умнее? В осьмнадцать лет — в военное «срочное» рабство. Добровольно-принудительно: в Афганистан, в Чечню, в Украину...

Сбитый миром с толку, со спутанными крылышками Петя Ростов *умертвил себя*. Труп его — с пробитой головой и *раскинутыми руками*. Символ крыл Птицы, которые теперь могли бы расправиться. Если бы только жить... Потому что ему успело стать *и больно, и страшно, и понятно*. В последнее мгновение в несказочном, настоящем свете вошедшего в силу утра осветилось для Пети *всё*.

Стало понятно! Как обманывали его, как заманили в смерть взрослые.

Но светящийся ярче хмурого утра бледно-зелёный призрак с рожею Долохова тут же дунул на этот свет.

Зато, воззрим: се, Пьер Безухов, на своём верном, на тот момент, пути — воскрес, воскрес! Искуплен, чист и свободен. Освобождён отрядом Денисова... Жив! Мертвы — те, кто выкупили его собой у Смерти: Платон Каратаев, не выдержавший пути, и околдованный Петя. Оба приуготовлены Божьему Раю, сонму праведных: Петя не успел нагрешить убийством — даже и увидеть его, настоящее, едва успел. Платон же Каратаев, смущая Пьера своей, ощущаемой им связью своей кончины с его, Пьера очищением, воскрешением ко Птице, настаивал, что погибает за свои грехи — как и купец, безвинный каторжник, к которому поздно пришло царёво помилование, о котором товарищам по плену рассказывает перед смертью Платон (*ВиМ* – 2. С. 632 – 633).

Вот сцена умертвления праведного, на следующий день после его последнего рассказа:

«Каратаев в своей шинельке сидел, прислонившись к берёзе. В лице его, кроме выражения вчерашнего радостного умиления при рассказе о безвинном страдании купца, светилось ещё выражение тихой торжественности.

Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми круглыми глазами, подёрнутыми теперь слезою и видимо подзывал его к себе, хотел сказать что-то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видал его взгляда, и поспешно отошёл.

Когда пленные опять тронулись, Пьер оглянулся назад. Каратаев сидел на краю дороги, у берёзы; и два француза что-то говорили над ним. Пьер не оглядывался больше. Он шёл, прихрамывая, в гору.

Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Пьер слышал явственно этот выстрел, но в то же мгновение, как он услышал его, Пьер вспомнил, что он не кончил ещё начатое перед проездом маршала вычисление о том, сколько переходов оставалось до Смоленска. И он стал считать. Два французские солдата, из которых один держал в руке снятое, дымящееся ружьё, пробежали мимо Пьера. Они оба были бледны и в выражении их лиц — один из них робко взглянул на Пьера — было что-то похожее на то, что он видел в молодом солдате на казни. Пьер посмотрел на солдата и вспомнил о том, как этот солдат третьего дня сжёг, высушивая на костре, свою рубаху и как смеялись над ним.

Собака завывала сзади, с того места, где сидел Каратаев. “Экая дура, о чём она воет?” подумал Пьер. <Вспомним: «Не надо плакать здесь», слова князя Андрея сестре. – Р. А.>

Солдаты товарищи, шедшие рядом с Пьером, не оглядывались так же, как и он на то место, с которого послышался выстрел и потом вой собаки; но строгое выражение лежало на всех лицах» (Там же. С. 634 – 635).

Собака — друг человека мирского, гордящего грех на грех. Продолжающего не уметь обходиться без этих «друзей», бывших необходимыми задолго до Христа — в первобытной жизни, в делах убийства, в делах охранения отнятого у природы или — войною — у себе подобных. И собака привязана к личности хозяина: *пахучей* для собачьего носа, животной личности. А не следует: и потому, что не стоит того большинство людей, и потому ещё, что смерть забирает

такую личность. Животная личность ничтожна в деле Божьем в мире... Символы Христа другие. Агнец. Не одною своею проповедью, но и безвинностью, покорностью своей смерти в страданиях Иисус открыл путь к единению в Истине и в любви. Продолжающие последовать влечениям животности: ограбляющие чужой труд, убивающие, воюющие — распинают снова и снова Христа. Праведные же — не гибнут, а рождаются к жизни духа и разума, к жизни Птиц Небесных, и со Христом пребудут, и со Христом явятся, воротятся в этот мир — восславив Учителя и Господа во славе их, в мирном грядущем Царствии их на Земле.

Мир живёт в Боге, всё Божье и всехнее, и все мы Божьи, когда любим друг друга: точнее, любим в каждом не животное, а Бога.

Об этом — сон, явленный Пьеру по кончине дитя Божия и Птицы, в миру Каратаева Платона, и накануне освобождения:

«Он спал опять тем же сном, каким он спал в Можайске после Бородина.

Опять события действительности соединялись с сновидениями, и опять кто-то, сам ли он или кто другой, говорил ему мысли и даже те же мысли, которые ему говорились в Можайске.

“Жизнь есть всё. Жизнь есть Бог. Всё перемещается и движется, и это движение есть Бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания Божества. Любить жизнь, любить Бога. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий”.

— “Каратаев!” вспомнилось Пьеру.

И вдруг Пьеру представился, как живой, давно забытый, кроткий старичок учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. — «Постой», сказал старичок. И он показал Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали её, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.

— Вот жизнь, — сказал старичок учитель.

“Как это просто и ясно”, подумал Пьер. “Как я мог не знать этого прежде”.

— В середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать Его. И растёт, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он Каратаев, вот разлился и исчез» (*Там же. С. 636*).

Из этого отрывка мы “случайно”, мимоходом узнаём, что, помимо предполагаемого Парижа, Пьер жил и учился в Швейцарии. Стране свобод, разума и философии. Родине обожаемого Толстым Жан-Жака Руссо и целого ряда идеологов гуманизма и раннего пацифизма.

Париж, уже в том столетии — едва ли не символ мирского соблазна и греха. Центр государства Наполеона. И мирная Швейцария... Наука, философия и вера. Разум и знание, позволяющее побеждать соблазн.

Ох, как *не случайны* все подобные “случайности” у Толстого!..

Сон Пьера ощутимо раскрашен ярче злого предсмертного наваждения Пети Ростова — и это при том, что в нём нет главной, страшной силы: голоса обмана, *музыки*, создающей забирающие с собой ощущения, запахи и цвета. Музыка требовательной, от которой не сбежать... Вместо неё — Слово Истины от учителя. Христос в земной жизни — Учитель и Слово, божественный Логос. Не старенький учитель географии, а с Пьером говорит Спаситель — в те же часы той же ночи, в которую Губитель, Мир нашёптывает своё Пете Ростову... и скоро забирает его у Денисова.

Поэт и учёный XX столетия Николай Кедров тоже почувствовал в описании это бесконечно разноцветное, радостное сияние. Вот некоторые его рассуждения — та их часть, которая ближе к нашей теме:

«Готторпский глобус, привезённый Петром I в Россию, ставший прообразом нынешних планетариев, напоминает мне чрево кита, проглотившего вместе с Ионой всё человечество.

Мы говорим: вот как устроена вселенная — вы, люди, ничтожнейшие пылинки в бесконечном мироздании. Но это ложь, хотя и непреднамеренная.

Готторпский купол не может показать, как весь человек на уровне микрочастиц [...] связан, согласован со всей бесконечностью. Называется такая согласованность *антропным принципом*. Он открыт и сформулирован недавно в космологии, но для литературы эта истина была аксиомой.

Никогда Достоевский и Лев Толстой не принимали готторпский, механистический образ мира. Они всегда ощущали тончайшую диалектическую связь между конечной человеческой жизнью и бесконечным бытием космоса. Внутренний мир человека — его душа. Внешний мир — вся вселенная. Таков противостоящий тёмному готторпскому глобусу сияющий глобус Пьера.

[...] Сфера Паскаля, или глобус Пьера, есть ещё одно художественное воплощение всё той же мысли. Капли, стремящиеся к слиянию с центром, и центр, устремлённый во всё, — это очень похоже на монады Лейбница, центры Николая Кузанского или “точку Алеф” Борхеса. Это похоже на миры Джордано Бруно, за которые он был сожжён, похоже на трансформированные эйдосы Платона или пифагорейские праструктуры, блистательно запечатлённые в философии неоплатоников и Парменида.

Но у Толстого это не точки, не монады, не эйдосы, а люди, вернее их души...

[...] Стремление капель к всемирному слиянию, их готовность вместить весь мир — это любовь, сострадание друг к другу. Любовь как полное понимание всего живого перешла от Платона Каратаева к Пьеру, а от Пьера должна распространиться на всех людей. Он стал одним из бесчисленных центров мира, то есть стал миром.

[...] Всё, что сопрягает, есть мир; центры — капли, не стремящиеся к сопряжению, — это состояние войны, вражды. Вражда и отчуждённость среди людей. Достаточно вспомнить, с каким сарказмом смотрел на звёзды Печорин, чтобы понять, что представляет собою чувство, противоположное “сопряжению”.

Война и мир, сопряжение и распад, притяжение и отталкивание — вот две силы, вернее, два состояния одной космической силы, периодически захлёстывающие души героев Толстого.

Пьер “увидел” хрустальный глобус со стороны, то есть вышел за пределы видимого, зримого космоса ещё при жизни. С ним произошёл коперниковский переворот. До Коперника люди пребывали в центре мира...

В романе “Война и мир” Толстому удалось достичь не пошлой “золотой середины”, а великого “золотого сечения”, то есть правильного соотношения в той великой дроби, предложенной им самим, где в числителе единицы — весь мир, все люди, а в знаменателе — личность. Это отношение единицы к единому включает и личную любовь, и всё человечество.

В хрустальном глобусе Пьера капли и центр соотнесены именно таким образом, по-тютчевски: “Всё во мне, и я во всём”»

(https://medeyko.com/wikisource/Poeticheskiy_kosmos_-Kedrov-.pdf).

Это взгляд на мир Птицы Небесной — то самое жизнепонимание, которое много позднее Лев Николаевич назовёт (кажется, немного беспомощно, не сполна характеристично) — «всемирным», «божеским».

Христианское прозрение.

В последующей за проанализированным нами большим эпизодом историософской части есть значительное для нашей темы рассуждение писателя о смысле и содержании истории с позиций этого, христианского, воззрения на жизнь. В частности — на великих и величие в истории:

«Тогда, когда уже невозможно дальше растянуть столь эластичные нити исторических рассуждений, когда действие уже явно противно тому, что всё человечество называет добром и даже справедливостью, является у историков спасительное понятие о величии. Величие как будто исключает возможность меры хорошего и дурного. Для великого — нет дурного. Нет ужаса, который бы мог быть поставлен в вину тому, кто велик.

[...] И никому в голову не придет, что признание величия, неизмеримого мерой хорошего и дурного, есть только признание своей ничтожности и неизмеримой малости.

Для нас, с данною нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды» (Толстой Л. Н. *Война и мир*. Указ. изд. Книга вторая. С. 643 – 644).

Велик Наполеон на своём мирском поприще, стремящийся в 1812 году, как и ранее, сберечь от войны возлюбленную свою Францию: перезаключить мир с Россией, нанести удар по «мировому пирату», Англии и по разбойничьей Шестой коалиции. И ничтожен в своих зависти и ненависти к «Буонапарте» русский царь Шурка Первый, заливший кровью своих рабов ошибочное наступление в России французского политического и военного гения и тут же, «изгнав» его, готовящего вторжение и большую европейскую войну:

«Когда на другой день <12. 12. 1812 г. – Р. А.> утром государь сказал собравшимся у него офицерам — “Вы спасли не одну Россию; вы спасли Европу” — все уже тогда поняли, что война не кончена» (Там же. С. 686).

Завистливое ничтожество решило судьбу ещё тысяч своих рабов...

И с этих же позиций именно *велико* совершающееся в жизни Пьера после освобождения, в отношениях его с любимыми близкими. И, главное, с самим собой:

«Радостное чувство свободы, — той полной, неотъемлемой, присутствующей человеку свободы, сознание которой он в первый раз испытал на первом привале, при выходе из Москвы, наполняло душу Пьера во время его выздоровления.

[...] То самое, чем он прежде мучился, чего он искал постоянно, цель жизни, — теперь для него не существовала. Эта искомая цель жизни теперь не случайно не существовала для него, не в настоящую только минуту, но он чувствовал, что её нет и не может быть. И это-то отсутствие цели давало ему то полное, радостное сознание свободы, которое в это время составляло его счастье.

Он не мог иметь цели, потому что он теперь имел веру, — не веру в какие-нибудь правила, или слова, или мысли, но веру в живого, всегда ощущаемого Бога. Прежде он искал Его в целях, которые он ставил себе. Это искание цели было только искание Бога; и вдруг он узнал в своём плену не словами, не рассуждениями, но непосредственным чувством, то, что ему давно уж говорила нянюшка: что Бог вот Он, тут, везде» (*Там же. С. 688 – 689*).

Изменилась вся система отношений Пьера с миром и ближними. «...С чуть заметною, как будто насмешливою, улыбкой, он всматривался в то самое, что было перед ним, вслушивался в то, что ему говорили, хотя очевидно видел и слышал что-то совсем другое. Прежде он казался хотя и добрым человеком, но несчастным; и потому невольно люди отдалялись от него. Теперь улыбка радости жизни постоянно играла около его рта, и в глазах его светилось участие к людям, — вопрос: довольны ли они так же, как и он? И людям приятно было в его присутствии.

Прежде он много говорил, горячился, когда говорил, и мало слушал; теперь он редко увлекался разговором и умел слушать так, что люди охотно высказывали ему свои самые душевные тайны» и т. д.

«Он сделался какой-то чистый, гладкий, свежий; точно из бани... морально из бани» — коротко, образно и точно охарактеризовала Пьера Наташа Ростова в разговоре с княжной Марьей, которая, взглянув именно христианским, верующим оком — нашла обновлённого Пьера «прекрасным» (*Там же. С. 710*).

А вот как Безухов распорядился этим своим воскресением, этою чистотой — Толстой рассказывает в Эпilogе. Пьер навещает в Петербурге «одно общество», оппозиционное нелепому укладу жизни в России, сооснователем которого был (*Там же. С. 761*). Воротившись, в гостях у самых близких людей, в обновившемся, как и он сам, ожившем после смерти старого князя лысогорском доме, в присутствии незамеченного старшими Николеньки Болконского, для которого Пьер нравственный образец, он пытается обосновать значительность своей общественной инициативы в глазах приятелей, Николая Ростова и Денисова:

«— Чтò ж честные люди могут сделать? — слегка нахмурившись, сказал Николай — чтò же можно сделать? [...]

— Вот чтò, — начал Пьер, не садясь и то ходя по комнате, то останавливаясь, шепелявя и делая быстрые жесты руками в то время, как говорил. — Вот чтò. Положение в Петербурге вот какое: государь ни во чтò не входит. Он весь предан этому мистицизму (мистицизма Пьер никому не прощал теперь). Он ищет только спокойствия, и спокойствие ему могут дать только те люди *sans foi ni loi*, [*фр.* без совести и чести,] которые рубят и душат всё сплеча: Магницкий, Аракчеев, и *tutti quanti*... [и тому подобные...] [...] В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения, — мучат народ; просвещение душат. Чтò молодо, честно, то губят! Все видят, что это не может так идти. Всё слишком натянуто и непременно лопнет, — говорил Пьер (как всегда, вглядываясь в действия какого бы то ни было правительства, говорят люди с тех пор, как существует правительство). — Я одно говорил им в Петербурге.

— Кому? — спросил Денисов.

— Ну, вы знаете кому, — сказал Пьер значительно взглядывая исподлобья: князю Фёдору и им всем. — Соревновать просвещению и благотворительности, всё это хорошо, разумеется. Цель прекрасная и всё; но в настоящих обстоятельствах надо другое. [...] Когда вы стоите и ждёте, что вот-вот лопнет эта натянутая струна; когда все ждут неминуемого переворота, надо как можно теснее и больше народа взяться рука с рукой, чтобы противостоять общей катастрофе. Всё молодое, сильное притягивается туда и разворачивается. Одного соблазняют женщины, другого почести, третьего тщеславие, деньги, и они переходят в тот лагерь. Независимых, свободных лю-

дей, как вы и я, совсем не остаётся. Я говорю: расширьте круг общества: *Mot d'ordre* [Лозунг] пусть будет не одна добродетель, но независимость и деятельность.

Николай, оставив племянника, сердито передвинул кресло, сел в него и, слушая Пьера, недовольно покашливал и всё больше и больше хмурился.

— Да с какою же целью деятельность? — вскрикнул он. — И в какие отношения станете вы к правительству?

— Вот в какие! В отношения помощников. Общество может быть не тайное, ежели правительство его допустит. Оно не только не враждебное правительству, но это общество настоящих консерваторов. Общество джентльменов в полном значении этого слова. Мы только для того, чтобы Пугачёв не пришёл резать и моих и твоих детей, и чтоб Аракчеев не послал меня в военное поселение, — мы только для этого берёмся рука с рукой, с одною целью общего блага и общей безопасности.

— Да; но тайное общество, следовательно, враждебное и вредное, которое может породить только зло.

— Отчего? Разве тугендбунд, который спас Европу [...], произвёл что-нибудь вредное? Тугендбунд — это союз добродетели: это любовь, взаимная помощь; это то, что на кресте проповедывал Христос...

Наташа, в середине разговора вошедшая в комнату, радостно смотрела на мужа. Она не радовалась тому, что он говорил. Это даже не интересовало её, потому что ей казалось, что всё это было чрезвычайно просто, и что она всё это давно знала (ей казалось это потому, что она знала всё то, из чего это выходило — всю душу Пьера); но она радовалась, глядя на его оживлённую, восторженную фигуру. Ещё более радостно-восторженно смотрел на Пьера забытый всеми мальчик, с тонкою шеей, выходившею из отложных воротничков. Всякое слово Пьера жгло его сердце и он нервным движением пальцев ломал, сам не замечая этого, — попадавшие ему в руки сургучи и перья на столе дяди» (*Там же. С. 775 – 777*).

Решительный противник «бунта», Николай Ростов, доказывает в разговоре Наташе и Пьеру, что «переворота не предвидится, и что вся опасность, о которой он <Пьер> говорит, находится только в его воображении». Пьер оказывается ловчее в споре, но Николай понимает свою правоту — «не по рассуждению, а по чему-то сильнейшему, чем рассуждение» (*Там же. С. 778*).

Конечно же, это вера! «Простой» государев служилый человек Николай Ростов вдруг оказывается чутче ко Христу, к Истине и нравственно выше «разгулявшегося» перед женой и восторженным ребёнком Пьера. Царство Божие берётся ведь *духовным* усилием. Не быстро. Желание преподнести результаты поскорее, уже своим самке и детёнышам — соблазн греховный, унижающий человека, тоже признак маловерия или безверия. Метод при этом, слишком часто — насилие, оправдываемое общим, общественным, государственным благом.

Пьер, между тем, разоткровенничался в другом разговоре — где был уже с женой наедине:

«...Моя мысль так проста и ясна. Ведь я не говорю, что мы должны противодействовать тому-то и тому-то. Мы можем ошибаться. А я говорю: возьмитесь рука с рукою те, которые любят добро, и пусть будет одно знамя — деятельная добродетель» (*Там же. С. 786*).

Наташе вдруг удалось смутить Пьера, задав «детский» вопрос: одобрил бы его Платон Каратаев? Пьеру пришлось признать, что — нет, не одобрил бы...

Но смущение было недолгим, и скоро уже отягощённая мирским тщеславием, несостоявшаяся Птица Небесная вошёл в раж в своих речах перед любящей, слепой от любви женой:

«Это было продолжение его самодовольных рассуждений об его успехе в Петербурге. Ему казалось в эту минуту, что он был призван дать новое направление всему русскому обществу и всему миру.

— Я хотел сказать только, что все мысли, которые имеют огромные последствия — всегда просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто» (*Там же. С. 787 – 788*).

«Просто», таки да-а! Но за этим «простым», его подлинными, не внушающими оптимизма смыслами — грустная сатира Десятой главы пушкинского «Евгения Онегина». А ещё — столетняя трагедия истории России и злой, бездарный и гнусный фарс наших дней — в попытках выродившейся московитской кацапни что-то из неё ещё и «повторить»!

* * * * *

Эпилог. Часть Первая. Глава XVI, завершающая часть:



«...Внизу, в отделении Николинки Болконского, в его спальне, как всегда, горела лампада (мальчик боялся темноты, и его не могли отучить от этого недостатка). <Гувернёр> Десаль спал высоко на своих четырёх подушках и его римский нос издавал равномерные звуки храпенья. Николинка, только что проснувшись, в холодном поту, с широко-раскрытыми глазами, сидел на своей постели и смотрел перед собой. Страшный сон разбудил его. Он видел во сне себя и Пьера в касках, таких, какие были нарисованы в издании Плутарха. Они с дядей Пьером шли впереди огромного войска. Войско это было составлено из белых, косых линий, наполнявших воздух подобно тем паутинам, которые летают осенью и которые Десаль называл *le fil de la Vierge*. [нитьями Богородицы.] Впереди была слава, такая же, как и эти нити, но только несколько плотнее. — Они — он и Пьер — неслись легко и радостно всё ближе и ближе к цели. Вдруг нити, которые двигали их, стали ослабевать, путаться; стало тяжело. [...] Николинка оглянулся на Пьера; но Пьера уже не было. Пьер был отец — князь Андрей, и отец не имел образа и формы, но он был, и видя его, Николинка почувствовал слабость любви: он почувствовал себя бессильным, бескостным и жидким. Отец ласкал и жалел его. [...]

«Отец, — думал он. — Отец (несмотря на то, что в доме было два похожих портрета, Николинка никогда не воображал князя Андрея в человеческом образе), отец был со мною и ласкал меня. Он одобрял

меня, он одобрял дядю Пьера. — Чтò бы он ни говорил — я сделаю это. Муций Сцевола сжѐг свою руку. Но отчего же и у меня в жизни не будет того же? Я знаю, они хотят, чтоб я учился. И я буду учиться. Но когда-нибудь я перестану; и тогда я сделаю. Я только об одном прошу Бога: чтобы было со мною то, чтò было с людьми Плутарха, и я сделаю то же. Я сделаю лучше. Все узнают, все полюбят, все восхитятся мною». И вдруг Николинька почувствовал рыдания, захватившие его грудь, и заплакал.

— Etes-vous indisposé? [Вы нездоровы?] — послышался голос Десаля.

— Non, [Нет,] — отвечал Николинька и лёг на подушку. “Он добрый и хороший, я люблю его”, думал он о Десале. “А дядя Пьер! О, какой чудный человек! А отец? Отец! Отец! Да, я сделаю то, чем бы даже он был доволен...”» (Там же. С. 788 – 789).

* * * * *

Итак, адский круг замкнут!

Пьер, пока всё ещё тот же хороший и чистый, незаметно для себя возвращается к суеверию «хороших» убийств, исповеданному им в начале романа — но не военных, а «бунташных», всё с тем же оправданием — общего, народного блага!

Подтолкнув вдохновенными словами князя Андрея к Небесам и пережив подтверждение жизнью правоты своих прозрений в лучшие минуты — сам Пьер не находит *срединного пути* между жизнью вне тела для Бога и в Боге и жизнью для мира, мирскими любовью и радованию той жизнью, которая увлекла ко грехопадению ещё дальнюю предтечу Наташи — прародительницу человечества Еву, а за нею и любящего, мягкого, наивного, доверчивого Адама, в чьей роли и выступает в грустном финале романа так тяжело и так ненадолго очистившийся морально Пьер.

Религиозные прозрения пока далеки от ведомого дорогою своей судьбы писателя — не пережившего ещё и «арзамасской тоски». Не знающего, как много раз сделают ему больно, оскорбив в самом драгоценном, супруга и дети — и оттого любящегося самкою Наташей, её материнством и её покорностью любимому «хозяину семейства», уже встрявшего в назревающий политический заговор, обещающей России новое насилие имперской военщины и палачей.

До «мирского» уровня низведена и тема жертвы в её реализации для Ростовых – Безуховых. Живущая у Ростовых воспитанница Соня жертвует тем, что ею же воспитателями внушено как самое дорогое: мирским личным счастьем. Толстой в Эпilogue передаёт один из разговоров Наташи с княжной, к тому времени графиней, Марьей, когда Наташа вспоминает Евангелие: «там есть одно место прямо о Соне». «Имущему дастся, а у неимущего отнимется. Она — неимущий». «Иногда мне её жалко, — говорит Наташа, — а иногда я думаю, что она не чувствует этого, как чувствовали бы мы». В свою очередь, мирская жертва предстояла, по замыслу автора, и самой Наташе: сопровождать мужа, Пьера, на каторге и в ссылке, где он должен был оказаться, но замыслу автора, после восстания декабристов.

И только для самой графини, прежней княжны Марьи, остаётся актуальным высший, в те годы лишь чаемый автором, умозрительный, не могущий быть показанным в романе идеал: жить с нравственно чистейшим, хотя и «вписанным» всем сознанием в язычество православной империи, Николаем Ростовым — с миром, и даже, во всём неизбежном, жизнью мира, но — уже навсегда, после мытарств и чистилища Лысых Гор — с постоянным памятованием о Божьей Истине, о евангелиях, о Христе... Не может быть сомнения, что сам Николай Ростов — куда более благодатная почва для духовного воздействия, могущего увести сознание спутника жизни от внушённых ему в первом детстве и ещё владеющих им в завершении романа оправданий и возвеличения «государевой службы», войны и убийства ради отчизны и чести, нежели Безухов, вышедший из горнила своих страданий морально «будто бы из бани», но успевший, по безжалостности авторского реализма, вляпыванием своим в политику опачкать пелёнки своего духовного младенчества так, что к этой, радостной было для княжны чистоте ему уже не воротиться — с *самкою* Наташей, без княжны, без духовного терпеливого воздействия. Его речи слушает подросток Николенька — и уже *бессознательно*, ведомый, как и погубленный Петя Ростов, сладостью мирского обмана, совершает разрушение: пускай пока лишь на письменном столе, а не в стране и не в судьбах людских... Перья, изломанные им на столе — символизируют перья Птицы Небесной в нём самом, калечимой мирским лжеучением и ломаемые самим дитя — перед которым восстал идеал незнаемого отца — славы, подвига, «Тулона». И вместо этих бесценных крыл Николеньке, как прежде

убитому миром Пете Ростову, грезятся уже перья на шлемах героев из книжек Плутарха.

* * * * *

Но не столь всё мрачно. Дважды расправлявшая в Пьере кривышки Птица — дважды не смогла взлететь. Но мы помним: в грязное сознание растаптывателя жизней чужих и своей, «идейного» имперского кацапа, душегуба Ростопчина влились слова юродивого о *трёх* воскрешениях. Новое чистилище — это каторга и ссылка после восстания, предполагавшаяся для Пьера, и, как следствие — решающее, третье воскрешение к Истине и любви, к вере живой, к тому христианскому состоянию сознания, в котором и доживали век, уже современниками автора «Войны и мира», некоторые знаемые им декабристы.

Здесь мы приоткрываем читателю тайну ненаписанного Л. Н. Толстым романа о декабристах. Выступить в отношении столь близких ему благородных людей простым историческим романистом, писателем деяний, Толстой не мог. Хватить же пером по их жизни каторжной и ссылкой, по страданиям и постепенному преобразению сознания и просветлению духа — то есть тому, что сам Толстой не переживал никогда — означало бы для художника слова такую же фальшь, какие, Харибдой и Скиллой творческого океана, грозили ему позднее, при работе над описаниями «пути жизни» во Христе Константина Левина (роман «Анна Каренина») или Дмитрия Нехлюдова («Воскресение»). Последнего Толстой даже лишил весьма вероятного брака с Катюшей Масловой, ибо — фальшь, фальшь! Чтобы нефальшиво описать крестный путь декабристов со своими жёнами, либо даже Нехлюдова с Масловой — нужно было судьбой своей быть тем же, чем был Фёдор Михайлович Достоевский, прошедший своё чистилище так же, в мирском смысле безвинно, как и Пьер Безухов, но в смыслах христианских — отнюдь не безгрешно. Восхищаясь до конца жизни «Записками из Мёртвого дома» Достоевского, Лев Николаевич Толстой вовремя тормозил перо — понимая своё не только художническое бессилие, но и моральное бесправие писать о том же.

Итак, мы показали, что , страницы романа Л. Н. Толстого «Война и мир» неизбежно представляют нам автора тем же последовательным

отрицателем жестокостей войны и убийства, каким был автор повести «Казачи», а в значительнейшем, в фундаментальном — всё таким же, не имеющим для своей ненависти к убийству религиозной, *христианской в сердце и разуме опоры*, юным Львом, что и Толстой-автор первого своего, не религиозно, а, скорее, романтически и отчасти сентиментально, *сердечно* антивоенного художественного шедевра, рассказа «Набег». Значительнейшие шаги к более глубокому и полнейшему, христианскому религиозному отрицанию войны и его, этого отрицания, обоснованию были сделаны писателем в следующем десятилетии, в годах 1870-х, совпав с временем окончания им писанием другого великого романа своего, «Анна Каренина», мимо которого мы по этой причине не можем пройти, хотя говорить о нём будем уже значительно меньше, короче, нежели о «Войне и мире».

2. 2. КОГДА ПОЕЗД УШЕЛ (Роман «Анна Каренина»

и антивоенные настроения Л. Н. Толстого в годы его создания)

Достоевский за 25 лет до отлучения Толстого от церкви написал в своём "Дневнике писателя" о последней части "Анны Карениной":

"Как подействовало на меня отпадение такого автора от русского всеобщего и великого дела".

..Достоевский предвидел отлучение Толстого от церкви, ставя церковь на одну чашу с "всеобщим и великим делом".

То есть... события на Балканах для России, помимо всего прочего, ещё и удобный случай прикрыть "всеобщим и великим делом" множащуюся всеобщую и великую ложь.

Достоевский наотрез отказывался понимать Толстого же, убедительно показавшего в романе, как разлагается общество...

Не понимает, отказывается понимать Толстого, не пошедшего на поводу у всех, высказавшегося открыто против бойни, какие бы идеимотивы ни стояли за пролитой кровью.

(Мамедов А. Обнуление Толстого / В кн.: Толстой. Новый век. Вып. 2. Тула, 2006. С. 25).

*Есть один храм Божий, это — сердце людей,
когда они любят друг друга.*

(Л. Н. Толстой «Соединение и перевод четырёх Евангелий»)

Как известно, в восьмой части «Анны Карениной» Толстой запечатлел довольно нестандартное по тому времени отношение к Балканской войне. Редактор «Русского Вестника», в котором печатался роман, Михаил Никифорович Катков отказался опубликовать её в своём «Русском вестнике», мотивируя отказ словами: «Не лучше ли оборвать музыку диссонансом, чем оканчивать приделанными мотивами, не имеющими связи с темой? Роман остался без конца и при “восьмой и последней” части. Идея целого не выработалась. [...] Лучше, кажется, было прервать роман на смерти героини, чем заключить его толками о добровольцах, которые ничем неповинны в событиях романа. Текла плавно широкая река, но в море не впала, а потерялась в песках. Лучше было заранее сойти на берег, чем выплыть на отмель» (*Русский вестник*. 1877. № 7. С. 462). Действительная причина отказа была — именно в этих, выраженных в «Анне Карениной», авторском скепсисе и даже сатире в отношении панславистских настроений 1860-х, и, в частности, в отношении движения добровольцев в пользу военной помощи славянам и готовящейся в связи с ним войне с Турцией.

Суждение Каткова о «приделанности» мотивов, о несовершенстве и дисгармоничности сюжетно-композиционного строения романа не было единичным среди читателей-современников (и патриотов!). «В лице Левина автор во многом выражает свои собственные суждения и взгляды, влагая их в уста Левина чуть ли не насильно и даже явно жертвуя иногда при том художественностью», — утверждал Фёдор Михайлович Достоевский (1821 – 1881), ярый сторонник добровольческого движения (*Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1983. Т. 25. С. 194*).

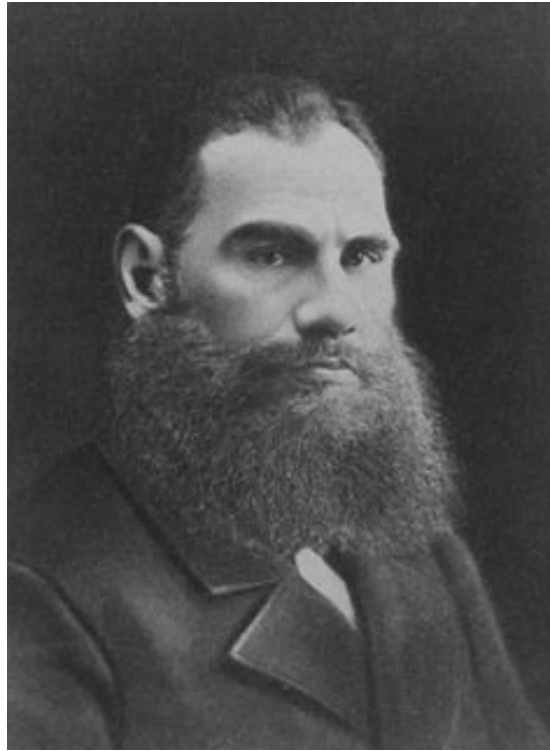
Однако сам Толстой насчёт структуры своего шедевра был обратного мнения. В ответ на упрёк благожелательно настроенного к писателю критика Сергея Александровича Рачинского (1833 – 1902) в коренном недостатке в построении всего романа из-за 8-й части, в отличие от других глав производящей, по мнению критика, «впечатление охлаждающее», Толстой писал: «Я горжусь, напротив, архитектурой — своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок... Связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи... боюсь, что, пробежав роман, вы

не заметили его внутреннего содержания... если вы уже хотите говорить» о недостатке связи, то я не могу не сказать — верно вы её не там ищите, или мы иначе понимаем связь» (62, 377 – 378).

Ныне общепризнано, что архитектоника «Анны Карениной» не менее совершенна, чем в «Войне и мире» (*Храпченко М.Б. Лев Толстой как художник. М., 1963. С. 469*).

Часть Восьмая в отдельном издании 1878 г., а первоначально Эпилог — естественное завершение идейно-художественного строения. Не будь эпилога, пропорции были бы нарушены. По мнению многих исследователей, эпилог понадобился автору для того, чтобы выказать линию обретшего Христову веру — не церковную, а живую — Левина, более оптимистичную, нежели линия Анны. «Самое главное, — пишет духовный единомышленник, многолетний друг и биограф Л. Н. Толстого Николай Николаевич Гусев, роман не мог закончиться описанием того, как навсегда потухла свеча, при свете которой Анна читала «исполненную тревог, обманов, горя и зла» книгу жизни. Так закончить роман — значило бы внести в художественное произведение крайний пессимизм, не свойственный Толстому. Нужно было, чтобы другой герой романа начал читать другую книгу, где наряду с делами зла и обмана в людском мире были бы описаны также дела добра и правды» (*Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М., 1963. С. 364*).

Нам хотелось бы показать, как, в контексте самого романа антивоенная тема в нём так же выглядит вполне продуманной и обладает большой художественной убедительностью.



Лев Толстой.

Фото Конст. Шапиро. 1877 г.

Снова на земле совершается «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» — война. На этот раз сербско-турецкая война.

Речь идёт о национально-освободительном движении славянских народов Балканского полуострова против господства Османской империи (мусульманской Турции). События развивались в следующей хронологии. В 1875 г. (а это год начала публикации романа «Анна Каренина» в журнале «Русский вестник») произошло восстание славян в Боснии и Герцеговине. Годом позже была сделана попытка восстания в Болгарии. В том же году войну Турции объявили Сербия и Черногория. В России сопротивление славян турецкому гнёту было поддержано Славянскими благотворительными комитетами, которые собирали пожертвования и организовывали отправку добровольцев в Сербию.

Герои романа «Анна Каренина» являются участниками этих событий. Организацию добровольческой кампании поддерживают представители высшего света графиня Лидия Ивановна и мадам Шталь. В составе добровольческой армии на Балканы отправляется Алексей Вронский и его друг Яшвин. «Место члена от комитета» получает Стива Облонский. Одним из идеологов добровольческого движения

выступает Сергей Иванович Кознышев. Наконец, непосредственно перед завершением Эпилога и всего романа между ним и Константином Левиным при участии князя Щербацкого и профессора Катавасова разгорается спор о Славянских комитетах и добровольцах.

Вопреки позиции Каткова, такая тематика, выбивающаяся из общего «семейного» сюжета романа, неслучайна. Как известно, Толстой долго размышлял над последней частью «Анны Карениной», долго не мог взяться за перо, и именно Балканская война и размышления над «славянским вопросом» дали ему ключ к развязке всего романа (*Жданов В. Творческая история «Анны Карениной»: Материалы и наблюдения. М., 1957. С. 111*).

Восьмая часть «Анны Карениной» начинается страницами, посвящёнными Сергею Ивановичу Кознышеву и неудаче его долго писавшейся книги: «Сергей Иванович был умён, образован, здоров, деятелен и не знал, куда употребить всю свою деятельность. Разговоры в гостиных, съездах, собраниях, комитетах, везде, где можно было говорить, занимали часть его времени; но он, давнишний городской житель, не позволял себе уходить всему в разговоры, как это делал его неопытный брат, когда бывал в Москве; оставалось ещё много досуга и умственных сил.

На его счастье, в это самое тяжёлое для него по причине неудачи его книги время на смену вопросов иноверцев, Американских друзей, самарского голода, выставки, спиритизма стал славянский вопрос, прежде только тлевшийся в обществе, и Сергей Иванович, и прежде бывший одним из возбuditелей этого вопроса, весь отдался ему.

В среде людей, к которым принадлежал Сергей Иванович, в это время ни о чём другом не говорили и не писали, как о Славянском вопросе и Сербской войне. Всё то, что делает обыкновенно праздная толпа, убивая время, делалось теперь в пользу славян. Балы, концерты, обеды, спичи, дамские наряды, пиво, трактиры — всё свидетельствовало о сочувствии к славянам» (19, 352).

Далее этот повествовательный мотив: изображение досужего человека, радостно бросающегося в «сербскую войну», чтобы чем-то себя занять, повторяется в восьмой части «Анны Карениной» не раз. И в эпизоде с Катавасовым и несколькими добровольцами, из которых один оказывается богатым молодым купцом, «промотавшим большое состояние», другой «человеком, попробовавшим всего», а третий уже немолодым «юнкером в отставке», не выдержавшим экзамен на

артиллериста. И через сознание старичка-военного, жителя уездного городка, которому «хотелось рассказать, как из его города пошёл только один солдат бессрочный, пьяница и вор, которого никто уже не брал в работники» и который «по опыту зная, что при теперешнем настроении общества опасно высказывать мнение, противное общему, и в особенности осуждать добровольцев» не говорит того, что думает (*Там же. С. 358*).

Наконец, формирующееся христианское антивоенное настроение Толстого представлено и в образе Вронского, о котором сама его мать вначале простодушно, а затем, с православной кочки зрения, даже и вполне кощунственно – при этом (стоит подчеркнуть реалистическую деталь) нисколько *не сознавая* этой кощунственности – замечает: «— Да после его несчастья что ж ему было делать? [...] Это Бог нам помог — эта сербская война» (*Там же. С. 359, 360*). При этом, не замечая у себя во рту, мамаша, ругает безответную, покойную уже Анну, именуя её «гадкой женщиной без религии» (*Там же. С. 360*). Переживая за сынка, считает для него, исповедника (как и она сама), якобы христианства «православия», лучшим исходом, после гибели любовницы, участие в массовом убийстве людей!

Как метко подмечено В. В. Ермиловым, в эпилоге трагизм переживаний Вронского иронически скомпрометирован его физическим состоянием. «В. Шкловский заметил, что Толстой даже не дал Вронскому красивого страдания после смерти Анны. [...] Одной из наиболее часто повторяемых деталей внешнего облика Вронского, — пишет Ермилов, — является то, что он “открывает свои сплошные белые зубы” — знак его спокойствия, уверенности, гладкости, неизблемости, непроницаемости устоев его жизни. И вот в финале зубы разболелись...» (*Ермилов В.В. Толстой-романист. М., 1965. С. 378*).

Здесь же промелькивает подающий пожертвования и дающий обеды отъезжающим Стива Облонский, как раз назначенный в связи с Балканской войной членом какой-то комиссии с непомерно высоким жалованьем и неопределёнными обязанностями.

Одним словом, люди нашего лжехристианского мира остаются именно людьми, с детства порченными этим миром, и ведут их по жизни, в первую очередь, их собственные интересы, но, поддаваясь психическому заражению от пропагандистской машины, они забывают об этих реальных мотивах и облачают недотёп и бездельников «добровольцев» в мантии героев, жертвующих своей жизнью ради «славянских братьев».

Всему этому противопоставлена скептическая позиция старого князя Щербацкого и Левина, отказывающихся принять официально-патриотическую и славянофильскую позиции по этому вопросу.

Левин — герой автобиографичный, поэтому его мнение можно считать выражением, в основном, взглядов самого Л. Н. Толстого.

В отличие от Сергея Ивановича Кознышева, Константин Левин не одобряет действия Славянских комитетов и добровольцев, потому что считает их провоцированием войны с Турцией. А убийство и война, предпринимаемые даже в случаях защиты и освобождения от гнёта, по мнению героя, не могут привести к «общему благу». Это знание Левин описывает как общее для всех людей знание о добре и зле. «Он видел, что брата убедить нельзя, и ещё менее видел возможности самому согласиться с ним, — пишет автор. — [...] Он не мог согласиться, главное, потому, что он вместе с народом не знал, не мог знать того, в чём состоит общее благо, но твёрдо знал, что достижение этого общего блага возможно только при строгом исполнении того закона добра, который открыт каждому человеку, и потому не мог желать войны и проповедывать для каких бы то ни было общих целей» (19, 392).

Природу этого знания помогает понять анализ духовного состояния Левина, описание которого предваряет обсуждение героями «Славянского вопроса и Сербской войны».

К концу романа (как и автор ко времени его завершения), Константин Левин достиг всего, о чём мечтал: у него есть любимая жена, ребёнок, имение и большое хозяйство. Однако в душе своей герой не находит покоя — он мучается тем, что не понимает смысла жизни. В поисках выхода из душевного кризиса Левин обращается, прежде всего, к научному знанию, но понимает, что «путём мысли» невозможно ответить на вопросы о том, «откуда, для чего, зачем и что такое» человеческая жизнь (*Там же. С. 367*).

Из состояния мучительных поисков и отчаяния Левина вывели слова мужика подавальщика (снопов, на молотье зерна) Фёдора о том, что надо «не драть шкуру с человека», не жить «для брюха», как другой мужик, Кириллов, а надо жить «для Бога», «для души», «по правде, по Божью», как мужик Платон, как и сам Левин. «Вот хоть вас взять, тоже не обидите человека», — говорит Фёдор. При этих словах мужика «неясные, но значительные мысли толпою [...] закружились в его голове, ослепляя его своим светом» (*Там же. С. 376*).

Левина удивило то, что «бессмысленные слова» мужика («Не для нужд своих жить, а для Бога. Для какого Бога?» — спрашивает Левин сам себя) он «понял», и совершенно так, как он (мужик) их понимает, а поняв, «не усомнился в них» (*Там же. С. 377*). Это наблюдение привело его к заключению о том, что человек имеет в своей душе (в своём сердце) знание о смысле жизни, которое ему «дано» свыше, от Бога и благодаря которому он может жить, что религия лишь фиксирует это знание в определённых символах и понятиях.

«Я искал ответа на мой вопрос. А ответа на мой вопрос не могла мне дать мысль, — она несоизмерима с вопросом, — рассуждает Левин. — Ответ мне дала сама жизнь, в моём знании того, что хорошо и что дурно. А знание это я не приобрёл ничем, но оно дано мне вместе со всеми, дано потому, что я ниоткуда не мог взять его.

Откуда взял я это? Разумом, что ли, дошёл я до того, что надо любить ближнего и не душировать его? Мне сказали это в детстве, и я радостно поверил, потому что мне сказали то, что было у меня в душе [...] Да, то, что я знаю, я знаю не разумом, а это дано мне, открыто мне, и я знаю это сердцем, верю в то главное, что исповедует церковь» (*Там же. С. 379, 381*).

Попытки человека с помощью собственного разума оправдать ту обыкновенную жизнь, с «борьбой за существование» и душированием других, Левин называет «гордостью ума» или «мошенничеством ума», «плутовством», отмечая, что человеческий разум подстраивает ответы ответы, совершенно противоположные тому знанию, которое человек имеет в своей душе. «Разум открыл борьбу за существование и закон, требующий того, чтобы душировать всех, мешающих удовлетворению моих желаний. Это вывод разума, — говорит Левин. — А любить другого не мог открыть разум, потому что это неразумно» (*Там же. С. 422*).

Таким образом, уверенность Левина в том, что убийство, а значит и война, не могут привести к «благу», описывается в романе как знание, которое дано от Бога и существует в душе каждого человека. Логическим следствием этой уверенности является убеждение в том, что Христос не мог допускать убийство и войну.

Исследователи не раз и справедливо отмечали, что в приверженности Левина добру и в его отказе от оправдания военного похода и убийств даже во имя «спасения» кого-то уже ощущается предвестие «не противьтесь злему» — святой христианской проповеди Льва Николаевича (*Кириченко О. Славянский вопрос в романе Л.Н. Толстого*

«Анна Каренина» // *Русская филология. 18. Сб. научных работ молодых филологов. Тарту, 2007. С.58*). Фёдор Михайлович Достоевский, Константин Николаевич Леонтьев, Михаил Степанович Громека и некоторые другие критики-современники так же безошибочно связали настроения Константина Левина с авторскими.

В то же время, как и сам автор в период написания «Анны Карениной», Левин не отрицает учения «своей» церкви, в котором вырос. "Церковь? Церковь!" — повторил себе Левин. "Но могу ли я верить во всё, что исповедует церковь? — думал он, испытывая себя и придумывая всё то, что могло разрушить его теперешнее спокойствие. Он нарочно стал вспоминать те учения церкви, которые более всего всегда казались ему странными и соблазняли его. — Творение? А я чем же объяснял существование? Существованием? Ничем? — Дьявол и грех? — А чем я объясняю зло?.. Искупитель?..

Но я ничего, ничего не знаю и не могу знать, как только то, что мне сказано вместе со всеми.

И ему теперь казалось, что не было ни одного из верований церкви, которое бы нарушило главное, — веру в Бога, в добро, как единственное назначение человека.

Под каждое верование церкви могло быть подставлено верование в служение правде вместо нужд. И каждое не только не нарушало этого, но было необходимо для того, чтобы совершалось то главное, постоянно проявляющееся на земле чудо, состоящее в том, чтобы возможно было каждому вместе с миллионами разнообразнейших людей, мудрецов и юродивых, детей и стариков — со всеми, с мужиком, с Львовым, с Кити, с нищими и царями, понимать несомненно одно и то же и слагать ту жизнь души, для которой одной стоит жить и которую одну мы ценим» (*Там же. С. 381*).

Левин смешивает единение в Истине и любви человеков — с земным единением в исповедании догматического закона «своей» церкви. И дело даже не в очевидном самообмане: подставлении «под учение» своих возбуждённых фантазий. «Верование в служение», в своём эмоциональном подъёме, Левину подставить под учение легко. Но как быть с образом жизни общественных «элит» — наживающихся, властвующих, воюющих?.. Ведь понятно, что речь не об уступании греховной слабости личности, продолжающей верить, а — о *преднамеренном и системном* устройении целыми поколениями влиятельных людей общества всей общественной жизни — как будто назло Христу!

Именно такой консенсус с православной верой — но уже со своеобразными личными “коррективами” — характеризует религиозное сознание Льва Николаевича второй половины — конца 1870-х годов.

И как быть с такими же горячими поклонниками иных верований?.. Это стало и для автора «Анны Карениной» проблемным вопросом на годы — разрешённым посредством утверждения «равной основы» всех вер в их ответании на главные вопросы жизни человека: «как жить?», «что я должен делать?».

Но для Левина и для Толстого “образца” 1876 – 1877 гг. такое сопряжение основ пока — «знание, непостижимое разумом» (*Там же. С. 398*).

Лёжа на спине — но не на поле боя, как князь Андрей, а в лесной тени, и не раненый, а приятно возбуждённый — Левин тоже взирает на небо — «высокое, безоблачное». Небесный свод, про который память Левина знает, что он, на самом деле — «бесконечное пространство» (*Там же. С. 381 – 382*). Но ни память и рассудок, ни взбудораженные чувства не дают Константину Левину того пробуждения к новому пониманию жизни и к самой жизни духа и разумения, которого коснулся мысленной дланью истекающий кровью, страдающий на Аустерлицком поле князь Андрей Болконский.

И вот итоговое различие: скептик князь Андрей, насмешник над верою сестры — как будто подтолкнут был Свыше к совершенству в этом скепсисе и — к «устам младенца» Пьера Безухова, подвигшим в беседе друга к диалектически высшему состоянию, к первому, робкому пробуждению Птицы Небесной. Оставшейся ею даже в суемирской.

А Константин Левин, напротив, движется от прежней прочной «веры отцов» — к тем колебаниям и самообманам, которые суждено было, уже по окончании работы над романом, пережить и Льву Николаевичу. Суета разговоров, споров и чувственность домашних, семейных уз — отвлекают и засучивают его. Небо смеётся над автобиографическим персонажем Толстого, возжелавшим (из-за неопытности в жизни духа “обыкновенного” адепта церковного учения), «чтобы душевное настроение могло тотчас же изменить его в соприкосновении с действительностью» (*Там же. С. 383*). В тот же день — тоже автобиографический эпизод! – разразилась гроза, и Левин на на шутку перепугался за жену и ребёнка. Слишком тесны и многочисленны уже путы, связывающие, именно посредством той же чувственности, с миром и мирским — не порвать! Сам того не зная,

автор «Анны Карениной» характеризует свою будущую драму жизни.

Но вот в гости являются сводный (старший) брат и приятель, Сергей Иванович Кознышев с Фёдором Васильевичем Катавасовым.

«Катавасов очень любил говорить о философии, имея о ней понятие от естественников, никогда не занимавшихся философией; и в Москве Левин в последнее время много спорил с ним.

И один из таких разговоров, в котором Катавасов, очевидно, думал, что он одержал верх, было первое, что вспомнил Левин, узнав его.

«Нет, уж спорить и легкомысленно высказывать свои мысли ни за что не буду», подумал он» (*Там же*). И тут же нарушил зарок!

А брат Левина — сразу почувствовал перемену в настроениях и в сознании Константина, причём по поводу самого, на тот момент, драгоценного Сергею Ивановичу:

«...Глаза братьев встретились, и Левин, несмотря на всегдашнее и теперь особенно сильное в нём желание быть в дружеских и, главное, простых отношениях с братом, почувствовал, что ему неловко смотреть на него. Он опустил глаза и не знал, что сказать.

Перебирая предметы разговора такие, какие были бы приятны Сергею Ивановичу и отвлекли бы его от разговора о Сербской войне и Славянского вопроса, о котором он намекал упоминанием о занятиях в Москве, Левин заговорил о книге Сергея Ивановича.

— Ну что, были рецензии о твоей книге? — спросил он.

Сергей Иванович улыбнулся на умышленность вопроса.

— Никто не занят этим, и я менее других, — сказал он. — Посмотрите, Дарья Александровна, будет дождик, — прибавил он, указывая зонтиком на показавшиеся над макушами осин белые тучки.

И довольно было этих слов, чтобы то не враждебное, но холодное отношение друг к другу, которого Левин так хотел избежать, опять установилось между братьями» (*Там же. С. 384*).

Оно дало себя знать в последовавшем разговоре — и яростном споре — в пчельнике, который выявил, что Константин Левин (а значит, и Толстой в ту пору) не полностью отрицает и необходимость участия России в назревавшей войне. Спор в пчельнике происходит ещё до манифеста Александра II об объявлении войны, когда инициатива помощи и участия в войне против турок исходила от частных лиц. Старый князь Щербацкий иронизирует лишь по поводу отдельных резонёров, взывающих к войне: «Да кто же объявил войну туркам?»

Иван Иванович Рагозов и графиня Лидия Ивановна с мадам Шталь?». А Левин не выдвигает ни христианской, ни даже светско-пацифистской позиции, однако настаивает на возможности участия «в таком жестоком, ужасном деле» отдельного человека и тем более христианина лишь при том условии, если ответственность начать войну берёт на себя «правительство, которое призвано к этому и приводится к войне неизбежно», а «граждане отрекаются от своей личной воли» (19, 387).

От подобной позиции, скорее, головокружительно, одуряюще благоухает ещё громадой «Войны и мира» с её историософией деятельных масс и «царя — раба истории», нежели тонко пахнет антивоенной прозой «постисповедального» Толстого-христианина.

Отъезд на войну Вронского вызывает сочувствие со стороны нескольких героев... не исключая и Левина! Правда, и здесь не обошлось без сатирического намёка, когда о Вронском, едущем в Сербию с эскадромом, собранным им за свой счёт, Левин замечает кратко и насмешливо: «Это ему идёт» (19, 386). Авторское отношение в связи с этим к Левину ощутимо сочувственно.

Ясно, что Вронский, как и многие другие, едет на войну просто потому, что это лучшее, что он может сделать после гибели Анны под колёсами электрички. Он и сам не пытается представить свои мотивы как-то иначе, прямо объясняя свой отъезд в Сербию отчаянием («Я рад тому, что есть за что отдать мою жизнь, которая мне не то, что не нужна, но постыла» — 19, 361).

На фоне фразёра Кознышева Вронский, с грустной иронией отказывающийся от рекомендательного письма к лидерам сербской армии, явно обрисован в более выгодном свете: «Нет, благодарю вас; для того чтоб умереть, не нужно рекомендаций. Нешто к туркам... — сказал он, улыбнувшись одним ртом» (19, 361). Глядя на рельсы, невольно напомнившие ему об ужасной смерти Анны, Вронский не может сдержать рыданий. Хотя то, что он погибнет в Сербии, вовсе не факт. Важнее то, что он уже мёртв для живой жизни, для счастья и движется отнюдь не по уникальной, а по натоптанной многими до него дорожке. Бескрылая ничтожность...

Но гарантированно лишили его крыл, самой возможности пробуждения ко Христу, к Истине — не покойная Анна, а такие болтуны «за

войну», как Кознышев. Ходячие мирские лукавство и ложь. Возвращаемся к диалогу заклятых друзей, начиная с той же реплики отца Кити, старого князя Александра Дмитриевича:

«— Да кто же объявил войну туркам? Иван Иваныч Рагозов и графиня Лидия Ивановна с мадам Шталь?»

— Никто не объявлял войны, а люди сочувствуют страданиям ближних и желают помочь им, — сказал Сергей Иванович» (*Там же*. С. 387).

Первая огромная, «концептуальная» ложь таких, как Кознышев. Ближние, по христианскому учению — те, с кем свела судьба, на кого могут быть распространены поступки и чувства личные, непосредственные. Тем, кому может понадобиться помощь — не связанная для христианина с нарушением запрета на убийство. Но в возражениях Константина Левина звучит (быть может, актуальная и для «тогдашнего» Льва Толстого) оговорка:

«— Но князь говорит не о помощи, — сказал Левин, заступаясь за тестя, — а об войне. Князь говорит, что частные люди не могут принимать участия в войне без разрешения правительства» (*Там же*).

Среди летающих пчёл в это время обнаруживается на пчельнике оса — дрянь дрянная, вредная и для человека, а для пчёл могущая быть смертельной. Символ *бесплодности* всяких споров с Кознышевым и одновременно *чужести, враждебности* «единоутробного» брата, сидящего рядом с Константином Левиным и готового уже, в отместку за напоминание о провальной его книге, болезненно «укусить» брата:

«— Ну-с, ну-с, какая ваша теория? — сказал с улыбкой Катавасов Левину, очевидно вызывая его на спор. — Почему частные люди не имеют права?»

— Да моя теория та: война, с одной стороны, есть такое животное, жестокое и ужасное дело, что ни один человек, не говорю уже христианин, не может лично взять на свою ответственность начало войны, а может только правительство, которое призвано к этому и приводится к войне неизбежно. С другой стороны, и по науке и по здравому смыслу, в государственных делах, в особенности в деле войны, граждане отрекаются от своей личной воли» (*Там же*).

Удивительный диалог!.. Как и вся книга — наслаждение для поклонников экзистенциалистских кризисов, переходных состояний сознания человека. Левин в этом диалоге ещё, по привычке, «поёт с чу-

жого голоса» -- повторяет взгляды отца Кити, старого князя Щербацкого, противника войны отчасти с либеральных, но более с житейских позиций. При этом, как мы видели, именно *в тот день, накануне разговора* в сознании Левина происходит духовный, религиозный «подъём с переворотом» — хотя и не такой радикальный, как позднее (8-я часть писалась в 1877 г.) в Л. Н. Толстом.

Вышеприведённое суждение Константина Левина — конечно же, не христианина суждение, а, скорее, «гуманного» безбожника, человека мира, начитавшегося модных в его эпоху книжек. Оттого на такие доводы легко, дружно, даже не раздумывая находят возражения и Катавасов, и Кознышев:

«Сергей Иванович и Катавасов с готовыми возражениями заговорили в одно время.

— В том-то и штука, батюшка, что могут быть случаи, когда правительство не исполняет воли граждан, и тогда общество заявляет свою волю, — сказал Катавасов.

Но Сергей Иванович, очевидно, не одобрял этого возражения. Он нахмурился на слова Катавасова и сказал другое» (*Там же*).

Патриотичному пропагандону войны, Кознышеву конечно же, не понравилась такая, откровенно «либеральная» реплика Катавасова, разящая не только «Общественным договором» Руссо и не только оправданием революции... Для означенного в романе момента была весомая причина отвращения Кознышева к реплике легкомысленного Катавасова: любой пропагандон знает, что людей легче обмануть высокопарными словесами, нежели напрямую назвать им страшную цену войны: моральную, общественную, экономическую, политическую, генетическую... Мало кто в путинской России 2022 года поддержал бы «специальную операцию», то есть, гнусную, преступную войну в Украине — знай эта несчастная страна злых дураков, не говоря о другом, хотя бы моральную цену массового активного поддержания в XXI веке *любой* агрессивной, полномасштабной войны. «Воля граждан», кроме мазохистов и самоубийц — *избежать* уплаты такой цены! Смысл правительств — *беречь* граждан от её уплаты. В русско-турецкую войну 1877 – 1878 гг. Россию, государство ждал триумф, барабаны и фанфары которого заглушили тихий ропот тысячей жертв. (А позднее, в «победном» 1945 году, гнусный наследник Империи, коммунистический Союз-СССР, заглушил так же голоса миллионов!).

Так что, воля всякого *здорового* общества — априори *антивоенна*. Да, для этого могут быть, как у протестующих в теперешней, 2023 года, России, так и в годы писания «Анны Карениной», отнюдь не уважительные мотивы, «шкурные»: по преимуществу — трусливый страх, семейный эгоизм, фантазии о значительности в мирной жизни своей личности и иные псевдо-основания для выраженного нежелания попасть на войну; либо же, ещё проще: безрелигиозные, беспочвенные пацифизм и гуманизм. Но и они страшны халтурному правительству — как правило, ещё глупейшему и грубейшему, нежели такие протестующие!

Так что Катавасов, сам того не осознавая, на довольно либеральные выкладки Константина Левина, не одобряющего, кажется, только «низовой» общественной инициативы в подготовке к войне — брякнул вдруг едва ли не самое радикально-антивоенное, что только могло прозвучать в тогдашней России. Константин Левин не прислушался к словам приятеля — именно потому, что *не созрел* для понимания их очевидных смыслов.

Вот же что возразил брату Сергей Иванович Кознышев:

«— Напрасно ты так ставишь вопрос. Тут нет объявления войны, а просто выражение человеческого, христианского чувства. Убивают братьев, единокровных и единоверцев. Ну, положим, даже не братьев, не единоверцев, а просто детей, женщин, стариков; чувство возмущается, и русские люди бегут, чтобы помочь прекратить эти ужасы. Представь себе, что ты бы шёл по улице и увидал бы, что пьяные бьют женщину или ребёнка; я думаю, ты не стал бы спрашивать, объявлена или не объявлена война этому человеку, а ты бы бросился на него защитил бы обижаемого.

— Но не убил бы, — сказал Левин.

— Нет, ты бы убил.

— Я не знаю. Если бы я увидал это, я бы отдался своему чувству непосредственному; но вперёд сказать я не могу. И такого непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть.

— Может быть, для тебя нет. Но для других оно есть, — недовольно хмурясь, сказал Сергей Иванович. — В народе живы предания о православных людях, страдающих под игом «нечестивых агарян». Народ услышал о страданиях своих братьев и заговорил.

— Может быть, — уклончиво сказал Левин, — но я не вижу; я сам народ, я и не чувствую этого» (*Там же*. С. 387 – 388).

Кознышев нахмурился и, видимо, сбился с мысли — ибо “понёс” далее поносом обыкновенных пропагандистских клише. И не случайно сбился: умница Левин сумел дать отпор «аргументу» в пользу войны, рассчитанному на невежество и глупость собеседника — но так часто, и по сей день, «срабатывающего» в пользу распространителей заразы военного патриотизма! Одноутробный братец Левина намеренно смешивает *различные системные состояния* в общественных отношениях. В системе «личность — личность» степень необходимой организации насильственного отпора минимальна: речь о *первичной* защите, иногда витально необходимой. По отношению к таким случаям должно «работать» христианское воспитание, которого нет. С этим не рождаются, но христианин может научить себя *заботиться более о душе нападающего, нежели о жертве*, будь таковой ты сам, другой член твоей стаи, твои самка, детёныши... Это залог, что соединённые Богом тело и душу человек, защищая от греха, от дурного поступка именно насильника, не расторгнет убийством. Между применением силы и деструктивным насилием никогда не стоял знак равенства!

Иное дело — масштабы и объёмы системной организации войны. Даже малая война имеет свой период подготовки, так что, как и заметил верно Левин, о «непосредственных чувствах» в случае войн разговор не ведётся. За таковые обыкновенно выдаются воспроизводимые пропагандой в обитателях государства деструктивные помыслы и эмоции в отношении «врага».

В этом диалоге много от прежнего Толстого — и гуманизм, жаление погибших, и либеральное *народничество*, приобретшее в это время для писателя «окрашенность» симпатий к «народной вере», то есть к православию.

С этих позиций, *крестьянского* народа, чуждого патриотической шумихе и не желающего для себя *никакой* войны (т. к. на любой войне народ — это военные рабы, солдаты) и строит свои возражения Кознышеву Константин Левин. Своё же отношение к войне с точки зрения *только что, в тот день*, открывшейся ему в новом свете этики христианства он *ещё не успел* просто выработать! Кознышев же возражает Левину — с позиций «народа», городского, в 1870-е гг. — малого, и самого развратного, меньшинства. Беда только, что опыт Константина Левина, хотя и живущего к этому моменту «среди народа» (однако, стоит подчеркнуть: барином в

усадьбе!), назади, в прожитом его — тот же, преимущественно, городской и барский разврат. От имени народа ему высказываться сложно, религиозного же, христианского фундамента для более подготовленного антивоенного дискурса — ещё не выработано ни персонажем, ни автором романа!

И Кознышев, чуя “донце” в аргументации собеседника, продолжает всё наглее нести своё:

«— Личные мнения тут ничего не значат, — сказал Сергей Иваныч, — нет дела до личных мнений, когда вся Россия — народ выразил свою волю.

— Да извините меня. Я этого не вижу. Народ и знать не знает, — сказал князь <Щербацкий>.

[...] — Народ не может не знать: сознание своих судеб всегда есть в народе, и в такие минуты, как нынешние, оно выясняется ему, — утвердительно сказал Сергей Иванович, взглядывая на старика-пчельника.

Красивый старик с чёрной с проседью бородой и густыми серебряными волосами неподвижно стоял, держа чашку с мёдом, ласково и спокойно с высоты своего роста глядя на господ, очевидно ничего не понимая и не желая понимать. [...]

— ...Мы видели и видим сотни и сотни людей, которые бросают всё, чтобы послужить правому делу, приходят со всех сторон России и прямо и ясно выражают свою мысль и цель. Они приносят свои гроши или сами идут и прямо говорят зачем.

[...] Это чувствуется в воздухе, это чувствуется сердцем. Не говорю уже о тех подводных течениях, которые двинулись в стоячем море народа и которые ясны для всякого непредубеждённого человека; взгляни на общество в тесном смысле. Все разнообразнейшие партии мира интеллигенции, столь враждебные прежде, все слились в одно. Всякая рознь кончилась, все общественные органы говорят одно и одно, все почуяли стихийную силу, которая захватила их и несёт в одном направлении» *(Там же. С. 388 – 390).*

Вот именно, что «несёт»... Толстой — мастер иронии, и здесь он «на высоте». «Мир интеллигенции», «люди мысли» и газетного слова «выражают общественное мнение», и «заслуга прессы», в частности, в том, вещает Кознышев, что «русский народ», в лице такой же городской сволочи, как сами Кознышев и Катавасов, «готов встать, как один человек, и готов жертвовать собой для угнетённых братьев» *(Там же. С. 391).*

Князь Щербацкий, которому не отказать было в остроумии, сравнил военно-патриотическое «единодушие», управляемое пропагандонами и прессой, с кваканьем лягушек перед грозой: «Из-за них и не слышать ничего» (*Там же. С. 390*). То есть: “заквакивают” всякую более разумную, сдержанную позицию. И, очень кстати, вспоминает Александр Дмитриевич то, с чем, по внутренней мотивации деятельности, можно сравнить такое предвоенное единомыслие в среде журналюжьи и интеллигентской городской нечисти и дряни:

«Вот у меня зятёк, Степан Аркадьич, вы его знаете. Он теперь получает место члена от комитета комиссии и ещё что-то, я не помню. Только делать там нечего — что ж, Долли, это не секрет! — а 8000 жалованья. Попробуйте, спросите у него, полезна ли его служба, — он вам докажет, что самая нужная. И он правдивый человек, но нельзя же не верить в пользу восьми тысяч. [...] Так-то и единомыслие газет. Мне это растолковали: как только война, то им вдвое дохода. Как же им не считать, что судьбы народа и славян... и всё это?» (*Там же*).

Эрудированный читатель тут же вспомнит, где у «позднего», христианского Толстого мы найдём схожие суждения: в статье 1894 г. «Христианство и патриотизм», описывая *психопатическую эпидемию* патриотизма в связи с франко-русским военным союзом и апрельскими торжествами в Санкт-Петербурге и Тулоне, Толстой выражает уверенность, что этот мирный, якобы, союз — предвестие новой и страшной войны, при которой, по обыкновению:

«Засуетятся, разжигающие людей под видом патриотизма к ненависти и убийству, газетчики, радуясь тому, что получают двойной доход. Засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики военных припасов, ожидая двойных барышей. Засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше, чем они крадут обыкновенно. Засуетятся военные начальства, получающие двойное жалованье и рационы и надеющиеся получить за убийство людей различные высокоценимые ими побрякушки — ленты, кресты, галуны, звёзды...» и т. д. (39, 47).

Более того, хохма старого князя о Стиве Облонском, которому «нельзя не верить в пользу восьми тысяч», быть может, приведёт на память читателю ещё более позднее публицистическое сочинение Толстого, «О государстве», датированное аж 26 февраля 1909 г. Сравним:

«В первый раз ясно понял, что такое государство. А как, кажется, просто и легко было бы понять это.

Не боясь быть смешным, признаюсь о том поводе, который раскрыл мне всё дело. Я возвращался нынче утром с прогулки, меня догнал едущий на санях живущий у нас стражник. Я устал, присел к нему, и мы разговорились. Я спросил, зачем он служит в своей гадкой должности. Он очень просто сказал мне, что чувствует и знает, что должность скверная, да где же он получит те 35 рублей в месяц: которые он получает.

И вдруг мне все стало ясно. Ведь всё в этом. Всё это великое устройство государства основано только на том, что стражник получает 35 рублей, тогда как не будь он стражником, цена ему 8.

[...] Люди вооружённые, грубые, жестокие, грабят трудолюбивых, безобидных оседлых людей. Иногда грабят набегами — ограбят и уйдут, — иногда поселяются среди трудящихся и устраивают постоянный грабёж, т.е. отнимают часть их труда и пользуются им, ограждая себя оружием. Для более широкого распространения своего грабежа и упрочения его они угрозами, а главное подкупом, а то и тем и другим вместе, из ограбляемых подбирают себе помощников в ограблении.

На этом, только на одном этом основано все государственное устройство, различные отечества, включающие в себя народы одной или разных пород; на этом основаны всевозможные государственные учреждения: разные сенаты, советы, парламенты, императоры, короли.

[...] Ведь всё, что делается в этом признаваемом столь возвышенным и торжественном учреждении, называемом государством, всё это делается только во имя тех мотивов, во имя которых служит стражник, и ведь все эти цари, министры, архиереи, генералы делают то же самое, что делает стражник. Разница только в том и в пользу стражника та, что стражник, лишившись своей должности, всё-таки заработает хотя бы 8 рублей в месяц, цари же, митрополиты, сенаторы, выйдя из своих должностей, не сумеют заработать даже на хлеб. Другая разница и огромная и тоже в пользу стражника та, что он, бедняга, наивно говорил мне, что знает, что, служа в этой должности, поступает дурно, но что же делать... Министры же и разные генералы, митрополиты, поступая дурно, только и делая, что дурное, стараются уверить себя, что они поступают не только не дурно, но совершают великие дела» (38, 291 – 292).

Сравнив, воротимся теперь к ответам Кознышеву Левина и князя. Князь явно выразил позицию автора романа, дополнив своё сравнение патриотичных агитаторов с паразитами и лягушками:

«— Я только бы одно условие поставил, — продолжал князь. — Alphonse Karr прекрасно это писал перед войной с Пруссией. «Вы считаете, что война необходима? Прекрасно. Кто проповедует войну, — в особый, передовой легион и на штурм, в атаку, впереди всех!»

— Хороши будут редакторы, — громко засмеявшись, сказал Катавасов, представив себе знакомых ему редакторов в этом избранном легионе.

— Да что ж, они убегут, — сказала Долли, — только помешают.

— А коли побегут, так сзади картечью или казаков с плетью поставить, — сказал князь» (19, 391).

Константин Левин сделал ошибку, решив встать на свои, ещё неокрепшие, духовные крылья, перевести разговор в русло животрепещущих, актуальных для него, но ещё не обдуманых прозрений:

«— Но ведь не жертвовать только, а убивать турок, — робко сказал Левин. — Народ жертвует и готов жертвовать для своей души, а не для убийства, — прибавил он, невольно связывая разговор с теми мыслями, которые так его занимали.

— Как для души? Это, понимаете, для естественника затруднительное выражение. Что же это такое душа? — улыбаясь сказал Катавасов.

— Ах, вы знаете!

— Вот, ей Богу, ни малейшего понятия не имею! — с громким смехом сказал Катавасов.

— «Я не мир, а меч принес», говорит Христос, — с своей стороны возразил Сергей Иваныч, просто, как будто самую понятную вещь приводя то самое место из Евангелия, которое всегда более всего смущало Левина.

[...] — Нет, батюшка, разбиты, разбиты, совсем разбиты! — весело прокричал Катавасов.

Левин покраснел от досады, не на то, что он был разбит, а на то, что он не удержался и стал спорить.

«Нет, мне нельзя спорить с ними, — подумал он, — на них непроницаемая броня, а я голый».

Он видел, что брата и Катавасова убедить нельзя, и ещё менее видел возможности самому согласиться с ними. То, что они проповедали, была та самая гордость ума, которая чуть не погубила его» (*Там же. С. 391 – 392*).

Буквально через несколько лет у Льва Николаевича, чьими устами говорит в этих главах романа Константин Левин, исследовавшего евангелия и даже составившего «соединение и перевод» канонических евангелий, *будет* ответ и о мече, и о жизни, которую, якобы на войне, требуется христианину отдать за други своя... Но это уже совсем другая история.

* * * * *

Вообще у этих настроений, выразившихся в романе — немалая и значительная для нашей темы предыстория, а равно и послестория — во внешней биографии Толстого. Значительна она тем, что ко времени, последовавшем сразу за окончанием (в основном) работы над романом, именно весной 1877 г., относится и первая, неудачная как «первый блин», попытка Льва Николаевича выразить свои лишь формирующиеся новые общественно-значимые воззрения в *публицистическом* сочинении.

Толстой не был аполитичным никогда. Избрав в «Войне и мире» «тёмное царство» военщины в качестве одной из главных мишеней обличения, писатель отнюдь не ошибся в социальной значимости обличаемого зла. Начавшаяся в 1870 году франко-прусская война не только глубоко вскрыла роль и место милитаризма в политико-экономической жизни Европы, но и одновременно чрезвычайно усилила позиции милитаристов.

Для многих современников Толстого Франко-прусская война явилась неожиданностью. Однако для тех людей, которые стояли во главе сил, готовивших войну и вызвавших её, военное столкновение между державами-соседями было вполне запрограммированным актом. Один из главных вдохновителей и организаторов этого конфликта, выдающийся германский политик, дипломат, общественный деятель, первый и величайший рейхсканцлер Германской империи, замечательный Отто фон Бисмарк (*нем. Otto Eduard Leopold Fürst von Bismarck-Schönhausen, Herzog zu Lauenburg; 1815 – 1898*)

писал позднее в своих воспоминаниях: «Войну, если бы она казалась нам вообще желательной и приемлемой, можно было бы вызвать в любой момент» (*Бисмарк, Отто фон. Мысли и воспоминания: В 3-х тт. М., 1940. С. 54*). Эти слова не были лишь хвастливой бравадой бывшего бранденбургского юнкера, ставшего с 1862 года у кормила государственной власти Германии и имевшего привычку откровенно высказывать то, что тщательно умалчивалось другими политиками и дипломатами. С полным правом Бисмарк мог заявить на сломе своей политической карьеры, в 1877 году (как раз тогда, когда в России расцвело панславистское движение, имевшее выраженную антигерманскую направленность), что на его совести лежат три войны (с Данией в 1864 году, с Австрией в 1866 году и с Францией в 1870 – 1871 годах), и десятки тысяч жизней, скрепивших своею кровью фундамент воссоединённой Германской империи. Сделал он, правда, это с редким для его склада характера покаянием:

«Известна сцена, разыгравшаяся в 1877 году в имении Бисмарка Варцине, куда он заехал провести несколько дней после лечения в Гаштейне. Туда же съехались его друзья и приверженцы, которым он любил повествовать о событиях, в которых ему довелось принимать участие. И вот, однажды утром эти друзья собрались в зале вокруг камина, на котором на золотом поле был изображён герб новой, созданной Бисмарком империи, и, по обыкновению, ожидали хозяина. Он явился хмурый, унылый и, видя общее недоумение, плаксиво сказал:

— Сегодня у меня тяжело на душе. За всю свою долгую жизнь я никого не сделал счастливым, напротив, я причинил людям много зла. Я явился виновником трёх больших войн. Из-за меня погибли более восьмидесяти тысяч человек, которых и теперь ещё продолжают оплакивать их матери, сёстры, вдовы. Всё это никогда не доставляло мне радости, и сегодня моя душа смущена и огорчена» (*Последние дни Бисмарка // Исторический вестник. – 1916. – № 2 [Т. 143]. – С. 597*).

Великое дитя Пруссии, человек мира, так же, как и великий Наполеон, вознёсшийся от простого солдата до вершин земной власти, Бисмарк против наглого и самоуверенного коронованного противника с Сены действовал ещё более нагло и дерзко, и сумел не только с помощью фальсификации известной эмской депеши спровоцировать Наполеона III на объявление 19 июля 1870 г. войны Пруссии, но и выставить в глазах европейской общественности германскую

сторону в качестве жертвы агрессивных устремлений наполеоновской Франции.

Ещё большей неожиданностью, нежели сама война, для большинства современников (кроме блистательного Бисмарка и приближённой к нему военной верхушки) явились быстрый, по сути дела, молниеносный разгром и капитуляция всей французской армии во главе с самим её главнокомандующим. После того как были разгромлены военные силы Франции, в январе 1871 года в Версальском дворце, в парадном зале Людовика XIV, по настоянию Бисмарка на глазах у поверженного противника король Пруссии был триумфально провозглашён германским императором. Месяц спустя был подписан прелиминарный мирный договор, предусматривавший аннексию Германией французских провинций — Эльзаса и Лотарингии, уплату ей контрибуции в размере 5 миллиардов марок, а также оккупацию немецкими войсками некоторых французских департаментов.

Толстой с пристальным вниманием следил за франко-прусской войной. Сохранившиеся среди дневниковых записей, в воспоминаниях современников, в художественных произведениях его отзывы об этой войне свидетельствуют о том, что писатель глубоко интересовался как ходом войны, так и её последствиями, в частности Парижской коммуной, её характером и целями. О чём, между прочим, свидетельствует спор между Константином Левиным и Катавасовым в эпилоге «Анны Карениной»):

«Ему <Левину. – Р. А.> хотелось ещё сказать, что если общественное мнение есть непогрешимый судья, то почему революция, коммуна не так же законны, как и движение в пользу славян?» (19, 392).

Интересовался писатель также историческими личностями, явившимися, согласно своеобразной толстовской терминологии, «ярлыками», «наименованиями» самого события — войны: Наполеоном III, германскими императорами Вильгельмом I, Вильгельмом II и особенно Бисмарком.

С самого начала войны симпатии Толстого были на стороне французского народа. Как свидетельствует сын писателя Илья Львович, Толстой «был на стороне французов и верил, что они победят» (Толстой И.Л. *Мои воспоминания*. М., 1969. С. 36). Другой сын писателя, Сергей Львович, вспоминал в своих «Очерках былого»: «Помню, как

в 1871 году мы рассматривали иллюстрации, изображавшие расстрел французов немцами, и как отец и все мы сочувствовали французам» (*Толстой С.Л. Очерки былого. Тула, 1968. С. 25*).

Где-то в эти дни, запомнившиеся старшим сыновьям Толстого, состоялся и спор его с давним приятелем, орловским помещиком и убеждённым сторонником Бисмарка и пруссаков, Иваном Петровичем Борисовым (1832 – 1871), родственником (мужем сестры) друга семьи Толстых, великого поэта Аф. Аф. Фета и прообразом капитана Тушина в «Войне и мире». Ему полушутливо писал Тургенев в письме от 12 (24) августа 1870 года:

«Вы могли бы уже теперь истребовать с Л. Н. Толстого выигранную Вами бутылку, любезнейший Иван Петрович, - ибо последние удары, нанесенные пруссаками, в сущности, кажется, уже решили дело... Я очень хорошо понимаю, почему Толстой держит сторону французов, — французская фраза ему противна — но он ещё больше ненавидит рассудительность, систему, науку, одним словом — немцев» (*Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 30-ти т. Письма. Т. 18. М. – Л., 1964. С. 270*).

Примечательно, что “прусский милитарист” в 1870 году Борисов, почти десятилетием ранее, в 1861 году, оказал себя настоящим “пацифистом”, в исконном значении этого слова: он отказался передать ошибочно попавшее к нему письмо И. С. Тургенева с вызовом Толстого на дуэль и помог формальному примирению нелепо поссорившихся писателей.

Иван Сергеевич, продолжавший в эти годы быть в ссоре с Толстым, конечно же, отчасти лукавил: не от одной ненависти к немцам Толстой желал победы прогрессивной Франции, детищу великой Революции и великого Наполеона!

Оккупационный режим, установленный немцами на занятой территории, был действительно жестоким. В черновом отрывке из «Анны Карениной» Толстой устами своего героя Николая Левина, брата Константина, насмешливо отозвался о контрибуции, которую правительство Франции оказалось обязанным выплатить победителям, как о всегдашнем «законе», который «руководит всем миром и всеми людьми, пока будут люди»: «Ограбить одного нельзя, а целый народ, как немцы французов, можно» (20, 171). Ещё более противны были писателю шовинистические самодовольство и самовозвеличение немцев: «Все они довольны, — иронически говорит старый князь Щербацкий в «Анне Карениной», наблюдая послевоенную Германию,

— как медные гроши; всех победили» (18, 246). «Немцы победили так же, как потеряли от войны, — говорил Толстой позднее, в 1886 году, — они стали самодовольны, нахальны. Впечатление от войны в России: все преклонялись перед немцами, немецкой литературой, наукой, философией, — после войны это как рукой сняло, разом как отрезало» (*Из бесед Толстого с Полем Деруледом // Литературное наследство. Т. 75. Кн. 1. С. 538*).

Толстой не только сочувствовал французам, но и верил в их победу — именно как автор эпопеи об изгнании из России французской армии. Нечто подобное встретили немецкие оккупанты на завоёванной французской земле в 1870 году после того, как ими были разбиты основные силы регулярной армии противника. Известно, что после краха наполеоновского режима во Франции пришло к власти правительство Тьера. Бисмарк и немецкий генералитет, вступив в переговоры с Тьером, неожиданно увидели перед собой нового противника. Ими были сперва франтиреры, французские партизаны, которых в Париже поддержали коммунары 1871 года. Заключённый 10 мая 1871 года во Франкфурте-на-Майне между правительствами Германии и Франции мирный договор — позорный, грешный пакт на крови коммунаров — конечно же, не принёс и не мог принести «спокойствия и тишины» Европе.

Толстой запомнил подробности раскрутки в эти годы в Европе военно-милитаристского маховика, и именно события 1870 – 1871 гг. имел в виду, когда позднее, в начале 1880-х, в трактате «В чём моя вера?» осуждал происходящее от безверия желание народов «обеспечить» себя гонкой вооружений: «...Мало того, что мы обманываем себя и губим свою настоящую жизнь для воображаемой, мы в этом стремлении к обеспечению чаще всего губим то самое, что мы хотим обеспечить. Французы вооружаются, чтобы обеспечить свою жизнь в 70-м году, и от этого обеспечения гибнут сотни тысяч французов; то же делают все вооружающиеся народы. [...] Учение Христа о том, что жизнь нельзя обеспечить, а надо всегда, всякую минуту быть готовым умереть, несомненно лучше, чем учение мира о том, что надо обеспечить свою жизнь...» (23, 426).

Франко-прусская война ускорила реорганизацию и техническое перевооружение, которые начали производиться в армиях большинства европейских государств, в том числе и России, ещё со времени Крымской кампании. К середине 70-х годов коренные военные преобразования в ряде государств были в основном завершены. В 1872

году, по примеру Германии, всеобщая воинская повинность была введена во Франции. 1 января 1874 года был издан Устав о воинской повинности в России, создававший условия для превращения русских вооружённых сил в массовую армию буржуазного типа.

Толстой не остался безучастным к готовившейся и обсуждавшейся в печати реорганизации русской армии. Весной 1871 года в письме к бывшему севастопольскому сослуживцу Сергею Семёновичу Урусову (1827 – 1897) писатель сообщал, что он написал целую статью о военной реформе. «Вопрос военной реформы, — писал Толстой, — суть которого есть вопрос о том, каким образом с наименьшими расходами иметь наисильнейшее войско, разрешается просто и совершенно противоположно Прусскому решению... надо только ничего не делать, не уничтожать тип старого русского солдата, давшего столько славы русскому войску, и не пробовать нового, неизвестного» (61, 254).

Толстой полагает, что незачем всё мужское население обязывать идти в солдаты, ибо простое увеличение количества войска не может означать прямо пропорционального увеличения его боеспособности. В своей статье, которую писатель называет *отчасти математической* (как и С. С. Урусов, Толстой имел способности и любовь к математике), он высказывает предположение, что сила войска «не увеличивается и не уменьшается просто по времени, которое люди проводят в военном упражнении, а увеличивается и уменьшается в какой-то прогрессии» (61, 253).

Судя по содержанию письма, Толстого не удовлетворили ни собственные предположения, ни сама готовящаяся реформа. Он пишет, что статью разорвал и что ему совестно стало заниматься такими глупостями. Однако уничтожение статьи не устранило в Толстом интереса к проблеме воинской повинности. В последующие годы к этому вопросу он будет возвращаться неоднократно. Можно сделать вывод, что война в 1870-е годы интересует Толстого уже не только как художника, но и как мыслителя и публициста.

Итак, доминирующая в романе «мысль семейная» отнюдь не устранила «мысль военную». Более того, в общей идейно-художественной структуре произведения изображению военного быта, образам представителей военной среды, а в последней части и показу самой войны, хотя и не прямому, а опосредствованному, отводится роль,

без уяснения которой вряд ли возможно проникнуть в истоки авторского замысла и разобраться в сложнейшей социальной и психологической проблематике романа.

В работе над «Анной Карениной» был продолжен художнический процесс, начатый еще на Кавказе и в Севастополе, по созданию типов военных людей.

Индивидуальные характеристики офицеров в романе несут в себе изрядную долю сатирического заряда. Вот как пишет Толстой об одном из «приятелей и любимых товарищей» Вронского — Петрицком: «Петрицкий был молодой поручик, не особенно знатный и не только не богатый, но кругом в долгах, к вечеру всегда пьяный и часто за разные, и смешные и грязные, истории попадавший на гауптвахту, но любимый и товарищами и начальством» (18, 119).

В романе показан выразительный внутренний и внешний портрет другого сослуживца Вронского, ротмистра Яшвина: «Игрок, кутила и не только человек без всяких правил, но с безнравственными правилами, — Яшвин был в полку лучший приятель Вронского. Вронский любил его и за его необычайную физическую силу, которую он большею частью выказывал тем, что мог пить, как бочка, не спать и быть всё таким же, и за большую нравственную силу, которую он выказывал в отношениях к начальникам и товарищам, вызывая к себе страх и уважение, и в игре, которую он вёл на десятки тысяч... Вронский уважал и любил его в особенности за то, что чувствовал, что Яшвин любит его не за его имя и богатство, а за него самого» (18, 186).

Рисуя образ Вронского, Толстой как бы сохраняет позицию внешней бесстрастности, холодности описаний. Однако за кажущейся бесстрастностью и холодностью описаний спрятана гневная и беспощадная авторская ирония, увеличивающая разоблачительную силу толстовского реализма. К примеру, можно ли быть, по Толстому, флигель-адъютантом и одновременно добрым малым? В поисках ответа на этот вопрос нельзя не учитывать весь предшествующий личный военный и сопряжённый с ним художественный опыт писателя. В одной из черновых редакций рассказа «Набег» носители адъютантских должностей названы «шелыганами». Эта диалектологическая дефиниция, независимо от точной семантики, несёт безусловно негативную коннотацию «шельмования». «Но можно ли верить этому, — иронически спрашивает автор, — когда... эти-то шелыганы и получают лучшие награды?» (3, 219). В «Войне и мире» Борис

Друбецкой, мечтая добраться до высших ступенек военной иерархии, утверждает: «...уже раз пойдя по карьере военной службы, надо стараться сделать, коль возможно, блестящую карьеру... Желал бы и очень попасть в адъютанты». На это Николай Ростов прямодушно бросает ему в ответ: «Лакейская должность!» (9, 294). В одном из частных писем (В. В. Арсеньевой от 23 августа 1856 г.) Толстой заметил: «Насчёт флигель-адъютантов — их человек 40, кажется, а я знаю положительно, что только два не негодяи и дураки» (60, 82).

Знакомство с Вронским, представленном в доме Щербацких, оставляет в читателе впечатление о нём вроде того, какое оставляют завсегдатаи великосветских салонов в «Войне и мире» — Курагины, Берги, Друбецкие. Не лучшее впечатление вызывает в читателе он и в ряде других эпизодов романа. Его начинания после ухода в отставку в сфере общественной, хозяйственной деятельности, в живописи и т. д. оборачиваются плоским дилетантством, а в сцене со скачками обнаруживается, что Вронский, как и Александр I в «Войне и мире» — «плохой ездок». Несомненно, тема «деградации» в военном сословии, заданная ещё в «Рубке леса», «Двух гусарах», «Разжалованном», продолжена Толстым и в «Анне Карениной». Ниже читатель увидит, что она была, уже вполне со страстью давнего публициста и верующего христианина, раскрыта Л. Н. Толстым и в другом «невоенном» романе — «Воскресение».

Любопытно, что большим поклонником Вронского как великолепного художественного образа военного был среди критиков Толстого Константин Николаевич Леонтьев (1831 – 1891) — как и сам Толстой, участник Крымской войны, но в должности военного врача. В годы сербско-турецкой войны он, между прочим, выступил против добровольческого движения в пользу неверных в вере (православии) болгар со своих оригинальных консервативных позиций — как против вредного имперским интересам и просто ненужного ортодоксальной России «болгаробесия». С этих же позиций: нецелесообразности помощи неверным по вере, поклонникам секулярности и *прогресса*, К. Н. Леонтьев, между прочим, осудил бы и современных нам, путинских «освободителей» Украины от мифического «нацизма». Не стоят помощи в глазах православного консерватора те, кто убивает сам себя в главном: в отношениях с Богом и Церковью! Но именно по отношению к Толстому Леонтьев, как консервативный публицист 1870 – начала 1890-х гг., печально знаменит концепцией «нового», или «розового христианства», в котором, в особой

брошюре 1882 года «Наши новые христиане», «изобличил» уже безответного Фёдора Михайловича Достоевского (в связи с его Пушкинской речью), и в меньшей степени — Льва Толстого в связи с рассказом «Чем люди живы» (1881), не только сюжет, но и этика которого основаны были на записанном Толстым изустном народном предании — чего Леонтьев, разумеется, не знал. «Истинное» христианство, с точки зрения убеждённого консерватора, это «религия страха» и преклонения: не только перед Богом, но и (для простого народа) перед священниками, иконами, и перед любыми представителями мирской силы и власти, от чиновника до богача. Христианство же *любви*, постулированное двумя великими писателями — измышленное ими и ложное, так же названное Леонтьевым так же «односторонним», «сентиментальным» и «розовым»:

«Этот оттенок Христианства очень многим знаком; эта своего рода как бы “ересь”, не формулированная, не совокупившаяся в организованную еретическую общину, весьма, однако, распространена у нас теперь в образованном классе.

Об одном *умалчивать*, другое *игнорировать*, третье *отвергать* совершенно; иного *стыдиться* и признавать святым и божественным только то, что наиболее приближается к чуждым Православию понятиям европейского *утилитарного прогресса* — вот черты того Христианства, которому служат теперь, нередко и бессознательно, многие русские люди и которого, к сожалению, провозвестником в числе других явился на склоне лет своих и генитальный автор «Войны и Мира»!..» (Леонтьев К.Н. *Наши новые христиане*. Ф. М. Достоевский и граф Лев Толстой // Полное собрание сочинений: В 12 тт. Т. 9. СПб., 2014. С. 166; ср. 378 – 379).

Здесь, к сожалению, не место подробному анализу ошибок и натяжек этой концепции. Для нас важно замечание Константина Николаевича в Предисловии к отдельному изданию «Новых христиан»:

«Нечто подобное проповедывал и Левин в последней части «Анны Карениной»... Но мы не имеем права решительно отождествлять Левина с самим графом Толстым. Все мнения героя романа, хотя бы и с некоторою любовью изображённого, мы не имеем основания приписывать автору этого романа. Однако, если обратить внимание на то, что в «Войне и мире» и других прежних произведениях гр. Толстого эта черта была гораздо менее заметна, чем в рассуждениях Левина и стала совершенно ясна уже по одному выбору эпиграфов в том последнем рассказе его, который я разбираю, то я думаю, мы

имеем повод заняться им, так сказать, — специально...» (*Там же. С. 377*).

Итак, Толстой был “на подозрении” у Леонтьева ещё со времени знакомства его с последней частью «Анны Карениной». Подозрение “подтвердилось”, и в очерке 1888 года «Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой» Леонтьев уже решительно заявляет себя противником «розовой ереси» Толстого, оказавшейся в 1880-х вовсе не такой уж “беззубой”, безобидной, а сумевшей увести тысячи людей от церковного обрядоверия и идолопоклонства к живой вере Христа — к «безбожию», с точки зрения православного публициста:

«...Я различаю прежнего, *настоящего* Льва Толстого, творца "Войны" и "Анны" от его же теперешней тени... Тот Лев — живой и могучий; а этот, этот — что такое?.. Чтó он — искусный притворщик или человек искренний, но впавший в какое-то своего рода умственное детство?.. Трудно решить...

[...] ...Какая же это *любовь* — отнимать у людей шатких *ту веру, которая облегчала им жестокие скорби земного бытия?* Отнимать эту отраду из-за чего? Из-за пресыщенного славой и всё-таки ненасытного тщеславия своего?

Что-нибудь одно из двух: если *новый* Толстой не понимает такой простой вещи, что колебать веру в Бога и Церковь у людей неопытных, или слабых, или поверхностно воспитанных есть не любовь, а жестокость и преступление, то как ни даровит был Толстой прежний — этот *новый* Толстой и в *этом частном вопросе* просто выжил из своего ума! Или же если он и тут не совсем опутался в мыслях, а *придумал* только, чем бы ещё неожиданным на склоне лет прославиться, то как это назвать — я спрашиваю? Назвать легко: но боюсь, что название будет слишком нецензурно — и умолкаю» (*Леонтьев К.Н. Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой // Леонтьев К.Н. Указ. изд. Т. 8. Кн. 1. СПб., 2007. С. 305*).

Эта эмоциональная критика Толстого-христианина некоторым из наших читателей, с цепкой памятью, напомним очень схожую — в дневниках жены писателя, Софьи Андреевны Толстой. Всё то же на месте: и поползновения на резкость слов, и “уличения” проповедника любви в нелюбви к тем, у кого “отнимает”: прежнюю веру, а так же и (по версии Софьи Толстой) прежний образ жизни (у семьи: её и детей), с богатством и барскими развлечениями. Сближение не случайно, как не случайна и проповедь Леонтьевым «религии страха»

в «Новых христианах»: юного Костю Леонтьева религиозно, православно воспитала в родном поместье мать, женщина *очень* крутого нрава, вызывавшая страх у всего семейства, у крепостных и даже у соседей-помещиков. Отсюда тот *взгляд норовистой женщины*, рабы, но и верной слуги мира, который чувствуется в отношении К. Н. Леонтьева к христианской проповеди яснополянца.

Кому сытая и веселящаяся семья, а кому ближе — военщина. Константин Николаевич с первой страницы своего очерка о Вронском с чувством глубокого удовлетворения, смачно накидывает камушки в толстовский «огород», противопоставив знаменитой к 1888 году «Исповеди» Толстого свою исповедь раскаявшегося и уверовавшего с возрастом «безбожника»:

«Было время, когда я не любил военных. Я был тогда очень молод; но, к счастью, это длилось недолго! ...

[...] Романтику нравилась *война*; нигилисту претили *военные*.

Я сам удивляюсь, как могли совмещаться тогда в неопытной душе моей самые несовместимые вкусы и мнения! Удивляюсь себе; но зато понимаю иногда очень хорошо и нынешних запутанных и сбитых с толку молодых людей.

И одних ли молодых только?.. Разве у нас мало и старых глупцов? <Намёк на “нового” Льва Толстого. – Р. А.>

[...] Я, сам того не сознавая, любил и в гражданских смутах их военную, боевую сторону, а никак не штатскую цель их... Воинственные средства демократических движений нравились моему сильному воображению и заставляли меня довольно долго забывать о прозаических плодах этих опасных движений. Я оказывался в глубине души моей гораздо более военным по духу, чем мог того ожидать в то время, когда настоящих военных не любил» (*Там же. С. 297 – 298*).

Если у старшего по возрасту Толстого кризис возраста пришёлся на предреформенные годы, примерно с 1857-го, то Константин Николаевич свой консервативный «надлом» связывает со «смутной эпохой польского восстания», то есть 1863 – 1864 годами. «Мятеж» стремящихся к свободе от «русского мира», к единству своего государства поляков стойко заразил известные головы самым неизлечимым патриотизмом:

«Я стал любить монархию, полюбил войска и военных, стал и жалеть и ценить дворянство, стал восхищаться статьями Каткова и Муравьёвым-Виленским...

Государство, монархию, "воинов" я понял раньше и оценил скорее; Церковь, православие, "жрецов" — так сказать - я постиг и полюбил позднее; но всё-таки постиг...

С той поры я думаю, я верю, что благо тому государству, где преобладают эти "жрецы и воины" (епископы, духовные старцы и генералы меча), и горе тому обществу, в котором первенствует "софист и ритор" (профессор и адвокат)...

С той поры я готов чтить и любить так называемую "науку" только тогда, когда она свободно и охотно служит не сама себе только и не демократии, а религии, как служит самоотверженная и честная служанка царице...» *(Там же. С. 299 – 300).*

Совершенно не ведая, насколько в своём отношении к учёным и науке, к военным даже его воззрения были близки Льву Николаевичу, но предрассудочно враждебно настроившись к «еретику», Леонтьев таким «христианским», на деле всеискажающим, оком взглянул и на Толстого, и на персонажа его:

«Больше всех от гоголевского одностороннего принижения жизни освободился, я говорю все-таки, он же - Лев Толстой - и дорос сперва до военных героев 12-го года, а потом и просто-напросто до современного нам флигель-адъютанта - Алексея Кирилловича Вронского. ...Нам Вронский гораздо нужнее и дороже самого Льва Толстого.

Без этих Толстых (то есть без великих писателей) можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживём и полувека. Без них и писателей национальных не станет; ибо не будет и самобытной нации» *(Там же. С. 306 – 307).*

Напрашивается возражение: если от "самобытной" личности потребен обществу духовный, творческий либо, хотя бы, повседневный утилитарный плод, то чем, как не гением и словом его миру оправдает себя «нация»? Если для личности важно, не сколько прожито, а как — не то ли и для общностей, не исключая «национальных»? Длительная жизнь некоторых совершенно не оправдала нескольких лет боевой и (или) творчески активной юности.

Впрочем, и это уже — не в тему нашего исследования. Остановимся на сказанном.

В году 1876-м Лев Николаевич внимательно следил за агитацией консервативных и славянофильских газет в пользу добровольче-

ского движения на помощь восставшим сербам, имевшей целью вовлечь Россию в войну с Турцией, и не упустил момента, когда в воздухе ощутимо запахло войною.

Как известно, русско-турецкой войне 1877 – 1878 годов предшествовало национально-освободительное движение, вспыхнувшее весной 1875 года в Герцеговине и Боснии, перекинувшееся затем в Болгарию и поддержанное Сербией, Черногорией, Румынией.

Толстого интересует уже начальный этап этого движения — герцеговинское восстание. В июне 1876 года, узнав от Аф. Аф. Фета о том, что брат поэта Пётр Афанасьевич возвратился из Герцеговины, куда он в середине лета 1875 года отправился в качестве добровольца, Толстой пишет Фету: «Желал бы послушать его рассказы о Герцеговине, в существование которой я не верю» (62, 280).

12 ноября 1876 года Толстой писал Страхову: «Был я на днях в Москве только затем, чтобы узнать новости о войне. Всё это очень волнует меня. Теперь вся ерунда сербского движения, ставшая историей, прошедшим, получила значение. Та сила, которая производит войну, выразилась преждевременно и указала направление» (62, 291). Одновременно пишется письмо Фету, в котором Толстой очень непатриотично даёт волю своей иронии:

«Хорошо тем, которым всё это ясно; но мне страшно становится, когда я начинаю вдумываться во всю сложность тех условий, при которых совершается история, как дама, какая-нибудь Аксакова с своим мизерным тщеславием и фальшивым сочувствием к чему-то неопределённому, оказывается нужным винтиком во всей машине» (62, 288). Это вполне актуально для наших 2022 – 2023 гг., когда мелкобюджетная сволочь и дрянь — школьная, музейная, библиотечная и т. д. – бездарная и ничтожная сама по себе, лично, но генетически рабья и воспитанная «русским миром», услужливая «кормильцу» государству, «нашла себя» в военно-патриотических инициативах, доносах на инакомыслящих коллег и прочем подобном — в фашиствующей, палачествующей, уничтожающей соседнее государство путинской России.

В целом отношение писателя-Толстого к самой войне и в особенности к тем, кого он считал её виновниками, было резко отрицательным. В эпилоге «Анны Карениной» это проявилось вполне.

Как раз во время подготовки к печати заключительной части «Анны Карениной», 12 апреля 1877 года был подписан манифест о

войне с Турцией. В манифесте было сказано, что царь Александр II будто бы всегда принимал «живое участие в судьбе угнетённого христианского населения Турции», а теперь, по его мнению, якобы и весь русский народ выражает «готовность свою на новые жертвы для облегчения участи христиан Балканского полуострова». «Ввиду печальных событий, совершившихся в Герцеговине, Боснии и Болгарии», халтурное русское правительство пыталось «достигнуть улучшения в положении восточных христиан путём мирных переговоров», но успеха, конечно же, не имело, и теперь войскам отдан приказ вступить в пределы Турции.

Действительными мотивами войны с Турцией было стремление правительства Александра II восстановить своё политическое влияние на Балканах, подорванное в результате Крымской войны, а также надежда путём новой победоносной войны поднять свой престиж на международной арене и разрядить напряжённую политическую обстановку внутри страны.

Любопытна реакция Толстого-писателя на известие о начале войны: в нём постепенно разрастались патриотические настроения, не повлиявшие, однако, существенным образом на скепсис в отношении предвоенного патриотического движения в России, выразившийся в Восьмой части «Анны Карениной».

По этой причине дальнейшие биографические подробности следует отнести уже, скорее, не к предыстории, а к *послестории* романа.

«Как мало занимало меня сербское сумасшествие и как я был равнодушен к нему, так много занимает меня теперь настоящая война и сильно трогает меня», — писал Лев Николаевич двоюродной тётке, А. А. Толстой, 15 апреля 1877 года (62, 322).

Около того же времени жена писателя, С. А. Толстая, писала сестре, Т. А. Кузминской: «У нас теперь везде только и мыслей, только и интересов у всех, что война и война... Лёвочка странно относился к сербской войне; он почему-то смотрел не так, как все, а с своей, личной, отчасти религиозной точки зрения; теперь он говорит, что война настоящая и трогает его» (*Цит. по: 17, 727*).

Первые месяцы войны с Турцией были, как известно, неудачны для русской армии; на Толстого неудачи и моральное состояние «спасителей» братьев-славян действовали удручающе. 10 августа 1877 г. он писал Страхову: «И в дурном и в хорошем расположении духа мысль о войне застигает для меня всё. Не война самая, но вопрос о

нашей несостоятельности, который вот-вот должен решиться, и о причинах этой несостоятельности, которые мне всё становятся яснее и яснее.

Нынче Стёпа <Степан Андреевич Берс (1855 – 1910) — шурин Толстого, брат его жены, Софьи Андреевны. – Р. А.> разговаривал с Сергеем <Сергей Петрович Арбузов (1849 – 1904), старший лакей в доме Толстого. – Р. А.> о войне, и Сергей сказал, что на войне хорошо молодым солдатам попользоваться насчёт турчанок. И когда Стёпа сказал, что это нехорошо, он сказал: да что ж, ведь ей ничего не будет. Чёрт с ней.

Это говорит тот Сергей, который сочувствовал сербам и которого нам приводят в доказательство народного сочувствия. А задушевная мысль его в войне только турчанка, т. е. разнузданность животных инстинктов.

Когда Стёпа рассказал, что дела идут плохо, он сказал, что ж не возьмут Михаила Григорьевича Черняева <Михаил Григорьевич Черняев (1828 – 1898) — генерал, участник Крымской кампании 1855 – 1856 гг. и военных действий на Кавказе; завоеватель Ташкента. — Р. А.> (он знает имя отчество) — он бы их *размайорил*. Турчанка и слепое доверие к имени, новому, народному. Мне кажется, что мы находимся на краю большого переворота.

[...] Нынешняя почта хотя и ничего не принесла нового, однако успокоила меня. В особенности взгляд французов в “Revue des deux Mondes”. Видно, что неудачи кончились, и скрывать больше нечего» (62, 334).

В 1877-м Толстой по-прежнему сочувствует французам...

В том же письме Толстой обратился к Страхову с просьбой прислать ему книгу, которая бы содержала «описание нынешнего царствования», или газеты за последние двадцать лет, «или нет ли журнала, в котором бы были обзоры внутренней политики». Ему нужны такие материалы, по которым можно бы было «проследить внутреннюю историю действий правительства и настроений общества за эти двадцать лет» (62, 334 – 335).

Толстой не объяснил Страхову, для чего были нужны ему эти материалы. Они были нужны ему не для художественной работы, а для публицистической. Настроение его в этот год, уже так недалеко от христианского духовного пробуждения, было всё ещё тем же — настроением умеренно оппозиционного скептика, которому, од-

нако, «обидно за державу». Он мучительно переживал неудачи русской армии в начавшейся войне с турками. Перед ним вставал вопрос: как могло случиться, что Россия, в 1854 – 1855 годах так стойко отражавшая нападение трёх могущественных держав, теперь не могла справиться с одной слабеющей Турцией? Он полагал, что ответ на этот вопрос нужно искать в общем направлении внутренней политики Александра II с самого начала его царствования. С этой целью он и просил Страхова прислать нужные ему материалы.

Не дожидаясь получения книг от Страхова, Толстой 24 августа 1877 года начал статью, в которой ставил своей задачей дать ответ на волновавший его вопрос. Об этом мы узнаём из следующей записи в дневнике С. А. Толстой от 25 августа того же года: «Его очень волнует неудача в турецкой войне и положение дел в России, и вчера он писал всё утро об этом. Вечером он мне говорил, что знает, какую форму придать своим мыслям, именно написать письмо к государю. Пусть напишет, но форма рискованна и посылать нельзя» (*Толстая С. А. Дневники: В 2-х тт. М., 1978. Т. 1. С. 503*).

Толстой начал свою статью с указания того факта, что только с начала царствования Александра II в России образовалось так называемое общественное мнение. В предыдущее царствование Николая I и в разговорах и ещё более в литературе не допускалось и наказывалось всякое выражение мнений частных лиц о правительственных мероприятиях. Толстой вспоминает, как в самые первые годы царствования Александра II «в разговорах, речах и печати» осуждались действия правительства Николая I в Восточную войну. «Все признали и все говорили, что эта война была грубая и жалкая ошибка деспотического одуревшего правительства». Указывали на то, что мы начали войну без дорог, без лазаретов, без обеспечения продовольствием, что в интендантстве царило воровство и т. д. Все эти упрёки Толстой признаёт справедливыми, но вместе с тем указывает на то, что теперь, в 1877 году, после осады и взятия Парижа немцами, на пятом месяце войны с Турцией, после 21 года мирной жизни и общественных приготовлений, «мы чувствуем себя несравненно слабее, чем мы были тогда. Тогда мы боролись почти со всей Европой и отдали уголок Крыма и часть Севастополя и взяли Карс, а теперь мы отдали часть Кавказа одним туркам и ничего прочно не взяли» Так что теперь Восточная война, «считавшаяся тогда несчастною и позорною, восстаёт перед нами совсем в другом свете».

Перейдя далее к вопросам внутренней политики, Толстой прежде

всего останавливается на отмене крепостного права. Так как крепостное право, говорит он, представляло «бесчисленные примеры жестокости и злоупотреблений», то отмена крепостного права была «нравственно справедлива». Лучшие представители «образованной толпы», состоявшей преимущественно из дворян, несмотря на то, что уничтожение крепостного права наносило им огромный материальный ущерб, «с самоотвержением вследствие одних доводов нравственной справедливости» встали в этом вопросе на сторону правительства, и в их лице правительство «приобрело сильнейшего союзника, без которого оно не могло бы спокойно привести в исполнение эту меру».

Всё это начало новой статьи было написано Толстым в один присест, но на этом статья была прервана. Сохранившееся начало данной статьи напечатано в т. 17 Полного (Юбилейного) собрания сочинений, стр. 360 – 362.

Не приступая к продолжению статьи, Толстой обдумывал её дальнейшее содержание.

В конце августа он купил в Москве рекомендованную ему Страховым книгу А. А. Головачёва «Десять лет реформ» и в письме к Страхову просил указать другие книги по интересующему его вопросу.

Толстой был убеждён в том, что «причины нашей несостоятельности» в войне с Турцией кроются в направлении политики Александра II, но ему по-прежнему было неясно, в чём состояли эти причины. И хотя Страхов в ответном письме от 8 сентября и предлагал прислать Толстому книгу профессора Яснова «Опыт исследования о крестьянских наделах и платежах», которая, по его словам, «наводит ужас», и Толстой в письме от 23 сентября просил Страхова прислать ему эту книгу, но, по-видимому, книга Яснова заинтересовала его более не как материал для начатой работы, а сама по себе, так как касалась очень близкого ему предмета — положения русских крестьян.

К продолжению начатой статьи Толстой так и не приступил, но война с Турцией продолжала беспокоить и волновать его. 16 августа он писал Страхову:

«В войне мы остановились на третьем дне битвы на Шипке, и я чувствую, что теперь решается или решена уже участь кампании, или первого её периода. Господи помилуй» (62, 337).

В середине августа Толстой ездил в Тулу посмотреть пленных турок. Об этом Софья Андреевна 22 августа писала Т. А. Кузминской: «Ездила я с Стёпой, Сухотиным, Лёвочкой и Илюшей в Тулу посмотреть пленных турок. Живут они в бывшем сахарном заводе, почти за городом, устроено у них очень хорошо. У всякого постель с белой простынёй и подушкой, пищей они тоже, по-видимому, довольны. Лёвочка спросил, есть ли у них Коран и кто мулла, и тогда они нас окружили, и оказалось, что у всякого есть Коран в сумочке. Но когда они нас обступили и стеснили, был один момент, когда стало страшно, и мы скорей ушли. На вид они все почти молодцы и как все люди, есть из них страшные и неприятные, а у иных славные лица» (Цит. по: А. Н. Толстой – Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки: В 2-х тт. Оттава, 2003. Том 1. С. 411).

2 сентября Толстой писал Страхову:

«Сейчас получил письмо о раненых, которые должны поместиться у нас. Совершенно впечатление пожара в городе, в котором вы живёте; хотя и далеко, но жить спокойно нельзя» (62, 339). План размещения раненых по деревням осуществлён не был.

Теперь Толстой уже не думал, что благодаря войне «мы находимся на краю большого переворота», но в том же письме к Страхову он писал:

«Чувство моё по отношению к войне перешло уже много фазисов, и теперь для меня очевидно и несомненно, что эта война, кроме обличения — и самого жестокого и гораздо более яркого, чем в 54 году, — не может иметь последствий» (Там же).

В начале сентября Толстой писал Н. М. Нагорнову: «Война тревожит меня и мучает ужасно. Вы, верно, очень заняты, и это легче. А мы ждём и ничего не можем делать и даже ничего не знаем» (Там же. С. 341). В конце сентября Толстой пишет А. М. Кузминскому: «...По газетам, как всегда, ничего понять нельзя, но чувствуется, что что-то нехорошо, так как очень старательно умалчивается многое» (Там же. С. 345). Н. Н. Страхову Толстой писал 19 октября: «Сведения, сообщаемые вами о войне, очень интересны и приятны. Обручев, по всему, что я слышал про него, очень симпатичен» (Там же. С. 345 – 346). Наконец, Фету Толстой писал 12 ноября: «Слава богу, что Карс взяли. Перестало быть совестно» (Там же. С. 349).

Это было последнее упоминание в письмах Толстого о русско-турецкой войне. После этого он как будто утратил к ней всякий интерес и не отозвался даже на заключение Сан-Стефанского мира с Турцией 19 февраля (3 марта) 1878 г.

Разочарование наступило — и значительно ранее Сан-Стефано. Оно и нашло выражение в Эпilogе (Части Восьмой) «Анны Карениной». Вся шумиха вокруг славянского вопроса, деятельность Славянского комитета по сбору пожертвований, формирование добровольческих отрядов — всё это в романе подвергнуто суровой критике. Толстой не допускает мысли, что в подобной деятельности, главной целью которой выступает «мщение и убийство», выражалась бы воля русского народа.

Притом Толстой зорко подмечает, что за войну ратуют больше всех те, кто не собирается проливать собственную кровь на поле брани, кому, наоборот, война приносит вдвое больше дохода. Ни деятели Славянского комитета, которые «отбирали копейки под предлогом божьего дела у голодных русских людей», ни публицисты, с их «гордостью и мошенничеством ума», толкующие о святых местах, о разливах и о прелестном климате Константинополя, ни редакторы тех многочисленных газет, которые заквакали о войне, «словно лягушки перед грозой» (19, 390), — никто из них лично не собирается следовать тому, к чему они так пламенно призывают. Наоборот, под неприятельские пули должны были идти как раз те, которые вынуждены отдавать последние копейки на «душеспасительное дело» — «худые и голодные русские мужики» (20, 555), которых уже мобилизуют согласно новому Уставу о воинской повинности.

Помимо критиков консервативного лагеря, против взглядов Толстого, изложенных в эпilogе «Анны Карениной», выступил, как мы упомянули выше, и сам Фёдор Михайлович Достоевский, доказывавший, что Балканская война необходима для «объединения и возрождения славян» и что, по выражению автора «Дневников писателя», «чистый сердцем Левин ударился в обособление и разошёлся с огромным большинством русских людей» (*Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Указ. изд. Т. 25. С. 194*). «Угрюмое отъединение» это Фёдор Михайлович не отождествляет с автором, от которого, буквально в унисон с позднейшими сожалениями Константина Леонтьева, по собственному признанию, «не того ожидал» (*Там же*).

Ждал, следует понимать — поддержки: о патриотизме, о новой «дубине народной войны», наперевес с которой руснявая орда двинулась теперь освобождать Европу... То есть, как позднее и Леонтьев, не общаясь с яснополянцем, его конгениальный современник не заметил, что, *хотя и только что, но всё равно неоправимо* — как говорят в народе, «поезд ушёл», и того Толстого, угождавшего мирскому толку своими рассуждениями и образами в героико-патриотическом ключе, больше попросту *нет!*

Воззрения Ф. М. Достоевского на войну не были, разумеется, секретом для Толстого. Литератор, мемуарист и духовный единомышленник Толстого-христианина *Гавриил Андреевич Русанов* (1845 – 1907), в 1883 году, во время прогулки и купания с Львом Николаевичем записал его отзыв об этой стороне мировоззрения Фёдора Михайловича: «Вообще Достоевский говорит, говорит и, в конце концов, остаётся какой-то туман над тем, что он хотел доказать. У него какое-то странное смещение высокого христианского учения с проповедыванием войны и преклонением перед государством, правительством и попами» (*Русанов Г.А. Поездка в Ясную Поляну 24 – 25 августа 1883 г. // Толстовский ежегодник. М., 1912. С. 60*).

Позднее, в статье «Христианство и патриотизм», написанной в 1894 году, Толстой поставил в прямую вину «раздувавшим возбуждение» Аксакову и Каткову бессмысленную гибель тысяч людей на войне. Отмечая русско-французское сближение как признак усиления подготовки войны против Германии, Толстой писал в статье: «Ведь точно так же, как и теперь, так и перед турецкой войной будто бы возгорелась вдруг внезапная любовь наших русских к каким-то братьям славянам... И начались такие же восторги, приёмы и торжества, раздувавшиеся Аксаковыми и Катковыми, которых поминуют уже теперь в Париже, как образцы патриотизма... Сначала точно так же, как теперь в Париже, тогда в Москве пили, ели, говорили друг другу глупости, умилялись на свои возвышенные чувства, говорили об единении и мире и умалчивали о главном, о замыслах против Турции. Газеты раздували возбуждение; в игру понемногу вступало правительство. Поднялась Сербия. Начались дипломатические ноты, полуофициальные статьи; газеты всё более и более лгали, выдумывали, горячились, и кончилось тем, что Александр II, действительно не желавший войны, не мог не согласиться на неё, и со-

вершилось то, что мы знаем: погибель сотен тысяч невинных людей и озверение и одурение, миллионов» (39, 45 – 46). Механика подготовки общества к войне описана здесь с беспощадными точностью и пронизательностью.

В то время, когда Ф. М. Достоевским с единомышленниками и славянофилы искусственно раздувалась кампания ненависти к «нечестивым агарянам», писатель не находил смысла в том, что для того, чтобы спасти одних, нужно убивать других, что ради спасения славян необходимо резать и уничтожать турок. Для Толстого и в данном случае война не что иное, как «животное, жестокое и ужасное дело» (19, 387). Конечный вывод, к которому приходит Левин и под которым подписался бы автор «Анны Карениной», состоит в том, что достижение общего блага, к которому инстинктивно стремятся все люди, возможно не на путях войн, взаимной вражды и убийства, но «только при строгом исполнении того закона добра, который открыт каждому человеку» (Там же. С. 322).

* * * * *

«...Эта война, кроме обличения — и самого жестокого и гораздо более яркого, чем в 54 году, — не может иметь последствий» (62, 330) — вот конечный вывод Льва Николаевича и обо всей Русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг., максимально сближающий его с последующими антивоенными настроениями. Психическое заражение патриотизмом, вообще характерное для ситуации начала любой войны, было побеждено Толстым, а скепсис развился в убеждение, подкреплённое, что нам необходимо подчеркнуть, не одними общественно-политическими убеждениями, но и религиозными. Ибо в духовной его биографии совершились значительные события — и, вопреки предшествовавшему настроению возмущённого патриотизма, именно они, а не события политические, повлияли на отмеченный нами конечный вывод.

В своих тщетных для разумного человека попытках соединиться с «верой предков и народа», в июле 1877 г. Толстой совершает паломничество в монастырь Введенскую Оптину пустынь (Калужской губернии Козельского уезда), где бывали Гоголь и Достоевский и даже чего-то, как им показалось, там для себя нашли. В нарушение желаемого молитвенного настроения, он пересёкся в монастырской гос-

тинице с давним светским знакомым. Это был Дмитрий Александрович Оболенский (1822 – 1881), в то время уже член Государственного совета (печальная, «почётная», но и посмертная должность в России для отставленных от государственной жизни титулованных стариков) и хозяин имения в десяти верстах от Оптиной Пустыни. Конечно же, не обошлось без ответного «визита вежливости». У Оболенского Толстой застал много молодёжи, а с нею вместе почётного гостя — знаменитого пианиста Николая Григорьевича Рубинштейна (1835 – 1881). За обедом зашёл разговор о добровольческом движении в пользу восставших сербов. И Толстой повторил мнение, уже высказанное им к тому времени в последней части «Анны Карениной», что «всё это сочиняют газеты. Неправда, что народ наш хочет воевать. Народ ничего и не знает про славян» (*Оболенский А.Д. Две встречи с Л. Н. Толстым // Толстой. Памятники творчества к жизни. Вып. 3. М., 1923. С. 33*). Мемуарист добавляет: «Но для нас всё это добровольческое движение казалось весьма простым и естественным: турки учиняют зверства над христианами и мучают их, как же не сочувствовать тем, кто идёт на их защиту?» (*Там же*). Вот иллюстрация того, как в промытых пропагандой головах срабатывает «барьер невосприятия» доводимой до них Божьей правды-Истины.

Вечером Толстой слушал игру Рубинштейна, а потом разговаривал наедине со старшим сыном хозяина, студентом Александром Дмитриевичем Оболенским (1847 – 1917), который оказался сторонником очень распространённой в то время среди русской интеллигенции позитивной философии Огюста Конта. Это было раннее столкновение Толстого с чуждой ему философской теорией, для которой характерно рассмотрение процесса познания в отрыве от этических установок и противопоставление религиозного и научного мировоззрений. Неготовность к спору писателя компенсировалась, однако, невежеством молодого собеседника, воспринимавшего идеи Конта как привлекательную возможность для нападок на религию. Возражая Оболенскому-младшему, Толстой говорил, что весь русский народ думает о том, как жить по-Божьему, и он, Толстой, думает о том же и, указывая на Евангелие, сказал, что в этой книге сказано всё, «что надо человеку» (*Там же. С. 37*).

Конечно же, хозяин дома «скормил» неудачливого паломника веселящимся гостям как безобидного чудака: «От <С. А.> Берса мы узнали, что Толстой человек действительно религиозный и не только

верует в Бога, но и ходит в церковь, а также и посты соблюдает. Последнее нас немного удивляло и казалось даже некоторым с его стороны чудачеством, но мы понимали это как стремление приблизиться к простому народу, в те времена ещё весьма строго державшемуся постов» (*Там же. С. 28*). Усердное соблюдение Толстым постов вызывало добродушные насмешки родных его жены. 13 октября 1878 г. дядя С. А. Толстой, Владимир Александрович Иславин, писал ей: «Обнимаю его [Льва Николаевича] сердечно, но только лишь в том разе, если он перестал питаться горохом, толокном и овсянкой на лампадном масле» (*Цит. по: Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. 1870 – 1881. М., 1963. С. 442*).

Это прекрасная характеристика чуждости христианства и всяческих честных, искренних порывов любого человека ко Христу — если не для всего поганого «русского мира», не для всей православной России, то уж, определённо, для самой порченной, сволочной, самовлюблённой и подлой, именно *интеллигентской* её части!

Своё понимание Евангелия, и пока ещё именно для себя одного, Толстой берётся изложить в своеобразном «катехизисе». Это предтеча великой книги «В чём моя вера?» и позднейших духовных писаний Толстого, таких как трактат «О жизни» или статья «Христианское учение», необходимый к ним подступ.

6 ноября 1877 г. Толстой пишет Страхову письмо, в котором жалуется на «самое унылое, грустное, убитое состояние духа». Из дальнейшего видно, что причины «убитого» состояния духа, в котором находился тогда Толстой, были весьма сложны. Он перечисляет эти причины: болезненная беременность жены и предстоящие роды; его «праздность, постыдная и совершенная»; «менее важный предлог — это мучительная эта война». «Праздность» Толстого состояла в том, что, закончив большой роман, он не был занят никакой литературной работой. «Мучительно и унижительно жить в совершенной праздности, — писал Толстой далее, — и противно утешать себя тем, что я берегу себя и жду какого-то вдохновения. Всё это пошло и ничтожно» (62, 347).

Но к перечисленным здесь причинам «убитого» состояния духа присоединялась у Толстого ещё одна, ещё более серьёзная, на которую он далее только намекнул Страхову в следующих словах: «Если бы я был один, я бы не был монахом, я бы был юродивым — т. е. не дорожил бы ничем в жизни и не делал бы никому вреда» (*Там же. С. 347*).

Смысла этих слов совершенно ясен. То, что человек приобретает наибольшую силу и свободу в том случае, если он «не дорожит ничем в жизни», это Толстой понял ещё тогда, когда, находясь на высотах поэтического прозрения, писал «Войну и мир». Вспомним, как, бродя по опустелой, оставленной жителями Москве, Пьер Безухов с особенной силой почувствовал, что «и богатство, и власть, и жизнь, всё то, что с таким старанием устраивают и берегут люди, — всё это, ежели и стоит чего-нибудь, то только по тому наслаждению, с которым всё это можно бросить» («Война и мир», т. III, ч. третья, гл. XXVII). Суждение это осталось столь значительным и для Толстого-христианина, что он включил его в «Круг чтения» (см. 42, 256).

Но у Пьера Безухова, как мы и показали это выше, было преходящее настроение — от которого он, обломав сам себе духовные крылья, воротился, как боров на блевоту, к помыслам общественным и тщеславным. Толстой же теперь постоянно находился в таком душевном состоянии, что не дорожил тем, что ранее привязывало его к жизни: литературная слава и материальное благополучие. Он переживал глубокое недовольство условиями своей жизни — жизни богатого помещика. Условия эти тяготили его, но избавиться от них он не мог, потому что был *не один*. Его душевное состояние того времени можно было бы выразить буддийским изречением: «Тесна жизнь в доме. Свобода — вне дома».

Но и это была не последняя причина мучительного душевного состояния, которое в то время переживал Толстой. Далее в том же письме он рассказывал Страхову:

«На днях слушал я урок священника детям из катехизиса. Всё это было так безобразно. Умные дети так очевидно не только не верят этим словам, но и не могут не презирать этих слов...» (62, 347).

Эти же уроки Толстой вспоминает в первой редакции «Исповеди», где он пишет: «К экзамену надо было учить моих детей закону божию. Мы взяли священника, и он учил их катехизису. Это было то самое учение, которому меня учили и которое я отбросил и не мог не отбросить. Я слушал это учение... Бессмысленность и наглость положений, которые требовалось заучить, явно противуречила тому смыслу, который я нашёл в вере» (23, 507).

«...Мне захотелось, — писал Толстой в письме к Страхову, — попробовать изложить в катехизической форме то, во что я верю, и я попытался. И попытка эта показала мне, как это для меня трудно и, боюсь, невозможно» (62, 347).

Эта первая сделанная Толстым попытка систематического изложения своих религиозных взглядов сохранилась, и напечатана в Полном собрании сочинений, т. 17, стр. 363 – 368. Изложение озаглавлено «Христианский катехизис» и начинается словами: «Верую во единую истинную святую церковь, живущую в сердцах всех людей и на всей земле и выражающуюся в знании добра моего и всех людей и в жизни людской» (17, 363). Как видно из этого введения, сущность своей веры Толстой видел не в догматах церковной религии, отличающих её от других исповеданий, а в *вере в добро*, живущей «в сердцах всех людей и на всей земле».

Манифест сродственного своим настроениям юродства Лев Николаевич отыскал гораздо позднее, в 1892 году, читая «Задушевный дневник» Анри Амиеля (Fragments d'un journal intime, by Amiel, Henri Frédéric, 1821 – 1881). Вот, в переводе дочери писателя Марии Львовны, запись в этом дневнике от 6 апреля 1869 года:

«Одно необходимо: отдаться Богу. Будь сам в порядке и предоставь Богу распутывать моток мира и его судеб. Пусть будет уничтожение или бессмертие! То, что должно быть, — будет. То, что будет, будет благом. Чтобы совершить путь жизни, может быть, *ничего более не нужно для человека, кроме веры в добро*.

Но нужно быть на стороне Сократа, Платона, Аристотеля, Зенона в борьбе против материализма, против религии случая и против пессимизма. Может быть, даже надо отвергнуть буддийский нигилизм, потому что поведение будет диаметрально противоположно, смотря по тому, что мы будем трудиться для увеличения своей жизни или для уничтожения её; будем ли развивать свои способности или методически атрофировать их. Прилагать свои индивидуальные силы к увеличению добра в мире — этого скромного идеала достаточно. Участвовать в торжестве добра — это общая цель святых и мудрецов. «Socii Dei sumus» <лат. «Мы – участники Божьего дела»>, — повторял Сенека после Клеанта» (*Из дневника Анри Амиеля. СПб., 1894. С. 55 – 56. Выделение наше. – Р. А.*).

Это суждение сразу полюбилось Толстому, и, со своими редакциями, он включил его в сборники мудрой мысли, которые готовил в 1900-е гг. В «Круге чтения» смысл отредактированного отрывка – всё та же драгоценная для Толстого-христианина идея слияния воли человека-сына с волей небесного Отца как сущность веры. Вот отчего предложение: «Пусть будет уничтожение или бессмертие!» — лишено

в редакции Льва Николаевича излишней в этом смысловом контексте восклицательной экспрессии. Предположительное «может быть» в заключительном предложении, так же в «Круге чтения», изъято: вера в добро необходима, ведь слияние с волей Бога и есть соединение с Ним в истине и добре (см. 41, 34).

Редакция же отрывка в книге «На каждый день» значительней (что подтверждает и подпись под ним: «По Амиелю» — то есть перед нами изложение, пересказ, а не точная цитата):

«Одно необходимо: отдаться Богу. Будь сам в порядке и предоставь Богу распутывать моток мира и его судеб. То, что должно быть, — будет. То, что будет, — будет благом. Чтобы совершить путь жизни, ничего не нужно для человека, кроме знания того, что добро – добро, и что его надо делать» (43, 306).

Как видим, Толстой здесь особо подчёркивает, что вера человека и условие его блага, его счастья – в исполнении закона любви, в делах деятельного добра, а критерии того, что есть добро – не в мирских установлениях или учениях церквей, а только и непосредственно в слове Бога, обращённом непосредственно же к разуму и к сердцу каждого человека.

Совершенно не зная об Амиеле, ещё живом тогда современнике, за 15 лет до того, как в руки его попали «Fragments d'un journal intime» этого мыслителя, Толстой усилием своей зрелой мысли сближался с христианским жизнепониманием женеваца!

«Православный катехизис, — пишет Толстой в «Христианском катехизисе» 1877 года, — есть наставление в истинной вере, для передачи каждому человеку вообще и православному христианину в частности, для спасения души — т. е. для жизни, соответственной не одним потребностям тела, но и потребностям души» (17, 363). Потребности души, по мнению Толстого, отличаются от потребностей тела тем, что потребности тела «имеют целью личное благо», а потребности души «имеют целью благо вообще — не только часто, но почти всегда противоположное благу личному» (Там же).

Далее ставится вопрос: «Что есть вера?» и даётся ответ: «Вера есть несомненное знание вещей, непостижимых разуму». На вопрос: «Какая разница между знанием веры и знанием разума?» — следует ответ: «Всякое знание разума основано на предшествующем знании. Знание же веры имеет основание само в себе». Даётся следующее

определение «знания веры»: «Знание веры есть то несомненное знание смысла окружающих нас явлений, которым мы руководствуемся всякую минуту жизни» *(Там же. С. 364)*.

На вопрос, «существует ли одно истинное знание веры», даётся ответ: «Существует это знание в сердце людей. То знание, которое обще всем людям, есть истинное знание веры» *(Там же. С. 366)*.

Все выражения веры, в том числе вер буддийской, еврейской, христианской, магометанской, «истинны в том, в чём они сходятся. Внешние же признаки вер суть только особенности, зависящие от исторических, географических условий...» *(Там же)*.

И далее, самый важный для Толстого того времени вопрос: как относиться к учению христианства там, где оно противоположно разуму? На этот вопрос даётся ответ: если оно «не противоположно учению вселенской церкви и сердцу, то смирать ум перед непонятным учением»; если же оно «противоположно знанию сердца», то «отвергать его, чтобы оставаться членом вселенской церкви» *(Там же. С. 367 – 368)*.

Далее автор намеревался дать понятие о «первой передаче откровения христианского», заключающейся в «священных книгах ветхого завета». По-видимому, он предполагал дать краткую характеристику если не всех, то наиболее значительных из книг, составляющих Библию. Он начал с первой книги, входящей в состав Библии и носящей название «Книга бытия». Относительно этой книги Толстой ставит вопрос: почему она священна? Но в ответе пишется только одно слово: «Сотворение», на котором и прервалась эта работа *(Там же. С. 368)*.

Так автор начал расхождение с собственным своим, только что изваянным, народолюбивым персонажем, Константином Левиным. Очевидно, как ни старался Толстой отгонять от себя всякое сомнение, чтобы не разделяться «с церковью и с многомиллионным русским народом», верившим в церковное учение, он всё-таки, стараясь быть правдивым перед самим собою, никак не мог найти те признаки, по которым можно было бы признать древнюю книгу еврейской мифологии «священной».

И когда Толстой с грустью писал Страхову о том, что изложение основ своей веры для него не только трудно, но, как он опасался, даже совершенно невозможно, он разумел не трудность самого изложения, вполне преодолимую, но невозможность для него в то

время принять, «смирив ум», противоречия церковного учения, приверженцем которого ему так хотелось считать себя.

Что касается религиозных верований Толстого, изложенных в его начатой статье, то они, конечно, были весьма далеки от православия и всякого другого церковно-догматического вероисповедания. В то время как православная церковь преследовала старообрядцев, считала еретиками католиков и протестантов, для Толстого «вселенская церковь» в его представлении составлялась из всех верующих в «добро», к каким бы вероисповеданиям они ни принадлежали. Впоследствии, уточнив дефиниции, он обратит «добро» в «благо», придя к верному пониманию учения Христа как учения о *благе жизни*, нарушаемом соблазнами мира и ложными верами.

Таким образом, когда Достоевский, Леонтьев и ряд других консервативных критиков апеллировали, со второй половины 1877 года, к автору Восьмой части «Анны Карениной» как к человеку не только известных им по «Войне и миру» военно-патриотических деклараций и образов, но и адепту общей с ними веры — они не знали ещё, *насколько* они ошибались. Толстой пока неуверенно, но становился уже на Христов и евангельский, а отнюдь не на *общий* с ними, не православный, религиозный фундамент. Для того, чтобы «одёргивать» зрелого искателя веры, переубеждать, а тем более переманить носителя выдающегося, уже международно известного имени под консервативные знамёна монархизма, православия и военного патриотизма — время ушло, или, как говорят в народе, «ушёл поезд».

Не догнать!

ЗДЕСЬ КОНЕЦ ВТОРОЙ ГЛАВЫ





Глава Третья.
**ОТ ИСПОВЕДАНИЯ ВЕРЫ
ДО КНИГИ «ЦАРСТВО БОЖИЕ ВНУТРИ ВАС»**
(конец 1870-х - начало 1890-х гг.)

3.1. «В ЧЕМ МОЯ ВЕРА?»

Антивоенные настроения Л. Н. Толстого по поводу Балканской кампании, выразившиеся в «Анне Карениной» и вызвавшие отпор многих современников, были только «надводной частью айсберга» — нескольких лет сомнений, метаний и нарастающего критического настроения автора романа, лишь частично выразившихся в беседах, устных и эпистолярных, с близкими людьми либо в интимно-личных записях в Дневнике. Так, например, 20 января 1878 года давний друг, философ и литературный критик Николай Николаевич Страхов писал Толстому, что, по рекомендации старца Амвросия, он начал читать творения Исаака Сирина и убедился, что один перевод сделан на «несуществующий язык, подобие славянского», а другой переводчик «очень старался о пышности выражений». По этому поводу Страхов замечал: «Мне становятся противны всякие сделки с своею мыслью», а «для верующих всякая бессмыслица хороша, лишь бы пахло благочестием. Они в бессмыслицах плавают, как рыба в воде, и скорее им противно всё ясное и определённое» (Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки: В 2-х тт. Оттава, 2003. Т. 1. С. 394).

Это письмо Страхова задело Толстого за живое, — ведь и он считал себя верующим, — и он решил изложить неверующему другу основы своей веры. Около 27 января он пишет Страхову длинное письмо с

целью убедить его, что то, что ему «кажется странным», на самом деле «вовсе не странно». Основания его веры сводятся к тому, что «разум мне ничего не говорит и не может сказать» на вопросы, «что я могу знать, что я должен делать, чего я могу надеяться». «Ответы на эти вопросы даёт мне в глубине сознания какое-то чувство» (62, 380). «Миллиарды смутных ответов однозначущих дали определённую ответам. Ответы эти — религия» (*Там же*). Существует «целое предание, служащее единственным ответом на вопросы сердца». Проверке разума это поедание не подлежит; единственная проверка, которой подвергается это предание, состоит в том, согласны ли ответы, даваемые преданием, «с смутным одиночным ответом, начертанным у меня в глубине сознания» (*Там же*. С. 381).

И Толстой приводит пример такого «ложного» предания: «...Когда мне предание... говорит: „будемте все молиться, чтобы побить побольше турок“ ... тогда, справляясь не с разумом, но с хотя и смутным, но несомненным голосом сердца, — я говорю: это предание ложное» (*Там же*).

Итак, первоначально Толстой отступает от учения церкви, именно отрицая её нравственное и социальное учение, а точнее — как раз в *вопросе о войне*. Что касается обрядовой стороны учения православной церкви, Толстой в то время, в начале 1878 года, ещё не отрицал её. То же подтверждает, например, такая запись, от 28 мая 1878 года, вскоре после возобновления Толстым прерванного в 1873 г. Дневника: «Был у обедни в воскресенье. Подо всё в службе я могу подвести объяснение, меня удовлетворяющее. Но многая лета и одоление на врагов есть кощунство. Христианин должен молиться за врагов, а не против них» (48, 70). Примечательно, что при суждении этом на страничке Дневника зачёркнута начатая было фраза: «Врагов у христианина нет...» — как очевидно неточная: врагов нет для христианина, но всегда могут оказаться *враждующие*: христианин может терпеть вражду к себе, даже любимых и близких людей, что показательнейше проиллюстрирует в последующие годы драма жизни самого Толстого-христианина.

Так в сознании Льва Николаевича рождалось, с Всевышней, Божьей помощью верное понимание Нагорной проповеди и всего учения Христа, несовместимого с враждой стран и народов и оправданием военного насилия. И здесь же, в записи 22 мая, в связи с осуждением каких-то поступков сына Сергея, значительнейший мотив

будущей толстовской «Исповеди»: «Все мерзости моей юности ужасом и болью раскаяния жгли мне сердце» (*Там же. С. 69*).

Сама «Исповедь» (1882) — сочинение достаточно известное и широкому читателю. В последней части «Анны Карениной», над которой Толстой работал в начале 1877 г., даётся описание того душевного кризиса, который переживал в то время автор. Как и Левин, Толстой испытывал мучительные сомнения в основах своего мирозерцания. Он искал ответов на тревожившие его вопросы о смысле и цели жизни. Как Левин, «неволью, бессознательно для себя, он теперь во всякой книге, во всяком разговоре, во всяком человеке искал отношения к этим вопросам и разрешения их... Мысли эти томили и мучили его то слабее, то сильнее, но никогда не покидали его. Он читал и думал, и чем больше он читал и думал, тем дальше чувствовал себя от преследуемой им цели» (19, 368 – 369).

Хорошо известно, в частности, и отношение Толстого к собственному прошлому, именно годам военной службы и начала писательства, выразившемуся в «Исповеди»:

«Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей да войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал, и за всё это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком.

Так я жил десять лет.

В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал» (23, 5).

«Думал о том, что если служить людям писанием, то одно, на что я имею право, что должен делать, это — обличать богатых в их неправде и открывать бедным обман, в котором их держат» — это уже из Дневника 1900 года, из записей на 28 октября. Совершенно иные мотивации для творчества, к которым Толстой повернул как раз в период подготовки и писания «Исповеди», примерно с 1874 – 1875 по 1881 годы. Идеал, по внешности, общественный, но по существу — религиозный, христианский: обличение религиозного, прежде всего, обмана и служение Истине. Ради этого дела даже писательская слава превращается лишь в полезный инструмент:

«Мне сделали какую-то несвойственную мне славу важного, «великого» писателя, человека. И это моё положение обязывает. Чувствую, что мне дан рупор, который мог бы быть в руках других, более достойных пользоваться им, но он *volens nolens* у меня, и я буду виноват, если не буду пользоваться им хорошо» (4 февраля 1900 г.).

Но ещё не столько с этой, не осознанной пока, в начале 1880-х, целью, сколько с желанием *для себя* системно изложить открывшееся ему, Толстой и начинает на рубеже десятилетий большое духовное сочинение, первой частью которого должна была стать исповедь, а продолжением — исследование догматического богословия, соединение и перевод евангелий и трактат «*В чём моя вера?*» (1882 – 1884).

Если «Соединение и перевод четырёх евангелий» и «Исследование догматического богословия» были значительнейшим именно религиозно-богословским вкладом Толстого-евангелиста, Льва-спасителя Иисуса для нашего времени и грядущих веков, то трактат, или, что справедливей, искреннее и любящее Истину духовное слово «В чём моя вера?» подвело под эти результаты общения Льва Николаевича с Богом, с Иисусом Христом и (неприятного) с православными богословами — фундамент собственно философский, то есть метафизический, этический и общественно-политический. Для нас из названных выше ранних духовных писаний Льва Николаевича наиболее значителен именно трактат «В чём моя вера?», содержащий вероисповедание не одного Льва-учителя, но всех духовно близких ему людей, либо отыскавших для себя давно известное, возлюбленное, истинное, либо (преимущественно молодёжь) открывшие это истинное для себя при чтении запретной в России, с трудом, в нелегальных копиях, добытой книги.

Начав с малого, и именно с несогласия с позицией «родной» церкви в отношении системного насилия войн и смертных казней, Толстой, исследовав самостоятельно евангелия — закончил свой путь, при неожиданных обстоятельствах, тем же, но уже уверенным, отторжением лжи, освящающей насилие. В главе XI трактата он рассказывает, как это случилось. В руки его попало очередное переиздание весьма популярного в народе т. н. «Толкового молитвенника», за авторством Д. И. Протопопова, наполненного, по преимуществу, суеверной и обрядоверческой церковно-православной чепухой. Прочтя

одно место, Толстой, по собственному признанию, «не поверил своим глазам»:

«На странице 163-й этой книжки сказано:

"Какая шестая заповедь Божия? — Не убий. Не убий — не убивай. — Что Бог запрещает этой заповедью? — Запрещает убивать, то есть лишать жизни человека. — Грех ли наказывать по закону преступника смертью и убивать неприятеля на войне? — Не грех. Преступника лишают жизни, чтобы прекратить великое зло, которое он делает; неприятеля убивают на войне потому, что на войне сражаются за государя и отечество".

И этими словами ограничивается объяснение того, почему отменяется заповедь Бога» (23, 433 – 434).

Причём не поверил глазам писатель не *несмотря* на немалый уже опыт общения с церковной литературой, а как раз *благодаря* такому опыту. Толстой припомнил, что в его юные годы, когда ему пришлось штудировать т. н. «закон Божий», «во всех старых русских катехизисах» не было ни слова о том, что «убивать *не грех*» (*Там же. С. 434*): «Нет ни в катехизисе Петра Могилы, ни в катехизисах Платона, ни в катехизисе Белякова, нет и в кратких католических катехизисах. Нововведение это сделано Филаретом, составившим также катехизис для военного сословия. Толковый молитвенник составлен по этому катехизису». Толстой имеет в виду т. н. «Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной церкви», составленный в реакционные, гиблые для России 1822 – 1823 гг. архиеп. Филаретом (1783 – 1867). Талмудина сия была настолько тупа, настолько отдалённа от Христа и его учения, что в 64-м (!) её издании в 1880-м году, через почти 20 лет после отмены крепостного состояния крестьян, была стереотипно воспроизведена «заповедь» о почитании «господ» крестьянами, «которыми они владеют» (*Там же. С. 435*).

И именно в этой книжице «по случаю 6-й заповеди — не убий — люди с первых же строк научаются убивать» (*Там же*).

По этому-то катехизису вводили в буржуазной имперской России от Христа, от Истины поколения детей и простецов. Толстой остроумно подчёркивает:

«Это не прокламации, которые распространяются тайно, под страхом каторги, а это прокламации, несогласие с которыми наказывается каторгой. Я теперь пишу это, и мне жутко только за то, что я

позволяю себе сказать, что нельзя отменять главную заповедь Бога, написанную во всех законах и во всех сердцах, ничего не объясняющими словами: *по должности, за государя и отечество*, и что не должно учить этому людей.

[...] И я убедился, что церковное учение, несмотря на то, что оно назвало себя христианским, есть та самая тьма, против которой боролся Христос и велел бороться своим ученикам» (*Там же. С. 436*).

Далее Толстой подробно рассматривает истоки и развитие искажений церковным учением первоначального учения Христа, и приходит к выводу, что, благодаря, с одной стороны церковной канонизации «священных» текстов, а с другой — сектантам и вольнодумцам, трактующим их вне церковной догматики, основное в наследии Христа, именно учение о жизни — не было утрачено, а, пройдя сквозь века, «эмансипировалось от церкви и установилось независимо от неё», в том числе и в вопросе государственного насилия (*Там же. С. 440*).

В трактате Толстой провозглашает наконец не понятое многими по сей день: «Всё живое независимо от церкви» (23, 440 – 441). Разумея при этом именно «исторических» паразиток, а не эту, незримо выживающую в мире уже 2000 лет, первоначальную Церковь. Замкнутая на себя система, как догматическая церковь, секта или, скажем, как российское общество в XXI веке, чуждое не то, что христианству Христа, а даже ошибочной, церковно-православной, но *искренней* вере предков, как и вся путинская Россия и всякое иное государство, топчущееся на месте, не развивающееся в сторону демократического самоуправления — системы мёртвые и мертвящие, чуждые Богу и зловредно опасные для мира. От них и из них, пока гнильё не рухнуло на головы, всё живое и разумное должно выйти, не признавать в них *жизни*. В этом смысл афористической фразы. Вот каков её контекст:

«Метафизическое объяснение учения имеет значение, когда есть то учение жизни, которое оно объясняет. Но у церкви не осталось никакого учения о жизни. У ней было только объяснение той жизни, которую она когда-то учреждала и которой уже нет. [...]

Церковь пронесла свет христианского учения о жизни через 18 веков и, желая скрыть его в своих одеждах, сама сожглась на этом свете. Мир с своим устройством, освящённым церковью, отбросил церковь во имя тех самых основ христианства, которые нехотя пронесла церковь, и живёт без неё. Факт этот совершился, — и скрывать

его уже невозможно. Всё, что точно живёт, а не уныло злобится, не живя, а только мешая жить другим, всё живое в нашем европейском мире отпало от церкви и всяких церквей и живёт своей жизнью независимо от церкви.

И пусть не говорят, что это — так в гнилой Западной Европе; наша Россия своими миллионами рационалистов-христиан, образованных и необразованных, отбросивших церковное учение, бесспорно доказывает, что она, в смысле отпадения от церкви, слава Богу, гораздо гнилее Европы.

Всё живое независимо от церкви» (23, 440 – 441).

Но прежнее влияние церкви Толстой уподобляет кормицику, который хоть не без греха, а правил лодкой. Люди XIX столетия плывут легче без стеснения церковников, однако они плывут, «не зная куда» — по-прежнему отдаваясь первобытным грехам и не умея рационально, без самообманов, дать прямой ответ на такие, к примеру, отнюдь не риторические, а судьбоносные вопросы: «зачем вы собираете и сами собирались в миллионы войск, которыми вы убиваете и увечите друг друга? зачем вы тратили и тратите страшные силы людские, выражающиеся миллиардами, на постройку ненужных и вредных вам городов, [...] зачем воспитываете детей так, чтобы они продолжали эту не одобряемую вами жизнь?» (Там же. С. 442). По церковной вере, «солдатчина, войны, суды, казни» совершались по воле Бога. Но в это не может верить современный цивилизованный человек, просвещённый как научным, так и религиозным знанием (Там же. С. 442 – 445). Но рабство людей военному идолу не уничтожилось с этим просвещением, а лишь усугубляется, потому что «религия людей, не признающих религии, есть религия покорности всему тому, что делает сильное большинство, то есть, короче, религия повиновения существующей власти» (Там же. С. 445).

Описание Льва Николаевича поистине точно подходит не только к безверным его современникам, но и к России наших дней, застывающей в беспомощном страхе перед мобилизацией на преступную войну:

«Спросите у людей нашего времени, верующих или неверующих: какому они учению следуют в жизни? Они должны будут сознаться, что они следуют одному учению — законам, которые пишут чиновники [...] или законодательные собрания и приводит в исполнение — полиция. Это — единственное учение, которое признают наши

европейские люди. Они знают, что учение это не от Неба, не от пророков и не от мудрых людей; они постоянно осуждают постановления этих чиновников или законодательных собраний, но всё-таки признают это учение и повинуются исполнителям его — полиции, повинуются безропотно в самых страшных требованиях её. Написали чиновники или собрания, что всякий молодой человек должен быть готов на поругание, смерть и на убийство других, и все отцы и матери, вырастившие сыновей, повинуются такому закону, написанному вчера продажным чиновником и завтра могущему быть изменённым.

Понятие о законе, несомненно разумном и по внутреннему сознанию обязательном для всех, [...] утрачено в нашем обществе...», а нормальным считается повиновение «городовому с пистолетом» (*Там же. С. 446*).

По счастью, среди сектантов и вольнодумцев достаточно людей, у которых «вера в то, какова должна быть жизнь, почерпнута из учения Христа» (*Там же. С. 447*).

* * * * *

Это минимум отрывков из важнейшего для 1880-х духовного писания Льва Николаевича Толстого, соприкасающихся с нашей темой, которые нам необходимо было привести именно *в предварение* изложения главнейшей, христианской части — и некоторых наших мыслей по ней. Анализ начнём, что называется, «от противного» — главнейшей ошибки критиков этого трактата, восходящих к юности веры в те годы самого Льва Николаевича. Ведь рождению к вере Христа сопутствует то же, следующее за ним, становление, рост и укрепление христианина, как рост и воспитание человека после физического рождения.

Ошибка — в отождествлении христианства и «исторически сложившихся» церковей с христианством Христа и единой, основанной им из числа избранных учеников, первоначальной Церковью.

Толстой побеждал внушённый ему учителями и книжным знанием просвещенческий рационализм. Вопреки спекуляциям в путинской России таких современных авторов, представителей Церкви, как Г. Л. Ореханов (см. книгу его 2016 г. «Лев Толстой. Пророк без чести. Хроника катастрофы»), более серьёзные современные российские

исследователи приходят к выводу о *преодолении* Толстым деструктивных тенденций просветительской мысли. Так, по логике суждений С. М. Климовой, Толстой лишь начинает в молодости свой самостоятельный духовный путь с опоры на просветительское мировоззрение, а продолжает созданием на христианском, евангельском идейном «фундаменте», религиозно-философского учения, характерного именно для начала XX столетия, времени расцвета европейской «философии жизни», к последованию и разработке которой не понявший, отторгнувший Фридриха Ницше Толстой и не узнавший полноценно классика, И. Г. Фихте, и совершенно не знавший современника, Анри Бергсона, «философия жизни» которого лишь проходила этап становления в последний период жизни Толстого, приходит в значительной степени самостоятельно, как философский дилетант, «усадебный» мыслитель. На такой итог повлияло как затронутое нами выше искание веры Толстым в сер. 1870 – начале 1880-х гг., так и предшествовавшее и сопутствовавшее ему литературное художественное творчество Толстого-писателя. Природа творческого мышления человека как «работника Бога» в мире, преобразующего творчески мир и, направленной эволюцией, самого себя, первоначально была описана Толстым именно «через метод сцепления, обнаруженный им в литературном творчестве». Если для множества питомцев Просвещения «образ мышления напрямую связан с природой человека, представленный как единство *natura naturans* и *natura naturata*, то для Толстого важнее всего некое априорное чувство жизни, пропитанное верой в Бога и инстинктом самоотдачи – любви к Высшему и другим людям». Это уводит Толстого от европейских руссоизма и Спинозизма, от поклонения разуму к признанию значительности «творческой интуиции», «от рационального восприятия жизни к её религиозным и экзистенциальным основаниям», «от идеи природного человека к идее человека, живущего по заповедям Христа» (Климова С.М. *Л.Н. Толстой: просветитель, преодолевший Просвещение // Философские науки. 2019. Т. 62. № 2. С. 109 – 110*).

А такое повиновение Богу Евангелий, Отцу человека Иисуса и всех верующих людей, сознательных Его детей, разрушает доверие богословам, так или иначе оправдывающим удержание мнимыми, церковными «христианами» в мире государств, вооружений, войск...

И в завершение трактата Толстой пишет:

«Я верю в учение Христа и вот в чём моя вера.

Я верю, что благо моё возможно на земле только тогда, когда все люди будут исполнять учение Христа.

Я верю, что исполнение этого учения возможно, легко и радостно.

Я верю, что и до тех пор, пока учение это не исполняется, что если бы я был даже один среди всех неисполняющих, мне всё-таки ничего другого нельзя делать для спасения своей жизни от неизбежной гибели, как исполнять это учение, как ничего другого нельзя делать тому, кто в горящем доме нашёл дверь спасения.

Я верю, что жизнь моя по учению мира была мучительна и что только жизнь по учению Христа даёт мне в этом мире то благо, которое предназначил мне Отец жизни.

[...] Христос показал мне, что единство сына человеческого, любовь людей между собой не есть, как мне прежде казалось, цель, к которой должны стремиться люди, но что это единство, эта любовь людей между собой есть их естественное блаженное состояние, то, в котором рождаются дети, по словам его, и то, в котором живут всегда все люди до тех пор, пока состояние это не нарушается обманом, заблуждением, соблазнами.

Но Христос не только показал мне это, но он ясно, без возможности ошибки перечислил мне в своих заповедях все до одного соблазны, лишавшие меня этого естественного состояния единства, любви и блага и уловлявшие меня во зло. Заповеди Христа дают мне средство спасения от соблазнов, лишавших меня моего блага, и потому я не могу не верить в эти заповеди.

Мне дано благо жизни, а я сам губил его. Христос показал мне своими заповедями те соблазны, которыми я гублю своё благо, а потому я и не могу делать того, что губит моё благо. В этом и в этом одном вся моя вера» (23, 453 – 454).

И далее Лев учитель, исповедник Христа, перечисляет те соблазны: гнева, похоти, клятвы, противления и враждования — которые мешают человеку удержать себя в этой благодати, а мир Божий — в необходимом ему покое от вражды, драк и войн человеческих.

Присмотримся же к самым этим «малым заповедям», которым разбойничьи гнёзда воюющих и палачествующих государств, таких, как нынешняя, 2022 года, путинская Россия, норвят противопоставить, как чему-то якобы неполноценному, свои спекулятивные, нравственно гнусные законы.

В главе Пятой духовного слова к современникам и потомкам «В чём моя вера?» Лев Николаевич доносит до нас:

«Христос говорит: я не пришёл нарушить вечный закон, для исполнения которого написаны ваши книги и пророчества, но пришёл научить исполнять вечный закон; но я говорю не про ваш тот закон, который называют законом Бога ваши учителя-фарисеи, а про тот закон вечный, который менее, чем небо и земля, подлежит изменению» (Там же. С. 336).

Для христианского сознания важнее всего следование познанной воле Отца, Бога. Не во внешних поступках, как войны, революции, казни, а — прежде всего, в сознании. Удержание тех смирения и страха Божия (то есть страха перед *своими* грехами, *своим* нарушением воли Бога), того *состояния сознания*, которое обозначено известными *блаженствами*, открывающими Нагорную проповедь Иисуса Христа (Мф. 5: 1 – 12). Это состояние **доверия Богу, смирения и блюдения себя** — основа основ: оно открывает для личности христианина и для общности его единоверцев (Церкви) возможность исполнить «малейшие заповеди», которые по евангелию изложены в книге Л. Н. Толстого — применительно к помехам-соблазнам. Сама их последовательность неслучайна, обратим внимание:

Первая, Мф. 5: 21 – 26.

²¹ Вы слышали, что сказано древним: «не убивай, кто же убьёт, подлежит суду».

²² А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной.

²³ Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,

²⁴ оставь там дар твой пред жертвенником, и пойдя прежде примиришься с братом твоим, и тогда придешь и принеси дар твой.

²⁵ Мирись с соперником твоим скорее, пока ты ещё на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу;

²⁶ истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта».

Уже эта «малая заповедь» выводит нас к теме войны, хотя она касается преимущественно личных отношений двух и более человек и мотивирует христианское сознание личности к тому, чтобы никого, ни одного человека, не считать «ниже», ничтожней себя, человеком

«пустым» («рака») или сумасшедшим («безумным»). Действительный сумасшедший, с позиций христианского понимания жизни, достоин увещания, а невменяемый — сожаления, бережения от зла в нём самом, но никак не расправы. Их грехи, их порочность — это их и общая (Церкви) беда, но никак не повод к осуждениям, к обвинениям и расправам. Первая заповедь открыто, из уст самого Христа, запрещает ранним христианам, жившим в еврейском или языческом мире, пользоваться военными либо судебными структурами государства, а предписывает всякому в Церкви Христа *мириться лично*, для своего блага восстанавливая, прежде всего, в своём сознании «блаженства» милости, кротости и миротворства. Недостаёт своего слова и влияния — помочь может Церковь, но никогда — не языческое судилище и не приставы, не полицаи, эта казённая орава мундированных раскормленных уродов!

Все попытки возражать на очевидный вывод о несоотнесимости этой Заповеди с деятельностью судебных систем в России и других государствах — это попытки людей, не вытряхнувших из своей головы пережитки языческого и еврейского жизнепониманий, обмануть себя и других. Это попытки умозрительно изъять личность осуждающего из социальных контекстов, представить в теории **не-системно** то, что по сущности своей всегда сложно-системно.

Правильное же суждение просто: если христианин и общность христиан (Церковь) исключат для себя, как грех, возможность в головах, *каждый лично*, осуждать, ничтожить человека, желать для него расправы, наказания — они *тем более* не станут, да и просто не смогут, выносить осуждение, греховные помыслы о «наказании», о принуждении кого-то на *системно организованный уровень*, то есть, на практике: пользоваться судами, полицией, охранниками, тюрьмами, военщиной... а вместо этого доверятся воле Бога, *от себя* требуя только смирения и страха (включая осуждение) *своих* грехов (страха Божия). То, что недопустимо и невозможно для каждого отдельного члена общности — тем более недопустимо и не может быть оправдано для всей общности в целом.

Таким образом, невозможны в отношениях истинных последователей Христа даже армии, приготовления к войнам и вооружение для солдатни и полицаев, а не только стычки, и тем более агрессивные нападения.

Недопустимы и неоправданны гнев и деяния его... но при этом, к сожалению — возможны, исходя из особых характеристик сложных

систем, а также знаниевой ограниченности и личных свойств их человеческих распорядителей. Но и это было ведомо Богу и Христу Его — и ради этого разрешён учением Христа *праведный гнев*: гнев пророка и обличителя лжи и зла общественного устройства. В обществе христиан, где торжествует авторитет не силы, а именно знания (эпистемос) — этого было бы достаточно для прохождения общественной системой своих кризисов мирно и бескровно: так, как старец Толстой и представлял себе в 1900-х «настоящую» революцию.

По таким идеалам до невозможности тяжело жить одному человеку христианину — когда нет, как таковой, истинной Церкви. Жить среди хищников, одержимых фобиями и страстями, похотями, характерными для язычников и евреев. Вот почему Иисус основал Церковь и заповедал ученикам своим сохранить её — конечно, не внешнюю структуру, не иерархию, справедливо изобличённые и проклятые Л. Н. Толстым, а именно *состояние сознания*, убеждения и психический строй, которые должны отличать их от язычников и евреев. К несчастью, исторически очень быстро (уже во II – III веках) совершилась в Церкви Христа подмена христианского жизнепонимания языческим и еврейским, которая привела к той гибели христианства, о которой писал Толстой в трактате «В чём моя вера»:

«Христианская церковь со времён Константина не потребовала никаких поступков от своих членов. Она даже не заявляла никаких требований воздержания от чего бы то ни было. Христианская церковь признала и освятила всё то, что было в языческом мире. Она признала и освятила и развод, и рабство, и суды, и все те власти, которые были, и войны, и казни, и требовала при крещении только словесного, и то только сначала, отречения от зла; но потом при крещении младенцев перестали требовать даже и этого.

Церковь, на словах признавая учение Христа, в жизни прямо отрицала его.

Вместо того чтобы руководить миром в его жизни, церковь в угоду миру перетолковала метафизическое учение Христа так, что из него не вытекало никаких требований для жизни, так что оно не мешало людям жить так, как они жили. Церковь раз уступила миру, а раз уступив миру, она пошла за ним. Мир делал всё, что хотел, предоставляя церкви, как она умеет, поспевать за ним в своих объяснениях смысла жизни. Мир учреждал свою, во всём противную учению Христа жизнь, а церковь придумывала иносказания, по которым бы выходило, что люди, живя противно закону Христа, живут

согласно с ним. И кончилось тем, что мир стал жить жизнью, которая стала хуже языческой жизни, и церковь стала не только оправдывать эту жизнь, но утверждать, что в этом-то и состоит учение Христа» (23, 439).

Вторая малая заповедь (Мф. 5: 27 – 32).

²⁷ Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодействуй».

²⁸ А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём.

²⁹ Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в геенну.

³⁰ И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки её и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в геенну.

³¹ Сказано также, что если кто разведётся с женою своею, пусть даст ей разводную.

³² А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подаёт ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведённой, тот прелюбодействует.

Это малое правило разумной повседневности — так же о межличностном уровне отношений: мужчины и женщины. Для христианского сознания не могут существовать крайности «патриархальности» или «феминизма», а есть только равенство женщины и мужчины, как работников Божьих в мире.

К сожалению, именно в этой заповеди, делающей невозможными похоть и блуд, в сильнейшей степени выразилась реакция еврейского и языческого сознания тех, кто, через века после Христа сперва составлял «канонические» евангелия, а потом толковал их. Перетолковали так, что в христианских странах (не исключая буржуазной России эпохи Толстого) оказались возможны и блядство (проституция), и даже его системный уровень организации — знаменитые «билеты» и публичные дома.

Половая похоть, в сочетании с гордостью своей животной силой, умом, красотой, привлекательностью и пр. – тяжёлый крест. Но если удерживаешь в себе состояние сознания блаженств, слияния своей воли с волей Бога и памятуешь Первую Заповедь — то победишь и это, и целомудрие половое станет частью твоей жизни. Если.

Третья малая заповедь (Мф. 5: 33 – 37).

³³ Ещё слышали вы, что сказано древним: «не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои».

³⁴ А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий;

³⁵ ни землёю, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя;

³⁶ ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или чёрным.

³⁷ Но да будет слово ваше: «да, да»; «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого.

Заповедь сия предостерегает христианина от того, чтобы выходить из воли Отца уже в отношениях не личности с личностью, а — с общностями нехристиан, среди которых приняты обещания и клятвы (включая официальные: клятвы на суде, военные присяги и пр.). Христианин ни в чём не должен обещаться, делая себя манипулируемым рабом этих людей.

Нельзя, например, у банкира или ростовщика (еврея, православного или любого иного нехристя) брать деньги с обещанием как-то вернуть: кредиты, ипотеки и пр. И этого тоже — не исполнить без предания себя во власть Бога, без доверия Ему, без смирения и страха Божия (страха согрешить). Не будет этого — и завладеют христианином первобытные соблазны и страхи, и повлекут его под длань богачей: дабы купить себе деньгами эфемерное «обеспечение» своей жизни. Повлекут под власть языческого меча и дубинки от правителей государственной власти — ради эфемерной же «безопасности» от других таких же носителей мечей и дубин...

А в общине христиан — не было бы вовсе счётов, обязательств и денег. Христианское отношение к труду как деятельности не для себя и не для общества, а во славу Божию и собственности как результату такого труда (всехнего, общего владения общины как материального, утилитарного, хозяйственно-повседневного выражения способа бытия единой Церкви, единого Тела Христова, единого Бога — альтернативного языческой государственности) исключило бы такое самопорабощение.

Не жалей просящему ни рубашки, ни верхней одежды... Но антихристов мир любит не просить, а грабить от чужих трудов. Оттоль есть пошло и государство Российское. «Полюдьё» древних князей или современная налоговая служба путинской России — всё только формы узаконенного, введённого в систему грабежа. Что делать? Только положиться на волю Бога, на спасение от Него. Как может

«случай» (?) увести от человека дикого зверя, изготовившегося убить его, отвлечь его внимание — так в мире зла, в мире животной жизни могут таким же Божиим промыслом явиться симпатанты и защитники будущих христианских общин, которые отведут от них внимание системно организованных грабителей (правительств) и сэберегут от грабителей-одиночек, не успевших расстаться с воровскими замашками своих первобытных животных предков. Не важно, как это *будет*. «Может быть и то, что и нас не будет» — ответил бы Толстой. Важно одно: не нарушить страхами своего единения с Богом. Не уступать соблазну в себе и обману внешнему, его разжигающему:

«Обман же состоит в том, что люди вперёд обещаются повиноваться тому, что велит человек или люди, тогда как человек не может никогда повиноваться никому, кроме Бога. Я знаю теперь, что самое страшное по своим последствиям зло мира — убийства на войнах, заключения, казни, истязания людей совершаются только благодаря этому соблазну, во имя которого снимается ответственность с людей, совершающих зло. Вспоминая теперь многое и многое зло, которое заставляло меня осуждать и не любить людей, — я вижу теперь, что всё оно было вызвано присягой — признанием необходимости подчинить себя воле других людей. Я понимаю теперь значение слов: всё, что сверх простого утверждения или отрицания — да и нет, все, что сверх этого, всякое обещание, даваемое вперёд, — есть зло. Понимая это, я верю, что клятва губит благо моё и других людей; и вера эта изменяет мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. Всё то, что прежде казалось мне хорошим и высоким, обязательство верности правительству, подтверждаемое присягой, вымогание этой присяги от людей и все поступки, противные совести, совершаемые во имя этой присяги, — всё это представилось теперь мне и дурным и низким. И потому я не могу уже теперь отступить от заповеди Христа, запрещающей клятву; не могу уже клясться другому, ни заставлять клясться других, ни содействовать тому, чтобы люди клялись и заставляли клясться других людей и считали бы клятву или важною и нужною, или хотя бы не вредною, как это думают многие» (23, 458 – 459).

Эта христианская трактовка Льва Николаевича в духовном слове «В чём моя вера?» весьма значительна для нашей темы: к ней, наряду с евангельским текстом, уже в 1880-е и начале 1890-х годов апеллировали идейные отказники от участия в военной службе и в войне.

Обратившись к исполнению первых трёх, честно стараясь для этого, легко христианину исполнить и **четвёртую** малую заповедь (Мф. 5: 38 – 42):

³⁸ Вы слышали, что сказано: «око за око и зуб за зуб».

³⁹ А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую;

⁴⁰ и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду;

⁴¹ и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.

⁴² Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.

Заповедь эта касается уже отношений *крупных общностей* людей, подразумевающую (как и проповедал Толстой) сперва исключение насилия как способа временно необходимого в мирской жизни противления всему тому, что субъективно атрибутируется личностями и общностями таковых как «злое». А в перспективе же знаниевого и нравственного совершенствования в Боге членов Церкви Его, в перспективе всемирного торжества христианского жизнепонимания — и совершенное непротивление, как идеал, разумеющий, вероятно, могущество человечества отдалённого будущего *сполна предвидеть и предотвращать* то, с чем приходится пока бороться нам, в крайней нужде обращаясь к силе.

Вот что в книге «В чём моя вера?» пишет об этой, значительнейшей в борьбе с войной, заповеди Лев Николаевич:

«Христос открыл мне, что четвёртый соблазн, лишаящий меня моего блага, есть противление злу насилием других людей. Я не могу не верить, что это есть зло для меня и других людей, и поэтому не могу сознательно делать его и не могу, как я делал это прежде, оправдывать это зло тем, что оно нужно для защиты меня и других людей, для защиты собственности моей и других людей; не могу уже при первом напоминании о том, что я делаю насилие, не отказаться от него и не прекратить его.

Но мало того, что я знаю это, я знаю теперь и тот соблазн, который вводил меня в это зло. Я знаю теперь, что соблазн этот состоит в заблуждении о том, что жизнь моя может быть обеспечена защитой себя и своей собственности от других людей. Я знаю теперь, что большая доля зла людей происходит оттого, что они, вместо того чтобы отдавать свой труд другим, не только не отдают его, но сами лишают

себя всякого труда и насилем отбирают труд других. Вспоминая теперь всё то зло, которое я делал себе и людям, и всё зло, которое делали другие, я вижу, что большая доля зла происходила оттого, что мы считали возможным защитой обеспечить и улучшить свою жизнь. Я понимаю теперь значение слов: человек рождён не для того, чтобы на него работали, но чтобы самому работать на других, и значение слов: трудящийся достоин пропитания. Я верю теперь в то, что благо моё и людей возможно только тогда, когда каждый будет трудиться не для себя, а для другого, и не только не будет отставивать от другого свой труд, но будет отдавать его каждому, кому он нужен.

И вера эта изменила мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. Всё, что прежде казалось мне хорошим и высоким — богатство, собственность всякого рода, честь, сознание собственного достоинства, права, — всё это стало теперь дурно и низко; всё же, что казалось мне дурным и низким — работа на других, бедность, унижение, отречение от всякой собственности и всяких прав, — стало хорошо и высоко в моих глазах. Если теперь я и могу в минуту забвения увлечься насилем для защиты себя и других или своей или чужой собственности, то я не могу уже спокойно и сознательно служить тому соблазну, который губит меня и людей; я не могу приобретать собственности; не могу употреблять какое бы то ни было насилие против какого бы то ни было человека, за исключением ребёнка, и то только для избавления его от предстоящего ему тотчас же зла; не могу участвовать ни в какой деятельности власти, имеющей целью ограждение людей и их собственности насилем; не могу быть ни судьёй, ни участником в суде, ни начальником, ни участником в каком-нибудь начальстве; не могу содействовать и тому, чтобы другие участвовали в судах и начальствах» (23, 459 – 460).

Как ни пространны эти великолепные отрывки, а их нужно здесь привести. Потому что вот этот, в частности, великолепно изобличает сторонников теперешней разбойничьей войны путинской России в Украине — в массе своей наивно, но агрессивно высмеивающих процитированную Христову заповедь, именуя её, для удобства отрицания, *выдумкой Толстого*, его еретическим «учением непротивления». Собственно сказать, из тех же позиций исходят не одни дилетанты, но, много утончённей по внешности, и казённо дипломированные подпутинские гуманитарии: научные, музейные работники, в уходящем 2022-м году доказавшие, в массе своей, свои подлость

и рептильность, своё *нехристианское отношение к труду* и результатам его. Именно бюджетная подпутинская сволочь в наши дни — основные доносчики, использующие полицаев и судилища разбойничавшей России часто ради корысти или личной мести.

Ибо, обратим внимание, Толстой связывает соблазн нарушения заповеди «не противьтесь злему» именно с *отношениями людей в процессе производства и распределения жизненных благ*.

И исторически он совершенно прав! Государства начались с «городов» — в этимологически исконном значении данной лексемы: огороженных мест, крепостей. А строились даже древнейшие такие укрепления — не для добра: для укрытия с награбленным вооружённых грабителей и для обороны от ограбленных и от конкурентов в грабеже! Тем нелепее и смехотворней в современной, насквозь разбойничьей и милитаристской России всякий критик Толстого, уверенно судящий о христианском исповедничестве яснополянца, но при этом комфортно проживающий в центрах старого и современного кровавого грабежа: скажем, в Туле, в Москве или Санкт-Петербурге.

Наконец, для отказавшегося от всех системных уровней суда над ближними, всякого ничтожения их; от всякого пользования человеком как средством своих целей (включая половой грех); для победившего похоти и прихоти, а главное страхи, влекущие к князям и толстосумам мира сего, заставляющие обещаться им в данях или служении; для отвергнувшего насилие как негодящий путь борьбы со злом — открывается возможность исполнения и **пятой** малой заповеди (Мф. 5: 43 – 48):

⁴³ Вы слышали, что сказано: «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего».

⁴⁴ А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,

⁴⁵ да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

⁴⁶ Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?

⁴⁷ И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?

⁴⁸ Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

Это Заповедь об *ответании любовью на вражду*. Именно так её исполнение в мирских условиях и нужно понимать — а не так, как трактуют её те, кто желают выставить её неисполнимой: как «заповедь любви к врагам». Для христианского сознания не может быть «врагов».

В главе VI книги «В чём моя вера?» Лев Николаевич рассказывает, как пришёл к верному, истинно христианскому пониманию этого малого правила Нагорной проповеди — неразрывно связав её с осуждением Христом войн и военщины. Слово «враг» употребляется в евангелиях в единственном числе, как и в Ветхом Завете — по той причине, что речь не о враге личном того или иного человека, а о «совокупности вражеского народа»:

«Христос... говорит: вам сказано, что надо любить своих и ненавидеть врага народного; а я говорю вам: надо любить всех без различия той народности, к которой они принадлежат.

[...] Нельзя любить личных врагов. Но людей вражеского народа можно любить точно так же, как и своих. И для меня стало очевидным, что, говоря: вам сказано: люби ближнего и ненавидь врага, а я говорю: люби врагов, Христос говорит о том, что все люди приучены считать своими ближними людей своего народа, а чужие народы считать врагами, и что он не велит этого делать. Он говорит: по закону Моисея сделано различие между евреем и не евреем — врагом народным, а я говорю вам: не надо делать этого различия. И точно, и по Матфею и по Луке вслед за этим правилом он говорит, что для Бога все равны, на всех светит одно солнце, на всех падает дождь; Бог не делает различия между народами и всем делает равное добро; то же должны делать и люди для всех людей без различия их народностей, а не так, как язычники, разделяющие себя на разные народы» (23, 364 – 365).

Актуальное, повседневное практическое приложение этого малого правила очевидно: необходимо «не враждовать с чужими народами, не воевать, не участвовать в войнах, не вооружаться для войны, а ко всем людям, какой бы они народности ни были, относиться так же, как мы относимся к своим» (Там же. С. 355 – 356).

Дальнейшие комментарии Толстого — для тех уже, кому не свято евангельское слово и кто убеждён, что перетолкование попами и богословами первоначальной Истины в угоду мирскому устройению жизни вернее, нежели прямое значение слов Иисуса Христа:

«Причина моего непонимания была та же, что и причина непонимания запрещения судов и клятвы. Очень трудно понять, что те суды, которые открываются христианскими молебствиями, благословляются теми, которые считают себя блюстителями закона Христа, что эти-то самые суды несовместимы с исповеданием Христа и прямо противны ему. Еще труднее догадаться, что та самая клятва, к которой приводят всех людей блюстители закона Христа, прямо запрещена этим законом; но догадаться, что то, что в нашей жизни считается не только необходимым и естественным, но самым прекрасным и доблестным — любовь к отечеству, защита, возвеличение его, борьба с врагом и т.п., — суть не только преступления закона Христа, но явное отречение от него, — догадаться, что это так, — ужасно трудно. Жизнь наша до такой степени удалилась от учения Христа, что самое удаление это становится теперь главной помехой понимания его. Мы так пропустили мимо ушей и забыли все то, что он сказал нам о нашей жизни, — о том, что не только убивать, но гневаться нельзя на другого человека, что нельзя защищаться, а надо подставлять щёку, что надо любить врагов, — что нам теперь, привыкшим называть людей, посвятивших свою жизнь убийству, — христолюбивым воинством, привыкшим слушать молитвы, обращённые ко Христу о победе над врагами, славу и гордость свою полагающим в убийстве, в некоторого рода святыню возведшим символ убийства, шпагу, так что человек без этого символа, — без ножа, — это осрамлённый человек, что нам теперь кажется, что Христос не запретил войны, что если бы он запрещал, он бы сказал это яснее. Мы забываем то, что Христос никак не мог себе представить, что люди, верующие в его учение смирения, любви и всеобщего братства, спокойно и сознательно могли бы учреждать убийство братьев» (Там же. С. 366).

Добрую же весточкой для уверовавших Толстой сообщает сведения из сочинения древнего христианского учителя Оригена (Ориген Адаманти; др.-греч. Ὀριγὲνης Ἀδαμάντιος, лат. Origenes Adamantius; ок. 185, Александрия — ок. 254, Тир), указывавшие на отрицательное отношение к военной службе первых христиан (Там же. С. 367).

Но не то в веке XIX-м, через 1800 лет после Христа, в православной Российской Империи:

«Теперь и вопроса нет о том, может ли христианин участвовать в войнах. Все молодые люди, воспитываемые в церковном законе, называемом христианским, каждую осень, когда настанет срок,

идут в воинские присутствия и с помощью церковных пастырей отрекаются от закона Христа. Только недавно нашёлся один крестьянин, который на основании Евангелия отказался от военной службы. Учителя церкви внушали крестьянину его заблуждение; но так как крестьянин поверил не им, но Христу, то его посадили в тюрьму и продержали там до тех пор, пока он не отрёкся от Христа» *(Там же. С. 367 – 368).*

Открытие это перевернуло сознание Льва-учителя, позволив ему уверовать в близость Царства Божьего на Земле, в победу над системным насилием войн. По открывшемуся ему пониманию, «установление царства Бога на земле зависело и от нас. Исполнение учения Христа, выраженного в пяти заповедях, устанавливало это Царство Божие. Царство Бога на земле есть мир всех людей между собою. Мир между людьми есть высшее доступное на земле благо людей. Так представлялось царство Бога всем пророкам еврейским. И так оно представлялось и представляется всякому сердцу человеческого» *(Там же. С. 370).*

А вот что Лев-учитель, Толстой-христианин постановил для нас о «пятом соблазне» в завершающей, XII-й, главе слова «В чём моя вера?»:

«Христос открыл мне, что пятый соблазн, лишаящий меня моего блага, — есть разделение, которое мы делаем между своими и чужими народами. Я не могу не верить в это, и потому если в минуту забвения и может подняться во мне враждебное чувство к человеку другого народа, то я не могу уже в спокойную минуту не признавать это чувство ложным, не могу оправдывать себя, как я прежде делал это, признанием преимущества своего народа над другими, заблуждениями, жестокостью или варварством другого народа; не могу, при первом напоминании о том, не стараться быть более дружелюбным к человеку чужого народа, чем к соотечественнику.

Но мало того, что я знаю теперь, что разделение моё с другими народами есть зло, губящее моё благо, — я знаю и тот соблазн, который вводил меня в это зло, и не могу уже, как я делал это прежде, сознательно и спокойно служить ему. Я знаю, что соблазн этот состоит в заблуждении о том, что благо моё связано только с благом людей моего народа, а не с благом всех людей мира. Я знаю теперь, что единство моё с другими людьми не может быть нарушено чертою границы и распоряжениями правительств о принадлежности

моей к такому или другому народу. Я знаю теперь, что все люди везде равны и братья.

Вспоминая теперь всё то зло, которое я делал, испытал и видел вследствие вражды народов, мне ясно, что причиной всего был грубый обман, называемый патриотизмом и любовью к отечеству. Вспоминая своё воспитание, я вижу теперь, что чувства вражды к другим народам, чувства отделения себя от них никогда не было во мне, что все эти злые чувства были искусственно привиты мне безумным воспитанием. Я понимаю теперь значение слов: творите добро врагам, делайте им то же, что и своим. Вы все дети одного Отца, и будьте так же, как и Отец, то есть не делайте разделения между своим народом и другими, со всеми будьте одинаковы. Я понимаю теперь, что благо возможно для меня только при признании своего единства со всеми людьми мира без всякого исключения.

Я верю в это. И вера эта изменила всю мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. То, что мне представлялось хорошим и высоким — любовь к отечеству, к своему народу, к своему государству, служением им в ущерб блага других людей, военные подвиги людей, — всё это мне показалось отвратительным и жалким. То, что мне представлялось дурным и позорным — отречение от отечества, космополитизм, — показалось мне, напротив, хорошим и высоким. Если я и могу теперь в минуту забвения содействовать больше русскому, чем чужому, желать успеха русскому государству или народу, то не могу я уже в спокойную минуту служить тому соблазну, который губит меня и людей. Не могу признавать никаких государств или народов, не могу участвовать ни в каких спорах между народами и государствами, ни разговорами, ни писаниями, ни тем более службой какому-нибудь государству. Я не могу участвовать во всех тех делах, которые основаны на различии государств — ни в таможенных или сборах пошлин, ни в приготовлении снарядов или оружия, ни в какой-либо деятельности для вооружения, ни в военной службе, ни тем более в самой войне с другими народами, и не могу содействовать людям, чтобы они делали это» (23, 460 – 461).

Мимоходом заметим, что в этом тексте содержится, в числе прочего, и ответ тем рашистским, путинским спекуляторам, которые уловляют Л. Н. Толстого на «непоследовательности в пацифизме» (глубже пацифизма они не способны ничего понимать) на основании его сочувствия к солдатам, например, Русско-японской войны и сожаления о сдаче Порт-Артура. Отчасти это было у Толстого «в минуту

забвения», духовной слабости, характерной для *живой* веры, отчасти же — по соболезованию народу, главной жертве преступной войны. Думается, в наши дни, совершенно не в ущерб христианской вере своей, Толстой, кроме такого сочувствия, желал бы скорейшей победы маленькой Украине, обороняющейся от огромного соседа, бандита и террориста, как маленький библейский Давид от великана Голиафа.

А вот, как христианский идеал, что постановлено в книге «В чём моя вера?», по отношению даже к оборонительной войне:

«Придёт войной неприятель или просто злые люди нападут на меня, думал я прежде, и если я не буду защищаться, они оберут нас, осрамят, измучают и убьют меня и моих близких, и мне казалось это страшным. Но теперь всё, смущавшее меня прежде, показалось радостным и подтвердило истину. Я знаю теперь, что и неприятели и так называемые злодеи и разбойники, все — люди, точно такие же сыны человеческие, как и я, так же любят добро и ненавидят зло, так же живут накануне смерти и так же, как и я, ищут спасения и найдут его только в учении Христа. Всякое зло, которое они сделают мне, будет злом для них же, и потому они должны делать мне добро. Если же истина неизвестна им и они делают зло, считая его благом, то я знаю истину только для того, чтобы показать её тем, которые не знают её. Показать же её им я не могу иначе, как отречением от участия в зле, исповеданием истины на деле.

Придут неприятели: немцы, турки, дикари, и, если вы не будете воевать, они перебьют вас. Это неправда. Если бы было общество христиан, не делающих никому зла и отдающих весь излишек своего труда другим людям, никакие неприятели — ни немцы, ни турки, ни дикие — не стали бы убивать или мучить таких людей. Они брали бы себе всё то, что и так отдавали бы эти люди, для которых нет различия между русским, немцем, турком или дикарём. Если же христиане находятся среди общества нехристианского, защищающего себя войною, и христианин призывается к участию в войне, то тут-то и является для христианина возможность помочь людям, не знающим истины. Христианин для того только и знает истину, чтобы свидетельствовать о ней перед теми, которые не знают её. Свидетельствовать же он может не иначе как делом. Дело же его есть отречение от войны и делание добра людям без различия так называемых врагов и своих.

Но не неприятели, а свои же злые люди нападут на семью христианина и, если он не будет защищаться, оберут, измучают и убьют его и его близких. Это опять несправедливо. Если все члены семьи — христиане и потому полагают свою жизнь в служении другим, то не найдётся такого безумного человека, который лишил бы пропитания или убил бы тех людей, которые служат ему. Миклухо-Маклай поселился среди самых зверских, как говорили, диких, и его не только не убили, но полюбили его, покорились ему только потому, что он не боялся их, ничего не требовал от них и делал им добро. Если же христианин живёт среди нехристианской семьи и близких, защищающих себя и свою собственность насилием, и христианин призывается к участию в этой защите, то этот призыв и есть для христианина призыв к исполнению своего дела жизни. Христианин только для того и знает истину, чтобы показать её другим и — более всего — близким ему, связанным с ним семейными и дружескими связями людям, а показать истину христианин не может иначе, как не впадая в то заблуждение, в которое впали другие, не становясь на сторону ни нападающих, ни защищающих, а отдавая все другим, жизнью своей показывая, что ему ничего не нужно, кроме исполнения воли Бога, и ничего не страшно, кроме отступления от неё.

Но правительство не может допустить того, чтобы член общества не признавал основ государственного порядка и уклонялся от исполнения обязанностей всех граждан. Правительство потребует от христианина присяги, участия в суде, военной службе и за отказ подвергнет его наказанию — ссылке, заключению, даже казни. И опять-таки это требование правительства будет для христианина только призывом его к исполнению своего дела жизни. Для христианина требование правительства есть требование людей, не знающих истины. И потому христианин, знающий её, не может не свидетельствовать о ней перед людьми, не знающими её. Насилие, заключение, казни, которым подвергнется вследствие этого христианин, дают ему возможность свидетельствовать не словами, а делом. Всякое насилие: война, грабеж, казни происходят не вследствие неразумных сил природы, но производятся людьми заблудшими и лишёнными знания истины. И потому чем большее зло делают эти люди христианину, тем более они далеки от истины, тем несчастнее они и тем нужнее им знание истины. Передать же знание истины людям христианин не может иначе, как воздержанием от того за-

блуждения, в котором находятся люди, делающие ему зло, воздаянием добра за зло. И в этом одном всё дело жизни христианина и весь смысл ее, не уничтожаемый смертью.

Люди, связанные друг с другом обманом, составляют из себя как бы сплоченную массу. Сплочённость этой массы и есть зло мира. Вся разумная деятельность человечества направлена на разрушение этого сцепления обмана» (23, 462 – 464).

То есть и ложь, прикрывающая и оправдывающая насильнический строй общественной жизни, тоже образует в лжехристианском мире свои «сцепления», системные формы, отравляя общественное сознание.

Велики в году 2022-м эти «сцепления обмана» в головах и в поведении людей, поддерживающих в России и ряде не расставшихся с ресентиментом и архаикой стран — по отношению к деятельности путинской России как международного преступника: агрессора, палача, террориста, вандала... Но велико и слово Бога, Иисуса и Льва, служащее разрушению «сцепления обмана»!

Как не может быть «рака», предназначенных для казней, тюрем, телесных расправ, так для христианского религиозного понимания жизни нет и не может быть и «врагов» для военного нападения. Есть только люди, в той или иной степени невежественные и омрачённые. Соответственно, и путь исправления для большинства — учение, наставление, просвещение. Пресловутых же «неисправимых» в подлинно христианском обществе было бы *слишком* видно, чтобы можно было бояться их поступков. Так как весь мир Божий, вся вверенная Свыше человечеству планета Земля — одна всехняя, общая мастерская нашего труда во славу Отца, то в ней всегда найдутся места, где в *достойных человека* условиях, пусть и под контролем опекунов, могли бы жить самые «неизлечимые», непригодные для общего труда Всевышнему. В сказке Н. Носова о страшном антимире жителей Луны (в котором можно опознать много черт буржуазной России) был т.н. Дурацкий остров, куда, отлавливая на улицах, отправляли социально слабых, неблагополучных (а заодно и оппозиционно настроенных к режиму) обитателей лунных городов. Остров, находясь на котором, они деградировали в сытом безделье и погибали. Значит, не в злом антимире (в котором читатели легко опознают сходство с современной путинской Россией), а в *мире Божьем*

может быть и *человечный остров*, остров торжества христианского милосердия и заботливой любви к таким людям.

Потому что нет вообще ничего «неизлечимого» или «неисправимого», а есть — *неумение* людей, созданное ими же: тем, что люди, миллиарды людей, считавшие и считающие себя «хорошими», не преступными и здоровыми, *две тысячи лет после Христа*, не исполняя его учения, тратили основное время жизни, основные силы и средства не на познание и совершенствование мира и самих себя, а на обслуживание страстей и фобий — своих и чужих. На глупости и гадости, такие, как скопление богатств, торговля, война... Оттого и нет ни у интеллектуальной, ни у властной элиты любого общества, не говоря о простецах, умения одолеть заблуждения и страсти в других, но досаду за это, катализируемую ненавистью и страхами — неверно переносить с себя на «врагов», расчеловечивать их в своих «хороших» головах, чтобы оправдать траты украденных у трудящегося народа средств на свою «обеспеченную безопасность», а заодно на военный разбой.

Каждая из «малейших заповедей» Христовых по существу своему *отменяет* некоторое правило из древнего Моисеева закона. И самая первая — как раз отменяет осуждение и приговоры посредством судов: «не убивай, кто же убьёт, подлежит суду» (*Исх. 20: 13*). Не только нельзя христианину приговорить человека к казни, к смерти, но нельзя и того, как мы сказали, что между язычниками, рабами зверя (звериных, животных атавизмов своей психики) приводит к внесудебным расправам, дракам... даже просто к осуждению согрешившего человека.

Осуждать можно и нужно — сам порок, грех. В этом праведный, разрешённый Христом гнев: гнев учителя и пророка. Тем более осуждать, бороться ненасильственно, словом, можно и нужно с *системными формами*, которые в общностях мнимых «христиан», адептов «исторически сложившихся» церковью лжехристианского обрядоверческого идолопоклонства, принимают их грехи и пороки. Драка в усложнении, в системе и организации — это война. Война в латентной, системно-вариативной форме — это торговля и всякая конкурентная борьба в обществе. Наконец, бытует и желание индивидов мстить, осуждать и наказывать, но подло, не подвергая себя, своей лично жопы, опасности на поле военного ристалища. Будучи возведено в состояние системы, организации, оно множит суды, тюрьмы, казни... Любители возражать на это обличают себя уже тем,

что допускают в своих общностях, *помимо* официоза, ещё и периодически совершающиеся самосуды, избиения пойманных «преступников», пытки в полицейских и тюремных узилищах... А в условиях путинского террора в Украине судилища невинных, протестующих против войны, равно и пытки и казни, в том числе бандитские, во все без суда, стали обыденным явлением как на территории разбойничьего гнезда с самоназванием «Россия», так и на временно оккупированных этим государством территориях Украины. Всё это красноречиво подтверждает правоту Л. Н. Толстого в его обличении *суеты насилия* с позиций христианского понимания жизни.

Человечество XX – XXI веков своим потенциалом разрушения и самоуничтожения уже настолько вышло из юного возраста, что держаться за отжитое, еврейское, общественно-государственное, жизнепонимание — не только вредно, но и опасно для всех. Яснополянский Лев поэтому, Толстой-христианин — не менее Луки евангелист и не менее Христа спаситель мира.

Уже одной Нагорной проповеди достаточно, чтобы понять, за что возненавидели Христа книжники и фарисеи еврейские. За что его приговорили к смерти. (И за что выжили из дома в осенний холод, в погибель «добрые» жена и детки старца Льва Толстого, а потомки выживают самый дух Толстого своей деятельностью в Ясной Поляне-музее.) Он именно, что *отменял*, на словах и на деле, древний еврейский закон, закон Моисея — но не оставляя своих учеников без руководства, а давая закон новый, более соответственный вечному, Божьему закону для разумных существ разных миров. Тому же учил и учеников своих, св. апостолов.

Эти обстоятельства косвенным образом указывают и на живой, практически применимый характер учения Христа. Толстой посвящает доказательствам трудности, но исполнимости его особую, Десятую главу трактата.

В начале главы — критика ложной веры нашего мира, веры доверия попам и богословам, потакающим и даже льстящим порокам человека:

«Мы составили себе ни на чём, кроме как на нашей злости и личных похотях основанное ложное представление о нашей жизни и о

жизни мира, и веру в это ложное представление, связанное внешним образом с учением Христа, считаем самым нужным и важным для жизни» (23, 411).

Пилатово вопрошание ко Христу: «что есть истина?» — это и вопрошание секуляризованного современного общества, в которой многие уже давно не имеют религиозного руководства жизнью, «единого на потребу». Человеку мира остаётся только «признать освящённую религией беззаконность жизни», а учение Христа — слишком трудным и даже неисполнимым (Там же. С. 412 – 413).

Но Бог не фраер, и учение Христа призывает не к мучительству в монашестве, бегстве от мира, но и не к самообманам мирских людей — настаивает Толстой. Ученики Христа будут в мире радоваться более соблазнённых миром — даже если их и будут гнать злые люди (Там же. С. 415 – 416).

Рабы же и прислужники мира — мученики учения мира и таких же, как они. Пространно сопоставляя их положение с теми, кто выбрали бы путь Христа, Толстой наглядно, осязательно даёт понять всё благо последования религии высшего, актуального понимания жизни:

«Чтобы проверить это, пусть всякий вспомнит все тяжёлые минуты своей жизни, все телесные и душевные страдания, которые он перенёс и переносит, и спросит себя: во имя чего он переносил все эти несчастья: во имя учения мира или Христа?

Пусть всякий искренний человек вспомнит хорошенько всю свою жизнь, и он увидит, что никогда, ни одного раза он не пострадал от исполнения учения Христа...

В своей исключительно в мирском смысле счастливой жизни я наберу страданий, понесённых мною во имя учения мира, столько, что их достало бы на хорошего мученика во имя Христа. Все самые тяжёлые минуты моей жизни, начиная от студенческого пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и тех неестественных и мучительных условий жизни, в которых я живу теперь, — всё это есть мученичество во имя учения мира.

[...] Мы не видим всей трудности и опасности исполнения учения мира только потому, что мы считаем, что всё, что мы переносим для него, необходимо.

Мы уверились в том, что все те несчастья, которые мы сами себе делаем, суть необходимые условия нашей жизни, и потому не можем

понять, что Христос учит именно тому, как нам избавиться от наших несчастий и жить счастливо» (*Там же. С. 416*).

Для рабов и прислужников мира, констатирует Лев Николаевич, часто ограничены либо недоступны «главные условия земного счастья»: общение с природой, «любимый и свободный», здоровый труд, семья — с детьми, общение с людьми — без границ статусов и сословий и, наконец, «здоровье и безболезненная смерть» (*Там же. С. 418 – 422*).

А такая картина общей жизни непременно выводит автора к теме антивоенной. Это, кстати, и о том, что происходит в нашем 2023-м году в России:

«Христос говорит: кто хочет следовать мне, тот оставь дом, поля, братьев и иди за мной — Богом, и тот получит в мире этом во сто раз больше домов, полей, братьев и, сверх того, жизнь вечную. И никто не идёт. [...] Но первый потерянный, никуда, как на убийство, не годный человек в эпохе, которому это взбрёт в голову, скажет: возьми не крест, а ранец и ружьё и иди за мной на всякие мучения и на верную смерть, — и все идут.

Побросав семьи, родителей, жён, детей, одевшись в шутовские одежды и подчинив себя власти первого встречного человека, высшего чином, холодные, голодные, измученные непосильными переходами, они идут куда-то, как стадо быков на бойню; но они не быки, а люди. Они не могут не знать, что их гонят на бойню; с неразрешимым вопросом — зачем? и с отчаянием в сердце идут они и мрут от холода, голода и заразных болезней до тех пор, пока их не поставят под пули и ядра и не велют им самим убивать неизвестных им людей. Они бьют, и их бьют. И никто из бьющих не знает, за что и зачем. Турки жарят их живых на огне, кожу сдирают, разрывают внутренности. И завтра опять свистнет кто-нибудь, и опять все пойдут на страшные страдания, на смерть и на очевидное зло. И никто не находит, что это трудно. Не только те, которые страдают, но и отцы и матери не находят, что это трудно. Они даже сами советуют детям идти. Им кажется, что это не только так надо и что нельзя иначе, но что это даже хорошо и нравственно» (*Там же. С. 422*).

Внушаемое с детства, лживое в своих корнях и всех плодах «учение мира много труднее, опаснее и мучительнее исполнения учения Христа» — перед таким выводом ставит яснополянец своего читателя. Мучеников за веру Христа традиция насчитывает за 1800 лет до 380

тысяч — то есть, как минимум, «на одного мученика Христа придётся тысяча мучеников учения мира, которых страдания в сто раз ужаснее» (*Там же. С. 423*). И если цивилизованный мир уже не склонен делать мучеников из христиан, то число современных мучеников мира отнюдь не убывает:

«Одних убитых на войнах нынешнего столетия насчитывают тридцать миллионов человек.

Ведь это всё мученики учения мира, которым стоило бы не то что следовать учению Христа, а только не следовать учению мира, и они избавились бы от страданий и смерти. Стоит человеку только сделать то, чего ему хочется, — отказаться от того, чтобы идти на войну, — и его послали бы копать канавы и не замучили бы в Севастополе и Плевне» (*Там же*).

Учение Христа первоначальное, возвращённое миру Львом Николаевичем Толстым, приводит принявшего его сердцем, полюбившего Христа, неизбежно к «тому, чтобы перестать мучить себя во имя ложного учения мира» (*Там же*). Люди, соvrащённые вляпанной в мирской жизни самозванкой во Христе, церковью, никогда и не пробовали жить по учению Христа. Корень зла — в их безверии, ставящим их в незащитное положение перед соблазнами и страхами, вызывающими на борьбу с другими людьми:

«...Человек, живущий по его <Христа. – Р. А.> учению, должен быть готов умереть во всякую минуту от насилия другого, от холода и голода, и не может рассчитывать ни на один час своей жизни. И нам кажется это страшным требованием каких-то жертв; а это только утверждение тех условий, в которых всегда неизбежно живёт всякий человек.

Ученик Христа должен был готов во всякую минуту на страдания и смерть. Но ученик мира разве не в том же положении? Мы так привыкли к нашему обману, что всё, что мы делаем для мнимого обеспечения нашей жизни: наши войска, крепости, наши запасы, наши одежды, наши лечения, всё наше имущество, наши деньги, кажется нам чем-то действительным, серьёзно обеспечивающим нашу жизнь.

Мы забываем то, что очевидно каждому, то, что случилось с тем, который задумал построить житницы, чтобы обеспечить себя надолго: он умер в ту же ночь.

Ведь всё, что мы делаем для обеспечения нашей жизни, совершенно то же, что делает страус, останавливаясь и пряча голову,

чтобы не видать, как его убивают. Мы делаем хуже страуса: чтобы сомнительно обеспечить не нашу сомнительную жизнь в сомнительном будущем, мы наверно губим нашу верную жизнь в верном настоящем.

Обман состоит в ложном убеждении, что жизнь наша может быть обеспечена нашей борьбой с другими людьми. Мы так привыкли к этому обману мнимого обеспечения своей жизни и своей собственности, что и не замечаем всего, что мы теряем из-за него. А теряем мы всё — всю жизнь. Вся жизнь поглощается заботой об этом обеспечении жизни, приготовлением к ней, так что жизни совсем не остаётся.

Ведь стоит на минуту отрешиться от своей привычки и взглянуть на нашу жизнь со стороны, чтобы увидеть, что всё, что мы делаем для мнимого обеспечения нашей жизни, мы делаем совсем не для того, чтобы обеспечить нашу жизнь, а только для того, чтобы, занимаясь этим, забывать о том, что *жизнь никогда не обеспечена и не может быть обеспечена*» (Там же. С. 425 – 426. Выделение наше. – Р. А.).

Этот самообман характеризует поведение не только личностей, но и крупных общностей людей, целых народов, и становится причиной войн:

«Французы вооружаются, чтобы обеспечить свою жизнь в 70-м году, и от этого обеспечения гибнут сотни тысяч французов; то же делают все вооружающиеся народы» (Там же. С. 426).

Наконец, на чём мы уже не будем особенно останавливаться, но что необходимо отметить, Толстой называет и характеризует, в завершение Десятой главы великой книги своей, *важнейшее* то, что несомненно установило бы между людьми мир: христианское отношение к труду и распределению его результатов, основанное на евангельском постулате, что «трудящийся достоин пропитания» (Там же. С. 427 – 432).

* * * * *

Слово духовное, христианское Льва Николаевича Толстого к современникам и потомкам «В чём моя вера?» имело долговременные и бессчётные последствия не только для миллионов обитателей нашего лжехристианского мира, жертв, рабов и корыстных прислужников

садо-некрофильской цивилизации, не только для целых стран, первая же из которых Россия — но и лично для Льва Николаевича и членов его семьи. Со времени нелегального распространения в 1882 – 1884 гг. этого сочинения в среде тех, для кого запретный плод особенно сладок, то есть юных и учащихся, Толстой стал превращаться в персону «публичную», начиная от Москвы, куда, мы помним, как на грех, «вытянула» его, как мужа и отца, Софья Андреевна в 1881-м и где он проводил обыкновенно с семейством зимние месяцы, и до международной славы — к несчастью, уже не только писательской, а и скандальной «еретической», проповеднической. Это заблуждение не побеждено по отношению к Толстому-христианину по сей день: например, когда устроенные, в пропитанной коррупцией сверху донизу России, по блату и за взятки в толстовских музеях в Москве и Ясной Поляне, экскурсоводы презентуют Толстого посетителям, как «чудака, выдумавшего собственную религию». Эта неправда восходит именно к первой половине 1880-х, когда такая же легкомысленная, пропитанная мирским развратом интеллигентская сволочь и дрянь, как теперешние подпутинские бюджетнички в толстовских музеях Москвы, Тулы и Ясной Поляны, не только чесали о нём языки, но и, самые наглые, специально навещивалась в хамовническую усадьбу Толстых, чтобы поспорить со «свихнувшимся чудаком», а то и намеренно подразнить его.

Но были среди читателей, адресатов писем, посетителей и настоящие Львята яснополянского исповедника Христа. Неумелость первых общинников и позорная недолговечность аграрных общин, основывавшихся в 1880-е, а в Европе и Штатах и в 1890-е годы преимущественно развращёнными городским и лжехристианским воспитанием, неспособными к коммунитарной жизни и к крестьянскому, сообща, труду молодыми интеллигентами ставится обыкновенно в позор и вину и им, и самому Л. Н. Толстому — и напрасно! Позднейшие общины, в которые, помимо порченных интеллигентов, вливались, словно специально для примера им и для перевоспитания, и крестьяне, были настолько жизнеспособны, что продержались в России, под ударами ненависти от большевистского режима, до 2-й половины 1930-х гг. В Европе и США общины, восходящие своей историей к «толстовскому» христианскому движению, сохранились до сего дня. Общей же внутренней причиной их развала либо буржуазного вырождения было забвение потомками первых общинников и новыми членами *основания* их общего приятного сожительства

— необходимого последования первоначальной, евангельской, *вере Христа!*

Значительно более устойчивым в свободном мире XX столетия, а в XXI-м даже и в России, оказалось апеллирующее к «В чём моя вера?» и другим, сугубо антивоенным, манифестам Толстого движение *отказников от военной службы*. Оно и понятно: для того, чтобы осуществить общинный идеал Толстого, молодым людям требуется основательно изменить и себя, свои предпочтения, и внешний образ жизни — в любом случае, даже не покидая города, распрощаться с его греховными прелестями и заманками, выбрав, теоретически *на всю жизнь*, аскезу и физический труд, да кроме того — *именно христианское* отношение к труду и его результатам, то есть нестяжание и, как следствие, конфликт с мирскими стяжателями власти и богатств, то есть с алчными хозяевами чужих жизней и элитами *любого* государства. В случае же с отрицанием «обязанности убивать» лукавцы пользуются наличествующим, принятым, что называется, «из рук» этих же самых элит, законодательством, имеющим подходящие для них установления даже в современной (осень 2022 г.), фашистской, путинской России. Но как только возраст и собственное мирское положение обеспечат им хотя бы относительную безопасность от армии — весь «пацифизм» и происходящие отчего-то с этих, якобы пацифистских, позиций, симпатии их к исповедничеству и проповеди Льва Николаевича, пацифистом никогда не бывшего, осыпется у них в трусы, как ни бывало!

Совершенно не та ситуация была в имперской, православно-традиционалистской России, где, в отличие от России бандюжьей и изуверской, путинской, ещё искренне верили многие, от генералов до простого призывного солдата, в сакральность царской власти, при которой обязанность «государевой службы» была сродни обязанности по отношению к Богу. С отказниками, уверовавшими Христу и Льву, в отличие от более знакомых сектантов духовно-рационалистического толка, как молокане или духоборы — просто не знали, что делать. Законодательство не предусматривало индивидуального, заданного именно христианским исповедничеством, отказа — не от имени «своих» церкви или секты! Как следствие, «упорных в заблуждении» тётя родина неизбежно превращала в мучеников.

Тема общения Л. Н. Толстого с отказниками именно из его Львят, то есть отказавшихся идти по призыву в войско именно в связи с

влиянием его сочинений и главнейшим, по влиянию в интеллигентных кругах, духовным словом «В чём моя вера?» — отдельная огромная тема, для отдельной книги. Предупредим читателя, что на страницах именно этой книги он может не найти множества известных ему сюжетов, ибо посвящена она, по преимуществу, самым художественным и духовным писаниям, а также публицистическим антивоенным выступлениям Толстого — публичным. А далеко не все письма Учителя Льва ученикам своим во Христе становились не только «открытыми», то есть, согласно с автором, опубликованными в печати, но и сколько-нибудь известными.

Но на одном сюжете здесь же, ниже, нас принуждает остановиться сама логика разработки заданной темы, по причине, значительности данного события для Льва Николаевича, как *первого отказа* от участия в военной службе именно *его* искреннего, убеждённого духовного ученика.

Случай этот, из 1885 года — скорее, семейная история: Толстой ещё не сделался публичным нравственным авторитетом в той степени, чтобы надеяться (как скажем, через десятилетие в деле эвакуации из России сектантов духоборов) на быструю мобилизацию «команды поддержки» в России или за рубежом.

Случилось вот что. В этом же 1885 году чрезвычайно энергичная супруга писателя, Софья Андреевна Толстая, начинает огромное по значению не только семейному (ради необходимых доходов), но и культурному, издательское предприятие. Как следствие, она расширяет круг полезных знакомств и актуализирует необходимые поведенческие приёмы — необходимые для всякого делового успеха. Попросту сказать, становится смелее и наглей. Не раз в будущем, начиная с этого же 1885 года, это поможет её аристократичному воспитанием и слабому в деловой «хватке» супругу!

Вот пример, как вдруг проявился полезный в бизнесе характер верной спутницы Льва. 19 ноября 1885 г. С. А. Толстая приезжает из Москвы в Петербург, где останавливается у своей сестры, Татьяны Андреевны Кузминской. Главная, деловая цель поездки была: получить цензурное разрешение на издание заключительного, 12-го, тома Полного собрания сочинений Льва Николаевича — с уже набранными в печать текстами «Так что же нам делать?», «В чём моя вера?» и других новейших на ту пору сочинений, которые должны были усилить интерес публики ко всему изданию и повысить его

продажность. С этой целью Софья Андреевна намеревалась посетить тогдашнего начальника Главного управления по делам печати Евгения Михайловича Феоктистова, а если понадобится — то и министра внутренних дел гр. Дмитрия Андреевича Толстого. Предприятие было почти наверняка обречено: на эти сочинения Толстого действовал цензурный запрет. Но попробовать-то стоило!

В мемуарах «Моя жизнь» Софья Толстая не без удовольствия вспоминает:

«20-го ноября я отправилась к Феоктистову и повезла набранный корректурный экземпляр XII тома Полного собрания сочинений. Он взял его и приехал ко мне на другой день сам с ответом, что он XII том посылает в духовную цензуру, что всё зависит от Победоносцева, что мне незачем обращаться к министру, а что сам Феоктистов, посоветовавшись с своим главным цензором и прочитав XII том, будет лично хлопотать в духовной цензуре. При этом он мне рассказал следующее:

“На наше горе, в Киеве задержали целую шайку революционеров, нашли все запрещённые сочинения Толстого и тайную типографию”» (МЖ – 1. С. 493).

Конечно, несмотря на внешне сочувственный тон, Феоктистов всей своей беседой, и особенно последним рассказом о поимке якобы “толстовствующих” революционеров намекал Софье Андреевне, что правящий режим не только не намерен, в подобных обстоятельствах, давать цензурные поблажки Толстому, но и недоволен её участием в судьбе запрещённых к печати сочинений её супруга. Более ярко, не завуалировано, это было дано понять ей во второй беседе с Феоктистовым уже 27 ноября.

Вот какие характеристические подробности рассказывает Софья Андреевна Толстая о личной встрече с цензором в мемуарах:

«Швейцару я солгала, что мне в этот час назначено свидание... Делать нечего, отправился докладывать. Феоктистов принял меня довольно любезно, сказал, что не может разрешить «Исповедь» и «В чём моя вера?» и что надо обратиться в духовную цензуру. «Ну, а статья “Так что же нам делать?” и “Сказка об Иване-дураке?”» — спросила я его. «Я этого не читал», — сказал Феоктистов. «Неужели? – удивилась я. – Вы не считаете нужным прочесть Толстого, так как же вы относитесь к простым смертным?» Горячо говорила я и, помолчав, прибавила: «Где вы, Евгений Михайлович? Тот Евгений Михайлович, ко-

того я знала в Москве весёлым, убеждённым либералом, на всё открытый, всем интересующийся?» — «Что ж, испортился я, графиня?» — спросил он меня с какой-то болезненной улыбкой на его неподвижном лице. «Разумеется, испортились, и как это жаль!» (МЖ – 1. С. 495).

Одногодок Л. Н. Толстого, давний знакомый Софьи Андреевны, Евгений Михайлович Феоктистов помягчел при этом напоминании о молодых годах, и... согласился прочесть и дать решение по тем сочинениям Толстого, которые *не* нужно было отсылать к Победоносцеву. По трактату Л. Н. Толстого «Так что же нам делать?» решение было паритетным: чиновник «отметил довольно нелепо и смешно места в статье и прислал книгу на другой день, с письмом, что в таком виде её можно печатать» (МЖ – 1. С. 495).

Но отправка прежде запрещённых сочинений в духовную цензуру всё же была равносильна отказу. Подтверждение запрета становилось формальностью. К. П. Победоносцев, безусловно и общеизвестно, был в отправлении служебных обязанностей неколебим и перед женскими чарами. И всё же...

Соня в тот же день, 27 ноября, нанесла визит и Победоносцеву!

И отобрала у главного «духовного» цензора *моральную* победу — примерно как Украина у путинской России этой, 2022 года, осенью! Вот подробности из книги «Моя жизнь»:

«В тот же день, когда я была у Феоктистова, в 4 часа мне назначил приём и Победоносцев. Поехала я к нему. Встретил меня у двери, ввёл в огромный тёмный кабинет и пригласил сесть в огромное кожаное кресло. Сам он не сел, а высокая, сухая фигура его с серьёзным, недобрим и совсем выбритым лицом остановилась передо мной.

Он выслушал мои просьбы и аргументы по поводу запрещённых статей и начал быстро ходить из угла в угол, доказывая о невозможности разрешить религиозные сочинения Толстого. Я упомянула о сделанных священником Иванцовым-Платоновым комментариях и объяснениях на статьи Толстого, и, по-видимому, это ещё более озлило Победоносцева. Он сказал визгливым, недовольным голосом, что замечания Иванцова-Платонова не только не ослабляют, а увеличивают силу впечатления.

Между прочим Победоносцев мне сказал, остановившись передо мною и глядя мне в упор в глаза:

— Я должен вам сказать, что мне очень вас жаль; я знал вас в детстве, очень любил и уважал вашего отца и считаю несчастьем быть женою такого человека.

— Вот это для меня ново, — ответила я. — Не только я считаю себя счастливой, но все мне завидуют, что я жена такого талантливого и умного человека.

— Должен вам сказать, — говорил Победоносцев, — что я в супруге вашем и ума не признаю. Ум есть гармония, в вашем же муже всюду крайности и углы.

— Может быть, — отвечала я. — Но Шопенгауэр сказал, что ум есть фонарь, который человек несёт перед собой, а *гений* есть солнце, затмевающее всё.

На это он ничего мне не сказал, а мне это так понравилось, что я это и в письме ему потом написала» (*МЖ – 1. С. 495 – 496*).

Высокий в миру чиновник был морально побеждён, хотя на книгу «В чём моя вера?» и был подтверждён им безусловный запрет.

«Разогревшись», Соничка уже не хотела тормозить! Дожидаясь официальной бумажки с уже неинтересным ей «приговором» от Победоносцева, она помогла в решении дел ещё несколькими лицам: например, “пробила” для сестры Татьяны публикацию в журнале «Вестник Европы» рассказа собственного её сочинения — «Бешеный волк».

А очередным “клиентом”, о деле которого пришлось срочно хлопотать в эту же поездку – был, очень привычно для супруги, драгоценный Лев Николаевич. Он “достал” Софью Андреевну в Питере, написав из Москвы 20 ноября письмо (*см.: 83, 529 – 530*) с изложением возникшей проблемы.

Жили-были на свете два брата-дворянина, из рода Залюбовских, именами Анатолий и Алексей. Старший, Анатолий — умный был дитина (в мирском понимании), и сделал блестящую карьеру военного, став офицером в Артиллерийской академии. Младший же, Алёша, человек Божий, успев на заре туманной юности прочитать запрещённое, сладко-притягательное сочинение Л. Н. Толстого «В чём моя вера?» — уверовал, благодаря Льву Николаевичу, в учение Христа и, на основании известного текста Евангелия, в январе 1885 г. *отказался от воинской присяги* (как разновидности запрещённой Христом клятвы). Будучи за то к злодеям причтён, юноша мученик Алексей был отправлен с гауптвахты, вместе с военными уголовниками, в дисциплинарный батальон. В Закаспийскую область, находившуюся в те годы «в исключительном положении» по отношению даже к

военным законам Российской Империи. То есть, в отличие, скажем, от печально известного солдата Шабунина, которого Л. Н. Толстому не удалось спасти от военного суда и расстрела в 1866 году, Алёшеньку, Божьего человека, могли за неповиновение просто-напросто расстрелять без суда — на месте.

Для Толстого это был первый случай мученичества единомышленника во Христе, связанный именно с его влиянием. И — один из немногих случаев в тогдашней России... Понимая всю опасность положения, он посылает ближайшему другу В. Г. Черткову, его тётке, влиятельной графине Шуваловой, П. И. Бирюкову, В. В. Стасову, и, конечно, «дежурной» в таких случаях Софье Андреевне письма с одной и той же мольбой: *спасти юношу Залюбовского*. Главное — нужно было *поднять шум*, дабы тётя «родина», буржуазная и антихристова гадина Россия, не могла прикончить юношу-христианина так, как она всегда любила и любит — подло, трусливо, втихаря:

«Нужно непременно попросить за него; главное затем, чтобы начальствующие знали, что положение этого человека и поступки с ним известны в обществе.

Боюсь, что у тебя много дела, и что ты задосадуешь на меня за то, что я тебе наваливаю это дело. Здесь я не знаю, к кому обратиться» (83, 530).

Откликнулись, так или иначе, все, к кому Толстой обратился в письмах (кроме, кажется, графини Шуваловой). Но только Соне удалось эта, самая настоящая, «операция по спасению»! Первое, что ей нужно было сделать — *успокоить напуганного ребёнка*, сиречь мужа. 23 ноября, в субботу, она как раз получила передышку в хлопотах и пишет Л. Н. Толстому о Залюбовском следующее:

«Сейчас только встала, и хочу ответить тебе, милый Лёвочка, по поводу твоего письма Залюбовского. Вчера я его получила, и Бирюков тоже получил и пришёл ко мне немедленно. Я несколько не досаую, и мне времени очень много, так как я теперь жду, пока читают мой том. [...] Мы решили с Бирюковым розыскать брата, артиллериста-академика. Сегодня в час они ко мне придут. От брата мы узнаем, что было сделано, и что ещё осталось — какие ходы. Единственное, что я могу — и что сделаю, поеду просительницей к военному министру, а Бирюков поедет к великому князю Сергею Александровичу, будет его просить».

И, как хорошая, строгая мама, Соня тут же добавляет к сладкому угощению капельку воспитательно-полезного рыбьего жира:

«Мудрёно и мне, твоей жене, хлопочущей о пропуске сочинений, хлопотать о человеке, принявшем это ученье. Когда я думаю, что я скажу министру или тому, кого я буду просить, то единственное, что я придумываю, это что я прошу потому, что меня просили, и что мне больно, что убеждения этого молодого человека, вероятно, истекающие из проповедуемого тобой учения Христа, послужили не к добру, т. е. не к той цели, которую *ты* имел, а к гибели юноши, и потому я прошу смягчить его участь. — Это единственное, что я придумала, а там видно будет» (ПСТ. 339 – 340).

На следующий день, 24-го – добавляет и новостей, и «воспитания»: «Милый Лёвочка, мы все с таким усердием принялись за дело Залюбовского, что все средства пустили в ход. Не знаю, что выйдет из этого. Вчера у Иславиных барон Гюне обещал [...] узнать для меня ходы к начальнику штаба, Обручеву...

Вчера Бирюков приводил этого брата Залюбовского; но брат тихий, не энергичный и вялый, хотя симпатичный. Бирюков тоже ничего не может.

Гласность этому я придам страшную. Сегодня у Шостак вечер, я еду с этой целью, узнаю ещё кое-что: там пропасть народу будет. Я буду действовать в том духе, чтобы поняли так: «*la pauvre comtesse est au désespoir que les idées de son mari ont eu une si triste influence sur le sort d'un jeune homme*», [фр. «бедная графиня в отчаянии, что идеи её мужа имели такое грустное влияние на судьбу молодого человека»] и что я хлопочу за этого «*jeune homme*».

Таня сестра тоже приняла участие и поедет к одному генералу Бобрикову, которого она знает, начальнику Гвардейского Петербургского штаба.

Вот тебе о твоём деле, милый Лёвочка; мне оно очень больно и неприятно, но я буду действовать с большей энергией, чем о своём, о котором ни слуху ни духу пока» (ПСТ. С. 343 - 344).

Обратим внимание, что дело Залюбовского в письме мужу она именует — *его*, Льва Толстого, делом. На его совести... Своим делом она продолжала считать цензурные хлопоты о вожделенном 12-м томе.

Лев Николаевич очень дипломатично ответил жене в письме от 25 ноября:

«Очень тебе благодарен за хлопоты о Залюбовском. Разумеется, я не так смотрю, как ты, на всё дело, но ты смотришь так, как оно у тебя отразилось в сердце, и иначе нельзя» (83, 536).

Между тем Соничка уже очень тосковала по семье и московскому дому, и писала мужу в письме от 26 ноября: «...Чаша моего нетерпения ехать домой переполняется, и я прихожу в нервную и минутами страшно тоскливую тревогу» (ПСТ. С. 347).

Или, в письме от 27-го, последнем в эту поездку:

«Львы мои, большой и малый, как-то ваше здоровье?» (ПСТ. С. 348).

«Малый Лев» — это, конечно, младший в то время сын, Лев Львович, не отличавшийся крепостью здоровья.

Наконец, профессор Академии генштаба *Александр Казимирович Пузыревский* (1845 — 1904), прежде знавший и любивший только сочинения Мужа (Льва Толстого), был покорён при встрече красотой и манерами Жены, и — «пробил» таки для неё встречу с *Николаем Николаевичем Обручевым* (1830 — 1904), начальником Главного штаба. Соня не успела описать этот визит в своей переписке. Если же верить мемуарам, и в беседе с Обручевым, встретившим было её с иронией — «дама в военном штабе!» — она снова выказала себя как человек выдающегося ума, психологического чутья, немалых решительности и житейской сноровки:



Н. Н. Обручевъ. По поводу 50-лѣтїа служенїа въ офицерскихъ чинахъ.
Съ фот. А. Пазетти автотипїа „Нива“.

Н. Н. Обручев в 1898 г.

«Я изложила ему свою просьбу о смягчении судьбы Залюбовского, отказавшегося от военной повинности и находящегося в дисциплинарном батальоне.

— Дайте мне честное слово, что вы его не убьёте там, — просила я Обручева.

— В этом я могу вам дать слово, но освободить его — невозможно. Ведь если все будут отказываться, то и войска не будет.

— Этого бояться нечего; религиозных людей очень мало. Я прошу вас смягчить его участь, назначив или писарем, или в больницу. Мне очень тяжело, что вследствие учения моего мужа страдают люди, и вот я и хлопочу по этой причине.

Тут Обручев остроумно и бойко начал говорить об убеждениях, жизни и работе Льва Николаевича.

— Вы, верно, студент Московского университета? — вдруг прервала я его.

— Да, я кончил курс в Московском университете. Почему вы догадались, графиня, ведь я военный? — спросил он.

— Чтоб я не узнала *своего*, московского, студента! Да я выросла почти в среде Московского университета, люблю его, сама там экзаменовалась и везде узнаю московского студента!

Это рассмешило Обручева. И вдруг — всё официальное исчезло, и мы начали дружескую беседу, окончившуюся обещанием сделать всё, что можно, для Залюбовского, что и было исполнено.

После того, побывав и у родственников и окончив все дела, я отправилась с восторгом домой» (*МЖ – 1. С. 497*).

Кажется, сложно отрадней картину нарисовать, не так ли?.. Для справедливости стоит заметить, что Алексей Залюбовский успел “хлебнуть” издевательств в дисциплинарном батальоне до того, пока был переведён в нестроевую службу, и лишь в марте 1887 г. был совершенно выключен из военной службы.

3.2. АНТИВОЕННЫЕ СКАЗКИ ДЛЯ НАРОДА (1885 – 1887)

Ещё допреже утверждения антивоенных настроений Льва Николаевича на христианском религиозном фундаменте, то есть до начала 1880-х годов, писатель был «народником», симпатизирующим жизни и трудам народа, а также имел немалый практический и теоретический опыт учителя, педагога. Подобно тому, как всемирная вера христианства адресовывалась самим Учителем Христом прежде всего евреям, своему народу, а уж после — язычникам и всем, кому суждено было спастись, так и Толстой стремился выразить христианское сознание в наидоступнейшем простецам, художественном слове — в серии переработанных им изустных народных легенд,

притч, сказок. Недаром едва не первой острой критики с позиций церковной ортодоксии, и, кстати, чрезвычайно остроумной, глубокой и талантливой, удостоился рассказ-притча Л. Н. Толстого для народного чтения «Чем люди живы?» (1881). Как мы уже упоминали выше, публицист Константин Леонтьев пришёл к аргументированному заключению, что в рассказе выразилось отнюдь не учение ортодоксального православия, а своего рода «розовое» христианство: как разбавленная сладкой водицей кровь, которая уже не красна. Между тем в изустном варианте, в котором Толстой слышал и записал легенду со слов заонежского сказителя В. П. Щеголёнка, она значительно сентиментальней, а кроме того «сдобрена» откровенно сказочным элементом. Рассказ о жизни семьи деревенского сапожника-труженика отличается бытовой и психологической правдой. Лишь в заключительных главах правда реального соединяется с правдой условного, фантастического, идеального: выясняется, что спасённый Семёном голый на морозе человек — это Ангел, наказанный Богом за ослушание и посланный им на землю познать Божью мудрость.

В 1885 – 1886 гг. году Толстой создаёт сразу три сказки, затрагивающие уже, в разной степени, военную тему.



Обложка и титульный лист отдельного издания «Посредником» Сказки Л.Н. Толстого «Работник Емельян и пустой барабан». 1906 г.

Тема сказки «Работник Емельян и пустой барабан» (не позднее весны 1886 г.) взята из известного сказочного сюжета, по которому лягушка красавица-девица выходит замуж за молодца, и этим возбуждает зависть в царе; чтобы избавиться от молодца-бедняка, царь задаёт ему трудные задачи, и под конец самую трудную — «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». В исполнении этих задач ему помогает жена его. Толстой же добавил жене помощницу — старушку *солдатку*, то есть одинокую мать, вероятно, погибшего или без вести пропавшего на войне сына, которой, как в наши дни, в путинской России, сотням матерей угнанных в «мобилизацию», то есть в военное рабство, погибших или покалеченных её жертв, *было, за что* ненавидеть злого царя и желать отомстить ему. К ней посылает Емельяна мудрая жена.

Выйдя за город, Емельян встретил учащихся солдат:

«Подошёл к ним Емельян и спрашивает:

— Не знаете ли, братцы, где идти туда, — не знай куда, и как принести того, — не знай чего.

Услыхали это солдаты и удивились.

— Кто, — говорят, — тебя послал искать?

— Царь, — говорит.

Мы сами, — говорят, — вот с самого солдатства ходим туда, не знай куда, да не можем дойти, и ищем того, — не знай чего, да не можем найти. Не можем тебе пособить» (25, 166).

Но вот добрался Емельян до *лесной избушки* безутешной старухи-солдатки, «мужицкой, солдатской матери», с явными чертами бабы-яги, вот только — «кудельку прядёт, сама плачет и пальцы не во рту слюнями, а в глазах слезами мочит» (Там же. С. 167). Показал ей Емельян веретёнце жены, для опознания, и рассказал об издевательствах и домогательствах царя:

«Отслушала старушка и перестала плакать. Стала сама с собою бормотать:

— Дошло, видно, время. Ну, ладно, — говорит, — садись сынок, поешь.

Поел Емельян, и стала старуха ему говорить:

— Вот, тебе, — говорит, — клубок. Покати ты его перед собой и иди за ним, куда он катиться будет. Идти тебе будет далеко, до самого моря. Придёшь к морю, увидишь город большой. Войди в город, просись в крайний двор ночевать. Тут и ищи того, что тебе нужно.

— Как же я, бабушка, его узнаю?

— А когда увидишь то, чего лучше отца, матери слушают, оно то и есть. Хватай и неси к царю. Принесешь к царю, он тебе скажет, что не то ты принес, что надо. А ты тогда скажи: “Коли не то, так разбить его надо”, да ударь по штуке по этой, а потом снеси её к реке, разбей и брось в воду. Тогда и жену вернёшь, и мои слёзы осушишь» (Там же).

Дошёл Емельян до города, заночевал в доме на окраине, а утро вдруг принесло ему разрешение чудесной задачи:

«Слышит, отец поднялся, будит сына, посылает дров нарубить. И не слушается сын:

— Рано ещё, — говорит, — успею.

Слышит, — мать с печки говорит:

— Иди, сынок, у отца кости болят. Разве ему самому идти? Пора.

Только почмокал губами сын и опять заснул. Только заснул, вдруг загремело, затрещало что-то на улице. Вскочил сын, оделся и выбежал на улицу. Вскочил и Емельян, побежал за ним посмотреть, что такое гремит и чего сын лучше отца, матери послушался.

Выбежал Емельян, видит — ходит по улице человек, носит на пузе штуку круглую, бьёт по ней палками. Она-то и гремит; её-то сын и послушался. Подбежал Емельян, стал смотреть штуку. Видит: круглая, как кадушка, с обеих боков кожей затянута. Стал он спрашивать, как она зовётся.

— Барабан, — говорят.

— А что же он, — пустой?

— Пустой, — говорят.

Подивился Емельян и стал просить себе эту штуку. Не дали ему. Перестал Емельян просить, стал ходить за барабанщиком. Целый день ходил и, когда лёг спать барабанщик, схватил у него Емельян барабан и убежал с ним. Бежал, бежал, пришёл домой в свой город. Думал жену повидать, а её уж нет. На другой день её к царю увели. Пошёл Емельян во дворец, велел об себе доложить: пришёл, мол, тот, что ходил туда, — не знай куда, принёс того, — не знай чего. Царю доложили. Велел царь Емельяну завтра придти. Стал просить Емельян, чтобы опять доложили.

— Я, — говорит, — нынче пришёл, принёс, что велел, пусть ко мне царь выйдет, а то я сам пойду.

Вышел царь.

— Где, — говорит, — ты был?

Он сказал.

— Не там, — говорит. — А что принёс?

Хотел показать Емельян, да не стал смотреть царь.

— Не то, — говорит.

— А не то, — говорит, — так разбить её надо, и чёрт с ней.

Вышел Емельян из дворца с барабаном и ударил по нём. Как ударил, собралось всё войско царское к Емельяну. Емельяну честь отдают, от него приказа ждут. Стал на своё войско из окна царь кричать, чтобы они не шли за Емельяном. Не слушают царя, все за Емельяном идут. Увидел это царь, велел к Емельяну жену вывести и стал просить, чтоб он ему барабан отдал.

— Не могу, — говорит Емельян. — Мне, — говорит, — его разбить велено и оскретки в реку бросить.

Подошёл Емельян с барабаном к реке, и все солдаты за ним пришли. Пробил Емельян у реки барабан, разломал в щепки, бросил его в реку, — и разбежались все солдаты. А Емельян взял жену и повёл к себе в дом.

И с тех пор царь перестал его тревожить» (*Там же. С. 167 – 169*).

Конечно, такая сказочка сразу, при попытках опубликования, встретила неблагосклонность цензуры. Первоначально главным персонажем тоже был солдат, и сказка в черновике именовалась «Солдат и пустой барабан». По цензурным требованиям солдат был заменён «мужиком», «царь» «воеводой», «солдаты» превратились в «стрельцов», а волшебная и зловещая *солдаткина мать* — в простую мать «мужицкую». Впервые в России сказку удалось опубликовать в неурожайный 1892 год, в благотворительном сборнике «Помощь голодающим». Имени автора при названии сказки не было, да и на месте самого заглавия стояло одно лишь слово: «Сказка», и лишь к заключению, для пущего обмана цензуры, составители сборника прибавили: «Из народных сказок, созданных на Волге в отдалённые от нас времена, восстановил Лев Толстой» (*Помощь голодающим. Научно-литературный сборник. М., 1892. С. 587 – 593*).

В сказке «Зерно с куриное яйцо» (1885) разоблачаются те жадность и зависть людей, хищничество до чужих трудов, которые с первобытных времён занимали значительнейшее место среди причин войны. В найденной случайно «штучке» размером с куриное яйцо сперва даже царские мудрецы не могли опознать простого ржаного зёрнышка. Дряхлые старики, и те не могли упомянуть такого... Но вот пригласил царь ещё старейшего по летам старожилы, отца ста-

рика с костылём. И явилось вдруг — чудо, с утопической, но, конечно же, очень-очень нравоучительной сказкой о крестьянском «золотом веке»:

«Вошёл старик к царю без костылей; вошёл легко; глаза светлые, слышит хорошо и говорит внятно. Показал царь зерно деду. Поглядел дед, повертел.

— Давно, — говорит, — не видал я старинного хлебушка.

Откусил дед зерна, пожевал крупинку,

— Оно самое, — говорит.

— Скажи же мне, дедушка, где такое зерно родилось? На своём поле не севал ли ты такой хлеб? Или на своём веку где у людей не покупывал ли?

И сказал старик:

— Хлеб такой на моём веку везде раживался. Этим хлебом, говорит, я век свой кормился и людей кормил.

И спросил царь:

— Так скажи же мне, дедушка, покупал ли ты где такое зерно, или сам на своём поле сеял?

Усмехнулся старик.

— В моё время, — говорит, — и вздумать никто не мог такого греха, чтобы хлеб продавать, покупать. А про деньги и не знали: хлеба у всех своего вволю было. Я сам такой хлеб сеял, и жал, и молотил.

И спросил царь:

— Так скажи же мне, дедушка, где ты такой хлеб сеял и где твоё поле было?

И сказал дед:

— Моё поле было земля Божья. Где вспахал, там и поле. Земля вольная была. Своей землю не звали. Своим только труды свои называли.

— Скажи же, говорит царь, мне ещё два дела: одно дело отчего прежде такое зерно рожалось, а нынче не рождается? А другое дело отчего твой внук шёл на двух костылях, сын твой пришёл на одном костыле, а ты вот пришёл и вовсе легко; глаза у тебя светлые, и зубы крепкие, и речь ясная и приветная? Отчего, скажи, дедушка, эти два дела сталися?

И сказал старик:

— Оттого оба дела сталися, что перестали люди своими трудами жить, на чужое стали зариться. В старину не так жили: в старину жили по-Божьи; своим владали, чужим не корыстовались» (25, 65 – 66).

Наконец, в том же 1885 году Толстой создаёт острорецензурную сказочку, полное наименование которой таково: «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семёне-воине и Тарасе-брюхане и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трёх чертенятах». Как явствует из такого названия, Толстой задействовал обычный, простой и изблюбленный мотив народных сказок про трёх братьев — двух хитрых и третьего — простака, а кроме того “подключил” к сюжету и мир inferнальный. Но, пожалуй, этим и ограничивается сходство сказки об Иване дураке Толстого с народной.



Взяв основой своего рассказа трёх братьев народной сказки, Толстой по этой канве даёт в простой, общепонятной форме резкую политическую сатиру. По его собственным словам, приводимым П. И. Бирюковым, в старшем брате Семёне-Воине он хотел изобразить идею милитаризма, получившую такое сильное развитие при Николае I, в Тарасе-Брюхане (в некоторых рукописях — Кулаке) дать картину капиталистического строя. «А единый закон Иванова царства: “у кого мозоли на руках — полезай за стол, а у кого нет мозолей — тому объедки со свиньями”, будет служить вечным обличением паразитизма привилегированных классов» (Бирюков П.И. Биография Льва Николаевича Толстого: В 4-х т. Т. 3. М. 1923. С. 23). Ирония Толстого, по свидетельству биографа, разобидела в особенности людей с мозолями на языке и жопе, именно интеллигентами: они «от

большого ума обиделись на эту сказку, видя в ней оскорбление всего мыслящего человечества», зато в народе она «имела большой успех» (Там же).

Сюжет сказочки остроумно-затейлив. Было у отца три сына, Семён-воин, Тарас-брюхан и Иван-дурак, да дочь Маланья, немая.

Ушёл Семён в город, военным стал. Ушёл Тарас в город, купцом стал. Иван всё на поле работает.

Вот захотелось Семёну половину хозяйства у отца забрать. Иван не стал рядиться, отдал Семёну его долю. Так же и Тарас поступил.

Узнал о том старый чёрт, расстроился. Захотел братьев поссорить и велел этим делом чертенятам заняться.

Первый чертёнок сделал Семёна хвастливым. Похвастал Семён, что кого хочешь победит и послал его царь на индийского царя войной. Но разбил Семёна индийский царь.

Второй чертёнок сделал богатого Тараса жадным. Стал Тарас всё подряд скупать, в долги залез и разорился.

Третий чертёнок решил Ивану пахать не давать, больным его сделал. Но Иван пашет, на больной живот внимания не обращает. А потом взял и поймал чертёнка. Пришлось чертёнку дать Ивану корешков от всех болезней. Выздоровел Иван, отпустил чертёнка с богом, тот под землю и провалился.

А Семён с Тарасом пришли к Ивану жить. Их чертенята тоже стали Ивана пытаться, косить не давать, да рубить не давать. Но поймал их Иван и получил способности солдат из сена делать, а деньги из листьев.

Наделал он солдат Семёну, а денег Тарасу. Уехали братья, царства себе заполучили.

А Иван вылечил царскую дочь и тоже царём стал. Да только привычку работать не бросил. Да и жена его царевна решила от мужа не отставать и тоже работать стала. Цари да умные разбежались, а дураки остались мирно, свободно и радостно сообща трудиться.

Узнал про то старый чёрт. Решил известить братьев. Сделал так, что Семён опять войну проиграл, а Тарас разорился. К Ивану чёрт явился, стал ему предлагать народ в армию собрать. Иван не возражает, да вот дураки в армию не идут.

Стал чёрт всем золото предлагать, а дураки взяли немного, и детям, как красивые камушки, для игр раздали.

Подбил чёрт соседнего царя войной на Ивана пойти, а дураки не сопротивляются, только плачут да усовещивают «врага». Плюнули на такую войну соседские солдаты, да и разбежались.

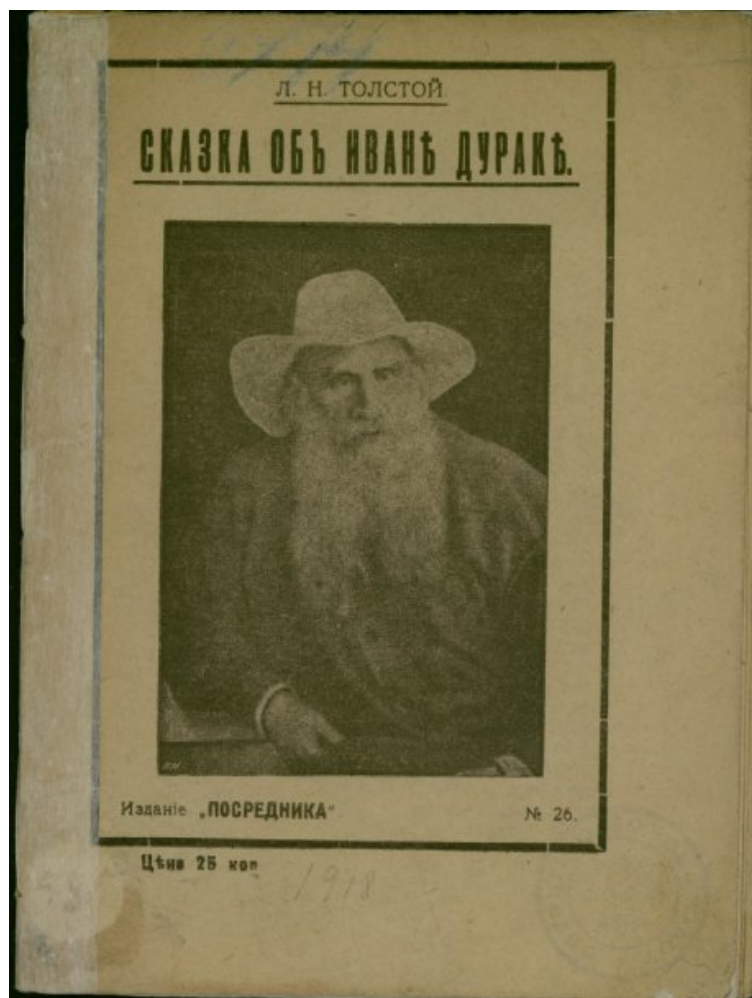
Стал чёрт учить дураков головой работать. Залез на каланчу и стал объяснять, как головой работать. А дураки всё ждали, когда он сам головой работать станет.

Оголодал чёрт, стал головой о колонны биться, а потом и по ступенькам скатился. Увидел это Иван и сказал, что такая работа головой ему не нужна. Принял братьев обратно и всего у них было вдоволь.

Писание сказки, в начале имевшей короткое название «Иван Дурак», было начато в августе или сентябре 1885 г. С. А. Толстая, обыкновенно сообщавшая своей сестре Т. А. Кузминской все связанные с Л. Н. Толстым интересные и животрепещущие новости, в сентябре 1885 г. в своём письме к ней пишет, что им написана «чудесная сказка»; он «прочёл нам и мы все пришли в восторг». Это была первая редакция сказки. «Теперь, — прибавляет Софья Андреевна, — он её старательно переделывает» (*Цит. по: 25, 715. [Комментарии.]*).

В ноябре 1885 г. С. А. Толстая, приступив к издательскому бизнесу, начала самостоятельно готовить к изданию 5-ое собрание «Сочинений графа Л. Н. Толстого», но сразу столкнулась с цензурой из-за 12-й части, заключающей в себе произведения последних лет. Как мы помним, она решилась сама ехать в Петербург с хлопотами перед высшими чиновниками. И хлопотала она, помимо трактатов супруга «В чём моя вера?» и «Так что же нам делать?», и над разрешением для «Ивана Дурака». Добиться такого разрешения удалось лишь к апрелю 1886 года. Тогда же, 22 апреля 1886 г. было разрешено и отдельное издание сказки для народного книгоиздательства Л. Н. Толстого «Посредник». Но на это издание, как народное, цензура наложила свою руку, оберегая будущих его читателей от фраз и слов, могущих внушить им неуважение к царской власти и государственному устройству, говорящих против воинской повинности и военной службы, против податей и иных финансовых обложений населения, что Толстой юмористически называет в сказке «порядками хорошими». Через год, в феврале 1887 года, второе издание сказки в «Посреднике» было целиком арестовано. А в 1892 г. экземпляры первого издания были запрещены к любому распространению — примерно, как современная нам «экстремистская» литература.

Интересен отзыв о сказке духовного цензора, члена комитета духовной цензуры архимандрита Тихона в 1887 году. «Сказка об Иване Дураке, — говорит он, — проводит, можно сказать принципиально мысли о возможности быть царству без войны, без денег, без науки, без купли и продажи, даже без царя, который по крайней мере ничем не должен отличаться от мужика — мысли о единственно полезном и законном труде — мозольном. Здесь, в этой сказке, прямо осмеиваются современные условия жизни: политические (необходимость содержать войска), экономические (значение денег) и социальные (значение умственного труда)» (Там же. С. 717).



«Досталось» от сказочки всем, но самой жаркой неприязнью и в наши дни пылают к ней именно «умственники», учёные и прочие казённо дипломированные интеллигенты, любящие запродать свою головку очередному халтурному правительству — и прозой, а часто и стишками, послужить лживой его пропаганде! С тоскою горбатых,

которых исправит лишь могила, узнают они себя в образе побеждённого народным героем «господина хорошего», обманщика лукавого — чёрта.

3.3. «НИКОЛАЙ ПАЛКИН» (1886)

Статья Л. Н. Толстого «Николай Палкин» уникальна своей тесной связью одновременно и с темой смертных казней у Толстого-публициста, и с темой военщины и военного насилия. В этом сочинении, как и в проанализированном нами выше «Проекте о реформировании армии», Лев Николаевич снова, через более чем 30-ть лет, поднимает тему насилия *армейского*, то есть нравов и взаимоотношений людей в процессе производства говна, трупов, сирот, вдов и несчастных матерей. А начальные сцены и образ 95-летнего старика восходит к черновикам первого из Кавказской серии рассказов Льва Николаевича — к «Набегу» и, в значительной степени, к неоконченному «Дяденьке Жданову».

Одно неотторжимо от другого. Решая свои поганые «задачи», сволочная тётя «родина», палаческая гадина Россия не жалеет не только военного противника, но и *своих* — всех, кто служит ей, быть может, и полезнейшую службу, но в позиции «невысокой», недобровольной и подчинённой. Это состояние любого общества не развивающегося, архаичного — близкого к первобытному состоянию человека как агрессивного стайного животного.

Наконец, для нас эта статья значительна тем, что она — первое не религиозно-философское, как «В чём моя вера?», а именно общественно-политическое публицистическое сочинение Л. Н. Толстого, в котором выразилась обретённая им несколькими годами ранее христианская вера, то есть неприятие войн и казней получило незыблемое религиозное основание.

В апреле 1886 г. измученный московской зимой Лев Николаевич вырвался по первому теплу на несколько дней своеобразной мужской, «холостяцкой» вольницы: он решил дойти из первопрестольной до Ясной Поляны пешком — захватив в дорогу двоих молодых помощников и просто добрых попутчиков: 25-тилетнего близкого друга семьи Михаила Александровича Стаховича (1861 – 1923) и 28-

летнего Николая Ге-младшего (1857 – 1938), сына художника и близкого друга.

3 апреля, Толстой сообщил о предстоящем походе и смыслах его в письме к В. Г. Черткову: «Не знаю, что буду делать дорогой и в деревне, но надеюсь, что буду чем-нибудь служить за корм. Иду же главное затем, чтобы отдохнуть от роскошной жизни и хоть немного принять участие в настоящей» (85, 332).

И Толстой действительно уходит на следующий день из гадкой во все времена, ненавистной уму и сердцу Москвы, как писала Черткову уже Софья Андреевна: «с мешком на спине, весёлый и здоровый» (Там же. С. 335).

Рассказывает жена писателя, Софья Андреевна Толстая:

«4-го апреля 1886 года вечером, после обеда, запрягли большую коляску, наняли извозчика и выехали на заставу, на Киевское шоссе, одетые по-дорожному и в лаптях Лев Николаевич и его спутники... Я поехала провожать их и с грустью ссадила их, проехав заставу, за городом. Долго провожала я их глазами, и чувство грусти, и особенно беспокойства, мучило меня. Вернулась я домой одна, в свою семью, опять почувствовав себя и одинокой, и несчастной». Этому настроению помогла и погода: тёплая весна вдруг обратилась в весну раннюю, «наступили холодные дни с ветром и даже снегом. Путешественникам приходилось часто останавливаться, сушиться и греться» (Толстая С.А. *Моя жизнь: В 2-х кн. М, 2014. Кн. 1. С. 515*). Хорошим в этом было разве то, что Толстой на этих вынужденных остановках имел достаточно времени для наблюдений, бесед с народом и, по вдохновению, некоторых черновых набросков.

В письме к жене от 9 апреля 1886 г. Толстой, в числе прочего, сообщил:

«Ночевали по 12 человек в избе и спали прекрасно. Я засыпал поздно, но зато мы выходили не так рано. [...] Благодарю M-me Seuron за книжечку и карандаш, я воспользовался ими немножко по случаю рассказов старого, 95-летнего солдата, у которого мы ночевали. Мне пришли разные мысли, которые я записал» (83, 561).

В скупых строчках о ночёвке в ночь на 7 или 8 апреля у бывшего солдата — прекрасная история рождения одного из безусловных шедевров христианской публицистики Льва Николаевича, статьи «Николай Палкин». 95-тилетний старец рассказал путникам, как истязали, прогоняя сквозь строй, солдат во времена царя Николая I, прозванного в народе Палкиным. Там же, в избе старика, в новенькой

записной книжке, подарке гувернантки детей Толстых мадам Сейрон, Лев Николаевич начал набрасывать черновик будущей статьи. Сам Толстой, как мы помним, знал о телесных наказаниях в армии с юности, но не видел своими глазами подобных истязаний, и рассказ старика потряс его. Л. Д. Опульская справедливо замечает, что, судя по резкости статьи, Толстой «печатать её, во всяком случае в России, не собирался» (*Опульская Л.Д. Материалы к биографии Л.Н. Толстого с 1886 по 1892 год. М., 1979. С. 33*). Действительно, статья осталась незавершённой, но получила огромную известность и распространение, несмотря на жесточайший запрет цензуры (а отчасти и благодаря ему). Именно в связи с распространением «Палкина» в 1887 г. в отношении Л. Н. Толстого была открыта особая папка в цензурном ведомстве и заведено дело в Департаменте полиции.

Одна из тем статьи — *скрытые казни в России*, замаскированные под жестокие «наказания», фактически истязания и убийства, военнослужащих в армии.



Обложка бесцензурного английского издания.
1902 г.

Николаем Палкиным прозвали солдаты царя Николая Павловича за особо строгие телесные наказания: «Тогда на 50 палок и порток не

снимали; а 150, 200, 300... насмерть запарывали [...] хуже аду всякого». Старый солдат рассказал о том, как «водят несчастного взад и вперёд между рядами, как тянется и падает забиваемый человек на штыки, [...] как сначала ещё кричит несчастный и как потом только охает глухо с каждым шагом и с каждым ударом, как потом затихает и как доктор [...] подходит и щупает пульс, оглядывает и решает, можно ли ещё бить человека, или надо погодить и отложить до другого раза, когда заживёт, чтобы можно было начать мученье сначала и добавить то количество ударов, которое какие-то звери, с Палкиным во главе, решили, что надо дать ему»:

«Унтер-офицерá до смерти убивали солдат молодых. Прикладом или кулаком свиснет в какое место нужное: в грудь, или в голову, он и помрёт. И никогда взыску не было. Помрёт от убоя, а начальство пишет: «властию Божиею помре». — И крышка» (26, 556).

Антивоенная тема раскрыта в статье мощно и идейно глубоко. На вопрос Толстого старому солдату, не мучает ли его совесть, тот лишь удивился: «Это на войне, по закону, за царя и отечество». И это самое страшное для Толстого: человек не видит зла, которое совершает, потому что оно прикрыто пеленой языческой, антихристовой «законности», суевериями патриотизма, оправданного насилия, даже гражданского долга. Людям внушали и внушают по сей день, что убийства на войне, телесные расправы в армии, жестокие наказания и пытки в тюрьмах — необходимость, а участие в них «государевых служилых людей» указывает на их служебное усердие, даже доблесть. В этом Лев Николаевич видел болезнь невежественного и омрачённого общества, одурманивание его. Потрясённый воспоминаниями старого служаки, Толстой призывает задуматься над причинами того, что «люди, рождённые добрыми, кроткими, люди, с вложенной в их сердце любовью, жалостью к людям, совершают — люди над людьми — ужасающие жестокости, сами не зная, зачем и для чего» (Там же. С. 558).

В статье Толстой ставит десятилетиями буржуазно прогрессирующей на его глазах России грозный, но заслуженный диагноз: прогрессирующее безверие и ожесточение, регресс от христианства к древнему языческому жизнепониманию со всеми его низостями. Прогресс нравственный отстал безнадежно от материального. Среди низостей неизбывных дрянного «русского мира» — не только жестокость власти, но и рабья покорность ей со стороны граждан, готовность дешево продаться и бесстыдно служить ей в её обманах и насилиях.

И все ужаснейшие имперские «традиции», во всём их «цвете», обслуживаемые самым слепым, рептильным этатизмом простых граждан — отнюдь не выдумка Толстого и не «дела давно минувших дней». Особенно актуально звучат в наши дни слова Льва Николаевича о том, что недопустимо ни замалчивать, ни искажать, ни забывать ужасные, преступные или просто неприятные страницы отечественной истории. В той мере, в которой к преступлениям власти причастны люди трудящегося народа, то есть, иначе говоря, пороки большого общества используются его интеллектуальной, властной и финансовой элитами, всем, всему такому обществу необходимо не пенять только на «личные недостатки» правителей, а — признать *свой* (и себя, и своих отцов и дедов) грех, назвать зло своим именем, а не скрывать за витиеватыми идеологическими масками.

Безбожна и обречена та страна (будь то Российская империя времён «позднего» Толстого или современная путинская Россия), которая в ответ на призыв к честности перед самой собой, общему смирению и покаянию за преступления в прошлом царей и вождей, в которых участвовал народ — злобно огрызается, агрессивно, напористо лжёт, переписывает в угоду лжи исторические учебники, вводит табу на честные обсуждения тех или иных исторических тем, жжёт тайком архивы и растит таким образом во лжи и имперской гордыне поколения таких же самоуверенных гордецов, способных, как показал нам нынешний, уходящий 2022-й год, не только повторить преступления, не признанные и не названные таковыми, но и совершить новые, ещё худшие.

Вот что пишет об этом Толстой в статье:

«Солдат старый провёл всю свою жизнь в мучительстве и убийстве других людей. Мы говорим: зачем поминать? Солдат не считает себя виноватым, и те страшные дела: палки, сквозь строй и другие — прошли уже; зачем поминать старое? Теперь уж этого нет больше. Был Николай Палкин. Зачем это вспоминать? Только старый солдат перед смертью помянул. Зачем раздражать народ? Так же говорили при Николае про Александра. То же говорили при Александре про павловские дела. Так же говорили при Павле про Екатерину. Так же при Екатерине про Петра и т.п.

Зачем поминать?

Как зачем поминать? Если у меня была лихая болезнь или опасная и я излечился или избавился от неё, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею и всё так же

болею, ещё хуже, и мне хочется обмануть себя. И мы не поминаем только оттого, что мы знаем, что мы больны всё так же, и нам хочется обмануть себя.

Зачем огорчать старика и раздражать народ? Палки и сквозь строй — всё это уж прошло.

Прошло? Изменило форму, но не прошло. [...] Если мы прямо поглядим на прошедшее, нам откроется и наше настоящее. Если мы только перестанем слепить себе глаза выдуманными государственными пользами и благами и посмотрим на то, что одно важно: добро и зло жизни людей, нам всё станет ясно. Если мы назовём настоящими именами костры, пытки, плахи, клейма, рекрутские наборы, то мы найдём и настоящее имя для тюрем, острогов, войск с общею воинскою повинностью, прокуроров, жандармов.

[...] Если мы только перестанем закрывать глаза на прошедшее и говорить: зачем поминать старое, нам ясно станет, в чём наши точно такие же ужасы, только в новых формах.

[...] Не нужно иметь особой проницательности, чтобы видеть, что в наше время всё то же, и что наше время полно теми же ужасами, теми же пытками, которые для следующих поколений будут так же удивительны по своей жестокости и нелепости.

Болезнь всё та же, и болезнь не столько тех, которые пользуются этими ужасами, сколько тех, которые приводят их в исполнение. [...] Ужасная болезнь эта — болезнь обмана о том, что для человека может быть какой-нибудь закон выше закона любви и жалости к ближним» (*Там же. С. 558 – 561*).

Лев Николаевич выражает убеждение в том, что «если бы была у людей в наше время хоть слабая вера в учение Христа, то они считали бы должным Богу хоть то, чему не только словами учил Бог человека, сказав: «не убий»; сказав «не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали»; сказав: «люби ближнего, как самого себя», — но то, что Бог неизгладимыми чертами написал в сердце каждого человека: любовь к ближнему, жалость к нему, ужас перед убийством и мучительством братьев».

Но в буржуазно-православной, то есть лжехристианской, антихристовой, имперской России — этого нет и не может быть. Нет и быть не может исполнения христового правила: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божье — только Богу» (*Там же. С. 561*).

Это очень важная для Льва Николаевича мысль из евангельской притчи о динарии (*Мф. 22: 15 – 22*); к ней он будет возвращаться в ряде последующих публицистических выступлений — в том числе против смертной казни. Притча устанавливает важный признак христианского сознания: свободу от обязательств, кроме откупа от прямого грабежа, перед разбойничьим, грабительским гнездом того или иного государства. Откупаться же можно всем, кроме *поступков* или обещания их (кстати, для этого в Нагорной проповеди и запрещается клятва). Вот как характеризует это благое состояние сам Толстой:

«Если бы люди верили Богу, то они не могли бы не признавать этой первой обязанности к нему, исполнять то, что он написал в их сердце, то есть жалеть, любить, не убивать, не мучать своих братьев. И тогда слова: кесарево кесарю, а Божье Богу имели бы для них значение.

Царю или кому ещё всё, что хочешь, но только не Божие. Нужны Кесарю мои деньги — бери; мой дом, мои труды — бери. Мою жену, моих детей, мою жизнь бери; всё это не Божие. Но нужно Кесарю, чтоб я поднял и опустил прут на спину ближнего; нужно ему, чтоб я держал человека, пока его будут бить, чтобы я связал человека или с угрозой убийства, с оружием в руке стоял над человеком, когда ему делают зло, чтобы я запер дверь тюрьмы за человеком, чтобы я отнял у человека его корову, хлеб, чтобы я написал бумагу, по которой запрут человека или отнимут у него то, что ему дорого, - всего этого я не могу, потому что тут требуются поступки мои, а они-то и есть Божие. Мои поступки — это то, из чего слагается моя жизнь, жизнь, которую я получил от Бога, я отдам Ему одному. И потому верующий не может отдать Кесарю то, что Божие. Идти через строй, идти в тюрьму, на смерть, отдавать подати кесарю, - всё это я могу, но бить в строю, сажать в тюрьму, водить на смерть, собирать подати — всего этого я не могу для кесаря, потому что тут кесарь требует от меня Божие.

Но мы дошли до того, что слова: «Богу Божие» — для нас означают то, что Богу отдавать копеечные свечи, молебны, слова – вообще всё, что никому, тем более Богу, не нужно, а всё остальное, всю свою жизнь, всю святыню своей души, принадлежащую Богу, отдавать Кесарю!» (*Там же. С. 561 – 562*).

Всё, что изменилось с той поры в России: стало меньше прямого, грубого, открытого насилия, но прикрытого юридической казуистикой (как «показательная», с судом, расправа над русским солдатом Шабунинным), припрятанного в местах недобровольного пребывания людей (детдома, казармы, тюрьмы...) равно как угроз и в особенности навязчивой лжи (насилия над массовым сознанием, или, проще выражаясь, ебли людям мозгов) — гораздо больше.

Чрезвычайно интересны и актуальны по сей день и взгляд Толстого на русскую историю, выразившийся здесь (в черновых вариантах статьи), и психологическая зарисовка состояния сознания массы его — и наших — соотечественников, и, конечно, автобиографические страницы статьи, на которых Лев Николаевич выразил кредо уже вполне осознанного им нового пути в литературе и в жизни — не просто антивоенного, а *антиимперского* и *христианского*:

«И стал я вспоминать всё, что знаю из истории о жестокостях человека в Русской истории. О жестокости этого христианского, кроткого, доброго, Русского человека, к счастью или несчастью, я знаю много.

[...] Иоанн Грозный топит, жжёт, казнит как зверь. Это страшно; но отчего-то дела Иоанна Грозного для меня что-то далёкое, вроде басни. Я не мог видеть всего этого. То же и с временами междуцарствия Михаила, Алексея, но с Петра так называемого Великого <т. е. с начала имперского периода российской истории. – Р. А.> начиналось для меня что-то новое, живое. Я чувствовал, читая ужасы этого беснующегося, пьяного, распутного зверя, что это касается меня, что все его дела к чему-то обязывают меня.

Только очень недавно я понял, наконец, что мне было нужно в этих ужасах, почему они притягивали меня. Почему я чувствовал себя ответственным в них, и что мне нужно сделать по отношению их. Мне нужно сорвать с глаз людей завесу, которая скрывает от них их человеческие обязанности и призывает их к служению дьяволу; не захотят они видеть, пересилит меня дьявол, они, большинство из них, будут продолжать служить дьяволу и губить свои души и души братьев своих, но хоть кто-нибудь увидит: семя будет брошено. И оно вырастет, потому что оно семя Божье» (26, 563 – 564).

«Семя Божье» — в обличении, с позиций христианского понимания жизни, суеверий оправданного насилия, обманов государства и церкви, ведущих людей к вражде, убийствам, войнам. В обличении

первобытного, животного *имперства* в психологии и этике масс, политическим, на уровне крупных общностей людей, выражением которого явились в истории и являются авторитарные, полицейские и фашистские режимы — и которое только потому и непобедимо по сию пору, что *нет веры* в христианском мире: не церковных догм и обрядовеческого храмового идолопоклонства, а разумного смысла жизни всех и живого руководства каждому человеку в его помыслах и поступках.

В строках этой, к несчастью малоизвестной даже в России, статьи Л. Н. Толстого — ключ к пониманию того, почему, начатый в начале 1870-х гг. роман о Петре I и его эпохе Толстой так и не написал, оставив проект романа в 1879-м, когда уже значительно оформились его новые убеждения. Чем больше Толстой знакомился с фактами и *подлинными* документами петровской эпохи — тем больше совесть его настаивала на необходимости *не хвалы, а обличения* политического имперства России — в его истоках и «петровском» развитии. Но именно *обличить* эти, несовместимые с верой Христа, образ жизни и состояние сознания масс было невозможно с тех прогрессистских, этактистских, частью и либеральных, светско-гуманистических и наивно-народнических позиций, на которых в те годы стоял автор сохранившихся набросков романа. Чтобы проклясть зло — надо было в своём сознании стать *вовне* его: на позиции Христа и первых христиан, а не осудителей и убийц Христа, не Пилата и не Каиафы.

Заканчивалась в черновике статья призывом-восклицанием писателя помнить волю Бога, выраженную в словах Христа об отдаче кесарю кесарева:

«Царю или кому ещё всё, что хочешь, сказал бы верующий человек, но не то, что противно воле Бога, а мучительство и убийство противно воле Бога.

Опомнитесь, люди! Ведь можно было отговариваться незнанием и попадаться в обман, пока неизвестна была воля Бога, пока непонятен был обман, но как только она выражена ясно, нельзя уж отговариваться. После этого ваши поступки уже получают другое, страшное значение. Нельзя человеку, не хотящему быть животным, носить мундир, орудия убийства; нельзя ходить в суд, нельзя набирать солдат, устраивать суды, тюрьмы.

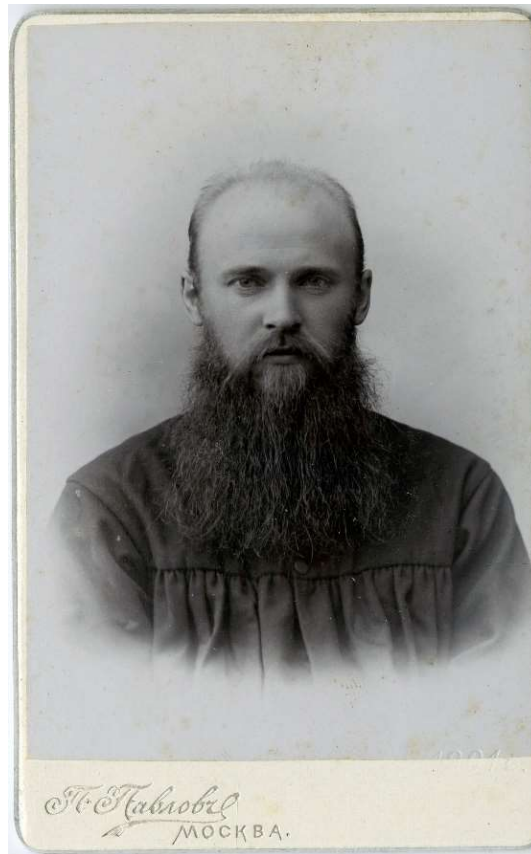
Опомнитесь, люди!» (Там же. С. 567).

С таким же эмоциональным накалом читатель может быть знаком как по рассмотренному нами выше неоконченному «Проекту о реформировании армии», так и по позднему знаменитому памфлету Л.Н. Толстого против насилия и казней — статье 1908 г. «Не могу молчать» (1908), а «Опомнитесь, люди!» — это, конечно же, перефразированное «Одумайтесь!» в одноименной статье 1904 года, имеющей, как мы покажем в соответственном месте, столь же ярко выраженный христианский проповеднический, а не просто антивоенный, смысл.

* * * * *

У статьи «Николай Палкин» своеобразная судьба. Как мы сказали выше, статья формально не является оконченной. В 1887 году, когда Лев Николаевич ещё работал над нею, текст её, без ведома автора, был скопирован и распространён Михаилом Александровичем Новосёловым (1864 – 1938), в то время студентом-филологом Московского университета. Как многие юные и самоуверенные олухи всех времён, сей грядый православный мученик и святой принюхивался тогда к столичному воздуху, ища примкнуть к какой-либо «оппозиции» вере и строю жизни отцов и дедов. На краткий период ему показалось подходящим для этого своеобразно понятое им «толстовство». Окончив учёбу, он с осени 1887 года занялся переписыванием и распространением «нецензурного» Толстого. И не удержался — утятил текстик и попытался распространить его... из-за чего Льву Николаевичу пришлось заступиться за молодого дурня, попавшего за свою глупость под арест (См. подробнее комментарии к статье Толстого «О социализме» в томе 38 Полного собрания сочинений; также см.: *Переписка Л. Н. Толстого с М. А. Новосёловым. // Минувшее. Исторический альманах. – СПб, 1994*).

Распространённый Новосёловым, черновой, не отредактированный Толстым, и потому слишком эмоциональный текст вызвал большой скандальный шум, что охладило писателя и публициста к окончанию работы над статьёй. В 1888 году в письме другу, единомышленнику, будущему своему биографу и издателю П.И. Бирюкову Лев Николаевич подтвердил, что не намерен публиковать ни в каком виде злосчастного «Николая Палкина».



М.А. Новосёлов
в студенческие годы

Судьба, однако, распорядилась этим текстом Толстого по-своему. Несмотря на отказ автора от публикации статьи, с 1887 года состоялось несколько нелегальных её изданий в России и за границей (в издательствах Элпидина в Женеве, Дейбнера в Берлине, Гуго Штейница в Берлине же, в изданиях В. Г. Черткова в Англии). Первое печатное издание статьи состоялось в Женеве в изд. М. Элпидина в 1891 г. В России статью впервые пытались опубликовать в годы Первой российской революции, в журнале «Всемирный вестник» в № 10 за 1906 г. (весь тираж номера за это был конфискован и уничтожен). Эффект «запретного плода» лишь усилился... Статья ходила по рукам, от руки переписывалась, перепечатывалась на машинке или гектографе, всячески распространялась в России нелегально, а опубликована была лишь в победном, революционном 1917 году, уничтожившем Империю — но, к несчастью для отечества Льва Николаевича, *не* имперство в поведении и мышлении её бывших обитателей, и *не* безверие, как питательную почву для него.

«Николай Палкин» — значительный и показательный этап на пути Льва Николаевича к его широкоизвестным «антивоенным» воззрениям. Это *первая его встреча с самим собой* прежним, с отжитым прошлым своим — из трёх важнейших таких встреч, предстоящих ему до конца 1880-х. И это первая *публичная и рассчитанная на публичность* именно антивоенная статья Толстого-христианина, в которой сразу выразилось неприязненное его отношение к деградирующим в буржуазной России служилой военной среде, военному «сословию» как таковому, а равно и к некоторым имперским «традициям» проникнутых взаимным недоверием, неуважением во взаимоотношениях простых солдат с тётёй «родиной». К этой теме Толстой вернётся неоднократно, и всегда она будет причиной для ненависти к нему разнообразной мундированной сволочи, для запрета и нелегальности его публицистического выступления в печати.

3. 4. КРУГ ОБЩЕНИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО 1880-х гг. И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА АНТИВОЕННЫЕ УБЕЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ

Как было отмечено выше, переезд с семьёй для повременного (преимущественно осенью и зимой) проживания в Москву способствовал приумножению знакомств Толстого и «публичности» его персоны. Важнейшие в нашей теме из знакомств Толстого — это его приближённые друзья, такие как В. Г. Чертков, кн. Д. А. Хилков, И. И. Горбунов-Посадов, П. И. Бирюков и ряд других, отношения с которыми сложились у Льва Николаевича именно в 1880-х.

Владимир Григорьевич Чертков (1854 – 1936) – безусловно, ключевая фигура даже среди ближайших его помощников. Толстой и Чертков познакомились в Москве в 1883 г., и через полгода Толстой записал в дневнике: «Он удивительно одноцентричен со мною» (запись от 6 апреля 1884 г.; 49, 78). Спустя четверть века, словно продолжая начатую тогда мысль, Толстой писал Черткову: «И сближаемся не потому, что хотим этого, но потому что стремимся к одному

центру — Богу, высшему совершенству, доступному пониманию человека. И эта встреча на пути приближения к центру великая радость» (24 июля 1909 г.).



Владимир Григорьевич Чертков.
Худ. А.Д. Кившенко. Бумага, акварель. 1879 г.

Владимир Чертков родился в Санкт-Петербурге, в придворно-аристократической семье, но именно в семье усвоил демократические и просветительские традиции, впитал понятие о жизни как о высоком служении. Отец его, Григорий Иванович Чертков (1828 – 1884), близкий родственник Александра Дмитриевича Черткова (1789 – 1858), известного историка и археолога, основателя первой публичной библиотеки в Москве, был флигель-адъютантом при Николае I и генерал-адъютантом при Александре II. Мать Черткова, урождённая графиня Елизавета Ивановна Чернышёва-Кругликова (1832 – 1922), племянница декабриста Захара Григорьевича Чернышёва, славилась своей красотой и смелым независимым характером. пользовалась особой благосклонностью Марии Фёдоровны, занималась распространением Евангелия в петербургских гостиных, в 1884 году она пригласила английского проповедника лорда Гренвилла Редстока в Петербург, познакомила его со своими родственниками

и друзьями. В романе «Анна Каренина» ярко описан этот период, когда великосветские салоны превратились в места «духовных» бесед великосветского сектантского сборища.

В 19 лет, получив хорошее домашнее образование, Чертков поступил в конногвардейский полк. Крышесносительно красивый, образованный, остроумный и, главное, пьербезуховско богатый, он пользовался успехом в свете и, до поры, благосклонностью императора.

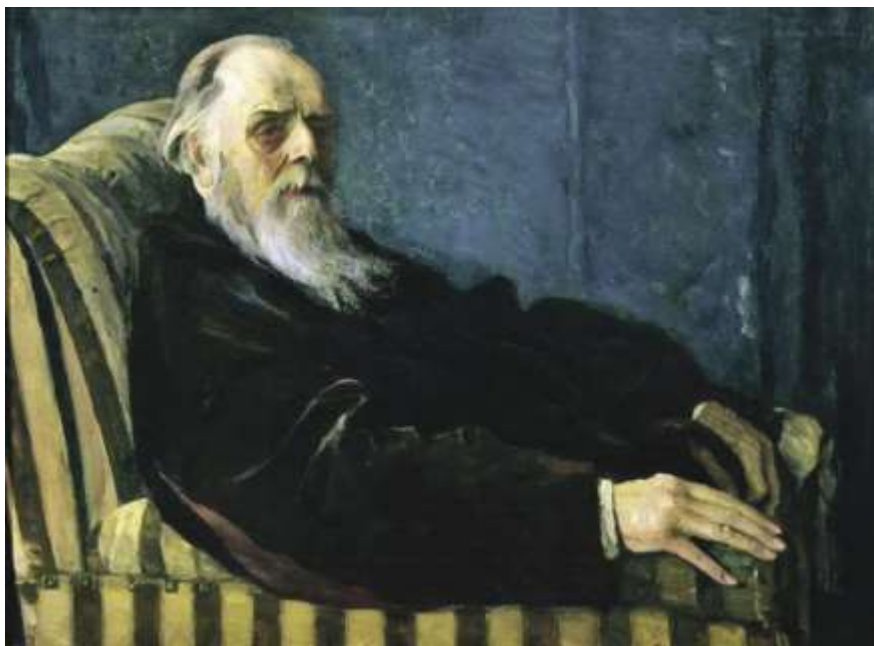


В.Г. Чертков в офицерском мундире.
Худ. И.Н. Крамской. 1881 гг.



...и в нормальном человеческом одеянии.
Фото А.Ф. Эйхенвальда. Москва, 1883 год.

Его ожидала блестящая карьера военного или государственного деятеля, но он отказался идти этой проторённой для него дорогой. В 1909 г. Чертков написал небольшую книжечку «Дежурство в военных госпиталях. Страница из воспоминаний» (М., 1914), где «исповедально» рассказал о своей молодости: «Это было в середине 70-х годов. Двадцатилетним офицером я тогда прожигал свою жизнь “во все нелёгкие”. Всем трём классическим порокам – вину, картам и женщинам — я предавался без удержу, живя как в чаду, с редкими промежутками душевного отрезвления. В эти периоды внутреннего просветления я чувствовал отвращение к своему беспутному поведению и мучительно тяготился своим положением. Ища из него выхода, я напряжённо задавался основными вопросами жизни и религии. Одним из обстоятельств, имевших на меня нравственно-благотворное влияние, были повторявшиеся от времени до времени мои дежурства в военных госпиталях» (с. 3). С детства приученный матерью к серьёзному и вдумчивому чтению Евангелия, он читал его вслух больным и всё чаще сам обращался к этой книге в поисках ответов на мучившие его вопросы. У себя в полку Чертков организовал кружок молодёжи для религиозных бесед. Размышляя над страницами философских книг, над произведениями Достоевского, он искал ответы на вопросы о цели и смысле жизни, искал свой путь к Богу.



Старый преданный ученик...
Художник М.В. Нестеров. 1935

Пережив духовный переворот, постепенно углубляясь в евангельские истины, Чертков приходит к убеждению, что исповедание Христа несовместимо с тем образом жизни, который он вёл. Несовместимо, конечно же, и с военной службой. Отслужив 8 лет в конногвардейском полку, Чертков оставил военную службу и поселился в Лизиновке — родительском поместье близ Россоши. Переселился из усадебного дома в тесную комнату ремесленной школы, стал ездить только в вагонах третьего класса, вместе с простым народом, в разговорах осуждал барскую жизнь. Владельцы соседних поместий сочли Черткова сумасшедшим. Слухи о странном поведении отпрыска известной фамилии дошли до Александра III, и тот приказал учредить негласный надзор за «опростившимся» барином.

Дальнейшие поиски привели его к Толстому. Познакомившись с первыми философско-религиозными сочинениями писателя, он «признал в нём лучшее и более последовательное понимание того», как «следует в жизни применять учение Христа» (дневник Черткова 21 янв. 1884 г.). Это стало основой дружбы Толстого и Черткова.

Примерно через год после знакомства, в 1884 году, Владимир Григорьевич Чертков в сотрудничестве с издателем Иваном Дмитриевичем Сытиным организовал, по совету Толстого, издательство «Посредник», целью которого было издание дешёвых, доступных простому народу книг. Там публиковалась беллетристика и публицистика морально-этического характера, в первую очередь назидательные статьи и рассказы для народа самого Льва Толстого.

Впоследствии именно благодаря грамотной и упорной организаторской, редакторской и издательской деятельности Владимира Григорьевича многие антивоенные тексты Толстого, наталкивавшиеся на цензурный запрет, всё-таки находили дорогу к читателю.

Павел Иванович Бирюков («Поша»; 1860 – 1831), как и Владимир Григорьевич, сделался не только личным секретарём и доверенным лицом Толстого-писателя, но и духовным единомышленником во Христе, и близким другом.



Павел Иванович Бирюков.
Любительский снимок. Кострома, около 1889 – 1890 гг.

Родился Павел Иванович в Костромской губ. в семье военного, дворянина. Надеясь, что сын продолжит семейную традицию, отец отдал его учиться в Пажеский корпус. Но юноша мечтал о море и перешёл в Морское училище. Он совершил кругосветное путешествие на фрегате, а в 1884 г. окончил Морскую академию. Не желая нести строевую службу, Бирюков поступил на службу в главную физическую обсерваторию в Петербурге, где ничто не мешало ему размышлять над вечными вопросами о Боге, о цели и смысле жизни. Он зачитывался философской литературой, сочинениями Достоевского, и всё сильнее его задевало противоречие между военной службой и христианским учением. В поисках единомышленников он стал посещать благотворительное «Общество христианской помощи», где собирались представители разных сословий, чтобы вместе читать и об-

суждать Евангелие. Там он встретил В. Г. Черткова, который познакомил его с сочинениями Толстого «Исповедь» и «В чём моя вера?». В то время, когда многих молодых людей увлёк путь революционной борьбы, Бирюков и Чертков встали на путь исповедания чистого, первоначального христианства Христа, возвращённого миру Львом Николаевичем, и обрели в Толстом безусловного духовного лидера.

В 1884 г. Чертков привёл Бирюкова в дом Толстого, и с этого момента, как писал Бирюков, его «внутреннее развитие пошло параллельно с дальнейшим развитием взглядов Л. Н. Толстого». Бирюков особенно дорожил личным общением с писателем, а Толстой ценил искренность и подлинную доброту молодого друга. После одной из встреч с Бирюковым Толстой написал в своём Дневнике: «Он очень хорош, ясен, открыт, правдив, чист...» (запись от 15 декабря 1890 г.). Но возможность личного общения бывала не всегда. Между ними вскоре началась переписка (сохранилось около 180 писем Толстого Бирюкову), запечатлевшая глубину человеческой и духовной близости. Писателя особенно П. И. Бирюков привлекали люди, сумевшие соединить свои убеждения с делом, осуществлявшие то, к чему так стремился он сам. Бирюков был именно таким человеком.

В конце 1885 г. Бирюков вышел в отставку и посвятил себя изданию и распространению литературы для народа, став наряду с Чертковым одним из основателей и руководителей издательства «Посредник».

В 1892 – 1893 гг. среди ближайших помощников Толстого в работе на голоде в Рязанской губ. был и Павел Иванович Бирюков.

Ещё один из ближайших друзей с тех же лет — *Иван Иванович Горбунов-Посадов* (наст. фамилия: Горбунов; 1864 — 1940) – посредственный писатель и поэт, неплохой литературный критик и замечательный редактор в толстовском народно-просветительском книгоиздательстве «Посредник».



Иван Иванович Горбунов-Посадов.
Со снимков 1884 и 1886 г.

В 1884 г. Горбунов случайно прочитал «Краткое изложение Евангелия» Толстого. Эта книга помогла ему найти выход из личного нравственного кризиса. Он пришёл в издательство «Посредник», которым в то время руководили В. Г. Чертков (редактор) и П. И. Бирюков, и предложил свои услуги в качестве разносчика книг: затем начал писать рассказы и статьи, такие как «Видимое и невидимое», «Старец и прокажённый», «Покаяние старца Данилы» и др., которые печатались без подписи в книжках «Посредника».

В декабре 1887 г. стихотворение Горбунова «В Христову ночь» Бирюков послал Толстому, сопроводив такими словами: «Автор их молодой, чистый душою и искренний человек. Я познакомился с ним год тому назад. Всё время, когда встречались мы, он высказывал и делом подкреплял участие к «Посреднику» и нашим взглядам» (*цит. по: Горбунов-Посадов И.И. Воспоминания. Ч. 1. М., 1995. С. 21*).

После высылки Бирюкова в 1887 г. Горбунов-Посадов занял его место в «Посреднике». В 1889 г. по инициативе Черткова он познакомился с Толстым. В дневнике Толстой записал о нём: «Очень умён и даровит. И чист. Легко полюбить его» (50, 38).

В 1892 г. издательство переехало в Москву и Горбунов-Посадов принял на себя отдел народных изданий. Бирюков руководил отделом «для интеллигентных читателей» и осуществлял общее руководство делом.

В 1897 г. после высылки по делу духоборов Черткова и Бирюкова Горбунов-Посадов возглавил всё издательское дело «Посредника». С 1900-1901 гг. деятельность издательства чрезвычайно расширилась, охватывая и педагогические, и сельскохозяйственные вопросы, и вопросы борьбы с алкоголизмом, и вегетарианство... Горбунов не раз привлекался к суду за печатание книг Толстого и Генри Джорджа, любимого Толстым американского «религиозного экономиста» (т. е. утописта), но от тюрьмы его спасла амнистия. Остроумнейший Владимир Алексеевич Гиляровский посвятил ему такую эпиграмму:

Репутация богатая
И слава в том твоя:
Ты — сто двадцать девятая
Ходячая статья.

Такой же «ходячей статьёй», и не одной, был князь *Дмитрий Александрович Хилков* (1857 – 1914). Уроженец Полтавской губернии, богатый помещик, князь Хилков, закончив Пажеский корпус, поступил на военную службу, участвовал в Русско-турецкой войне 1877 — 1878 гг. Во время сражения Хилков убил турка и, испытав отвращение к убийству, уже более не стрелял, хотя оставался в продолжение трёх лет на военной службе. В 1884 г. поселился на принадлежавшей ему земле в Сумском уезде Харьковской губ. Во второй половине 1880-х гг. оказался в числе единомышленников Толстого. Под влиянием прочитанного во французском переводе трактата Толстого «В чём моя вера?» отказался от своих имений и дворянских привилегий, продал за незначительную плату 430 десятин земли и занялся земледельческим трудом на семи десятинах. Общие положения толстовского учения Хилков перевёл в сферу практического опыта.

Толстой узнал о Хилкове от его двоюродного брата Н. Ф. Джунковского, который в ноябре 1886 г. был в Ясной Поляне. «Людей братьев по вере всё прибывает, — тогда же писал Толстой Н. Н. Ге-отцу. — Ныне уехал один лейб-уланский блестящий офицер Джунковский, едет к Хилкову; Хилков же ещё более блестящий богатый князь 22 лет, полковник, который бросил всё и живёт на крестьянском наделе, работая с мужиками. Человек большого ума и образования и большой силы добра по всему, что я о нём знаю» (63, 403). Через несколько дней Толстой признавался В. Г. Черткову: «Радовали меня

за это время Джунковский и его рассказы про Хилкова. Какой слуга Божий!» (85, 411).



Князь Д. А. Хилков

Лично Толстой и Хилков познакомились в 1887 г. Толстой был искренне заинтересован в продолжении дружеских отношений с молодым единомышленником: «Я пожалел, полюбил вас, и мне захотелось быть полезным, помочь вам, облегчить вашу жизнь. Не думайте, чтоб я хотел научить вас — учитель у нас один — истина, а мне хочется сделать для вас то, чего мне так часто хотелось и теперь и всегда хочется, чтобы другой человек со мной вместе нёс мои радости и горести, просто жалел и любил меня» (64, 133). В конце 1880-х - начале 1890-х гг. Толстой активно переписывался с Хилковым, высказывая важные для себя мысли: «Если же понимать меня, как слабого человека, то несогласие слов с поступками — признак слабости, а не лжи и лицемерия. И тогда я представляюсь людям тем, что я точно есть: плохой, но точно всей душой всегда желавший и теперь желающий быть вполне хорошим, т.е. хорошим слугою Бога» (66, 149).

Тематика писем к Хилкову разнообразна, но тон изложения всегда предельно откровенен: чувствуется, что в нём Лев Николаевич обрел столь же ценного не только религиозной верой, но и чертами характера человека, как и Владимир Григорьевич Чертков.

Среди иностранных непосредственных знакомств с приятными и близкими Толстому людьми, повлиявшими на его отношение к государственному насилию, следует назвать, в числе первых, журналиста Джорджа Кеннана.

В 1865 г. в Русско-американскую телеграфную экспедицию поступает на работу телеграфистом молодой человек — *Джордж Кеннан* (George Kennan; 1845 – 1924). Он провёл два года путешествуя по Чукотке и Камчатке, после чего вернулся в Америку через Петербург. Опубликовав свои путевые записки, Кеннан почувствовал в себе литературный талант, но применение ему нашёл не сразу. С 1878 г. он сотрудничает с «Associated Press», в связи с чем снова отправляется в Россию — на этот раз для знакомства с системой каторги и ссылки. Исполняя журналистское задание, Кеннан общается с некоторыми из политических заключённых, таких как Екатерина Брешко-Брешковская, Егор Лазарев, Феликс Волховский — и, без сомнения, подвергается с их стороны «идейной обработке». Кеннан имел репутацию не только крупного знатока России, но и страстного апологета российской политики и общественного строя. Из поездки же в Сибирь публицист возвращается непримиримым антогонистом царского правительства. Вернувшись в США, в 1887 – 1889 гг. Кеннан опубликовал в журнале «Century» (американский аналог «Вокруг света») ряд статей, в которых резко критиковал царское правительство и романтизировал революционеров. Этим он не мог не сойтись с настроениями Л. Н. Толстого, чьей влиятельной поддержкой желали заручиться работодатели Кеннана. Кто-то указал ему на эту возможность, и в июне 1886 года, явившись снова в Россию, на этот раз для работы над очерком о российских тюрьмах, он заявляется в гости к великому яснополянцу. В письме к В. Г. Черткову от 28 – 29 июня 1886 г. Толстой писал о Кеннанае: «Да, ещё посетитель у меня был, американец, путешественник [...] — очень милый – приятный и искренний человек, хотя с разделённой перегородками душой и головой – перегородками, о которых мы, русские, не имеем понятия, и я всегда недоумеваю, встречая их» (85, 363 – 364).



Джордж Кеннан

Замечание Толстого о ощущаемых «перегородках» в психологическом устройстве Джорджа Кеннана — справедливо и глубоко, хотя и недостаточно. Тип явно был из породы «себе на уме», и, как иностранный журналист, исполняющий в России специфические функции соглядатая, агента — подготовился к встрече с яснополянским «идеалистом» вполне основательно.

По воспоминаниям И. И. Янжула, заявился Кеннан в Ясную Поляну 17 июня 1886 г. с такой историей: он-де объездил в 1885 – 1886 гг. всю Сибирь и, беседуя там с политическими ссыльными, услышал их «горячую и настойчивую просьбу» посетить Ясную Поляну и рассказать Толстому о тех «страданиях и лишениях, которые они выносят». Кеннан услышал «от политических», что «Толстой есть единственный человек в России, который может безопасно для себя вступить за ссыльных перед высшим правительством» (*Цит. по: Бабаев Э. Г. Иностранная почта Толстого // Литературное наследство. Т. 75. Толстой и зарубежный мир. Кн. 1. М., 1975. С. 416 – 417*).

Неясно, сколько в этой истории правды и поверил ли Толстой ей, но можно быть совершенно уверенным, что, по отношению к тогдашним, именно 1885 года, сложившимся уже религиозным и производным из них общественно-политическим убеждениям Л. Н. Толстого, это был «выстрел» Кеннана мимо цели. Судя, однако, по дальнейшему изложению, господин журналист даже не «обломался», а был жёстко, по заслугам, *обломан* Львом Николаевичем:

«Когда Кеннан [...] обратился по поручению политических ссыльных с их просьбой к Льву Николаевичу, то он долго во время его печальных описаний молчал, а затем, когда Кеннан категорически стал спрашивать, окажет ли он им свою защиту, то граф Толстой отвечал отрицательно, что он-де ничего не может сделать для них, ибо они сами силою зла боролись с такою же другою силою и сами виноваты в происходящем» (Там же. С. 417).

Статья Кеннана «A Visit to Count Tolstoi» («В гостях у гр. Толстого») была опубликована в журнале «Century» (*Century Magazine*. 1887, 34. P. 253 – 265). Судя по её содержанию, Толстой “выстоял” до конца. Описывая ужасы, творившиеся в сибирской ссылке и каторге, Кеннан спросил Толстого, смог бы он устоять на своем принципе непротivления злу насилieм при виде грубых насилieй, совершаемых над беззащитными женщинами. Толстой с глазами, полными слез, продолжал доказывать, что насилie в ответ на насилie не могло бы достигнуть никакой благой цели.

«Наконец я спросил его, — пишет Кеннан, — не считает ли он, что сопротивление такому притеснению оправданно.

— Это зависит, — отвечал он, — от того, что понимать под сопротивлением. Если вы имеете в виду убеждение, спор, протест, я отвечу — да. Если вы имеете в виду насилie — нет. Я не думаю, что насильственное сопротивление злу насилieм оправдано при любых обстоятельствах» (Цит. по: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2-х тт. М., 1978. Т. 1. С. 368).

Кеннан привёз и показал рукопись Е. И. Россиковой о «голодной забастовке», длившейся 16 дней, — протесте четырёх женщин, политических ссыльных, против жестокого обращения. Толстой «прочитал три или четыре страницы рукописи и помрачнел... «Я не сомневаюсь, — сказал он, — что мужество и сила этих людей поистине героические, но методы их неразумные, и я не могу сочувствовать им» (Там же. С. 372).

Ещё Толстой сказал, что для уничтожения «системы ссылки» нужно, чтобы все отказались от солдатской службы и уплаты налогов. «Мой метод — по сути своей революционный... Истинный путь противиться злу — это полный отказ делать зло — как ради себя, так и ради других». На все возражения Кеннана Толстой «продолжал утверждать, что единственный путь уничтожить угнетение и насилie состоит в том, чтобы полностью отказаться вершить насилie,

что бы к этому ни побуждало. Он сказал, что политика непротивления злу, которую он проповедует как революционный метод, находится в полном соответствии с характером русского крестьянина» (Там же. С. 372 – 374).

Конечно же, Кеннан был ошеломлён такой стройной, жёстко противостоящей всем его заготовленным заранее фактам и доводам, системой воззрений. При начале общения Толстой упреждающе спросил его, читал ли он его *позднейшие* (1880-х) годов сочинения, и, получив отрицательный ответ, не без иронии заметил:

«— Так вы меня не знаете, но мы скоро познакомимся» (Цит. по: Бабаев Э. Г. *Иностранная почта Толстого // Литературное наследство. Т. 75. Толстой и зарубежный мир. Кн. 1. М., 1975. С. 417*).

И Кеннан, действительно, *познакомился* практически “с нуля” – с обновлённым Толстым, с Толстым христианином! Именно таким он представил яснополянца и своим читателям в «Century». Статья, конечно же, имела широкий резонанс. В свою очередь, вошёл в «резонанс» Кеннан и со взглядами Толстого. 26 ноября 1888 г. Толстой писал в Дневнике: «Суждения о русском правительстве Кеннан’а поучительны: мне стыдно бы было быть царём в таком государстве, где для моей безопасности нет другого средства, как сослать в Сибирь тысячи и в том числе 16-летних девушек» (50, 5). Будучи в гостях, Кеннан предложил Толстому некоторые свои публикации, и, прочтя работу «Political exiles and Common Convicts in Tomsk» («Политические сосыльные и обычные осуждённые в Томске»), Толстой записывает 5 января следующее: «Дома читал Кеннана, и — страшное негодование и ужас при чтении о Петропавловской крепости» (50, 20). 11 ноября 1889 г. он дочитал статью о Петропавловской крепости и сибирской ссылке. Впоследствии материалы этой статьи писатель использовал в романе «Воскресение» и в повести «Божеское и человеческое». В комментариях Н. Н. Гусева к роману «Воскресение» говорится о некоторых совпадениях романа с книгой Кеннана «Siberia and Excile System» («Сибирь и ссылка») (1891). 8 августа 1890 г. Толстой писал Кеннану: «С тех пор, как я с вами познакомился, я много и много раз был в духовном общении с вами, читая ваши прекрасные статьи в “Century”...» (65, 138).

Откуда же такой «резонанс»? Без сомнения, его подготовило общение Толстого с сектантами и радикалами в предшествующие годы. Один из них, и бывший революционер «чайковец», и впоследствии сектант, *Василий Иванович Алексеев* (1848 – 1919), в 1877 – 1881 гг.

был даже домашним учителем в семье Толстого, а по «совместительству» и своего рода «наставником» самого Льва Николаевича в годы его духовного кризиса. Как и Алексеев, Джордж Кеннан без труда «прощупал» в беседе ничего не заподозрившего яснополянца, выяснил его пристрастия и, вероятно, разработал меры влияния на Толстого — с перспективами вовлечения его, через религию и благотворительность, в деятельность международной политической оппозиции российскому режиму, газетным «голосом» которой он к тому времени сделался. Вряд ли Толстой поспешил с выводом о *духовной близости* его с Кеннаном, если бы знал, *как* использовал тот собранный в России материал и *какой* стремился вызвать резонанс у себя на родине!

Именно революционным эмигрантам, стоит здесь отметить, принадлежит дело особенно нехорошее: они «подготовили» общественное сознание англичан и, шире, европейцев к восприятию едва ли не всякого критического выступления автора из России или в России как «оппозиционного» по отношению к монархии, к российскому режиму в целом, и, так или иначе, клонящегося к оправданию революции. При этом крикливые выступления такого деятеля революционной эмиграции, как небезызвестный Сергей Степняк-Кравчинский в журнале «Свободная Россия», а тем более сообщения из России соотечественников, в частности Джорджа Кеннана, Джейсма Стевени, Эмиля Диллона — воспринимались с большим доверием, нежели «бунтарские» сочинения Л. Н. Толстого 1880-х гг., в которых для секуляризованного британского мозга было везде «не то» — и этим «не то» была живая вера Христа, исповедовавшаяся Львом Николаевичем Толстым!

Эмигранты не просто манипулировали настроениями британского обывателя, но создали ряд мифологем о Л. Н. Толстом. Не без поддержки «генерала в толстовстве» В. Г. Черткова, высланного в 1897 г. российским правительством в Англию и там быстро нашедшего общий язык с «подпольщиками», сотрудничавшего с ними и за это обласканного красной большевицкой сволочью впоследствии, после прихода её к власти в России, в т. н. советскую эпоху, в литературе, даже научной, эти мифологемы получили развитие и удержали влияние надо многими совкорождёнными и совкоголовыми представителями научного мира. Из их книжек и статей по сей день кочует по умам миф о Толстом «пацифисте», «бунтаре» и едва ли не социалисте.

Но в тот период Толстому было лестно внимание к себе иностранных гостей и корреспондентов. 18 июня 1887 г. С. А. Толстая записала в дневнике: «Сегодня получено много писем из Америки, статья Кеннана в «Century» о посещении его Ясной Поляны и о разговорах Льва Николаевича и ещё печатный отзыв о переведённых произведениях Л. Н. Всё очень лестное и симпатизирующее. Ужасно странно и приятно в такой дали находить такое верное понимание и сочувствие... Его радует его успех или, скорее, сочувствие в Америке, но успех и слава вообще влияют на него мало» (Толстая С. А. Дневник: В 2-х тт. Т. 1. С. 118 – 119).

В числе прочего, Кеннан оценил специфику восприятия Л. Н. Толстым деятельности другого своего знакомого этих лет, к сожалению (в отличие от Кеннана!) не встреченного при жизни его лично. После посещения Толстого он прислал в Ясную Поляну книгу выдающегося общественного деятеля Америки Уильяма Ллойда Гаррисона (*William Lloyd Garrison, 1805 – 1879*), аболициониста, высокопочтительного Львом Николаевичем Толстым — но вовсе не за аболиционизм, даже и не за политическую деятельность.



Уильям Ллойд Гаррисон.
Дагерротипия Southworth & Hawes, Бостон. Ок. 1850 г.

Именно с книг Уильяма Ллойда Гаррисона для Толстого началось общение с писателями и общественными деятелями Североамериканских Штатов. Весной 1886 г. Вендель Гаррисон, сын Уильяма Ллойда, прислал вышедшие к тому времени в Нью-Йорке два тома биографии отца.

Уильям Гаррисон основал в 1833 г. Американское общество против рабства («аболиционистов») в Филадельфии и был его президентом с 1843 г. до самой отмены рабства (1865). Он написал «Декларацию чувств» — провозглашение основ для установления между людьми всеобщего мира, в 1831 – 1865 гг. издавал еженедельную газету «Освободитель» («Liberator»). В 1838 году Уильям Ллойд Гаррисон составил декларацию под названием «Провозглашение основ, принятых членами общества, основанного для установления между людьми всеобщего мира». Документ был воспринят яснополянцем как декларация христианского «непротивления злу насилием». Знакомство с «Декларацией» У. Л. Гаррисона стало одним из важнейших импульсов к началу работы Толстого над фундаментальным религиозным сочинением — трактатом «Царство Божие внутри вас», которому, по его колоссальной значительности в нашей теме, мы посвятим ниже особенную главу. В первой главе трактата Толстой приводит этот документ, и, конечно, в самых положительных выражениях, не без доли романтизации этой исторической персоналии, рассказывает об авторе и его сыне:

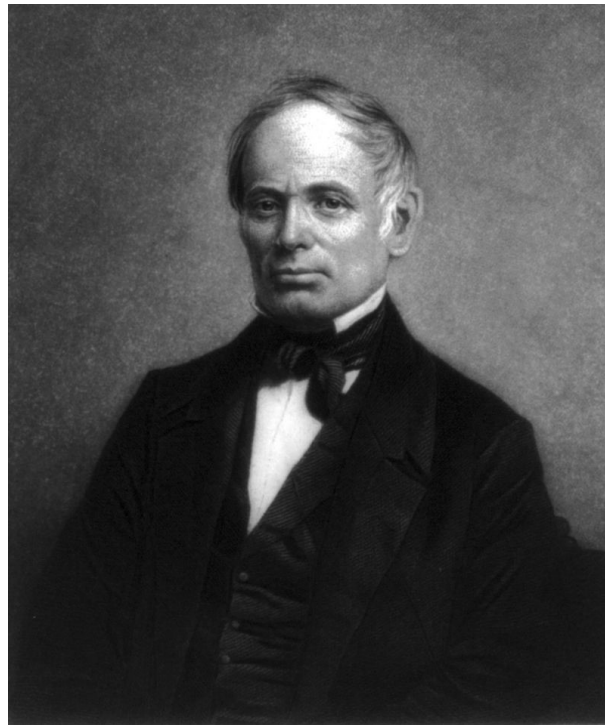
«Сын Вильяма Ллойда Гаррисона, знаменитого борца за свободу негров, писал мне, что, прочтя мою книгу <«В чём моя вера?»>, в которой он нашёл мысли, сходные с теми, которые были выражены его отцом в 1838 году, он, полагая, что мне будет интересно узнать это, присылает мне составленную его отцом почти 50 лет тому назад декларацию или провозглашение непротивления — «Non resistance» (28, 3 – 4).

Толстой ответил Венделю Гаррисону: «Узнать про существование такой чистой христианской личности, какою был ваш отец, было для меня большою радостью... Декларация непротивления, по моему мнению, действительно есть эра в истории человечества» (63, 343 – 344. *Черновик*). Толстой попросил прислать ему краткую биографию Гаррисона: «Мне бы хотелось поскорее узнать всю его судьбу» (*Там же*. С. 344).

5 мая 1886 г. (нов. ст.) Вендель Гаррисон послал фотографии отца, краткую биографию, составленную вскоре после смерти Гаррисона его другом и сподвижником Оливером Джонсоном (63, 346).

В яснополянском кабинете Толстого до сих пор висит большой портрет Уильяма Ллойда Гаррисона.

Вендель Гаррисон сообщал также, что в Хопдэйле (штат Массачусетс) существовала непротивленческая коммуна, основатель которой, *Адин Баллу* (Adin Ballou; 1803 – 1890), живёт до сих пор в Хопдэе. Летом 1889 г. единомышленник Баллу Вильсон прислал книгу «Христианское непротивление» этого пастора, также выступавшего против рабства негров в США. По Дневнику Толстого можно установить, что он познакомился с книгой уже 19 – 22 июня 1889 г.: «Дал <сыну> Лёве переводить. Превосходно» (50, 98. *Запись 20 июня*).



Адин Баллу

Толстой не во всем согласился с мыслями Баллу, но в общей позиции и, главное, деятельности американских «непротивленцев» увидел претворение в жизнь своих идей о возможности бороться с насилием государства и церкви, с войнами и рабством — словом обличения и делом пассивного сопротивления — неповиновения. В 1890 г., в конце июня, Толстой выправил сделанный Н. Н. Страховым перевод «Декларации чувств» Гаррисона и «Катехизиса непротивления» Баллу. 30 июня 1890 г. Лев Николаевич отправил в Америку самому

старичку Баллу прочувствованное письмо, а 8 июля написал «Предисловие к катехизису Балу». Это предисловие и явилось началом вышеупомянутой большой работы — книги «Царство Божие внутри вас», законченной Толстым лишь в 1893 г.

Весной 1888 года, именно 19 апреля, как раз когда Лев Николаевич был в очередном, уже втором, из знаменитых своих пеших путешествий из Москвы в Ясную Поляну, жена писателя, Софья Андреевна Толстая, вдогонку мужу послала письмо с таким, в числе прочего, известием:

«Читала статью Вогюэ о тебе и о “Власти тьмы”. Начало очень хорошо, он понял всё правильно, но потом расплылся на разные примеры и сравнения, щеголяя своим образованием, и что-то не вышло» (Толстая С. А. *Письма к Л. Н. Толстому*. М., 1936. С. 413).



Эжен Мельхиор, виконт де Вогюэ

Многогранливый *Эжен Мельхиор, виконт де Вогюэ* (Eugène-Melchior vicomte de Vogüé, 1848 – 1910) оставил яркий след в истории науки, искусства, политики, философии и общественной мысли как историк литературы, критик, секретарь Французского посольства (1877 – 1882), почётный член Общества любителей российской

словесности и член Академии наук, а так же, с 1888 г., член Французской академии. Около семи лет, и пять из них непрерывно (1877 – 1882) виконт прожил в России, отлично выучив русский язык и влюбившись в русское искусство и литературу.

В 1884 г. во влиятельном, многолетне любимом Толстым французском журнале «Revue des Deux Mondes» (15 juillet) появилась первая статья Вогюэ о Толстом «Les écrivains russes contemporains. Le comte Leon Tolstoi» («Современные русские писатели. Граф Лев Толстой»). Она была подробно разобрана близким другом Толстого, философом Н. Н. Страховым в работе «Французская статья об Л. Н. Толстом» (Русь. 1885. № 2), которую читал и «очень одобрил» сам Лев Николаевич.

Под редакцией Вогюэ в 1879 г. в издательстве Hachette вышел первый французский перевод «Войны и мира», выполненный И. И. Паскевич.

В книге Вогюэ «Русский роман» (Paris, 1886) была дана высокая оценка в целом русской литературе, особенно Тургеневу и Толстому. Статья принесла автору широкую известность. А в 1888 г. в «Revue des Deux Mondes» (15 mars) вышла та самая статья Вогюэ о Толстом, о которой писала супругу Софья Андреевна — «La Puissance des ténèbres de Léon Tolstoi. Réflexions d'un spectateur» («Власть тьмы» Льва Толстого. Размышления зрителя»). Н. Н. Страхов, как и жена Толстого, в письме к Льву Николаевичу от 6 апреля 1888 г. констатировал, что статья слаба, что критик «не справился с задачей». «Но важно здесь, — добавлял он тут же каплю мёда, — выражение того впечатления, которое Вы производите у французов; они как будто в потёмках вдруг увидели свет с востока» (Донсков А.А. (ред). Л.Н. Толстой – Н.Н. Страхов. Полное собрание переписки: В 2-х тт. Оттава, 2003. Том II. С. 773 – 774).

В 1889 г. Вогюэ обратился к писателю и переводчику, баронессе Елисавете Ивановне фон Менгден, а она через С. А. Толстую — к Льву Николаевичу, с просьбой разрешить сделать перевод на французский язык «Крейцеровой сонаты». Толстой благоразумно отказался. В 1890 г. в «Русском обозрении» (№ 12) вышла статья Вогюэ «По поводу “Крейцеровой сонаты”». Страхов 2 января 1891 г. написал Толстому, что «статья Вогюэ умна и здесь её усердно читают; между тем, он вовсе не знает, что такое христианство, а потому не может и Вас понимать». Но статья эта понравилась, между прочим,

Софье Андреевне Толстой: «удивительно тонко и умно» (*Толстая С.А. Дневник: В 2-х тт. М, 1979. Т. 1. С. 161*).

Наконец, в том же 1889 г. Толстой прочёл в «Revue des Deux Mondes» (novembre) статью Вогюэ о военном отделе на 8-й Всемирной выставке в Париже, перевёл из неё большой отрывок и процитировал его в 6-й главе трактата «Царство Божие внутри вас», дополнив знаменитым заключением: «...люди, которые как Вогюэ и др., исповедуя закон эволюции, признают войну не только неизбежной, но полезной и потому желательной, — эти люди страшны, ужасны своей нравственной извращённостью» (28, 129). В связи именно с общественно-политическими воззрениями Вогюэ имя его упоминается Толстым в антимилитаристских статьях «Христианство и патриотизм» и «Carthago delenda est» (см. 39, 41 и 216).

Следует сказать здесь же и о личном визите к Толстому в 1886 году, оказавшемся весьма обоюдодобрым для участников общения, хотя отнюдь не сблизившим их идейно. Речь о французском поэте, драматурге, писателе и политическом деятеле яро милитаристских и реваншистских настроений *Поле Деруледи* (Paul Déroulède; 1846 – 1914). В молодости он стал известен как участник значительнейшей в Франко-прусской войне битвы при Седане, катастрофической для французов — на которой, вероятно, и “съехал” слегка верхней боеголовкой. В следующем, 1871-м году Поль Дерулед — уже ярый патриот, вынашивающий идеи военного реванша с Пруссией, участник подавления Парижской коммуны, а немногим позднее — автор сборников патриотических стихотворений, проникнутых воспоминанием о тяжёлой борьбе и мыслью о реванше: «Les chants du soldat» (1872) и «Les nouveaux chants du soldat» (1875). В № 2 «Отечественных записок», в переводе некоего «М. Российского» (очевидно, псевдоним) явилась, например, вот такая развесистая клюква от «Жана Ребея» (это, в свою очередь, псевдоним Деруледи-стихоплёта):

Он был отрок пылкий, русский, синеокий,
Полный жизни, юношеских сил.
Он не знал ни горя, ни тоски глубокой,
Ни кипучей злобы, мощной и жестокой —
Все его любили — всех и он любил...

Он был отрок пылкий, русский, синеокий,
Полный жизни, юношеских сил.

И благословила мать его, рыдая,
И поцеловал он, плача, мать свою...

Он расстался с школой и с родными, зная,
Что с врагами бьётся сторона родная,
Что разбиты братья в роковом бою.

И благословила мать его, рыдая,
И поцеловал он, плача, мать свою...» и т. д.

(http://az.lib.ru/d/deruled_p/text_1872_malenkiy_turkos-oldorfo.shtml)

Чем-то напоминает дрянной, тошнотный «шансон» (блатняк) поганого «русского мира», не так ли? В 1886 году Дерулед пишет столь же, откровенно, пропагандистские стихи, среди которых можно выделить поэму «Капитан», прославляющую военную службу и войско, как безальтернативную «семью и школу» для неотёсанного и трусливого крестьянина:

«РЕКРУТ

...Но в битвах этих неужели
Не обошлись бы без нас?
Отец мой бродит еле-еле,
В хозяйстве нужен глаз да глаз.
Зачем я рослый, в самом деле?
Других-то разве нет у вас?
И в битвах этих неужели
Не обошлись бы без нас?

КАПИТАН

К служенью родине избранный,
Пойми, мужик, что это — честь,
Ты призван быть её охраной
И долг бойца со славой несть.
Пусть час придёт давно желанный
И мы свершим святую месть!
К служенью родине избранный —
Пойми, мужик, что это — честь.

РЕКРУТ

Прощенья просим, не взыщите,

Коль я неладное сказал.
У нас болтали так, подите!
Спроста я то же повторял.
А слов о чести да защите
Я отродясь и не слышал...
Прощенья просим, не взыщите,
Коль я неладное сказал.

КАПИТАН

Ты видишь крест перед собою,
Прочти, на нём лишь пара слов:
Отчизна, честь! — для нас с тобою
В них — долг, обязанность, любовь!
Вот знамя наше, над странюю
Оно — священнейший покров.
Ты видишь крест перед собою,
Не забывай же этих слов.

РЕКРУТ

Сознаюсь прямо: грамотеем
И не бывал я никогда.
Читать мы дома не умеем —
Вот в этом, видно, и беда:
Поняв "отчизну", мы успеем
И "честь" осилить без труда;
А я, признаться, грамотеем
И не считался никогда.

КАПИТАН

Сознайся ты без замедленья —
Я б извинил тебя тотчас, —
Душой ты ищешь просвещенья,
И ты найдёшь его у нас.
Невежество — не преступленье,
За дело! Твой настанет час!
Сознайся ты без замедленья —
Тебя я понял бы тотчас».

(http://az.lib.ru/d/deruled_p/text_1887_3_stihacoderzhaniya.shtml)

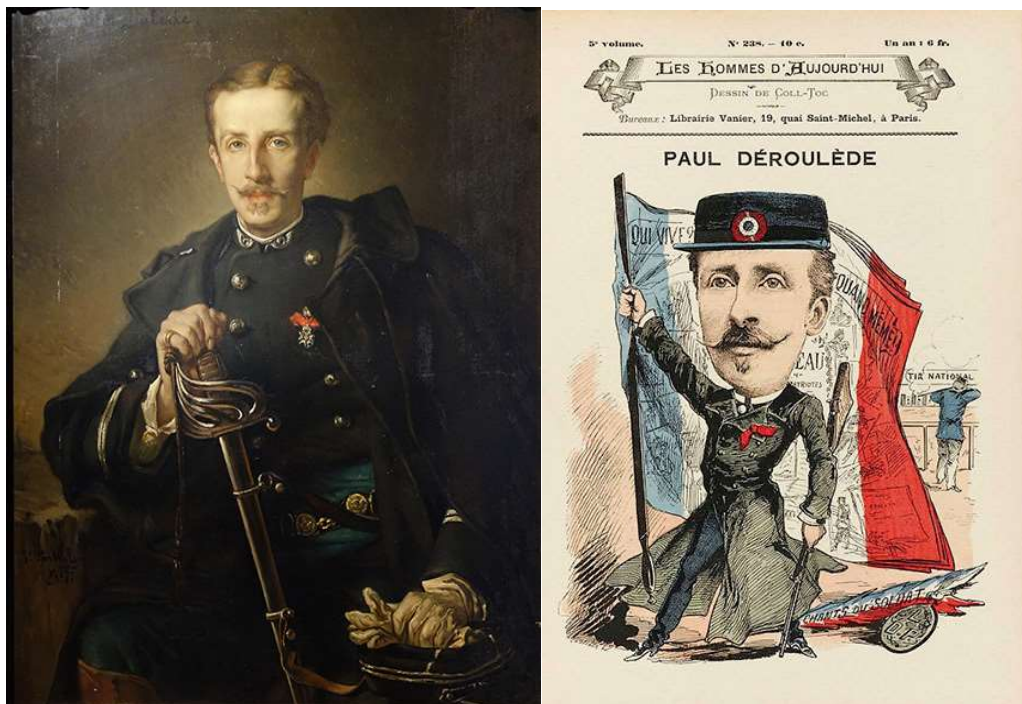
С такими стишками люди и народы не живут. С такими стишками — готовят зарезаловку себе и своим детям. Ощутимо в наши дни

(январь 2023 г.), что эта военно-патриархальная идилия — идеал военщины и в путинской России, возжаждавшей уже давненько реванша с западными «обидчиками!» Вместо школ и особенно университетов с их вековой склонностью к научно-академической и студенческой автономии...

Впрочем, мы отвлеклись — к делу!

В 1880-х, зрелых лет Дерулед, окунулся, конечно же, с маковкой, в политическую деятельность. С целью подготовки реванша Дерулед образовал в 1882 г. «Лигу патриотов», в которой призывались участвовать все граждане, без различия партий. Лига имела успех, и вскоре по всей Франции распространились её разветвления. С появлением на политическом поприще генерала Жоржа Буланже (1837 – 1891) деятельность Лиги приняла иной характер. Дерулед сделался одним из наиболее ревностных сторонников генерала, в котором он видел героя будущей войны с Германией.

Дерулед был одним из главных вдохновителей и пропагандистов раскритикованного Л. Н. Толстым немногим позднее, в статье «Христианство и патриотизм», франко-русского союза (подготовка к которому шла с 1891 г. по январь 1894 г.), направленного против Германии.



Поль Дерулед.

Парадный портрет 1877 г. (Jean-François Portaels, Musée de l'Armée)
и карикатура, около 1884 г. (Coll-Toc, «Les Hommes d'aujourd'hui»)

Дерулед пытался перенести свою деятельность и за пределы Франции. Летом 1886 г. он приехал в Россию для переговоров с виднейшими представителями правящих кругов, стараясь убедить их в необходимости политической и военной коалиции. Имя Толстого начинало в это время пользоваться широкой известностью во Франции и других зарубежных странах. Возможно, Деруледу стали известны и симпатии писателя к французской литературе и французской прессе — правда, отнюдь не патриотической! Поэтому 16 июля 1886 г. Дерулед заехал в Ясную Поляну, чтобы по возможности заручиться поддержкой влиятельного писателя.

По-видимому, Дерулед не имел сколько-нибудь верного представления о взглядах своего собеседника, в частности, о его отношении к войне. Художественное же творчество автора «Анны Карениной» он ценил высоко и предрёк в беседе с ним, что Толстой будет оказывать сильное влияние на французскую литературу.

17 июля 1886 г. Толстой писал В. Г. Черткову: «Вчера у меня провёл день французский писатель Déroulède и очень меня заинтересовал. Представьте себе, что это человек, посвятивший свою жизнь возбуждению французов к войне, *revanche* против немцев. Он глава воинственной Лиги и только бредит о войне. И я его полюбил. И мне он кажется близким по душе человеком, который не виноват в том, что он жил и живёт среди людей-язычников» (85, 376).

Свидетелями посещения Подем Деруледом Толстого были его жена и сын, Лев Львович, домашняя учительница и гувернантка детей Анна Сейрон (1845 – ?), а непосредственно беседу писателей слышала и даже частью зафиксировала приехавшая с сыном погостить к родне (кстати, вместе с Деруледом), троюродная сестра Толстого, художница, дочь гениального живописца Ф. П. Толстого, умнейшая и многоталантливая графиня *Екатерина Фёдоровна Толстая* (1843 – 1913; в замужестве, с 1863 г., *Юнге*).

Вот что вспоминает о визите Анна Сейрон:

«Никто не мог угадать, что это за человек высокого роста, в сером, доверху застёгнутом сюртуке, с военной осанкой, которого привезла с собою в Ясную Поляну одна из родственниц графа. Дерулед! Звук этого имени был чужим для нас, так как газеты читались редко. [...] Благодаря своей ловкости в разговоре и свободе обращения, он скорее других освоился с новой обстановкой. Но война, реванш, соби-

рание подписей за и против того или другого, всё это были предметы, не представлявшие ни малейшего интереса в глазах графа. С другой стороны, одного движения в углах губ графа и одного взгляда его стальных глаз было довольно, чтоб побудить Деруледи придать совершенно иной характер цели своего посещения, а именно в смысле желания, разумеется, „познакомиться с литературным светилом России“. Эта почва сделала возможным для Деруледи пребывание в Ясной Поляне...



Екатерина Фёдоровна Юнге.
Портрет Г. Г. Мясоедова, 1901.

Были минуты, когда, казалось, он был близок к цели, но едва только в речи появлялись отзвуки боевой трубы, граф становился холоден, как мрамор. Один только раз он, в свою очередь, коснулся в разговоре темы о войне и её невыразимых бедствиях. Он видел своими глазами всё это — ночное кровавое небо, опустившееся над полем битвы, и когда Деруледи вслед затем снова заговорил о том, что „Рейн должен принадлежать французам“, граф улыбнулся добродушно и сказал: „Границы между государствами должны определяться не пролитой кровью, а разумным соглашением народов, причём должна быть оказана справедливость каждому и взвешены все права и выгоды той и другой стороны“. На замечание гостя, что война есть явление, свойственное природе, граф ответил, что, тем

не менее, её должно и можно избежать, и если наступят опять дни, когда брат встанет на брата и будут убивать друг друга, — пусть это будет сила рокового сцепления вещей. Но, главное, никто не должен ни вызывать, ни требовать войны. С этими словами граф встал и быстро вышел из залы». (*Цит. по русскому переводу: Сейрон, Анна. Шесть лет в доме графа Льва Николаевича Толстого: записки Анны Сейрон. СПб., 1895. С. 59 – 61.*)

А ниже — несколько записей с листочков немногословной Е. Ф. Юнге, слышавшей разговор писателей. Всё это, очевидно, возражения Толстого Деруледу:

«Бог — закон природы; разум — совесть».

«Понятие об родине, государстве, собственности есть метафизика, — а то, что я говорю, — это математика».

«Когда один человек слушает и ничего не понимает, а другой говорит и сам уже не понимает, что он говорит, — это метафизика».

«Борьба за существование есть не закон природы, а тот материал, над которым должна работать цивилизация. Чем больше цивилизации, тем менее проявляется борьба за существование, истинная цивилизация должна уничтожить её».

«Эльзас и Лотарингия теперь именно ваши своею любовью к вам, своим духовным сопротивлением немцам; не всё ли равно, какое над ними насилие, какая власть». («Взгляды Толстого эгоистичны, — отмечает здесь же Юнге, — чтоб своя совесть была спокойна, чтобы самому можно было жить — рассказ об ребёнке, которого кто-нибудь бьёт; не имеем права помочь ему насилием же». — *Примеч. Е. Ф. Юнге.*)

«Самоотвержение, желание жертвы так сильно в человеке, что он создал себе теории, чтоб только жертвовать собой идее».

«Немцы победили так же, как потеряли от войны: они стали самодовольны, нахальны». (Имеется в виду (здесь и ниже) франко-прусская война 1870 – 1871 гг.— *Примеч. ред.*).

«Впечатление войны в России: все преклонялись перед немцами, немецкой литературой, наукой, философией — после войны это как рукой сняло, разом как отрезало» (*Юнге Е. Ф. Воспоминания. Переписка. Сочинения. 1843 – 1911. М., 2017. С. 436 – 437*).

Уникальны по значительности для нашей темы воспоминания Л. Н. Толстого о своей молодости в разговоре с Полем Деруледом, услышанные любопытной художницей и умницей. Например:

«Когда он поступил в университет и пошёл к портному заказывать мундир, то офицер у портного разговорился с ним и спросил, на какую службу он пойдёт, военную или статскую, то он отвечал: “Разве порядочный человек может поступить иначе как в военную?”» (*Там же. С. 437*).

А вот — ценнейшая подробность о скандально знаменитой «севастопольской песне», сочинённой Толстым с офицерами-сослуживцами в 1855 году, на «пике» обиды за жизни солдат и поражение в битве 4 (16) августа 1855 г. при Чёрной речке, вызванное халтурным командованием и стоившее множества солдатских жизней:

«Этой песне я много обязан: если бы не она, моя вся жизнь пошла бы иначе. Меня хотели послать адъютантом к государю, но между тем вышло как-то наружу, что это я написал, ну и неловко было назначить» (*Там же*).

На этих же листках Юнге сделала следующие заметки: «В Т<олстом> что-то добродушное, приветливое, весёлое, ласковое доброе, напомнило мне отца, — такая же ласковая улыбка» и «Толстой вообще сделал на меня более добродушное и спокойное впечатление, чем прошлый раз» (*Цит. по: Ланской Л. Р. Из бесед Толстого с Полем Деруледом. Неизвестные записи Е. Ф. Юнге // Литературное наследство. 1965. Т. 75. Кн. 1. С. 539*).

Четверть века спустя, уже после смерти Толстого, Екатерина Фёдоровна Юнге писала его вдове (1 октября 1911 г.): «Дерулед был у Льва Николаевича, по моим точным соображениям, в 1886 году. Пусть только Бирюков не повторяет глупостей, которые писались в газетах по этому поводу, будто Лев Николаевич сердился, хлопал дверями и пр. Я всё время была с ними, и ничего подобного не было; они спорили горячо, но дружественно, и часто прения прерывались шутками, например:

Л[ев] Н[иколаевич]. Я не понимаю, как люди могли дойти до мысли, что земля может быть чьей-нибудь собственностью.

Дерулед. Ну, знаете, эта теория растяжима. Таким образом можно сказать, что и мой сюртук — не моя собственность.

Л. Н. Конечно, и не только сюртук, но ваши руки, ваша голова — не ваша собственность.

Дерулед. Ah, mais non! Ah, mais non! <фр. Ну, уж нет! Нет!> Я не хочу оставаться без головы, я буду защищаться.

Л. Н. (смеясь). Ну, если это вам неприятно, я скажу, что мои руки, моя голова мне не принадлежат...

Дерулед. Вот если б мне да вашу голову! Хоть на один месяц бы! Л[ев] Н[иколаевич] хохочет.

Перед отъездом, в отсутствие Деруледи, Лев Николаевич сказал мне:

— Ведь я вполне этого человека понимаю: я сам когда-то точно так же думал. Но теперь я выше этого. А когда мы выехали, Дерулед сказал мне: «Ведь я вполне этого человека понимаю, я благоговею перед ним, но сам я не могу отрешиться от того, что было крепче моей жизни. *Я не могу подняться на его высоту*» (Юнге Е. Ф. Указ. изд. С. 439 – 440; ср.: Ланской Л. Р. Из бесед Толстого с Полем Деруледом. *Неизвестные записи Е. Ф. Юнге // Указ. изд. Кн. 1. С. 539 – 540*).

Итак, воинственные доводы автора «Песен солдата», разумеется, не встретили сочувствия в Толстом. Ветеран понял и полюбил ветерана, но миссия агитатора завершилась полным фиаско, хотя он не мог пожаловаться на оказанный ему прием. «Никто в этом доме не сходится со мною во взглядах, однако мне здесь нравится, очень нравится», — говорил он С. А. Толстой (Цит. по: Ланской Л. Р. Из бесед Толстого с Полем Деруледом. *Неизвестные записи Е. Ф. Юнге // Указ. изд. Кн. 1. С. 535*).

Книжку с текстом драмы Поля Деруледи «Моавитянка», подаренную автором Толстому в ходе визита, яснополянец почти не разрешил (Там же. С. 535 – 536).

Толстой мощно впечатался Полю Деруледи в память. Но если француз остался совершенно при тех же своих реваншистских и милитаристских убеждениях, то антивоенные настроения яснополянца получили после той беседы «пищу для размышлений» и существенно углубились. Ниже, через одну главу, при анализе антивоенной публицистики Льва Николаевича в 1890-е гг., нам доведётся вернуться к этому сюжету — взглянув на визит Поля Деруледи, на самую эту

личность, буквально «другими глазами». Причина в том, что Толстой-публицист подробно рассказал читателям об этом посещении (не называя фамилии гостя) в статье «Христианство и патриотизм» (1894 – 1894), направленной, помимо прочего, против франко-русского «сближения», чреватого новой большой войной в Европе.

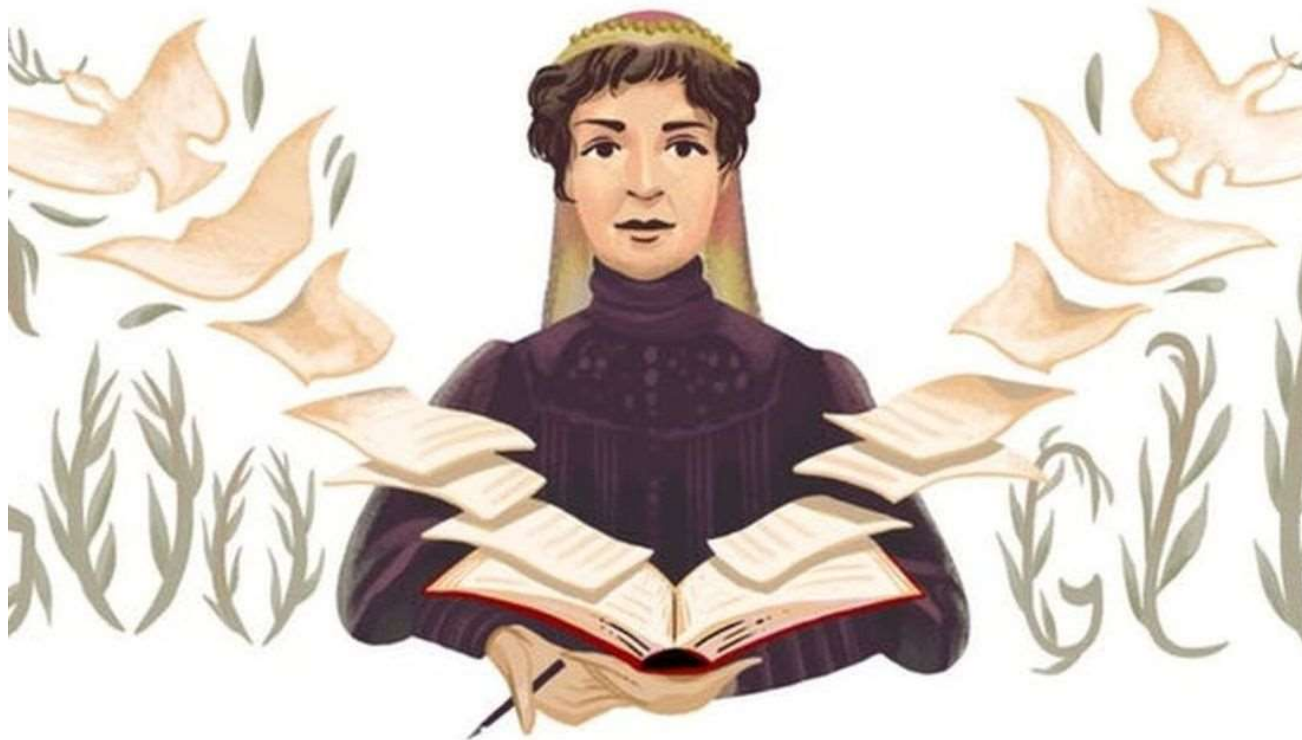
Через год, в начале лета 1887 г., а точнее 6 июня, состоялось ещё одно, значительнейшее именно для нашей темы, знакомство Толстого — с выдающимся юристом своей эпохи, судебным следователем, интеллектуально и нравственно благоухающим человеком со смешной лошадиной фамилией — *Анатолием Фёдоровичем Кони* (1844 – 1927).

Впервые Анатолий Фёдорович увидел Толстого, будучи студентом юридического факультета Московского университета, в 1863 г., в гимнастическом зале на Большой Дмитровке. А сдружил Кони и Льва его коллега по службе А. М. Кузминский – муж сестры С.А. Толстой. 6 июня 1887 г. они прибыли в Ясную Поляну — в тот самый Флигель — где Анатолий Фёдорович и прогостил несколько дней. Сенатор-писатель и писатель-мыслитель провели многие часы в беседах о религиозных и нравственных вопросах; гость не раз обращался к судебным воспоминаниям и рассказывал Толстому многое из своей профессиональной практики. Одному из его рассказов суждено было стать шедевром мировой литературы. В 1889 г. он начал писать произведение, первоначально названное им «Коневская повесть», над которым работал 10 лет. История финской девушки Розалии Онни под пером писателя преобразилась в роман «Воскресение», знаменитый своим критическим по отношению к церкви и государству, религиозным, а в числе прочего, хотя и не на первом месте — и антивоенным пафосом.

Между ними завязалась переписка. С 1888 по 1910 гг. Кони получил от Толстого 36 писем. Главной темой писем была просьба оказать содействие людям, попавшим в трудную ситуацию, требовавшую вмешательства юриста и, главное, доброго, отзывчивого человека. Среди таковых были и «отказники» от военной службы по религиозным убеждениям.

Наконец, уже к 1891 году, но как «эхо 1880-х», возросших в эти годы известности и популярности Толстого за рубежом, относится весьма значительное знакомство Льва Николаевича «по переписке»,

с австрийской писательницей, пацифисткой, баронессой *Бертой фон Зуттнер* (Bertha Sophie Felicitas Freifrau von Suttner, урож. гр. Kinsky; 1843 – 1914).



Берта Фон Зуттнер. Рисунок Google. 2019 г.

Берта фон Зуттнер родилась 9 июня 1843 г. в Праге (в то время Австро-Венгрия), в семье австрийского фельдмаршала графа Франса Йозефа Кински фон Шиник унд Теттау. Отец скончался незадолго до рождения дочери, и её воспитанием занималась мать София Вильгемина, а также опекун, оба входившие в австрийские придворные круги. Так получилось, что Берта Кински была воспитана в милитаристских традициях австрийского аристократического общества – тех самых традициях, с которыми она вела беспощадную борьбу всю вторую, бóльшую и лучшую, половину своей сознательной жизни.

По счастью, к тому времени, когда Берте исполнилось 30 лет, её мать промотала наследное состояние. Берта нанялась гувернанткой к четырём дочерям венского семейства Зуттнер и вскоре влюбилась в одного из трёх сыновей – барона Артура Гундаккара фон Зуттнера. Поженившись без согласия родителей Артура, Зуттнеры вынуждены были уехать в Россию, в Грузию, воспользовавшись приглашением

семьи князя Дадиани. Когда между Россией и Турцией в 1877 г. началась война, Артур фон Зуттнер стал писать репортажи с театра военных действий в венские периодические издания. Популярность статей мужа вдохновила взяться за перо и Берту. Она сочиняла рассказы, эссе, вместе с Артуром — под влиянием Э. Золя, идей Ч. Дарвина и Г. Спенсера — написала четыре романа.



Берта фон Зуттнер в молодости

В 1886 – 1887 гг. Зуттнеры живут в Париже, встречаются с Альфредом Нобелем и Эрнестом Ренаном, знакомятся с деятельностью Ассоциации мира и международного арбитража в Лондоне и аналогичных организаций в странах континентальной Европы. Загоревшись идеями арбитража, Берта фон Зуттнер пишет книгу «Эпоха машин» (1889), где выступает с критикой пропаганды национализма и милитаризма в европейских странах. Это произведение вызвало широкое обсуждение как в обществе, так и в кругах литературных критиков.

В 1889 году Берта опубликовала малоталантливый, но получивший скандальную известность роман «Долой оружие!» («Die Waffen nieder!

Eine Lebensgeschichte»). Его перевод на русском языке появился в 1891 г. под названием «Против войны: Роман из жизни» (СПб., 1891).

Роман должен был показать всю нелепость войны, её безумие и ужас и побудить читателей стать противниками милитаризма. Героиня романа Марта — дочь боевого генерала, выросшая в атмосфере культа военных подвигов. Первый её муж, гусар, погибает во время итало-австрийской войны 1859 года. Второй муж, барон Тиллинг, — участник австро-прусской войны 1866 года. Не получая от него долгое время известий, Марта отправляется на театр войны, видит бездну страданий, убитых и изувеченных. Это, пожалуй, самые сильные страницы романа. Двое старших её братьев погибли в сражениях; во время эпидемии, последовавшей за военными опустошениями, умирают другие её близкие. Барон Тиллинг после войны уходит в отставку, супруги посвящают свою жизнь изучению причин военных конфликтов, прослеживают зарождение и развитие идеи мира, ищут аргументы против войны в трудах и высказываниях великих людей, делают выписки, которые называют «Протоколом мира». Роман завершается трагически: Марта с мужем в Париже, начинается франко-прусская война, по нелепому подозрению в шпионаже барон Тиллинг расстрелян французскими властями.

Автор русского перевода сочинения, Фёдор Ильич Булгаков (1852 – 1908), очевидно, по договорённости с Зуттнер, прислал экземпляр книги — особо заготовленный, без цензурных изъятий — в Ясную Поляну. Известен отзыв о романе Л. Н. Толстого в Дневнике: «Хорошо собрано. Видно горячее убеждение, но бездарно» (52, 56). Но даже по выводам Санкт-Петербургского цензурного комитета, которые можно отыскать в очерке Николая Сергеевича Травушкина, едва ли не единственного советского исследователя отношений Берты фон Зуттнер и Льва Толстого, можно видеть, что русское издание, едва прорвавшееся сквозь цензуру, не могло не порадовать Толстого:

«Война есть легализованный правительством разбой, грабёж и насилие, ведущие к полному одичанию... Войны необходимы не народу, а правительствам для поддержания династических интересов, а высшим классам — для сохранения сословных перегородок... Распространённое в христианском мире убеждение о божественной будто бы санкции ведения войны — ложно; поэтому всё, касающееся религиозной обрядности в военной сфере, как, например, присяга, увещевания духовных лиц перед битвой, обещание воинам

царствия небесного — обман...» (Цит. по: Травушкин Н.С. Берта Зутнер – корреспондент Л. Толстого // Русская литература. 1972. № 2. С. 144).

А не порадовали Толстого не только слабая художническая способность романистки, но и настроение книжки — те эмоции осуждения и тот задор «обличать и ниспровергать», на котором, как нежелательном даже в христианской публицистике, ловил себя Толстой. По наблюдениям Н. С. Травушкина, «это было сильное обличительное произведение, которое, быть может, больше, чем того хотела писательница, критиковало самые основы государственной жизни, построенной па насилии и милитаризме. Недаром книга Зутнер скоро стала популярной в среде революционно настроенных рабочих и оппозиционной интеллигенции» (Там же). К счастью для Толстого, и к сожалению для пацифистов и прочих «горячих обличителей», в числе *такой* читательской аудитории его невозможно было увидеть.

Вместе с книгой к Толстому прибыло и первое письмо от Берты фон Зуттнер, от 4 (16 н. ст.) октября 1891 г., в котором она выражала надежду, что «г. Булгаков из «Нового времени» послал Толстому перевод ее романа «Долой оружие!». Кроме того, напоминая, что в скором времени в Риме соберётся международный конгресс мира с парламентскими представителями, а в Вене одновременно формируется австрийская секция всемирной лиги мира, Зуттнер, как организатор пацифистского движения в Вене, просила Толстого написать ей несколько слов поддержки её стремлений:



Берта фон Зуттнер

«Вы, учитель, один из тех, к чьему слову прислушивается вся Европа. Вот почему я, зачинательница движения мира в Вене, прошу Вас прислать нам одну-две строки в подтверждение того, что вы одобряете цели Лиги и верите в осуществление её надежд» (66, 59).

В ответе своём Зуттнер Толстой был снисходителен, но и твёрд в отстаивании убеждений, к тому времени уже выраженных им в трактате «Царство Божие внутри вас», над которой работал:

«Милостивая государыня,

Я читал ваш роман, который мне прислал г. Булгаков, в то время, как получил ваше письмо.

Я очень ценю ваше произведение, и мне приходит мысль, что опубликование вашего романа является счастливым предзнаменованием.

Отмене невольничества предшествовала знаменитая книга женщины, г-жи Бичер-Стоу; дай Бог, чтобы ваша книга предшествовала уничтожению войны.

Я не верю, чтобы третейский суд был действенным средством для уничтожения войны. Я заканчиваю одно писание по этому предмету, в котором говорю об единственном средстве, которое, по моему мнению, может сделать войны невозможными. Между тем все усилия, подсказанные искренней любовью к человечеству, принесут свои плоды, и конгресс в Риме, я в этом уверен, будет много содействовать, как и прошлогодний конгресс в Лондоне, популяризации идеи о явном противоречии, в котором находится Европа, между военным положением народов и нравственными правилами христианства и гуманности, которые они исповедуют.

Примите, милостивая государыня, уверение в моих чувствах истинного уважения и симпатии.

Лев Толстой» (66, 58 – 59. Черновое. Оригинал на франц.).

Это самое «противоречие» станет одной из ключевых идей трактата, о котором мы расскажем достаточно подробно в следующей главе. Очевидно, что фрау пацифистка несколько припозднилась для того, чтобы успеть заручиться безоговорочной поддержкой яснополянца: к 1891 году Толстой уже разобрался в безрелигиозном характере европацифизма и как раз успел в своей книге бодро «прокатить» Второй конгресс мира, состоявшийся в июне 1890 г. в Лондоне. В гл. VI

«Царства Божия» он пишет: «Вот результаты конгресса: собрав с разных концов света от учёных лично или письменно их мнения, конгресс, начав молебствием в соборе и кончив обедом со спичем, в продолжение 5 дней выслушал много речей и пришёл к следующим решениям». И далее Толстой излагает 19 пунктов решения этого конгресса, нигде не сбавляя “градуса” своей иронии (см. 28, 107 – 112).

Зуттнер ответила Толстому письмом от 6 января нов. ст. 1892 г. (ошибочно помеченным «1891 г.»). Н. С. Травушкин опубликовал полный его текст в своём очерке:

«Дорогой великий учитель!

Я ещё не поблагодарила вас за оказанную мне честь — за письмо, которое вы по моей просьбе написали и которым принесли — мне и делу, которому я служу, — огромную пользу.

Я очень польщена тем, что вы прочитали мой роман, посланный г. Булгаковым, и что вы нашли его достойным внимания. Для вас также, как я надеюсь, будет представлять интерес, что многочисленное „общество мира“ — по образцу лондонского — создаётся в Вене под моим руководством: оно насчитывает среди своих участников немало политических деятелей, литераторов, ученых. Один издатель — энтузиаст дела мира — основывает ежемесячник для пропаганды пацифистского движения, он назвал этот журнал „Долой оружие!“. Журнал предназначен служить центром для всех выступающих против духа войны. Я прошу вас, мэтр, если труд, который вы упомянули в вашем письме и в котором заключена ваша мысль о средстве установления мира, если труд этот близок к завершению и если вы пожелаете передать нашему журналу „Die Waffen nieder!“ право публикации его или хотя бы части его в немецком переводе, то это было бы прекрасным для открытия журнала подарком, который мы могли бы преподнести нашим читателям. Объявление о такой удачной находке привлекло бы легион подписчиков, и дело мира, которому посвящается наш журнал, приобрело бы новых приверженцев.

Примите, мэтр, уверения в моем глубоком уважении и глубокой признательности.

Баронесса Берта фон Зуттнер.

Австрия, замок Харманнсдорф, близ Эггенбурга» (Цит. по: Травушкин Н.С. Указ. соч. // Русская литература. 1972. № 2. С. 145 - 146).

На письме помета Толстого: «Б[ез] о[твета]». И дело здесь не только в скептическом отношении Толстого к деятельности европейских пацифистов. Сочинение, которое Зуттнер наивно выпрашивала у Толстого для своего журнала, ей суждено было увидеть нескоро: это был тот самый трактат «Царство Божие...», в котором (чего не могла, конечно же, знать Зуттнер), пацифисты и их Конгрессы мира остроумно высмеивались Толстым. К тому же автор был в эти первые дни 1882 года безмерно далёк от завершения книги и обременён не менее значительными предприятиями: спасением от голодной смерти тысяч крестьян у себя на родине.

Пацифисты, как Зуттнер, навсегда останутся дружественными единомышленниками Льва Николаевича в его антивоенном протесте, но вряд ли по-настоящему близким единомышленником Толстого могла быть именно эта дама, которая «искала опору в позитивистской философии Бокля и Спенсера, а также в этическом учении Толстого» (Травушкин Н.С. Указ. соч. // Русская литература. 1972. № 2. С. 142). Между позитивистами и Толстым неизбежно и необходимо делать выбор.

Будучи посланы нахуй, корреспонденты Толстого обычно не прерывали переписки, а настырно повторяли попытку диалога. Вот и Берта Зуттнер, которой нужно было наверняка обратить внимание Толстого на новый её антивоенный журнал — названный, как и скандальный роман, «Долой оружие!» — написала 10 июля 1892 г. ещё и третье письмо Толстому, так же оставленное им без ответа. В письме неутомимая фрау повторила просьбу о присылке статьи или отрывка из неё: предстоял конгресс мира в Берне, и она готовила специальный номер журнала «Долой оружие!» с высказываниями известных лиц. Несмотря на наступивший после этого послания перерыв в переписке, цели своей фрау Берта отчасти добилась: Толстой уже не смог позабыть о разрекламированном для него журнале. Тем более, что издательница подсуетилась и в том, чтобы Толстому высылались бесплатно его номера. В письме С. А. Толстой от 30 октября 1893 года Лев Николаевич дал журналу такую оценку: «Ещё интересен № *Die Waffen nieder*, к<оторый> посылаю... Это преинтересный и прекрасно ведомый журнал, к<оторый> надо выписать и к<оторым> надо пользоваться» (84, 202). Об этом же он писал тогда В. Г.

Черткову: «Хороший журнал. Я нынче получил один № ...» (87, 232). Через год в Дневнике (6 сентября 1894 года) появляется запись: «читал... статьи в *Waffen Nieder*» (52, 137).

С. А. Толстая, не принимавшая, как известно, чистой евангельской, христианской веры супруга, но нескрываемо симпатизировавшая именно безрелигиозным общественным движениям, как пацифизм или феминизм, в письме от 23 октября 1893 года советовала Льву Николаевичу послать в журнал Берты фон Зуттнер статью «Христианство и патриотизм»: «О статье твоей тулонской я думала потому поместить у Сутнер, что тогда она будет иметь характер протеста войне, а не личного задора; не будет причины русским и французам обижаться, а это всегда лучше» (*Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому. М., 1936. С. 578*). Лев Николаевич находил, что это «очень хорошая мысль» (66, 408). О намерении послать статью в журнал Берты Зуттнер Л. Н. Толстой писал в те дни В. Г. Черткову (87, 232). По счастью, намерение это осуществлено не было.

В не меньшей степени, нежели соблазны городской жизни, популярности способствовали многочисленные издания собраний сочинений писателя в России, предпринятые с 1885 г. Софьей Андреевной Толстой, а также и переводы сочинений писателя на европейские языки. Переводчики, с которыми держал связь Толстой, уже совсем скоро окажут помощь ему значительнейшую, поворотную для судьбы его публицистических сочинений, в том числе антивоенных. В России весной и летом 1886 года 12-я часть изданного под руководством Софьи Андреевны Толстой Собрания сочинений мужа, вызвала бурную газетно-журнальную полемику (*Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1892 гг. М., 1979. С. 43*). Помимо гениальнейшей «Смерти Ивана Ильича», том содержал прорвавшиеся через цензуру отрывки из трактата Л. Н. Толстого «Так что же нам делать?», объединённые заглавием «Мысли, вызванные переписью». Таким образом, «всемирной славе» Толстого как «нравственного учителя» Софья Толстая, впоследствии в своём дневнике и мемуарах зло пенявшая мужу на эту славу, способствовала сама, и не бескорыстно, в середине – второй половине 1880-х!

Когда точно Толстой почувствовал возможность своего влияния, даже международного, на решение вопросов войны и мира — трудно сказать. Во всяком случае, это должно было совершиться

позднее написания Толстым основного текста статьи «Николай Палкин» в 1886 году, когда писатель даже не стремился к публикации (конечно, неподцензурной, «нелегальной») этого вполне «антивоенного» текста, но определённо до начала 1889 года, когда, по просьбе Андрея Ивановича Ершова, старого севастопольского сослуживца, Толстой пишет Предисловие к его военным мемуарам — не менее нецензурное, но уже первоначально предполагаемое автором для публикации.

О том, что ощущение самим Толстым неизбежности, при городской жизни и нарастающей популярности нравственного «авторитета», общественной, и при том критической в отношении существующего строя жизни, активности, безусловно захватило писателя и публициста к концу 1880-х, свидетельствуют его записи в дневнике, например, эта, от 4 января 1889 г.:

«...Читал Advance Thought и думал. Кажется, уяснил себе, что должен я написать “пришествие царствия”» (50, 20).

А 10 февраля — снова то же побуждение, под впечатлением от книги Э. Рода:

«Читал *Le sens de la vie* [«Смысл жизни»]. Там страницы о войне и государстве поразительные. Надо, надо писать и воззвание и роман, т. е. высказывать свои мысли, отдаваясь течению жизни» (Там же. С. 35).

Или эта, под 19 апреля 1889 г., тоже ещё живя в Москве:

«Созревает в мире новое миросозерцание и движение и как будто от меня требует[ся] участие, провозглашение его. Точно я только для этого нарочно сделан тем, что я есмь с моей репутацией — сделан колоколом. Отче, помоги мне. Если такова воля Твоя, буду делать. Отче, помоги мне. Если такова воля Твоя, буду делать» (50, 69).

Но кажущаяся в этом отрывке неколебимая решимость встать на такое поприще утвердилась в сознании Толстого, вероятно, ещё несколько позднее — под влияниями, как мы видим, ряда чтений и событий. А в Дневнике того же 1889 года, под 12 мая, Толстой ещё расстроен рассказом своей христианской единомышленницы Марии Александровны Шмидт о том, как другой толстовец «страдал за меня, за то, что я не поступаю, как должен общественный деятель» (50, 80).

Любопытно, в связи с этим, сравнить ситуацию с *первым* отказником, именно единомышленником Толстого, Алексеем Залюбовским, о котором мы рассказали выше, со *вторым*, старшим известным

Толстому, отказом, так же именно по «толстовским» убеждениям, который случился только через, без малого, четыре года (!) после казуса с Залюбовским. На этот раз на духовный подвиг пошёл *Ефим Николаевич Любич* (1865 (1867?) – 1923). Ефим Николаевич был сыном механика-самоучки, проживавшего в селе Вишеньки Кролевецкого уезда Черниговской губернии. В 1880-е гг. году он добровольно вышел из студентов Университета Св. Владимира в Киеве и занялся земледелием. Но тётя «родина» не оставила в покое — потянув на военную службу. За отказом Любича в ноябре 1886 года последовали арест, содержание под следствием и, наконец, уже весной 1889-го, принудительная отправка на два года на «нестроевую», как сейчас бы сказали, службу в сводном лазарете военного поста Зайсана Семипалатинской области.

С Толстым лично Ефим Николаевич не виделся. Узнав из письма князя-толстовца Хилкова о том, что Любич по дороге в ссылку будет проезжать через Тулу, Толстой поехал повидаться с ним. Он искал его по всем тюрьмам, но не нашёл, так как Любич находился в военной пересыльной тюрьме. Льву Николаевичу пришлось удовольствоваться отсылкой Любичу, через могущественного Хилкова, «тюремного» письма, писанного около 23 июня 1889 г., такого содержания:

«Ефим Николаевич!

Пожалуйста, напишите мне, когда получите вы это письмо и прилагаемое письмо Хилкова, из которого вы узнаете о своей семье. Я думаю, что мне не нужно говорить вам как вы мне близки и как мне радостно будет служить вам чем могу. Помогай вам Бог. Я тотчас же поехал в Тулу, получив письмо Хилкова (я получил 13-го), но нигде не нашёл вас. Если вы не проходили, то известите меня, и Бог даст свидимся; если же вы прошли, то, пожалуйста, пишите, и если вам может быть приятно знать, в чём, я думаю, вы не сомневаетесь, что я люблю вас всей душой, то знайте это. Мало ли, что может быть нужно в глуши и дали — книги, известия, вещи. — Я рад за вашу дружбу с Хилковым и за то, что ваша жена < Федосья Павловна Любич. – Р. А. > с ним. Если бы я был в вашем положении, я бы был совершенно спокоен за судьбу её. Обнимаю вас братски.

Лев Толстой» (64, 276).

Впоследствии Е. Н. Любич служил корректором в одной из одесских газет, а нелегально работал переписчиком духовных писаний Л. Н. Толстого, включая огромный трактат «Царство Божие внутри вас»

(Чисников В. Лев Толстой и его последователи по сведениям департамента полиции // Нева. 2020. № 11. С. 201 – 207). Был известен как писатель и журналист, в том числе автор неопубликованных воспоминаний о своих мытарствах. Писал рассказы, печатавшиеся в «Ниве», «Журнале для всех» и других периодических изданиях. Его рассказ «Затосковал» был издан толстовским народным книгоиздательством «Посредник». Рассказы Любича о жизни политических ссыльных Толстой оценил высоко уже в 1891 году, в письме 21 июня к тому же кн. Д. А. Хилкову. Занявшись распространением своих, подлежащих в России цензуре, сочинений за границей, Толстой в 1894 г. предполагал послать «дневник или записки Любича» в Англию, книгоиздателю и толстовцу Джону Кенворти (67, 255). Он в то время взялся представлять в Англии Толстого как издатель, переводчик и духовный единомышленник.

Мы видим, что если в случае начала 1885 года с Залюбовским дело было «семейное» — которое, впрочем, решительная Софья Андреевна сама, отчаянным порывом, вынесла на «министерский» уровень — то в случае с Любичем Толстой действует уже сам, и довольно решительно, уверенно, с опорой на влиятельного (одного, как минимум) помощника. Таким образом год 1889-й можно считать не только годом творческого подъёма у Толстого, но и первым годом его как религиозного противника войны, действующего публично и активно, от своего имени.

3. 5. НЕ КРАСНЫЙ КРЕСТ, А КРЕСТ ХРИСТОВЫЙ («Предисловие к книге “Севастопольские воспоминания” артиллерийского офицера А. И. Ершова». 1889)

Нет тут никакой фатальности,
есть одно невежество дикости.
Дикость поступков на войне
и хитрость дикаря во время мира
при суждениях о войне.

(Л. Н. Толстой)

Обстоятельства подготовки этого Предисловия исключительно интересны — не менее, чем оно само: они знаменуют первую в веренице связанных с антивоенным протестом *встреч* старца христианина Толстого «с самим собой» в прошлом, в воспоминаниях о молодости...

12 января 1889 г. Толстого в его московском доме в Хамовниках навестил замечательный, значительнейший для него самый гость. Им был сослуживец молодого Льва, знакомый по Крымской войне, прапорщик *Андрей Иванович Ершов* (1834 или 1835 – 1907). Воспитанник Михайловского артиллерийского училища, Ершов оказался по собственному желанию на войне. В Севастопольском гарнизоне состоял с 31 декабря 1854 г. по 27 августа 1855 г. В течение более двух месяцев он командовал 4-мя полевыми орудиями и был ранен и контужен в голову. За отличия и ранения свои представлен был к награждению орденами Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» и Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом.

В 1858 Андрей Иванович году вышел в отставку и поселился в Петербурге. Известно, что одно время он заведовал метахромотипией; кроме того, уезжал за границу, где участвовал в походах Гарибальди на Рим; позднее жил литературным трудом и частными уроками.

В год выхода в отставку он опубликовал первым изданием воспоминания, высоко оценённые и Л. Н. Толстым (Дневник, 31 окт. 1857 г.).

И вот, более чем через 30 лет, 12 января 1889 г., Ершов приехал к Толстому с просьбой написать предисловие к готовящемуся у А. С. Суворина новому изданию его воспоминаний. 12 января 1889 г. Толстой записывает в Дневнике: «Ершов с книгой». Запись указывает на то, что в этот день у Толстого был автор «Севастопольских воспоминаний» А. И. Ершов и просил его написать предисловие к новому изданию у А. С. Суворина его книги. Толстой принимается за перечитывание книги Ершова, о чём свидетельствует запись в Дневнике 13 января: «Читал Ершова», и другая того же числа: «Дома dokonчил Ершова». На другой день, 14 января Толстой уже записывает: «Хочу писать предисловие Ершову». Более поздняя запись того же числа говорит: «Писал очень усердно. Но слабо. И не выйдет так» (50, 22 – 23).

30 января А. С. Суворин пишет Толстому следующее письмо: «Лев Николаевич, я обращаюсь к вам с большой просьбой такого рода. Не

знаете ли вы, где г. Ершов, автор «Севастопольских воспоминаний»? Я взялся напечатать его книжку, а он говорил мне, что вы обещали дать ему предисловие к ней. Возвращаясь около двух недель тому назад из Москвы, я встретил его на железной дороге. Он тоже ехал в Петербург и говорил, что у вас предисловие почти окончено. С того времени я не видал его, он не заходил ни ко мне, ни в типографию, и не присылал своего адреса. Между тем книга окончена набором и стоит без движения, а часть её отпечатана. Будьте добры, Лев Николаевич, уведомить меня, где автор и будет ли ваше предисловие или нет?» (*Цит. по: 27, 729 – 730*).

Толстой отвечает Суворину 31 января 1889 г.: «Об Ершове ничего не знаю. Предисловие к его книге я написал было, но оно не годится; желаю переделать или написать вновь и поскорее прислать вам» (*Там же. С. 730*).

Дело в том, что, в отличие от первого чтения в годы, когда сам Лев Николаевич разделял с миром множество его обманов, теперь, при перечитывании, текст, напомнивший Толстому драматические события его военной молодости, “наложился” на его христианское сознание. Как следствие, черновые варианты Предисловия делались, от одного к другому, всё нецензурней.

Вот характерные отрывки из Первой редакции — о том, как и почему вообще пишутся очевидцами «правдивые» военные мемуары:

«Одно из самых странных, вместе самых значительных явлений человеческой жизни, явлений, от которых зависит большая доля того зла, от которого страдает человечество, состоит в, назову это, в перекувыркании человеческой природы. Перекувыркание это состоит в том, что человек вместо того, чтобы руководиться в своей практической деятельности, в своих поступках, деятельностью своей духовной природы, человек, не обдумав прежде, отдаётся весь известной практической деятельности и, потратив часть своей жизни, духовную деятельность свою устремляет на оправдание этой практической деятельности, и обсудив их под влиянием воспитания, пример жизненного гипнотизма совершает известные поступки. Человек усилиями воспитания натолкнут на книжную, учебную деятельность. Не успев одуматься и потратив лучшие года жизни на заучивание того, что в книгах, он близоруким, безмускульным, с разбитыми нервами, убогим человеком очунается в 30 лет и задаёт себе вопрос о том, какое высшее призвание человека и какая цена той деятельности, в жертву которой он уже принёс себя. Из 1000 таких

людей едва ли у одного из таких людей достанет искренности оценить своё положение, остальные же признают то, во имя чего они принесли себя в жертву, бесспорно заслуживающим этих жертв, и вся духовная деятельность их направляется на доказательство того, что они, не выбирая, выбрали то самое, что было нужно. Это явление повторяется во всех проявлениях жизни человеческой.

[...] И у него после возвращения его оттуда начинает действовать его духовная сторона — мысль, соображая и то, что он сделал, и во имя чего он сделал. И вот тут является именно в Севастопольскую войну целый ряд обстоятельств, которые мешают убедительности доказательств о том, что то, что было сделано им, этим офицером, и было то самое лучшее, что он и должен был делать. Делает возможным сомнение, во 1-х, то, что не искалечен человек, не испорчен безнадежно, ему только 20 лет, и потому не дано вполне таких залогов, при которых нет возврата и надо уже как никак оправдывать заплаченную цену. Во 2-х, особенное свойство самой войны севастопольской — подвигов деятельных никаких не было, да и быть не могло. Никого нельзя было спасти, защищать, никого даже нельзя было наказывать, никого удивлять нельзя было. Все подвиги сводились к тому, чтобы быть пушечным мясом, и если делать что, то делать дурное, т. е. стараться делать вид, что не замечаешь страданий других, не помогать им, вырабатывать в себе холодность к чужим страданиям. И если что и делать, то или посылать людей на смерть, или вызывать их на опасность. В 3-х, единственный мотив всей войны, всей гибели сотен тысяч был Севастополь с флотом. И этот Севастополь был отдан, и флот потоплен, и потому простое неизбежное рассуждение: зачем же было губить столько жизней? невольно приходило в голову. В 4-х, в это самое время умер Николай, и те глухо ходившие толки о неустройстве не только войска, но и всего в России, о ложном величии этого царствования, разоблачённом Севастополем, после смерти Николая стали всеобщим разговором, и рассуждение о том, что если не было сил, то не надо было и начинать войны, невольно напрашивалось каждому.

[...] Ошибаюсь я или нет, но Севастопольская война положила в русском обществе заметное начало сознанию бессмысленности войн» (*Там же. С. 527 – 529*).

А вот мысли из позднейших черновых вариантов завершения Предисловия, о мнимой неизбежности, «фатальности» войн:

«Нет тут никакой фатальности, есть одно невежество дикости. Дикость поступков на войне и хитрость дикаря во время мира при суждениях о войне» (*Там же. С. 733*).

Не удовлетворяясь этим, безусловно резким, заключением, Толстой зачёркивает и его и даёт новое:

«Пора нам знать, что разрешения этого нет, и фатальности нет никакой, и что в войне нет и не может быть ничего иного, кроме проявления самых низких животных свойств человека и что...» (фраза в черновике обрывается) (*Там же*).

Толстой как будто и не думает о цензуре. Некогда, как художник, мы помним, он уже служил правде в «Севастопольских рассказах», — беззаветно, но отнюдь не безоглядно на цензуру, на возможность публикации. Здесь же, скорее, звучит то же «не могу молчать!», что и в «Проекте о реформировании армии»: пронзительное, безжалостное и к себе, своему военному прошлому, своим заблуждениям молодости.

10 февраля Толстой вновь принимается за статью, о чём говорит запись в Дневнике этого дня: «Сел за работу. Написал предисловие начерно». Затем опять следует перерыв, и только 18 февраля Толстой опять записывает: «Несмотря на то, что мало спал, поправил всё предисловие. Предисловие разрастается». О работе над предисловием говорят ещё записи Дневника от 22 февраля 1889 г.: «Предисловие поправляя», и от 11 марта: «Вчера писал предисловие порядочно».

Но кроме общения (уже заочного, через текст) со старым ветераном, сослуживцем по Крыму, Толстой в эти дни, тоже заочно, общается с человеком, быть может, более значительным в своей, как антивоенного мыслителя, судьбе: французским писателем Эдуардом Родом. О нём здесь, по хронологии и логике нашей работы, следует сказать особенное слово. Тем более что, с высоким вероятно, именно чтение Эдуарда Рода сподвигло Л. Н. Толстого на превращение и без того резкого, безусловно антивоенного, Предисловия своего к книжке Ершова в совершенно уже нецензурное сочинение.

* * * * *

Эдуард Род (Rod, Edouard; 1857 – 1910) — швейцарский, французский писатель-моралист и литературный критик. Родился в Нионе, получил образование в Лозанне, написав диссертацию о царе Эдипе.

Долгое время преподавал литературу в Женевском университете. С 1878 г. жил в Париже. Писал романы, вдохновляясь идеями Эмиля Золя. С 1884 г. — главный редактор и издатель журнала «Revue contemporaine», сотрудничал в газетах «Figaro», «Journal des Debats», а также в журнале «Revue des Deux Mondes» — как мы помним, многолетне любимом журнале Льва Николаевича.



Эдуард Род (1893)

На мировоззрение Эдуарда Рода, по собственному его признанию, оказали сильное влияние Артур Шопенгауэр и... Толстой. Это характерно для европейца его поколения — и в этом смысле сам Лев Николаевич Толстой был таким же, лишь старшим по возрасту, «русским европейцем», пережившим в конце 1860-х гг. сильное увлечение философией Артура Шопенгауэра. Преодолев позднее его влияние (как и влияние в юности Жан-Жака Руссо), Толстой сохранил внимательное и уважительное отношение к этому мыслителю на всю жизнь. Эдуард Род, к сожалению, не преодолел влияние романтиков-пессимистов: ни философских, ни художественных, таких, как Джакомо Леопарди, о котором, так же как и о Руссо, и о Стендале, обожаемом Толстым его учителе в писательстве, у Эдуарда Рода выходили книги: "Études sur le XIXe siècle. Giacomo Leopardi", Paris, 1894; "Stendhal" Paris, 1892; "L'affaire J.J. Rousseau" Paris, 1906 и др.

В 1888 г. Род пережил творческий кризис, в результате которого распрощался с натурализмом ради исследования нравственных категорий. В 1890 – 1891 гг. он печатал статьи в парижском журнале «Revue Bleue» под общим заглавием «Нравственные идеи нынешнего времени» («Les idées morales du temps present»). Одно из самых известных произведений Рода, роман «Поток» («L'Eau courante», 1902), по инициативе Толстого было издано «Посредником» (1903) в переводе П. В. Безобразова. В романе изображена жизнь швейцарского крестьянина 1870-х гг.

В конце XIX в. началось широкое знакомство французов с русской литературой. В 1870 – 1880 гг. во Франции появились статьи об историческом прошлом России, о её культуре и литературе. Об одном из выдающихся просветителей Франции на этой ниве, благородном и блистательном Эжене Мельхиоре де Вогюэ, мы уже сказали выше. Одно за другим выходили во французском переводе произведения Толстого. Французские критики отмечали факт мощного влияния Толстого на французскую литературу, в т. ч. на Э. Рода.

В 1889 г. французский литератор Эмиль Пажес прислал Эдуарду Роду переведённый им на французский язык трактат «Так что же нам делать?» (Париж, 1889). Протест Толстого против социальной несправедливости государства привёл Рода в восхищение. И он послал Толстому один из самых своих известных романов «Смысл жизни» («Le Sens de la vie», 1889), являющийся своего рода продолжением романа «La Course de la mort» («Бег к смерти», 1888). Эта книга сохранилась в Яснополянской библиотеке с многочисленными пометами Льва Николаевича Толстого.

Основные темы романа «Смысл жизни»: борьба между страстью и долгом, совесть, достоинство самоотречения. Толстой нашёл в романе Рода то, что его волновало в это время: «Читал Le Sens de la vie. Там страницы о войне и государстве поразительные. Надо, надо писать и воззвание и роман, т. е. высказывать свои мысли, отдаваясь течению жизни» (дневник 10 февраля 1889 г. — 50, 35). На следующий день появилась ещё одна запись: «Читал прелестного Rod. Есть места: о войне, о дилетантизме, удивительные» (50, 35).

22 февраля 1889 г. в ответном письме к Роду писатель назвал его «дорогой брат» («Cher confrère») и выразил свои впечатления от чтения книги «Смысл жизни». Прежде всего его поразила «искренность и сила выражения», «захватила» «важность самой темы»: «...я прочёл и перечёл книгу, в особенности некоторые её места. [...] То, что вы

говорите о войне, — это место замечательно, я прочёл его несколько раз вслух, а также о биче нашей цивилизации, называемой вами дилетантизмом, — писал Толстой. — Я редко читал, что-либо более сильное в смысле анализа умственного состояния большинства нашего общества» (64, 230 — 231).

Одновременно Толстой жёстко, смачно, остроумно раскритиковал автора за шопенгауэровский пессимизм:

«Пессимизм, в особенности, например, Шопенгауэра, всегда казался мне не только софизмом, но глупостью, и вдобавок глупостью дурного тона. Пессимизм, высказывающий своё мнение о мире и проповедующий своё учение среди людей, отлично чувствующих себя в жизни, напоминает человека, который, будучи принят в хорошем обществе, имеет бестактность портить удовольствие других выражением своей скуки, доказывая этим лишь то, что он просто не на уровне того круга, в котором находится. Мне всегда хочется сказать пессимисту: "если мир не по тебе, не щеголай своим неудовольствием, покинь его и не мешай другим"» (Там же. С. 231).

Но всё-таки в конце письма Толстой признался, что «нашёл себе неожиданного единомышленника, бодро идущего по тому пути», по которому он сам следует:

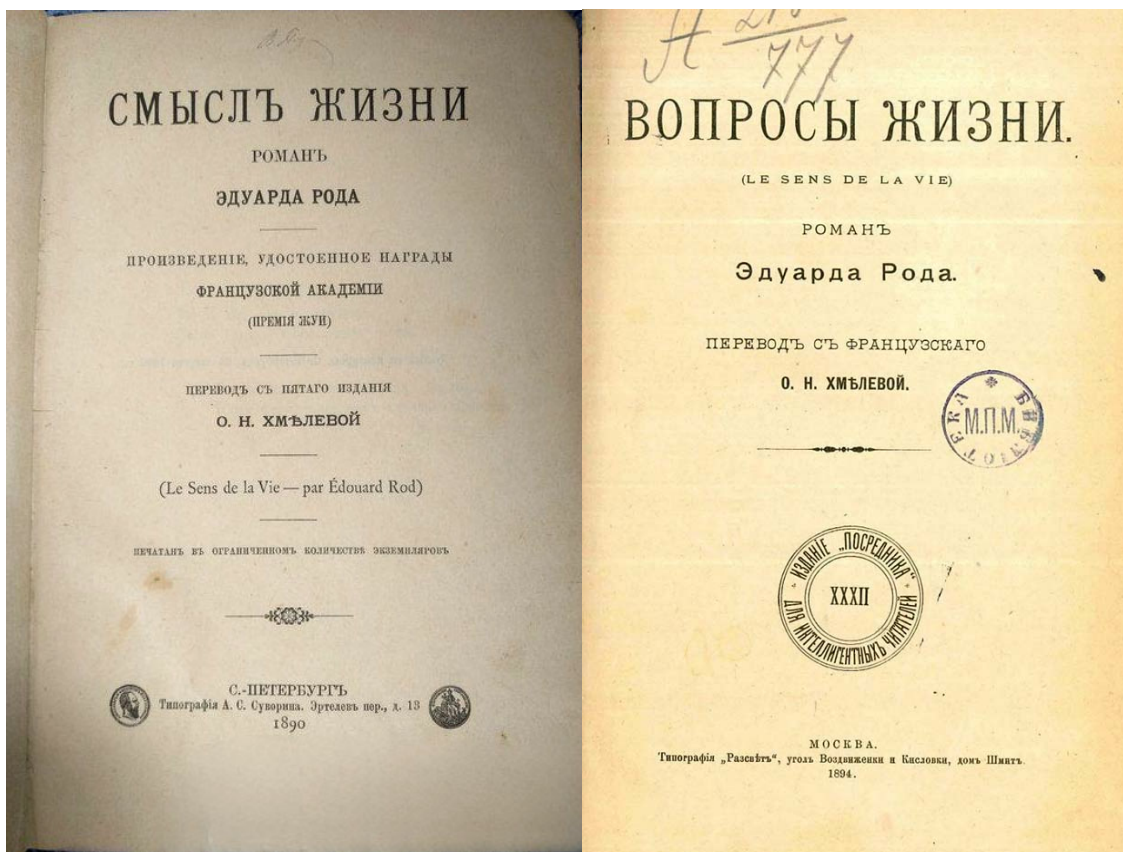
«Что бы вы ни говорили или ни писали о Леопарди, молодом или старом, богатом или бедном, очень крепком или слабым телом, я убеждён, что вы найдёте, если уже не нашли, настоящий ответ на заглавие вашей книги» (Там же).

Война и революция, по мнению Толстого-христианина, суть события, знаменующие кульминацию и кризис определённого исторического периода на неизбежном пути нашего мира ко Христу, к христианскому пониманию жизни — периода, в котором тёмная сторона повседневности начинает брать верх. Именно в этом контексте в трактате «Царство Божие внутри вас» (1890 – 1893) Толстой цитирует обширный фрагмент из романа Рода «Смысл жизни», подводя к нему читателя (28, 122 — 124). О самом этом отрывке, и, ещё немного, об Эдуарде Роде, мы скажем ниже, в соответствующем месте.

У Толстого, участника Кавказской, Восточной и Крымской войн Российской империи, был личный опыт, который помогал ему ценить в произведениях таких французских писателей, как Ги де Мопассан или Эдуард Род, их отношение к войне как к явлению жестокому, но неизбежному в нашем лжехристианском, безверном мире. Эти писатели, по мысли Льва Николаевича, «ясно видят весь ужас

войны, всё противоречие, вытекающее из того, что люди делают не то, что им нужно, выгодно и должно делать» (28, 129). Слабость же Э. Рода и подобных ему — в вялом пессимизме, в неверии в возможности торжества в мире Истины, которая сделает невозможными и войны.

Из дневника Толстого от 29 октября 1890 г. известно, что он «переводил [...] Рода [...] о войне» (51, 98), именно из книги «Le Sens de la vie». Эти толстовские переводы вошли в шестую главу трактата «Царство Божие внутри вас». Но для «Круга чтения» несколько фрагментов из произведений Эдуарда Рода были взяты писателем уже не из того, собственного, перевода, а из перевода, выполненного с пятого (!) французского издания известной детской писательницей и переводчицей *Ольгой Неоновной Хмелёвой* (псевд. Качулкова; ок. 1850 — не ранее 1908) специально для толстовского книгоиздательства «Посредник». Перевод выходил в 1890 г. и, с очевидной правкой, в 1894 г (см. иллюстрации).



Роман Эдуарда Рода *Le Sens de la vie* в русских изданиях 1890 и 1894 гг.

Это, например, следующие цитаты:

«Уничтожь один порок, а десять исчезнут» (41, 240);

«Есть много традиционных истин, которые кажутся нам вероятными только потому, что мы никогда серьёзно не подумали о них» (41, 557).

И, конечно, та же самая обширная антимилиитаристская цитата, использованная Л. Н. Толстым в тексте трактата: «Царство Божие внутри вас...», но только в переводе Хмелёвой (41, 472 – 473; ср.: Rod E. *Le sens de la vie*. Paris, Perrin. 1910. P. 208 – 214; 28, 122 — 124).

Если Толстой цитировал Эдуарда Рода в своих произведениях, то и Род писал о Толстом в ряде критических работ о русской литературе, например, в биографической статье «Le comte Leon Tolstoy», которую издал в «Revue bleue» (1891. Т. 47. № 13. С. 383 — 384). А личная переписка и взаимодействие идейно-художественных традиций рождали личные симпатии и творческие предпочтения. В библиотеке Л. Н. Толстого в Ясной Поляне сохранились, помимо «Смысла жизни», ещё три книги Э. Рода: «L'Eau courante» и «Les Trois sceurs» («Три сердца», 1890: обе с дарственными надписями) и «La Course a la mort».

* * * * *

К середине марта 1889 г., даже и переделав для А. И. Ершова Предисловие, Толстой снова не был доволен написанным, что видно из записи 14 марта 1889 г.: «Прочёл вчера своё предисловие Суворину. Оно совсем не хорошо». После этого ни в письмах, ни в Дневниках нет никаких упоминаний о работе над этой статьёй.

Понимая, что опубликовать Предисловие вместе с мемуарами Ершова не удастся, Толстой даже не стал оканчивать его. Книга Ершова была в 1891 г. переиздана без него. А Предисловие, как особая антивоенная статья Толстого, было напечатано впервые лишь в 1902 г. в издании основанного В. Г. Чертковым в Англии «Свободного слова» (Christchurch, Hants, England) в брошюре под заглавием: «Л. Н. Толстой. “Против войны”». Только в 1906 году, на волне Первой российской революции, Предисловие, под названием «О войне», увидело свет в России — в издании толстовского народного книгоиздательства «Посредник». А в 1909 году эту брошюру уже конфисковывали имперские полицаи.



Отдельное издание предисловия Л.Н. Толстого к книге А.И. Ершова. 1906 г.

Ниже, как Прибавление к этому небольшому параграфу, мы приводим *весь* текст Предисловия — небольшого по объёму, но значительнейшего как иллюстрация воззрений Толстого-христианина на события войны, в которой, даже и не без патриотического вдохновения, участвовал некогда он сам. Предисловие великолепно даным в нём образом попавшего на войну молодого человека, имеющим не только автобиографическую, но и художественную наполненность — сближаясь с образами Николая и Пети Ростовых из романа «Война и мир», а в особенности младшего брата Козельцова, Володи, из рассказа Л. Н. Толстого «Севастополь в августе 1855 года».

Прибавление.

**ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ А. И. ЕРШОВА
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОФИЦЕРА»**

А. И. Ершов прислал мне свою книгу: «Севастопольские воспоминания» и просил прочесть и высказать произведённое этим чтением впечатление.

Я прочёл книгу, и высказать произведённое на меня этим чтением впечатление мне очень хочется, потому что впечатление это очень сильное. Я переживал с автором пережитое и мною 34 года тому назад. Пережитое это было и то, что описывает автор, — ужасы войны, но и то, чего почти не описывает автор, то душевное состояние, которое при этом испытал автор.

Мальчик, только что выпущенный из корпуса, попадает в Севастополь. Несколько месяцев тому назад мальчик этот был радостен, счастлив, как бывают счастливы девушки на другой день после свадьбы. Только вчера, кажется, это было, когда он обновил офицерский мундирчик, в который опытный портной подложил, как надо, ваты под лацканы, распустил толстое сукно и погоны, чтобы скрыть юношескую, не сложившуюся ещё детскую грудь и придать ей вид мужества; вчера только он обновил этот мундир и поехал к парикмахеру, подвил, напмадил волосы, подчеркнул фиксауаром пробивающиеся усики и, гремя по ступенькам шашкой на золотой портуpee, с фуражкой на бочку прошёл по улице. Уже не сам он оглядывается, как бы не пропустить, не отдав чести офицеру, а его издаleка видят нижние чины, и он небрежно прикасается к козырьку или командует: «вольно!» Вчера только генерал, начальник, говорил с ним серьёзно, как с равным, и ему так несомненно представлялась блестящая военная карьера. Вчера, кажется, только няня удивлялась на него, и мать умилялась и плакала от радости, целуя и лаская его, и ему было и хорошо, и стыдно. Вчера только он встретился с прелестной девушкой; они говорили о пустяках, и у обоих морщились губы от сдержанной улыбки; и он знал, что она, да и не она одна, а сотни и ещё в 1000 раз лучше её могли, да и должны были, полюбить его. Всё это, казалось, было вчера. Всё это, может быть, было и мелочно, и смешно, и тщеславно, но всё это было невинно и потому мило.

И вот он в Севастополе. И вдруг он видит, что что-то не то, что что-то делается не то, совсем не то. Начальник спокойно говорит ему, чтобы он, тот самый человек, которого так любит мать, от которого не она одна, но и все так много ожидали хорошего, он со всей своей телесной и душевной, единственной, несравненной красотой, чтобы он шёл туда, где убивают и калечат людей. Начальник не отрицает того, что он — тот самый юноша, которого все любят и которого нельзя не любить, жизнь которого для него важнее всего на свете, он не отрицает этого, но спокойно говорит: «Идите, и пусть вас убьют». Сердце сжимается от двойного страха, страха смерти и страха стыда, и делая вид, что ему совершенно всё равно, идти ли на смерть или оставаться, он собирается, притворяясь, что ему интересно то, зачем он идёт и его вещи и постель.

Он идёт в то место, где убивают, идёт и надеется, что это только говорят, что там убивают, но что, в сущности, этого нет, а как-нибудь иначе это делается. Но стоит пробыть на бастионах полчаса, чтобы увидеть, что это, в сущности, ещё ужаснее, невыносимее, чем он ожидал. На его глазах человек сиял радостью, цвёл бодростью. И вот шлёпнуло что-то, и этот же человек падает в испражнения других людей, — одно ужасное страдание, раскаяние и обличение всего того, что тут делается.

Это ужасно, но не надо смотреть, не надо думать. Но нельзя не думать. То был он, а сейчас буду я. Как же это? Зачем это? Как же я, я, тот самый я, который так хорош, так мил, так дорог был там не одной няне, не одной матери, не одной ей, но стольким, почти всем людям? Дорогой ещё, на станции, как они полюбили меня, и как мы смеялись, как они радовались на меня и подарили мне кисет. И вдруг здесь не то, что кисет, но никому не интересно знать, как, когда искалечат моё всё это тело, эти ноги, эти руки, убьют, как убили вон того. Буду ли я нынче одним из этой тысячи, — никому не интересно; напротив, даже желательно как будто.

< Ср.: Николай Ростов в "Война и мир": «Кто они? Зачем они бегут? Неужели ко мне? Неужели ко мне они бегут? И зачем? Убить меня? Меня, кого так любят все?» Ему вспомнилась любовь к нему его матери, семьи, друзей, и намерение неприятелей убить его показалось невозможно. [...] Одно нераздельное чувство страха за свою молодую, счастливую жизнь владело всем его существом. Быстро перепрыгивая через межи, с тою стремительностью, с которою он бежал,

играя в горелки, он летел по полю, изредка оборачивая своё бледное, доброе, молодое лицо, и холод ужаса пробежал по его спине. “Нет, лучше не смотреть”, — подумал он, но, подбежав к кустам, оглянулся ещё раз. — Том Первый. Часть Вторая. Глава XIX. - Р. А.>

Да, я, именно я никому здесь не нужен. А если я не нужен, так зачем я здесь? — задаёт он себе вопрос и не находит ответа. Добро бы кто-нибудь объяснил, зачем всё это, или если хоть не объяснил, то сказал бы что-нибудь возбуждающее. Но никто никогда не говорит ничего такого. Да кажется, и нельзя этого говорить. Было бы слишком совестно, если бы кто-нибудь сказал такое. И от того никто не говорит. Так зачем же, зачем же я здесь? — вскрикивает мальчик сам с собою, и ему хочется плакать. И нет ответа, кроме болезненного замирания сердца.

Но входит фельдфебель, и он притворяется, что [1 неразобр.]. Время идёт. Другие смотрят, или ему кажется, что на него смотрят, и он делает все усилия, чтобы не осрамиться. А чтобы не осрамиться, надо делать, как другие: не думать, курить, пить, шутить и скрывать. И вот проходит день, другой, третий, неделя... И мальчик привыкает скрывать страх и заглушать мысль. Ужаснее всего ему то, что он один находится в таком неведении о том, зачем он здесь в этом ужасном положении; другие, ему кажется, что-то знают, и ему хочется вызвать других на откровенность. Он думает, что легче бы было сознаться в том, что все в том же ужасном положении. Но вызвать других на откровенность в этом отношении оказывается невозможным; другие как будто боятся говорить про это, так же как и он. Говорить нельзя про это. Надо говорить об эскарпах, контр-эскарпах <оборонительные укрепления. - Р. А.>, о портере, о чинах, о порционных, о штоссе — это можно. И так идёт день за днём, юноша привыкает не думать, не спрашивать и не говорить о том, что он делает, и не переставая чувствует однако то, что он делает что-то совсем противное всему существу своему.

Так это продолжается семь месяцев, и юношу не убило и не искалечило, и война кончилась.

Страшная нравственная пытка кончилась. Никто не узнал, как он боялся, хотел уйти и не понимал, зачем он здесь оставался. Наконец, можно вздохнуть, опомниться и обдумать то, что было. Что ж было? Было то, что в продолжение семи месяцев я боялся и мучался, скрывая от всех своё мучение. Подвига, т. е. поступка, которым бы я мог

не то что гордиться, но хоть такого, который бы приятно вспомнить, не было никакого. Все подвиги сводились к тому, что я был пушечным мясом, находился долго в таком месте, где убивало много людей и в головы, и в грудь, и в спину, и во все части тела.

Но это моё личное дело. Оно могло быть не выдающимся, но я был участником общего дела.

Общее дело? Но в чём оно? Погубили десятки тысяч людей. Ну, и что же? Севастополь, тот Севастополь, который защищали, отдан, и флот потоплен, и ключи от Иерусалимского храма остались, у кого были, и Россия уменьшилась.

Так что ж? Неужели только тот вывод, что я по глупости и молодости попал в то ужасное, безвыходное положение, в котором был семь месяцев, и по молодости своей не мог выйти из него? Неужели только это?

Юноша находится в самом выгодном положении для того, чтобы сделать этот неизбежный логический вывод: во-первых, война кончилась постыдно и ничем не может быть оправдана (нет ни освобождения Европы или болгар или т. п.); во-вторых, юноша не заплатил такую дань войне, как калечество на всю жизнь, при котором уже трудно признать ошибкой то, что было причиной его. Юноша не получал особенных почестей, отречение от которых связывалось бы с отречением от войны; юноша мог бы сказать правду, состоящую в том, что он случайно попал в безвыходное положение и, не зная, как выйти из него, продолжал находиться в нём до тех пор, пока оно само развязалось.

И юноше хочется сказать это, и он непременно прямо сказал бы это. Но вот сначала с удивлением юноша слышит вокруг себя толки о бывшей войне не как о чём-то постыдном, какую она ему представляется, а как о чём-то не только весьма хорошем, но необыкновенном; слышит, что защита, в которой он участвовал, было великое историческое событие, что это была неслыханная в мире защита, что те, кто были в Севастополе, следовательно, и он — герои из героев, и что то, что он не убежал оттуда, так же как и артиллерийская лошадь, которая не оборвала недоуздка и не ушла, что в этом великий подвиг, что он герой.

И вот сначала с удивлением, потом с любопытством мальчик прислушивается и теряет силу сказать всю правду — не может сказать против товарищей, выдать их; но всё-таки ему хочется сказать хоть

часть правды, и он составляет описание того, что он пережил, в котором юноша старается, не выдавая товарищей, высказать всё то, что он пережил. Он описывает своё положение на войне, вокруг него убивают, он убивает людей, ему страшно, гадко и жалко. На самый первый вопрос, приходящий в голову каждому: зачем он это делает? зачем он не перестанет и не уйдёт? — автор не отвечает. Он не говорит, как говорили в старину, когда ненавидели своих врагов, как евреи филистимлян, что он ненавидит союзников; напротив, он кое-где показывает своё сочувствие к ним, как к людям-братьям. Он не говорит тоже о своём страстном желании добиться того, чтобы ключи Иерусалимского храма были бы в наших руках, или даже, чтобы флот наш был или не был. Вы чувствуете, читая, что вопросы жизни и смерти людей для него несоизмеримы с вопросами политическими. И читатель чувствует, что на вопрос: зачем автор делал то, что делал? — ответ один: затем, что меня смолоду или перед войной забрали, или я случайно, по неопытности, сам попал в такое положение, из которого я без больших лишений не мог вырваться. Я попал в это положение; и тогда, когда меня заставили делать самые противоестественные дела в мире, убивать ничем не обидевших меня братьев, я предпочёл это делать, чем подвергнуться наказаниям и стыду. И несмотря на то, что в книге делаются краткие намёки на любовь к царю, к отечеству, чувствуется, что это только дань условиям, в которых находится автор. Несмотря на то, что подразумевается то, что так как жертвовать своею целостью и жизнью хорошо, то все те страдания и смерти, которые встречаются, служат в похвалу тем, которые их переносят, чувствуется, что автор знает, что это неправда, потому что он свободно не жертвует жизнью, а при убийстве других невольно подвергает свою жизнь опасности. Чувствуется, что автор знает, что есть закон Божий: люби ближнего и потому не убий, который не может быть отменён никакими человеческими ухищрениями. И в этом достоинство книги.

Жалко только, что это только чувствуется, а не сказано прямо и ясно. Описываются страдания и смерти людей, но не говорится о том, что производит их. 35 лет тому назад и то хорошо было, но теперь уже нужно другое. Нужно описывать то, что производит страдания и смерти войн для того, чтобы узнать, понять и уничтожить эти причины.

«Война! Как ужасна война со своими ранами, кровью и смертями!» говорят люди. «Красный крест надо устроить, чтобы облегчить раны,

страдания и смерть». Но ведь ужасны в войне не раны, страдания и смерть. Людям всем, вечно страдавшим и умиравшим, пора бы привыкнуть к страданиям и смерти и не ужасаться перед ними. И без войны мрут от голода, наводнений, болезней поваральных. Страшны не страдания и смерть, а то, что позволяет людям производить их. Одно словечко человека, просящего для его любознательности повесить, и другого, отвечающего: «хорошо, пожалуйста, повесьте», — одно словечко это полно смертями и страданиями людей. Такое словечко, напечатанное и прочитанное, несёт в себе смерти и страдания миллионов. Не страдания, и увечья, и смерть телесную надо уменьшать, а увечья и смерть духовную. Не Красный крест нужен, а простой крест Христов для уничтожения лжи и обмана.

Я дописывал это предисловие, когда ко мне пришёл юноша из юнкерского училища. Он сказал мне, что его мучают религиозные сомнения, он прочёл «Великого инквизитора» Достоевского, и его мучает сомнение: почему Христос проповедывал учение, столь трудно исполнимое. Он ничего не читал моего. Я осторожно говорил с ним о том, что надо читать Евангелие и в нём находить ответы на вопросы жизни. Он слушал и соглашался. Перед концом беседы я заговорил о вине и советовал ему не пить. Он сказал: «но в военной службе бывает иногда необходимо». Я думал — для здоровья, силы, и ждал победоносно опровергнуть его доводами опыта и науки, но он сказал:

«Вот, например, в Геок-Тепе, когда Скобелеву надо было перерезать население, солдаты не хотели, и он напоил их, и тогда...»

Вот где все ужасы войны: в этом мальчике с свежим молодым лицом и с погончиками, под которыми аккуратно просунуты концы башлыка, с вычищенными чисто сапогами и его наивными глазами и столь погубленным мирозерцанием!

Вот где ужас войны!

Какие миллионы работников Красного креста залечат те раны, которые кишат в этом слове — произведении целого воспитания!

10 марта 1889 г.» (27, 520 – 529).



12 января 1881:

Новая славная 9-часовая полная победа генерала Скобелева
над текинцами и взятие Геок-тепе и Денгел-тепе.

Типография А. Милюкова и К°. [Москва.] Тверская ул., дом Резанова.

-15 с. : портр.

1881 г.

3. 6. «[CARTHAGO DELENDA EST]» и ВОЗЗВАНИЕ (1889).

Ниже мы ненадолго поведём речь не о собственно антивоенных выступлениях Л. Н. Толстого как публициста либо как художника, а о своеобразном «идейном фундаменте» для одновременных и позднейших выступлений. О значительнейших вехах в формировании религиозного именно неприятия Толстым военщины, военного солдатского рабства и самых войн было уже сказано выше: это духовное слово и манифест «В чём моя вера?» с предшествующей ему на несколько лет попыткой катехизиса «своей веры»; и это концепция трёх различных религиозных пониманий жизни, в зрелом своём выражении лучше всего изложенная Толстым в статье «Религия и нравственность» (1893) и трактате «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание» (1890 – 1893). Одно из этих сочинений по этой причине уже не будет подробно анализируемо в дальнейшей нашей работе, ибо не имеет антивоенного содержания, а вот о трактате, ставшем судьбоносным для многих пацифистов и отказников той эпохи, напротив, потребует достаточно подробный рассказ.

Сейчас же речь — о статье 1889 г. с говорящим за себя названием: «Carthago delenda est» (лат. «Карфаген должен быть разрушен»).

Всего в наследии Льва Николаевича — *три* самостоятельных текста с таким заглавием, и иногда их путают даже специалисты. Но если первый из них (неоконченный набросок), как и связанное с ним тематически «Воззвание» Толстого от 25 мая 1889 г., — это ранний подступ Толстого-публициста к теме неизбежного и необходимого разрушения лжехристианской цивилизации, то позднейшие два «Карфагена», 1896 и 1898 годов — уже непосредственные удары по оплоту её: власти правительств и военщины.

Над самым ранним из одноимённых текстов, именно статьёй-воззванием 1889 года, Толстой начал работать, изучая литературу о социализме и постепенно разочаровываясь в нём. Профессор Московского университета Иван Иванович Янжул (1846 – 1914), хороший знакомый Льва Николаевича со времён Московской переписки 1882 года, надёжный помощник, «дал и сообщил» ему о книгах «об анархистах и социалистах». Толстой читает работу бельгийского профессора политической экономии Эмиля де Лавелэ (Emile de Laveleye, 1822 – 1892) «Современный социализм» (СПб, 1882, под ред. М. А.

Антоновича). В Дневнике 12 января (как раз, когда заявился Ершов со своею книгой) запись: «Читал и вчера и нынче книгу об американском социализме: о двух партиях – интернациональной и социалистической. Анархисты во всём правы, только не в насилии. Удивительное затмение. Впрочем, об этом предмете мне думается, как думалось, бывало, о вопросах религии, т. е. представляется необходимым и возможным решить, но решения ещё нет» (50, 22).

Позже Толстой познакомился с сочинением Эмиля де Лавелэ «Le luxe» («Роскошь») и 30 октября 1890 г. написал автору: «Я только что прочёл обе статьи вашей книги и был счастлив найти там мысли, особенно для меня дорогие, — об ошибочных представлениях, составляемых людьми о ценности потребностей и о первостепенном значении нравственности в вопросах политической экономии. Вы совершенно правы, говоря в вашем письме, что массы прибегают к насилию для достижения лучшего социального строя, не будучи достаточно к нему подготовленными. Это большой вопрос. Одно влечёт за собой другое. Лучшая организация требует умственного развития и в особенности нравственного состояния масс, готовых её принять, и только христианские принципы могут достичь того и другого. Это те вопросы, которые наиболее занимают меня в настоящее время» (65, 179 – 180).

А вот запись от 22 апреля о чтении книги Ноеса о коммунах: «Везде одно – освобождение себя от суеверий религии, правительства и семьи. [...] Думал: удаление в общину, образование общины, поддержание её в чистоте – всё это грех – ошибка. Нельзя очиститься одному или одним; чиститься, так вместе; отделить себя, чтобы не грязниться, есть величайшая нечистота, вроде дамской чистоты, добываемой трудами других. Это всё равно, как чистить или копать с края, где уж чисто. Нет, кто хочет работать, тот залезет в самую середину, где грязь, если не залезет, то, по крайней мере, не уйдёт из середины, если попал туда» (50, 71).

Собственные мысли Толстого, возникавшие под впечатлениями от избранного чтения, весьма характеристично подводят нас к идейному содержанию огромного религиозного и антивоенного трактата, о котором речь пойдёт ниже. Вот, например, нечто из записей на 24 мая 1889 года:

«Читал “World Advance Thought”. Много риторики; а нужно дело. Не Soul comunion [общение душ] нужно 27 числа, а во всякое число

нужно сходиться в одном, в исполнении учения Христа, в непризнании Церкви, Государства, Собственности. Хотелось написать. Ещё хотелось написать: не конгрессы мирные нужны, а непокорение солдату каждого» (50, 85).

И он напишет обо всём этом довольно скоро — и очень яростно и ярко!

На следующий день, 25 мая, запись ещё интереснее:

«Во сне видел, что я взят в солдаты и подчиняюсь одежде, вставанию и т. п., но чувствую, что сейчас потребуют присяги и я откажусь, и тут же думаю, что должен отказаться и от учения. И внутренняя борьба. И борьба, в которой верх взяла совесть» (Там же).

Утром того же 25 мая 1889 года Толстым было начато «Воззвание», иначе именуемое обращение «К людям-братьям». К этой работе относится следующая запись в Дневнике от 25 мая 1889 г.: «С утра взялся писать в книжечке воззвание. Чувствую, что жить недолго, а сказать ещё, кажется, многое нужно. Но здоровья нет. Нет умственной энергии. Помоги, Отец.

Вздор! Только бы служить Богу до конца теми силами, которые остались. В этом вся сила» (Там же).

И позднее в тот же день: «Написал несколько страничек в маленькой книжечке. По крайней мере не испортил — можно продолжать» (Там же).

Важно заметить, что в это же время Толстой уже обдумывал программный религиозно-философский и антивоенный общественно-политический трактат «Царство Божие внутри вас...» и приступил к работе над ним.

Начало воззвания стремительное, энергичное:

«Нельзя медлить и откладывать. Нечего бояться, нечего обдумывать, как и что сказать. Жизнь не дожидается. Жизнь моя уже на исходе и всякую минуту может оборваться. А если могу я чем послужить людям, если могу чем загладить все мои грехи, всю мою праздную, похотливую жизнь, то только тем, чтобы сказать людям-братьям то, что мне дано понять яснее других людей, то, что вот уж 10 лет мучает меня и раздирает мне сердце» (27, 530).

Следует тезис, или постановка проблемы:

«Не мне одному, но всем людям ясно и понятно, что жизнь людская идёт не так, как она должна идти, что люди мучают себя и других. Всякий человек знает, что для его блага, для блага всех людей нужно любить ближнего не меньше себя, и если не можешь делать ему того,

что себе хочешь, не делать ему, чего себе не хочешь; и учение веры всех народов, и разум, и совесть говорят то же всякому человеку. Смерть плотская, которая стоит перед каждым из нас, напоминает нам, что не дано нам вкушать плода ни от какого из дел наших, что смерть всякую минуту может оборвать нашу жизнь, и что потому одно, что мы можем делать, и что может дать нам радость и спокойствие, это то, чтобы всякую минуту, всегда делать то, что велит нам наш разум и наша совесть, если мы не верим откровению, в откровение Христа, если мы верим ему, то есть, если уж мы не можем делать ближнему того, что нам хочется, не делать ему, по крайней мере, того, чего мы себе не хотим. — И как давно, и как всем одинаково известно это, и несмотря на то не делают люди другим, чего себе желают, а убивают, грабят, обворовывают, мучат друг друга люди и вместо того, чтобы жить в любви, радости и спокойствии, живут в мучениях, горести, страхе и злобе. И везде одно и то же: люди страдают, мучаются, стараясь не видеть той безумной жизни, стараются забыться, заглушить свои страдания и не могут, и с каждым годом всё больше и больше людей сходит с ума и убивает себя, не будучи в силах переносить жизнь, противную всему существу человеческому» (*Там же. С. 530 – 531*).

И следом, вполне ожидаемо — антитезис публициста, риторические «возражения» от умозрительных «оппонентов»:

«Но, может быть, такова и должна быть жизнь людей. Так, как живут теперь люди с своими императорами, королями и правительствами, с своими палатами, парламентами, с своими миллионами солдат, ружей и пушек, всякую минуту готовых наброситься друг на друга. Может быть, так и должны жить люди с своими фабриками и заводами ненужных или вредных вещей, на которых, работая 10, 12, 15 часов в сутки, гибнут миллионы людей, мужчин, женщин и детей, превращённых в машины. Может быть, так и должно быть, чтобы всё больше и больше пустели деревни и наполнялись людьми города с их трактирами, борделями, ночлежными домами, больницами и воспитательными домами. [...] Может быть, так и надо, чтобы та вера Христа, которая учит смирению, терпению, перенесению обид, деланию ближнему того, чего себе хочешь, любви к нему, любви к врагам, совокуплению всех во едино, может быть, так нужно, чтоб вера Христа, учащая этому, передавалась бы людям учителями разных сотен враждующих между собою сект в виде уче-

ния нелепых и безнравственных басен о сотворении мира и человека, о наказании и искуплении его Христом, об установлении таких или таких таинств и обрядов.

[...] Так и говорят некоторые. Но сердце человеческое не верить этому; и как всегда, оно громко вопияло против ложной жизни, призывало людей к той жизни, которую требуют откровение, разум и совесть, так ещё сильнее, сильнее, чем когда-нибудь, оно вопиет в наше время» (*Там же. С. 531 – 532*).

И, как синтез — мощное протестующее крещендо Толстого, троекратно повторённый призыв: «Одумайтесь!». Именно с этого возгласа он и предполагал даже начать своё воззвание. А много позже, в 1904 году, Толстой так и озаглавит свою антивоенную статью-шедевр 1904 г. — «Одумайтесь!»

«Прошли века, тысячелетия — вечность времени, и нас не было. И вдруг мы живём, радуемся, думаем, любим. — Мы живём, и срок этой жизни нашей, по Давиду 70 крошечных лет, пройдут они, и мы исчезнем, и этот 70-летний предел закроет опять вечность времени, и нас не будет такими, какими мы теперь, уж никогда. И вот, нам дано прожить эти в лучшем случае 70 лет, а то может быть только часы даже, прожить или в тоске и злобе или в радости и любви, прожить их с сознанием того, что всё то, что мы делаем, не то и не так, или с сознанием того, что мы сделали, хотя и несовершенно и слабо, но то, именно то, что должно и можно было сделать в этой жизни.

“Одумайтесь, Одумайтесь, Одумайтесь!” — кричал ещё Иоанн Креститель; “одумайтесь” — провозглашал Христос; “одумайтесь” — провозглашает голос Бога, голос совести и разума. Прежде всего остановимся каждый в своей работе или своей забаве, остановимся и подумаем о том, что мы делаем. Делаем ли то, что должно, или так, даром, ни за что прожигаем ту жизнь, которая среди двух вечностей смерти дана нам.

Знаю я, что со всех сторон на тебя налегают люди и не дают тебе минуты покоя и что тебе, как лошади на колесе, кажется, что тебе никак нельзя остановиться; знаю я, что сотни голосов закричат на тебя, как только ты попытаешься остановиться, чтобы одуматься.

— “Некогда думать и рассуждать, надо делать”, — закричит один голос.

— “Не следует рассуждать о себе и своих желаниях, когда дело, которому ты служишь, есть дело общее, дело семьи, дело торговли, искусства, науки, государства. Ты должен служить общим”, закричит другой голос.

— “Всё это уж пробовано обдумывать, и никто ничего не обдумал, живи, вот и всё”, — закричит третий голос. — “Думай или не думай, всё будет одно: поживёшь недолго и умрёшь; и потому живи в своё удовольствие”.

— “Не думай! Если станешь думать, увидишь, что эта жизнь хуже, чем не жизнь, и убьёшь себя. Живи как попало, но не думай”, закричит четвёртый голос.

Как в сказке рассказывают, что когда уже в виду искателя клада было то, что он искал, тысяча страшных и соблазнительных голосов закричали вокруг него, чтобы помешать ему взять то, что давало ему счастье. Так и голоса слуг мира сбивают искателя истины, когда он уже в виду её.

Не слушай этих голосов. И в ответ на всё, что они могут сказать тебе, скажи себе одно: Позади своей жизни я вижу бесконечность времени, в котором меня не было. Впереди меня такая же бесконечная тьма, в которую вот-вот придёт смерть и погрузит меня. Теперь я в жизни и могу — знаю, что могу — могу закрыть глаза и, не видя ничего, попасть в самую злую и мучительную жизнь, и могу не только открыть глаза, посмотреть, но могу видеть и оглядывать всё вокруг себя и избрать самую лучшую и радостную жизнь. И потому, что бы мне ни говорили голоса и как бы ни тянули меня соблазны, как бы ни тянула меня уже начатая мною и как бы ни поощряла меня текущая вокруг меня жизнь, я останавлиюсь, оглянусь вокруг себя и одумаюсь.

И стоит человеку сказать себе это, как он увидит, что не он один одумывается, а что и прежде его, и при нём много и много людей так же, как он, одумывались и избирали тот лучший путь жизни, который один даёт благо и ведёт к нему» (*Там же. С. 532 – 533*).

Впервые под названием «Обращение к людям-братьям» воззвание появилось в 10 томе «Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, запрещённых в России» под редакцией В. Г. Черткова (Christchurch, «Свободное слово», 1904). В России впервые опубликовано в журнале «Новая пашня» (1907, № 3). В Полном собрании сочинений (Юбилейном) опубл. в т. 27, с. 530 – 533.

В течение 1889 г. Толстой дважды принимался писать «Воззвание», или «Манифест», где звучат пророческие слова:

«Господи, благослови!

Garthago delenda est. Жизнь, та форма жизни, которой живём теперь мы, христианские народы, – delenda est, должна быть разрушена, говорил я и буду твердить до тех пор, пока она не будет разрушена. Я умру, может быть, пока она не будет ещё разрушена, но я не один, со мной стоят сотни тысяч людей, со мной стоит истина. И она будет разрушена, и очень скоро. Она будет разрушена не потому, что её разрушат революционеры, анархисты, рабочие, государственные социалисты, японцы или китайцы, а она будет разрушена потому, что она уже разрушена на главную половину – она разрушена в сознании людей» (27, 534).

Собственно, в этих набросках Толстой и описывает утверждение искателя истины, искателя веры живой, в том высшем, «всемирном», актуальном религиозном жизнепонимании, которое своё высшее и лучшее выражение нашло в первоначальном, евангельском, без церковных перетолкований, учении человека Иисуса Христа и которое поэтому может сделаться для противника военной службы, милитаризма, любых войн и всякого, своего и каждого человека, в них участия единственным прочным духовным основанием для духовного противостояния слугам мира, слугам смерти и лжи.

Начинающая рукопись фраза «Carthago delenda est» стала заглавием особой статьи. Позднее Толстой ещё трижды – в 1891, 1896 и 1898 гг. – начинал особые сочинения с этого заглавия статьи-воззвания, но, к сожалению, только вариант 1898 г. был завершён. "К сожалению" потому, что статья эта во многом повторит идейное содержание и образный строй к тому времени давно уже написанного и опубликованного Л. Н. Толстым фундаментального трактата «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание», о котором и поговорим в следующей, особенной Главе уже непосредственно.



Глава Четвертая.
ЗРЕЛОСТЬ УБЕЖДЕНИЙ.
«ЦАРСТВО БОЖИЕ ВНУТРИ ВАС»

Хочется писать с эпиграфом:

Я пришёл огонь свести на землю
и как желал бы, чтоб он возгорелся.

(Дневник. 15 сентября 1890 г.)

Вступление

Итак, к концу 1880-х совершились в жизни Льва Николаевича два значительнейших и бесповоротных дела. Первое дело то, что анти-военные воззрения, десятилетием ранее получившие необходимое для их незыблемости религиозное основание в христианской вере писателя, созрели теперь до той системы, с которой он вошёл в историю всемирной религиозной и общественно-политической мысли, ничего радикально уже не изменяя. Классическое воспитание в уважении к храбрости и героизму на войне и патриотизм не были изжиты совершенно, и Толстой не отвращался от военных, от военной истории человечества, от политики с той же решимостью, с какой за много лет до того возненавидел телесные наказания и палачество, разрушение человека по «суду» и «праву».

Вторым же значительнейшим поворотом в жизни Льва Николаевича то, что городская, навязанная ему семейством, жизнь ускорила становление самого писателя и публициста как персоны публичной, всемирного значения. Он сам хорошо почувствовал эти перемены: если в 1886 году ещё не желал статью «Николай Палкин» делать публичной из-за невозможности ей преодолеть цензуру в России и опасности возможных репрессий от правительства, то к 1889 году вещал против войны уже как Право Имеющий и знающий, что будет услышан. Если в том же 1886-м визит к нему в Ясную Поляну Поля Деруледа не вызвал в Толстом желания немедленного публичного отклика, то посещение в начале 1889-го довольно ограниченным Ершовым вызвало к жизни Предисловие к ершовской книге, много

лучшее, чем она сама — страстный памфлет против лжей и самообманов людей мира, загоняющих себя и своих детей в армейское рабство, в военную душегубку.

Изменения в самосознании Толстого-христианина проявились и в отношениях с «отказниками», среди которых Алексей Залюбовский и Ефим Любич, о которых мы рассказали выше, были первыми, но не последними, и даже не самыми значительными для Льва Николаевича из числа отказников. В письме 10 ноября 1889 г. единомышленник и помощник Толстого в деле народного просвещения, доверенный секретарь и будущий его биограф Павел Иванович Бирюков сообщал о предстоящем призыве толстовца Хохлова к отбыванию воинской повинности и его намерении отказаться от службы.

Пётр Галактионович Хохлов (1863 – после 1905), сын московского богатого купца и биржевого маклера, студент Высшего технического училища, против воли отца стал, под влиянием духовных писаний Льва Николаевича, последователем Христа. Осенью 1889 г. решил бросить училище и жить своим трудом на земле. Отец написал Толстому письмо с упрёками в “гибели” своего сына. «Мы, его родители, я, отец, старый и больной человек, и мать его, жена моя, слабая, болезненная женщина, и он у нас единственная опора» (64, 319). <Сиделок бы нанял на свои торговые биржевые денежки, старина! – Р. А.>

Толстой ответил на это своим письмом, конечно же, обречённым быть не понятым таким человеком, каким был 47-летний (род. В 1842 г.) Галактион Хохлов:

«Учение Христа есть учение о благе и потому, если последствие учения Христа нарушает благо людей, то надо предполагать, что в понимании учения Христа есть ошибка и надо искать эту ошибку до тех пор, пока не будет найден такой путь, при котором не нарушится ничьё истинное благо.

Позвольте дать вам совет... Совет мой вот в чём: постарайтесь не сердиться на вашего сына, подавить в себе чувство оскорбления, если вы его испытываете, вызовите в себе самые лучшие чувства ваши к сыну и только в таком миролюбивом и любовном настроении говорите с ним. Вы покорите его любовью. Ведь всё, что он делает и хочет делать, он делает только из желания исполнить волю Бога, главная заповедь [которого] есть любовь. Если вы будете руководиться тем же, то не может быть, чтобы вы вместе не нашли того, что следует сделать, и не согласились бы. Пожалуйста, примите эти

слова не за фразу, а сделайте так, или ещё лучше, как сказано в Ев[ангелии] М[атфея], XVIII, 15, 16, 17» (64, 319).

Конечно же, можно догадаться, что отношения сына, чистого евангельского христианина и папаша, порченного с детства «русским миром» и купеческой «воспитательной» средой, после этой мудрой, доброй проповеди испортились окончательно. Возможно, не в последнюю очередь и потому, что об отказе Хохлова от училища (и, вероятно, от военной службы: ведь разрыв с училищем автоматически ставил юношу в ряды призывников) учитель духовный, Лев Николаевич, узнал от Петра Галактионовича раньше, чем отец: уже 21 марта 1889 г. Толстой записал в дневнике: «Хохлов покидает техническое училище, дом и идёт в деревню. Жутко, знаю, что не выйдет то, чего он жаждет, но стремление к чистоте, отречение — хороши и должны принести плоды» (50, 55).

Хохлов бросил училище, оставил родителей и последовал за Толстым в буквальном, евангельском и апостольском, смысле. Он появлялся в Ясной Поляне и Бегичевке, совершая с учителем путешествия по другим толстовцам, занимавшимся сельским хозяйством. «Христовобразный», как определил его Валентин Булгаков, он скорее смущал Толстого. По поведению своей жены в отношении большинства «тёмных», как она окрестила толстовцев, он понимал, что в мире наивного юношу с праведными устремлениями ждут жестокие гонения.

Действительно, воспитанница той же мещанской Москвы, дитя мира и измученная раба враждебной Христу мирской лжи, Софья Андреевна даже среди «тёмных» выделила Петю Хохлова, как объект своей особой ненависти. 17 декабря 1890 г. С. А. Толстая записала в дневнике, что «приехали тёмные», среди них «глупый толстый Хохлов из купцов». «И это последователи великого человека! Жалкое отродье человеческого общества, говоруны без дела, лентяи без образования» (ДСАТ. 1. С. 133). С. А. Толстую Хохлов «раздражал своей молчаливостью и бесцветностью» (Там же). Раздражал ещё и по другой причине. 2 января 1895 г. она записала в дневнике: «Сегодня ночью в 4 часа разбудил меня звонок. Я испугалась, жду, — опять звонок. Лакей отворил, оказался Хохлов, один из последователей Лёвочки, сошедший с ума. Он преследует Таню, предлагает на ней жениться! Бедной Тане теперь нельзя на улицу выйти. Этот ободраный, во вшах, тёмный, везде за ней гоняется. Это люди, которых ввёл теперь Лев Николаевич в свою интимную семейную жизнь, — и мне приходится их выгонять» (Толстая С.А. Дневники. М., 1978. Т.

1. С. 224). Иногда настроение С. А. Толстой менялось: «Стало мне болезненно жалко сошедшего с ума Хохлова...» (*Запись 21 февраля 1895 г.; там же. С. 237*).

Вероятно, Хохлов стихийно, интуитивно чувствовал Ясную Поляну (где предпочитал жить сам Лев Николаевич) именно как первый на Земле духовного возрождения человечества — христианского, то есть общинного и церковного. Оттого и надеялся стать супругом дочери Льва-учителя, Татьяны Львовны — подходившей ему и по возрасту, и по духовной близости к отцу. Это дало бы ему и соответствующую устремлениям, буквальную, материальную — крышу над головой: ибо в своё богатое и развратное купеческое семейство он возвращаться не хотел. Увы! Толстой видел в дочерях Тане и Маше своего рода “личных” союзниц и помощниц — и, даже помимо страха перед нервными состояниями жены, не спешил отдать дочерей замуж.

В воспоминаниях Андрея Гавриловича Русанова (1874 – 1949), сына хорошего друга и единове́рца Льва Николаевича, Гавриила Андреевича Русанова, приводится размышление Л. Н. Толстого о Хохлове: «Ужасно мне жаль Хохлова, — сказал Лев Николаевич, — мучается он оттого, что задался высокими целями, которые трудно достижимы; трудно, приходится бороться, ну и терпи и не мучай других из-за этого, и главное — не превращайся в человека, нарушающего из-за этого простые правила общежития. И что тут думать, что сказать и как поступить? Если искренне хочешь на деле осуществлять свои убеждения, помни слова евангелия: в то время Дух Святой будет говорить за вас. Иначе это придуманные, не свежие, не искренние и речь и поступок» (*Русанов Г.А., Русанов А.Г. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. Воронеж, 1972. С. 125*).

К концу ноября, по всей видимости, отказ Хохлова состоялся. Уже 20 ноября Толстой знал о нём, когда, прочитав в газете о праздновании юбилея германским императором, записал в Дневнике о новом замысле: «сопоставить — отказ от воинской службы замарашки Хохлова, которого признают сумасшедшим, и праздник — артиллерия, речь императора, манёвры и т.д.». Писатель хотел, чтобы эта «тема писания» не «закисла», и молил Бога, чтобы тема «о войне и отказе созрела» и чтоб он её написал (*50, 180 – 181*).

И в письме Толстого от 27 ноября 1889 г. к Н. Н. Ге — о том же: «<П. Г. Хохлов> должен был отбывать воинскую повинность и отказался. Его отвели в сумасшедший дом и заперли, и все притворяются,

что верят, что он сумасшедший. Помоги ему Бог. Он уже недели две сидит, и никого к нему не пускают. Читаю газеты, празднество 500-летия русской артиллерии <состоялось 8 ноября 1889 г. – Р. А.>, молебствия, речи, пальба, величие торжества... Всё так важно, импозантно. Или дипломатические речи — быть или не быть войне и кому с кем. Всё тоже как глубокомысленно, серьёзно, и с другой стороны, какой-то мещанин трясётся, волнуется и заикаясь говорит, что он присягать и служить не будет по закону Христа – и все говорят: да, сумасшедший, ведите следующего и следующего, а потом поедим обедать, играть в винт. И *sesi tuera sela* [фр. Это убьёт то]. Это так же верно, что когда забрезжится только свет утра, что взойдёт солнце и *tuera* [убьёт] темноту» (64, 338).

Упомянутый в письме *Гельмут-Карл-Бернгардт фон Мольтке* (1800 – 1891), германский фельдмаршал и военный писатель, играл одну из главных ролей в деле милитаризации Германии. Толстой прочёл телеграмму в «Новом времени» 1889, № 4931 от 19 ноября о праздновании пятидесятилетия получения Мольтке почётного ордена «*Pour le mérite*» («За заслугу»).

Бог услышал верного своего дитя и работника Льва, и тема эта, как увидит ниже читатель, была подробно раскрыта яснополянцем в сочинении «Царство Божия внутри вас», к анализу которого мы теперь приступаем.

К сожалению, в деле личного противостояния Империи за право не участвовать в обучении убийству Пётр Галактионович Хохлов проявил пороки его воспитателей. В письме от 9 марта 1894 г. к толстовцу Б. Н. Леонтьеву Лев Николаевич сожалеет об этом: «Он всё это время продолжал быть в том же тяжёлом неопределённом и нерешительном положении. На его несчастье с его воинской повинностью случилось какое-то недоразумение, ему дали паспорт с надписью, что он зачислен в ополчение, и до сих пор не требовали его. Я думаю, что для него было бы гораздо легче, если бы его призвали. А то эта неопределённость дурно влияла на него. Вчера ещё я долго беседовал с ним, уговаривая его жить пока с отцом, и он, казалось, соглашался; нынче же он утром зашёл проститься, сказав, что идёт на юг, сам не зная куда. Что с ним будет?» (67, 75).

Жене Толстой писал о похудевшем, но всё таком же ленивом, нерешительном бродяге Хохлове: «У него нет воли, — инициативы никакой» (84, 229). В этой правде была примесь лжи. Под страхом семейных ссор и от нежелания выдавать замуж Татьяну Львовну, Толстой

подталкивал своего же духовного лъвѣнка к возвращению к отцу. Вероятно, позднее Пётр Галактионович исполнил это — разочаровавшись в своём мудром, искреннем, но уже слишком повязанном мирскими связями и соблазнами, а оттого непоследовательном, учителе.

Христианское и антивоенное слово «Царство Божие внутри вас». 1890 – 1893 гг.



Итак, внутренняя, духовная потребность Льва Николаевича в исповедании открывшейся ему во всей первоизданной, евангельской чистоте веры Христа, не замутнённой церковными лжеучениями, имела одним из следствий рождение в его сознании импульса к антивоенному протесту. Переезд в 1881 году семейства Толстых в Москву, с принудительным, первоначально с огромными для него страданиями, поселением там и отца, послужил вторым импульсом к тому же. Не меньшую потребность публичной реакции, нежели церковные богослужения, вызвал у писателя вид военных церемоний, маршей и учений, которые он наблюдал неоднократно на площадях Москвы, в казармах и на Хамовническом плаце, расположенном как раз недалеко от московского дома Толстых. Лев Николаевич справедливо полагал эти игрища стайно-территориальных агрессивных зверушек неизбежным дополнением к церковным проповедям. Ещё мощнее на сознание Толстого действовали сцены рекрутского набора, и 14 ноября Толстой ездил в Тулу именно с целью наблюдения над этим процессом. В книге «Царство Божие внутри вас» он расскажет об этом так:

«...Проезжая по Туле, я увидал опять у дома земской управы знакомую мне густую толпу народа, из которой слышались вместе пьяные голоса и жалостный вой матерей и жён. Это был рекрутский набор.

Как и всегда, я не мог проехать мимо этого зрелища; оно притягивает меня к себе какими-то злыми чарами. Я опять вошёл в толпу, стоял, смотрел, расспрашивал и удивлялся на ту беспрепятственность, с которою совершается это ужаснейшее преступление среди бела дня и большого города» (28, 241). И дальше несколько страниц отдано описанию новобранцев, их отцов и матерей, комнаты «присутствия» и пр.

«— Ну, а если арестант — твой отец и бежит? — спросил я у одного молодого солдата.

— Могу заколоть штыком, — отвечал он особенным, бессмысленным солдатским голосом. — А если “удаляется”, *должен* стрелять, — прибавил он, очевидно гордясь тем, что он знает, что нужно делать, когда отец его станет удаляться.

И вот когда он, добрый молодой человек, доведён до этого состояния, ниже зверя, он таков, какой нужен тем, которые употребляют его как орудие насилия. Он готов: погублен человек, и сделано новое орудие насилия» (Там же. С. 244 – 245).

15 ноября 1892 г. Толстой в письме к жене сообщает: «Вчера я опять был в Туле... Тянет меня туда набор, который мне нужно было видеть.

[...] У нас возили в солдаты Курносенкова и Жарова, <яснополянские крестьяне. – Р. А.> и <оба> пьяны, — как и должно быть — они подрались, и один рекрут пырнул ножом Ефима Жарова, — кажется, не опасно. А Курносенкова приняли, несмотря на то, что он ездил к женщине, которая умеет отчитывать от солдатства, и он заплатил ей деньги» (84, 173).

Третий импульс поступал вместе с газетами, брошюрами, с которыми знакомился Толстой и в которых отразился всплеск милитаристских настроений, наблюдавшийся в Европе в последней четверти XIX века. В условиях активации военных приготовлений среди рабов и прислужников господствующей лжехристианской цивилизации распространялись, как чумная зараза, искусно подновлённые теории, выискивавшие «великий общенациональный смысл» войны, её «божественное происхождение», её якобы благодетельное влияние на исторический прогресс и даже... на нравственность человека.

Ответом Л. Н. Толстого на такие идеологические инвазии в массовое сознание и стал написанный в период с июня 1890 по май 1893 г. трактат «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание». Значение этого сочинения на духовном пути Толстого-христианина невозможно переоценить. Достаточно будет сказать, что Толстой продолжал хотя бы обдумывать сочинение, а, по возможности, и не прерывать его писания даже в период с ноября 1891 года по лето 1892-го, когда активно и напряжённо участвовал в деле практического христианского служения: помощи крестьянам нескольких пострадавших от неурожая губерний. Отметим от себя, что такое сочетание не только не навредило содержанию трактата а, напротив — одухотворило его тем страданием голодавших детей и взрослых, с которых тётя «родина» требовала, помимо её, падаы, прокормления, ещё и военной «повинности», солдатчины, службы в войске.

Трактат задумывался как статья о непротивлении. Началом работы стало написанное Толстым предисловие к публикации на русском языке «Катехизиса непротивления» уже упоминавшегося нами в этой книге американского священника и аболициониста Адина Баллу, с которым Толстой успел до его кончины пообщаться в переписке. Предисловие разрослось в обширный трактат, который уже 8 октября 1891 г., в письме хорошему воронежскому знакомому и духовному единомышленнику Гавриле Андреевичу Русанову Толстой впервые называет «*книгой о воинской повинности и христианстве*» (66, 53 – 54. *Выделение наше. – Р. А.*).

Трактат составил самый большой рукописный фонд из всех сочинений Толстого – 13 374 листа.

Из полного названия этого вразумляющего слова Толстого к современникам становится ясно, что *антивоенный* пафос – не единственный и даже не главный в сочинении. Речь в сочинении — именно о старом, отжитом, и новом религиозных жизнепониманиях и о массовой военной повинности в лжехристианском мире именно как следствии влияния отжитой, архаической веры на массовое сознание.

Трактат явился в полной мере итогом напряжённых духовных исканий писателя в 1870 – 1880-е годы. В этот исторический период в России появилась и приобрела отлаженный, уже привычный характер обязательная всеобщая воинская повинность. К 1890 гг. ма-

хина обязательного призыва была отлажена и стала привычной многим. Но совершенно не привычными, неожиданными для лжехристианской, православной Империи стали отказы свободных, недогматических христиан *по совести* от участия в призывной солдатине, равно и критика её с позиций евангельской этики.

Работа Льва Николаевича над трактатом шла очень сложно и продолжалась, с небольшими перерывами, около трёх лет (июнь 1890 – май 1893 г.). Структура его необычна: в нём 11 основных глав, небольшое введение и обширнейшее заключение, имеющее собственное внутреннее деление на 6 глав. Такая структура отражает сложность и долговременность неоднократно прерывавшейся работы писателя над трактатом, влияний, оказываемых на него событиями различного масштаба — от мировых до уездных. Чем-то она напоминает такую же асимметричность великого романа писателя «Война и мир».

В **Первой главе** трактата автор показывает, как, почти самостоятельно придя к выводам о непротивлении злу, он, благодаря распространению трактата «В чём моя вера» и вызванному им диалогу, даже международному, с современниками, постепенно стал знакомиться с основными источниками христианской традиции ненасилия и лично встречаться либо переписываться с некоторыми её представителями. Перечитать эту главу значит представить краткую историю христианского антимилитаризма.

В древности отказ от войны впервые встречается у некоторых христианских мучеников в эпоху, непосредственно предшествовавшую правлению Константина — это отказ, мотивированный прежде всего нежеланием подчиняться какой-либо политико-религиозной власти посредством принесения клятвы. Толстой лишь кратко упоминает об этом первом этапе, ссылаясь прежде всего на “отцов Церкви” — Оригена, Тертуллиана и других.

Следующий этап представлен евангелическими движениями накануне Реформации. Толстой особо выделяет свидетельство чеха Петра Хельчицкого (первая половина XV в.), который родился в Хельчице, в Богемии, и был одним из представителей движения “богемских братьев”, автором книги «Сеть веры». «При всём том многие люди из всех сословий охотно читают и эту книгу Петра Хельчицкого и другие его сочинения, невзирая на то, что он был мирянином и в латыни не учёным, потому что, хотя он и не был мастером семи искусств, но

поистине был исполнителем девяти блаженств и всех заповедей Божиих и был, таким образом, настоящим доктором чешским.

В этой книге Хельчицкий касается всех сословий, начиная с императоров, королей, князей, панов, рыцарей, мещан, ремесленников и кончая сельским сословием; но особенное внимание обращает он на духовенство: на пап, кардиналов, епископов, архиепископов, аббатов и всех орденских монахов, деканов, настоятелей приходов, викариев. В первой части этой книги излагается, каким путём и способом страшное развращение проникло в святую церковь, и доказывается, что только удалением из церкви всех человеческих измышлений можно добраться до истинного основания её — Иисуса Христа; во второй говорится о возникновении и размножении в церкви разных сословий, которые только препятствуют истинному познанию Христа, ибо они преисполнены духа гордости и всеми силами противятся смиренному и кроткому Христу" (*Цит. по: 42, 47*).

К третьему этапу относятся некоторые радикальные течения Реформации, такие, как меннониты и в особенности квакеры, которые представляют собой самый значительный прецедент в истории идей религиозного, именно христианского ненасилия. «Общество друзей» возникло в английской религиозной среде ещё в середине XVII в. Его основатель, Джордж Фокс, настаивал на непосредственном характере учения Иисуса, постигаемого через дух и «внутренний свет». Квакеры получили своё наименование (в начале с оскорбительным смыслом) из-за сильной дрожи волнения у тех, кто поднимались, чтобы взять слово во время их молчаливых собраний: действительно, их культ не предполагал и не предполагает ни рукоположенных служителей, ни таинств, ни чтения Писания, ни проповедей, но лишь вольные выступления, продиктованные сиюминутным вдохновением. Их отказ приносить клятву, брать в руки оружие, платить церковную десятину, снимать шляпу перед кем бы то ни было (они ко всем обращались на "ты") привёл к гонениям при Кромвеле и во время Реставрации (1660). Лишь "Акт о веротерпимости" 1687 г. положил конец преследованиям (после того, как около 450 квакеров погибли в заточении). Уильям Пенн основал в 1682 г. в северной Америке колонию квакеров.

Знакомство Толстого с квакерами происходит прежде всего через книгу Джонатана Даймонда (1796 – 1828) «О войне». Следует отметить, что в наиболее радикальных евангелических течениях — у квакеров, а до них у меннонитов — отрицание войны приобретает

черты позиции, основанной на убеждении, которое связано не только с отказом от принесения присяги, но и с обострённым чувством индивидуальности, неотчуждаемости и незаменимости любой жизни, в которой присутствует Бог. Это то же самое убеждение, которое приводит к отмене смертной казни. Без сомнения, для Толстого духовная помощь общения с такими людьми была бесценной: мы помним, сколь резко первоначально разделены были в его, воспитанника аристократической среды, сознании война и смертная казнь: представления о храбрости и геройстве на войне, о «необходимой обороне» стран и народов — от безусловного, во многом тоже аристократического, отвращения перед «ремеслом» судьи и палача.

Толстой приводит выдержки из письма от американских сектантов — квакеров, поддержавших идею неупотребления насилия в сопротивлении злumu, а также два исторических документа: «Провозглашение основ мира» Уильяма Ллойда Гаррисона (1805 – 1879) и «Катехизис непротivления» Адина Балу (Ballow, 1803 – 1890) — старших современников Льва Николаевича, чьи взгляды он во многом разделял.

Вот, цитируемое Толстым в Первой главе, начало составленной Гаррисоном Бостонской "декларации" 1838 г.:

«Мы не признаём никакого человеческого правительства. Мы признаём только одного Царя и Законодателя, только одного Судью и Правителя над человечеством. Отечеством нашим мы признаём весь мир, соотечественниками своими признаём всё человечество. Мы любим свою родину столько же, сколько мы любим и другие страны. Интересы, права наших сограждан нам не дороже интересов и прав всего человечества. Поэтому мы не допускаем того, чтобы чувство патриотизма могло оправдывать мщение за обиду или за вред, нанесённый нашему народу...

Мы признаём, что народ не имеет права ни защищать себя от внешних врагов, ни нападать на них. Мы признаём также, что отдельные лица в своих личных отношениях не могут иметь этого права. Единица не может иметь большего значения, чем совокупность их. Если правительство не должно оказывать сопротивление чужестранным завоевателям, имеющим целью опустошать наше отечество и избивать наших сограждан, то точно так же не должно быть оказываемо сопротивление силою отдельным лицам, нарушающим общественное спокойствие и грозящим частной безопасности. Проповедуемое

церквами положение о том, что все государства на земле установлены и одобряемы Богом и что все власти, существующие в Соединённых Штатах, в России, в Турции соответствуют воле Бога, столь же нелепо, как и кощунственно» (28, 4 – 5).

Но особенное значение придаёт Толстой не этим маститым, в его эпоху уже хорошо защищённым при жизни от жестоких правительственных преследований, теоретикам христианского ненасилия, а — *практикам*, зачастую одиночкам либо членам беззащитных, стоящих в России вне закона, христианских сект:

«...Каждый год у нас в России несколько призываемых людей отказываются от военной службы на основании своих религиозных убеждений. Как же поступает правительство? Отпускает их? — Нет. — Заставляет их идти и, в случае несогласия, наказывает их? — Нет. В 1818 году правительство поступило следующим образом. Вот никому почти в России не известная выписка из дневника Ник. Ник. Муравьёва-Карского, не пропущенная цензурой:

2-го октября 1818 г. Тифлис.

Поутру комендант сказал мне, что недавно прислано в Грузию пять крестьян помещичьих Тамбовской губернии. Сии люди были в солдаты сданы, но не хотят служить; их уже несколько раз кнутом секли и сквозь строй гнали, но они отдают себя охотно на самые жестокие мучения и на смерть, дабы не служить. "Отпустите нас, — говорят они, — и не троньте нас, мы никого трогать не будем. Все люди равны, и государь тот же человек, как и мы; зачем мы будем ему подати платить, зачем я буду подвергать свою жизнь опасности, чтобы убить на войне человека, мне не сделавшего никакого зла? Вы можете нас по кускам резать, а мы не переменим своих мыслей, не наденем шинели и не будем пайка есть. Тот, который над нами сжаляется, даст нам милостыню, а казённого мы ничего не имели и иметь не хотим". Вот слова сих мужиков, которые уверяют, что им подобных есть множество в России. Их четыре раза водили в Комитет министров и, наконец, решились о том представить государю, который приказал для поправления отправить их в Грузию и предписал главнокомандующему доносить ему ежемесячно о постепенных успехах для приведения сих крестьян к настоящим мыслям".

Чем кончилось это поправление — неизвестно, так как неизвестен и весь эпизод, содержащийся в глубокой тайне.

Так поступало правительство 75 лет тому назад, — так поступало оно в большом количестве случаев, всегда старательно скрывааемых от народа. Так же поступает оно и теперь...

Сначала прилагают все употребляемые в наше время меры насилия для "поправления" отказывающихся и приведения их "к настоящим мыслям" и держат производство этих дел в величайшей тайне. Я знаю, что про одного из отказавшихся в 1884 году в Москве через два месяца после его отказа составилось огромное, толстое дело, хранившееся в министерстве под величайшим секретом.

Начинается обыкновенно с того, что отказывающегося посылают к священникам и, к стыду их, они всегда увещивают отказывающихся. — Но так как увещание во имя Христа — отречься от Христа бывает большей частью безуспешным, то отказавшегося после увещания духовных лиц посылают к жандармам.

Жандармы обыкновенно, не находя ничего политического, возвращают его назад и тогда отказавшегося посылают к учёным, к врачам и в сумасшедший дом. Во всех этих пересылках отказывающийся, лишённый свободы, терпит всякого рода унижения и страдания, как приговорённый преступник. (Это повторялось в четырёх случаях.) Из сумасшедшего дома доктора выпускают отказавшегося, и тогда начинаются всякие тайные, хитрые меры, чтобы и не отпустить отказавшегося, поощрив тем других отказываться так же, как и он, и вместе с тем не оставить его среди солдат, чтобы и солдаты не узнали от него того, что призвание их к военной службе совершается совсем не по закону Бога, как их уверяют, а против него. Самое удобное для правительства было бы казнить отказавшегося: засечь палками или каким-нибудь иным способом, как это делалось прежде. Но казнить открыто человека за то, что он верен учению, которое мы сами исповедуем, — нельзя. Оставить же человека, отказывающегося от повиновения, — тоже нельзя. И вот правительство старается или страданиями заставить этого человека отречься от Христа, или как-нибудь незаметно избавиться от него, не казня его открыто, скрыть как-нибудь и поступок этого человека и его самого от других людей. И начинаются всякого рода уловки и хитрости и мучения этого человека. Или ссылают этого человека на окраины, или вызывают на непослушание и тогда судят за нарушение дисциплины и запирают в тюрьму, дисциплинарный батальон, где уже тайно от всех свободно мучают его, или признают сумасшедшим и запирают в дом умалишённых. Так, одного сослали в Ташкент, т. е.

как будто перевели в Ташкентское войско, другого в Омск, третьего судили за непослушание и заперли в тюрьму, четвёртого в дом умалишённых.

Везде повторяется одно и то же. Не только правительство, но и большинство либеральных, свободно мыслящих людей, как бы сговорившись, старательно отворачиваются от всего того, что говорилось, писалось, делалось и делается людьми для обличения несовместимости насилия в самой ужасной, грубой и яркой его форме — в форме солдатства, т. е. готовности убийства кого бы то ни было, — с учением не только христианства, но хотя бы гуманности, которое общество будто бы исповедует» (28, 22 – 24).

Пространная цитата из Первой главы трактата понадобилась нам в качестве подтверждающей иллюстрации значительнейшего обстоятельства: для автора сочинения на первом месите — именно христианская вера, учение Христа, а отнюдь не светская “гуманность”, исходя из этических аксиом которой, *помимо* православных обрядов веры и догматики, он сам отрицал «жестокости войны» ещё недавно, в длительный период своего творчества, начиная от повести «Набег» 1853 г. и заканчивая романом «Анна Каренина». Тем более автору «Царства Божия» не близки те *пацифизм* и *анархизм*, с которыми его до сего дня отождествляют. Повторим: для *христианского* *жизнепонимания*, каким даёт его Толстой-учитель в «Соединении евангелий» и каким описывает в трактате «В чём моя вера?», статье «Религия и нравственность» и анализируемом данном сочинении — светские умственные течения, такие как анархизм, феминизм, пацифизм и под. совершенно *избыточны* и, в таковом их отношении к вере Христа — *вредны* в той степени, в которой порождены безверным, нехристианским состоянием обществ!

Толстой-публицист не ограничивается знакомством читателя со своими единомышленниками, приводя (и даже классифицируя) множественные критические отзывы на своё сочинение 1882 – 1884 гг. «В чём моя вера?». Главы Третья и Четвёртая трактата посвящены детальному разбору причин невозможности верного понимания учения Христа с церковной либо научной точек зрения. **Четвёртая глава** — смысловой центр *христианской* части трактата: в ней Толстой излагает свою концепцию «трёх жизнепониманий», из которых наивысшим признаёт «всемирное, или божеское», выраженное в Нагорной проповеди, в примере земной жизни и в мученической смерти Христа (28, 69 – 70).

Современные же, часто и дружащие с пацифизмом, «просвещённые» головы — склонны отрицать истину нового жизнепонимания в христианском учении, «поправлять» Христа. О них Лев Николаевич говорит с заслуженной иронией:

«Для большинства научных людей, рассматривающих жизненное нравственное учение Христа с низшей точки зрения общественного жизнепонимания, учение это есть только весьма неопределённое, нескладное соединение индийского аскетизма, стоического и неоплатонического учения и утопических антисоциальных мечтаний, не имеющих никакого серьёзного значения для нашего времени, и всё значение его сосредоточивается для них в его внешних проявлениях: в католичестве, протестантстве, догматах, борьбе с светской властью. Определяя по этим явлениям значение христианства, они подобны глухим, которые судили бы о значении и достоинстве музыки по виду движений музыкантов.

[...] Обыкновенно говорят, что нравственное учение христианства хорошо, но преувеличено, — что для того, чтобы оно было вполне хорошо, надо откинуть от него излишнее, не подходящее к нашему строю жизни. "А то учение, требующее слишком многого, неисполнимого, хуже, чем то, которое требует от людей возможного, соответственно их силам", — думают и утверждают учёные толкователи христианства, повторяя при этом то, что давно уже утверждали и утверждают и не могли не утверждать о христианском учении те, которые, не поняв его, распяли за то учителя, — евреи.

Оказывается, что перед судом учёных нашего времени закон еврейский: зуб за зуб и око за око, — закон справедливого возмездия, известный человечеству 5000 лет тому назад, — более целесообразен, чем закон любви, 1800 лет тому назад проповеданный Христом на место этого самого закона справедливости.

[...] Они не понимают того, что учение это есть установление нового понимания жизни, соответствующего тому новому состоянию, в которое вот уже 1800 лет вступили люди, и определение той новой деятельности, которая из него вытекает. Они не верят тому, что Христос хотел сказать то, что сказал: или им кажется, что он по увлечению, по неразумию, по неразвитости своей говорил в Нагорной проповеди и других местах. [...] Христос и рад бы сказать хорошо, но он не умел выражаться так точно и ясно, как мы в духе критицизма, и потому поправим его. Всё, что он наговорил о смирении, жертве,

нищете, незаботе о завтрашнем дне, всё это он говорил нечаянно, по неумению научно выражаться» (*Там же. С. 71 – 73*).

И здесь Лев Николаевич Толстой, много работавший сам над соединением и переводом евангелий и знакомившийся, в ходе работы, с трактовками богословов и библеистов, наносит по значительной части их — *еврейской* не по этносу, а по вере: по отношению к жизни и Началу её в Боге — меткий и нетразимый удар:

«Можно не разделять этого жизнепонимания, можно отрицать его, можно доказывать неточность, неправильность его; но невозможно судить об учении, не усвоив того жизнепонимания, из которого оно вытекает; а тем более невозможно судить о предмете высшего порядка с низшей точки зрения: глядя на фундамент, судить о колокольне» (*Там же. С. 75*).

А вот то, что уже совершенно уходит за “барьер восприятия” — отнюдь не догматических верующих, которые хотя бы из почтения ко Христу и ко всякому, судящему о Евангелиях, способны выслушать и понять, хотя и не принять идею веры как нового руководства, а — в основном именно буржуазных просвещённых гуманистов, анархистов и пацифистов:

«Недоразумение <их> именно в том, что учение Христа руководит людьми иным способом, чем руководят учения, основанные на низшем жизнепонимании. Учения общественного жизнепонимания руководят только требованием точного исполнения правил или законов. Учение Христа руководит людьми указанием им того бесконечного совершенства Отца Небесного, к которому свойственно произвольно стремиться всякому человеку, на какой бы ступени несовершенства он ни находился.

[...] Христос учит не ангелов, но людей, живущих животной жизнью, движущихся ею. И вот к этой животной силе движения Христос как бы прикладывает новую, другую силу сознания божеского совершенства — направляет этим движение жизни по равнодействующей из двух сил.

Полагать, что жизнь человеческая пойдёт по направлению, указанному Христом, всё равно, что полагать, что лодочник, переплывая быструю реку и направляя свой ход почти прямо против течения, поплывёт по этому направлению.

[...] Христос говорит только о силе божеской, призывая человека к наибольшему сознанию её, к наибольшему освобождению её от того,

что задерживает её, и к доведению её до высшей степени напряжения.

[...] Учение Христа тем отличается от прежних учений, что оно руководит людьми не внешними правилами, а внутренним сознанием возможности достижения божеского совершенства. И в душе человека находятся не умеренные правила справедливости и филантропии, а идеал полного, бесконечного божеского совершенства. Только стремление к этому совершенству отклоняет направление жизни человека от животного состояния к божескому настолько, насколько это возможно в этой жизни.

Для того, чтобы <плывя в лодке против течения> пристать к тому месту, к которому хочешь, надо всеми силами направлять ход гораздо выше. <Одно из любимых сравнений Толстого, но здесь, в контексте приведённых выше рассуждений — не вполне точное. — Р. А.>

[...] Исполнение учения — в движении от себя к Богу. Очевидно, что для такого исполнения учения не может быть определённых законов и правил. Всякая степень совершенства и всякая степень несовершенства равны перед этим учением; никакое исполнение законов не составляет исполнения учения; и потому для учения этого нет и не может быть обязательных правил и законов.

[...] В Нагорной проповеди выражены Христом и вечный идеал, к которому свойственно стремиться людям, и та степень его достижения, которая уже может быть в наше время достигнута людьми.

Идеал состоит в том, чтобы не иметь зла ни на кого, не вызвать недоброжелательства ни в ком, любить всех; заповедь же, указывающая степень, ниже которой вполне возможно не спускаться в достижении этого идеала, в том, чтобы не оскорблять людей словом. И это составляет **первую заповедь**.

Идеал — полное целомудрие даже в мыслях; заповедь, указывающая степень достижения, ниже которой вполне возможно не спускаться в достижении этого идеала, — чистота брачной жизни, воздержание от блуда. И это составляет **вторую заповедь**.

Идеал — не заботиться о будущем, жить настоящим часом; заповедь, указывающая степень достижения, ниже которой вполне возможно не спускаться — не клясться, вперёд не обещать ничего людям. И это — **третья заповедь**.

Идеал — никогда ни для какой цели не употреблять насилия; заповедь, указывающая степень, ниже которой вполне возможно не

спускаться, — не платить злом за зло, терпеть обиды, отдавать рубаху. И это — **четвёртая заповедь**.

Идеал — любить врагов, ненавидящих нас; **<пятая> заповедь**, указывающая степень достижения, ниже которой вполне возможно не спускаться, — не делать зла врагам, говорить о них доброе, не делать различия между ними и своими согражданами.

Все эти заповеди суть указания того, чего на пути стремления к совершенству мы имеем полную возможность уже не делать, — того, над чем мы должны работать теперь, — того, что понемногу мы должны переводить в область привычки, в область бессознательного. Но заповеди эти не только не составляют учения и не исчерпывают его, но составляют только одну из бесчисленных ступеней его в приближении к совершенству» (*Там же. С. 76 – 80. Выделение в тексте наше. – Р. А.*).

За громадой этого суждения даже от более дотошных сокрылось другое, «попутное» отрицание Толстым-христианином ещё одного, по сей день приписываемого ему, - *изма*, а именно *любви к человечеству*. Вот что пишет он о фикции этой любви:

«Ошибка рассуждения в том, что жизнепонимание общественное, на котором основана любовь к семье и к отечеству, зиждется на любви к личности и что эта любовь, переносясь от личности к семье, роду, народности, государству, всё слабеет и слабеет и в государстве доходит до своего последнего предела, дальше которого она идти не может.

[...] Естественным ходом от любви к себе, потом к семье, к роду, к народу, государству общественное жизнепонимание привело людей к сознанию необходимости любви к человечеству, не имеющему пределов и сливающимся со всем существующим, — к чему-то, не вызывающему в человеке никакого чувства, — привело к противоречию, которое не может быть разрешено общественным жизнепониманием.

Только христианское учение во всём его значении, давая новый смысл жизни, разрешает его. Христианство признаёт любовь и к себе, и к семье, и к народу, и к человечеству, не только к человечеству, но ко всему живому, ко всему существующему, признаёт необходимость бесконечного расширения области любви; но предмет этой любви оно находит не вне себя, не в совокупности личностей: в семье, роде, государстве, человечестве, во всём внешнем мире, но

в себе же, в своей личности, но личности божеской, сущность которой есть та самая любовь, к потребности расширения которой приведена была личность животная, спасаясь от сознания своей погибельности.

Различие христианского учения от прежних — то, что прежнее учение общественное говорило: живи противно твоей природе (подразумевая одну животную природу), подчиняй её внешнему закону семьи, общества, государства; христианство говорит: живи сообразно твоей природе (подразумевая божественную природу), не подчиняя её ничему, — ни своей, ни чужой животной природе, и ты достигнешь того самого, к чему ты стремишься, подчиняя внешним законам свою внешнюю природу.

Христианское учение возвращает человека к первоначальному сознанию себя, но только не себя — животного, а себя — Бога, искры Божьей, себя — сына Божия, Бога такого же, как и Отец, но заключённого в животную оболочку. И сознание себя этим сыном Божьим, главное свойство которого есть любовь, удовлетворяет и всем тем требованиям расширения области любви, к которой был приведён человек общественного непонимания. Так, при всё большем и большем расширении области любви для спасения личности, любовь была необходимостью и приурочивалась к известным предметам: к себе, семье, обществу, человечеству; при христианском мировоззрении любовь есть не необходимость и не приурочивается ни к чему, а есть существенное свойство души человека. Человек любит не потому, что ему выгодно любить того-то и тех-то, а потому, что любовь есть сущность его души, потому что он не может не любить.

Христианское учение есть указание человеку на то, что сущность его души есть любовь, что благо его получается не оттого, что он будет любить того-то и того-то, а оттого, что он будет любить начало всего — Бога, которого он сознаёт в себе любовью, и потому будет любить всех и всё» (*Там же. С. 84 – 85*).

Настоящему христианству Христа нет дела до «сожития человечества, как одной семьи», для которой к тому же трудны, неудобноисполнимы «правила» христианской веры (*Там же*). Нет такой семьи для Толстого-христианина, для всякого истинного христианина, и нет таких правил!

Именно в этом непонимание людьми рассудка *способа общения с человечеством* высшей по отношению к прежним верованиям, христианской религии — причина того, что их светский гуманизм,

их пацифизм, их безрелигиозная нравственность не только не разрешили для христианской Европы XIX столетия дилеммы несоответствия нарастающего милитаризма номинально исповедуемому учению Христа, но довели её до системно сложнейшего состояния, анализу которого Толстой посвящает следующие главы трактата.

«Противоречия нашей жизни с нашим христианским сознанием» — так в черновиках называет Толстой **главу Пятую** своего христианского слова к современникам и потомкам, и поясняет в кратком плане Главы:

«Люди считают, что можно принять христианство, не изменяя своей жизни. Языческое жизнепонимание не соответствует уже тому возрасту, в котором находится человечество и которому может удовлетворить только христианское жизнепонимание. Христианское жизнепонимание не понято ещё людьми, но сама жизнь приводит к необходимости принятия его. Требования нового жизнепонимания всегда кажутся непонятными, мистическими и сверхъестественными. Таковы для большинства людей и требования христианского жизнепонимания. Усвоение христианского жизнепонимания неизбежно совершится вследствие и материальных и духовных причин. Вследствие того, что люди, зная требования высшего жизнепонимания, продолжают держаться низших форм жизни, возникают противоречия и страдания, отравляющие жизнь и требующие её изменения» (28, 296 – 297).

Войны, огромные траты на них и распространение в христианском мире всеобщей воинской повинности, по Толстому — апофеоз накопившихся подобных противоречий.

Бесспорно, приводимые в этой и следующей главах аргументы пацифистов, вещавших на своих сборищах, между прочим, о разорении наций на военных приготовлениях, Толстой так же рассматривает, как дружественные, то есть склоняющие общественное мнение против войн и военщины.

Но дружественность христианина к симпатичным ему интеллигентным людям не тождественна единомыслию с ними и не гарантирует ответных симпатий. Задумаемся над фактом: за два десятилетия активной публичной антивоенной позиции Льва-учителя, Толстого-христианина он не выступил, по разным причинам, ни на одном из пацифистских Конгрессов мира! И если, ещё не сполна — до появления «Царства Божия» — разобравшись в особенностях этой

позиции, они *приглашали* яснополянца стать не просто участником, а вице-президентом II («всеобщего») Лондонского конгресса в 1890 году, то в году 1909-м, когда Лев Николаевич уже и не смог приехать, по своему желанию, на Конгресс в Стокгольме, а только отослал им текст своего выступления для прочтения Конгрессу — текст был замолчан, не прочитан!

Но вернёмся к анализируемому сочинению. Не став участником Лондонского конгресса 1890 года, Толстой тем не менее был хорошо знаком с его материалами. Разбирая их, цитируя выдающихся писателей и общественных деятелей эпохи, он для начала говорит о безусловно правильном в позиции участников лондонского собрания. Например, очень глубокой, серьёзной и злободневной является, на его (и наш!) взгляд, идея трактата о необоснованности и неразумности колоссальнейших *денежных и людских трат* человечества на армии, вооружения и войны. Вот пассаж из речи на Конгрессе итальянского журналиста, политика и пацифиста *Эрнесто Теодоро Монета* (итал. Ernesto Teodoro Moneta, 1833 – 1918):

«Для того, чтобы содержать столько солдат и делать такие огромные приготовления к убийству, расходуются ежегодно сотни миллионов, т. е. такие суммы, которые были бы достаточны для воспитания народа и совершения самых огромных работ для общественной пользы и которые дали бы возможность миролюбиво разрешить социальный вопрос» (*Там же. С. 103*).

«Мы разоряемся, — цитирует Толстой лондонскую речь другого пацифиста, экономиста и политика Фредерика Пасси (Frédéric Passy, 1822–1912), — мы разоряемся для того, чтобы иметь возможность принимать участие в безумных бойнях будущего, или для того, чтобы платить проценты долгов, оставленных нам безумными и преступными бойнями прошедшего. Мы умираем с голода для того, чтобы иметь возможность убивать.

[...] Мы верим в то, что <через> 100 лет после обнародования прав человека и гражданина пришло время признать права народов и отречься раз навсегда от всех этих предприятий обмана и насилия, которые под названием завоеваний суть истинные преступления против человечества и которые, что бы ни думали о них честолюбие монархов и гордость народов, ослабляют и тех, которые торжествуют» (*Там же. С. 99*).

Не в этом ли истинное «непротивление злу насилием», противостоящее пассивному «подставлению щеки»? Действительно, разве не

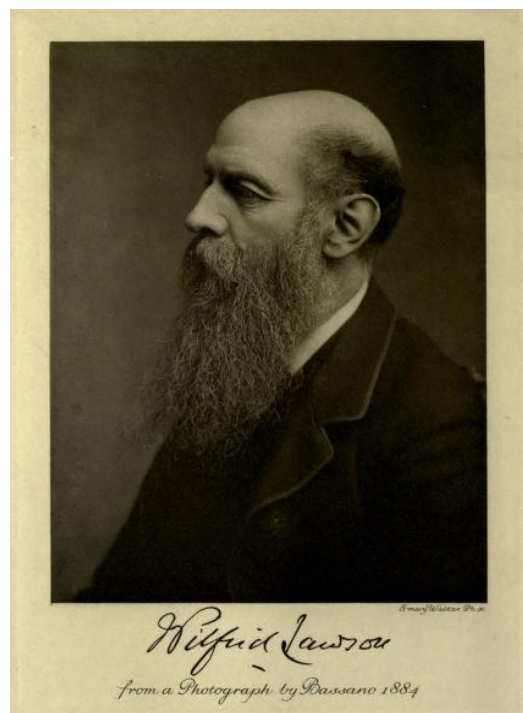
хватило бы денежных сумм и человеческих ресурсов, истраченных правительствами стран «цивилизованного» мира хотя бы только в XIX и XX вв. на военное насилие, огромные армии, их вооружение, боевые действия и устранение их последствий, — разве не хватило бы их на такое преобразование мира, которое позволило бы XX-му, и теперь уже XXI-му векам не страдать от зол фанатизма, невежества, неравенства, преступности, терроризма?

Те же самые террористы — не верные ли, и понятливые, выученики насильнических правительств? Ведь и оружие, которое они используют — адаптированные именно для человекоубийства орудия, изобретённые и сконструированные продавшей правительствам интеллигентской сволочью. И условия, в которых производят террористы свои теракты — условия искусственной городской жизни, в которую люди были поставлены правительствами путём насилий (разорения традиционной крестьянской жизни) и подкупа (соблазна "благами" городской роскошной жизни) *с умыслом*: иметь всегда покорное стадо "граждан", что называется, "под рукой", в скученном состоянии, где легче "стричь" стадо налогами и мобилизовать, при надобности, для кровопускания войны, легче болванить "патриотическим воспитанием" детей лошиных и простеческих родителей (элитарным деткам, воспитывающимся и в наши дни за рубежом, правды перепадает больше). И террористы лишь *используют* всё это неблагополучное, несогласное с законами природы и Бога, положение "гражданских" сообществ людей, подобно тому как паразиты (глисты, блохи, вши...) используют уязвимость и всякое неблагополучие материального тела человека. И надо бы бороться с развратом, преступностью, терроризмом не так, как "борется" лицемерное, обманывающее и насильническое государство: отлавливая делателей зла по одному и группами, а надо — очиститься всему общественному организму от греха, привести его в природосообразное состояние. Для этого и денег космических, которые тратятся на насилия, не нужно, а нужно — *только не врать самим себе, друг другу и не растить в лжи всё новые поколения!*

Современная путинская Россия — ярчайший пример, когда общество-самоубийца, ведомое государством-агрессором, движется противоположным путём. «Крышуемые» бандитским режимом В. В. Путина частные военные компании (ЧВК), «Вагнера» и под. — отвратительный образчик "обратное связи": когда государство, декларативно осуждающее наёмничество и борющееся, декларативно же, с

терроризмом, на деле осваивает самые жестокие приёмы “работы” международных организованных преступников, мафии и террористических банд. В результате в дни написания этих строк, в начале декабря 2022 года, не только указанная ЧВК справедливо была признана террористической организацией, участвующей, в числе прочих мерзостей, в геноциде украинского народа в ходе преступной российской агрессии, полномасштабной войны против этой мирной европейской страны, но и сама Россия наконец-то признана свободным демократическим миром государством-террористом, подлежащим самому решительному силовому обузданию.

Однако, стоит здесь же заметить, что для самого Л. Н. Толстого значительно важнее указания пацифистов, и в особенности людей религии, духовенства, на неизбежность религиозной и нравственной деградации в обществах, допускающих, при номинальном исповедании учения Христа, милитаризацию жизни и сознания, в особенности детского. Вот, например, горькие и справедливые слова из речи сэра Уилфрида Лоусона (Sir Wilfrid Lawson, 2nd Baronet, of Brayton; 1829 – 1906), горького трезвенника, антиимпериалиста, либерала, члена английских Либерального клуба, Лиги реформ и, конечно же, старейшего (с 1816 г.) лондонского Международного общества мира (International Peace Society), на том же Конгрессе мира 1890 г.:



Сэр Уилфрид Лоусон. Фото 1884 г.

«Мальчик ходит в воскресную школу, и его учат: милый мальчик, ты должен любить врагов. Если товарищ ударит тебя, ты не должен отплачивать ему, а стараться любовью исправить его. Хорошо. Мальчик ходит в воскресную школу до 14 – 15 лет, а потом друзья его определяют его в военную службу. Что он будет делать в военной службе? Ведь не любить врага, а напротив, если он только доберётся до него, — проткнуть его штыком. Таково всё религиозное обучение в этой стране. Я не думаю, чтобы это был лучший способ исполнения предписаний религии. Я думаю, что если мальчику хорошо любить врага, то также это хорошо и взрослому человеку» (Там же. С. 100).



Сэр Лоусон на карикатуре
в журнале «Vanity Fair».
Худ. Адриано Чечиони, 1872.

И уж совершенно согласен Толстой с выводами одного из наиболее красноречивых болтунов Конгресса, католического аббата де Фурнье (иначе: Дефурни; L'abbé M. P. Defourny), проводящего параллель между всеобщей военной повинностью и «классическим» рабством. Описываемое им состояние родной Франции значительно подходит для современной, 2022 года, путинской России:

«Те, которые принимают участие в войнах, и не думают уже спрашивать себя, имеют ли какое-либо оправдание эти бесчисленные

смертоубийства; справедливы ли они, или нет, законны или незаконны, невинны или преступны, нарушают ли они, или нет главный закон, запрещающий убивать... Совесть их молчит... Война перестала быть делом, зависящим от нравственности.

[...] Особенность раба в том, что он в руках своего хозяина есть вещь, орудие, а не человек. Таковы солдаты, офицеры, генералы, идущие на убиение и на убийство по произволу правителя или правителей. Рабство военное существует, и это худшее из рабств, особенно теперь, когда оно посредством обязательной службы надевает цепи на шеи всех свободных и сильных людей нации, чтобы сделать из них орудия убийства, палачей, мясников человеческого мяса, потому что только для этого их набирают и вышколивают...

Правители, в числе двух, трёх, сойдясь в кабинетах, тайно сговариваются без протоколов, без гласности, и потому без ответственности, и посылают людей на бойню» *(Там же. С. 101 – 102)*.

В завершение Главы уже сам Лев Николаевич Толстой характеризует обрисованное с помощью множества идейно близких ему противников войны противоречие христианского сознания языческому образу жизни — как вопиющее и даже губительное для людей, не могущих совершенно одурманить своё сознание:

«Удивляются на то, что в Европе совершается ежегодно 60 000 самоубийств, только известных, записанных, и то за исключением России и Турции; но надо удивляться не тому, что самоубийств совершается так много, а тому, что их так мало. Всякий человек нашего времени, если вникнуть в противоречие его сознания и его жизни, находится в самом отчаянном положении.

[...] Как! Мы все христиане, не только исповедуем любовь друг к другу, но действительно живём одной общей жизнью, одними ударами бьётся пульс нашей жизни, мы помогаем друг другу, учимся друг у друга, всё больше и больше, ко взаимной радости, любовно сближаемся друг с другом! В этом сближении — смысл всей жизни, и завтра какой-нибудь ошалелый глава правительства скажет какую-нибудь глупость, другой ответит такой же, и я пойду, сам подвергаясь убийству, убивать людей, не только мне ничего не сделавших, но которых я люблю. И это не отдаленная случайность, а это то самое, к чему мы все готовимся, и есть не только вероятное, но неизбежное событие.

Достаточно ясно сознать это для того, чтобы сойти с ума или застрелиться. И это самое и случается, и даже особенно часто между военными. Стоит только на минуту опомниться, чтобы прийти к необходимости такого конца. Только этим и объясняется то страшное напряжение, с которым люди нашего времени стремятся к одурманиванию себя вином, табаком, опиумом, картами, чтением газет, путешествиями, всякими зрелищами и увеселениями. Все эти дела производятся как серьёзные, важные дела. Они действительно важные дела. Если бы не было внешних средств отуманивания, половина людей немедленно перестрелялась бы, потому что жить противоречиво своему разуму есть самое непереносимое состояние. А в этом состоянии находятся все люди нашего времени. Все люди нашего времени живут в постоянном вопиющем противоречии сознания и жизни. Противоречия эти выражаются и в экономических и государственных отношениях, но резче всего это противоречие в сознании людьми христианского закона братства людей и необходимости, в которую ставит всех людей общая воинская повинность, каждому быть готовым к вражде, к убийству, - каждому быть в одно и то же время христианином и гладиатором» (Там же. С. 104 – 105).

Для следующей, **Шестой главы** трактата, Толстой даёт в черновике заглавие: «Отношение людей нашего мира к войне», излагая главное её идейное содержание следующим образом:

«Люди не стараются уничтожить противоречие между жизнью и сознанием изменением жизни, а образованные, передовые из них употребляют все силы для того, чтобы скрыть требования сознания и оправдать свою жизнь, и этим влекут общество к состоянию даже не языческому, а к состоянию первобытной дикости» (Там же. С. 297).

Цитируя здесь ряд авторов, выступивших на пацифистских Конгрессах мира 1890 – 1891 гг., Толстой разоблачает демагогию правительств, разглагольствующих о мире и одновременно, якобы для «обеспечения» этого мира, увеличивающих вооружения. Эта идея правительственного обмана также сохранила свою актуальность: по сей день любая мощная держава — это хищник, заботящийся более всего о длине и остроте своих зубов и когтей (вдруг у «врага» уже длиннее?). Этот инстинкт стайно-территориального животного, обезьяны, которой с палкой уютнее, чем без палки и приводил (и по сей

день приводит) малые и большие сообщества людей к взаимному недоверию и неизбежным конфликтам за раздел и передел того, что хищнически отобрано ими у природы.

«Не бери с собой палки и не строй ему рожи, а просто — улыбнись...». Миру "взрослых" *по пояс человек*, одержимых влечениями биологического империализма, не понять этой простой мудрости. А непонимание прикрывается у одних — циническим отрицанием самой возможности мира и утверждением вечности войн не только в истории, но и в грядущем человечества, у других — позой трагической «беспомощности», у третьих же, пацифистов — обильной болтологией, подкрепляемой в конце обильным же банкетом. «Конгресс выразил твёрдую и непоколебимую веру в окончательное торжество *мира* и тех принципов, которые отстаивались на этих собраниях» (Там же. С. 112). Толстой иронически выделяет в тексте слово «мир» — так же, как чуть позднее сделает в статье «Христианство и патриотизм», описывая франко-русские торжества по случаю военного союза. Тем самым он намекает, что у участников обоих мероприятий, *мирного* и... довольно-таки *военного*, одинаково не имелось ответа на главный вопрос: что есть настоящий, устойчивый мир в смысле отсутствия системного, организованного военного насилия либо подготовки к нему держав, и каковы настоящие пути к нему.

Дети, взрослея, портятся от взрослых, а взрослые неисправимы в своей порче — от религиозного *безверия*. Демагогия и лицедейство правят бал в политике — и, ярче прочих кругов, именно в среде христиански безверной пацифистской интеллигентской сволочи. Именно в этой, в Шестой главе «Царства Божия...» Толстой анализирует и признаёт малоэффективными и даже вредными такие, постулируемые либералами, «антивоенные» меры, как создание различных обществ, созыв конгрессов мира, конференций, выпуск заявлений, деклараций, своей пацифистской фразеологией отвлекающих внимание общественности от тёмных делишек властных «верхушек». Детальное, по пунктам, изложение резолюций Лондонского 1890 и Женевского 1891 гг. конгрессов мира — своеобразный приём публициста, служащий цели демонстрации всей тщеты и даже глупости подобных «миротворческих» потуг. С явной иронией отнёсся Толстой, например, к идее «проповедовать людям зло войны и благо мира» аккуратно «в 3-е воскресенье декабря». Возражение Толстого, повторяющее приведённое нами выше его же суждение в Дневнике,

весьма резонно: «Христианин не может не проповедовать этого всегда, во все дни своей жизни» (*Там же*).

Уникальными по наивности Толстой считает и пацифистские «советы правительствам, чтобы они распустили войска и заменили их международными судилищами» (*Там же. С. 112 – 113*). В частности — предложения о введении общенародных голосований о вступлении в войну, а также третейского суда и «арбитрации» для решения державами спорных вопросов мирным путём.

"*Не может быть начата война... должны... и т. д*". Да кто же делает то, чтобы не могла быть начата война? Кто сделает то, чтобы должны были люди делать то-то и то-то? Кто заставит державу дожидаться назначения срока? Все другие. Но все другие суть точно такие же державы, которых надо умерять и поставлять в границы и заставить. Кто же будет заставлять? и как? Общественное мнение. Да если есть общественное мнение, которое может заставить державу дожидаться назначенного срока, то то же общественное мнение может заставить державу и вовсе не начинать войны» (*Там же. С. 114 – 115*).

Здесь Лев Николаевич подводит читателя к теме решающего влияния на решение проблем войны и мира «охристианившегося», то есть утвердившегося (в скором, как хотелось ему верить, будущем) в христианском религиозном непонимании *общественного мнения*, в силу которого как, в первую голову, религиозный, а не «антивоенный», публицист он верил до конца жизни.

Насладимся ещё толстовскими иронией и сарказмом в отношении тех (европейских либералов и пацифистов), кого до сего дня многие напрасно полагают совершенными единомышленниками Толстого-христианина (попутно приписывая Толстому и их, по-мужицки, бодро высмеянную им, наивность):

«Третейский суд, арбитрация заменит войны. Вопросы будут решаться третейским судом... Швейцария, и Бельгия, и Дания, и Голландия — все подали заявление, что они предпочитают решения третейского суда войне. Кажется, и Монако заявило то же желание. Досадно только одно, что Германия, Россия, Австрия, Франция до сих пор не заявляют того же.

Удивительно, чем могут себя обманывать люди, когда им нужно обмануть себя.

Правительства согласятся решать свои несогласия третейским судом и потому распустят войска. Недоразумения России и Польши,

Англии и Ирландии, Австрии и Чехии, Турции и славян, недоразумения между Францией и Германией разрешатся добровольным соглашением.

Ведь это всё равно, как если бы предложить купцам и банкирам ничего не продавать дороже цены покупки, а заниматься распределением богатств без барышей и уничтожить вследствие этого ставшие ненужными деньги.

Но ведь торговля и банковое дело и состоят только в том, чтобы продавать дороже, чем покупать, и потому предложение о том, чтобы не продавать дороже покупной цены и уничтожить деньги, равняется предложению уничтожиться. То же самое и с правительствами. Предложение правительствам не употреблять насилия, а по справедливости решать недоразумения, есть предложение уничтожиться как правительство; а на это-то никакое правительство не может согласиться.

Учёные люди собираются в общества (таких обществ много, более 100), собираются на конгрессы (такие были недавно в Париже и Лондоне, теперь будет в Риме), читают речи, обедают, говорят речи, издают журналы, посвящённые этой цели, и во всех доказывалось, что напряжение народов, принужденных содержать миллионы войск, дошло до крайних пределов и что это вооружение противоречит всем целям, свойствам, желаниям всех народов, но что если много исписать бумаги и наговорить слов, то можно согласовать всех людей и сделать, чтобы у них не было противоположных интересов, и тогда войны не будет» (*Там же. С. 115 – 116*).

«Когда я был маленький, — вспоминает тут же Л. Н. Толстой, — меня уверили, что для того, чтобы поймать птицу, надо насыпать ей соли на хвост. Я вышел с солью к птицам, но тотчас же убедился, что если бы я мог насыпать соли на хвост, то мог бы и поймать, и понял, что надо мной смеялись» (*Там же. С. 116*).

Над кем же хотят посмеяться авторы идеи о подчинении правительств могучих, уверенных в своём могуществе держав решению независимых судей и арбитров? Свойство птицы — улетать, не давая себя изловить. Свойство государственной власти — гордость и самостоятельность, несовместимые с подчинением. И любой государственной власти, как справедливо указывает Толстой, имманентна вооружённая сила, «стоящая над справедливостью и неизбежно нарушающая её» по собственному усмотрению. А потому предложе-

ние правительствам не пользоваться вооружённой силой и не нарушать справедливости, подчиняясь решениям посторонних арбитров, есть предложение уничтожиться как правительства, «а на это никакое правительство не может согласиться» *(Там же)*.

Пацифистствующая интеллигентская сволочь обманывает и других, и самих себя:

«Ошибка зиждется на том, что учёные юристы, обманывая себя и других, утверждают в своих книгах, что правительство не есть то, что оно есть, — собрание одних людей, насилующих других, а что правительства, как это выходит в науке, суть представители совокупности граждан. Учёные так долго уверяли других в этом, что и сами поверили в это, и им часто серьёзно кажется, что справедливость может быть обязательна для правительств. Но история показывает, что от Кесаря и до Наполеона, того и другого, и Бисмарка правительство есть по существу своему всегда сила, нарушающая справедливость, как оно и не может быть иначе. Справедливость не может быть обязательной для человека или людей, которые держат под рукой обманутых и дрессированных для насилия людей - солдат и посредством их управляют другими. И потому не могут правительства согласиться уменьшить количество этих повинующихся им дрессированных людей, которые и составляют всю их силу и значение.

[...] Скажите этим людям, что вопрос только в личном отношении каждого человека к поставленному перед каждым теперь нравственному религиозному вопросу законности или незаконности участия в общей воинской повинности, и эти учёные только пожмут плечами и даже не удостоят вас ответа или внимания» *(Там же. С. 116 – 117)*.

При этом Толстой-христианин не преминул подчеркнуть, что именно такое, чуждое христианству, евро-либеросно-пацифистское отношение к войне «самое выгодное для правительств и потому поощряемое всеми умными правительствами» *(Там же. С. 118)*. Надо ли подчёркивать, что российское правительство, судя по преследованиям путинизмом в 2022 году пацифистов-отказников от военной службы и противников гнусной бойни в Украине, выступивших с девизом «Нет войне!», по сей день, очевидно, не дозрело даже и до такого *умного* состояния европейских правительств позапрошлого столетия?!

Сказанное не означает безусловного неприятия Толстым деятельности “законников” от пацифизма. 23 ноября н. ст. 1893 г. к Толстому, от имени и по просьбе членов основанного 7 апреля 1887 г. в Ниме, на юге Франции, общества «Молодых друзей мира» («Jeunes amis de la paix»), обратился один из них, Феликс Шрёдер (Félix Schröder), уже хорошо известный Толстому, ранее ему писавший, автор изданной в 1893 г. в Париже книги «Le Tolstoïsme» («Толстовство»). Он рассказал яснополянцу, что названное общество с 1890 г. печатало для своих членов маленький журнал «La paix par le droit», орган международной молодёжи. Надеюсь, что мир установится путём распространения третейских судов, которые они проповедовали в своём журнале, и желая привлечь внимание публики к своему органу, эти молодые люди просили Шрёдера передать Толстому их просьбу предоставить что-нибудь из его писаний в январский номер журнала.

10 декабря Толстой самым вежливым образом ответил Шрёдеру, в числе прочего, следующее:

«Хотя я и не разделяю надежды молодых людей, находящихся во главе “La paix par le droit”, достигнуть цели, которую они себе ставят, с помощью третейского суда, но я люблю смелостью мысли этих юношей, которые, в противоположность тому, что им проповедуют их старшие и их учителя, имеют смелость верить, что война не есть нормальное состояние человечества, но только один из моментов его эволюции. Идея между народности этого органа мне чрезвычайно симпатична. Я думаю, что подобный журнал было бы полезно печатать на трёх или четырёх языках параллельно. Я очень хотел бы служить этому прекрасному делу». Лев Николаевич пообещал дать в журнал находившуюся в работе статью «Христианство и патриотизм», «как только она будет готова», а кроме того, попросил Шрёдера составить «краткое изложение всего, что касается войны» по тексту законченного к тому времени и отправленного к переводчикам трактата «Царство Божие внутри вас» (66, 444. *Оригинал на французском*). В январском номере «La paix par le droit» появилось изложение мыслей Толстого из трактата «Царство Божие внутри вас», а вот Толстой обещания своего исполнить не сумел.

Другое, выявленное Л. Н. Толстым, отношение к войне, людей поумнее, «большой частью чутких, даровитых» — «это отношение трагическое, людей, утверждающих, что противоречие стремления и

любви к миру людей и необходимости войны ужасно, но что такова судьба человека». Такие люди, тоже преимущественно интеллигенты, но уже яркие личности, далеко не ничтожная сволочь, как либералы и пацифисты, «по какому-то странному повороту мысли не видят и не ищут никакого выхода из этого положения, а, как бы расчёсывая свою рану, любят отчаянностью положения человечества» (Там же).

Вереницу примеров Толстой открывает с самого близкого ему в те годы и удобного — с писателя Ги де Мопассана (фр. Henry-René-Albert-Guy de Maupassant, 1850 – 1893), безусловный талант которого, в числе *немногих* писателей-современников во Франции, Толстой признавал. Кроме того, Мопассан-публицист вступает в отрывке в полемику со своими оппонентами, тем самым полезнейше презентуя читателю и их.



Ги де Мопассан

Вот эмотивно насыщенные строки Мопассана — безусловно, проклинаящего войну, и столь же решительно, как проклял её некогда автор «Севастопольских повестей» и «Войны и мира» — но в своём, *очень французском*, стиле:

«Война! Стоит подумать об этом слове, и на меня находит какое-то чувство ужаса и одурения, как если бы мне говорили про колдовство, инквизицию, как будто мне говорят про дело далёкое, поконченное, отвратительное, уродливое, противоестественное.

Когда говорят нам про людоедов, мы с гордостью улыбаемся, чувствуя своё превосходство над этими дикарями. Но кто дикари? Кто настоящие дикари? Те ли, которые убивают для того, чтобы съесть побеждённых, или те, которые убивают, чтобы убивать, только чтобы убивать?» (Там же. С. 119).

Это сушая правда. Уже не первый век животные Земли, поколения хищников, охотящихся ради выживания, наблюдая в юном и неопытном возрасте поведение людей, задают старшим одни и те же вопросы: *для чего* необходимы эти убийства столь умным творениям единого Бога, каковы люди? Ведь они могут устроить свой рацион так, чтобы в него вовсе не входили плоды неволи, страданий и гибели существ! «А если это добровольный выбор, предпочтение человека для еды, — безуспешно спрашивают львята и старых львов, и старших товарищей, авторитетных, уже охотящихся со взрослыми, — тогда отчего даже лучшие, успешнейшие из человеческих охотников, не съедая, бросают на своей охотничьей территории тех, кого убили?»

Надо бы, как минимум, *заставлять* военных убийц съесть всех убитых ими на войне. И пусть самые обильные, пахучие и жирные куски достанутся поджигателям войны!

Далее Мопассан прибегает к уже совсем близкому Льву Николаевичу приёму: соединению мастерства художника с пером публициста, то есть к созданию наглядных образов:

«Вот на поляне егеря по команде бегают и стреляют; все они предназначены на смерть, как стадо баранов, которых мясник гонит по дороге. Упадут они где-нибудь на поляне с рассечённой головой или с пробитой пулей грудью. И всё это молодые люди, которые могли бы работать, производить, быть полезными.

Их отцы старые, бедные их матери, которые в продолжение 20 лет любили, обожали их, как умеют обожать только матери, узнают через шесть месяцев или через год, может быть, что сына, большого сына, воспитанного с таким трудом, с такими расходами, с такой любовью, что сына этого, разорванного ядром, растоптанного конницей, проехавшей через него, бросили в яму, как дохлую собаку.

И она спросит: зачем убили дорогого мальчика — её надежду, гордость, жизнь? Никто не знает. Да, зачем?» *(Там же)*.

Далее, по законам жанра — эмоциональное крещендо:

«Война! Дратся! Резаться! Убивать людей! Да, в наше время, с нашим просвещением, с нашей наукой, с нашей философией, существует учреждение особых училищ, в которых учат убивать, убивать издалека, с совершенством, убивать много людей сразу, убивать несчастных, жалких людей, ни в чём не виноватых людей, поддерживающих семьи, и убивать их без всякого суда» *(Там же)*.

Здесь впору напомнить читателю, что Л. Н. Толстой намного раньше стал безусловным отрицателем именно убийств и жестоких наказаний по суду, в частности, смертной казни, нежели противником военного сословия и войн, военных подвигов, в уважении к которым был воспитан.

И, конечно же, далее у Мопассана — эмотивно сниженная антитеза:

«И самое удивительное — это то, что народ не поднимается против правительств, — всё равно, в монархии или республике. Самое удивительное то, что всё общество не взбунтуется при одном слове война.

Да, видно, мы всегда будем жить старыми, ужасными обычаями, преступными суевериями, кровожадными понятиями наших предков. Видно, как мы были зверями, так и останемся зверями, руководимыми только инстинктом» *(Там же)*. <Курсивы в этом удивительном тексте, подчёркивающие самое значительное — Льва Николаевича. – Р. А.>

Далее Ги де Мопассан в своей речи перед пацифистами вспоминает старшего собрата по перу, Виктора Гюго — высокочтимого и Львом Николаевичем Толстым:

«Едва ли кто-нибудь, кроме Виктора Гюго, мог бы безнаказанно кликнуть клич освобождения и истины.

“Силу уже начинают называть насилием и судить её, — сказал он. Война призывается на суд. Просвещение по жалобе рода человеческого ведёт судебное дело и представляет обвинительный акт против всех завоевателей и полководцев.

Люди начинают понимать то, что увеличение преступления не может быть его уменьшением; что если убийство есть преступление, то убийство многих не может быть смягчающим обстоятельством; что

если стыдно красть, то захват никак не может быть предметом прославления.

Провозгласим же эту несомненную истину, обесчестим войну»» (Там же. С. 119 – 120).

Само понятие «обесчещения» по отношению к войне и военщине, вкупе с апелляцией к «эпохе Разума», к Просвещению — безусловно архаичны и смешны для Толстого. И жалок Мопассан, кажется, не замечающий этой архаики — и по-прежнему блукающий своей нормандской рожницей мимо Бога и Христа... Толстой цитирует далее эту речь собрата по писательству достаточно подробно — но именно для того, чтобы нагляднее показать *своему* читателю, что в ней не так

А Мопассан между тем снова пускает в ход те же приёмы художнического, публицистического и ораторского своего мастерства. На публицистических «верхах» достаётся от него выдающемуся прусскому военачальнику, умнейшему, блестящему теоретику имперства и войны, графу Хельмуту фон Мольтке (*Helmuth Karl Bernhard, Graf von Moltke*; 1800 – 1891), идейному наследнику другого умницы, Карла фон Клаузевица (*Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz*; 1780 – 1831), между прочим, одного из «учителей» автора «Войны и мира»: «Напрасный гнев, — продолжает Мопассан, — негодование поэта. Война уважаема, почитаема теперь более, чем когда-либо. Искусный артист по этой части, гениальный убийца, г-н фон Мольтке отвечал однажды депутатам общества мира следующими страшными словами: "Война свята и божественного установления, война есть один из священных законов мира, она поддерживает в людях все великие и благородные чувства: честь, бескорыстие, добродетель, храбрость. Только вследствие войны люди не впадают в самый грубый материализм".

Собираться стадами в 400 тысяч человек, ходить без отдыха день и ночь, ни о чём не думая, ничего не изучая, ничему не учась, ничего не читая, никому не принося пользы, валяясь в нечистотах, ночуя в грязи, живя как скот, в постоянном одурении, грабя города, сжигая деревни, разоряя народы, потом, встречаясь с такими же скоплениями человеческого мяса, наброситься на него, пролить реки крови, устлать поля разможжёнными, смешанными с грязью и кровяной землёй телами, лишиться рук, ног, с разможжённой головой и без всякой пользы для кого бы то ни было издохнуть где-нибудь на меже, в то время как ваши старики родители, ваша жена и ваши дети

умирают с голоду — это называется не впадать в самый грубый материализм» (Там же. С. 120).

Мопассан далее бьёт напрямую по мундированным прихвостням и подлым служкам халтурных (не умеющих без войны) правительств — по военщине, что называется, «оптом» — причём в таких речевых оборотах, под которыми вряд ли бы подписался не только молодой севастопольский офицер Толстой, но даже автор «Анны Карениной» всего лишь годков за 10 – 12 до времени написания трактата «Царство Божие внутри вас»:

«Военные люди — главное бедствие мира. Мы боремся с природой, с невежеством, чтобы хоть сколько-нибудь улучшить наше жалкое существование. Учёные посвящают труду всю жизнь для того, чтобы найти средства помочь, облегчить судьбу своих братьев. И, упорно трудясь и делая открытие за открытием, они обогащают ум человеческий, расширяют науку, каждый день дают новые знания, каждый день увеличивая благосостояние, достаток, силу народа.

И вот наступает война. В шесть месяцев генералы разрушают всё то, что творилось в продолжение 20 лет усилия, терпения, гениальности. И это всё называется не впадать в самый грубый материализм.

Мы её видели, войну. Мы видели, как люди сделались опять зверями, как они, как шальные, убивали из удовольствия, из страха, для молодечества, для похвальбы. Мы видели, как, освободившись от понятий закона и права, они расстреливали невинных, застигнутых на дороге и показавшихся подозрительными только потому, что они испугались. Мы видели, как убивали привязанных у дверей хозяев собак, только чтобы попробовать новый револьвер. Мы видели, как расстреливали лежавших в поле коров без всякой надобности, только чтобы пострелять для потехи. И это называется не впадать в самый безобразный материализм.

Вступить в страну, зарезать человека, который защищает свой дом, потому что он одет в блузу и у него нет на голове военной фуражки; сжигать дома бедняков, которым есть нечего, разбивать, красть мебель, выпивать вино из чужих погребов, насиловать женщин на улицах, сжигать пороху на миллионы франков и оставить после себя разорение, болезни, — это называется не впадать в самый грубый материализм.

Что же, наконец, они сделали, военные люди, какие их подвиги? Ничего. Что они выдумали? Пушки и ружья. Вот и всё.

Что оставила нам Греция? Книги, мраморы. Оттого ли она велика, что побеждала, или оттого, что произвела? Не нападения персов помешали грекам впасть в самый грубый материализм. Не нападения же варваров на Рим спасли и возродили его! Что, Наполеон I продолжал разве великое умственное движение, начатое философами конца прошлого века?» (Там же. С. 120 – 121).

Конечно же, страстный вития, со своей калокольни, со своих позиций — прав и прав! И, безусловно, особенно просто ему доказать свою правоту перед очкастыми, очковыми, мокрогубыми интеллигентскими пацифистствующими соплежухами, которым он и адресовал свою филиппику — «глядя с своей яхты на ученье и стрельбу французских солдат», подчёркивает Толстой (Там же. С. 118). С яхты, то есть со стороны, быть может, и виднее, да только вот пользователи яхт могут иметь их лишь благодаря повседневному пользованию *системо* организованным насилием в обществе — не исключая полицейских, солдатни и той сановной мундированной военщины, которую искренне, да слепо порицает Мопассан!

Не столь просто, однако, ему убедить Льва Николаевича Толстого, который тоже *видел войну!*

Прав вития, прав! Более того, описываемое им как раз и подпадает под категорию грубого материализма — это уж “конёк” французской изящной словесности эпохи Толстого и, кстати, одна из причин, почему старик Толстой, в отличие, скажем, от Стендаля и его эпохи, французской *современной* литературы не любил. Некоторые подробности заставляют сразу вспомнить новости весны и лета 2022 года из Украины — о зверствах оккупантов из России в украинских городах. Но можно вспоминать и не столь близкую к нам по времени историю. «Женщин в пламень, младенцев о камень, пленных на дно...» — это вековая установка войны, соответствующая первобытной сущности человека, его природе как агрессивного стайно-территориального животного.

Мопассан-публицист не замечает, что именно «всегдашность» для всех эпох и многосложность поставленной им проблемы подводит его к необходимости указать решение не социально-гуманистическое, а именно религиозное, христианское. И Мопассан проходит мимо Христа, предпочитая исключительное решение *разума*, даже насильническое и революционное, странно для конца XIX столетия отягощённое романтизмом. Часть нижеследующего текста Толстой

отчеркнул, дабы показать “предел” антивоенных рефлексий для интеллектуалов и людей творчества, подобных Ги де Мопассану:

«Нет, уж если правительства берут на себя право посылать на смерть народы, то нет ничего удивительного, что и народы берут на себя иногда право посылать на смерть свои правительства.

Они защищаются, и они правы. Никто не имеет права управлять другими. Управлять другими можно только для блага того, кем управляешь. И тот, кто управляет, обязан избегать войны; так же как и капитан корабля — избегать крушения.

Когда капитан виноват в крушении своего корабля, его судят и приговаривают, если он окажется виноватым в небрежности и даже в неспособности.

Отчего же бы не судить и правительство после каждой объявленной войны? Если бы только народ понял это, *если бы они судили власти, ведущие их к убийству, если бы они отказывались идти на смерть без надобности, если бы они употребляли данное им оружие против тех, которые им дали его, — если бы это случилось когда-либо, война бы умерла.*

Но это никогда не случится» (Там же. С. 120 – 122).

Таковы выводы Ги де Мопассана о современном ему лжехристианском мире.

А вот выводы Льва Николаевича Толстого о Мопассане:

«Автор... даровитый, искренний, одарённый тем проникновением в сущность предмета, которое составляет сущность поэтического дара, писатель. Он выставляет перед нами всю жестокость противоречия сознания людей и деятельности и, не разрешая его, признаёт как бы то, что это противоречие должно быть и что в нём поэтический трагизм жизни» (Там же. С. 122).

Другой интеллектуал, швейцарский писатель и литературовед Эдуард Род, о котором у нас уже шла речь выше, с разницею с Толстым в десятилетие, в конце 1880-х, и в ослабленной форме, пережил идейный и творческий кризис, отказавшись, в частности, от натурализма при анализе нравственных мотивов. На дальнейшее его художественное творчество всё сильнее влияет философия Артура Шопенгауэра и Льва Николаевича Толстого.

Но вот его трагическая, пафосная сентенция о войне, вызвавшая отторжение Толстого, однако показательная, и именно поэтому включённая Толстым в трактат:

«И для чего что-либо делать и затевать? И разве можно любить людей в теперешние смутные времена, когда завтрашний день одна угроза? Всё, что мы начали, все наши зреющие мысли, все наши предполагаемые дела, всё то хотя малое добро, которое мы можем сделать, — разве всё это не будет снесено готовящейся бурей?

Земля дрожит повсюду под ногами, и собирающаяся туча не минует нас.



Ещё раз Эдуард Род

Да, если бы страшна была одна революция, которая нас пугает. Так как я не могу придумать общества, более отвратительно устроенного, чем наше, то я не боюсь того нового устройства, которое заменит наше. Если бы мне стало хуже от перемены, я бы утешался тем, что сегодняшние палачи были жертвами вчера. Я бы переносил худшее, ожидая лучшего. Но не эта отдалённая опасность пугает меня, — я вижу другую, более близкую, более жестокую, потому что ей нет никакого оправдания, потому что из неё не может выйти никакого добра. Каждый день люди взвешивают случайности войны на завтра. И каждый день эти случайности становятся неизбежнее.

Мысль отказывается верить возможности катастрофы, которая представляется на конце века как последствие всего прогресса нашей эры, а надо привыкать верить.

[...] Все мы знаем, что лучшие из нас будут подкошены и что дела наши будут разрушены в зародыше.

Мы знаем это, содрогаясь от злости и ничего не можем. Мы пойманы в сеть разных присутственных мест и бумаг с заголовками, разорвать которую слишком трудно.

Мы во власти тех законов, которые мы сами понаделали, чтобы защитить себя, и которые угнетают нас» (Там же. С. 122 – 124).

Толстой христианин и Толстой боевой офицер, вероятно, тихо матерился и сплёвывал под стул, читая это. Совершенно то впечатление, что серится, соплит, скулит и ноет не человек XIX столетия, а кто-то из российской пригладуренной, хипстерствующей, городской интеллигентской сволочи и дряни, впавшей в депрессию после начала военной агрессии в Украине, устроенной хорошо раскормившей их, а точнее *прикормившей* до того путинской тётей «родиной».

Но, задав себе задачу находить в суждениях *любых* противников войны самое близкое ему и ценное, Толстой находит таковое «лучшее в худшем» и у этого швейцарского хипстера XIX века:

«В продолжение 20 лет все силы знания истощаются на изобретение орудий истребления, и скоро несколько пушечных выстрелов будет достаточно для того, чтобы уничтожить целое войско.

< Книга эта издана год тому назад; за этот год выдумали еще десятки новых орудий истребления - новый, бездымный порох. – *Примеч. А. Н. Толстого.* >

Вооружаются не как прежде несколько тысяч бедняков, кровь которых покупали за деньги, но теперь вооружены поголовно целые народы, собирающиеся резать горло друг другу.

У людей этих сначала крадут их время (забирая их в солдаты) для того, чтобы потом вернее украсть их жизнь. Чтобы приготовить их к резне, разжигают их ненависть, уверяя их, что они ненавидимы. И кроткие, добрые люди попадают на эту удочку, и вот-вот бросятся с жестокостью диких зверей друг на друга толпы мирных граждан, повинувшись нелепому приказанию. И всё бог знает из-за какого-нибудь смешного столкновения на границе или из-за торговых колониальных расчетов.

И пойдут они, как бараны на бойню, не зная, куда они идут, зная, что они бросают своих жён, что дети их будут голодать, и пойдут они с робостью, но опьянённые звучными словами, которые им будут трубить в уши. *И пойдут они беспрекословно, покорные и смиренные, не зная и не понимая того, что они сила, что власть была бы в их руках, если бы они только захотели, если бы только могли и*

умели сговориться и установить здравый смысл и братство, вместо диких плутень дипломатов.

И пойдут они до такой степени обманутые, что будут верить, что резня, убийство людей есть обязанность, и будут просить Бога, чтобы он благословил их кровожадные желания. И пойдут, топча поля, которые сами они засевали, сжигая города, которые они сами строили, пойдут с криками восторга, с радостью, с праздничной музыкой. А сыновья будут воздвигать памятники тем, которые лучше всех других убивали их отцов.

Судьба целого поколения зависит от того часа, в который какой-нибудь мрачный политик даст тот знак, по которому они бросятся друг на друга» (Там же. С. 123).

У людей той эпохи при словах: «мрачный политик» мог возникнуть в сознании образ Бисмарка или русского царя, а в наших 2020-х безусловным лидером (то есть нравственным аутсайдером, “лузером”) в глазах большинства населения Земли стал кремлёвский фюрер Владимир Путин.

Безусловно, пронзительные в своей правоте и отчасти пророческие строки! Но Толстой недаром отчёркивает в них то, что обозначает духовную “планку”, выше которой мелкие крыльшки не могли вознести и этого, довольно мелкого даже в своей эпохе, автора:

«Мы перестали быть людьми и сделались вещами — собственностью вымышленного чего-то, что мы называем государством, которое поработывает каждого во имя воли всех, тогда как все, взятые отдельно, хотят как раз противное тому, что их заставляют делать...»

И хорошо, если бы дело шло только об одном поколении. Но дело гораздо важнее. Все эти крикуны на жалованье, все честолобцы, пользующиеся дурными страстями толпы, все нищие духом, обманутые звучностью слов, так разожгли народные ненависти, что дело завтрашней войны решит судьбу целого народа. Побеждённый должен будет исчезнуть, и образуется новая Европа на основах столь грубых, кровожадных и опозоренных такими преступлениями, что она и не может не быть ещё хуже, ещё злее, ещё диче и насильственнее.

Так и чувствуешь, что над каждым висит ужасная безнадежность. Мы мечемся в тупом переулке с направленными на нас ружьями со всех сторон. Мы работаем, как матросы на корабле, который тонет. Наше удовольствие — это удовольствие приговорённого к смерти,

которому дают выбрать для себя любое кушанье за четверть часа до казни. Ужас притупляет нам мысль, и высшее её проявление в том, чтобы рассчитать, соображая неясные речи министров, слова, сказанные царём, выворачивая изречения дипломатов, которыми наполняют газеты, рассчитать, когда это именно — нынешний или на будущий год нас будут резать.

Едва ли можно найти в истории время, в которое жизнь была бы менее обеспечена и более полна тягостного ужаса» (*Там же. С. 124*).

Блестяще! И многим, как автору данной книги, захочется добавить: *актуально*. Да вот только — *не должно* быть актуально, как возможная угроза, ни в XIX-ом, ни в XX-ом, ни, тем волее, в XXI-ом веках — по крайней мере, для христианского мира, через 1800 – 1900 лет после Христа! Толстой понимает это, и вот почему ниже, в той же главе трактата, следует его, с лихвой заслуженный безверным трусишкой Э. Родом, вердикт:

«Указано на то, что сила в руках тех, которые сами губят себя, в руках отдельных людей, составляющих массы; указано на то, что источник зла в государстве. Казалось бы, ясно то, что противоречие сознания и жизни дошло до того предела, дальше которого идти нельзя и после которого должно наступить разрешение его. <То есть приход массового сознания к *вере живой*, к христианскому религиозному пониманию жизни. – Р. А.>

Но автор думает не так. Он видит в этом трагизм жизни человеческой и, показав весь ужас положения, заключает тем, что в этом ужасе и должна происходить жизнь человеческая» (*Там же. С. 124 – 125*).

И, наконец, Толстой цитирует интеллектуалов третьего, по отношению к феномену войны, фундаментального уклона, сторонников идеи о неизбежности и даже «пользе» войны: таких, как известный в свою эпоху драматург, академик Камиль Дусэ (Charles-Camille Doucet, 1812 – 1895), или другой французский же академик, журналист, публицист, драматург и беллетрист Жюль Кларети (Jules Claretie, 1840 – 1913). На запрос журнала «Revue des Revue», много лет любимого Толстым, умница Кларети ответил весьма характеристическим посланием:

«Милостивый государь!

Для человека разумного может существовать лишь одно мнение по вопросу о мире и войне.

Человечество создано для того, чтобы жить, и жить со свободой усовершенствования и улучшения своей судьбы, своего состояния путём мирного труда. Всеобщее согласие, которого добивается и которое проповедует всемирный конгресс мира, представляет из себя, быть может, только прекрасную мечту, но, во всяком случае, мечту, самую прекрасную из всех. Человек всегда имеет перед глазами обетованную землю будущего, жатва будет поспевать, не опасаясь вреда от гранат и пушечных колёс.

Только... Да — только!.. Так как миром не управляют философы и благодетели, то счастье, что наши солдаты оберегают наши границы и наши очаги и что их оружия, верно нацеленные, являются нам, быть может, самым лучшим ручательством этого мира, столь горячо нами всеми любимого.

Мир даруется лишь сильным и решительным» (*Там же. С. 126*).

Изящное такое, очень даже французское, благословение военной бойни, конечно же, тем отвратительнейшее Льву Николаевичу и тут же, в тексте «Царства Божьего», разоблачённое им — сперва выделениями в тексте цитируемого письма, а в конце — таким комментарием:

«Смысл тот, что разговаривать не мешает о том самом, чего никто не намерен и чего никак не должно делать. Но когда дело доходит до дела, то нужно драться» (*Там же*).

Точка зрения ещё одного писателя, знаменитого Эмиля Золя (1840 – 1902), выражена в его письме-ответе журналу значительно прямолинейней, в унисон с натурализмом, характерным для автора. Это прямое *развитие наоборот* (то есть деградация) по отношению к позиции Мопассана:

«Я считаю войну роковой необходимостью, которая является для нас неизбежною ввиду её тесной связи с человеческой природой и всем мирозданием. Мне бы хотелось, чтобы войну можно было отдалить, на возможно долгое время. Тем не менее наступит момент, когда мы будем вынуждены воевать. Я становлюсь в данную минуту на общечеловеческую точку зрения... Я говорю, что война необходима и полезна, так как она является для человечества одним из условий существования. Мы всюду встречаем войну, не только между различными племенами и народами, но также в семейной и частной жизни. Она является одним из главнейших элементов прогресса, и каждый шаг вперёд, который делало до сих пор человечество, сопровождался кровопролитием.

Воинственная нация всегда пользовалась цветущими силами. Военное искусство влекло за собою развитие всех других искусств. Об этом свидетельствует история. Так, в Афинах и в Риме торговля, промышленность и литература никогда не достигали такого развития, как в то время, когда эти города господствовали над известным тогда миром силою оружия. Чтобы взять пример из более близких нам времен, вспомним век Людовика XIV. Войны великого короля не только не задержали прогресса искусств и наук, но даже, напротив того, как будто помогали и благоприятствовали их преуспеянию» (Там же. С. 126 – 127).

«Самым даровитым из писателей этого настроения» (то есть благословителей войны) Лев Николаевич признаёт действительно блестящего остроумца, Эжена Мельхиора, виконта де Вогюэ, тоже академика, к этому времени уже хорошего друга семейства Толстых и поклонника русской литературы — в особенности Ф. М. Достоевского. О нём мы так же упоминали в этом томе выше.



Виконт Эжен де Вогюэ

Но личные встречи и взаимные симпатии к превосходному, «пахнущему» интеллектом и талантами, умеющему красиво жить, говорить и писать французу Толстой не распространил на воззрения Вогюэ, выраженные не только в насмешку над глупышами европацифи-

стами (которая, сама по себе, была понятна и отчасти приятна Толстому), но и в благословение всем войнам будущих веков, да ещё с опорой на научные и философские познания.

В ноябре 1889 г. Толстой читает в свежем номере «Revue des deux mondes» статью де Вогюэ о 8-й всемирной выставке в Париже: «A travers l'exposition. IX. Dernières remarques» [фр. «Последние замечания о выставке»] (<https://www.revuedesdeuxmondes.fr/article-revue/ix-dernieres-remarques/>). Помимо известий о милитаристских игрищах правительств, и одновременно — о злополучном отказнике от военной службы Петре Хохлове, эта статья повлияла на ход мыслей будущего автора «Царства Божия», судя по записи его в Дневнике под 22 ноября:

«...Статья Вогюэ о выставке и о войне — надо выписать: оставим, мол, болтунов толковать о том, что благо человечество достигнет наукой, трудом, общением и наступит золотой век, который, если бы наступил, то был бы мерзостью. Нужна кровь и т. д. Очень хотелось писать об этом» (50, 181 – 182).

Умница Вогюэ, хотя и своеобразно, но практически повторил убеждение, выраженное Эмилем Золя, в том, что человечество имеет выбор лишь между кровью войны и грязью нравственной деградации в случае торжества «вечного мира», и вот что ещё, помимо, отписал прекрасный виконт в очерке для возлюбленного Толстым французского журнала:

«Вся история учит нас... что нужна кровь, чтобы ускорить и закрепить единение народов. Естественные науки в наше время скрепили таинственный закон, открывшийся Жозефу де Мэстру вдохновением его гения и обдумыванием первобытных догматов; он видел, как мир искупляет свои наследственные падения жертвою; науки показывают нам, как мир совершенствуется борьбой и насильственным подбором; это утверждение с двух сторон одного и того же декрета, редактированного в различных выражениях. Утверждение, конечно, неприятное; но законы мира установлены не для нашего удовольствия, они установлены для нашего совершенствования. Взойдёмте же в этот неизбежный, необходимый дворец войны, и мы будем иметь случай наблюдать, каким образом самый упорный из наших инстинктов, не теряя ничего из своей силы, преобразовывается, подчиняясь различным требованиям исторических моментов.

[...] Я верю так же, как и Дарвин, что насильственная борьба есть закон природы, управляющий всеми существами. Так же как и

Иосиф Мэстр <т. е. Жозеф де Местр. – Р. А.>, я верю, что это закон божественный: два различных названия для одной и той же вещи. Если бы, паче чаяния, какой-нибудь частице человечества, положим хоть всему цивилизованному Западу, удалось остановить действие этого закона, то другие народы, более первобытные, применили бы его против нас. В этих народах голос природы взял бы верх над голосом человеческого разума. И они бы действовали успешно, так как уверенность в мире, я не говорю сам "мир", а "полная уверенность в мире", вызвала бы в людях развращённость и упадок, более разрушительно действующие, чем самая страшная война. Я нахожу, что для войны, этого уголовного закона, нужно делать то же, что и для остальных уголовных законов: смягчить их, стараться, чтобы они оказались ненужными, и применять их как можно реже. Но вся история учит нас тому, что нельзя упразднить этих законов до тех пор, пока останется на земле двое людей, хлеб, деньги и между ними женщина.

Я был бы очень счастлив, если бы конгресс мне доказал противное. Но сомневаюсь, чтобы он мог опровергнуть историю, закон природы и закон Бога» (28, 128 – 129).

К сожалению, как и в житейских встречах с такими напористыми, уверенными в себе и своей мысли собеседниками, так и в трактате своём Лев Николаевич, что называется, "не выдержал удара" такого остроумнейшего оппонента. Быть может, "подкосила" его откровенность симпатий гениального сына своего века одновременно к де Местру и Чарльзу Дарвину, особенно для Толстого не симпатичного. От мощного ума — и удар жесток! И вот, как и прежде, слегка насмешливый, даже саркастический, но при этом и ощутимо ворчливый ответ яснополянца:

«Смысл тот, что история, природа человека и Бог показывают нам, что, пока будут два человека и между ними хлеб, деньги и женщина, — будет война. То есть, что никакой прогресс не приведёт людей к тому, чтобы они сдвинулись с дикого понимания жизни, при котором без драки невозможно разделить хлеб, деньги (очень хороши тут деньги) и женщину».

[...] Все толки о возможности установить мир вместо вечной войны — вредное сантиментальничанье болтунов. Есть закон эволюции, по которому выходит, что я должен жить и действовать дурно. Что же делать? Я образованный человек и знаю закон эволюции и потому буду поступать дурно» (Там же. С. 129).

Подведём итог. Цитируя строки из антивоенных произведений Мопассана, Э. Рода, В. Гюго, Толстой не приемлет свойственного этим авторам «модного пессимизма», противопоставляя им бодрые (хотя и не добрые), самоуверенные высказывания Э. Золя, трёх французских академиков изящной словесности и фельдмаршала Гельмута фон Мольтке в пользу неизбежности и даже блага войны. Но, конечно, меньшая наивность и большее мастерство в выражениях отнюдь не подкупают писателя, который даже в личной переписке любил читать, прежде прочих, письма от простых, даже малограмотных, людей. Напротив, Толстому отвратительно такое посвящение этими людьми своего гения — служению *змию*, мировому хаосу и источнику смерти, небытия. Они безусловно вреднее и страшней как слюняво-сопливых пацифистов, так и «трагиков»:

«Странны люди, собирающиеся в конгрессы, говорящие речи о том, как ловить птиц, посыпая им соли на хвост, хотя они не могут не знать, что этого нельзя делать; удивительны те, которые, как Мопассан, Род и мн. др., ясно видят весь ужас войны, всё противоречие, вытекающее из того, что люди делают не то, что им нужно, выгодно и должно делать, оплакивают при этом трагизм жизни и не видят того, что весь трагизм этот прекратится тотчас же, как только люди перестанут рассуждать о том, о чём им не нужно рассуждать, начнут не делать того, что им больно, неприятно и противно делать. Эти люди удивительны, но люди, которые, как Воюэ и др., исповедуя закон эволюции, признают войну не только неизбежной, но полезной и потому желательной, — эти люди страшны, ужасны своей нравственной извращённостью. Те хоть говорят, что ненавидят зло и любят добро, но эти прямо признают то, что добра и зла нет» (*Там же*). Их влияние в мире — влияние самого Начала погибели и лжи, то есть сатаны, дьявола.

Для писателя эти «потерявшие совесть, и потому и здравый смысл, и человеческое чувство» представители искусства, науки и военных кругов (т.е. служилой и интеллигентской сволочи — сфер общественного бытия, самых замкнутых и далёких от жизни и от народа) «страшны, ужасны своей нравственной извращённостью»: «Вместо того, чтобы изменить жизнь соответственно сознанию, они стараются всеми средствами затемнить, заглушить сознание» своё и других, доверяющих им людей. «Но свет и в темноте светит, и так он начинает светить в наше время» (*Там же. С. 130*) — этим суждением Толстой завершает Шестую главу своего сочинения, выражая таким

образом убеждённость в торжестве над языческим — христианского религиозного понимания жизни.

Удивительно, как люди умеют «не увидеть» то, чего видеть не хочется. **Главу Седьмую** Толстой начинает с повторения ключевого своего тезиса, соединяющего «религиозную» часть трактата с «анти-военной»:

«Общая воинская повинность есть только доведённое до своих последних пределов и ставшее очевидным, при известной степени материального развития, внутреннее противоречие, вкравшееся в общественное жизнепонимание» (28, 130).

Но исследователи Толстого обыкновенно, как в зеркале собака, в известной притче, узревают здесь «ниспровергательную» критику, доходящую, *horrible dictu*, «аж» до анархизма! Прочитаем и эту главу трактата — столь же трудоёмко и не спеша, как она писалась — и поглядим, чего в ней больше: анархизма или же христианской чистой, живой евангельской веры!

Подобно тому, как в наши дни в теориях власти нередко разделяется авторитет силы, насилия, принуждения и авторитет знания, мастерства, так и Толстой отделяет насилие как способ регулирования обществом от авторитета, или «влияния» неизмеримо благороднейшего, «духовного»:

«Влияние духовное есть такое воздействие на человека, вследствие которого изменяются самые желания человека и совпадают с тем, что от него требуют. Человек, подчиняющийся влиянию духовному, действует соответственно своим желаниям. Власть же, как обыкновенно понимают это слово, есть средство принуждения человека поступать противно своим желаниям. Человек, подчиняющийся власти, действует не так, как он хочет, а так, как его заставляет действовать власть. Заставить же человека делать не то, что он хочет, а то, чего он не хочет, может только физическое насилие или угроза им, т. е. лишение свободы, побои, увечья или легко исполнимые угрозы совершения этих действий. В этом состоит и всегда состояла власть.

Несмотря на неперестающие усилия находящихся во власти людей скрыть это и придать власти другое значение, власть есть приложение к человеку верёвки, цепи, которой его свяжут и потащат, или кнута, которым его будут сечь, или ножа, топора, которым ему отрубят руки, ноги, нос, уши, голову, приложение этих средств или

угроза ими. И так это было при Нероне и Чингис-Хане и так это и теперь, при самом либеральном правлении, в американской и французской республике. Если люди подчиняются власти, то только потому, что они боятся того, что, в случае неподчинения их, к ним будут приложены эти действия. Все правительственные требования уплаты податей, исполнения общественных дел, подчинения себя накладываемым наказаниям, изгнания, штрафы и т. п., которым люди как будто подчиняются добровольно, в основе всегда имеют телесное насилие или угрозу его.

Основа власти есть телесное насилие.

[...] Сколько ни придумывали люди средств для того, чтобы лишить людей, стоящих у власти, возможности подчинять общие интересы своим, или для того, чтобы передавать власть только людям непогрешимым, до сих пор не найдено средств для достижения ни того, ни другого. Все знают, что ни один из этих приёмов не достигает ни цели вручения власти только непогрешимым людям, ни препятствования злоупотреблениям её. Все знают, что, напротив, люди, находящиеся у власти — будь они императоры, министры, полицеймейстеры, городовые, — всегда, вследствие того, что они имеют власть, делаются более склонными к безнравственности, т. е. подчинению общих интересов личным, чем люди, не имеющие власти, как это и не может быть иначе» (*Там же. 131 – 133*).

«Первородный грех» такой власти — её происхождение от *завоевания*, то есть подчинения и ограбления мирных тружеников. Чем больше освобождается человек или общность людей от страхов и страстей, влекущих к такому ограблению и подчинению чужих трудов и жизней, то есть чем более человек или люди утверждают в *вере живой*, в доверии Отцу, Богу, то есть в христианском религиозном понимании жизни, тем дальше такой человек или такая общность людей отходят от мнимой «необходимости» насилия — в пользу разумного убеждения и согласия. В лжехристианских же обществах люди, живой веры не обретшие, неизбежно скатываются в тупик разнообразных проявлений в политике первобытной зверскости человека — включая милитаризм и войны. К этому-то выводу и подводит читателя Толстой.

«Духовный авторитет» (добавим от себя: вкупе со многими знаниями из общенаучной картины действительности) создают мудрость и мастерство управляющего другими. Позднее, в 1900-х, в свой

«Круг чтения» Толстой включит одну из мыслей «Сократических диалогов» Ксенофонта, в таком своём изложении:

«Принуждающий нас силой как бы лишает нас наших прав, и мы потому ненавидим его. Как благодетелей наших, мы любим тех, кто умеет убедить нас. Не мудрый, а грубый, непросвещённый человек прибегает к насилию. Чтобы употребить силу, надо многих соучастников; чтобы убедить, не надо никаких. Тот, кто чувствует достаточно силы в самом себе, чтобы владеть умами, не станет прибегать к насилию: к чему ему устранять человека других взглядов, когда в его же интересе дружеским убеждением привлечь его на свою сторону» (14 сентября; 42, 43).

Утвердившиеся у власти безверные к Богу и Христу люди неизбежно будут верить в «необходимость» системно организованных принуждения и насилия и опираться в отправлениях своей власти на организованную вооружённую силу — армию, войско. Да и сам ресурс власти по сей день, в той же самой России, ценится порочными людьми как средство предаться безнаказанно своим порокам:

«Если и было время, что при известном низком уровне нравственности и при всеобщем расположении людей к насилию друг над другом существование власти, ограничивающей эти насилия, было выгодно, т. е. что насилие государственное было меньше насилия личностей друг над другом, то нельзя не видеть того, что такое преимущество государственности над отсутствием ее не могло быть постоянно. Чем более уменьшалось стремление к насилию личностей, чем более смягчались нравы и чем более развращалась власть вследствие своей нестеснённости, тем преимущество это становилось всё меньше и меньше» (28, 133). Современный историк решительно поправит Толстого: такого времени не было, ибо эпизодическое насилие личностей всегда уступает своим деструктивным потенциалом системно организованному насилию разбойничьих гнёзд, возросших в города и государства. «Насилие внутренней борьбы, уничтожаемое властью, зарождается в самой власти» — уже вполне справедливо выводит ниже Толстой (*Там же. С. 134*). Но это и означает, что общественное жизнепонимание не находит выхода из состояния человека как зверя, а освящает системную организацию такого состояния, направленную на менее деструктивные, хотя и многочисленные, повседневные случаи несправедливостей и насилий «простых» членов рода, племени, граждан государства.

И это тоже верно: «Государственная власть, если она и уничтожает внутренние насилия, вносит всегда в жизнь людей новые насилия и всегда всё бóльшие и бóльшие, по мере своей продолжительности и усиления» (*Там же*). Таким образом, «коэффициент полезного действия» насильнического либо *принудительного*, грозящего насилием авторитета у власти становится близким к нулевому. Толстой не дожил до эпохи ядерного оружия и современного нам (декабрь 2022 г.) террористического режима преступника В. В. Путина с его поганым чемоданчиком, чтобы убедиться, что данный коэффициент может быть даже *отрицательным*.

«И потому насилие над насилуемым всегда растёт до того последнего предела, до которого оно может дойти, не убивая курицу, несущую золотые яйца. Если же курица эта не несётся, как американские индейцы, фиджиане, негры, то убиваются, несмотря на искренние протесты филантропов против такого образа действий» (*Там же. С. 135*).

Развращающее, то есть воздействующее на пороки и атавистические влечения людей, влияние примера властвующих, последования их низшему, отжитому жизнепониманию, проявляется всегда, и демократическое устройство, утверждает Толстой, не меняет ничего существенно: «при деспотической форме правления власть сосредоточивается в малом числе насилующих и форма насилия более резкая; при конституционных монархиях и республиках, как во Франции и Америке, власть распределяется между бóльшим количеством насилующих и формы её выражения менее резки» (*Там же. С. 135*).

Правительства даже традиционных обществ, как Россия XIX столетия — не чужды обывательских психологических познаний, и активно используют страхи безверных людей перед внешним «врагом», потенциальным агрессором, военным противником. Между тем войско им нужно для совершенно другого:

«Обыкновенно думают, что войска усиливаются правительствами только для обороны государства от других государств, забывая то, что войска нужны прежде всего правительствам для обороны себя от своих подавленных и приведённых в рабство подданных.

[...] <Вот> почему в России старательно перетасовывают рекрут так, чтобы полки, стоящие в центрах, комплектовались рекрутами с окраин, а полки на окраинах — людьми из центра России.

[...] Войска нужны всякому правительству прежде всего для содержания в покорности своих подданных и для пользования их трудами» (Там же. С. 136 – 138).

Всё это в природе человека как агрессивного территориального животного, не могущей быть побеждённой никаким насилием личности над собой или другими, а только *религиозно*. И Толстой завершает повествование о том, как народы нашего лжехристианского мира загнали себя в ловушку всеобщего военного рабства, изначально просто-напросто не поверив Христу и кротким его ученикам:

«Но правительство не одно: рядом с ним другое правительство, точно так же насилием пользующееся своими подданными и всегда готовое отнять у другого правительства труды его уже приведённых в рабство подданных. И потому каждое правительство нуждается в войске не только для внутреннего употребления, но и для ограждения своей добычи от соседних хищников. Каждое государство вследствие этого невольно приведено к необходимости друг перед другом увеличивать войска. Увеличение же войск заразительно, как это ещё 150 лет тому назад заметил Монтескье.

Всякое увеличение войска в одном государстве, направленное против своих подданных, становится опасным для соседа и вызывает увеличение и в соседних государствах.

[...] Одно обуславливает другое. Деспотизм правительства всегда увеличивается по мере увеличения и усиления войск и успехов внешних, и агрессивность правительств увеличивается по мере усиления внутреннего деспотизма.

Вследствие этого-то европейские правительства одно перед другим, всё усиливая и усиливая войска, пришли к неизбежной необходимости — общей воинской повинности, так как общая воинская повинность была средством получить наибольшее количество войска во время войны при наименьших расходах. Германия первая догадалась сделать это. И как скоро это сделало одно государство, другие должны были сделать то же. А как скоро это сделалось, сделалось то, что все граждане стали под ружьё для того, чтобы поддерживать все те несправедливости, которые против них производились; сделалось то, что все граждане стали угнетателями самих себя.

Общая воинская повинность была неизбежная логическая необходимость, к которой нельзя было не прийти, но вместе с тем она же

есть последнее выражение внутреннего противоречия общественного жизнепонимания, возникшего тогда, когда для поддержания его понадобилось насилие.

[...] Правительства должны были избавить людей от жестокости борьбы личностей и дать им уверенность в ненарушимости порядка жизни государственной, а вместо этого они накладывают на личность необходимость той же борьбы, только отодвинув её от борьбы с ближайшими личностями к борьбе с личностями других государств, и оставляют ту же опасность уничтожения и личности и государства.

[...] Общая воинская повинность разрушает все те выгоды общественной жизни, которые она призвана хранить» (Там же. С. 138 – 139).

Далее Толстой называет эти особенные бедствия, приобретённые людьми лжехристианского мира в безверном желании обезопасить себя от прежних. И снова приходит на ум современное (декабрь 2022 г.) состояние агрессора, разбойничьей, путинской России по отношению к Украине:

«Выгоды общественной жизни состоят в обеспечении собственности, труда и содействии совокупному усовершенствованию жизни — общая воинская повинность уничтожает всё это.

Подати, собираемые с народа для приготовления к войне, поглощают большую долю произведений труда, которые должно охранять войско.

Отрывание всех мужчин от обычного течения жизни нарушает возможность самого труда.

Угрозы войны, готовой всякую минуту разразиться, делают бесполезными и тщетными все усовершенствования общественной жизни».

Но даже не это всё главные бедствия войны:

«Но не в этом одном роковое значение общей воинской повинности как проявления того противоречия, которое заключается в общественном жизнепонимании. Главное проявление этого противоречия заключается в том, что при общей воинской повинности всякий гражданин, делаясь солдатом, становится поддерживателем государственного устройства и участником всего того, что делает государство и законность чего он не признаёт» (Там же. С. 140).

Пусть и противу рожна, а через 2000 лет после Христа человечество развитием знаний о мире и самом себе, просвещением и новейшими, зачастую им самим созданными угрозами приводится к необходимости христианского жизнепонимания. Охристианение общественного сознания неизбежно ведёт к тому, что люди, множество людей, совершенно не желают участвовать в бойне, к которой принуждает их суеверно удерживаемое ими «для общих благ» правительство. Толстой описывает буквально то, что явило в наши дни себя в России с началом массовой мобилизации её обитателей на преступную войну в Украине:

«Отбывающий воинскую повинность становится участником [...] дел в некоторых случаях сомнительных для него, но во многих случаях прямо противных его совести. Люди не хотят уйти с той земли, которую они обрабатывали поколениями; люди не хотят разойтись, как того требует правительство; люди не хотят платить подати, которые с них требуют; люди не хотят признать для себя обязательности законов, которые не они делали; люди не хотят лишиться своей национальности, — и я, исполняя воинскую повинность, должен прийти и бить этих людей. Не могу я, будучи участником этих дел, не спросить себя, хороши ли эти дела? И следует ли мне содействовать исполнению их?» *(Там же. С. 141).*

Для человека, понявшего отличие «всемирного, божеского», выразившегося лучше всего в учении Христа, передового жизнепонимания от жизнепонимания архаического, отжитого, языческого, общественно-государственного, и понявшего спасительное его значение для обществ людей, для человечества в целом в наших XX – XXI веках — не может быть сомнения в ответе на эти вопросы. Быть пацифистом или анархистом для этого избыточно: достаточно приучить себя слушаться Христа!

Итак, «общая воинская повинность есть для правительств последняя степень насилия, необходимая для поддержания всего здания; для подданных же она есть последний предел возможности повиновения. Это есть тот камень замка в своде, который держит стены и извлечение которого рушит всё здание» *(Там же).* И нет ничего страшного в том, чтобы обрушить это здание, всё значение которого — фикция, иллюзия человеческого сознания, не изжившего до конца отжитого, даже опасного в наши дни, жизнепонимания язычников и евреев.

Далее Толстой опровергает доводы, обыкновенно приводимые носителями этого заблуждения в пользу государства. Писатель убеждён, что преимущество государственного обуздания язычников и варваров в древности и в средние века было сведено на нет распространением христианства. Оно смягчило нравы простых людей, но не правителей, всегда сочетавших ум с безнравственностью и жестокостью. Так граждане попали в зависимость от своих же правителей, а не от внешнего "врага", которым пугают их эти правители. Вот основные, данные с христианских позиций, опровержения:

«Без государства, — говорят нам, — мы бы были подвержены насилиям и нападениям злых людей в нашем же отечестве».

Но кто же эти среди нас злые люди, от насилия и нападения которых спасает нас государство и его войско? Если три, четыре века тому назад, когда люди гордились своим военным искусством, вооружением, когда убивать людей считалось доблестью, были такие люди, то [...] теперь уже нет особенных насильников, от которых государство могло защищать нас. Если же под людьми, от нападения которых спасает нас государство, разуместь тех людей, которые совершают преступления, то [...] мы знаем теперь, что угрозы и наказания не могут уменьшить количества таких людей, а уменьшает его только изменение среды и нравственное воздействие на людей. [...] Теперь скорее можно сказать обратное: именно то, что деятельность правительств с своими, отставшими от общего уровня нравственности, жестокими приёмами наказаний, тюрьм, каторг, виселиц, гильотин скорее содействует огрубению народов, чем смягчению их, и потому скорее увеличению, чем уменьшению числа насильников.

"Без государства, — говорят ещё, — не было бы всех тех учреждений воспитательных, образовательных, религиозных, путесообщительных и других. Без государства люди не умели бы учредить общественных нужных для всех дел". Но этот довод мог иметь основание тоже только несколько веков тому назад. [...] Широко развившиеся средства общения и передачи мыслей сделали то, что для образования обществ, собраний, корпораций, конгрессов, учёных, экономических, политических учреждений люди нашего времени не только вполне могут обходиться без правительств, но что правительства в большей части случаев скорее мешают, чем содействуют достижению этих целей. <А в лучшем случае — покупают услуги тех же профессионалов, которыми могли бы, без посредничества государства, пользоваться и безгосударственные общины. — Р. А.>

С конца прошлого столетия едва ли не всякий шаг вперёд человечества не только не поощрялся, но всегда задерживался правительством. Так это было с уничтожением телесного наказания, пыток, рабства, с установлением свободы печати и собраний. В наше же время государственная власть и правительства не только не содействуют, но прямо препятствуют всей той деятельности, посредством которой люди вырабатывают себе новые формы жизни. Решения вопросов рабочего, земельного, политического, религиозного не только не поощряются, но прямо задерживаются государственной властью.

"Без государства и правительства народы были бы порабощаемы соседями".

Едва ли нужно ещё возражать на этот последний довод. Возражение находится в нём самом.

Правительства, как это говорят нам, необходимы со своими войсками для защиты от могущих поработить нас соседних государств. Но ведь это говорят все правительства друг про друга, и вместе с тем мы знаем, что все европейские народы исповедуют одинаковые принципы свободы и братства и потому не нуждаются в защите друг от друга. Если же говорить о защите от варваров, то для этого достаточно 0,001 тех войск, которые стоят теперь под ружьём. Так что выходит обратное тому, что говорится: государственная власть не только не спасает от опасности нападения соседей, а напротив, она то и производит опасность нападения» *(Там же. С. 142 – 143)*.

В самом деле, все формы государственного устройства, от Чингисхана до Чемберлена, от Гелиогабала до Владимира Кроваво Солнышко Путина, всегда сохраняли и не могли не сохранять свою преступную против жизни и разума, против Божьих законов, не имеющую рационального истолкования сущность убийцы и насильника подлинного, идеологически порабощающего послушных обитателей гостерриторий жупелом торжества, при анархическом устройстве жизни, насильника вымышленного.

Более того, в своей повседневной жизни отдельная просвещённая личность, даже применительно к личным своим выгодам, может справедливо заключить, что неподчинение антихристианским требованиям государства не только нравственно спасительно, но и выгодно по сравнению с суеверным повиновением:

«Если большинство людей предпочитает подчинение неподчинению, то это происходит не вследствие трезвого взвешивания выгод

и невыгод, а потому, что к подчинению привлекает людей гипнотизация, которой они при этом подвергаются. Подчиняясь, люди только покоряются тем требованиям, которые к ним предъявляются, не рассуждая и не делая усилия воли; для неподчинения нужно самостоятельное рассуждение и усилие, на которое не каждый бывает способен. Если же, исключив нравственное значение подчинения и неподчинения, сообразовываться только с одними выгодами, то неподчинение в общем всегда будет выгоднее подчинения.

Кто бы я ни был, человек ли, принадлежащий к достаточным, угнетающим классам или к рабочим, угнетённым, и в том и в другом случае невыгоды неподчинения меньше, чем невыгоды подчинения, и выгоды неподчинения больше выгод подчинения.

Если я принадлежу к меньшинству угнетателей, невыгоды неподчинения требованиям правительства будут состоять в том, что меня, как отказавшегося исполнить требования правительства, будут судить и в лучшем случае или оправдают, или, как поступают у нас с менонитами, — заставят отбывать срок службы на невоенной работе; в худшем же случае приговорят к ссылке или заключению в тюрьму на два, три года (я говорю по примерам, бывшим в России), или, может быть, и на более долгое заключение, может быть, и на казнь, хотя вероятность такого наказания очень мало.

Таковы невыгоды неподчинения. Невыгоды же подчинения будут состоять в следующем: в лучшем случае меня не пошлют на убийства людей и самого не подвергнут большим вероятностям искалечения и смерти, а только зачислят в военное рабство: я буду наряжен в шутовской наряд, мною будет помыкать всякий человек, выше меня чином, от ефрейтора до фельдмаршала, меня заставят кривляться телом, как им этого хочется, и, продержав меня от одного до пяти лет, оставят на десять лет в положении готовности всякую минуту явиться опять на исполнение всех этих дел. В худшем же случае будет то, что при всех тех же прежних условиях рабства меня ещё пошлют на войну, где я вынужден буду убивать ничего не сделавших мне людей чужих народов, где могу быть искалечен и убит и где могу попасть в такое место, как это бывало в Севастополе и как бывает во всякой войне, где люди посылаются на верную смерть, и, что мучительнее всего, могу быть послан против своих же соотечественни-

ков и должен буду убивать своих братьев для династических или совершенно чуждых мне правительственных интересов. Таковы сравнительные невыгоды.

Сравнительные же выгоды подчинения и неподчинения следующие.

Для неотказавшегося выгоды будут состоять в том, что он, подвергнувшись всем унижениям и исполнив все жестокости, которые от него требуются, может, не будучи убитым, получить украшения красные, золотые, мишурные на свой шутовской наряд, может в лучшем случае распорядиться над сотнями тысяч таких же, как и он, оскотиненных людей и называться фельдмаршалом и получить много денег.

Выгоды же отказавшегося будут состоять в том, что он сохранит своё человеческое достоинство, получит уважение добрых людей и, главное, будет несомненно знать, что он делает дело Божье, и потому несомненное добро людям.

Таковы выгоды и невыгоды с обеих сторон для человека из богатых классов, для угнетателя; для человека же бедного рабочего класса выгоды и невыгоды будут те же, но с важным прибавлением невыгод. Невыгоды для человека из рабочего класса, не отказавшегося от военной службы, будут ещё состоять в том, что, поступая в военную службу, он своим участием и как бы согласием закрепляет то угнетение, в котором находится он сам» (Там же. С. 144 – 145).

Нам, повторим, необходимы при анализе “ядра” трактата, значительнейшего в антивоенных выступлениях Толстого-публициста, столь пространные цитаты — для демонстрирования читателю значительнейшей, более чем столетней ошибки большинства из числа и без того немногих его критиков. Только что процитирована была та самая часть, из-за которой трактат Л. Н. Толстого «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание» поклонники языческого же понимания жизни считают не только радикально-антивоенным, но и анархическим. Между тем, в завершении своих опровержений мнимой пользы и необходимости государств и в завершении данной, Седьмой главы Толстой «вдруг» бьёт их без жалости, выводя следующее:

«Но не соображения о том, насколько нужно и полезно для людей то государство, которое они призываются поддерживать своим участием в военной службе, ещё менее соображения о выгодах и невыгодах для каждого его подчинения или неподчинения требованиям

правительства решают вопрос о необходимости существования или уничтожения государства. Решает этот вопрос бесповоротно и безапелляционно религиозное сознание или совесть каждого отдельного человека, перед которым невольно с общей воинской повинностью становится вопрос о существовании или несуществовании государства» (Там же. С. 145 – 146).

Удивительно, с каким согласием и в наши дни мнимые единомышленники Толстого, либералы и пацифисты, проходят мимо этих, главнейших выводов Толстого-христианина, отыскивая в евангельском, христианском сочинении некое пацифистское содержание! Как же вы, сволочь, после этого удивляетесь, что из вас ваши же правительства успешно и без труда создают разбойничьи коды для агрессивной войны?

Пожалуй, о пресловутом «анархическом пафосе» слова «Царство Божие внутри вас» Льва Николаевича следует всё-таки говорить, хотя с осторожностью. Вот краткая и ёмкая формулировка того, что сам он именовал анархией, из Дневника 1899 г.: «Анархия не есть отсутствие учреждений, а только отсутствие таких учреждений, которые людей заставляют подчиняться насильно, а — такие учреждения, которым люди подчиняются свободно, по разуму. Казалось, иначе не могло и не должно бы быть устроено общество существ, одарённых разумом» (53, 228). Иначе говоря, Лев Николаевич не отрицал ни власти Бога над людьми, ни даже земной власти человека над человеком, основанной на качестве и полноте социально-ценных знаний, на авторитете *эпистемос*, вкупе с духовным, приобретённым заслугами и добрым, любовным отношением к подвластным как к ближним и равным. Ударам его критики справедливо подвергалась только государственная власть, сущность которой во все века была и остаётся неизменной: авторитет силовой санкции, принуждения, совершаемого с помощью послушных вооружённых прислужников «верхушки», и в основном – в отношении собственных граждан, угнетённых и ропщущих.

Вот тезисы Льва Николаевича Толстого, кратко раскрывающие содержание **Восьмой главы** и помогающие проследить за авторской мыслью:

«Христианство не есть законодательство, а новое понимание жизни, и потому оно не было обязательно и не было принято всеми людьми во всём его значении, а лишь немногими, остальные же приняли его

в извращённом виде. Христианство, кроме того, есть пророчество о погибельности языческой жизни и потому необходимости принятия христианского учения.

Непротивление злу насилием есть одна из сторон христианского учения, которая в наше время неизбежно должна быть принята людьми.

<Есть> два способа разрешения всякой борьбы. Первый способ состоит в том, чтобы найти общие определения зла, обязательные для всех, и бороться с этим злом насилием. Второй способ — христианский — состоит в том, чтобы вовсе не бороться со злом насилием. Хотя безуспешность первого способа уже сознавалась в первые века христианства, но он продолжал прилагаться, и только по мере движения человечества становилось всё очевиднее, что общего определения зла нет и не может быть. Теперь же это очевидно для всех, и если существует насилие, предназначенное для борьбы со злом, то не потому, что оно продолжает считаться нужным, а потому, что люди не умеют от него избавиться. Трудность избавления зависит от хитрости и сложности государственного насилия.

Насилие это поддерживается 4-мя средствами: устрашением, подкупом, гипнотизацией и применением военной силы.

Избавление от государственного насилия не может произойти вследствие свержения государственной власти. Люди бедственностью языческой жизни приведены к необходимости признания обойдённого ими учения Христа с его непротивлением злу. К той же необходимости принятия христианского учения приводит и сознание его истинности, распространённое в нашем мире.

Сознание это находится в полном противоречии с нашей жизнью, что особенно очевидно на общей воинской повинности, но люди, вследствие привычки и воздействия 4-х средств государственного насилия, не видят этого противоречия христианства с обязанностями солдата. Люди не видят этого даже и тогда, когда им с полной очевидностью сами власти представляют всю безнравственность обязанностей солдата. Призыв к воинской повинности есть крайнее испытание для каждого человека, предложение выбора между принятием христианского учения непротивления или рабской покорности существующему государственному устройству.

Люди обыкновенно, отрекаясь от всего святого, покоряются требованиям государственного устройства и как будто не видят иного выхода. Для людей языческого жизнепонимания и нет иного выхода и

не будет, несмотря на всё более ужасные бедствия войны. Общество из таких людей должно погибнуть, и никакие общественные переустройства не спасут его. Языческая жизнь дошла до последних пределов — она уничтожает самую себя» (28, 298 – 299).

Тезис о «добровольном рабстве» людей отжитого, вредного им самим жизнепонимания Толстой развивает в основном тексте Главы следующим образом:

«<Император Вильгельм> высказывает то, что знают, но старательно скрывают все умные правители. Он говорит прямо, что люди, служащие в войске, служат *ему* и *его* выгоде и должны быть готовы для его выгоды убивать своих братьев и отцов.

[...] Жалкий, ошалевший от власти, больной человек этот своими словами оскорбляет всё, что может быть святого для человека нашего времени, и люди — христиане, либералы, образованные люди нашего времени, все, не только не возмущаются на это оскорбление, но даже не замечают его.

[...] Все молодые люди всей Европы год за год подвергаются этому испытанию и за самыми малыми исключениями все отрекаются от всего, что есть и может быть святого для человека, все выражают готовность убить своих братьев, даже отцов по приказанию первого заблудшего человека, наряженного в обшитую красным и золотом ливрею, и только спрашивают, кого и когда им велят убивать. А они готовы.

Ведь у каждого дикого есть что-либо святое, за что он готов пострадать, но не уступить. Но где же это святое у человека нашего времени? Ему говорят: иди ко мне в рабство, в такое рабство, при котором придётся убивать даже отца родного, и он, очень часто учёный, прошедший все науки в университете, покорно подставляет шею под хомут. Его наряжают в шутовской наряд, велят прыгать, кривляться, кланяться, убивать — он всё покорно делает. И когда его выпускают, он как встрёпанный возвращается в прежнюю жизнь и продолжает толковать о достоинстве человека, свободе, равенстве и братстве.

"Да, но что же делать, — часто с искренним недоумением спрашивают люди. — Если бы все отказались, тогда бы так. А то что ж, я один пострадаю и никому и ничему не сделаю пользы".

И правда, человеку общественного жизнепонимания нельзя отказаться. Смысл его жизни — благо его личности. Для его личности ему лучше покориться, и он покоряется.

Что бы с ним ни делали, как бы ни мучили, как бы ни унижали его, он будет покоряться, потому что один он ничего не может сделать, у него нет той основы, во имя которой он мог бы противостоять насилию один. А соединиться им никогда не дадут те, которые управляют ими. Говорят часто, что изобретение страшных военных орудий убийства уничтожит войну; война уничтожит сама себя. Это неправда. Как можно увеличивать средства избиения людей, так можно увеличивать средства приведения к покорности людей общественного непонимания. Пускай их бьют тысячами, миллионами, разрывают на части, — они всё-таки одни, как бессмысленная скотина, будут идти на бойню, потому что их подгоняют хлыстом; другие будут идти потому, что им за это позволяют надеть ленточки и галунчики, и будут даже гордиться этим.

И тут-то, с составом людей, одурённых до того, что они обещаются убивать своих родителей, общественные деятели — консерваторы, либералы, социалисты, анархисты — толкуют о том, как устроить разумное и нравственное общество. Да какое же разумное и нравственное общество можно устроить из таких людей? Как из гнилых и кривых бревён, как ни перекадывай их, нельзя построить дома, так из таких людей нельзя устроить разумное и нравственное общество. Из таких людей может образоваться только стадо животных, управляемое криками и кнутами пастухов» (28, 163 – 165).

Иллюстрацией, доказывающей справедливость тезиса о современном «добровольном рабстве» цивилизованного и даже образованного стада, стало для Л. Н. Толстого событие, описанное в главе 1-й обширного **Заключения** к трактату. Быть может, совершись события раньше, Толстой включил бы их анализ, вполне логически, в тексты Восьмой и последующих глав. Но всё произошло тогда, когда главы уже были написаны, оставалось писанием лишь Заключение, и значительный, даже недостающий Толстому импульс чуть-чуть не запоздал...

Итак, 9-го сентября 1892 года совершилось событие историческое — в истории русской и мировой общественно-публицистической и религиозной мысли. На станции Узловая Сызранско-Вяземской железной дороги писатель встретился с карательным отрядом, направлявшимся, под личным руководством тульского губернатора, для наказания крестьян, не давших своему помещику рубить лес, вероятно, вполне законно приобретённый им «на извод», но который

сами эти дети природы, чуждые буржуазного «правосознания», считали своим.

В это время Лев Николаевич Толстой уже без малого год участвует, вместе со многими совестливыми аристократами и богатыми людьми России и мира, в тяжелейшем деле христианского служения, помощи крестьянам, пострадавшим в России от неурожая 1890 – 1892 гг. На границе Тульской и Рязанской губерний, в удобном для дела месте, именно в Бегичевке, имении старого своего друга Ивана Ивановича Раевского, к тому времени уже погибшего, заморившего себя до смерти на этом деле, был организован осенью 1891 года штаб помощи, в который, в очередной раз, Толстому нужно было нанести тогда инспекционный, «деловой» визит. И вот в письме к жене от 10 сентября, уже из Бегичевки, первом после сентябрьского приезда туда (если же точнее, это пространный *приписка* к письму дочери Тани), Толстой сообщает некоторые новости, среди которых вдруг — эти краткие, без пояснений, слова:

«Впечатление Узловой ужасно» (84, 160).

Толстой посчитал необходимым заехать по пути с ответным «визитом вежливости» в Молодёнки Епифанского уезда, имение Петра Фёдоровича Самарина (1830 – 1901), за 18 вёрст от Бегичевки. В тот же день он проезжал станцию Узловая, что в Тульской губернии, где был свидетелем ужаснувшей его сцены, которую или не захотел, или не нашёл в себе силы тогда же подробно описать в письме к жене. Это сделала верная и любящая дочь, Татьяна Львовна, в письме к маме 10 сентября (к которому Л. Н. Толстой сделал обширную *приписку*):

«В одном поезде с нами ехали вчера Давыдовы — тоже в Молодёнки, — и Зиновьев с Львовым, чтобы усмирять бунт в Бобрниках, где крестьяне не дают Бобринскому рубить лес, который они считают своим. В Узловой мы нагнали поезд с 400 солдат, которых туда гонят с ружьями, готовыми зарядами и музыкой. Это произвело на нас всех и особенно на папá ужасно неприятное впечатление. Зиновьев казался очень сконфуженным и жалким» (Там же. С. 160 – 161).

Ещё бы тульскому губернатору Николаю Алексеевичу Зиновьеву (1839 – после 1917) не быть сконфуженным. К тому времени, когда Лев Николаевич взялся, миновав период сомнений, за дело благоотворения голодавшему народу, Зиновьев успел познакомиться с Толстым, стать гостем его семейства и вполне поддерживал инициативу Ивана Ивановича Раевского со столовыми, продолженную Толстым

после смерти этого старого, доброго друга молодости. Тульский прокурор Николай Васильевич Давыдов, давний общий знакомый Толстого и Зиновьева, особенно подчёркивает в своих мемуарах, что Николай Алексеевич относился к Толстому-благотворителю «с большим уважением», не как «представитель наблюдающей власти, а в качестве знакомого» (*Давыдов Н.В. Из прошлого // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978. Т. 2. С. 15*). Ещё 28 августа он нанёс Толстому в Ясной Поляне неофициальный, вполне дружеский визит, чтобы поздравить с днём рождения...

И вдруг — такие обосратушки. Аж кучкой!

В черновых рукописях двенадцатой главы «Царства Божия...» сохранился такой портрет Зиновьева в стадии «извините, обосрались» — из окончательного текста сочинения убранный, но, без сомнения, нарисованный Толстым по свежим воспоминаниям «с натуры»:

«Следующее, что я увидал, — это начальника всей этой экспедиции, седого человека, у которого, я знаю, дочь выходит замуж и маленькая 5-летняя дочка, невинный ребёнок, которую он любит и крестит, старушка мать, у которой он целует руку и тоже крестит. Лицо этого человека несчастно. Он знает всю мерзость того дела, которое он совершает, но старается притвориться спокойным. И бегающие глаза и неестественная развязность тона выдают его» (*«Царство Божие внутри вас». Из рукописей двенадцатой главы // Литературное наследство. Т. 69. Кн. 1. М., 1961. С. 454*).

Нехорошо, конечно же, было и Льву Николаевичу. В третьем томе «Биографии Л. Н. Толстого» Павел Иванович Бирюков, ставший с лета 1892 года ответственным заместителем Л. Н. Толстого в Бегичевке и, после перерыва и посещения в Ясной Поляне Толстого, уехавший снова туда не позднее 22 августа, вспоминает: «Я жил в это время в Бегичевке, заведывая столовыми Льва Николаевича. Мы ждали его приезда для составления отчёта за прошлый год, и в назначенный день, 9 сентября, он приехал. Я встретил его на крыльце дома, когда он выходил из экипажа. Радостная улыбка встречи остановилась на моих губах, когда я увидел взволнованное, расстроенное, мрачное лицо Л. Н-ча. Я понял, что что-нибудь случилось дорогой. И только что Л. Н-ч вошёл в дом, как, не садясь, с волнением и слезами в голосе начал рассказывать о том, что с ним произошло...» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. М., 1923. Том третий. С. 202 – 203*).

Эти «волнение и слёзы в голосе» ощущаются и при чтении Главы 1-й Заключения трактата.

Конечно же, Толстой-публицист не преминул *со своих* позиций описать и охарактеризовать виденное им. Взывающая к дремлющей совести «паразитов» проблема неуважения к правам и человеческому достоинству своих кормильцев, поднятая Львом Николаевичем ещё в трактате «Так что же нам делать?», развитая им позднее в гениальных работах «Неужели это так надо?», «Стыдно» и «Голод или не голод?», нашла весьма многословное и эмоциональное выражение в главе XII трактата «Царство Божие внутри вас», в котором эта, заключительная, глава — самая пространная, могущая быть прочтённой даже отдельно от предшествующих ей, как особенное публицистическое выступление Л. Н. Толстого. Конечно же, после публикации этой главы и прочтения её Н. А. Зиновьевым отношения его с Толстым были разорваны взаимно.

Тема, заявленная в трактате, по всей видимости, не скоро утратит свою актуальность для России.

Толстого возмутила не столько жестокость самого наказания, сколько та лёгкость, то нравственное безразличие, с которыми чиновники, офицеры и солдаты готовились совершить истязание «голодных и незащитных, тех самых людей, которые кормят их» (28, 230).

Вошь и гнида ополчились на бабку Степаниду, которую и без того грызут... Не апофеоз ли это того «стиля взаимоотношений» власти и общества в России, который господствовал и при царях, и при Сталине, и торжествует и в наши дни, в современной (начало 2023 г.), гопническо-бандюжье-сволочной, полицейской и фашистской путинской России?

И вот тут-то, в этой части трактата, особенно уместна была бы та характеристика, которая попала в его Восьмую главу. О том, что, «как из гнилых и кривых брёвен, как ни перекладывай их, нельзя построить дом, так из таких людей нельзя устроить разумное и нравственное общество. Из таких людей может образоваться только стадо животных, управляемое криками и кнутами пастухов» (28, 165).

Пока «мирные народы» покойно «пасутся», не помышляя о своём праве на свободу, честь, достоинство, до тех пор послушное стадо можно «стричь» (налогами, штрафами и иными поборами), «резать» (войнами), да ещё и обманывать тем, что иначе нельзя и прожить

стаду. Но как только традиционные неуважение, насилие и обман встречают отпор, как только стадо становится обществом людей, знающих о своих человеческих правах, о естественности своего равенства с самозванными распорядителями их судеб, все эти люди обречены становиться жертвами насилий и обмана. А убивать их будут такие же, в прошлом, простые люди, но загнанные уже в военное рабство.

Не апофеоз ли это того имперского садюжьего стиля взаимоотношений власти и общества в России, который царил и при царях, и при Сталине, и царит в современной путинской России? Взывающая к дремлющей совести «паразитов» проблема неуважения к правам и человеческому достоинству своих кормильцев, по всей видимости, не скоро утратит свою актуальность. И совершенно не напрасно, не случайно это патетическое и эмоциональное место в трактате перекликается с пушкинским стихотворением «Свободы сеятель пустынный...»: как и это стихотворение одного из немногочисленных поэтов, признанных Толстым, многие главы «Царства Божия...» писались в период не только ужасной хронической усталости, которую Толстой до лета 1892 г. не мог до конца снять как по причине необходимости и в периоды кратких отпусков удалённо руководить бегичевскими и иными делами, так и из-за домашнего, связанного с поведением жены, непокоя. Сказывался и процесс утраты автором некоторых известных по его высказываниям о крестьянах и достаточно наивных «демократических» иллюзий — конечно же, связанных с длительным ежедневным наблюдением *реальной* жизни этих самых крестьян. В том тяжёлом состоянии души, которое преследовало гения периодически всю жизнь. Кроме того, пушкинские образы, настроения, понятие свободы и чести всегда были близки Толстому, хотя в понятие «свобода» Толстой-публицист вложил своё, очень своеобразное содержание, отражающее его высшее, чем пушкинское, истинно-христианское жизнепонимание.

По мнению П. И. Бирюкова, встреча с карательным отрядом произвела на Толстого такое же сильное впечатление, какое в прежние эпохи земного бытия произвели на него «смерть его отца и бабушки; столкновение с губернёром-французом, затем его внезапная поездка на Кавказ, перенёсшая его из московских ресторанов с картами и цыганами на лоно дикой кавказской природы. Таковы были для него севастопольские ужасы, смертная казнь в Париже, смерть

любимого брата и проч. Московская перепись и знакомство с городской нищетой» (Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. Том третий. М., 1923. С. 202).

Воротимся теперь к основным главам сочинения в их логике изложения, замысленной и осуществлённой Толстым до встречи с карательным отрядом.

В начале **Восьмой главы** обращает на себя внимание утверждение Л. Н. Толстого, что христианскому учению должно было быть извращённо мирскими перетолкованиями, и Иисус знал об этой неизбежности — убеждён Толстой. Иначе бы люди древности отшатнулись от столь требовательной к ним Истины — и учение бы было забыто, заглохло, как семена без почвы.

«Приняв же его в извращённом виде, народы, принявшие его, подверглись хотя и медленному, но верному воздействию его и длинным, опытным путём ошибок и вытекающих из них страданий приведены теперь к необходимости усвоения его в его истинном значении.

Извращение христианства и принятие его в извращённом виде большинством людей было так же необходимо, как и то, чтобы для того, чтобы оно возшло, посеянное зерно было на время скрыто землёй.

Христианское учение есть учение истины и вместе с тем пророчество.

Тысяча восемьсот лет тому назад христианское учение открыло людям истину о том, как им должно жить, и вместе с тем предсказало то, чем будет жизнь человеческая, если люди не будут так жить, а будут продолжать жить теми основами, которыми они жили до него, и чем она будет, если они примут христианское учение и будут в жизни исполнять его.

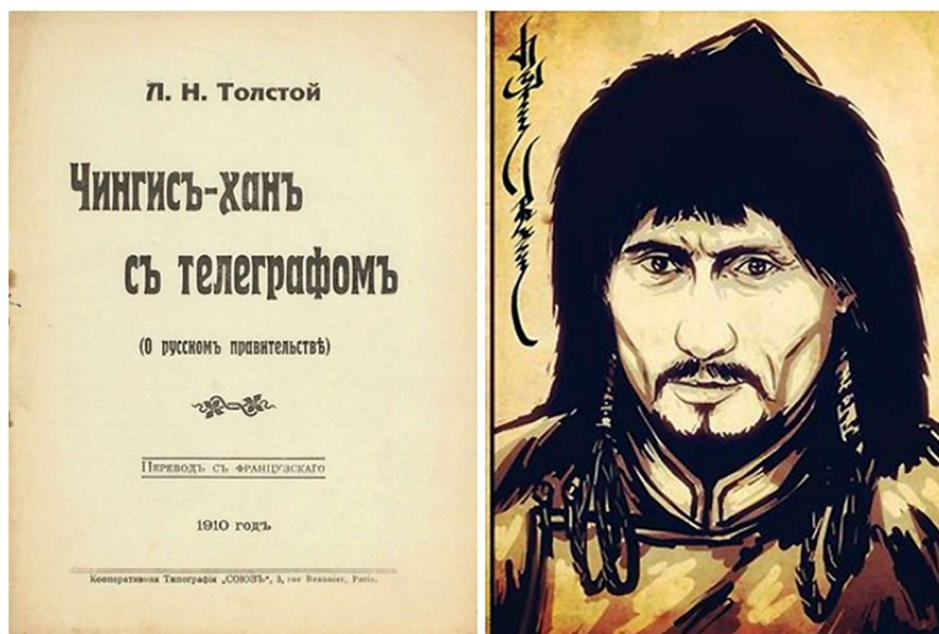
[...] И вот после 18 веков пророчество совершилось. Не следуя учению Христа вообще и проявлению его в общественной жизни непротивлением злу, люди невольно пришли к тому положению неизбежности гибели, которое обещано Христом тем, которые не последуют его учению» (28, 146 – 147).

Люди с древности, многие века принимали христианство лишь номинально, не слушаясь Христа, в частности и главное: «продолжали для себя держаться правила противления насилием тому, что ими

считалось злом» (Там же. С. 149). При этом для простецов, для властной и иных элит общества и для «людей, облечённых святостью», то, что следует полагать добром и то, что злом, против которого первые и вторые соблазнялись употреблять насилие, было не одно и то же. И до сего дня «нет и не может быть такого внешнего авторитета определения зла, который признавался бы всеми» (Там же. С. 150).

И вот, на пути к военному, солдатскому рабству, «дошло до того, что люди, имеющие власть, перестали уже доказывать то, что они считают злом, есть зло, но прямо стали говорить, что они считают злом то, что им не нравится, а люди, повинующиеся власти, стали повиноваться ей не потому уже, что верят, что определения зла, даваемые этой властью, справедливы, а только потому, что они не могут не повиноваться» (Там же).

Для точного и яркого описания существующего устройства жизни, в котором «насилие держится теперь уже не тем, что оно считается нужным, а только тем, что оно давно существует и так организовано людьми, которым оно выгодно, т. е. правительствами и правящими классами, что людям, которые находятся под их властью, нельзя вырваться из-под неё», Толстой прибегает к заимствованной у Александра Ивановича Герцена метафоре «Чингис-Хана с телеграфом»:



«Правительства в наше время — все правительства, самые деспотические так же, как и либеральные, — сделались тем, что так метко называл Герцен Чингис-ханом с телеграфами, т. е. организациями насилия, не имеющими в своей основе ничего, кроме самого грубого

произвола, и вместе с тем пользующимися всеми теми средствами, которые выработала наука для совокупной общественной мирной деятельности свободных и равноправных людей и которые они употребляют для порабощения и угнетения людей» (*Там же. С. 152*).

В Заключении трактата, рассказывая об одном из случаев сопротивления крестьян имперской «власти» (в случае, когда помещик залил крестьянские луга, подняв воду на своей плотине), когда аресты производились по крестьянским дворам «с свойственным русской власти неуважением к людям», и народ смог (как не умеют современные пригламуренные хомячки в российских городах) отбиться от уездного исправника и его «шестёрок» (аналог теперешних жирных, словно созданных на заклятие вилами, путинских «приставов»):

«Явилось новое страшное преступление: сопротивление власти, и об этом новом преступлении донесено в город. И вот губернатор, [...] с батальоном солдат с ружьями и розгами, пользуясь и телеграфами, и телефонами, и железными дорогами, на экстренном поезде, с учёным доктором, который должен был следить за гигиеничностью сечения, олицетворяя вполне предсказанного Герценом Чингис-хана с телеграфами, приехал на место действия». Крестьян подвергли унижительной порке, тем самым «закрепив уже навсегда решение власти» (*Там же. С. 222 – 223, 225*).

Отношения писателей были давнишние, хотя, по преимуществу, опосредованы расстояниями. Ещё до встречи и личного общения в 1861 году Толстому и Герцену было известно друг о друге: во второй книжке «Полярной звезды» (1856) Александр Иванович отмечал «пластическую искренность» повести Толстого «Детство», а в переписке этих лет неоднократно писал о Толстом как о новом «очень талантливом авторе». И именно Герцен в третьей книжке «Полярной звезды» на 1857 г. напечатал задорную сатирическую песенку времён Крымской кампании «Как четвёртого числа...», автором которой, как мы помним, был Толстой. Севастопольские рассказы Толстого в 1858 г. Герцен рекомендовал Мальвиде фон Мейзенбург (1816 – 1903), немецкой писательнице и домашнему учителю его дочери Ольги, для перевода на немецкий язык.

Знакомство Толстого с Герценом-писателем, с запретными лондонскими изданиями по-настоящему произошло после его возвращения из Севастополя. 4 ноября 1856 г. Толстой в дневнике отметил интересное содержание прочитанной им второй книжки «Полярной

звезды» включавшей в себя отрывки из «Былого и дум» Герцена. Во время первого заграничного путешествия в 1857 г. Толстой собирался побывать в Англии и повидаться с Герценом, но свидание состоялось лишь в позднейшую заграничную поездку Толстого, 4 марта 1861 г. в Лондоне, в доме Герцена. Толстой вспоминал о собеседнике как о «живом, отзывчивом, умном, интересном» собеседнике, сочетавшем в себе «глубину и блеск мыслей» (*Сергеенко П. Толстой и его современники. М., 1911. С. 13*). С 4 по 16 марта 1861 г., встречаясь почти ежедневно, Толстой и Герцен говорили о России и Западе, об освобождении крестьян и о путях этого процесса. Эпистолярный, последовавший за личными встречами, диалог писателей утрачен для нас: от него сохранились письма только Льва Николаевича.

Вернувшись в Россию, на протяжении почти 20 лет публично Толстой практически никак не проявлял себя по отношению к Герцену. Более того, внешне могло показаться, что Герцен становится ему чуждым и далёким, с его социальной пропагандой на страницах изданий Вольной русской типографии. Двоюродной тётке своей, Александре Андреевне Толстой 7 августа 1862 г. писал: «К Герцену я не поеду. Герцен сам по себе, я сам по себе» (60, 436). Между прочим, это было время, когда Толстой, оскорблённый обысками, по доносу, в Ясной Поляне, предполагал, по его выражению в том же письме тётке и по примеру Герцена — «экспатриироваться» из России: «Я и прятаться не стану, я громко объявлю, что продаю именья, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой вперёд, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут, — я уеду» (*Там же*). К восторгу патриотов нескольких поколений и к сожалению людей добрых и разумных, мыслящих независимо, то есть, абсолютного, во все времена, меньшинства в России — Толстой не исполнил этого своего намерения.

Наметившийся в 1861 г. диалог между писателями несомненно сказался в художественном творчестве Толстого и в его социально-нравственных исканиях. Мучительные поиски путей решения злободневных проблем российской жизни, дружеские связи с почитателями «лондонского изгнанника» — Н. Н. Страховым, Н. Н. Ге, В. Г. Чертковым, В. В. Стасовым — способствовали возрождению интереса Толстого к наследию Герцена, к его идеям. Последние 30 лет жизни Толстого отмечены повышенным вниманием к сочинениям

Герцена. Многочисленные упоминания о Герцене встречаются на страницах его дневников, в письмах, частных беседах.

Уже в конце 1880-х Толстой перечитывал книгу А. И. Герцена «С того берега». По прочтении он пишет своеобразное письмо-исповедь близкому другу, Владимиру Григорьевичу Черткову, в котором впервые высказал мысль о пагубности для России запрета сочинений Герцена, который последовательно отстаивал преимущества мирных преобразований по сравнению с революционным исходом: «Читаю Герцена и очень восхищаюсь и соболезнаю тому, что его сочинения запрещены: во-первых, это писатель, как писатель художественный если не выше, то уж наверно равный нашим первым писателям, а во-вторых, если бы он вошёл в духовную плоть и кровь молодых поколений с 50-х годов, то у нас было бы революционных нигилистов, [...] не было бы динамита, и убийств, и виселиц, и всех расходов, усилий тайной полиции, и всего того ужаса правительства и консерваторов, и всего того зла. Очень поучительно читать его теперь. И хороший искренний человек» (86, 121 – 122). Это письмо – первое обстоятельное суждение Толстого о Герцене как писателе, как значительном явлении русской общественной мысли, политическом деятеле. Упомянутый выше П. А. Сергеенко передаёт следующие слова Толстого, относящиеся к концу марта 1893 года:

«Ведь если бы выразить значение русских писателей процентно, в цифрах, то Пушкину надо бы отвести 30 %, Гоголю — 20 %, Тургеневу — 10 %, Григоровичу и всем остальным — около 20 %. Всё же остальное принадлежит Герцену. Он изумительный писатель. Он глубок, блестящ и пронизателен. И будь он доступен русской молодёжи, не было бы первого марта» (Лакшин В. *Интервью и беседы с Львом Толстым*. М., 1987. С. 336).

Теперь уже Толстой в своих сочинениях и письмах охотно цитирует то или другое место или отдельное выражение Герцена. Так, в своём Дневнике под 11 июля 1890 г. он записывает: «Мы переживаем то ужасное время, о котором говорил Герцен. Чингис-хан уже не с телеграфами, а с телефонами и бездымным порохом. Конституция, известные формы свободы печати, собраний, исповеданий, всё это тормоза на увеличение власти вследствие телефонов и т. п. Без этого происходит нечто ужасное и то, что есть только в России. Без этого происходит нечто ужасное и то, что есть только в России» (51, 61 – 62). Это суждение ощутимо не утратило своей актуальности и для современной нам путинской, варварской и фашиствующей, России.

А в письме Л. Н. Толстого к другу молодости Борису Николаевичу Чичерину (1828 – 1904) от 31 июля того же года находим такое суждение:

«Недаром Герцен говорил о том, как ужасен бы был Чингис-Хан с телеграфами, с железными дорогами, журналистикой. У нас это самое совершилось теперь» (65, 133).

Толстой здесь имеет в виду статью Герцена «Письмо к императору Александру II» (По поводу книги барона Корфа), напечатанную в «Колоколе» 1857 г., с таким известным суждением о судьбах России: «Распущенную, рыхлую Русь Пётр I суровой рукой стянул в сильное европейское государство; косневшему в своём отчуждении народу он привил брожение западной гражданственности.

[...] Общество, развившееся на европейских основаниях, должно было сделать своё, иначе дело Петра I было бы вполовину успешно и привело бы к страшной нелепости.

Каждая степень образования, развития, даже силы государственной, требует соответственный себе цикл государственных учреждений. С каждым шагом вперёд ему нужно больше простора, больше воли, больше определённости в своих отношениях к власти; слонем, больше независимой, самобытной и разумной жизни. Или государство её достигает [...], тогда оно идёт далее в истории; или — нет, и тогда оно останавливается, разлагивается, распадается и обмирает таким образом до какого-нибудь решительного события (например, Крымской войны), которое снова раскрывает ему путь развития или окончательно убивает его как деятельное, развивающееся государство. Вступив в западное образование, Россия должна была идти тем же путём. Если б у нас весь прогресс совершался *только* в правительстве, мы дали бы миру ещё небывалый пример самовластья, вооружённого всем, что выработала свобода, рабства и насилия, поддерживаемого всем, что нашла наука. Это было бы нечто вроде Чингис-Хана с телеграфами, пароходами, железными дорогами, с Карно и Монжем в штабе, с ружьями Минье и с конгревовыми ракетами, под начальством Батыя» (Герцен А. И. *Собрание сочинений: В 30 т. Том. 13. М., 1958. С. 37 – 38*).

С. А. Толстой вспоминает: «Отец разделял с Герценом его ненависть к Николаю I и крепостному праву. Он нередко повторял следующее мнение Герцена о Николае I, применяя его вообще к деспотическому правительству: Чингис-Хан был, конечно, очень страшен, и бороться

с ним было трудно. Но ещё страшнее Чингис-Хан, когда к его услугам находятся пушки, железные дороги, телеграфы и вообще все приобретения современной техники. С таким Чингис-Ханом почти невозможно бороться» (Толстой С.А. *Очерки былого. Тула, 1965. С. 118*).

Высказанные Толстым мысли станут основой его отношения к Герцену, которое он сохранит до конца жизни. О том же 13 февраля 1888 г. Толстой писал художнику Ге, ещё раз подчёркивая, что запрещением сочинений Герцена «из организма русского общества вынут насильственно очень важный орган» (64, 150).

Перечтя «С того берега» в 1905 году, Толстой оставил в Дневнике на 12 октября восхищённый отзыв об авторе: «Наша интеллигенция так опустила, что уже не в силах понять его. Он уже ожидает своих читателей впереди. И далеко над головами теперешней толпы передаёт свои мысли тем, которые будут в состоянии понять их» (55, 165).

Наконец, в начале 1910 г. к Толстому обратился в письме Кельсий Порфирьевич Славнин, редактор ежедневной газеты «Новая Русь», издававшейся в Петербурге. Кельсий Порфирьевич сообщал, что его привлекают по 73 ст. Уголовного уложения за опубликование в газете в № 20 от 21 января из книги «На каждый день» мыслей Толстого «об обучении под названием закона Бога самым явным бессмыслицам». Славнин просил Толстого разъяснить ему, «имеется ли наличность преступления» в этих словах.

В ответе Кельсию Порфирьевичу от 27 февраля 1910 г. Толстой высказался довольно эмоционально:

«Извините, если, может быть, неточно отвечаю на ваш вопрос, но не затихающее негодование и ужас перед деятельностью царствующего в наше время Чингис-Хана с телефонами и аэропланами, облакающего свои злодеяния в форму законности, негодование это при всяком таком случае, как ваш, просится наружу» (81, 117).

По существу же поставленного вопроса Толстой ответил К. П. Славнину таким образом:

«Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, мне нужно знать, что вы понимаете под словом “преступление”. Если вы понимаете то, что признаётся таковым нашим правительством, то я не знаю и не хочу знать той глупой, грязной и преступной чепухи, которая называется этим правительством законами и неподчинение которой называется преступлением. Если же вы спрашиваете, заключается ли перед со-

вестью и здравым смыслом всех мыслящих людей “наличность преступления” в напечатанных вами моих словах, определяющих сущность деятельности всех церковных богословов, не только русских, но и всемирных, то отвечаю, что преступление совершено не мною и не вами, а готовится к совершению всей той продажной ордой чиновников, которые из-за получаемого ими жалования готовы не только вас посадить в тюрьму вместе с тысячами томящихся там людей, но всегда готовы мучить, убивать, вешать кого попало, только бы получать аккуратно своё награбленное с народа месячное жалованье» (*Там же. С. 116 – 117*).

Ознакомившись с таким ответом Льва Николаевича, Кельсий Порфирьевич смекнул, что из Россиюшки надо сваливать — и не прогадал, успев благоразумно эвакуировался за границу. Заочно суд приговорил его к полутора годам тюремного заключения. В мае 1910 г. осиротевшая редакция «Новой Руси» была разгромлена полицией, а сама газета закрыта.

Самый, пожалуй, выдающийся образец использования Л. Н. Толстым герценовой метафоры — статья «Пора понять», написанная в сентябре — начале октября 1909 г. в Крёкшино и имевшая в ходе написания “рабочее” название — «Чингиз-Хан с телеграфами». А в тексте статьи, спустя почти 20 лет, Толстой повторит мысли, близкие слову и духу книги его начала 1890-х, «Царству Божию внутри вас»: «...Правительство, не встречая более препятствий, с полной бесцеремонностью и наглостью давит, душит, убивает, запирает, ссылает всех, дерзающих не то что противиться, но поднимать против него протестующий голос; с другой же стороны, особенно живо чувствуют русские люди жестокость, грубость и безудержный деспотизм правительства ещё и потому, что в последнее время, поняв возможность более свободной, чем прежняя, жизни, русские люди сознали, хотя отчасти, себя разумными существами, имеющими право руководиться, каждое, в своей жизни своим разумом и совестью, а не волею случайно попавшего на место властвующего того или другого неизвестного ему человека. Насколько становилась жесточе, грубее и бесконтрольнее власть правительства, настолько усиливалось и уяснялось в народе сознание безумия, невозможности продолжения такого состояния. И оба явления: и безудержный деспотизм власти, и сознание незаконности этой власти, усиливаясь с каждым днём и часом, дошли в последнее время до высшей степени. Но несмотря на ясность сознания большинством народа ненужности и

зловредности правительства, народ не может освободиться от него силою вследствие тех практических приспособлений: железных дорог, телеграфов, скоропечатных машин и др., владея которыми правительство может всегда подавлять всякие попытки освобождения, делаемые народом. Так что в настоящее время русское правительство находится вполне в том положении, о котором с ужасом говорил Герцен. Оно теперь тот самый Чингис Хан с телеграфами, возможность которого так ужасала его. И Чингис Хан не только с телеграфами, но с конституцией, с двумя палатами, прессой, политическими партиями *et tout le tremblement* [фр. и со всем шумом].

— “Деспотизм! Помилуйте, какой же деспотизм, когда у нас две палаты, блоки, партии, фракции, запросы, президиум, премьер, кулуары, — всё, как должно. Какой же деспотизм, когда есть и Хомяков и Маклаков, и ответственный министр. Есть свод законов, и суды и гражданские, и уголовные, и военные, есть цензура, есть церковь, митрополиты, архиереи, есть академии, университеты. Какой же деспотизм?”

То, что всё это есть только подобие того подобия, которым в Европе обманывают людей и в России уже никого — кроме участников — не обманывает в настоящую минуту, не важно для Чингис Хана, так как у него есть другие средства. И он продолжает спокойно делать своё дело, надеясь, что, как это произошло и происходит во всех, так называемых, христианских странах, народ привыкнет, сам втянется и запутается в эти дела, и Чингис Хан останется Чингис Ханом — только не с ордой диких убийц, а с благовоспитанными, учтивыми, чистоплотными убийцами, которые так сумеют устроить разделение труда, что грабёж и убийство людей будет одно удовольствие и доступно самому утончённо чувствительному человеку» (38, 161 – 162).

Далее в Восьмой главе Толстой подробно описывает приёмы, которыми Чингис-Хан вербует себе рабов и прихвостней и делает общее заключение:

«Устрашение, подкуп, гипнотизация приводят людей к тому, что они идут в солдаты; солдаты же дают власть и возможность и казнить людей, и обирать их (подкупая на эти деньги чиновников), и гипнотизировать, и вербовать их в те самые солдаты, которые дают власть делать всё это.

Круг замкнут, и вырваться из него *силой* нет никакой возможности» (28, 155).

Лев Николаевич в одном из тяжелейших, с кровью сердца выстрадавших своих сочинений предлагает выход религиозный, ненасильственный, христианский — и человечество, в массе своей, включая злосчастную отчизну яснополянца и весь поганый «русский мир», проходит мимо этого ответа, находя слово к современникам и потомкам Толстого-христианина то сугубо «антимилитаристским», антивоенным сочинением, а то и просто «утопией»!

Помимо отсылок к текстам евангелий, традиционно приумножающихся к завершению религиозного сочинения, следующая, **Девятая глава** живого Слова отче Льва значительна появлением метафорического образа весны, который впоследствии будет повторяться, с теми же христианскими смыслами, в разных текстах Толстого знаменитейший из которых — начало романа «Воскресение». Как и свой роман через несколько лет, Толстой начинает главу именно с этой пасхальной, дарующей радость и надежду, метафоры:

«Положение народов христианских в наше время осталось столь же жестоким, каким оно было во времена язычества. Во многих отношениях, в особенности в порабощении людей, оно стало даже более жестоким, чем было во времена язычества.

Но между положением людей в то время и в наше время та же разница, какая бывает для растений между последними днями осени и первыми днями весны. Там, в осенней природе, внешняя безжизненность соответствует внутреннему состоянию замирания; здесь же, весной, внешняя безжизненность находится в самом резком противоречии с состоянием внутреннего оживления и перехода к новой форме жизни» (28, 166).

В основном глава Девятая сочинения логически продолжает то, чем оканчивается Восьмая: осуществилось пророчество Христа над выслушавшими, но не воспринявшими учения: «внешнее состояние жестокости и рабства находится в полном противоречии с христианским сознанием людей, и каждый шаг вперёд только увеличивает это противоречие» (28, 166).

В предыдущих главах Львом Николаевичем раскрыта коренная, религиозная причина общественных бедствий, включая войны. Показано, что давно уже есть выход, и что он — в принятии современными людьми, как важнейшего руководства в жизни, выраженного в лучшем, полнейшем виде в учении Христа актуального, соединяю-

щего в истине и любви («всемирного», «божеского»), религиозного понимания жизни. Показано, как владыки мира обманом, подкупом либо устрашением отманивают свои жертвы от этого пути, а попавших в солдатчину подвергают ещё особенному средству дисциплины, муштры. Логично в связи с этим указать на пути, которым общество «снизу», в лице уже пробудившихся к христианскому жизнепониманию людей, может противостоять архаике сознания, прикрывающей и оправдывающей для правительств их халтурное неумение прожить без драк, не втягивая в них и своих граждан.

И это способ, сперва поразивший Льва Николаевича на примере Залюбовского, Любича, Дрожжина и сектантских, по вере, отказников от военной службы. Этому способу освобождения посвящены заключительные главы замечательного *живого слова* Льва Николаевича Толстого, книги «Царство Божие внутри вас». Они писаны *сердцем*, и их бессмысленно, даже сколько-нибудь подробно, цитировать, а тем более пересказывать. Но к ним, как к источнику воды живой, и в наши дни следует припадать тем, кто ни в мирное, ни в военное время не желает связывать себя с рабьей сворой правительственных или околоправительственных (наёмники) вооружённых убийц: не только учиться убийству, но и, скажем, в современной путинской России подвергать своё сознание загрязнению популярными идеологемами, так или иначе оправдывающими вооружённое «добро с кулаками».

Стоит заметить, что Толстой ставит вопрос шире, напоминая, что идеалом последователей Христа должна бы быть совершенная независимость от насильнического общественного строя жизни, от государства, то есть Церковь на уровне незримом, сакральном, духовном, а на уровне материально-хозяйственном — общинное самоуправление.

В окончательной редакции Толстой не озаглавливал главы трактата, но в опубликованных в Полном собрании сочинений черновиках, помимо конспективного изложения содержания, стоит и желавшееся Толстым, не использованное в окончательной редакции, заглавие Главы Девятой: «Принятие христианского жизнепонимания освобождает людей от бедственности нашей языческой жизни». Вчитаемся для начала в этот черновой авторский конспект содержания Главы:

«Внешняя жизнь христианских народов остаётся языческой, но они уже проникнуты христианским сознанием. Выход из этого противоречия в принятии христианского жизнепонимания. В нём только каждый человек свободен, и оно только освобождает его от всякой человеческой власти.

Освобождение это совершается не изменением внешних условий, а только изменением понимания своей жизни. Христианское жизнепонимание требует отречения от насилия и, освобождая человека, принявшего его, освобождает и мир от всякой внешней власти. Выход из теперешнего, кажущегося безвыходным, положения в том, чтобы каждый человек, способный усвоить христианское жизнепонимание, принял его и жил сообразно с ним.

Но люди считают этот путь слишком медленным и видят спасение во внешних изменениях жизни при участии государственной власти. Это ни к чему не приведёт, потому что люди сами производят то зло, от которого страдают. Это особенно очевидно на покорном исполнении воинской повинности, от которой выгоднее всякому отказаться, чем покориться.

Освобождение людей произойдёт только через освобождение себя каждым отдельным человеком, и проявляющиеся уже случаи такого освобождения угрожают разрушением государственного устройства. Отречение людей от нехристианских требований правительств подрывает власть правительств и освобождает людей. И потому случаи такого отречения страшнее для государственной власти, чем всякие заговоры и насилия.

Отказы в России от присяги, уплаты податей, от паспортов, от полицейских должностей, от участия в суде, от воинской повинности. Подробности одного из отказов от воинской повинности. Случаи таких отказов в других государствах.

Правительства не знают, что делать с людьми, отказывающимися на основании христианского учения от их требований, обличающими их и обходящимися без них. Люди эти, не борясь, изнутри разрушают основы правительств. Наказывать таких людей значит самим отречься от христианства и способствовать распространению того самого сознания, во имя которого совершаются эти отказы. Поэтому положение правительств отчаянное, и люди, проповедующие бесполезность личного освобождения, только задерживают разрушение существующего насильнического государственного устройства» (28, 299 – 300).

Таких людей, в повседневной жизни стремящихся «придумывать общие средства улучшения своего положения, которые будут приложены властью, самим же продолжать подчиняться власти», исполнять требования правительства: уплаты пошлин, налогов, участия в присяжных судилищах, и особенно — участия в войске, Лев Николаевич, продолжая в Девятой главе тему «добровольного рабства», уподобляет людям, соглашающимся высечь товарищей и даже самих себя:

«Мне рассказывали случай, происшедший с храбрым становым, который, приехав в деревню, где бунтовали крестьяне и куда были вызваны войска, взялся усмирить бунт в духе Николая I, один, своим личным влиянием. Он велел привезти несколько возов розог и, собрав всех мужиков в ригу, с ними вместе вошёл туда, заперся и так напугал сначала мужиков своим криком, что они, повинувшись ему, стали по его приказанию сечь друг друга. И так они секли друг друга до тех пор, пока не нашёлся один дурачок, который не дался сам и закричал товарищам, чтобы они не секли друг друга. Только тогда прекратилось сечение, и становой убежал из риги. Вот этому-то совету дурачка никак не могут последовать общественные люди, которые, не переставая, секут сами себя и этому самосечению учат людей как последнему слову мудрости человеческой» (*Там же. С. 171 – 172*).

Конечно же, здесь у Толстого прямая и, быть может, намеренная отсылка к его же, наверняка вспомненной им, пища эти строки, антивоенной «Сказке об Иване-дураке», где жители Иванова царства признают не нужными для себя ни деньги, ни правительство, ни войско и побеждают желающих воевать с ними, враждующих похристиански: ответными на вражду и угрозы «дурацким» любовным доверием и ненасилием.

Писатель убеждён в том, что «если говорится о даровании или отнятии свободы от христиан, то, очевидно, говорится не о действительных христианах, а о людях, только называющих себя христианами. Христианин не может не быть свободен потому, что достижение поставленной им для себя цели никем и ничем не может быть воспрепятствовано или хотя бы задержано.

Стоит человеку понять свою жизнь так, как учит понимать её христианство, т. е. понять то, что жизнь его принадлежит не ему, его личности, не семье или государству, а Тому, Кто послал его в жизнь,

понять то, что исполнять он должен поэтому не закон своей личности, семьи или государства, а ничем не ограниченный закон того, от кого он исшёл, чтобы не только почувствовать себя совершенно свободным от всякой человеческой власти, но даже перестать видеть эту власть, как нечто могущее стеснять кого-либо.

Стоит человеку понять, что цель его жизни есть исполнение закона Бога, для того чтоб этот закон, заменив для него все другие законы и подчинив его себе, этим самым подчинением лишил бы в его глазах все человеческие законы их обязательности и стеснительности.

[...] Христианин ни с кем не спорит, ни на кого не нападает, ни против кого не употребляет насилия; напротив того, сам беспрекословно переносит насилие; но этим самым отношением к насилию не только сам освобождается, но и освобождает мир от всякой внешней власти» (28, 166 – 167, 169).

С теоретической “подводкой” здесь всё понятно. Значительно интереснее для нас “иллюстративный материал”, на котором Толстой демонстрирует осуществимость своих умопостроений и действительное духовное благо отказов — конечно же, для людей, подготовивших сознание, принявших веру Христа. Но здесь Толстой дважды осторожен: во-первых, тем, что не называет имён отказников в России, многим из которых помогал лично, а во-вторых тем, что подробно описывает множество возможных для отказника страданий, тем самым давая понять читателю всю сложность и ответственность такого шага (см.: 28, 178 – 181). Перечисляет автор и известные ему случаи отказов от службы за рубежом — тоже сопровождаемые репрессиями, хотя, во многих случаях, не такими ожесточёнными, как в России:

«...В Сербии люди из так называемой секты назаренов постоянно отказываются от военной службы и австрийское правительство уже несколько лет тщетно борется с ними, подвергая их тюремному заключению. В 1885 году отказов таких было 130. В Швейцарии, я знаю, что в 1890-х годах в Шильонском замке сидели люди за отказ от исполнения воинской повинности, не изменившие вследствие наказания своего решения. Такие же отказы были в Швеции, и точно так же отказывающиеся были заключены в тюрьмы, и правительство старательно скрывало эти случаи от народа. Были такие отказы и в Пруссии. Я знаю про унтер-офицера гвардии, который в 1891 году в Берлине объявил начальству, что он, как христианин, не будет продолжать службу и, несмотря на все увещания, угрозы и

наказания, остался при своём решении. Во Франции, на юге её, возникла в последнее время община людей, носящих название гинчистов, Hinschist (сведения эти взяты из "Peace Herold", 1891 г., июль), члены которой отказываются на основании христианского исповедания от исполнения воинской повинности и сначала зачислялись в госпитали, но теперь, по мере увеличения их, подвергаются наказаниям за неповиновение, но всё-таки не берут в руки оружия» (Там же. С. 181 – 182).

При современных средствах коммуникации, огласке каждого случая *христианского* отказа, апелляциях к общественному мнению — халтурным правительствам в конце концов придётся учиться решать свои раздоры без войны, да и вовсе оставить жизнь соединённых между собой духовным и общинным союзом христиан в покое. На таких людей не может действовать тот самый арсенал приёмов порабощения, о которых говорит Лев Николаевич в трактате выше:

«...Что делать с людьми, которые не проповедуют ни революции, ни каких-либо особенных религиозных догматов, а только потому, что они не желают делать никому зла, отказываются от присяги, уплаты податей, участия в суде, от военной службы, от таких обязанностей, на которых зиждется всё устройство государства? Что делать с такими людьми? Подкупить их нельзя: уже самый тот риск, на который они добровольно идут, показывает их бескорыстие. Обмануть тем, что этого требует Бог, тоже нельзя, потому что их отказ основан на ясном, несомненном законе Бога, исповедуемом и теми, которые хотят заставить людей действовать противно ему. Запугать угрозами ещё менее можно, потому что лишения и страдания, которым они будут подвергнуты за их исповедание, только усиливают их желание исповедания и в их законе прямо сказано, что надо повиноваться Богу более, чем людям, и не надо бояться тех, которые могут погубить тело, а того, что может погубить и тело и душу. Казнить или навечно запереть их тоже нельзя. У людей этих есть прошедшее, друзья, образ мыслей и действий их известен, все их знают за кротких, добрых, смиренных людей, и невозможно выставить их злодеями, которые должны быть устранены для спасения общества. А казнь людей, признаваемых всеми добрыми, вызовет защитников, разъяснителей отказа. А стоит только разъясниться причинам отказа, для того чтобы всем стало ясно, что те причины, по которым эти

христиане отказываются от исполнения государственных требований, таковы же для всех других людей и что всем уже надо бы делать то же.

[...] Положение правительств подобно положению завоевателя, который желает сохранить город, поджигаемый самими жителями. Только что он затушит пожар в одном месте, загорается в двух других; только что он уступает огню, отломает то, что загорелось, от большого здания, — загорается с двух концов и это здание. Загорания эти ещё редки, но загораются они огнём, который, начавшись с искры, не остановится до тех пор, пока не сожжёт всего.

[...] "Огонь принёс я на землю, — сказал Христос, — и как томлюсь, когда он возгорится".

И огонь этот начинает возгораться» (*Там же. С. 183 – 186*).

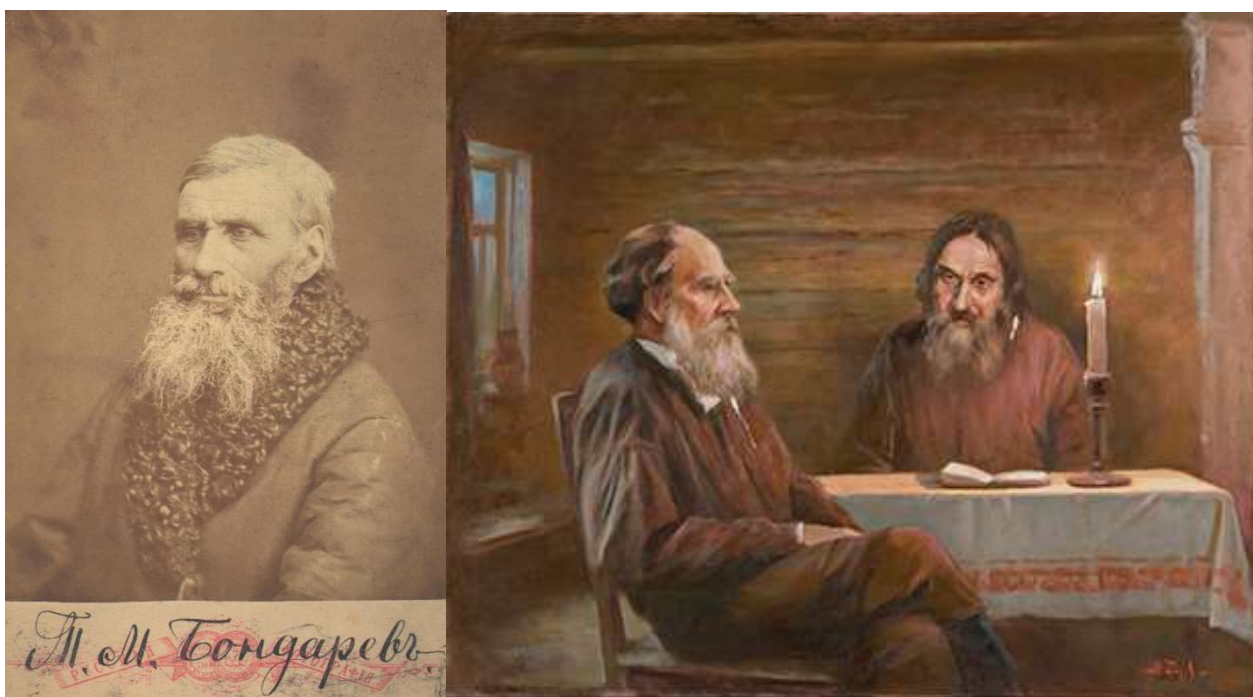
Десятая глава слова Льва Николаевича Толстого к современникам и потомкам «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание» заостряет внимание на охристианивающимся от поколения к поколению, по мере просвещения, общественном мнении людей, как орудии противостояния, в числе других общественных зол, и милитаризму. Она имеет в черновике Толстого такое заглавие: «Бесполезность государственного насилия для уничтожения зла. Нравственное движение человечества совершается не только через познание истины, но и через установление общественного мнения» (28, 300). На этот процесс положительно влияет опыт участия народов во власти, обличающий достаточность для руководства многими разумных действий и слов и ненужность, вред насилия. Насильническая же власть — по существу, власть всегда «наиболее злых» «над более добрыми» (*Там же. С. 301*). При торжестве христианского религиозного жизнепонимания она исторически обречена, потому что «люди, насилием достигая власти и познавая тщету её и плодов её, становятся более добрыми и неспособными употреблять насилие. Через этот процесс проходят отдельные люди и целые народы. Этим путём христианство проникает в сознание людей и не только несмотря на употребляемое властью насилие, но посредством него» (*Там же*). Великий яснополянец верит, что, по доверию к общественным авторитетам, вслед им может скоро и массово прийти к живой (руководящей помыслами и поступками) вере Христа и основная масса людей, и «отречение от насилия всех людей может совершиться очень скоро,

именно тогда, когда установится христианское общественное мнение» (*Там же*). Можно и нужно верить в этот прогресс нравственный, и не грех служить ему — побеждая насилие, не исключая, разумеется, самых злостных, организованных его форм, каковы войско и военщина, и оправдывающую его ложь, как военный патриотизм, идеи «нации», «гражданства» и подобные им, чуждые настоящему, чистому учению Христа. Это важно потому, что одно помогает другому: христианское жизнепонимание уничтожит правительства и армии, но, пока оно не окрепло, не восторжествовало — ему вредит распространяемое в обществах людей, паразитирующее на их атавистических, как общественных животных, слабостях и страхах, суеверие оправданного насилия, «добра с кулаками»:

«Признание необходимости насилия, мешает установлению христианского общественного мнения и извращает его. Насилие заставляет людей не верить той духовной силе, которая одна движет людьми. [...] Насилие, извращая общественное мнение, только мешает общественному устройству быть тем, чем оно должно быть, и при устранении насилия христианское общественное мнение получит распространение. Что бы ни было при устранении насилия, это неизвестное будущее не может быть хуже теперешнего положения, и потому бояться его нечего. Познание неизвестного и движение в него есть сущность жизни» (*Там же. С. 301 – 302*).

Кстати. Вот почему необходимость признания закона непротивления — не выдумка Л. Н. Толстого, а необходимость для человечества XIX – XXI веков. Точно так же, как отречение от денежной системы как средства манипулирования людей людьми, принуждения, и как физический труд, в котором упражнял себя Толстой с начала 1880-х — начиная с «религии горшка», то есть самообслуживания без эксплуатации слуг, и кончая верой в гармоничную с природой, аграрную волю охристианившихся народов в будущем. Вопреки позднейшим крайностям духовного монизма, Толстой 1880 – 1890-х годов признавал, что тело может быть наставником души, и забранные телесной жизнью себе права (в т. ч. пресловутая «самооборона») вкупе с переваленными на других обязанностями, а в особенности *системная ложь*, оправдывающая такой образ жизни — душе могут сильно повредить. За горизонтом нашего исследования, ограниченного тематикой именно антивоенных писаний Льва Николаевича, осталась его педагогическая и просветительская деятельность, книгоизда-

тельство «Посредник», в изданиях которого Толстой в 1880-е знакомил и народные массы, и «интеллигентного читателя» с мудростью народных притч, сказок и легенд, с концепциями нравственных «хлебного труда», семейной и всей жизни самобытных мыслителей из народа, с которыми Толстой познакомился лично — Василия Кирилловича Сютаева (1824 – 1892) и Тимофея Михайловича Бондарева (1820 – 1898). И анонимная «народная», и «авторская», писателей из народа, мудрость всё сводила к той же «религии горшка» и тем же метафорам *первой пчелы* или *первой ласточки*, которые были близки автору «Царства Божия». Не следует дожидать других: христианин сам живёт, перед Отцом, Богом, как может ближе к познанному им идеалу. Не ищет, к кому примкнуть, а сам, словом и примером, научает других.



1. Тимофей Бондарев. Фото 1880-х (?) гг.

2. Л.Н. Толстой у В.К. Сютаева. Худ. Н.Н. Чувахин, 2020.

(Художник сохранил портретное сходство с известными изображениями В. Сютаева)

Конечно, столь яркая убеждённость Льва Николаевича Толстого в скором торжестве в мире Истины актуального, спасительного религиозного непонимания Христа и настоящих его учеников, не могло не “заразить” верой и читателей, вызвав массовые отказы от солдатчины и других форм сотрудничества с разбойничьим гнездом государства.

Наконец, в **Главе Одиннадцатой**, завершающей основную часть трактата, Толстой иллюстрирует работу охристианенного общественного мнения в мире и в России. Черновой заголовок главы: «Христианское общественное мнение уже зародилось в нашем обществе и неизбежно разрушит насильническое устройство нашей жизни. Когда это будет» (28, 302).

Когда же это будет? Быть может, и никогда, если прогресс знаний и техники так вооружит современных наших, XXI столетия, «чингисханов с интернетами», что сама возможность людям соединиться в Истине спасительного, актуального религиозного понимания жизни и в христианском общественном мнении будет уничтожена. Но из своей эпохи пара и электричества Лев Николаевич выражает уверенность, что для нашего, пока лжехристианского, мира ещё не всё потеряно. Он видит для такого заключения множество благих свидетельств. Например:

«Военные люди высших чинов, вместо того чтобы поощрять грубость и жестокость воинов, необходимые для их дела, сами распространяют между военным сословием образование, проповедуют гуманность и часто сами даже разделяют социалистические убеждения масс и отрицают войну. В последних заговорах против русского правительства многие из замешанных были военные. И таких военных заговорщиков становится всё больше и больше. И очень часто случается, как это было на днях, что призванные для усмирения жителей военные отказываются стрелять по ним. *Военное молодецтво* прямо осуждается самими военными и часто служит предметом насмешек» (28, 212 – 213; *Курсив наш. – Р. А.*)

И Толстой приводит ещё множество примеров того, как охристианение общественного мнения проникает в сознание элит лжехристианских обществ. Логично можно сомневаться в совершенной победе христианского жизнепонимания уже потому, что, во-первых, волчьи места «охристианившихся» занимают по сей день другие: в России в только что отошедшем 2022 году не было отбоя от желающих поехать по контракту убивать для Путина стариков и детей в Украине. Не иссякает поток желающих и на самые подлые должности: полицейев, судей, приставов, сборщиков налогов и пошлин...

Но именно процитированный выше отрывок, для нашей темы, показателен тем, как изменилось отношение Толстого-христианина к военным *молодцам* и *молодечеству* как таковым. Об окказиональ-

ной семантике этих лексем в художественном творчестве Л. Н. Толстого есть хорошая статья Донны Орвин (Donna Tussing Orwin, Toronto; b. 1947), в которой исследуются те психологические и культурные причины, которые побуждают солдат к участию в войне (*Орвин, Донна. Лев Толстой — пацифист, патриот и молодец // Лев Толстой и мировая литература: Материалы VII Международной научной конференции, проходившей в Ясной Поляне 10-15 августа 2010 г. Тула: Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», 2012. С. 17 – 40*). Значительная среди этих причин — внушённые воспитанием представления о храбрости, решительности в бою, *молодечестве*. Как мы помним, отправляясь волонтером на Кавказ, с планами вступить в военную службу, Толстой и сам отдал дань этому преданию. Донна Орвин пишет об этом:

«Когда Толстой впервые оказался в армии, его прежде всего беспокоило, как он сумеет проявить себя. <Автор цитирует Дневник Л. Н. Толстого. – Р. А.> “5 февраля 1852 (Николаевка — еду в отряде). Я равнодушен к жизни, в которой слишком мало испытал счастья, чтобы любить её; поэтому не боюсь смерти. — Не боюсь и страданий; но боюсь, что не сумею хорошо перенести страданий и смерти. — Я не совершенно спокоен; и замечаю это потому, что перехожу от одного расположения духа и взгляда на многие положения к другому. Странно, что мой детский взгляд — *молодечество* <курсив автора. — Р. А.> — на войну, для меня самый покойный. — Во многом я возвращаюсь к детскому взгляду на вещи” (46, 90 – 91).

5 февраля юнкер, новичок, предполагал принять участие в сражении. Но на второй день столкновений с силами врага он чуть не погиб, когда пушечное ядро ударило в лафет, возле которого он находился. Тот факт, что это случилось в день его именин, усилило для него значение этого события и стало основой для художественного изображения опыта не проверенного в бою солдата.

[...] Толстой не удовлетворён собой, своим поведением. Впредь он не упустит возможности испытать собственную решительность, поскольку только закаляет душу для сражения.

Увлекательно следовать за Толстым от фантазий к опыту в этих его военных дневниковых записях. Тем не менее следует иметь в виду, что одни фантазии имели в толстовской реальности более глубокие корни, нежели другие. В ней русский, подражающий кавказскому джигиту, всегда выглядит глупо, тогда как молодой офицер, с его юношеским энтузиазмом по отношению к войне, всегда несёт в себе

позитивный заряд. Юношеский высокий настрой может причиной его гибели, что и происходит с Аланиным («Набег»), с Володей Козельцовым («Севастополь в августе 1855 года») и Петей Ростовым («Война и мир»), но карьеристы, как Альфонс Берг и Борис Друбецкой в «Войне и мире», совершенно лишённые этого настроения, всегда вызывают презрение. С одной стороны, Толстой хотел положить конец опасным, ложным романтическим иллюзиям относительно войны, с другой — ему были дороги спонтанность и уверенность, присутствующие в том, что в записи от 5 февраля он назвал *молодечеством*.

[...] Молодѣц (мóлодец) — юноша, прекрасный телом и духом. В слове молодечество с обобщающим суффиксом *-ство* синтезирована суть подобных молодых людей, то есть это качество должно быть положительным, и оно таковым является. Хотя данный концепт достаточно часто используется в более широком контексте, в фольклорной поэтической традиции он прежде всего связан с войной: герои русской эпической поэзии — это *мóлодцы*, как правило с эпитетом *добрые* (Орвин, Д. Указ соч. С. 18 – 20).

И здесь же автор цитирует запись из Дневника уже Толстого «позднего», Толстого-христианина, свидетельствующую о преодолении Толстым внушённого им ложного предания и о формировании религиозного христианского, то есть негативного, отношения к «добрым» *молодцам* и к *молодечеству*:

«Нынче, гуляя, думал о двух: Детская мудрость и о воспитании, о том, что как мне в детстве внушено было всю энергию мою направить на *молодечество* (курсив наш. — Р. А.) охоты и войны, возможно внушить детям всю энергию направлять на борьбу с собой, на увеличение любви» (57, 18).

Своеобразный «переходный период», однако, мы находим уже в «Казачах», законченных Толстым, как известно, лишь в 1863 году, где «молодечество» Лукашки никак нельзя признать однозначно положительной характеристикой: к ней примешивается семантика «дикарской» ограниченности, почти глупости:

«...Лукашка прозван Урваном за *молодечество*, за то, что казачонка вытащил из воды, *урвал*» (6, 21).

И в то же время: «Дядя Ерошка [...] хвастал, рассказывая про себя, что был в старину первый *молодец* в станице. Его все знали по полку за его старинное *молодечество*. Не одно убийство и чеченцев, и русских было у него на душе. Он и в горы ходил, и у русских воровал, и в остроге два раза сидел» (Там же. С. 59).

Напомним читателю, что истинно возлюбленные автором, близкие ему персонажи *не убивают людей* даже на войне, в бою, и тем более не способны хвастать убийством!

Или ещё, из «Казачков» же: «— Поехали мы с Гирейкой, — рассказывал Лукашка. (Что он Гирей-хана называл Гирейкой, в том было замечное для казаков *молодечество*.)» (Там же. С. 133).

В томе втором «Войны и мира» герой, безусловно любимый автором, Пьер Безухов, взирает на безусловно нелюбимого Долохова, подстреленного только что на дуэли:

«И теперь Долохов, вот он сидит на снегу и насильно улыбается, и умирает, может быть, притворным каким-то *молодечеством* отвечая на моё раскаяние!» (10, 29).

Донна Орвин:

«“Севастополь в августе 1855 года” — это «идиллия» *молодечества*, в которой оба брата Козельцовы представляют воюющего на передовой русского офицера, каким его увидел Толстой во время Крымской войны» (Орвин, Д. Указ. соч. С. 25).

«Васька Денисов в «Войне и мире» показан истинным *молодцом*, когда мы видим его танцующим мазурку или верхом на коне (10, 50), и много раз в романе *молодцами* восхищённо названы русские солдаты. Хаджи-Мурат помнит «выражение *молодечества* и гордости», с которым его сын Юсуф обещает отцу заботиться о матери и бабушке (35, 106). Но *молодечество* может быть безрассудным, как в случае Аланина или Пети Ростова. Оно может быть и просто традицией, обычаем: в «Анне Карениной» Вронский испытывает отвращение, будучи обязан развлекать иностранного принца медвежьей охотой как представлением русского *молодечества* (18, 374)» (Орвин, Д. Указ. соч. С. 22).

А в 1886 году автор статьи «Николай Палкин» уже смотрит на дряхлого адепта религии *молодечества*, встреченного им в пути 95-летнего солдата николаевской армии, уже совершенно извне по отношению к его суеверию, и безусловно не одобряя его:

«Говорил он и с отвращением, и с ужасом и не без гордости о прежнем *молодечестве*» (26, 555).

Очень мило в «Крейцеровой сонате» (1887 – 1889) лексема появляется в контексте осуждающего повествования о посещении юношей Позднышевым проституток: «...Я слышал это и читал, слышал от старших, что для здоровья это будет хорошо; от товарищей же слы-

шал, что в этом есть некоторая заслуга, *молодечество*» (27, 18). По неволе вспоминаются изложенные Толстым аргументы мессира де Вогюэ в защиту войны — о затруднении самцам поганого «царя природы», человека, обойтись без драк, без войны в делёжке золота, хлеба и *женщин*.

Наконец, в самом трактате мы встречаем лексему *молодечество* в отрывке из Мопассана, переведённом Толстым, в безусловно, ярко, эмоционально-негативной коннотации:

«Мы её видели, войну. Мы видели, как люди сделались опять зверями, как они, как шальные, убивали из удовольствия, из страха, для *молодечества*, для похвальбы...» (28, 120. *Курсив наш.* – Р. А.).

И ещё, без эмоций, но столь же негативно: «Если люди перестанут драться на дуэлях и черкесы воровать, то не из страха перед казнями (страх казни прибавляет прелести *молодечества*), а потому, что общественное мнение изменится» (Там же. С. 203. *Курсив наш.* – Р. А.).

Но не всё так однозначно. В год 1891-й, то есть в период работы над трактатом, Толстой пишет небольшой некролог в память хорошего друга молодости Ивана Ивановича Раевского, погибшего осенью этого года от тяжёлой простуды в ходе поездок по делам помощи голодавшим крестьянам. И там, на страницах, пища которые, Толстой вспоминал 1850-е и общее с другом молодое и радостное прошедшее, появляется такая характеристика Раевского:

«В нём было очень много привлекательного: красота, пышущее здоровьем, свежесть, *молодечество*, необыкновенная физическая сила, прекрасное, многостороннее образование» (29, 262. *Курсив наш.* – Р. А.).

Как видим, автор «Царства Божия» действительно верил в скорейшие, уже на его веку и на его глазах перемены *охристианения* в обществе. Поэтому и относил *молодечество* как достоинство — к юности даже не молодого, современного ему на рубеже 1880-1890-х годов, а старших поколений, включая собственное.

По наблюдениям Донны Орвин, не только молодым человеком «Толстой считал военную службу почётной профессией», но и «даже в поздние годы порой упоминал о благородных побуждениях офицеров прежних времён» (Орвин, Д. Указ. соч. С. 21). Помимо выпадающей из нашей темы статьи о сечении, телесных наказаниях «Стыдно!», открывающейся апелляцией Толстого к нравам декабристов, вспоминается неоконченная статья «Carthago delenda est» 1896

года (о которой подробнее скажем в соответственном месте), где есть такие строки:

«В прежнее время военный человек 30-х, 40-х, 50-х, даже 60-х годов, составлял нераздельную и необходимую часть тогдашнего общества, не представлял из себя не только ничего неприятного, но, как это было у нас, да и везде, я полагаю, представлял из себя, особенно в гвардии, цвет тогдашнего образованного сословия. Таковы были декабристы 20-х годов. [...] Тогдашние военные не только не сомневались в справедливости своего звания, но гордились им, часто избирая это звание из чувства самоотвержения» (39, 219. *Курсив наш.* – Р. А.). Самоотвержение здесь — окказиональный синоним для «молодечества».

Помимо «диких народов», положительная семантика в употреблении данной концептуальной лексемы сохранилась у Л. Н. Толстого и по отношению к революционерам — чью *храбрость* от отделял от чуждых ему социально-политических устремлений. В Предисловии к книге В. Г. Черткова «О революции», написанном в 1905 году, лексемы «молодечество» и «самоотвержение» уже стоят рядом, то есть, вероятно, имеют в глазах автора некоторое, не значительное, семантическое различие — связанное ощутимо с большим не личным, для самих героев, а *общественным* значением их «молодечества»:

«Нельзя не признавать *молодечества* и *самоотвержения* людей, как Халтурин, Рысаков, Михайлов и теперь убийц Бобрикова и Плеве, которые прямо жертвовали своими жизнями для достижения недостижимой цели; так же как и тех, которые с величайшими лишениями, рискуя, свободой и часто жизнью, идут в народ, чтобы бунтовать его, или печатают и развозят революционные брошюрки; но нельзя не видеть того, что деятельность этих людей не могла и не может привести ни к чему иному, как к гибели их самих и к ухудшению общего положения» (36, 150. *Курсив наш.* – Р. А.).

Очень характерное — в письме Толстого В. Г. Черткову от 20 мая 1904 г.:

«Невольно любишься *молодечеством* Жерара, охотника на львов, точно так же невольно любишься, независимо от последствий их деятельности, и *молодечеством, самоотвержением* русских революционеров, ходивших в народ, так же как и отчаянной деятельностью Халтуриных, Рысаковых, Михайловых и др., но нельзя не видеть, что главный двигатель деятельности этих людей был тот же, как и тот, который руководил Жераром. Как Жерар не мог не видеть того, что

убийством десятка львов он не избавит жителей Африки от львиной опасности, так же и люди, ходившие в народ или устраивающие шествия по улицам с флагами или убивающие отдельных правительственных лиц, не могли не видеть, что они этими средствами никогда не победят русского правительства. Так что главным двигателем и тех и других, очевидно, был не достижение известной цели, а избыток сил, борьба с опасностями, игра своей жизнью.

Когда я был охотником, я помню, что, несмотря на то, что я был в полном обладании своих умственных способностей, все рассуждения о безумии того, чтобы скакать сломя голову за ненужным мне зайцем или волком или ездить за сотни верст, чтобы, увязая в болотах или снегу, убить несколько ненужных мне птичек или столь же ненужного медведя, все эти рассуждения я пропускал мимо ушей и был не только уверен в важности своей деятельности, но гордился ею. То же и с революционерами.

Только тем, что революционная деятельность есть спорт, и можно объяснить то, что люди здравомыслящие предаются такой явно бесполезной деятельности, и то, что никакие доводы, доказывающие тщету и даже вред их деятельности, не действуют на них. Жалко видеть, когда энергия людей тратится на то, чтобы убивать животных, пробегать на велосипедах большие пространства, скакать через канавы, бороться и т. п., и ещё более жалко, когда эта энергия тратится на то, чтобы тревожить людей, вовлекать их в опасную деятельность, разрушающую их жизнь, или ещё хуже: делать динамит, взрывать или просто убивать какое-нибудь почитаемое вредным правительственное лицо, на место которого готовы тысячи ещё более вредных» (88, 332).

И ещё, в записной книжке, 27 марта 1909 г.: «Мотив революционеров едва ли не главный — *молодечество*, потом тщеславие — повышение своего значения на общественно общественной лестнице, потом фарисейское исповедание любви к народу» (57, 206).

Любопытно наблюдать, как воспитанный в почитании самоотвержения и храбрости писатель борется с собой, стремясь доказать, и не одному себе, что эти морально ценные всегда в его глазах качества, будучи проявленными в войне или революции, в терроре — ничем не лучше того «молодечества» бесполезных на войне, напрасно жертвующих собой храбрецов, или охотников, или даже посетителей бардака, порицание которого он с годами вполне «осилил».

Сам Толстой в те годы считал “настоящей”, ожидавшейся им, “революцией” — как раз массовое пробуждение общественного сознания к христианскому религиозному пониманию жизни, охристианение общественного мнения и, как следствие, ненасильственный слом старого строя жизни. Революционеры же, считавшие сами себя, передовыми людьми, в глазах яснополянца, напротив того, люди отсталые, которым надлежит, противу рожна, быть увлекаемыми влиянием извне, наиболее духовно активных и чутких людей общества.

Так и на уровне словоупотребления выявляется искренняя вера Толстого в будущее христианской веры, его надежды на скорое торжество в мире истинного, первоначального учения Иисуса Христа.

Но не утопия ли эти ожидания, эта вера Льва-учителя, Толстого-христианина в *торжество Христа в мире*? Есть в рассуждениях, наполняющих заключительную (в основной части) Главу трактата, “зацепки”, радостные для Льва Николаевича в конце XIX столетия, но сомнительные для нашей, печально опытной, эпохи. Например: «Учёные юристы, обязанные оправдывать насилие власти, всё более и более отрицают право наказания и вводят на место его теории невменяемости и даже не исправления, а лечения тех, которых называют преступниками» (28, 213). Если памятовать карательную психиатрию эпохи СССР, втихаря возрождаемую в современной фашистской, путинской России — радость Льва Николаевича разделить не получится: убивая без качественных лекарств настоящих больных, здоровых (но не угодных преступному режиму!) «лечить» в психушках, так же, как и «исправлять» в тюрьмах, у нас умеют вплоть до тяжёлой инвалидности или гибели жертвы!

Или — вот этот отрывок:

«Палачи отказываются от исполнения своих обязанностей, так что в России смертные приговоры часто не могут приводиться в исполнение за отсутствием палачей, так как охотников поступать в палачи, несмотря на все выгоды, представляемые этим людям, выбираемым из каторжников, становится всё меньше и меньше» (*Там же*).

Это оптимистическое утверждение жизнь опровергла Толстому ещё при его жизни — о чём он в 1908 году эмоционально посетовал в знаменитой своей статье-памфлете против смертных казней «Не могу молчать».

И всё же, всё же... Даже в отдалённом будущем, в более счастливых странах — возможно ли?.. Чтобы прийти к этой картине, напоминающей снова блестящую толстовскую «Сказку про Ивана Дурака»:

«Те же генералы, и офицеры, и солдаты, и пушки, и крепости, и смотры, и манёвры, но войны нет год, десять, двадцать лет, и кроме того всё менее и менее можно надеяться на военных для усмирения бунтов, и всё яснее и яснее становится, что поэтому генералы, и офицеры, и солдаты суть только члены торжественных процессий — предметы забавы правителей, большие, слишком дорогостоящие кордебалеты.

[...] Положение христианского человечества с его крепостями, пушками, динамитами, ружьями, торпедами, тюрьмами, виселицами, церквами, фабриками, таможнями, дворцами действительно ужасно; но ведь ни крепости, ни пушки, ни ружья ни в кого сами не стреляют, тюрьмы никого сами не запирают, виселицы никого не вешают, церкви никого сами не обманывают, таможни не задерживают, дворцы и фабрики сами не строятся и себя не содержат, а всё делают это люди. Если же люди поймут, что этого не надо делать, то этого ничего и не будет.

А люди уже начинают понимать это. Если ещё не все понимают это, то всё понимают передовые люди, те, за которыми идут остальные.

[...] Так что предсказание о том, что придёт время, когда все люди будут научены Богом, разучатся воевать, перекуют мечи на орала и копыя на серпы, т. е., переводя на наш язык, все тюрьмы, крепости, казармы, дворцы, церкви останутся пустыми и все виселицы, ружья, пушки останутся без употребления, — уже не мечта, а определённая, новая форма жизни, к которой с всё увеличивающейся быстротой приближается человечество» (28, 215, 218 – 219).

Но это и подразумевает соединение хотя бы большинства в одной Истине. А у людей новейшего, нашего времени отобрано стремление к таковому единству, атрофировано само ощущение *необходимости живой веры*. Кто откликнется, явись в наше время проповедать даже сам Иисус? Хотя бы сегодня, 1 января 2023 года — года из старой фантастической книжки, ставшего настоящим, но не оправдавшего упований этих, из прошлого века, писателей-фантастов, светских гуманистов или даже христиан?

Между тем Толстой уповает именно на эту, «старомодную» в наше интересное время, нравственную чуткость и на религиозный голод, *алкание ко Христу* миллионов умов и сердец:

«Но когда же это будет?»

1800 лет назад на вопрос этот Христос ответил, что конец нынешнего века, т. е. языческого устройства мира, наступит тогда, когда увеличатся до последней степени бедствия людей и вместе с тем благая весть Царства Божия, т. е. возможность нового, ненасильнического устройства жизни, будет проповедана по всей земле (*Мф. XXIV, 3 – 28*).

"О дне же и часе том никто не знает, только Отец Мой один (*Мф. XXIV, 36*)", — тут же говорит Христос. Ибо оно может наступить всегда, всякую минуту, и тогда, когда мы не ожидаем его.

На вопрос о том, когда наступит этот час, Христос говорит, что знать этого мы не можем; но именно потому, что мы не можем знать времени наступления этого часа, мы не только должны быть всегда готовы к встрече его, как должен быть всегда готов хозяин, стерегущий дом, как должны быть готовы девы с светильниками, встречающие жениха, но и должны работать из всех данных нам сил для наступления этого часа, как должны были работать работники на данные им таланты (*Мф. XXIV, 43; XXV, 1 – 30*).

[...] И другого ответа не может быть. Знать то, когда наступит день и час Царства Божия, люди никак не могут, потому что наступление этого часа ни от кого другого не зависит, как от самих людей.

Ответ тот же, как ответ того мудреца, который, на вопрос прохожего: далеко ли до города? ответил: "Иди".

Как мы можем знать, далеко ли до той цели, к которой приближается человечество, когда мы не знаем, как будет подвигаться к этой цели человечество, от которого зависит — идти или не идти, остановиться, умерить своё движение или усилить его.

Всё, что мы можем знать, это то, что мы, составляющие человечество, должны делать и чего должны не делать для того, чтобы наступило это Царство Божие. А это мы все знаем. И стоит только каждому начать делать то, что мы должны делать, и перестать делать то, чего мы не должны делать, стоит только каждому из нас жить всем тем светом, который есть в нас, для того, чтобы тотчас же наступило то обещанное Царство Божие, к которому влечётся сердце каждого человека» (*Там же. С. 219 – 220*).

Для наших предшественников, анализировавших слово Льва Николаевича Толстого к современникам и потомкам «Царство Божие

внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание» с позиций, скорее, общественно-политических, как трактат “протестный”, антивоенный и под. — самым значительным в ЗаклЮчении (то есть в **Главе Двенадцатой**) конечно же, является сюжет о встрече Толстого на узловой железнодорожной станции с губернаторским военным отрядом. Между тем не напрасно, не случайно в черновиках, до которых добираются уже совсем немногие, даже из числа читателей этого пространного и непростого сочинения Толстого, заключительная Глава поименована вот так вот, очень вдохновительно: «Покайтесь, потому что Царствие Божие близко, при дверях» (28, 303).

Мы намеренно сыскали возможность историю про карательный отряд, выплеснувшуюся из возмущённого сознания Льва Николаевича на первые страницы этой Главы (см. 28, 220 – 245), изложить в другом месте — чтобы не нарушать логической стройности именно религиозной *христианской проповеди* Льва Николаевича, по отношению к которой рассказ про вояк в карательном поезде — лишь иллюстрация тех тезисов о неразумии и бедственности нехристианского устройства жизни, которые Толстым изложены в предшествующих главах книги.

Двенадцатая глава, или ЗаклЮчение — текст пространный, имеющий своё внутреннее подразделение на главки. Вторую из них Толстой открывает последними штрихами в изложенной в начале заключительной главы истории с карательным поездом, а завершает — блестящей картиною *набора призывников* в России, соблазняющей нас вынести её текст, как образец талантливой работы художника и публициста, в особенное Приложение к данной главе.

Толстой стремится донести здесь до читателя своё прозрение о *корне зла*: о причине, отчего добрые люди, губернатор и солдаты, сами недавние крестьяне в массе своей, в голодный год, соглашались участвовать в вооружённом бандитском нападении (по сущности своей) на таких же добрых, и трудящихся, и голодающих людей. Ответ яснополянца предсказуем: корень зла — в религиозном обмане, в котором воспитываются дети и муштруются взрослые солдаты. В обмане, оправдывающем, освящающем именем Христа, самим Богом, существование государства, войска, вооружений... По существу, обман этот может торжествовать и вовсе «автономно» — когда, как в современной нам, фашиствующей путинской России языческое, принадлежащее давно отжитому пониманию жизни,

представление о «долге» перед обществом или государством не опирается ни на какие сакральные обоснования, а заражённые этим самообманом люди даже бравируют своим «атеизмом». Вариант «атеизма» — церковные, православные обрядоверие и идолопоклонство, при которых в мельчайшей повседневности человек не помнит Христа, не ощущает себя *обязанным* послушанием известному по евангелиям учению, то есть самим Истине и Богу — хотя бы в той же степени, в какой повинуетя мундированной сволочи и законам разбойничьего гнезда, изображающего из себя государство, в котором обитает современный россиянец.

И воспроизводится ситуация, о которой Лев Николаевич делает вывод в начале третьей главки Заключения, при которой не обманутому общим обманом человеку остаётся лишь удивляться «на то, как могут проповедники религии христианства, нравственности, воспитатели юношества, просто добрые, разумные родители, которые всегда есть в каждом обществе, проповедовать какое бы то ни было учение нравственности среди общества, в котором открыто признаётся всеми церквами и правительствами, что истязания и убийства составляют необходимое условие жизни всех людей, и что среди всех людей всегда должны находиться особенные люди, готовые убить братьев, и что каждый из нас может быть таким же» (28, 245).

И следующие за этим слова Толстого-христианина было бы полезно прочитать, осмыслить тем, кто в только что закончившемся разбойном, бандитском, палаческом в России 2022-м году вожделем оравой ринулись из дрянной, зажатой российской провинции, а некоторые даже и из Москвы и других полноценных мест населённых полноценными, казалось бы (разумными, нравственными и материально зажиточными) людьми — грабить, истязать, насиловать и убивать украинцев под прикрытием пропагандистской лжи о «борьбе с украинским нацизмом»:

«Учение око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь оттого и отменено христианством, что это учение есть только оправдание безнравственности, есть только подобие справедливости и не имеет никакого смысла. Жизнь есть величина, не имеющая ни веса, ни меры и не могущая быть приравнена никакой другой, и потому уничтожение жизни за жизнь не имеет смысла. Кроме того, всякий закон общественный есть закон, имеющий целью улучшение жизни людей. Каким же образом может уничтожение жизни некоторых людей

улучшить жизнь людей? Уничтожение жизни не есть акт улучшения жизни, но акт самоубийства» (*Там же. С. 246*).

Мародёрам, насильникам, палачам — будь то кодла под самоназванием «Вооружённые силы России» или вспомогательная им такая же кодла ЧВК (частная военная компания) «Вагнера» и подобные ей — нет и не может быть тех оправданий, к которым они прибегают, будучи уверены — к сожалению, не без оснований — что обманываемые ими подпутинские лошата практически поголовно заражены в головках своих тем же обманом, теми же заблуждениями давно отжитого, опасного для человечества в XXI веке, языческого и еврейского, общественно-государственного понимания жизни.

Кстати, это же христианское суждение яснополянца уничтожает оправдания не только для путинской сволочной «СВО», Специальной Военной Операции, то есть преступной террористической агрессии и полномасштабной войны в отношении Украины, но и для смертной казни, возвращения которой в стране рабов и дураков вожделяют, хотя и по разным причинам, как палачи у власти, так и будущие их жертвы из числа простых обитателей оккупированной, ограбленной и обманутой Кремлём России.

Для людей, не поднявшихся выше учения общественного эгоизма, служения (и не бескорыстного!) государству, то есть действующему режиму, не многое изменится, даже если, например, через год-два «Вооружённые силы» и «Вагнер» поменяются местами, и во главе России президирует распорядитель «Вагнера», *кацан*, мрачный садист и дегенерат, палач Пригожин.

«Самая жестокая, ужасная шайка разбойников не так страшна, как страшна такая государственная организация. Всякий атаман разбойников всё-таки ограничен тем, что люди, составляющие его шайку, удерживают хотя долю человеческой свободы и могут воспротивиться совершению противных своей совести дел. Но для людей, составляющих часть правильно организованного правительства с войском, при той дисциплине, до которой оно доведено теперь, для таких людей нет никаких преград. Нет тех ужасающих преступлений, которые не совершили бы люди, составляющие часть правительства, и войска по воле того, кто случайно [...] может стать во главе их» (*Там же. С. 246 – 247*).

Потому что у атеизма или близкого к нему по нравственной беспомощности церковного эрзаца, лжехристианства православия, нет силы, избавляющей поклонника общественного жизнепонимания от

поклонения и ещё одному идолу, очень древнему — Золотому Тельцу. Поганцы ищут наживы: богатый выродок человечества Пригожин — прибавления своим разбойным миллиардам, военщина путинская «кадровая» — повышений в званиях, жалованьях и прочих подачках от батюшки фюрера, а мелкий лошарик из Тулы или Саратова, законтрактовавший себя в войско — тупо помародёрствовать в Украине...

Все эти бюджетные подхуйлёныши и хуйлобляди, от грозного «спецназовца» до тётиньки «божий одуванчик» на окладике в каком-нибудь «Музее оружия, обороны и патриотизма» — в глазах великого яснополянца, воскресни он в наше время, таки были бы все одним гоVнищём мазаны:

«...Для этих людей риск пострадать оттого, что во главе правительства или войска станет безумный или жестокий человек, всегда меньше тех невыгод, которым они подвергнутся в случае уничтожения самой организации.

Судья, полицейский, губернатор, офицер будет занимать своё положение безразлично при Буланже или республике, при Пугачёве или Екатерине. Потеряет же он своё положение наверное, если распадётся существующий порядок, который обеспечивает ему его выгодное положение. И потому все эти люди не боятся того, кто станет во главе организации насилия, они подделаются ко всякому, но боятся только уничтожения самой организации и потому всегда, часто даже бессознательно, поддерживают её» (Там же. С. 248).

Именно бессознательно, то есть следуя не разуму, Божьему дару, а инстинкту пресловутого «общественного животного», зверюшки Дарвина (с его теорией, остроненавистной Толстому), только лишь *рационализируемому* «патриотизмом»:

«Часто удивляешься на то, зачем свободные люди, ничем к этому не принужденные, так называемый цвет общества, поступают в военную службу в России, в Англии, Германии, Австрии, даже Франции и ищут случая стать убийцами?! Зачем родители, нравственные люди, отдают детей в заведения, приготавливающие к военному делу? Зачем матери, как любимые игрушки, покупают детям кивера, ружья, шашки? (Дети крестьян никогда не играют в солдаты.) Зачем добрые мужчины и даже женщины, ничем не причастные к военному делу, восторгаются разными подвигами Скобелевых и других и старательно расхваливают их; зачем люди, ничем к этому не при-

нужденные, не получающие за это жалованья, как в России предводители, посвящают целые месяцы усидчивого труда на совершение физически тяжёлого и нравственно мучительнейшего дела — приёма рекрут? [...] Зачем люди — историки, романисты, поэты, ничего уже не могущие получить за свою лесть, расписывают героями давно умерших императоров, королей или военачальников?

Зачем люди, называющие себя учёными, посвящают целые жизни на составление теорий, по которым выходило бы, что насилие, совершаемое властью над народом, не есть насилие, а какое-то особенное право?

[...] Но удивляешься всему этому только до тех пор, пока не поймёшь, что делается это только потому, что все люди правящих классов всегда инстинктивно чувствуют, что поддерживает и что разрушает ту организацию, при которой они могут пользоваться теми преимуществами, которыми они пользуются.

Светская барыня и не делала рассуждения о том, что если не будет капиталистов и не будет войск, которые защищают их, то у мужа не будет денег, а у неё не будет её салона и нарядов; и художник не делал такого же рассуждения о том, что капиталисты, защищаемые войсками, нужны ему для того, чтобы было кому покупать его картину; но инстинкт, заменяющий в этом случае рассуждение, безошибочно руководит ими. И точно тот же инстинкт руководит, за малыми исключениями, всеми людьми, поддерживающими все те политические, религиозные, экономические учреждения, которые выгодны для них» (Там же. С. 248 – 249).

И государство, в согласии с попами церковного лжехристианства, спешит снять с соучастников его «специальных операций» и иных преступлений не только юридическую, но и моральную ответственность за них:

«...При совершении каждого из таких дел в нём бывает столько подстрекателей, пособников, попустителей, что ни один из участвующих в деле не чувствует себя в нём нравственно ответственным.

[...] Убийцы заставляют всех присутствующих при убийстве ударить уже убитую жертву, с тем чтобы ответственность распределилась между наибольшим количеством людей. Это самое, сложившись в определённые формы, установилось и в государственном устройстве при совершении всех тех преступлений, без постоянного совершения которых немислимо никакое государственное устройство. Госу-

дарственные правители всегда стремятся привлечь наибольшее количество граждан к наибольшему участию во всех совершаемых ими и необходимых для них преступлениях.

Одни потребовали, другие решили, третьи подтвердили, четвертые предложили, пятые доложили, шестые предписали, седьмые исполнили. ...И никто не виноват» (*Там же. С. 249 – 251*).

Это описание, как по образному строю, так и по идейной сущности своей, великолепно подходит и для современной, 2022 – 2023 гг., бесстыжей путинской России, только что (январь 2023-го) утвердившей амнистию для своих вооружённых преступников, орудующих в Украине «в интересах России». Между тем для христианского сознания очевидно, что масштабы и системная организованность, от имени государства, совершаемых подпутинским отребьем глупостей и гадостей — не только ничего не оправдывают, но именно системно обустроенное, организованное, преднамеренное зло — наиболее преступно против Бога и Христа Его.

Другая причина существования деструктивных систем войска, полиции, судилищ, самой государственности — вождеделение человека, не просветлённого и не освобождённого христианской верой, к тому, чтобы доминировать, властвовать над кем-либо и одновременно повинаться кому-то «вышестоящему». Толстой именует это состояние *опьянением* «воображаемым величием», властью и «подобострастием» (*Там же. С. 253*). И доходно, и похоть древнюю, обезьянью потешить можно — к доминированию и подчинению. И вот уже «вполне душевно здоровый и старый уже человек, только оттого, что на него надета какая-нибудь побрякушка или шутовской наряд, ключи на заднице или голубая лента, приличная только для наряжающейся девочки, и ему внушено при этом, что он генерал, камергер, андреевский кавалер или тому подобная глупость, вдруг делается от этого самоуверен, горд и даже счастлив, или, наоборот оттого, что лишается или не получает ожидаемой побрякушки и клички, становится печальным и несчастным, так что даже заболевает» (*Там же. С. 255*).

А игра-то жестокая, неприемлемая по лукавым и подлым своим правилам даже для здравомыслящего атеиста, а не только для незасратого ложью церковников сознания религиозного человека. Толстой возвращается к тому, с чего начал:

«Так, например, в настоящем случае люди едут на убийство и истязание голодных людей и признают, что в споре крестьян с помещиком — крестьяне правы (это говорили мне все начальствующие), знают, что крестьяне несчастны, бедны, голодны; помещик богат и не внушает сочувствия, и все эти люди всё-таки едут убивать крестьян для того, чтобы приобрести этим помещику 3000 рублей, только потому, что эти люди воображают себя в эту минуту не людьми, а — кто губернатором, кто чиновником, кто жандармским генералом, кто офицером, кто солдатом, и считают для себя обязательными не вечные требования совести человека, а случайные, временные требования своих офицерских, солдатских положений» (*Там же. С. 256*).

Толстой уподобляет это состояние гипнотическому сну, от которого уже начинает очунаться передовые люди человечества — под воздействием открывшейся просвещённым людям истины первоначального, евангельского христианства Христа:

«Все люди, едущие в этом поезде, когда приступят к совершению того дела, на которое едут, будут в том же положении, в котором был бы загипнотизированный человек, которому внушено разрубить бревно, и он, подойдя уже к тому, что ему указано как бревно, и уже взмахнув топором, сам увидал бы или ему указали бы, что это не бревно, а его спящий брат» (*Там же. С. 263*).

Толстой приписал позднее, что так и случилось с этими губернатором, чиновниками и солдатами. В пути выявилось несколько «отказников» (быть может, увидевших Льва Николаевича там, на станции Узловой, и вспомнивших его христианские писания), которых «тут же на станции» поддержали пассажиры, и даже один из полковых командиров, руководившийся отнюдь не христианством, всё же возроптал о том, что «военные не могут быть палачами» (*Там же. С. 263 – 264*). И истязание не состоялось, хотя, под угрозой его, лес и был срублен и передан помещику.

Лев Николаевич Толстой справедливо видит в этом влияние не столько своего лично присутствия на станции, своего авторитета, а именно христианской Истины, им исповедуемой, и наконец признанной губернатором, его помощниками и солдатами:

«Будь это сознание ещё сильнее и потому количество этих воздействий больше, чем то, какое было, очень может быть, что губернатор с войсками не решился бы даже и срубить леса, отдавая его помещику. Будь это сознание ещё сильнее и воздействий этих ещё

больше, очень может быть, что губернатор не решился бы даже ехать на место действия. Будь сознание ещё сильнее и воздействий ещё больше, очень может быть, что не решился бы и министр предписывать и государь утверждать такое решение.

Всё зависит, следовательно, от силы сознания каждым отдельным человеком христианской истины.

И потому, казалось бы, на усиление в себе и других ясности требований христианской истины и должна бы была быть направлена деятельность всех людей нашего времени, утверждающих, что они желают содействовать благу человечества» *(Там же. С 264)*.

Так завершается третья главка Заключения всей книги, а вот что читаем в конспекте четвёртой:

«Всё зависит от силы сознания каждым отдельным человеком христианской истины. Но передовые люди нашего времени не считают нужным уяснение христианской истины и исповедание её, а для улучшения жизни человеческой считают достаточным изменение внешних условий жизни в пределах, дозволенных властями. На этой научной теории лицемерия, заменившей лицемерие религиозное, основываются оправдания своего положения людьми богатых классов. Благодаря этому лицемерию они, пользуясь насилием, ложью для своих исключительно выгодных положений, могут притворяться друг перед другом христианами и успокаиваться. Это же лицемерие позволяет людям, проповедующим христианство, участвовать в учреждениях насилия.

Никакие внешние улучшения жизни не сделают её менее бедственной. Бедствия происходят от разъединения, разъединение происходит от следования не истине, а лжам. Единение возможно только в истине. Лицемерие препятствует этому единению, так как, лицемеря, люди скрывают от себя и других ту истину, которую знают. Лицемерие обращает все улучшения жизни во зло. Лицемерие извращает понятие о добре и зле и потому стоит на пути совершенствования людей. Открытые злодеи и преступники делают меньше зла людям, чем те, которые живут узаконенным насилием, прикрываясь лицемерием.

Все сознают незаконность нашей жизни и давно бы изменили её, если бы она не была прикрыта лицемерием. Но мы, кажется, дошли до пределов лицемерия, и нам нужно сделать только усилие сознания, чтобы, как человеку под кошмаром, проснуться к иной действительности» *(Там же. С. 304 – 305)*.

Интеллигентский гуманизм и пацифизм в христианских (номинально) странах — тоже такое же лицемерие: попытка, и не всегда искренняя, отыскивать те пути, которые не приводят к уничтожению войн и их оправданий — при общеизвестности пути религиозного, христианского, предлагаемого чистым, евангельским учением Христа. Впрочем, и в евангелиях плоды этого лицемерия общественных «элит» предсказаны: войны и самые огромные бедствия *простых* людей до скончания света! Сбудется ли на планете Земля именно этот, негативный сценарий? Или для разумного единственного на ней вида всё-таки возможно усилие, ведущее к торжеству разумной природы над природой зверя?

Для этого тоже нужно мужество, которое требуют от военных рабов правители и согласно с ними пишущие интеллигенты, то есть зачинатели и пропагандёры войн. Для отказа быть таким рабом. Вот, так же в конспективном уже изложении, рассуждения Л. Н. Толстого из Пятой части Двенадцатой, заключительной, главы:

«По существующей теории лицемерия, человек не свободен изменить свою жизнь. Человек не свободен в своих поступках, но он свободен в признании или непризнании известной уже ему истины. Признание истины есть причина поступков.

[...] Свобода человека только в признании открывающейся ему истины, иной свободы нет. Признание истины даёт свободу и указывает путь, по которому добровольно или невольно должен идти человек. Признание истины и действительной свободы даёт человеку возможность быть участником Божьего дела и не рабом, а творцом жизни.

Стоит только людям сделать усилие отречения от заботы об улучшении внешних условий жизни и все силы употребить на признание и исповедание известной им истины, и тотчас же разрушился бы мучительный существующий строй жизни и наступила бы доступная уже людям ступень Царства Божия. Для этого только нужно перестать лгать и притворяться.

Но что тогда нас ждёт впереди?

Мучительность вопросов о том, что будет с человечеством, если люди станут исполнять веления своей совести, и как жить без привычных нам условий нашей культурной жизни, устраняется тем соображением, что от осуществления истины ничто истинное и благое не может исчезнуть, а может только освободиться от примеси лжи и усилиться» (*Там же. С. 305*).

По убеждениям Л. Н. Толстого жизнь человечества уже тогда, в 1890-е, в эпоху написания книги, дошла «до последних пределов бедственности и неразумия», из которых есть лишь один, именно религиозный, выход. Нужно **одуматься**:

«Одумайтесь, люди, и веруйте в Евангелие, в учение о благе. Если не одумаетесь, все так же погибнете, как погибли люди, убитые Пилатом, как погибли те, которых задавила башня Силоамская, как погибли миллионы и миллионы людей, убивавших и убитых, казнивших и казнённых, мучащих и мучимых, и как глупо погиб тот человек, засыпавший житницы и сбравшийся долго жить и умерший в ту же ночь, с которой он хотел начинать жизнь» (28, 286).

Безверие множит страхи и заботы об «обеспечении» жизни, о смешной «безопасности» человека, самым безверием своим, то есть недоверием Богу и Истине учения Христа, увеличивающего главную опасность своей жизни: погубить не плоть, а душу, и не исполнить общего человеческого назначения на Земле — как дитя и работника Отца Бога. Перенесённые на уровень общества, эти фантомы изверских головёшек, эти страхи плодят общественных паразитов: разнообразных охранников, надзирателей, полицаев и прочих бездарей, жертв аборта, вовремя у их мамок *не* случившегося. Производители оружия для «самообороны», камер для слежения друг за другом людей, заборов и запоров — такие же паразиты, ощутимо избыточные на перенаселённой поганым «царём природы» планете Земля. Но гнуснейшие из таких паразитов — это халтурные (не умеющие без войн и казней) правительства, военщина и идеологически обслуживающие их попы и интеллигенты. В современной России эта погань, идеологическая обслуга, уже завралась, и не знает, как ещё врать, оправдывая международных преступников Чекистской Моли Обнулившейся, Владимира Путина, и войну гнуснейшую в новейшей истории, одну из гнуснейших войн в истории всемирной — агрессию России в отношении Украины.

«Фундамент» для их лжей — именно обдумывание совращёнными ими людьми умозрительного «будущего» вымышленной, несуществующей общности под названием *нация*. Идолопоклонство *нации*, обеспеченное технологиями XXI века, включая информационные, но не уравновешенное, как на Западе, элементами и практиками демократии — это неизбежные диктатура и фашизм, а главное — расплата Свыше: то есть множество бедствий, в перспективе, для самих обманутых своим халтурным правительством агрессоров.

Между тем всякая человеческая жизнь, а тем более бытие вымышленной общности, не могут ничем быть «обеспечены» в Божьем мире, а *изуверские* (то есть обличающие христианское безверие в делаателях) усилия обезопасить, всячески «обеспечить» жизнь «вносят только новые опасности в жизнь и личную и общественную, но никак не обеспечивают её» (*Там же. С. 287*).

Понимание бессмысленности всех личных и общественных суев перед лицом конца жизни и конца мира, именно как слагаемая христианской веры, то есть, усиливаемое смирением, желание дитя, человека, не выходить из воли Отца — вот что может обесмыслить насилие на разных общественных уровнях и разной уровни системности, организации, от драки за выпивку, деньги или самку до мирового побоища:

«Ведь, как бы мы ни назывались, какие бы мы ни надевали на себя наряды, чем бы и при каких священниках ни мазали себя, сколько бы ни имели миллионов, сколько бы охраны ни стояло по нашему пути, сколько бы полицейских ни ограждали наше богатство, сколько бы мы ни казнили так называемых злодеев, революционеров и анархистов, какие бы мы сами ни совершали подвиги, какие бы ни основывали государства и ни воздвигали крепости и башни от Вавилонской до Эйфелевой, — перед всеми нами всегда стоят два неотвратимые условия нашей жизни, уничтожающие весь смысл её: 1) смерть, всякую минуту могущая постигнуть каждого из нас, и 2) непрочность всех совершаемых нами дел, очень быстро, бесследно уничтожающихся. Что бы мы ни делали: основывали государства, строили дворцы и памятники, сочиняли поэмы и песни, — всё это не надолго и всё проходит, не оставляя следа. И потому, как бы мы ни скрывали это от себя, мы не можем не видеть, что смысл жизни нашей не может быть ни в нашем личном плотском существовании, подверженном неотвратимым страданиям и неизбежной смерти, ни в каком-либо мирском учреждении или устройстве» (*Там же*).

«То ли ты делаешь, что требует от тебя Тот, Кто послал тебя в мир и к которому ты очень скоро вернёшься? То ли ты делаешь, что Он хочет от тебя?» — обращается Толстой к читателю, увлечённому своим общественным статусом «землевладельца, купца, судьи, императора, президента, министра, священника, солдата», ложная значительность которого подпитывается в его голове, в его психике

фантомами неизжитых атавизмов общественной животности, продуцирующими идеи и смыслы давно отжитого человечеством, вредного и опасного жизнепонимания язычников и евреев:

«То ли ты делаешь, когда, будучи землевладельцем, фабрикантом, ты отбираешь произведения труда бедных, строя свою жизнь на этом ограблении, или, будучи правителем, судьёй, насилуешь, приговариваешь людей к казням, или, будучи военным, готовишься к войнам, воюешь, грабишь, убиваешь?» (28, 288).

Надо и делать, и практически сразу прилагать напрашивающиеся выводы из раздумий над разительным противоречием: когда просвещённый и научным, и религиозным знанием человек помнит с юных лет, «что только при признании равенства всех людей, при служении их друг другу возможно осуществление наибольшего блага, доступного людям», чувствует в сердце своём, расположенном к любви, что это правда, но, при объявлении войны, общего призыва «должен идти в военные и, отрекаясь от своей воли и от всех человеческих чувств, обещаться по воле чуждых тебе людей убивать всех тех, кого они ему прикажут», при этом не только осознавая, но, опять же, и ощущая, что «существующий строй жизни отжил своё время и неизбежно должен быть перестроен на новых началах и что потому нет никакой нужды, жертвуя человеческими чувствами, поддерживать его» (Там же. С. 288 – 289).

Начинать думать и *действовать*, без жалости разрушать существующее устройство жизни, вырывать ложные опоры у обманутых миром людей, необходимо уже во времена «мирные», не дожидаясь войны — как о мерах против пожара думают не тогда, когда уж загорелось. Мир и без того «горит» — он обречён грехами человечества. Да вот только — **нет права** ни у кого из как бы разумных *обитателей* этого мира уничтожать не ими, своеволами, а Богом созданное и сознательными сотворцами Божьими поддержанное тысячи лет — да ещё и утягивать в гибель другие виды живой природы, с человеком равноправные перед Богом в праве на жизнь! Поганцев вида homo sapiens не только числом слишком уже много на Земле, но их «слишком много» и той экспансионистской агрессией, которую проявляют эти миллиарды жертв обезьяньей похоти своих родителей и несостоявшегося вовремя аборта по отношению к планете, ко всему живому и всем ресурсам жизни в известном нам Божьем мире. А по нехватке ресурсов — неизбежна перманентная крысья грызня их и между собой.

Что можно сделать наблюдателю из числа более нравственного, религиозно чуткого меньшинства? Конечно, не участвовать в этой крысиной возне: не искать себе «обеспечения» и выгод:

«Кто тебя приставил нянькой этого разрушающегося строя? Ни общество, ни государство, ни все люди никогда не просили тебя о том, чтобы ты поддерживал этот строй, занимая то место землевладельца, купца, императора, священника, солдата, которое ты занимаешь; и ты знаешь очень хорошо, что ты занял, принял своё положение вовсе не с самоотверженной целью поддерживать необходимый для блага людей порядок жизни, а для себя: для своей корысти, славолюбия, честолюбия, своей лени, трусости. Если бы ты не желал этого положения, ты не делал бы всего того, что постоянно нужно делать, чтобы удерживать твоё положение. Попробуй только перестать делать те сложные, жестокие, коварные и подлые дела, которые ты, не переставая, делаешь, чтобы удерживать своё положение, и ты сейчас же лишишься его. Попробуй только перестать, будучи правителем или чиновником, лгать, подличать, участвовать в насилиях, казнях; будучи священником, перестать обманывать; будучи военным, перестать убивать; будучи землевладельцем, фабрикантом, перестать защищать свою собственность судами и насилиями, и ты тотчас лишишься того положения, которое, ты говоришь, навязано тебе и которым ты будто бы тяготишься» (*Там же. С. 289 – 290*).

Эти строки, запомнившиеся в конце XIX столетия многим, прочитавшим слово Льва Николаевича в нелегальной копии или в заграничном неподцензурном издании, сразу пополнили в мире число духовных единомышленников Толстого! Не так были испорчены люди, как в наши дни, и не так засраты, информационно замусорены ихние мозги. Была эта самая *нравственная, религиозная чуткость*: ощущение *истинности и спасительности Слова Истины, единого Слова Бога, Иисуса и Льва*.

Ошибочны не только лично-эгоистические, но и общественные оправдания борьбы и насилия: будь то для своей «ячейки общества», семейства и детёнышей, совершенно не нужных на перенаселённой человеком Земле ни Богу, ни природе, или для общества, «нации», даже для человечества в целом (вспомним здесь, что Толстой и «человечество» по отношению к закону любви признавал фиктивным!). Победивший в своём сознании остатки общественного, языческого и еврейского, отжитого жизнепонимания — увидит, что всё это,

либо ничтожное (как твои, твоего чрева и семени, детёныши, из которых, по наибольшему вероятно, вырастут своеволы, а не сознательные дети и работники Бога и которым лучше предпочесть заботу об уже живущих), либо вовсе иллюзорное, фантом и фикция, как «нация» или человечество. Перед лицом всегда близкой смерти важнее лишь твоё, и каждого по отдельности человека, состояние сознания, именно благорасположение к единению, к любви и отвержение ошибки, греха:

«...Когда ты знаешь наверное, что ты всякую секунду можешь исчезнуть без малейшей возможности ни для себя, ни для тех, кого ты вовлечёшь в свою ошибку, поправить её, и знаешь, кроме того, что, что бы ты ни сделал во внешнем устройстве мира, всё это очень скоро и так же наверно, как и ты сам, исчезнет, не оставив следа, то очевидно, что не из-за чего тебе рисковать такой страшной ошибкой» (*Там же. С. 290*).

Сам процент *преднамеренности* в ошибочном, в пользу вражды, в пользу насилия суждений или поступке — залог возможности для человека избежать, удержаться от такого выбора. Ведь истинный всегда памятен, не может во времена общего просвещения не быть известен:

«"Делись тем, что у тебя есть, с другими, не собирай богатств, не величайся, не грабь, не мучай, не убивай никого, не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали", — сказано не 1800, а 5000 лет тому назад, и сомнения в истине этого закона не могло бы быть, если бы не было лицемерия» (*Там же*).

Выраженные в различных, с глубокой древности, нравственные законы, данные людям Свыше и многократно, с древности, подтверждённые пророками и учителями жизни, «соблюдают благо мира», и поэтому обязанности перед обществом, государством «не могут не быть подчинены высшей вечной обязанности», вытекающей из принадлежности единосущной человека к Богу, а к миру, живущему в Боге — как дитя и работника единого Отца. И высшие обязанности противоречат низшим: перед самкой, детёнышами (семейством), перед референтными общественными группами, перед государством:

«И как твои обязанности, вытекающие из твоей принадлежности к известной семье, обществу, всегда подчиняются высшим обязанностям, вытекающим из принадлежности к государству, так и твои обязанности, вытекающие из твоей принадлежности к государству,

необходимо должны быть подчинены обязанностям, вытекающим из твоей принадлежности к жизни мира, к Богу.

...Как это и сказали 1800 лет тому назад ученики Христа (Деян. Ап. IV, 19): "Судите, справедливо ли слушать вас более, чем Бога" и (V, 29): "Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам" (Там же. С. 290 – 291).

Человек, связавший себя мирским обманом, может выдвигать один самообман в поддержку другого: например, оправдывать своё ма-родёрство в Украине, даже самую свою военную службу тем, что жа-елает получше «обеспечить» своих подпутинских, ожидающих «ге-роя» в России, самку и детёнышей. То же касается прочих греховных поприщ. Лев Николаевич Толстой и не ждёт от стандартных абори-генов страны рабов и дураков немедленных шагов к Истине, к Богу и Христу, но стремится побудить таковых хотя бы к *искренности перед самими собой*, к называнию вещей *своими* именами:

«Я не говорю, что, если ты землевладелец, чтобы ты сейчас же отдал свою землю бедным, если капиталист, сейчас бы отдал свои деньги, фабрику рабочим, если царь, министр, служащий, судья, генерал, то чтобы ты тотчас отказался от своего выгодного положения, если сол-дат (т. е. занимаешь то положение, на котором стоят все насилия), то, несмотря на все опасности отказа в повиновении, тотчас бы от-казался от своего положения.

Если ты сделаешь это, ты сделаешь самое лучшее, но может слу-читься — и самое вероятное — то, что ты не в силах будешь сделать этого: у тебя связи, семья, подчинённые, начальники, ты можешь быть под таким сильным влиянием соблазнов, что будешь не в силах сделать это, — но признать истину истиной и не лгать ты всегда мо-жешь. Не утверждать того, что ты остаёшься землевладельцем, фаб-рикантом, купцом, художником, писателем потому, что это полезно для людей, что ты служишь губернатором, прокурором, царём не по-тому, что тебе это приятно, привычно, а для блага людей; что ты продолжаешь быть солдатом не потому, что боишься наказания, а потому, что считаешь войско необходимым для обеспечения жизни людей; не лгать так перед собой и людьми ты всегда можешь, и не только можешь, но и должен, потому что в этом одном, в освобож-дении себя от лжи и исповедании истины состоит единственное благо твоей жизни.

И стоит тебе сделать только это и само собой неизбежно изменится и твоё положение.

Одно, только одно дело, в котором ты свободен и всемогущ, дано тебе в жизни, все остальные вне твоей власти. Дело это в том, чтобы познавать истину и исповедовать её» (*Там же. С. 291 – 292*).

Поганцы и поганки с засратыми с детства мамкой, папкой и прочими горе-воспитателями мозгами смеются над Толстым-христианином и его «утопией», его «наивностями» — а жизнь смеётся потом над ними, в особенности же казённая тётя «родина», «родное» государство, извечное разбойничье гнездо, именующее себя Россией, всегда умеющее дать почувствовать и понять, на какой оси оно тебя повертело, обманув и использовав, как соучастника своих преступлений.

Между рабством у людей и соработничеством, сотворчеством Богу человека как дитя Отцу — не очевиден ли, не прост выбор?

К пониманию единственности, очевидности этого выбора подводит читателя Лев Николаевич, завершая и Заключение, и уже всю книгу евангельскими словами Христа:

«Ищите царствия Божия и правды Его, а остальное приложится вам». Единственный смысл жизни человека состоит в служении миру содействием установлению царства Божия. Служение же это может совершиться только через признание истины и исповедание её каждым отдельным человеком.

"И не придет царствие Божие приметным образом и не скажут: вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот: царствие Божие внутрь вас есть"» (*Там же. С. 293*).

* * * * *

Трактат стал первой крупной работой, написанной уже не тем человеком-христианином, которым, если бы не подстерёг его сатана в виде вождедеющего переезда в Москву семейства, мог бы, живя тихо, по своим идеалам, в Ясной Поляне, оставаться Толстой-христианин, а — написанной тою самой, выстряпанной общественным мнением, «глыбой» не улыбой, монстром всемирной *нравственной авторитетности*, великим-развеликим... увы! уже не художником, об имманентности коему вопило к разуму Толстого его окружение и всё, что было в его личности более приземлённого, начиная со старого тщеславия; и коим мог бы он остаться, избавив Ивана Сергеевича Тургенева от известного предсмертного моления к «великому

писателю земли русской», если бы не ощутительная необходимость Толстого, возлюбив сердцем Христа и Истину первоначального, открывшегося ему, учения — проповедать о нём миру, исходя из актуальных задач спасения надвигавшейся эпохи больших войн и иных мучительнейших бедствий, обрушенных на себя нашим лжехристианским миром.

Книга всё нудилась, всё не давалась окончанием — а её давно ждали издатели и переводчики. Редактор журнала «Вопросы философии и психологии» Николай Яковлевич Грот в феврале 1892 г. передал через сына писателя, Льва Львовича, своё предложение. Ещё раньше, в декабре 1890 г., работая над первыми главами, Толстой пообещал рукопись для перевода знакомому лично англичанину Эмилию Диллону, а в сентябре 1891 г. — датчанину Петеру Ганзену. Шла переписка и с немецким издателем Иосифом Кюршнером, для которого перевод должен был подготовить Рафаил Лёвенфельд. Тот летом 1890 г. приезжал в Ясную Поляну и провёл здесь три дня: он готовился писать биографию Толстого. В Берлине в этом же году вышло собрание сочинений Толстого под редакцией Лёвенфельда. Биография, корректуры которой прочёл сам Толстой, доведённая до 1860-х годов («Войны и мира»), была издана в 1892 г.: R. Löwenfeld. Graf Leo Tolstoj. Sein Leben, seine Werke, seine Weltanschauung.

Летом 1892 г. Толстой, Чертков и Татьяна Львовна переписывались и о Лёвенфельде, и о преподавателе английской литературы в Александровском лицее Карле Ивановиче Тёрнере (Turner). Впрочем, в последнем сомневался Чертков — из-за религиозных убеждений Тёрнера; Толстой в трёх кратких тезисах изложил тогда в письме к возможному переводчику «главные мысли» своей книги (см. 66, 235 – 236).

Религиозные предрассудки повредили кониаким по поводу «Царства Божьего» не с одним Тёрнером. 17 марта 1893 г. из Москвы, куда он приехал 27 февраля, Толстой написал В. Г. Черткову: «Янжул профессор едет в Америку. Я с ним посылаю Гапгуд <переводчице *Изабеле Флоренс Хэпгуд*, 1851 – 1928. – Р. А.> мою рукопись всю. Он едет в субботу. И я кончил, могу допустить, что кончил. Сказать, что кончил, я никогда не дождусь. Но уж дошёл до того, что стал портить ... Удобно то, что Янжул поможет Гапгуд в трудных местах и, в случае отказа Гапгуд, даст другому» (87, 182). 13 марта в сопроводительном письме к переводчице Толстой заметил, что «очень завидует» супругам Янжулам, едущим в Америку.

Изабела Хэпгуд была хорошо знакома Толстым и лично, и как переводчица. В голодные годы она организовала Толстовский фонд для спасения русских крестьян, собрала и передала в Россию, немалые средства, и семья Толстых (Лев Николаевич, Софья Андреевна, Мария Львовна, Татьяна Львовна) в 1892 – 1893 гг. находились с нею в постоянной, энергичной переписке. Незадолго до того Хэпгуд перевела и напечатала в Америке статью Льва Николаевича «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая». Толстой даже хотел весной 1892 г. писать особую статью про «последние выводы и впечатления о голоде и борьбе с ним». В письме к Хэпгуд от 16 (28) марта 1892 г. он признавался: «Очень, очень хотелось бы написать статью и напечатать у вас в Америке, хотя бы как выражение благодарности за братское сочувствие к нашему бедствию, выказанное вашим народом» (*Неизвестный Толстой в архивах России и США. М., 1994. С. 237*).

14 (26) апреля 1892 г. Янжул известил Толстого из Нью-Йорка, что рукопись «Царства Божьего» отдана переводчице. Далее случилось то, что совершенно не предвидел Толстой. «Спустя несколько дней, — вспоминал Янжул, — фигура огромной г-жи Хэпгуд опять появилась на пороге нашего скромного жилища. Мы, разумеется, её приветствовали очень любезно, но на этот раз нашли её в самом дурном настроении духа. С большим раздражением, можно сказать, гневом, она бросила мне на стол огромный свёрток рукописи, ей врученный ранее, и быстро заговорила:

— Я удивляюсь, как мне подобная рукопись могла быть прислана для перевода! Я хорошая христианка и не могу сочувствовать распространению этого анархического сочинения! Знаете ли, что в нём заключается? Читали ли вы его?» (Воспоминания И.И. Янжула о пережитом и виденном в 1864 – 1909 годах. СПб., 1911. Вып. 2. С. 13: http://az.lib.ru/j/janzhul_i_i/text_1911_vospominania_o_perezhitom-2-oldorfo.shtml).

16 (28) апреля 1893 г. Хэпгуд отправила письмо Толстому, где благодарила за доверие к ней как переводчице, но подтвердила отказ («мои убеждения не позволяют мне переводить эту книгу») и обещала указать другое лицо (*Литературное наследство. Т. 75. Кн. 1. С. 41*). Но, вероятно, после этого послала мысленно нахуй оптом всех — и тупо-натупо позабыла своё обещание. Янжул сам нашёл перевод-

чицу. Ею оказалась *Алина Делано* (Alin Delano, урожд. Шурка Кузмищева; 1845 – после 1908), русская по происхождению, жившая в Бостоне.

Около 22 апреля Толстой передал со своим знакомым, художником Н. А. Касаткиным, уезжавшим за границу, одиннадцать глав книги — для Рафаила Лёвенфельда в Берлин и Гальперина-Каминского в Париж. В заключительную, XII-ю главу, ещё вносились поправки...

Переводчице Алине Делано, слава Богу, было всё равно. Она без ропота выполнила свою работу, при этом учтя изменённый и присланный автором только в мае 1893-го новый вариант XII-й главы.

Но не одной старой деве мисс Хэпгуд отругнулось от резко обличительной и проповеднической книги Толстого. В августе Алина Делано известила Толстого, что предлагала перевод трём издателям, все отказываются либо сомневаются. При этом она приложила письмо с прямым отказом сотрудника издательства «Houghton and Mifflin — между прочим, сына кумира Толстого, о котором он написал много хорошего в трактате, Уильяма Ллойда Гаррисона. Английский перевод «Царства Божия внутри вас», сделанный Делано, появился в начале 1894 г. в Лондоне (изд. Walter Scott). В мае 1894-го Делано послала Толстому это издание, сообщив, что фирма Вильяма Гейнемана выпустила перевод великолепной Констанции Гарнет, и обе книги уже продаются в США.

Всё это было уже после того, как в Париже появился французский перевод И. Д. Гальперина-Каминского, в Риме итальянский Софии Бер, в Штутгарте немецкий Рафаила Лёвенфельда. При этом в Германии печатался и русский текст — для нелегального распространения в России. 13 (25) января 1894 г. Лёвенфельд извещал, что экземпляр русского издания (Август Дейбнер, Берлин) уже послан Толстому, а немецкий будет отправлен немного позднее. Это письмо — ответ на запрос Толстого: «Я предполагаю, что издатель сомневается выпустить её, чтобы не подвергнуться обвинению. Если это так, пожалуйста, сообщите мне всё это. Может быть, я могу устранить предстоящие затруднения. Выпускать же книгу с пропусками мне очень нежелательно, но, я думаю, и неудобно, так как она в целом вышла в Париже и, должно быть, теперь уже вышла и в Лондоне» (67, 16).

Однако русское издание вышло в Берлине с цензурными пропусками: в VIII главе опущены две страницы о Вильгельме II, в двух последующих главах изъяты или смягчены характеристики немецких правителей, Петра I и Екатерины II.

Как и позднее, с некоторыми антивоенными статьями или с романом «Воскресение», орава переводчиков доставила автору специфические неприятности. Один из них, Вильгельм Генкель, решил выпустить сокращённый вариант книги. Рафаил Лёвенфельд выазил протест, заявив о своих эксклюзивных правах. Толстой написал Генкелю сочувственное письмо, сожалея о «неприятностях», которым тот подвергся «вследствие несправедливых нападок г-на Лёвенфельда»: «Мысль ваша о составлении сокращённой и дешёвой книги из “Царства Божия...” мне очень нравится» (*Цит. по: Опульская Л.Д. Указ. соч. С. 44*). Напомним читателю, что так было поступлено с другим огромным и тяжёлым для многих читателей сочинением Толстого: на основе «Соединения и перевода четырёх Евангелий» было составлено поправленное и авторизованное Толстым «Краткое изложение». Но тогда, в 1880-х, Толстой как учительствующий проповедник и как публицист ещё не был, как сказали бы в наше время, дорогим «всемирным брендом».

По одному из английских текстов прочитал новую работу Толстого 25-тилетний *Мохандас Карамчанд Ганди* (Mohandas Karamchand "Mahatma" Gandhi, 1869 – 1948), живший тогда в Южной Африке. В 1928 г. он сам вспоминал об этом: «Сорок лет тому назад, когда я переживал тяжелейший приступ скептицизма и сомнения, я прочитал книгу Толстого “Царство Божие внутри вас”, и она произвела на меня глубочайшее впечатление. В то время я был поборником насилия. Книга Толстого излечила меня от скептицизма и сделала убеждённым сторонником ахимсы <гармоничных теории и практики ненасилия. – Р. А.>. Больше всего меня поразило в Толстом то, что он подкреплял свою проповедь делами и шёл на любые жертвы ради истины» (*Ганди М.К. Мой Толстой. – Цит. по: Новые пророки. Торо. Толстой. Ганди. Эмерсон. СПб., 1996. С. 325*).

В России, как водится, препонами цензуры был вызван эффект «запретного плода». Книгу разыскивали и жадно читали те, кто, при свободном к ней доступе в библиотеках или у книгопродавцев, могли бы и не обратить на неё внимания. Помимо нелегального ввоза, книга читалась по гектографическим и рукописным (!) копиям. Благодаря доступу к рукописям трактата ряда лиц, близких к В. Г. Черткову, первые отзывы на сочинение читателей появились задолго до официальной публикации. Так, второстепенный, но глубоко уважавшийся Толстым писатель Александр Иванович Эртель писал фило-

софу Павлу Александровичу Бакунину 24 декабря 1892 г.: «Л. Толстой кончил большое сочинение о войне или, вернее сказать, о государственности. Я читал семь глав из двенадцати. Есть места, поразительные по верности мысли и силе лиризма, но в общем мне не понравилось; однако же недавно я слышал от человека, прочитавшего последние *пять* глав, что ещё никогда Толстой не доходил до такой энергии и красоты выражений и что общая основная его мысль развита здесь в размерах едва ли не революционных. Сочинение, конечно, не может появиться в России» (*Письма А.И. Эртеля. М., 1909. С. 292 – 293*).

В июле 1893 г. литератор, близкий знакомый и единомышленник Толстого Александр Модестович Хирьяков, молодой журналист, сотрудничавший некоторое время в «Посреднике», привёз в Меррекуль, где проводил лето Лесков, свой рукописный экземпляр. Как вспоминала Лидия Ивановна Веселитская (как писательница известная так же под псевдонимом Веры Микулич), чтение продолжалось несколько вечеров. В письме к Толстому Лесков ограничился краткими замечаниями: «...сочинение Ваше мудро и прекрасно сделано. Надо жить так, как у Вас сказано, а всякий понеси из этого сколько можешь... Всё то, что Вы думаете и выражаете в этом сочинении, — мне сродно по вере и по разумению, и я рад, что Вы это сочинение написали и что оно теперь пошло в люди» (*Л.Н. Толстой. Переписка с русскими писателями: В 2 т. Т. 2. С. 274 – 275*). Татьяне Львовне Лесков пояснил: «О впечатлении теперь не буду говорить, так как оно *огромно* и ещё не утряслось. Может быть, нам и не следует писать своих впечатлений, так как всё, что нам кажется, — вероятно, было у Льва Николаевича на уме и им отвергнуто по достаточным причинам» (*Вопросы литературы. 1964. № 10. С. 253*).

Любопытен отзыв писателя, публициста, будущего консервативного гонителя и ругателя Толстого, а в те годы ещё вполне толстовца, Михаила Осиповича Меньшикова (1859 – 1918), писавшего Толстому 20 июля 1893 г. следующее:

«Не могу отделаться от душевной тревоги и раздумья, навеянного этою мужественною, прекрасною книгой, — писал Меньшиков. — Вся она, а в особенности её выводы и заключения, производят захватывающее, могучее впечатление, будят стыд и совесть и желание быть лучшим... Нет сомнения, что эта книга вызовет против Вас новые взрывы ненависти, но она же вызовет и искренние слёзы раскаяния, сердечного возмущения, чувство глубокой признательности

к единственному человеку, самоотверженно ставшему на защиту общечеловеческой, божеской правды» (Цит. по: Опульская Л.Д. Указ. соч. С. 45 – 46). Толстой 3 августа ответил, что был рад: «Я давно знаю вас и люблю ваши писанья. И потому мне очень дорог был ваш отзыв» (66, 375).

Находившийся с Толстым в переписке с 1887 г. писатель и сектант-молоканин Фёдор Алексеевич Желтов сетовал на чрезмерный критицизм книги и ждал изложения положительных взглядов: «Необходимо удерживать читателя у того окна, из которого Вы смотрите на мир» (Цит. по: Опульская Л.Д. Указ. соч. С. 46).

По какому-то гектографированному списку читал «Царство Божие...» и выдающийся критик Владимир Васильевич Стасов. 25 августа 1894 г. он писал Толстому, что «не помнил себя от восторга, читая эту *первую* книгу нашего века». «...У меня была только одна печаль и беда: зачем так скоро кончилась книга, зачем она не продолжается ещё 200 – 300 страниц, зачем она не поворачивает гигантской львиной лапой ещё сто других вещей» (Лев Толстой и В.В. Стасов. Переписка. 1878 – 1906. Л., 1929. С. 139).

Немного раньше, в письме из Парижа к Татьяне Львовне от 19 апреля, один из давнейших и самых любящих, преданных друзей и единомышленников во Христе Льва Николаевича, великий художник Илья Ефимович Репин назвал «Царство Божие...» «вещью ужащающей силы» и рассказывал, что видел её в витринах итальянских книжных магазинов (Цит. по: Опульская Л.Д. Указ. соч. С. 46).

Цензура российская (специальная – «для иностранных изданий») и зарубежная, конечно, работала... на рекламу книги! В письме к Толстому от 29 октября 1893 г. Николай Николаевич Страхов сообщал:

«Ваша книга “Царствие Божие” встречена тихо, но очень враждебно, как и следовало ожидать. Цензура объявила, что это самая вредная книга из всех, которые ей когда-нибудь пришлось запрещать. О, Вы делаете чудеса, бесценный Лев Николаевич! Вы будите спящий дух, Вы один говорите *живые* слова, и они неотразимо действуют. [...] Наполовину отзывы мне понравились, — не содержанием, а своим очень почтительным тоном; этот тон всё еще непривычная новость» (Переписка Л. Н. Толстого и Н. Н. Стрехова (1870—1896): В 2 т. СПб., 2023. Том 2. Кн. 2. С. 372).

В подобных похвалах близких друзей, кстати — ключик к пониманию важной причины недовольства Толстого многими своими вы-

ступлениями в печати — включая и такие художественные сенсации, как «Крейцерова соната» или роман «Воскресение». Как и все мы, он помнил — и не только по стиху Пушкина, но и по религиозному православному воспитанию — что «глаголом», то есть словом своим, нужно сердца *зажигать*, но никогда не пусто будоражить и не тем более не выпускать из них яд злобы... А тут — и отзывов *половина*, мало того, что написана с непониманием, отторжением слова «Царство Божие», так ещё и непочтительным тоном! Слово-то живое... А сердца тогда — отчего не зажгло? Или сердца так сильно подмочены, или всё-таки...

Так или иначе, но, несмотря на препоны цензуры, Россию проникали как немецкое издание на русском языке, так и переводы. 18 мая 1894 г. Главное управление по делам печати распространило секретный циркуляр начальника главного управления по делам печати Министерства внутренних дел (главного цензора России) Евгения Михайловича Феоктистова: «До министерства внутренних дел дошли сведения, что сочинение графа Л. Толстого “Царство Божие внутри вас есть”, напечатанное за границею и безусловно запрещённое к обращению, в настоящее время в значительном количестве экземпляров тайно проникло в пределы империи и распространяется между прочим путём перепечатывания на пишущих машинах, в особенности в южных губерниях». Предписывался бдительный негласный надзор за всеми типографиями, литографиями и даже частными лицами, имеющими пишущие машинки (*Апостолов Н. Л. Н. Толстой под ударами цензуры // Красный архив. Т. 35. М., 1929. С. 230*).

«Царством Божиим» персонально огорчён был, вкупе с окружением, император Александр III любивший Толстого как художника, а жену его — платонической любовью безнадежного, уже предсмертного старика к энергической, умнейшей, многоталантливой и прекрасной женщине. В те дни Татьяна Львовна, умница в маму, но частая, в юности, сторонница папы, рассказала в Ясной Поляне «придворный анекдот»: «Профессор Ключевский явился давать урок великой княжне Ксении, дочери Александра III. “Я не буду сегодня заниматься, — сказала та, — я расстроена, потому что папа расстроен. Он читал последнее произведение Толстого “Царство Божие” и говорит: “Его давно пора засадить”. А ваше — профессоров — каково мнение об этом?”. Неизвестно, что отвечал Ключевский». Другой вариант этой истории, тоже со слов Татьяны Львовны, привёл Д.

П. Маковицкий, бывший в Ясной Поляне в августе 1894 г.: Александр III пришёл с книгой «Царство Божие внутри вас» в кабинет одного из своих сыновей, которому в это время профессор В. О. Ключевский преподавал историю. «Это ужасно, что Толстой пишет, — сказал царь, — следовало бы его наказать. Вы, господа, — обратился он к профессору, — не дадите мне его выслать». Ещё раньше, когда царю советовали употребить репрессии против Толстого, он ответил: «Je ne veux ajouter à sa gloire la couronne de martyr» <фр. «Я не желаю увеличивать его славу короной мученика»>. «Мы, — прибавляла Т. Л. Толстая, — ожидаем, что нас всё-таки куда-нибудь вышлют. Но правительство знает, что если бы оно выслало отца за границу, это лишь увеличило бы его влияние». И, в своём дневнике: «Папа часто говорит, что был бы рад гонениям, но я думаю, что и ему это было бы тяжело» (Цит. по: Опульская Л.Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1892 по 1899 год. М., 1998. С. 112).

Между тем, пресса охотно помещала критические разборы формально запрещённой в России книги. Консервативно настроенный поэт Яков Петрович Полонский (1819 – 1898) опубликовал в журнале «Русское обозрение» (1894, № 3 – 4) пространную статью «Заметки по поводу одного заграничного издания и новых идей графа Л. Н. Толстого», а два года спустя выпустил её отдельной брошюрой. Здесь говорилось: «Я возражаю графу вовсе не ради себялюбия или ради того, чтоб как-нибудь повредить ему. Мы никогда не были врагами, и я до сих пор люблю его, как доброго старого знакомого, и поклоняюсь ему, как гениальному художнику. Но виноват ли я, если моё *разумение жизни* иное, что я иначе понимаю, как идти к нравственному совершенству» (Цит. по: Опульская Л.Д. Указ. соч. С. 47). Полонский был против толстовской критики государства и церкви. «В сущности же любовь, проповедуемая Толстым, таит в себе такие семена ненависти, и затем братоубийственного кровопролития, что становится страшно» (Там же). Это по сей день частый, ничем не доказуемый, выпад противников Христа и Толстого, отчего-то убеждённых, что возвещённый Иисусом Христом «не мир, но меч» будет в руках именно свободного, недогматического христианина — лишь потому, что он не разделяет с душевной толпой её душевных, чуждых первоначальному христианству суеверий...

Статья Полонского «По поводу одного заграничного издания новых идей гр. Л. Н. Толстого» после публикации в «Русском обозрении» вызвала совершенно неожиданный резонанс: в правительственных

кругах её восприняли как голос в их поддержку и одобрили, хотя Полонский на это и не рассчитывал. Писателя посетил товарищ министра народного просвещения. «От последнего узнал я, - признавался Полонский, - что и министр граф Делянов читал ее и даже выразил желание разослать статью по учебным заведениям, если она будет издана в виде брошюры. Издать, конечно, не долго, да это и не будет дорого стоить, но... Тотчас же пойдёт молва, что я писал по заказу, писал, чтоб угодить нашему правительству... Заподозрится искренность моих убеждений...»

Быть неискренним Полонский не мог, но в то же время он не предполагал, что его статья так заинтересует министра народного просвещения.

С. С. Тхоржевский опубликовал выписки из дневника Полонского за 1896 год:

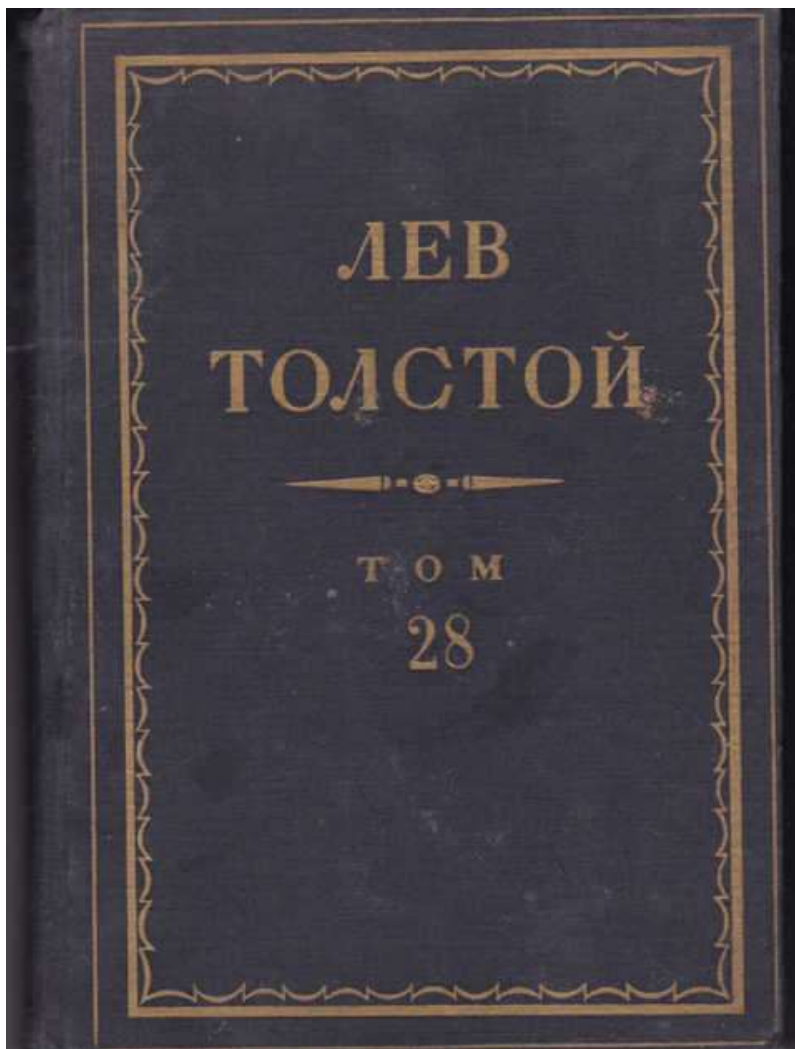
«2 января. Вечером был у меня А. Н. Майков. Говорил о том, что нет ни одного лица, способного быть министром народного просвещения... Поневоле Делянов держится ещё на его министерском месте.

30 января. ...В синодальную типографию послан последний лист моих заметок о графе Л.Н. Толстом».

Именно благодаря министру Делянову заметки Полонского были изданы отдельной брошюрой и разошлись в течение двух дней, чего сам автор никак не ожидал.

В письме к Толстому Полонский поделился своими мыслями о совершенствовании человеческих отношений: «Проповедуй Вы реформы, я примкнул бы к Вам, как к реформатору, преследующему более или менее усовершенствование того, что... искажено... невежеством и человеческими пороками». Всё ту же мысль о связи общественных учреждений с «прогрессом» Полонский выразил в неопубликованной статье «В каком смысле я монархист и республиканец», хранящейся в Пушкинском доме Российской академии наук. П. А. Орлов, изучивший рукопись, писал: «Основные мысли этой статьи сводятся к следующим положениям. Политический строй любого государства обусловлен, по мысли автора, степенью культуры населения его народа. В силу этого форма правления зависит «от статистических данных, а не от теорий и прокламаций»... Полонский даже делает попытку определить примерные условия для той или иной формы государственного строя... Само существование монархии объясняется автором статьи исключительно невежеством подданных. Россия, по мысли писателя, ещё нуждается в монархе, ибо

народ (имеется в виду прежде всего крестьянство) не уяснил себе «никаких понятий о том, что такое государство и общество», потому без царя «всё превратится в хаос, из которого нам не дадут и выйти враги наши, а воспользуются им, чтобы... покорить своему влиянию». Иными словами, Полонский считает себя монархистом не потому, что ему вообще нравится эта форма правления, а только потому, что вынужден признать временную её необходимость для России» (<http://jakovpolonsky.ru/print/936>). Самое удручающее и одновременно грустно-комичное здесь то, что и в современной, 2023 года, России у Я. П. Полонского нашлись бы единомышленники со списком «врагов России» и поклонением, как батюшке царю, действующему президенту.



Волшебный 28-й том юбилейного Полного собрания сочинений... Единственное издание, в котором узники коммунацкого Совка-СССР могли прочесть полный текст «Царства Божьего». 1957 г. Тираж 5 тысяч экз.

Без цензурных пропусков и на русском языке книга «Царство Божие внутри вас» была напечатана в 1896 г. в Женеве издателем из России, эмигрантом Михаилом Константиновичем Элпидиным. Под текстом стояла дата и подпись. «14 мая 1893 г. Ясная Поляна. Л. Толстой».

Это был день, когда Толстой с удовлетворением отметил в Дневнике завершение трёхлетнего труда: «Я свободен» (52, 78).

* * * * *

Освободив наконец, очень кстати, цветущими майскими днями, себя от радостно-мучительного, исключительного по трудоёмкости дела служения Божьей Истине учения Христа, Толстой «озадачил» не одних переводчиков. По существу, книга дала «руководство к действию» прежде немногочисленным отказникам от военной службы, значительно подробнейшее, нежели «программный» трактат Льва-учителя, Толстого-христианина начала 1880-х «В чём моя вера?»

Одним из частных следствий распространения сладко-запретного сочинения Л. Н. Толстого «Царство Божие внутри вас» стал рост числа отказов от военной службы, и не только в России. Год 1895-й стал годом своеобразного «парада отказников», с частью из которых у Толстого установились личные близкие отношения.

Яркий пример такого отказника в России — *Пётр Васильевич Ольховик* (1875 – ?) – крестьянин Сульского уезда, Харьковской губ., последователь Толстого, его корреспондент и адресат. В 1895 г. он отказался от воинской службы, за что был арестован и отправлен из Одессы пароходом во Владивосток. По пути он «заразил» своими взглядами конвоировавшего его солдата Середу. Ольховику принадлежат опубликованные в 1897 г. в Лондоне «Письма Петра Васильевича Ольховика, крестьянина Харьковской губ., отказавшегося от воинской службы в 1895 г.», в которых, в согласии с мнением Толстого, проводилась мысль, что «война и военная служба – зло, не согласное с христианским учением, почему всякий здравомыслящий человек должен уклоняться от военной службы» (37, 79).

Толстой обращался ко многим влиятельным лицам, в т. ч. к судье Временного морского суда порта Владивостока, с просьбой помочь Ольховику и Серееде облегчить их положение. Это «спасло их от телесного наказания и уменьшило их срок содержания» (71, 342).

В своих позднейших статьях «Две войны», «Одумайтесь!», «Закон

насилия и закон любви» Толстой вспомнит Ольховика и назовёт в числе мучеников за веру. Писатель использовал в этих статьях «Письма Петра Васильевича Ольховика...». Он продолжал следить за судьбой Ольховика, осуждённого на 18 лет ссылки в Якутию. В 1905 г. Ольховик эвакуировался с духоборами в Америку.

Пример единомышленника 1890-х гг. за рубежом — молодой французский художник *Эдуард Синэ* (Sinet; годы жизни не установлены), посетитель, корреспондент и адресат Льва Николаевича. Живя во Франции, Синэ по религиозным мотивам отказался от военной службы, за что был осуждён и отправлен в дисциплинарный батальон в Алжир, откуда бежал. 25 декабря 1898 г. из Парижа Синэ отправил Толстому большое письмо, в котором поведал о себе и своих сомнениях. Начато оно обращением «Grand Homme! [Великий человек] [...] Брошенный с детства в жизнь, полную приключений, я жадно искал истины, когда наконец один искренний человек указал мне на вас. С тех пор я твердо уверен, что вышел из тёмного и бесконечного лабиринта заблуждений. Итак, я хочу немедленно направить свою жизнь, и мне необходимо выбрать тот или иной путь. [...] Отец мой, направьте меня на верный путь!» (72, 4 – 5). В ответ 2/14 января 1899 г. Толстой писал: «Дорогой брат [...]. Моисей не вошёл в обетованную землю, а наиболее возвышенный и богатый последствиями пример в жизни Иисуса – это его смерть. Покинутый всеми друзьями, один среди врагов, он сам одну минуту усомнился в пользе своей жертвы. 100 лет спустя после его смерти учение и жертва его были менее известны цивилизованному миру того времени, чем страдания последнего русского, немецкого, шведского солдата, который отбывает свой срок в тюрьме за отказ от службы. И вот теперь это забытое учение воскресает, перерождает весь мир и изменяет его в корне» (72, 4).

Синэ приехал к Толстому в Хамовники в феврале 1899 г. 27 февраля жена писателя, Софья Андреевна Толстая записала в дневнике: «Живёт у нас художник, ничтожный французик, совершенно бесполезный; пустили его жить без меня. Фамилия его Sinet» (*Толстая С.А. Дневники. Указ. изд. Т. 1. С. 449*). Толстой воспринимал гостя иначе: «Живёт интересный и живой француз Sinet. Первый религиозный француз» (дневник, 21 февраля 1899 г.; 53, 219). В. Г. Черткову он писал: «У меня живёт француз Sinet — живописец, первый француз радикальный христианин. Я с ним пошёл на выставку Ярошенки...»

(88, 157). В том же году стараниями Толстого Синэ с четвёртой партией духоборов (карских) из Батуми отправился в Канаду. Они поселились на равнине Деад-Хорс-Крик и в провинции принца Альберта. У духоборов сохранились воспоминания о Синэ: «Приезжал к нам молодой парнишка, Эдуард звали, француз; рассказывает, хочет жить с нами. Но только ему было трудно. Пробовал они пахать, и косить – всё нейдёт. Наконец попробовал носилки носить с женщинами, сено, например, и тут не мог. “Видимо, говорит, мои руки только для письменности годятся”. Взял и уехал домой» (Цит. по: *Тан В.Г. Духоборы в Канаде. М., 1911. С. 231*). Через два года после отъезда из России в Канаду Синэ получил амнистию и вернулся во Францию.

В хамовническом доме Толстых, в комнате камердинера, что рядом с кабинетом Толстого, над кроватью висит выполненный художником Синэ карандашный портрет жившего в этой комнате слуги И. В. Сидоркова.

Но, пожалуй, наиболее выдающимся из «отказников» этих лет был словак, доктор Альберт Альбертович Шкарван (Skarvan, 1869 – 1926) - словацкий врач и литератор; единомышленник, корреспондент и адресат Л. Н. Толстого, автор статей и воспоминаний о нём. В 1895 г., буквально за шесть недель до завершения срока службы, под влиянием христианских писаний Льва Николаевича и общения с его духовными львятами — в числе которых был соотечественник Шкарвана, Душан Маковицкий — Альберт Альбертович «дозрел» до отказа от военной службы. Показательно, что последовательного толстовца, то есть свободного христианина, доброжелатели убеждали «дослужить», а затем уже, в отставке, использовать мирской авторитет свой и дар печатного слова — на общественно-политическую, пацифистскую деятельность. Но Шкарван, как сам Христос, предпочёл мирскому влиянию Бога и Истину... Благодаря имени Толстого, с которым он связал себя, он не прогадал: все его пацифистские выступления уже в XX веке были бы забыты, а «Записки военного врача» и дневниковые записки — находят своего читателя до сего дня: тем более, что Лев Николаевич включил отрывки из «Записок» в свой «Круг чтения».

За этот отказ накануне отставки Шкарван был помещен в психиатрическую больницу, а затем лишён диплома врача и приговорён к тюремному заключению. Из тюрьмы тётя «родина» не раз пытается

принудить А. А. Шкарвана к возвращению к медицинской службе — в качестве уже разжалованного, солдата санитарной роты. В ожидании очередной попытки мобилизации Шкарван уезжает в Россию — к единомышленникам и к Толстому...

Среди суждений Толстого об Альберте Шкарване затерялось упоминание о нём, как «высокообразованном, совершенно свободомыслящем, военном враче» (39, 85). Затерялось потому, что это упоминание о Христовом единовеце своём Лев Николаевич оставил в тексте своего сочинения, написанного в январе-феврале 1895 года и посвящённого совершенно другой персоналии, с весьма трагической судьбой — народному учителю Евдокиму Никитичу Дрожжину. Помимо стараний Толстого и его помощников в общем служении, об этом отказнике и его страданиях тётя «родина» постаралась замолчать и забыть ещё при жизни писателя. Именно поэтому, не представляя читателю, в том же формате краткости, всей плеяды исторически известных духовных отказников от военщины — как правило, благоговейных читателей «Царства Божия» и «В чём моя вера?», — и, завершая наконец значительнейшую не одними объёмами Главу, в следующей мы подробнее остановимся на судьбе именно этого, надолго забытого, человека, показательной именно подробностями жестокости, и по сей день применяемой в российской армии исподтишка (а в оккупированной части Украины, с начала 2023 года — даже и по законам, спешно принятым подпутинскими шлюхами в Думе!), типичной и ярко характеризующей нравы и «традиции» взаимоотношений государства и личности, характерные для гнусных отщепенцев всемирной цивилизации III тысячелетия, именующих себя Россией и «русским миром».

ЗДЕСЬ КОНЕЦ ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЫ



Прибавление 1.

**Из Двенадцатой главы
трактата Л. Н. Толстого
«Царство Божие внутри вас»**

В начале ноября, проезжая по Туле, я увидел опять у ворот дома земской управы знакомую мне густую толпу народа, из которой слышались вместе пьяные голоса и жалостный вой матерей и жён. Это был рекрутский набор.

Как и всегда, я не мог проехать мимо этого зрелища; оно притягивает меня к себе какими-то злыми чарами. Я опять вошёл в толпу, стоял, смотрел, расспрашивал и удивлялся на ту беспрепятственность, с которою совершается это ужаснейшее преступление среди бела дня и большого города.

Как и все прежние года, во всех сёлах и деревнях 100-миллионной России к 1-му ноября старосты отобрали по спискам назначенных ребят, часто своих сыновей, и повезли их в город.

Дорогой шло безудержное пьянство, в котором старшие не мешали рекрутам, чувствуя, что идти на такое безумное дело, на которое они шли, бросая жён, матерей, отрекаясь от всего святого только для того, чтобы сделаться чьими-то бессмысленными орудиями убийства, слишком мучительно, если не одурманить себя вином.

И вот они ехали, пьянствовали, ругались, пели, дрались, уродовали себя. Ночь они провели на постоялых дворах. Утром опять опохмелились и собрались у земской управы.

Одна часть их в новых полушубках, в вязаных шарфах на шеях, с влажными пьяными глазами или с дикими подбадривающими себя криками, или тихие и унылые толкуются около ворот между заплаканными матерями и жёнами, дожидаясь очереди (я застал тот день, в который шёл самый приём, т. е. осмотр назначенных в ставку); другая часть в это время толпится в прихожей присутствия.

В присутствии же идет спешная работа. Отворяется дверь, и сторож вызывает Петра Сидорова. Пётр Сидоров вздрагивает, крепится и входит в маленькую комнатку с стеклянной дверью. В этой комнатке раздеваются призываемые. Только что принятый и вышедший голым из присутствия рекрут, товарищ Петра Сидорова, с дрожащей челюстью торопливо одевается. Пётр Сидоров уже слышал и по лицу видит, что тот принят. Пётр Сидоров хочет спросить, но его торопят и велят скорее раздеваться. Он скидывает полушубок, нога об ногу сапоги, снимает жилет, перетягивает через голову рубаху и с выступающими рёбрами, голый, дрожа телом и издавая запах вина, табаку и пота, босыми ногами входит в присутствие, не зная, куда деть обнажённые жилистые руки.

В присутствии висит прямо на виду в большой золотой раме портрет государя в мундире с лентой и в углу маленький портрет Христа в рубахе и терновом венке. По середине комнаты стоит покрытый зелёным сукном стол, на котором разложены бумаги и стоит треугольная штучка с орлом, называемая зеркало. Вокруг стола сидят с уверенным, спокойным видом начальники. Один курит, другой перелистывает бумаги. Как только Сидоров вошёл, к нему подходит сторож, и его ставят под мерку, толкают под подбородок, поправляют его ноги. Подходит один с папироской — это доктор, и, не глядя в лицо рекрута, а куда-то мимо, гадливо дотрагивается до его тела и меряет, щупает и велит сторожу разевать ему рот, велит дышать, что-то говорить. Кто-то что-то записывает. Наконец, ни разу не взглянув ему в глаза, доктор говорит: "Годен! Следующего!" и с усталым видом садится опять к столу. Опять солдаты толкают малого, торопят его. Он кое-как, поспешая, натягивает рубаху, не попадая в рукава, кое-как завёртывает штаны, портянки, надевает сапоги, ищет шарф, шапку, подхватывает в охапку полушубок, и его выводят в залу, отгораживая его скамьей. За этой скамьей ждут принятые. Такой же, как он, молодой малый из деревни, но из дальней губернии, уже готовый солдат с ружьём, с примкнутым острым штыком караулит его, готовый заколоть его, если бы он вздумал бежать.

Между тем толпа отцов, матерей, жен, толкаемая городскими, жметя у ворот, узнавая, чей принят, чей нет. Выходит один забракованный и объявляет, что Петруху приняли, и раздаётся взвизг Петрухиной молодайки, для которой это слово: "принят", значит разлука на 4 – 5 лет, жизнь солдатки в кухарках, в распутстве.

Но вот по улице проехал человек с длинными волосами и в особенном, отличающемся от всех наряде и, сойдя с дрожжек, подходит к дому земской управы. Городовые расчищают ему дорогу между толпою. Приехал "батюшка" приводить к присяге. И вот этот батюшка, которого уверили, что он особенный, исключительный служитель Христа, большей частью не видящий сам того обмана, под которым он находится, входит в комнату, где ждут принятые, надевает занавеску парчовую, выпростывая из-за неё длинные волосы, открывает то самое Евангелие, в котором запрещена клятва, берёт крест, тот самый крест, на котором был распят Христос за то, что он не делал того, что велит делать этот мнимый его служитель, кладёт их на аналой, и все эти несчастные, беззащитные и обманутые ребята повторяют за ним ту ложь, которую он смело и привычно произносит. Он читает, а они повторяют: обещаюсь и клянусь всемогущим Богом пред святым его Евангелием... и т. д. защищать, т. е. убивать всех тех, кого мне велят, и делать всё то, что мне велят те люди, которых я не знаю и которым я нужен только на то, чтобы совершать те злодеяния, которыми они держатся в своём положении и которыми угнетают моих братьев. Все принятые ребята бессмысленно повторяют эти дикие слова, и так называемый "батюшка" уезжает с сознанием того, что он правильно и добросовестно исполнил свой долг, а все эти обманутые ребята считают, что те нелепые, не понятные им слова, которые они только что произнесли, теперь, на всё время их солдатства, освободили их от их человеческих обязанностей и связали их новыми, более обязательными солдатскими обязанностями.

И дело это совершается публично, и никто не крикнет обманывающим и обманутым: опомнитесь и разойдитесь, ведь это всё самая гнусная и коварная ложь, которая губит не только ваши тела, но и души.

Никто не делает этого; напротив, когда всех приняли и надо выпускать их, как бы в насмешку им, воинский начальник с самоуверенными, величественными приёмами входит в залу, где заперты обманутые, пьяные ребята, и смело по-военному кричит им: Здорово ребята! Поздравляю с *"царской службой"*. И они бедные (уже кто-то научил их) лопочат что-то непривычным, полупьяным языком, вроде того, что они этому рады.

Между тем толпа отцов, матерей, жен стоит у дверей и ждет. Женщины заплаканными, остановившимися глазами смотрят на дверь.

И вот она отворяется, и выходят, шатаясь и кружась, принятые рекрута: и Петруха, и Ванюха, и Макар, стараясь не смотреть на своих и не видеть их. Раздаётся вой матерей и жен. Одни обнимаются и плачут, другие храбрятся, третьи утешают. Матери, жёны зная, что они теперь на три, четыре, пять лет остались сиротами без кормильца, воют и наголос причитают. Отцы мало говорят, а только с сожалением чмокают языками и вздыхают, зная, что теперь уж не видать им выхоженных ими и выученных помощников, а вернуться к ним уж не те смиренные, работающие земледельцы, какими они были, а большей частью уже развращённые, отвыкшие от простой жизни щёголи-солдаты.

И вот вся толпа рассаживается по саням и трогается вниз по улице к постоянным дворам и трактирам, и ещё громче раздаются вместе, перебивая друг друга, песни, рыдания, пьяные крики, причитания матерей и жён, звуки гармонии и ругательства. Все отправляются в кабаки, трактиры, доход с которых поступает правительству, и идёт пьянство, заглушающее в них чувствуемое сознание беззаконности того, что делается над ними.

Две-три недели они живут дома и большею частью “гуляют”, т. е. пьянствуют.

В назначенный срок их собирают, сгоняют, как скотину, в одно место и начинают обучать солдатским приёмам и учениям. Обучают их этому такие же, как они, но только раньше, года два-три назад, обманутые и одичалые люди. Средства обучения: обманы, одурение, пинки, водка. И не проходит года, как душевно здоровые, умные, добрые ребята становятся такими же дикими существами, как и их учителя.

— Ну, а если арестант — твой отец и бежит? — спросил я у одного молодого солдата.

— Могу заколоть штыком, — отвечал он особенным, бессмысленным солдатским голосом. — А если “удаляется”, *должон* стрелять, — прибавил он, очевидно гордясь тем, что он знает, что нужно делать, когда отец его станет удаляться.

И вот когда он, добрый молодой человек, доведён до этого состояния, ниже зверя, он таков, какой нужен тем, которые употребляют его как орудие насилия. Он готов: погублен человек, и сделано новое орудие насилия.

И всё это совершается каждый год, каждую осень везде, по всей России, среди бела дня и большого города, на виду у всех, и обман

так искусен, так хитёр, что все видят его, знают в глубине души всю гнусность его, все страшные последствия его и не могут освободиться от него.

(28, 241 – 245)

Прибавление 2.

ДВА ОТРЫВКА ИЗ КНИГИ А. А. ШКАРВАНА «МОЙ ОТКАЗ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. ЗАПИСКИ ВОЕННОГО ВРАЧА»

(1.) Глава IV. ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ СЛУЖИТЬ ВОЕННЫМ ВРАЧОМ

Многих поражает то обстоятельство, что я отказался продолжать военную службу в качестве *врача*. Многие допускают, что отказ от строевой службы ещё понятен, так как назначение строевого солдата несомненно состоит в том, чтобы обучаться убийству и, если начальство того потребует, то и совершать убийства.

„Но, — спрашивают люди, — как может отказаться от своей службы военный врач, знание и обязанность которого состоят совсем не в убийстве людей, а, наоборот, в том, чтобы подавать помощь больным, страдающим, и, следовательно — творить дела гуманные, дела милосердия?“

„Деятельность врача, — добавляют еще такие люди, — есть сама по себе христианская деятельность, и потому тот, кто бросает эту деятельность, заслуживает даже с нравственной точки зрения скорее осуждения, чем сочувствия.“

И люди, при общей, свойственной им склонности не разбирать настоящего положения вещей, охотно принимают такого рода рассуждение, считая вопрос решённым, и кладут его в сторону, чтобы больше не думать о нём. Такие возражения мне пришлось слышать не только от военных, но равно и от гражданских людей, не только материалистов, но даже и от людей несомненно религиозных. Это самое мне выражали даже некоторые назарены, люди понявшие греховность военной службы, отказывающиеся от неё, и за это убеждение всю свою молодость просидевшие в тюрьмах и умирающие там.

Является вопрос, как может мнение назарен быть согласно с мнением людей совсем других взглядов на войну? И другой вопрос: справедливо ли это мнение? Для меня несомненно то, что назарены пошли на более тонкий, но в сущности тот же самый самообман, когда они между собой решили поступать, — если потребуют власти, — в санитарные роты, как они теперь и делают. В этом и всё объяснение.

Утверждать же, что служба военного врача, а с ней и служба санитарного солдата, не противны духу Христа, что такая служба составляет как бы добродетель, — очень грубая ошибка. Ошибка заключается в том, что из всякого дела и занятия можно сделать дело дьявола (как это и доказывает практика многих врачей), всё зависит лишь от того, как делающий известное дело относится к нему. Поэтому и не верно утверждение, что вообще занятие врача само по себе есть занятие благородное. Кроме того путает этот вопрос ещё и то обстоятельство, что громадное большинство людей относится к медицинской науке суеверно, даже не подозревая того, насколько справедливо изречение Фауста: *Der Sinn der Medizin ist leicht zu fassen, du durchstudirst die grosse und die kleine Welt, um es am Ende gehen zu lassen, wie's Gott gefaellt.* *)

*) Сущность медицины легко усвоить: изучаешь великий и малый мир только затем, чтобы в конце концов оставить всё на Божью волю.

Но главное, что делает преступным службу военного врача, это та тесная связь, которая существует между его деятельностью и убийством людей — настоящим назначением армии. Связь эта лицемерно прикрыта плащом гуманности и потому не так очевидна людям. Тем не менее она существует, и всякий, желающий видеть, может её видеть, ибо очень легко поднять этот плащ, под которым скрывается тот же разбойник.

Военный врач свидетельствует солдат, т. е. решает, кто из людей годится для пушечного мяса, кто нет; осматривает тех солдат, которых наказывает начальство, т. е. решает, кого можно затворить в темницу, на кого можно надеть кандалы, кого можно лишить еды и т. п.; следовательно, постоянно содействует бесчеловечному, зверскому насилию над людьми.

Но предположим даже, что он всего этого не будет вынужден делать, и что кроме добросовестного лечения больных солдат, не будет ничем другим заниматься, — даже это ничуть не уничтожило бы греховности его деятельности, *ибо нельзя не спросить себя, нельзя не видеть того, какая цель преследуется этим лечением. Военный врач во всяком случае представляет наемника за деньги, нанятого организованной шайкой убийц единственно для того, чтобы наблюдать за здоровьем людей, предназначенных, на убой и на совершение убийства.*

И нельзя в этом случае не сознавать того, что всем известно, — того, что быть пособником в каком бы то ни было виде безнравственному, дикому учреждению, — постыдно и унижительно, какое бы хорошее название ни давали этому делу, какой бы красивый мундир за это ни надевали, сколько бы золотых крестиков ни дарили за такую службу. Ведь, наверное, ни одна честная женщина ни за какие деньги не согласится поступить в кухарки в шайку разбойников, хотя приготовление кушанья не только не составляет греха само по себе, но нужное и необходимое для людей условие жизни. А в чём же разница между разбойниками и армиями? Единственно лишь в размерах грабежа.

Пора бы нам всем понять, что постыдно и унижительно продавать свои знания тем, кто нуждается в них, для более лёгкого достижения своих злых намерений!

Пора бы понять, что всякое малейшее содействие в основанных на насилии делах правительств, составляет для человека, желающего себе и другим блага, — унижение собственного достоинства и великое преступление против самых элементарных требований любви и даже простой гуманности!

(2.) ИЗ «ЗАКЛЮЧЕНИЯ»

Как всякая ложь держится главным образом тем, что, скрываясь перед светом, она живёт в потёмках, так и все правительства, — это грандиозное воплощение лжи и бесправия, — ничего так не боятся как света, могущего обнаружить всю ту нечестную махинацию, на которой они построены, и которую они так тщательно скрывают перед людьми. В этом отношении, для государственной власти никто не является столь опасным элементом, как люди, решительно и открыто, не смотря ни на какие внешние препятствия, заявляющие

свой протест против государства тем, что они нападают на самый его корень, отказываясь от исполнения требуемой от них военной службы. Власти чувствуют, что такие люди обладают единственным средством, помимо которого неизбежно и очень просто им будет положен конец; и потому-то им и остается только одно: стараться, чтобы средство это не стало общеизвестным.

Власти утверждают, — и многие люди верят этому, — что они существуют для общего блага людей; и этим утверждением они получают в глазах наивного общества нравственный престиж. Но как только являются люди, ни в чём другом перед государством не виновные, как в том, что они отказываются подчиняться таким требованиям правительства, которые противны истине и любви, — напр. отказываются обучаться военному ремеслу, т. е. убийству людей, — так тотчас власти преследуют их за это, сажая в тюрьму и т. п., так как не наказывать таких людей правительства не могут. Одним уже этим власти выдают себя, показывая очень наглядно даже для самого близорукого человека, что, кроме грубого насилия, они не имеют никакой опоры для своего существования. Продолжать же своё существование правительства могут единственно благодаря тому, что им ещё удаётся отводить глаза общества от их разбоя и насилия.

Но против разрастающейся в людях силы божеского жизнепонимания, — правительства устоять не могут.

Правительства не имеют и не могут иметь никакого средства спасения от людей, проникнутых этим жизнепониманием. Всё то, что они против них предпринимают: сажание в тюрьмы, в сумасшедшие дома, мучения их голодом, и все физические и нравственные пытки, до самой смертной казни включительно — всё это — средства, не могущие остановить в людях сознания того, чего следует избегать и что следует делать. Поэтому правительствам не остаётся ничего иного, как скрывать наносимые им раны перед теми, кто ещё верят в непоколебимость их власти, боятся её и потому подчиняются их требованиям.

Думая про запутанность нашей жизни и про распутывание её, — про то, как необходимо избавиться человечеству от рабства государственного, на котором держится всякое другое бесправие, — я вспоминаю как я в первый раз пробовал колоть дрова. Был у меня и хороший топор, была и охота работать; а результат напряжённого труда был всё-таки крайне жалкий. Я размахивался во всю, натер

себе мозоли на руках, а иное полено так вовсе и не мог расколот. Выходило это у меня потому, что поленья эти были очень сучковатые, и я избегал попадать в сук, рассуждая, что, если трудно мне справиться с поленом, когда рублю его в том месте, где оно гладкое и мягкое, то должно быть несравненно труднее, если рубить прямо в жёсткий, как камень, сук. Случилось однажды, что я нечаянно попал топором как раз в самую середину большого сука и, к моему удивлению, всё большое полено, как бы под влиянием волшебной силы, раскололось на двое. Этим открылся для меня весь секрет рубки сучистых поленьев.

Так и с государством. Люди, сознавшие вред государства, стараются уничтожить этот вред. Одни хотят достичь этого бросанием бомб; другие мечтают о постепенном переустройстве государственных форм; третьи устраивают лиги мира, и т. д. Но из всех этих усилий ничего не выходит, ибо все эти попытки представляют в лучшем случае ни что иное, как удар по гладкому месту; между тем, как в самый сук избегают попадать. Сук этот, плотно связывающий во едино государственную власть, есть *милитаризм*. И точно так, как для того, чтобы разрубить полено, надо попадать топором прямо в сук, так и для того, чтобы разрушить государство, надо, разрушить милитаризм, на котором оно всё построено. А разрушается милитаризм единственно тем кажущимся незначительным и маловажным средством, которое заключается в единичных отказах от военной службы. Всё равно, малое или большое это средство, но оно единственно действительное.

Отказы же эти приводятся в исполнение не в силу каких-либо соображений о том, что надо уничтожить государство, и, вообще, не ради каких-либо внешних целей; но из-за старания направлять свою собственную жизнь туда, куда этого требует от нас голос совести, голос Бога. При таком старании неизбежно выходит то, что люди, постепенно или же разом переставая быть участниками разных видов зла и несправедливости, этим самым, часто даже бессознательно, содействуют прекращению самого крупного зла государственного. Единственное, что во власти человека, это — управлять самим собою, т. е. идти, или не идти туда, куда всегда стремился и будет стремиться человек — к Богу.

При таком старании непременно будут разрушаться внешние и внутренние препятствия, мешающие людям жить хорошо, непременно будут являться формы жизни лучшей, более счастливой, чем

теперешняя, будет осуществляться всеми нами страстно желаемое и ожидаемое царство мира и любви. Но для этого прежде всего необходимо, чтобы человек знал и ценил свое человеческое достоинство, — чтобы он знал, что он призван быть свободным сыном Бога. Люди должны понять, что для них унижительно и пагубно продолжать быть безвольными слепыми орудиями других людей, именующих себя корпоралами, генералами или императорами.

Croydon. Лето 1897 г.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА

